This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 3780.10

HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

125-126

САХАЛИНЪ.

(Каторга).

I.

Со многими
рисунками.

В. М. Дорошевича.

Slav 3780.10

HARVARD COLLEGE
MAY 6 1940
LIBRARY

In honor of

Рисунки дозволены цензурою.

Типографія Товарищества И. Д. Сытина, Валовая улица, свой домъ.
МОСКВА. — 1903.

Даю напамять
о вѣчной дружбы,
другу и товарищу
Гиршу Израилеву Гурвичу
12/1 1903 года. М. Рузовъ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Татарскій проливъ.—Климатъ.—Природа.—Сѣверный, средній и южный Сахалинъ.—Сахалинская дорога.—Островъ-тюрьма.

Это было 16 апрѣля.

Дулъ порывистый, холодный, пронизывающій нордъ-вестъ, пароходъ валяло съ бока на бокъ.

Я стоялъ на верхней палубѣ и всматривался въ открывающіеся суровые, негостепріимные, скалистые, покрытые еще снѣгомъ берега.

Первое впечатлѣніе было безотрадное, тяжелое, гнетущее.

Словно какое-то чудовище, съ покрытой буграми спиной, вытянулось, замерло и выжидаетъ добычи.

— Вонъ мѣсто, гдѣ погибла „Кострома“, — указываетъ мнѣ капитанъ.

Я спускаюсь на нижнюю палубу..

Около иллюминаторовъ на палубѣ смѣняются лица арестантовъ.

Смотрятъ, точно вглядываются въ берега острова, гдѣ прійдется кончать свой вѣкъ.

Замѣчанія краткія, мрачныя:

— Сакалинъ!

— Зима еще!

— Дай поглядѣть!

— Не на что и глядѣть. Все подъ снѣгомъ.

Качка усиливается. Мы идемъ Лаперузовымъ проливомъ.

Налѣво — Крильонскій маякъ. Направо — кипятъ и пѣнятся валуны, покрывая „Камень Опасности“. Впереди надвигается полоса льда. Льдины застилаютъ весь горизонтъ.

Право, это звучитъ горькой насмѣшкой.

Провезти людей чуть не кругомъ свѣта. Показать имъ мелькомъ уголокъ земного рая — пышный, цвѣтущій Цейлонъ, дать „взглянуть однимъ глазомъ“ на Сингапуръ, этотъ роскошный, этотъ дивный, этотъ сказочный садъ, что разросся въ полутора градусахъ отъ экватора, дать полюбоваться на чудные, живописные берега Японіи, при входѣ въ Нагасаки,—

на берега, отъ которыхъ глазъ не оторвешь, — для того, чтобъ привезти послѣ всего этого къ скалистымъ, суровымъ берегамъ, покрытымъ снѣгами въ половинѣ апрѣля, въ эту страну пурги, штормовъ, тумановъ, льдинъ, вьюгъ, — и сказать:

— Живите!

Сахалинъ...

— „Кругомъ — вода, а въ серединѣ — бѣда!“ „Кругомъ — море, а въ серединѣ — горе!“ — какъ зовутъ его каторжные.

— Островъ отчаянья. Островъ безправія. Мертвый островъ! — какъ называютъ его служащіе на Сахалинѣ.

Островъ — тюрьма.

Если вы взглянете на карту Азіи, то увидите въ правомъ уголкѣ вытянувшееся вдоль берега, дѣйствительно, что-то похожее на чудовище, раскрывшее пасть и словно готовое проглотить лежащій напротивъ Мацмай.

И крутыя паденья угольныхъ пластовъ и зигзагообразныя, ломаныя линіи обнаженныхъ слоевъ угольнаго сланца, — все говоритъ, что здѣсь происходила когда-то великая революція.

Извивалась спина „чудовища“. Гигантскими волнами колебалась земля. Волны шли съ сѣверо-востока на юго-западъ.

Не даромъ сахалинскія горы похожи, дѣйствительно, на огромныя застывшія волны, а долины, — или „пади“, какъ ихъ здѣсь называютъ по-сибирски, — напоминаютъ собою пропасти, что разверзаются между волнами во время урагана.

Ураганъ конченъ. Чудовище стихло и лишь по временамъ слегка вздрагиваетъ, — то тамъ, то здѣсь.

Это — островъ-нелюдимъ.

Онъ отдѣленъ отъ земли Татарскимъ проливомъ, самымъ вспыльчивымъ, самымъ буйнымъ, своенравнымъ, злобнымъ проливомъ въ мірѣ.

Проливомъ, гдѣ зимой зги не видно съ снѣжной пургѣ, а лѣтомъ штормы смѣняются густыми туманами, настолько густыми, что среди этой бѣлой пелены еле мерещится верхушка мачты собственнаго парохода.

Идя этимъ проливомъ, штурманскому офицеру приходится спать урывками по четверти часа, не раздѣваясь.

Здѣсь штиль смѣняется свирѣпымъ штормомъ въ пять, десять минутъ.

Полный штиль, — вдругъ засвистѣло въ снастяхъ, — поднимай, а то и руби якоря и уходи въ море, если не хочешь быть вдребезги разбитымъ о камни.

Здѣсь море — предатель, а берегъ — не другъ, а врагъ моряка. Здѣсь надо бояться и моря и земли.

Сахалинъ не любитъ, чтобы останавливались у его крутыхъ, обрывистыхъ, скалистыхъ береговъ. На всемъ западномъ побе-

режьѣ — ни одного рейда. Дно — гладкая и ровная плита, на которой васъ не удержитъ въ штормъ ни одинъ якорь.

И сколько пароходовъ пошло ко дну, похоронено въ этомъ проливѣ!

Сахалинъ — суровый и холодный островъ.

Его скалистый берегъ лижетъ холодное, сѣверное теченіе, въ незапамятныя времена прорвавшееся Татарскимъ проливомъ.

Здѣсь суровая, лютая зима. Здѣсь недѣлями продолжается пурга, крутитъ огромные снѣжные смерчи, по крышу засыпаетъ дома.

Здѣсь безрадостная весна похожа на осень.

Видъ на Сахалинъ.

Короткое, холодное, туманное лѣто.

И только осень еще похожа на что-нибудь.

20 мая я пріѣхалъ въ Оноръ, — дальнее поселье въ самомъ центрѣ острова, — а 21, проснувшись утромъ, увидалъ ясное, свѣжее, прекрасное зимнее утро.

За ночь выпалъ снѣгъ. Снѣжная пелена, въ полъ-аршина, покрывала все, — крыши и землю, тюрьму и поселье. Снѣгъ продержался два дня и сошелъ только 23 мая. Вотъ то, что называется на Сахалинѣ „климатомъ“.

Извилистая спина „чудовища, словно дыбомъ вставшими иглами, покрыта густой хвойной тайгой.

Высокій, обрывистый, отвѣсный, неприступный берегъ, по которому зигзагами идутъ желтые пласты глины, дымчатые — угольнаго сланца, бѣлые — песчаника. Кое-гдѣ проступаетъ ржавчина желѣзной руды.

А наверху — тайга.

Ели и сосны, оголенныя, совсѣмъ лишенныя вѣтвей съ навѣтренной стороны. Онѣ растутъ въ одну сторону. Вершины сосенъ вытянулись по вѣтру, словно дымъ отъ пароходной трубы. Словно эти великаны-деревья, вытянувъ руки, бѣгутъ отъ этого ужаснаго берега, отъ этого суроваго, холоднаго жестокаго моря и вѣтра.

Мысъ Жонкверъ.

Забеременесь вглубь.

Мертвая тишина. Только валежникъ хруститъ подъ ногами. Остановишься, — и ни звука. Ни птичьей пѣсни ни писка...

Жутко становится, какъ въ пустой церкви.

Молчанье сахалинской тайги — это тишина заброшеннаго, оставленнаго храма, подъ сводами котораго никогда не раздается шопота молитвы.

Глубже въ эту страну вѣчнаго молчанія.

Вотъ ужъ и свѣта не видно. Тьма кругомъ.

Словно огромный баобабъ стоитъ на своихъ десяткахъ стволовъ.

Это вѣтеръ сбилъ вершины сосенъ въ одну огромную шапку, сколотилъ ихъ вѣтви и иглы. Образовалась плотная крыша, по которой, кажется, можно ходить!

Здѣсь давитъ. Здѣсь тяжко.

Здѣсь тяжко даже деревьямъ. Здѣсь больны даже эти гиганты. Ихъ стволы искривлены огромными болѣзненными наплывами.

Вотъ вамъ картина природы сѣвернаго Сахалина.

27 лѣтъ тому назадъ здѣсь бродили медвѣди да гиляки, — жалкіе, несчастные дикари, врядъ ли въ умственномъ и нрав-

Маякъ на мысѣ Жонкверѣ около поста Александровскаго.

ственномъ отношеніи стоящіе многимъ выше своихъ товарищей по тайгѣ.

Не даромъ же гиляки вѣрятъ, что у медвѣдя такая же точно душа, какъ у гиляка, что душа медвѣдя точно такъ же идетъ послѣ смерти къ „хозяину“, богу тайги, жалуется ему на гиляковъ, и хозяинъ судитъ ихъ какъ равныхъ. Что медвѣдь даже „женатъ на гилячкѣ“! До того эти жалкіе дикари ставятъ знаки духовнаго равенства между собой и медвѣдями.

Теперь въ этой странѣ медвѣдей и гиляковъ кое-гдѣ разбросаны поселья.

Жалкія, типичныя сахалинскія поселья.

Дома „для права“, построенные только для того, чтобы имѣть право получить крестьянство, брошенные, разореные, полуразрушившіеся.

И здѣсь ни звука. То же вѣчное молчаніе.

— Да есть ли живой человѣкъ?

Въ двухъ-трехъ домахъ еще живутъ. Остальные — пустые.

— Ну, что? Какъ живете?

— Какая ужъ жизнь? Маемся.

— Садите, сѣете что?

Природа Сахалина. Рѣка Анива.

— Что здѣсь растетъ! Одна картошка, да и то съ грѣхомъ пополамъ.

Живутъ молча, угрюмо, каждый уйдя, замкнувшись въ себя, тоскливо выжидая, когда кончится срокъ поселенья, можно будетъ получить крестьянство и уйти „на материкъ“.

Дальше, дальше отъ этой безотрадной стороны.

Тараторятъ, заливаются, стонутъ звонки подъ дугой.

Тройка низкорослыхъ, приземистыхъ, коренастыхъ, крѣпкихъ, выносливыхъ, быстрыхъ сахалинскихъ лошадей съ горки на горку, изъ пади въ падь, несетъ насъ вдоль острова къ югу.

— Вотъ здѣсь застрѣлили Казеева (одинъ изъ убійцъ Арцимовичей), — показываетъ вамъ ямщикъ. — Здѣсь въ пургу занесло снѣгомъ женщину съ ребенкомъ... Сюда я аномедни возилъ доктора — поселенца съ дерева снимали... Повѣсился... Здѣсь въ прошломъ году зарѣзали поселенца Лаврова...

Обычная сахалинская дорога.

Картина природы мѣняется.

Безотрадная сѣверная сахалинская сосна и ель уступаютъ мѣсто веселой, привѣтливой лиственницѣ, начинающей уже покрываться своей мягкою, нѣжною, пахучею хвоей. Кое-гдѣ попадается невысокій кедръ.

Природа Сахалина. Водопадъ (на сѣверѣ Сахалина) между постами Дуэ и Александровскомъ.

Забѣлѣли мѣстами березовыя рощицы. Березы еще не собираются распускаться, но ихъ бѣленькіе стволы такъ весело, нарядно, чистенько выглядятъ послѣ суровой темно-зеленой одежды хвойнаго лѣса.

Ива, гибкая и плакучая, наклонилась надъ рѣчкой, словно хочетъ разсмотрѣть что-то въ ея быстрыхъ струяхъ.

По оврагамъ еще лежитъ снѣгъ, а по холмамъ, гдѣ пригрѣваетъ солнышко, ужъ пышно распустился лопухъ.

И горы пошли болѣе пологія и пади шире.

Это ужъ не ущелья, не огромныя трещины среди горъ, а равнины, отъ которыхъ вѣетъ просторомъ.

И поселенья встрѣчаются все крупнѣе и крупнѣе. Величиной въ хорошее торговое село.

И чаще на вопросъ: „ну, какъ живете?“ — слышится отвѣтъ:

— Живемъ кое-какъ. Лѣто только больно коротенько.

По пути попадаются волы, запряженные въ плугъ.

Въ каждомъ селеньи найдете двоихъ, троихъ, а то и больше, зажиточныхъ хозяевъ.

Это Тымовскій округъ, — картина средняго Сахалина.

Дальше начинается тундра, — „трунда“, какъ ее зовутъ сахалинцы.

Колеса вязнутъ, еле ворочаются въ торфяной массѣ.

Ямщикъ слѣзъ и идетъ рядомъ, чтобы легче было лошадямъ.

Двигаемся еле-еле. Отъ лошадей валитъ паръ.

Пахнетъ верескомъ. Отъ его удушливаго, тяжелаго запаха, похожаго на запахъ кипариса, начинаетъ болѣть голова.

Вся тундра сплошь покрыта его красными кустиками. Словно кровь запеклась.

Тундра и тайга. И снова ни звука. Только дятелъ простучитъ, да кукушка прокукуетъ вдали.

Тоска, ноющая, щемящая, забирается въ душу. Чѣмъ-то безотраднымъ вѣетъ кругомъ.

И не вѣрится даже, что гдѣ-то на свѣтѣ есть Италія, голубое небо, горячее солнце, что есть на свѣтѣ и пѣсня и смѣхъ... И все, что приходилось видѣть раньше, — все это кажется такимъ далекимъ, словно происходило гдѣ-то на другой планетѣ, кажется сномъ, невѣроятнымъ, несбыточнымъ.

Океанъ тундры и тайги. И въ этомъ океанѣ, какъ крошечные островки, — кусочки твердой земли. На этихъ островкахъ прилѣпились было поселья. Люди попробовали жить, побороться, — не смогли и ушли.

Унылыя, брошенныя поселья. Такъ до Онора.

А дальше ужъ совсѣмъ идетъ топь, трясина, по которой еще проѣзжаютъ на собакахъ зимой и нѣтъ возможности пробраться лѣтомъ...

За этой полосой начинается Корсаковскій округъ, — южный Сахалинъ.

Разнообразіе лиственныхъ древесныхъ породъ. Климатъ сравнительно мягче.

Здѣсь все же легче дышится, живется.

Если вы взгляните на подобную карту, весь югъ Сахалина испещренъ черными точками, — все поселья. Здѣсь все-таки можно стать ногой на твердую почву.

Здѣсь трудъ тяжелый — немножко окупается.

Здѣсь ужъ ранняя весна.

Тянутъ вереницами на сѣверъ красавцы-лебеди.

Бѣлая полоса тянется по морю версты на двѣ отъ берега, словно молочная рѣка, идетъ, трется въ водорослях, и мечетъ икру сельдь.

Птицы свистятъ и перекликаются въ тайгѣ.

Здѣсь все-таки жизнь, все-таки солнце, все-таки свѣтъ.

Вотъ вамъ картины Сахалина.

Здѣсь воздухъ напоенъ тяжелыми вздохами. Здѣсь въ ночномъ крикѣ птицы чудится стонъ. Здѣсь много пролито крови этими несчастными, которые рѣжутъ другъ друга изъ-за грошей.

Природа Сахалина. Просѣка въ Тайгѣ.

Здѣсь что ни уголокъ — то страшное воспоминаніе.

Здѣсь все дышитъ страданьемъ. Здѣсь много было преступленья и труда.

Здѣсь все нужно взять съ боя. Сахалинская почва ничего не родитъ, если на нее не капнутъ потъ и слеза.

Въ глубинѣ Сахалина таится много богатствъ. Могучіе пласты каменнаго угля. Есть нефть. Должно быть желѣзо. Говорятъ, есть и золото.

Но Сахалинъ ревниво бережетъ свои богатства, крѣпко зажалъ ихъ и держитъ.

Онъ прекратитъ вашъ путь непроходимой тайгой, опъ утопитъ васъ въ трясинѣ своихъ тундръ. Желѣзомъ и огнемъ

приходится здѣсь пробивать себѣ путь человѣку, потомъ, кровью и слезами сдабривать почву, половину жизни отдавать на то, чтобъ другую половину прожить хоть чуть-чуть сносно.

Вотъ, что такое этотъ островъ-тюрьма.

Природа создала его въ минуту злобы, когда ей захотѣлось создать именно тюрьму, а не что-нибудь другое.

Трудно представить себѣ лучшія тюремныя стѣны, чѣмъ Татарскій и Лаперузовъ проливы.

Правда, бѣгаютъ и черезъ тотъ и черезъ другой. Но развѣ есть на свѣтѣ такая тюремная стѣна, черезъ которую не перешагнулъ бы человѣкъ, ставящій волю выше жизни?

Однако, природа была слишкомъ жестока, создавая этотъ островъ-тюрьму.

Итти въ ясную погоду по берегу постылаго острова и ясно видѣть черезъ проливъ противоположный берегъ, который дразнитъ и манитъ, уходя вдаль своими голубоватыми очертаніями.

Сознавать, что это такъ близко и такъ недостижимо.

Какую муку создала сама природа!

Первыя впечатлѣнія.

Первое впечатлѣніе всегда самое сильное.

И, конечно, я никогда не забуду этой минуты, когда я раннимъ утромъ, на зыбкомъ, съ бока на бокъ переваливающемся паровомъ катерѣ, подъѣзжалъ къ пристани Корсаковскаго поста.

На берегу копошились люди.

Еще нѣсколько шаговъ, — и я погружаюсь въ это море, которое мнѣ такъ страстно, такъ мучительно хочется знать.

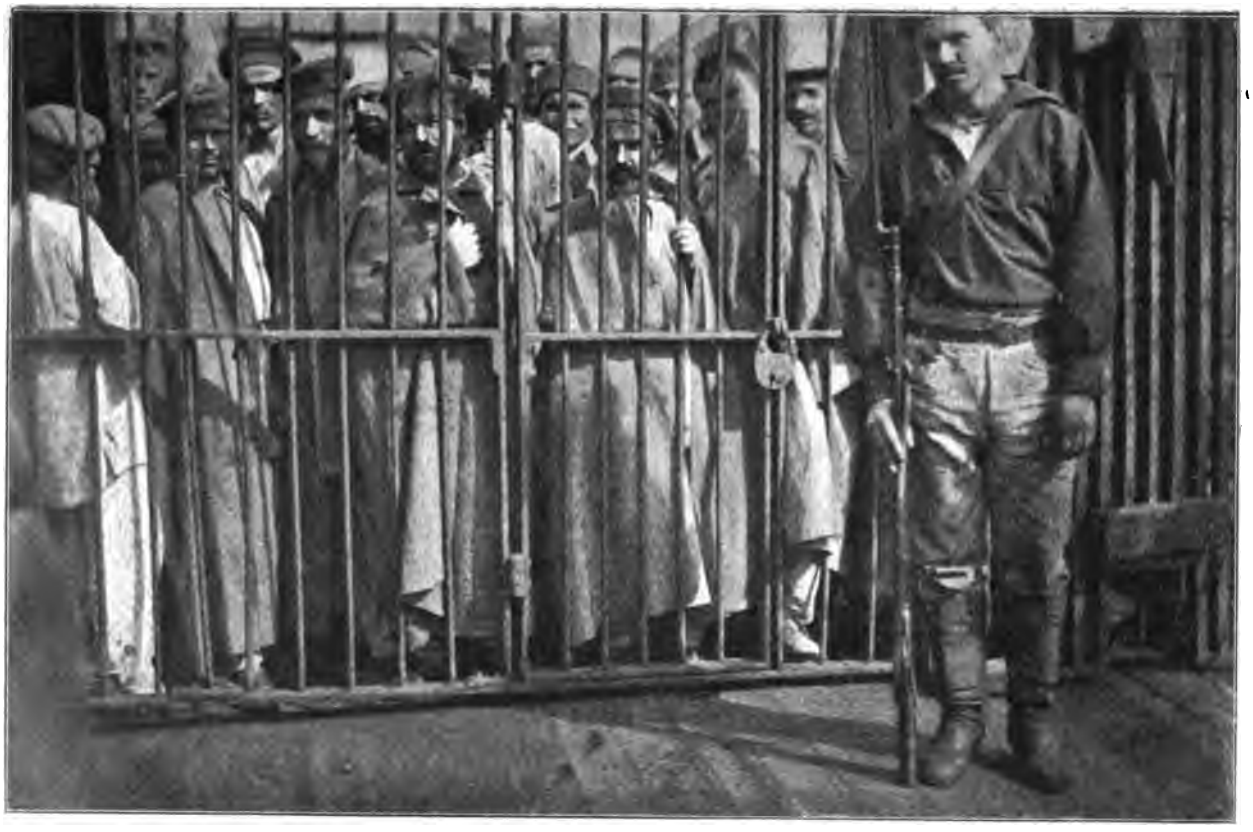
Море чего?

Странное дѣло, отъ двухъ впечатлѣній я никакъ не могъ отдѣлаться въ теченіе трехъ съ половиной мѣсяцевъ, которые я провелъ среди тюремной обстановки. Два впечатлѣнія давили, гнели, свинцомъ лежали на душѣ. Давятъ и гнетутъ еще и теперь.

Одно изъ нихъ касается, собственно, самаго пути до Сахалина.

Я никакъ не могъ отдѣлаться отъ этого сравненія. Нашъ пароходъ, везшій каторжниковъ изъ Одессы, казался мнѣ огромной баржей, какія обыкновенно употребляются въ приморскихъ городахъ для вывозки въ море отбросовъ. А эти, сѣрѣвшіе на берегу сахалинскіе „посты“ и поселья, казались мнѣ просто-напросто колоссальными мѣстами свалокъ.

И тяжко становилось на душѣ при мысли о томъ, что тамъ, внизу, въ трюмѣ, подъ вашими ногами, что рядомъ съ



Ссыльно-каторжные на пароходѣ Добровольнаго флота.

вами окончательно перегниваетъ все человѣческое, что еще осталось среди этихъ „отбросовъ“.

Второе впечатлѣніе касается, собственно, Сахалина.

Съ первыхъ же шаговъ, при видѣ этого унылаго, подневольнаго труда, этого сниманія шапокъ, мнѣ показалось, что я перенесся лѣтъ за 50 назадъ.

Что кругомъ меня просто-напросто крѣпостное право.

И чѣмъ больше я знакомился съ Сахалиномъ, тѣмъ это впечатлѣніе все глубже и глубже ложилось въ мою душу, это первое сравненіе казалось мнѣ все вѣрнѣе и вѣрнѣе.

Тотъ же подневольный трудъ, тѣ же люди, не имѣющіе никакихъ правъ, унизительныя наказанія, тѣ же дореформенные порядки, безконечное „бумажное“ производство всякихъ дѣлъ, тотъ же взглядъ на человѣка, какъ на „живой инвентарь“, то же распоряженіе человѣкомъ „по усмотрѣнію“, „сожительства“, заключаемыя, какъ браки при крѣпостномъ правѣ, не по желанію, не по влеченію, а по приказу, взглядъ многихъ на каторжнаго, какъ на крѣпостного, — все, кончая „декоративной стороной“ крѣпостного права, обязательнымъ „ломаньемъ шапки“, — все создавало полную иллюзію „отжитаго времени“.

И какъ тяжело дышалось, какъ тяжело, если бы вы знали!

Желаніе исполнено.

Пройдя пристань, я очутился въ толпѣ каторжныхъ.

На берегу шли работы.

Человѣкъ семьдесятъ каторжниковъ, кто въ арестантской, кто въ своей одеждѣ, спускали въ море баржу для разгрузки парохода.

Пѣли „Дубинушку“, — и подъ ея напѣвъ баржа еле-еле, словно нехотя, ползла съ берега.

Рядомъ съ ней, на другой баржѣ, стоялъ запѣвала, мужичонка въ рваной арестантской курткѣ, всклокоченный, встрепанный, жалкій, несчастный, и надтреснутымъ, дребезжащимъ, теноркомъ запѣвалъ „Дубинушку“, говорившую о необычайной изворотливости, сверхъестественной находчивости его цинизма.

Какой-то цинизмъ, доходившій не „до граціи“, а до виртуозности.

Все это било, конечно, на то, чтобы вызвать смѣхъ. И никто не улыбался.

Слушали равнодушно, даже скорѣе вовсе не слушали, пѣли припѣвъ, кричали „ухъ“ какъ-то лѣниво, нехотя, словно и это тоже была подневольная работа.

Потомъ я попривыкъ, но первое впечатлѣніе подневольнаго труда — впечатлѣніе тяжелое, гнетущее.

Около вытаскивали неводъ.

Тащили тяжело, медленно, нехотя.

Въ вытащенномъ неводѣ билась, прыгала, трепетала масса рыбы.

Чего, чего тамъ не было! Колоссальные бычки, которыхъ здѣсь не ѣдятъ, продолговатые съ бѣлымъ, словно бѣлилами покрытымъ брюшкомъ глосы, которыхъ тоже здѣсь не ѣдятъ, извивающіяся, какъ змѣи, миноги, которыхъ здѣсь точно такъ же не ѣдятъ, и мелкая дрянная рыбишка, которую здѣсь ѣдятъ.

Постъ Корсаковскій на югѣ Сахалина.

Всѣ стояли кругомъ невода, а двое или трое отбирали годную рыбу отъ негодной съ такимъ видомъ, словно они ворочали камни.

Всю дорогу отъ пристани до поста, вдоль берега моря, навстрѣчу попадались поселенцы, машинально, какъ-то механически, снимавшіе шапки.

Рука уставала отвѣчать на поклоны, и я былъ искренно признателенъ тѣмъ „дерзунамъ“, которые не удостоивали мою персону этой каторжной чести.

Поселенцы бродили, какъ сонныя мухи. Бродили, видимо, безо всякой цѣли, безо всякаго дѣла.

— Такъ, молъ, пароходъ пришелъ. Все-таки люди.

Если тамъ, у рабочихъ, на лицахъ читалась какая-то тяжесть, то здѣсь была написана страшная, гнетущая, безъисходная скука.

Тоска.

Такое состояніе, когда человѣкъ рѣшительно не знаетъ, что ему съ собой дѣлать, куда дѣвать свою особу, чѣмъ ее занять, и провожаетъ глазами все, что мелькнетъ мимо: муха ли большая пролетитъ, человѣкъ ли пройдетъ, собака ли пробѣжитъ.

Посмотритъ вслѣдъ, пока можно услѣдить глазами, и опять на лицѣ тоска.

Пѣсня?..

Дрожки, на которыхъ я ѣду, поворачиваютъ въ главную улицу „поста“ и огибаютъ наскоро сколоченный дощатый балаганъ (дѣло происходило на Пасхѣ).

Рядомъ пустыя, какія-то ободранныя качели.

У входа, вѣроятно, судя по унылому виду, — „антрепренеръ“.

Около — толпа скучающихъ поселенцевъ, безъ улыбки слушающихъ площадныя остроты ломающагося на балконѣ намазаннаго, одѣтаго въ ситцевый балахонъ клоуна изъ ссыльно-каторжныхъ.

Изъ балагана слышится пѣсня.

Нестройно, дико оретъ хоръ пѣсенниковъ.

Зазвенѣли кандалы. Мимо балагана проходятъ арестанты кандальной тюрьмы подъ конвоемъ...

Мы въѣзжали въ главную улицу поста.

Съ перваго взгляда Корсаковскъ, всегда и на всѣхъ, производитъ „подкупающее“ впечатлѣніе.

Ничего какъ будто похожаго на „каторгу“.

Чистенькій, маленькій городокъ.

Чистенькіе, привѣтливые чиновничьи домики словно разбѣжались и со всего разбѣга двумя рядами стали по высокому пригорку.

Выше всѣхъ взбѣжала тюрьма.

Но тюрьма въ Корсаковскѣ не давитъ.

Она — одноэтажная, невысокая и, несмотря на свое „возвышенное“ положеніе, не кидается въ глаза, не доминируетъ, не командуетъ надъ мѣстностью.

Въ глубину двухъ овраговъ, по обоимъ бокамъ холма, словно свалились, лѣзшіе по косогору, да недолѣзшіе туда домики.

Это — слободки поселенцевъ.

Въ общемъ, во всемъ этомъ нѣтъ ничего ни „страшнаго“ ни мрачнаго.

И вы готовы прійти въ восторгъ отъ „благоустройства“, проѣзжая главной улицей Корсаковска, готовы улыбнуться, сказать:

— Да все это очень, очень, какъ нельзя болѣе мило...

Но подождите!

Сахалинъ, это — болото, сверху покрытое изумрудной, сверкающей травой.

Кажется, чудный лужокъ, — а ступили, и провалились въ глубокую, засасывающую, липкую, холодную трясину.

Не успѣло съ вашихъ устъ сорваться „мило", какъ изъ-за угла зазвенѣли кандалы.

Впрягшись въ телѣгу, ухватившись за оглобли, каторжные везутъ навозъ.

Больничная палата въ посту Александровскомъ.

И что за удручающее впечатлѣніе производятъ эти люди, исполняющіе лошадиную работу.

Вашъ путь идетъ мимо тюрьмы, — изъ-за рѣшетокъ глядятъ темныя, грязныя окна.

Впереди — лазаретъ, и какъ разъ противъ его оконъ — покойницкая.

Лазаретъ.

Затѣмъ, въ Александровскѣ, въ Рыковскомъ я видѣлъ вполнѣ благоустроенныя больницы для каторжанъ; но что за ужасный уголокъ, что за „злая яма" Дантовскаго ада, — эта больница въ Корсаковскомъ посту.

Я знаю всѣ сахалинскія тюрьмы. Но самая мрачная изъ нихъ — Корсаковскій лазаретъ.

Чесоточный, больной заразительной болѣзнью, которую непріятно называть, и хирургическій больной лежатъ рядомъ.

Около нихъ бродитъ душевно-больной киргизъ Науръ-Сали.

Какъ и у большинства сахалинскихъ душевно-больныхъ, помѣшательство выражается у него въ маніи величія.

Это — „протестъ духа“. Это — „благодѣяніе болѣзни“.

Всего лишенные, безправные, нищіе, — они воображаютъ себя правителями природы, несмѣтными богачами, — въ крайнемъ случаѣ, хоть смотрителями или надзирателями.

Киргизъ Науръ-Сали принадлежитъ къ несмѣтнымъ богачамъ.

У него неисчислимыя стада овецъ и верблюдовъ. Онъ получаетъ несмѣтные доходы... Но онъ окруженъ врагами.

Тяжелая, угнетающая сахалинская обстановка часто развиваетъ манію преслѣдованія.

Временами Науръ-Сали кажется, что на его стада нападаютъ стаи волковъ, что въ степномъ ковылѣ подползаютъ хищники. Что стада разбѣгаются. Что онъ близокъ къ разоренію. Тогда ужасъ отражается на перекошенномъ и безпрестанно дергающемся лицѣ Науръ-Сали (онъ эпилептикъ и страдаетъ Виттовымъ плясомъ), онъ мечется со стороны въ сторону, съ крикомъ бѣгаетъ по палатамъ, залѣзаетъ подъ кровати больныхъ, сдергиваетъ съ нихъ одѣяла, — ищетъ своихъ овецъ. И я прошу васъ представить положеніе больного съ переломленной, положенной въ лубки ногой, когда сумасшедшій Науръ-Сали съ воемъ сдергиваетъ съ него одѣяло.

— Почему же ихъ не размѣстятъ?

— Да куда же я ихъ дѣну?! — съ отчаяніемъ восклицаетъ молодой, симпатичный лазаретный врачъ г. Кирилловъ.

Въ лазаретѣ тѣсно, въ лазаретѣ душно.

За неимѣніемъ мѣста въ палатахъ, больные лежатъ въ коридорахъ. „Пріемный покой“ для амбулаторныхъ больныхъ импровизируется каждое утро. Въ коридорѣ, около входной двери, ставится ширма, чтобы защитить раздѣвающихся больныхъ отъ холода и любопытства безпрестанно входящихъ и выходящихъ людей.

— Вообразите себѣ, какъ это удобно зимой, въ морозъ, смотрѣть больныхъ около входной двери, — говоритъ докторъ.

Да оно и весной недурно.

Вся обстановка Корсаковскаго лазарета производитъ удручающее впечатлѣніе. Грубое постельное бѣлье невѣроятно грязно. Больнымъ приходится разрѣшать лежать въ своемъ бѣльѣ.

— На казенныя рубахи полагается мыло, но я руку даю на отсѣченіе, что онѣ его не видятъ! — съ отчаяніемъ клянется докторъ.

Вентиляціи никакой. Воздухъ спертъ, душенъ, — прямо „мутитъ“, когда войдешь. Я потомъ дня два не могъ отдѣлаться отъ этого тяжелаго запаха, которымъ пропиталось мое платье при этомъ посѣщеніи.

О какой-нибудь операціонной комнатѣ не можетъ быть и помина. Для небольшихъ операцій больныхъ носятъ въ военный госпиталь. Для болѣе серіозныхъ — отправляютъ въ постъ Александровскій, отрѣзанный отъ Корсаковскаго въ теченіе полугода. Представьте себѣ положеніе больного, которому необходимо произвести серіозную операцію въ ноябрѣ — первый пароходъ въ Александровскъ, „Ярославль“, пойдетъ только въ концѣ апрѣля слѣдующаго года!

Когда я былъ въ Корсаковскомъ лазаретѣ, тамъ не было... гигроскопической ваты.

Для перевязки ранъ варили обыкновенную вату, просушивали ее здѣсь же, въ этомъ воздухѣ, переполненномъ всевозможными микробами и бациллами.

— Все, чѣмъ мы можемъ похвалиться, это — нашей аптекой. Благодаря заботливости и настояніямъ завѣдующаго медицинской частью, доктора Поддубскаго, у насъ теперь богатый выборъ медикаментовъ! — со вздохомъ облегченія говоритъ докторъ.

Вернемся, однако, къ больнымъ.

Что за картины, картины отчаянья, иллюстраціи къ Дантовскому чистилищу.

Съ потерявшихъ свой первоначальный цвѣтъ подушекъ смотрятъ на насъ желтыя, словно восковыя лица чахоточныхъ.

Лихорадочнымъ блескомъ горящіе глаза.

Вотъ словно какой-то гномъ, уродливый призракъ.

Лицо — черепъ, обтянутый пожелтѣвшей кожей. Высохшія, выдавшіяся плечевыя кости, ключицы и ребра, и неимовѣрно раздутый голый животъ. Бѣлье не налѣзаетъ.

Страшно смотрѣть.

Несчастный мучается день и ночь, не можетъ лечь, — его „заливаетъ“. Чахотка въ послѣднемъ градусѣ, осложненная водянкой.

И столько муки, столько невыносимаго страданія въ глазахъ.

Несчастный, — это тонущій въ водѣ скелетъ, — что-то шепчетъ при нашемъ проходѣ.

— Что ты, милый? — нагибается къ нему докторъ.

— Поскорѣй бы! Поскорѣй бы ужъ, говорю! Дали бы мнѣ его, чтобы поскорѣе! — едва можно разобрать въ лепетѣ этого задыхающагося человѣка.

— Ничего! Что ты! Поправишься! — пробуетъ утѣшить его докторъ.

Еще бо́льшая мука отражается на лицѣ больного. Онъ отрицательно качаетъ головой.

Тяжело вообще видѣть приговореннаго къ смерти человѣка, а приговореннаго къ смерти здѣсь, вдали отъ родины, отъ всего, что дорого и близко, здѣсь, гдѣ ни одна дружеская рука не закроетъ глаза, ни одинъ родной поцѣлуй не запечатлѣется на лбу, — здѣсь вдвое, вдесятеро тяжелѣе видѣть все это.

Вотъ больной, мужчина среднихъ лѣтъ, ранняя просѣдь въ волосахъ. Красивое, умное, интеллигентное лицо.

Чѣмъ онъ боленъ?

Не надо быть докторомъ, чтобы сразу опредѣлить его болѣзнь по лихорадочному блеску глазъ, по неестественно-яркому румянцу, пятнами вспыхивающему на лицѣ, по крупнымъ каплямъ пота на лбу.

Это — ссыльно-каторжный изъ бродягъ, „не помнящій родства“, учитель изъ селенія Владимировки.

— Вы и въ Россіи были учителемъ?

— Былъ и учителемъ... Чѣмъ я только не былъ! — съ тяжелымъ вздохомъ говоритъ онъ, и печаль разливается по лицу.

Тяжко вспоминать прошлое здѣсь...

А вотъ продуктъ каторжной тюрьмы, спеціально „сахалинскій больной“.

Молодой человѣкъ, казалось бы, такого здоровеннаго, крѣпкаго сложенія.

У него скоротечная чахотка отъ истощенія.

Передъ вами „жиганъ“ — каторжный типъ игрока. Игра — его болѣзнь, больше чѣмъ страсть, единственная стихія, въ которой онъ можетъ дышать.

Его потухшіе глаза на все смотрятъ равнодушнымъ, безразличнымъ взглядомъ умирающаго и загораются лихорадочнымъ блескомъ, настоящимъ огнемъ только тогда, когда онъ говоритъ объ игрѣ.

Онъ проигрывалъ все: свои деньги, казенную одежду. Его наказывали розгами, сажали въ карцеръ, — онъ игралъ. Онъ проигрывалъ самого себя, проигрывалъ свой трудъ и несъ двойную каторгу, работая и за себя и за того, кому онъ проигралъ.

Онъ *мѣсяцами* сидѣлъ голодный, проигравъ свой паекъ хлѣба чуть не за годъ впередъ, и питался „въ одну ручку“ — жидкой похлебкой — „баландой“ безъ хлѣба.

Его били жестоко, неистово: чтобы играть, онъ воровалъ все, что ни попадало.

Въ концѣ концовъ, онъ нажилъ истощеніе, скоротечную чахотку.

Онъ и тутъ, въ лазаретѣ, игралъ съ больными, проигрывая свою порцію, но его скоро „накрыли“ и игру прекратили. Если бы не было за нимъ особаго надзора, — онъ проигралъ бы даже свои лѣкарства.

Сахалинскимъ больнымъ все кажется, что имъ „жалѣютъ лѣкарства“ и даютъ слишкомъ мало. Они охотно покупаютъ лѣкарства другъ у друга.

А кругомъ этого несчастнаго такіе же больные, умирающіе, которые не прочь у умирающаго выиграть послѣдній кусокъ хлѣба.

Вотъ отголоски „зимняго сезона“.

Люди, отморозившіе себѣ кто руки, кто ноги, иные на работахъ въ тайгѣ, другіе во время „бѣговъ“.

Они разматываютъ свое тряпье,—и предъ нами засыпанныя іодоформомъ руки, ноги безъ пальцевъ, покрытыя мокнущими ранами, покрывающіяся струпьями.

Ихъ стоны, когда приходится ворочаться съ бока на бокъ, смѣшиваются съ бредомъ, идіотскимъ смѣхомъ, руганью умалишенныхъ.

Вотъ интересный больной, Іоркинъ, бывшій морякъ, эпилептикъ.

Ламброзо непремѣнно снялъ бы съ него фотографію и помѣстилъ въ свою коллекцію татуированныхъ преступниковъ.

Іоркинъ татуированъ съ головы до ногъ.

На его груди выгравировано огромное распятіе. Руки покрыты рисунками якорей и крестовъ, символами надежды и спасенія, текстами священнаго писанія.

У Іоркина религіозное помѣшательство, соединенное, по сахалинскому обыкновенію, съ бредомъ величія.

— Мнѣ недолго здѣсь быть, — говоритъ онъ, и глаза его горятъ экстазомъ. — Меня ангелы возьмутъ и унесутъ.

А вотъ жертва лишенья семьи.

Карповъ, донской казакъ, изъ Новочеркасска. Сегодня онъ что-то веселъ, все время улыбается, и съ нимъ можно говорить.

Онъ говоритъ охотно только на одну тему — о своей, ставленной на родинѣ семьѣ. О братьяхъ, матери, отцѣ, енѣ. Какъ они живутъ, про ихъ хозяйство. Говоритъ съ влеченіемъ, весь сіяя отъ этихъ воспоминаній. Это — самыя зѣтлыя для него минуты. Обыкновенное же его состояніе — остояніе тяжелой хандры, задумчивости. Онъ меланхоликъ.

Онъ боится нападенія чертей, которые хотятъ соблазнить о на нехорошее поведеніе. Онъ воздержанникъ и „соблюдаетъ

себя“ для семьи, — а по ночамъ ему снятся женщины, которыя являются его прельщать. Ихъ посылаютъ черти.

— Тутъ много чертей! — выкрикиваетъ онъ своимъ тоненькимъ, пронзительнымъ голоскомъ и лѣзетъ подъ кровать посмотрѣть: нѣтъ ли ихъ тамъ?

— Есть! Есть! Вотъ они!

Начинается припадокъ.

Берегите ваши карманы. Около все время трется Демидовъ, клептоманъ, одинъ изъ несчастнѣйшихъ людей на каторгѣ.

Его били смертнымъ боемъ товарищи, и сѣкло начальство. А онъ все продолжалъ оставаться „неисправимымъ“. Ему еще недавно дали 52 лозы, какъ вдругъ, къ общему изумленію, докторъ Кирилловъ взялъ этого „неисправимаго негодяя“ въ лазаретъ.

— Ахъ, вонъ оно что! — ахнули всѣ. — Онъ сумасшедшій! А мы-то его исправляли.

А вотъ жертва нашихъ больницъ, жертва ихъ страсти къ „поспѣшной выпискѣ“.

Это — бродяга нѣмой.

— Семенъ Михайловичъ! Какъ поживаешь? — спрашиваетъ докторъ.

„Семенъ Михайловичъ“ улыбается безсмысленной улыбкой и смотритъ куда-то въ уголъ.

— Да онъ что? Дѣйствительно, нѣмой?

— Нѣтъ, онъ страдаетъ одной изъ формъ афазіи, онъ не можетъ говорить, не въ состояніи отвѣчать на вопросы.

И онъ только улыбается своей безсмысленной, безпомощной, жалкой, страдальческой улыбкой.

Въ одну изъ минутъ просвѣтлѣнія, когда къ нему не надолго вернулась способность рѣчи, — онъ разсказалъ доктору свою исторію.

Онъ не бродяга. Онъ крестьянинъ Новгородской губерніи, Семенъ Михайловъ Глухаренковъ. У него на родинѣ есть семья. Жилъ онъ въ Петербургѣ на заработкахъ, заболѣлъ тифозной горячкой, лежалъ въ больницѣ. Изъ больницы его выписали слишкомъ рано, черезчуръ слабымъ. Денегъ не было ни гроша, паспортъ былъ отосланъ на родину „мѣнять“, приходилось итти пѣшкомъ. Едва выйдя за заставу, онъ „потерялъ сознаніе“, а затѣмъ съ нимъ „это и случилось“. Его держали въ полиціи, судили,—на всѣ вопросы онъ молчалъ. И пошелъ на полтора года въ каторгу, а затѣмъ на поселеніе на Сахалинѣ, какъ „бродага Нѣмой“.

Вотъ та маленькая повѣсть, которую успѣлъ разсказать Семенъ Глухаренковъ доктору въ минуту просвѣтлѣнія, — и

снова погрузился въ молчаніе, снова на его лицѣ заиграла эта тихая, скорбная улыбка.

Надъ всѣмъ этимъ, — надъ трагическимъ молчаніемъ „бродяги Нѣмого“, надъ тихими стонами, вырывающимися изъ глубины души, надъ тяжкими вздохами, перебранкой больныхъ, надъ разсказами „жигана“ объ игрѣ, надъ звуками удушливаго кашля чахоточныхъ,—звуками, въ которыхъ вы слышите, какъ у людей на куски разрываются легкія, надъ бредомъ и идіотскимъ смѣхомъ помѣшанныхъ,—надъ всѣмъ этимъ царитъ вѣчный, непрестанный крикъ сумасшедшаго стараго солдата.

Въ Корсаковскомъ лазаретѣ нѣтъ мѣста, гдѣ бы до васъ не достигалъ этотъ ужасный, всѣ нервы выматывающій крикъ.

Онъ отравляетъ послѣднія минуты умирающихъ въ маленькой отдѣльной каморкѣ.

Зайдемъ туда.

На постели лежитъ человѣкъ... тѣнь, призракъ человѣка... Не блѣдное, а бѣлое, словно молокомъ вымазанное лицо.

Дыханіе съ хрипомъ и свистомъ вырывается изъ груди.

Онъ задыхается.

Докторъ, дававшій мнѣ объясненія по поводу каждаго больного, тутъ сказалъ только:

— Сами видите!

— Докторъ... докторъ... — еле переводя духъ, говоритъ больной, и въ самомъ тонѣ его просьбы звучитъ что-то дѣтское, безпомощное, жалкое, хватающее за душу, — докторъ... выпиши ты, ради Господа Бога, мяты... Съ мяты я поправлюсь.

— Хорошо, хорошо, голубчикъ! Выпишу тебѣ мяты, — успокоиваетъ его докторъ.

— То-то!.. Съ мяты... я... живо...

Къ вечеру онъ умеръ.

Изъ каморки умирающаго мы проходимъ узенькимъ коридорчикомъ къ сумасшедшему солдату.

Въ коридорчикѣ при нашемъ проходѣ звенятъ кандалы.

Со скамьи встаютъ двое кандальныхъ.

— Что такое? Больные?

— Никакъ нѣтъ. Для освидѣтельствованія на предметъ тѣлеснаго наказанія! — рапортуетъ надзиратель.

Въ маленькой „изоляціонной“ комнаткѣ доживаютъ свой вѣкъ двое.

Старый каторжникъ изъ солдатъ, который на вопросъ, сколько ъ въ своей жизни получилъ плетей и розогъ, отвѣчаетъ:

— 72 милліона, ваше сіятельство!

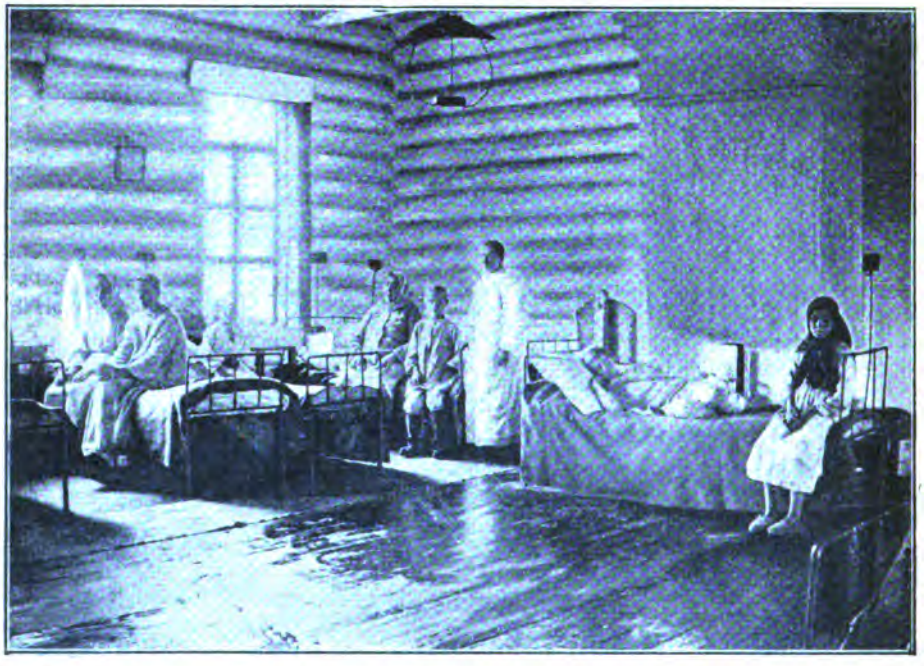
Онъ воображаетъ себя то фельдфебелемъ, то фельдмаршаломъ, и вся его жизнь отражается въ его мрачномъ помѣшательствѣ.

Онъ только и дѣлаетъ, что приговариваетъ людей къ смерти или къ плетямъ.

— Вотъ этотъ, — кричитъ онъ, указывая на служителя и вытаскивая изодранную „сумасшедшую рубаху“, — связать меня хотѣлъ! Повѣсить его въ двадцать четыре часа! А этому смерть отмѣняется — 60 тысячъ плетей безъ помощи врача! Живо!

На другой кровати, скорчившись, спитъ единственное существо, которое не приговариваетъ ни къ смерти ни къ плетямъ, — старый, свирѣпый солдатъ, — зовутъ его „Чушка“.

Слѣпой, слабоумный старикъ.



Женская и дѣтская больница въ посту Александровскомъ.

— Чушка, вставай! — кричитъ солдатъ и выщипываетъ у „Чушки“ нѣсколько волосковъ изъ бровей.

„Чушка“ взвизгиваетъ, просыпается и открываетъ свои ничего не видящіе глаза.

— Чушка, жрать хочешь?

Но Чушка не отвѣчаетъ.

Услыхавъ голосъ доктора, онъ что-то соображаетъ.

— Докторъ, а докторъ!

— Что тебѣ?

— Сдѣлай мнѣ новые глаза.

— Хорошо, сдѣлаю!

— Сдѣлаешь? Ну, ладно.

И Чушка снова засыпаетъ сномъ слабоумнаго старика.

— Не хочешь жрать, Чушка? Это она при надзирателѣ не хочетъ! Повѣсить его сію минуту! Становь висѣлицу! Палача! Плетей! — вопитъ старый солдатъ.

Перейдемъ въ женское отдѣленіе.

Тутъ нѣсколько чище.

— Все-таки женщины! — объясняетъ акушерка.

Родильницы лежатъ съ двумя идіотками, которыя улыбаясь говорятъ о женихахъ.

Доктора: Р. А. Погаевскій, завѣдующій медицинской частью Л. В. Поддубскій и Н. С. Лобасъ.

Обычный женскій бредъ на Сахалинѣ.

Къ доктору подходитъ душевно-больная, молоденькая бабенка, Ненила, прифранченная, нарядно одѣтая.

— Докторъ, скоро меня выпишешь-то?

— Тебѣ зачѣмъ?

— Боюсь, какъ бы надзиратель-то другую не взялъ.

— А ты что прифрантилась?

— Да къ нему итти было собралась!

Ненила смѣется.

— Никакого у нея надзирателя нѣтъ. Бредъ! — потихоньку объясняетъ мнѣ докторъ. — Ты вотъ лучше, Ненилушка, разскажи барину, за что сюда попала? Ему хочется знать.

Лицо Ненилы сразу становится грустнымъ.

— Впутали меня, охъ, впутали! Все онъ впуталъ, извергъ, чтобъ вмѣстѣ шла! Впуталъ, а потомъ, гдѣ онъ, ищи его! И должна я одна быть...

Ненила начинаетъ плакать.

— Да ты не плачь. Разскажи, какъ было?

— Какъ было-то, обнакновенно было! Купецъ-то сидѣлъ, вотъ такъ-то. Пьяный купецъ-то. Борода-то на столѣ!—Ненила смѣется. — Я-то около купца, все ему подливаю: „пей, молъ, такой-сякой, немазанный!“ А онъ-то, онъ сзади подкрадается... Подкрался къ купцу, — пьяный, препьяный купецъ! Я его за руки поймала, держу. А онъ его за бороду хвать, — назадъ оттянулъ, — да по горлу какъ чиркъ! Ай!

Ненила вскрикиваетъ. Быть-можетъ, въ эту-то страшную минуту и „потеряла равновѣсіе“ ея психика.

— Кровь-то въ стѣнку, въ меня полилась, полилась... Корчился купецъ-то, жалостно такъ... Жалостно...

Ненила начинаетъ хныкать, утирать рукавомъ слезы, — и вдругъ разражается смѣхомъ.

— Чего жъ я реву-то, дура? Вотъ дура, такъ дура! И самой смѣшно. Реву, дѣвоньки, и сама не знаю о чемъ! Докторъ, пустите меня къ надзирателю.

— Дай ты мнѣ капелекъ-те, отъ зубовъ-те! — подходитъ къ намъ другая душевно-больная.

Несчастная, сосланная въ каторгу за мужеубійство. Она потеряла психическое равновѣсіе въ первую брачную ночь.

— Съ женщинами это бываетъ... Рано замужъ отдали... Можетъ-быть, мужъ спьяна обошелся очень ужъ грубо, — поясняетъ докторъ.

— Спортили насъ-те! — жалобно разсказываетъ она, — взяли-те да въ постелю кровище-те налили. Я какъ увидала-те, онъ мнѣ и отошнѣлъ... Отошнѣлъ-те, я его и зарѣзала.

Во всей ея позѣ что-то страдальческое, угнетенное.

У нея, въ сущности, не болитъ ничего. Но все-таки остатокъ сознанья требуетъ отчета, почему она въ такомъ угнетенномъ состояніи. И несчастная сама выдумываетъ причины: то жалуется на зубную боль, то черезъ пять минутъ начинаетъ жаловаться на боль въ поясницѣ.

— Третій день-те разогнуться не могу! Болитъ-те!

— А зубы?

— Зубы ничего-те. Поясница вотъ!

— Видите, при какихъ условіяхъ приходится работать, — со вздохомъ говоритъ докторъ.

Я не думаю, чтобы доктора Кириллова надолго хватило на борьбу съ разными сахалинскими, истинно „каторжными“ условіями.

Очень ужъ у него въ нѣсколько мѣсяцевъ расходились нервы.

Сколько народу бѣжало отсюда, народу, приходившаго сюда съ горячимъ желаніемъ принести посильную помощь страдающимъ!

И это будетъ очень жаль.

Такіе люди, люди знанія, люди дѣла, люди просвѣщенные, люди гуманные, люди честные, съ чуткой, доброй, отзывчивой душой, — такіе-то люди и нужны Сахалину.

Похоронная процессія на Сахалинѣ.

Людей плохихъ много и въ пароходномъ трюмѣ каждый годъ присылаютъ.

Каторжное кладбище.

Отъ Корсаковскаго лазарета недалеко до кладбища.

Проѣдемъ „къ маяку“.

Кладбище расположено на горѣ, около Корсаковскаго маяка.

— Нѣтъ ужъ, ваше высокое благородіе, видать, мнѣ къ маяку пора! — говорилъ одинъ тяжкій больной утѣшавшему его доктору.

Что эта за странная процессія взбирается по косогору?

Десятокъ каторжныхъ, уцѣпившись за оглобли, подталкивая сзади, тащатъ телѣгу, на которой лежитъ большой, неуклюжій, бѣлый некрашенный гробъ и лопата.

Сзади со скучающимъ видомъ идетъ посланный смотрѣть за каторжниками надзиратель, съ револьверомъ на шнуркѣ.

Вотъ и вся похоронная процессія.

— Ну! Ну! Наддай! — покрикиваютъ каторжные.

Вотъ и все похоронное пѣніе.

Что-то щемящее, что-то хватающее за душу есть въ этой картинѣ сахалинскихъ похоронъ... Эта телѣга, этотъ надзиратель, эти сѣрыя куртки...

Единственное лицо, которое могло бы проводить покончившаго свои дни „несчастнаго“ въ мѣсто послѣдняго успокоенія, — тоже лежитъ въ могилѣ.

Хоронятъ поселенца.

Изъ ревности онъ зарѣзалъ „сожительницу“ и самъ убѣжалъ изъ дома и отравился „борцомъ“. Его трупъ ужъ черезъ нѣсколько дней нашли въ тайгѣ.

Борецъ — ядовитое растеніе, растущее въ Корсаковскомъ округѣ, на югѣ Сахалина. Корень „борца“ тамъ имѣется „на всякій случай“ у каждаго каторжнаго, у каждаго поселенца. Мнѣ показывали этотъ корень многіе.

— Да на кой вамъ шутъ держать эту дрянь?

— Такое ужъ заведеніе... На всякій случай... Можетъ, и понадобится! — отвѣчали поселенцы съ улыбкой, какой не дай Богъ, чтобы улыбался человѣкъ.

Сойдемъ, проводимъ.

Телѣга медленно вползла на гору.

Ее подвезли къ первой выкопанной могилѣ. На веревкахъ опустили гробъ. Достали съ телѣги лопаты, поплевали на руки, — и застучала земля по гробовой крышкѣ.

Застучала сильно: здѣсь почва глинисто-каменистая. Не земля, а словно какой-то щебень, битый кирпичъ наваленъ около вырытыхъ могилъ.

Глуше и глуше шумитъ земля... Маленькій холмикъ выросъ надъ могилой. Въ него воткнули наскоро сколоченный изъ двухъ „планокъ“ некрашенный крестъ безъ надписи.

Кто перекрестился, а кто и нѣтъ, — и взялись за телѣгу.

— Теперича ходчѣе пойдемъ!

Пошли бѣгомъ и скрылись за спускомъ.

— Тише, черти! — доносится отчаянный голосъ запыхавшагося надзирателя.

— Легче! Легче!.. — слышится подъ горой.

Мы — среди безыменныхъ могилъ.

Александровскій дѣтскій пріютъ для дѣтей и сиротъ каторжныхъ.

— Что это? Неужели въ лазаретѣ такъ много покойниковъ? — съ изумленіемъ смотрю я на массу вырытыхъ „ямъ“.

— Никакъ нѣтъ! — снимая шапку, отвѣчаетъ кучеръ-каторжный.

— Да надѣнь ты шапку, Бога ради! На кладбищѣ всѣ равны.

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе. Это про запасъ ямы приготовлены. Дѣлать-то было нечего, пароходы не приходили,—вотъ и посылали ямы копать. А то горячка пойдетъ, люди на работы нужны будутъ, — не до ямы!

Что за унылая картина!

Маленькіе холмики, на которыхъ торчатъ только какія-то палки вмѣсто крестовъ. Почти ни на одной могилѣ цѣльнаго креста.

А на большинствѣ и совсѣмъ ничего нѣтъ.

— Кто это?

Поселенцы на подтопку таскаютъ. Кому же больше? Въ тайгу-то итти лѣнь. Вотъ отсюда и тащатъ.

Вотъ могила, — хоронила все-таки, должно-быть, заботливая, можетъ-быть, родная рука. Въ крестъ былъ вдѣланъ образъ.

Крестъ уцѣлѣлъ, а образъ выломанъ.

И молится теперь передъ этимъ выломаннымъ изъ могильнаго креста образкомъ какой-нибудь поселенецъ въ грязной, темной, пустой избушкѣ.

— Можетъ, кто выломалъ да въ карты спустилъ. Копейкахъ въ двухъ крестъ пошелъ! — словно угадывая ваши мысли, говоритъ кучеръ.

И надъ всѣми этими маленькими, безвѣстными, безыменными могильными холмами царитъ, возвышается за высокой оградой массивный чугунный крестъ надъ высокой, камнемъ обдѣланной могилѣ купца Тимоѳеева.

— Зарѣзали его! — поясняетъ кучеръ.

— За что зарѣзали?

— За деньги.

И, подумавъ, объясняетъ болѣе пространно.

— Деньги у него, сказываютъ, были. За это самое и зарѣзали. Здѣсь это не долго...

Уйти бы поскорѣй съ этого безотраднѣйшаго и во всемъ мірѣ и даже на Сахалинѣ кладбища.

Но тутъ должна быть одна „святая могила“.

Могила Наумовой, молодой дѣвушки, учительницы, основательницы Корсаковскаго пріюта для дѣтей ссыльно-каторжныхъ.

Она училась въ Петербургѣ, бросила все и пріѣхала сюда, увлеченная святой мыслью, горя великимъ святымъ желаніемъ отдать жизнь на служеніе, на помощь этимъ бѣднымъ, не-

счастнымъ, судьбою заброшеннымъ сюда дѣтямъ преступныхъ отцовъ.

У нея были широкіе планы, она мечтала о ремесленныхъ классахъ для дѣтей, о воскресныхъ школахъ для каторжныхъ, о чтеніяхъ...

Она работала всей душой, энергично, горячо отдаваясь дѣлу. Ей удалось кое-что сдѣлать. Корсаковскій пріютъ ей обязанъ своимъ возникновеніемъ.

Но слабой ли дѣвушкѣ было бороться съ сахалинской черствостью, съ сахалинской мертвечиной, съ сахалинскимъ равнодушіемъ къ страданіямъ ближняго.

Молодая дѣвушка не вынесла борьбы съ гг. служащими, враждебно смотрѣвшими на ея „затѣи“, не вынесла тяжелой атмосферы каторги и застрѣлилась, оставивъ двѣ записки.

Одну: „жить тяжело“. Въ другой просила всѣ ея скудные достатки продать и деньги отдать на ея дѣтище — на пріютъ.

Ихъ прибыло одновременно три, — три подруги, увлеченныя идеей принести посильную помощь страждущимъ; одна застрѣлилась, другая сошла съ ума, третья... вышла замужъ за бывшаго фельдшера, изъ ссыльныхъ. Такъ разно и въ сущности одинаково кончили всѣ три. Да и трудно было устоять въ непосильномъ трудѣ!

Корсаковская „интеллигенція“ устроила Наумовой торжественныя похороны, хотя сахалинская сплетня, сахалинская клевета, ужъ никакъ не могущая понять, что можно жизнь свою отдавать какой-то каторгѣ — даже въ могилѣ не пощадила покойной страдилицы.

Эта могила... Она должна быть здѣсь... Но гдѣ она?

Искалъ, искалъ, — не нашелъ.

— Должно-быть, тамъ! — говорили мнѣ гг. „интеллигенты“.

А вѣдь со смерти Наумовой прошло еле-еле два года!

Пріамурскій генералъ-губернаторъ прислалъ на могилу Наумовой чудный металлическій вѣнокъ съ прекрасной надписью на мѣдной доскѣ.

Этотъ вѣнокъ виситъ... въ полицейскомъ управленіи.

Повѣсить нельзя. Украдутъ!

Да и гдѣ бы они могли его повѣсить?

Такова „долженствующая быть“ святая могила среди безвѣстныхъ грѣшныхъ могилъ.

Тюрьма.

Тюремный „день“ начинается съ вечера, когда производится нарядъ“, — распредѣленіе рабочихъ на работы.

Такъ мы и начнемъ нашъ „день въ тюрьмѣ“.

Нарядъ.

Тюремная канцелярія. Обстановка обыкновеннаго участка. Темновато и грязно.

Писаря изъ каторжныхъ скрипятъ перьями, пишутъ, переписываютъ безконечныя на Сахалинѣ бумаги: рапорты, отношенія, доношенія, записи, выписи, переписи.

При входѣ смотрителя тюрьмы, всѣ встаютъ и кланяются.

Старшій надзиратель подаетъ смотрителю готовое уже распредѣленіе на завтра каторжныхъ по работамъ.

— На разгрузку парохода столько-то. На плотничьи работы столько-то. На таску дровъ, бревнотасковъ... Въ мастерскія... Вотъ что, паря, тутъ Иксъ Игрековичъ Дзэтъ просилъ ему людей прислать, огородъ перекопать.

— Людей нѣтъ, ваше высокоблагородіе. Люди всѣ въ расходѣ.

— Ничего. Пошли 6 человѣкъ. Показать ихъ на плотничьихъ работахъ. Да, еще Альфа Омеговна просила ей двоихъ прислать. Отказать невозможно. А тутъ этотъ контроль теперь во все суется: покажи ему учетъ людей. Просто, хоть разорвись! Ну, да ладно, — пошли ей двоихъ, изъ тѣхъ, что на разгрузку назначены...

„Нарядъ“ конченъ.

Начинается пріемъ надзирателей.

— Тебѣ что?

— Ивановъ, ваше высокоблагородіе, очень грубитъ. Ты ему слово, онъ тебѣ десять. Ругается, срамитъ!

— Въ карцеръ его. На три дня на хлѣбъ и на воду. Тебѣ?

— Петровъ опять буянитъ.

— Въ карцеръ! Всѣ?

— Такъ точно, всѣ-съ.

— Зови рабочихъ.

Входитъ толпа каторжныхъ, кланяются, останавливаются у двери. Среди нихъ одинъ въ кандалахъ.

— Ты что?

— Подслѣдственный. Приговоръ что ли объявлять звали.

— А! Ступай вонъ къ писарю. Васильевъ, прочитай ему приговоръ.

Писарь встаетъ и наскоро читаетъ, бормочетъ приговоръ.

— Пріамурскій областный судъ... Принимая во вниманіе... самовольную отлучку... съ продолженіемъ срока... на 10 лѣтъ!— мелькаютъ слова. — Грамотный?

— Такъ точно, грамотный?

— Распишись.

Кандальный такъ же лѣниво, равнодушно, какъ и слушалъ, расписывается въ томъ, что ему прибавили 10 лѣтъ каторги.

Словно не о немъ идетъ и рѣчь.

— Уходить можно? — угрюмо спрашиваетъ кандальный.

— Можешь. Иди.

— Опять убѣжитъ, бестія! — замѣчаетъ смотритель.

По правиламъ каторги, „порядочный“ каторжникъ всякій приговоръ долженъ выслушивать спокойно, равнодушно, словно не о немъ идетъ рѣчь. Не показывая ни малѣйшаго волненія.

Александровская тюрьма.

Это считается „хорошимъ тономъ“. Въ случаѣ особенно тяжкаго приговора, каторга разрѣшаетъ, пожалуй, выругать судъ. Но всякое „жалостливое“ слово вызвало бы презрѣніе у каторги. Вотъ откуда это „равнодушіе“ къ приговорамъ. Въ сущности же, эти продленія срока за „отлучки“ ихъ сильно волнуютъ и мучатъ, кажутся имъ черезчуръ суровыми и несправедливыми. „За 7 денъ, — да 10 лѣтъ!“ Я самъ видалъ каторжника, только что преспокойно выслушавшаго приговоръ на 15 лѣтъ прибавки. Разговаривая вдвоемъ, безъ свидѣтелей, онъ безъ слезъ говорить не могъ объ этомъ приговорѣ: „Погибшій я теперь человѣкъ! Что жъ мнѣ остается теперь дѣлать? Навѣки ужъ теперь“. И столько горя слышалось

въ тонѣ „канальи“, который и „глазомъ не моргнетъ“, слушая приговоръ.

— Тутъ еще приговоръ есть. Ѳедоръ Непомнящій кто?

— Я! — отзывается подслѣповатый мужиченка.

— Ты хлопоталъ объ открытіи родословія?

— Такъ точно.

— Ну, такъ слушай!

Писарь опять начинаетъ бормотать приговоръ.

— Областный судъ... заявленія Ѳедора Непомнящаго... осужденнаго на четыре года за бродяжество... признать его ссыльно-поселенцемъ такимъ-то... принимая во вниманіе несходство примѣтъ... глаза у Ѳедора Непомнящаго значатся голубые... а у ссыльно-поселенца сѣрые... носъ большой... постановилъ отклонить... Слышалъ, отказано?

— Носомъ, стало-быть, не вышелъ? — горько улыбается Непомнящій. — Выходитъ теперь, что и я не я!..

— Грамотный?

— Такъ точно, грамотный. Только по вечерамъ писать не могу. Куриная слѣпота у меня. Меня и сюда-то привели.

— Ну, ладно! Завтра подпишешь! Ступай.

— Стало-быть, опять въ тюрьму?

— Стало-быть!

— Эхъ, Господи! — хочетъ что-то сказать Непомнящій, но удерживается, безнадежно машетъ рукой и медленно, походкой слѣпого, идетъ къ толпѣ каторжныхъ.

Ни на кого ни приговоръ ни восклицаніе не производятъ никакого впечатлѣнія. На каторгѣ „каждому — до себя“.

— Вы что? — обращается смотритель къ толпѣ каторжныхъ.

— Срокъ окончили.

— А? На поселеніе выходите? Ну, паря, до свиданья. Желаю вамъ. Смотрите, ведите себя чисто. Не то опять сюда попадете.

— Покорнѣйше благодаримъ! — кланяются покончившіе свой срокъ каторжане.

— Опять половина скоро въ тюрьму попадетъ! — успокоиваетъ меня смотритель. — Тебѣ чего?

Толпа разошлась. Передъ столомъ стоитъ одинъ мужиченка.

— Строкъ кончилъ сегодня, ваше высокоблагородіе. Да не отпущаютъ меня. Съ топоромъ у меня...

— Топоръ у него пропалъ казенный,— объясняетъ старшій надзиратель.

— Пропилъ, паря?

— Никакъ нѣтъ. Я не пью.

— Не пьетъ онъ!—какъ эхо, подтверждаетъ и надзиратель.
— Украли у меня топоръ-отъ.
— Кто же укралъ? Вѣдь знаешь, небось?
Мужиченка чешетъ въ затылкѣ.

Арестантскія работы. Сосгавленіе плотовъ.

— Нешто я могу сказать, кто. Сами знаете, ваше высокоблагородіе, что за это бываетъ, кто говоритъ.

— Вѣдь вотъ народецъ, я вамъ доложу! — со злостью говоритъ смотритель, — воровать другъ у друга — воруютъ, а сказать — не смѣй! Что жъ, братъ, не хочешь говорить, — и

сиди, пока казенный топоръ не найдется. Большой срокъ-то у тебя былъ?

— Десять годовъ!

— Позвольте доложить, — вступается кто-то изъ писарей,— деньги тутъ у него есть заработанныя, немного. Вычесть, можетъ, за топоръ можно.

— Такъ точно, есть, есть деньги!— какъ за соломинку утопающій хватается мужиченка.

На лицѣ радость, надежда.

— Ну, ладно! Такъ и быть. Зачтите за топоръ. Освободить его! Ступай, чортъ съ тобой!

— Покорнѣйше благодаримъ, ваше высокоблагородіе!

И „напутствованный“ такимъ образомъ мужиченка идетъ „вести новую жизнь“.

Его мѣсто передъ столомъ занимаетъ каторжникъ въ изорванномъ бушлатѣ, разорванной рубахѣ, съ подбитой физіономіей.

— Ваше высокоблагородіе! Явите начальническую милость! Не дайте погибнуть!— не говоритъ, а прямо вопіетъ онъ.

— Что съ нимъ такое?

— Опять побили его!— докладываетъ старшій надзиратель.

— Вотъ не угодно ли?— обращается ко мнѣ смотритель.— Что мнѣ съ нимъ дѣлать,— куда ни переведу, вездѣ его бьютъ. Прямо смертнымъ боемъ бьютъ.

— Такъ точно!— подтверждаетъ и надзиратель. — Въ карцеръ, какъ вы изволили приказать, въ общій сажалъ, будто бы за провинность [1]). Не повѣрили,— и тамъ избили. На работы ужъ не гоняю. Того и гляди,— совсѣмъ пришьютъ!

Человѣкъ, заслуживший такую злобу каторги, заподозрѣнъ ею въ томъ, что донесъ, гдѣ скрылись двое бѣглыхъ.

— А полезный человѣкъ былъ!— потихоньку сообщаетъ мнѣ смотритель.—Черезъ него я узналъ все, что дѣлается въ тюрьмѣ.

И вотъ теперь этотъ „полезный человѣкъ“ стоялъ передъ нами избитый, безпомощный, отчаявшійся въ своей участи.

Каторга его бьетъ. Тѣ, кому онъ былъ полезенъ,— что они могутъ подѣлать съ освирѣпѣвшей, остервенившейся каторгой?

— Наказывай ихъ, пожалуй! А они еще сильнѣе его бить начнутъ. Уходятъ еще совсѣмъ!

— И уходятъ, ваше высокоблагородіе,— тоскливо говоритъ доносчикъ,— безпремѣнно они меня уходятъ.

— Да хоть кто билъ-то тебя, скажи? Зачинщикъ-то кто, по крайней мѣрѣ?

---

[1]) Это дѣлается часто; доносчиковъ, «для отвода глазъ», подвергаютъ наказанію: будто онъ въ немилости у смотрителя. Часто доносчики, заподозрѣнные каторгой просятъ даже, чтобы ихъ подвергли тѣлесному наказанію, «а то убьютъ».

— Помилуйте, ваше высокоблагородіе, — да развѣ я смѣю сказать? Будетъ! Довольно ужъ! Да мнѣ тогда одного дня не жить. Совсѣмъ убьютъ.

Бровнотаски.

— Вотъ видите, вотъ видите! Какіе нравы. Какіе порядки! Что жъ мнѣ дѣлать съ тобой, паря?

— Ваше высокоблагородіе! — и несчастный обнаруживаетъ желаніе кинуться въ ноги.

— Не надо, не надо.

— Переведите меня куда ни на есть отсюда. Хоть въ тайгу, хоть на Охотскій берегъ пошлите. Нѣтъ моей моченьки побои эти неистовые терпѣть. Косточки живой нѣтъ. Лечь, сѣсть не могу. Все у меня отбили. Ваше высокоблагородіе, руки я на себя наложу!

Въ голосѣ его звучитъ отчаяніе, и, дѣйствительно, рѣшимость пойти на все, на что угодно.

Смотритель задумывается.

— Ладно! Отправить его завтра во 2-й участокъ. Дрова изъ тайги будешь таскать.

Это одна изъ самыхъ тяжелыхъ работъ,— но несчастный радъ и ей, какъ празднику, какъ избавленью.

— Покорнѣйше васъ благодарю. Ваше высоко...

— Что еще?

— Дозвольте на эту ночь меня въ карцеръ одиночный посадить! Опять бить будутъ.

— Посадите! — смѣется смотритель.

— Покорнѣйше благодарю.

Вотъ человѣкъ, вотъ положеніе,— когда одиночный карцеръ, пугало каторги, и то кажется раемъ.

— Все?

— Такъ точно, все.

— Ну, теперь идемте въ тюрьму, на перекличку, молитву,— да и спать! Поздно сегодня люди спать лягутъ съ этой разгрузкой парохода! — глядитъ смотритель на часы.— Одиннадцать. А завтра въ четыре часа утра прошу на раскомандировку.

Тюрьма ночью.

Холодная, темная, безлунная ночь. Только звѣзды мерцаютъ.

По огромному тюремному двору тамъ и сямъ бѣгаютъ огоньки фонариковъ.

Не видно ни зги,— но чувствуется присутствіе, дыханье толпы.

Мы останавливаемся предъ высокимъ чернымъ силуэтомъ какого-то зданія; — это — часовня посреди двора.

— Шапки долой! — раздается команда,— къ молитвѣ готовьсь. Начинай.

— „Христосъ воскресе изъ мертвыхъ“...— раздается среди темноты.

Поютъ сотни невидимыхъ людей.

Голоса слышатся въ темнотѣ справа, слѣва, около, гдѣ-то тамъ, вдали!..

Словно вся эта тьма запѣла.

Арестантскія работы. Каторжане, тащащіе балку для баржи.

Этотъ гимнъ воскресенія, пѣснь торжества побѣды надъ смертью,— при такой обстановкѣ! Это производило потрясающее впечатлѣніе.

Невидимый хоръ пропѣлъ еще нѣсколько молитвъ, и началась повѣрка.

За позднимъ временемъ, обычной переклички не было, просто считали людей.

Поднявъ фонарь въ уровень лица, надзиратели проходили по рядамъ и пересчитывали арестантовъ.

Изъ темноты на моментъ выглядывали старыя, молодыя, мрачныя, усталыя, свирѣпыя, отталкивающія и обыденныя лица,— и сейчасъ же снова исчезали во тьмѣ.

Въ концѣ каждаго отдѣленія фонарь освѣщалъ чисто одѣтаго старосту.

— Семьдесятъ пять?— спрашивалъ надзиратель.

— Семьдесятъ пять!— отвѣчалъ староста.

Старшій надзиратель подвелъ итогъ и доложилъ смотрителю, что всѣ люди въ наличности.

— Ступай спать!

Толпа зашумѣла. Тьма кругомъ словно ожила. Послышался топотъ ногъ, разговоръ, вздохи, позѣвыванія.

Усталые за день каторжники торопливо расходились по камерамъ.

— Кто идетъ?— окрикнулъ часовой у кандальной тюрьмы.

— Кто идетъ?— уже отчаянно завопилъ онъ, когда мы подошли ближе.

— Г. смотритель! Что орешь-то?..

Мы прошли подъ воротами.

Загремѣлъ огромный замокъ, клубъ сырого, промозглаго пара вырвался изъ отворяемой двери,— и мы вошли въ одинъ изъ „номеровъ“ кандальнаго отдѣленія.

— Смирно! Встать!

Наше появленіе словно разбудило дремавшіе кандалы.

Кандалы забренчали, залязгали, зазвенѣли, заговорили своимъ отвратительнымъ говоромъ.

Чувствовалось тяжело среди этого звона цѣпей, въ полумракѣ кандальной тюрьмы. Я взглянулъ на стѣны. По нимъ тянулись какія-то широкія тѣни, полосы. Словно гигантскій паукъ заткалъ все какой-то огромной паутиной... Словно какія-то огромныя летучія мыши прицѣпились и висѣли по стѣнамъ.

Это — вѣтви ели, развѣшанныя по стѣнамъ для освѣженія воздуха.

Пахло сыростью, плѣсенью, испариной.

Кандальныхъ перекликали по фамиліямъ.

Они проходили мимо насъ, звеня кандалами, — а по стѣнѣ двигались уродливыя, огромныя тѣни.

Въ одномъ изъ отдѣленій было двое тачечниковъ. Оба — кавказцы, прикованные за побѣги.

Одинъ изъ нихъ, высокій, крѣпкій мужчина, съ открытымъ лицомъ, смѣлыми, врядъ ли когда отражавшими страхъ глазами, — при перекличкѣ, громыхая цѣпями, провезъ свою тачку мимо насъ.

Другой лежалъ въ углу.

— А тотъ чего лежитъ?

Тачечникъ что-то проговорилъ слабымъ, прерывающимся голосомъ.

— Больна она! очень шибко больна! Слаба стала! — объяснилъ татаринъ-переводчикъ.

Во время молитвы онъ поднялся и стоялъ, опираясь на свою тачку, охая, вздыхая, напоминая какой-то страдальческій призракъ, при каждомъ движеніи звенѣвшій цѣпями.

Вы не можете себѣ представить, какое впечатлѣніе производитъ человѣкъ, прикованный къ тачкѣ.

Вы смотрите на него прямо съ удивленіемъ.

— Да чего это онъ ее все возитъ?

И воочію видишь, и не вѣрится въ это наказаніе.

По окончаніи провѣрки, кандальные пѣли молитвы.

Было странно слышать: въ „номерѣ“ — 40—50 человѣкъ, а поетъ слабенькій хоръ изъ 7—8. Остальные все кавказцы...

Меня удивляло, что въ кандальномъ отдѣленіи не пѣли „Христосъ воскресе“.

— Почему это? — спросилъ я у смотрителя.

— А забыли, вѣроятно!

Люди, забывшіе даже про то, что теперь пасхальная недѣля!..

Раскомандировка.

5-ый часъ. Только-только еще разсвѣло.

Морозное утро. Иней легкимъ бѣлымъ налетомъ покрываетъ все: землю, крыши, стѣны тюрьмы.

Изъ отворенныхъ дверей столбомъ валитъ паръ. Нехотя, почесываясь, потягиваясь, выходятъ невыспавшіеся, не успѣвшіе отдохнуть люди; нѣкоторые на ходу надѣваютъ свое „рванье“, другіе торопятся прожевать хлѣбъ.

Не чувствуется обычной свѣжести и бодрости трудового, рабочаго утра.

Люди становятся шеренгами: плотники — къ плотникамъ, чернорабочіе — къ чернорабочимъ.

Надзиратели по спискамъ выкликаютъ фамиліи.

— Здѣсь!.. Есть!.. — на всѣ тоны слышатся съ разныхъ концовъ двора голоса, то заспанные, то мрачные, то угрюмые.

— Мохамедъ-Бекъ-Искандеръ-Али-Оглы! — запинаясь читаетъ надзиратель. — Ишь, чортъ, какой длинный.

— Иди, что ли, дьяволъ! Малайка[1]), тебя зовутъ! — толкаютъ каторжные кавказца, за три года каторги все еще не привыкшаго узнавать своего громкаго „бекскаго“ имени въ безбожно исковерканной передачѣ надзирателл.

Надъ всѣмъ этимъ царитъ кашель, хриплый, затяжной, типичный катарральный кашель.

Многихъ прохватываетъ на морозцѣ „цыганскій потъ“. Дрожатъ, еле попадаютъ зубъ на зубъ.

Ждутъ не дождутся, когда крикнутъ:

— Пошелъ!

Еще очень недавно этотъ ранній часъ, часъ раскомандировки, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и часомъ возмездія.

Посрединѣ двора ставили „кобылу“, — и тутъ же, въ присутствіи всей каторги, палачъ наказывалъ провинившагося или не выполнившаго наканунѣ урока.

А каторга смотрѣла и... смѣялась.

— Баба!.. заверещалъ какъ поросенокъ!.. Не любишь! — встрѣчали они смѣхомъ всякій крикъ наказуемаго.

Жестокое зрѣлище!

Иногда каторга „экзаменовала“ своихъ стремившихся заслужить уваженіе товарищей и попасть въ „Иваны“, въ герои каторги.

На кобылу клали особенно строптиваго арестанта, клявшагося, что онъ ни за что „не покорится начальству“.

И каторга съ интересомъ ждала, какъ онъ будетъ держать себя подъ розгами.

Стиснувъ зубы, подчасъ до крови закусивъ губы, лежалъ онъ на кобылѣ и молчалъ.

Только дико вращавшіеся глаза да надувшіяся на шеѣ жилы говорили, какія жестокія мученія онъ терпѣлъ и чего стоитъ это молчаніе предъ лицомъ всей каторги.

— Двѣнадцать! Тринадцать! Четырнадцать! — мѣрно считалъ надзиратель.

— Не мажь!.. Рѣже!.. Крѣпче! — кричалъ раздраженный этимъ стоическимъ молчаніемъ смотритель.

Палачъ билъ рѣже, клалъ розгу крѣпче...

— Пятнадцать... Шестнадцать... — уже съ большими интервалами произносилъ надзиратель.

Стонъ, невольный крикъ боли вырывался у несчастнаго.

---

[1]) Названіе всѣхъ молодыхъ кавказцевъ. Старые зовутся «Бабаями».

„Срѣзался! Не выдержалъ!“
Каторга отвѣчала взрывомъ смѣха.
Смотритель глядѣлъ побѣдоносно:
— Сломалъ!

Партія кандальныхъ, идущая на работу.

Иногда каторга ждала раскомандировки, просто какъ интереснаго и смѣшного спектакля.

— Смотрите, братцы, какіе я завтра курбеты буду выкидывать, какъ меня драть будутъ. Приставленіе! — похвалялся какой-нибудь „жиганъ“, продувшій въ карты все, до казенной

одежды и пайка включительно, питающійся крохами со стола каторги и за это разыгрывающій роль шута.

И каторга ждала „приставленія“.

Помирая отъ внутренняго, еле сдерживаемаго смѣха, смотрѣла она на „курбеты“, которые выдѣлывалъ „жиганъ“.

Многіе не выдерживали, прыскали отъ смѣха, на землю присѣдали отъ хохота: „Не могу, братцы вы мои“

— А несчастный „жиганъ“ старался.

Падалъ передъ смотрителемъ на колѣни, клялся, что никогда не будетъ, просилъ пощадить его, „сироту, ради дѣточекъ малыихъ“.

Не давался положить на кобылу, кричалъ еще тогда, когда палачъ только замахивался.

— Ой, батюшки, больно! Ой, родители, больно!

— Крѣпче его, шельму! — командовалъ взбѣшенный смотритель.

А „жиганъ“, лежа подъ розгами, прибиралъ самыя „смѣшныя“ восклицанія.

— Ой, бабушка моя милая! Родители мои новопреставленные!

И кровью и тѣломъ расплачивался за тѣ крохи, которыя бросала ему со своего стола каторга.

Расплачивался, доставляя ей „удовольствіе“.

Наказанье кончалось, и „жиганъ“, часто еле-еле, но непремѣнно съ дѣланной, натянутой улыбкой, подходилъ къ своимъ.

— Ловко?

Еще недавно, выйдя раннимъ морознымъ утромъ на крыльцо, можно было слышать вопли и стоны, несшіеся съ тюремнаго двора.

Но tempora mutantur... Вѣянія нашего великаго гуманнаго вѣка все же сказались и на Сахалинѣ.

И смотритель Корсаковской тюрьмы горько жаловался мнѣ, что ему не даютъ теперь „исправлять“ преступниковъ.

Эти утреннія расправы, экзамены и спектакли для каторги составляютъ сравнительно рѣдкость.

Раскомандировка происходитъ и кончается тихо и мирно.

Перекличка кончена.

— Ступай!

И каторжные, съ топорами, пилами, веревками, срываются съ мѣста, бѣгутъ вприпрыжку, стараясь согрѣться на ходу.

Тюрьма кандальная.

„Кандальной“ называется на Сахалинѣ тюрьма для наиболѣе тяжкихъ преступниковъ, — официально „тюрьма разряда испытуемыхъ“, тогда какъ тюрьма „разряда исправляю-

щихся", — для менѣе тяжкихъ или окончившихъ срокъ „испытуемости",— называется „вольной тюрьмой", потому что ея обитатели ходятъ на работы безъ конвоя, подъ присмотромъ одного надзирателя.

— Кандальная тюрьма у насъ плохая! — заранѣе предупреждалъ меня смотритель.— Строимъ новую,— никакъ достроить не можемъ.

И чтобы показать мнѣ, какая у нихъ плохая тюрьма, смотритель ведетъ меня по дорогѣ въ пустое, перестраивающееся отдѣленіе.

— Не угодно ли? Это стѣна? — смотритель отбиваетъ палкой куски гнилого дерева. — Да изъ нея и бѣжать-то нечего! Раз-

Александровская тюрьма разряда испытуемыхъ.

бѣжался, треснулся головой объ стѣну, — и вылетѣлъ насквозь. Воздухъ скверный. Зимой холодно,— вообще дрянь.

Гремитъ огромный, ржавый замокъ.

— Смирно! — командуетъ надзиратель.

Громыхаютъ цѣпи, и около наръ вырастаютъ въ шеренгу аторжане.

На первый день Пасхи изъ кандальной тюрьмы бѣжало вое,— несмотря на данное всей тюрьмой „честное арестантское ово", — и теперь, въ наказаніе, закованы всѣ.

Сыро и душно; запахъ ели, развѣшанной по стѣнамъ, емножко освѣжаетъ этотъ спертый воздухъ.

Вентиляціи — никакой.

Пахнетъ пустотой, бездомовьемъ.

Люди на все махнули рукой,— и на себя.

Никакихъ признаковъ, хоть малѣйшей, хоть арестантской домовитости. Никакого стремленія устроить свое существованіе посноснѣе.

Даже обычные арестантскіе сундуки,— рѣдко, рѣдко у кого.

Голыя нары, свернутые комкомъ соломенные грязные матрацы въ головахъ.

По этимъ голымъ нарамъ бродитъ, поднявъ хвостъ, ободранная чахлая кошка и, мурлыкая, ласкается къ арестантамъ.

Арестанты очень любятъ животныхъ; кошка, собака — обязательная принадлежность каждаго „номера". Можетъ-быть, потому и любятъ, что только животныя и относятся къ нимъ, какъ къ людямъ.

Посреди номера столъ,— даже не столъ, а высокая длинная узкая скамья. На скамьѣ налито, валяются хлѣбныя крошки, стоятъ неубранные жестяные чайники.

Мы заходимъ какъ разъ въ тотъ „номеръ", гдѣ живутъ двое „тачечниковъ".

— Ну-ка, покажи свой инструментъ!

Несмазанная „тѣлежка" визжитъ, цѣпи громыхаютъ, прикованный тачечникъ подвозитъ къ намъ свою тачку.

Тачка,— вѣсомъ пуда въ два,— прикована длинной цѣпью къ ножнымъ кандаламъ.

Раньше она приковывалась къ ручнымъ, но теперь ручные кандалы надѣваются на тачечниковъ рѣдко, въ наказаніе за особыя провинности.

Куда бы ни шелъ арестантъ,— онъ всюду везетъ за собой тачку.

Съ нею и спитъ, на особой койкѣ, въ уголкѣ, ставя ее подъ кровать.

— На сколько лѣтъ приговоренъ къ тачкѣ? — спрашиваю.

— На два. А до него на этой постели спалъ три года другой тачечникъ.

Я подхожу къ этой постели.

У изголовья дерево сильно потерто. Это — цѣпью. Пять лѣтъ третъ это дерево цѣпь...

— Дерево, и то стирается! — угрюмо замѣчаетъ мнѣ одинъ изъ каторжниковъ.

Наказаніе тяжкое, — оно было бы совсѣмъ невыносимымъ, если бы тачечники изрѣдка не давали сами себѣ отдыха.

Трудно заковать арестанта „наглухо". При помощи товарищей, намазавъ кандалы мыломъ,— хоть и съ сильной болью, они иногда снимаютъ на ночь оковы, а съ ними освобо-

ждаются и отъ тачки, отдыхаютъ хоть нѣсколько часовъ въ мѣсяцъ.

Бываютъ случаи даже побѣговъ „тачечниковъ“.

— Работаютъ у васъ тачечники?

— Я заставляю,—а въ другихъ тюрьмахъ отказываются. Ничего съ ними не подѣлаешь: народъ во всемъ отчаявшійся.

Кругомъ угрюмыя лица. Безнадежностію свѣтящіеся глаза. Холодные, суровые, озлобленные взгляды,—и злоба и страданіе свѣтятся въ нихъ. Вотъ-вотъ, кажется, лопнетъ терпѣніе этихъ „испытуемыхъ“ людей.

Тачечникъ, прикованный къ тачкѣ на два года.

Никогда мнѣ не забыть одного взгляда.

Среди каторжныхъ одинъ интеллигентный, нѣкто Козыревъ, москвичъ, сосланный за дисциплинарное преступленіе на военной службѣ.

Симпатичное лицо. И что за странный, что за страшный взглядъ!

Такой взглядъ бываетъ, вѣроятно, у утопающаго, когда онъ въ послѣдній разъ всплываетъ надъ водой и оглянется, — ничего, за что бы ухватиться, ниоткуда помощи, ничего, кромѣ волны, кругомъ. Безнадежно, съ предсмертной тоской взглянетъ онъ кругомъ и молча пойдетъ ко дну, безъ борьбы.

— Поскорѣй бы!

Тяжело и глядѣть на этотъ взглядъ, а каково имъ смотрѣть?

Среди кандальныхъ содержатся бѣглые, рецидивисты и стоящіе подъ слѣдствіемъ.

— Ты за что?

— По подозрѣнію въ убійствѣ.

— Ты?

— За кражу.

— Ты?

— По подозрѣнію въ убійствѣ.

„По подозрѣнію“... „по подозрѣнію“... „по подозрѣнію“.

— Ты за что?

— За убійство двоихъ человѣкъ! — слышится прямой, рѣзкій отвѣтъ, сказанный твердымъ, рѣшительнымъ голосомъ.

— Поселенецъ онъ! — объясняетъ смотритель. — Отбылъ каторгу и теперь опять убилъ.

— Кого жъ ты?

— Сожительницу и надзирателя.

— Изъ-за чего жъ вышло?

— Баловаться начала. Съ надзирателемъ баловалась. „Пойду да пойду къ надзирателю жить, что мнѣ съ тобой, съ поселенцемъ-то каторжнымъ?“ — „Врешь,— говорю, — не пойдешь“. Просилъ ее, молилъ, Господомъ Богомъ заклиналъ. И не пошла бы, можетъ, да надзиратель за ней пришелъ — и взялъ. „Я, — говоритъ, — ее въ постъ поведу. Ты съ ней скверно живешь. Бьешь.“ — „Врешь, — говорю, — эѳіопская твоя душа! Пальцемъ ея не трогаю. И тебѣ ея не отдамъ. Не имѣешь никакого права ее отъ меня отбирать!“ — „У тебя, — говоритъ, — не спрашивался! Одѣвайся, пойдемъ, — чего на него смотрѣть“. Упреждалъ — я: — Не дѣлай, молъ, этого, плохо выйдетъ. — „А ты, — говоритъ, — еще погрози, въ карцеи, видно, давно не сиживалъ. Скажу слово — и посидишь!“ Взялъ ее и повелъ...

Передергиваетъ поселенца при одномъ воспоминаніи.

Повелъ ее, а у меня голова кругомъ. „Стой“, думаю. Взялъ ружье,— ружьишко у меня было. Они-то дорогой шли, — а я тайгой, тропинкой, впередъ ихъ забѣжалъ, притаился, подождалъ. Вижу, идутъ, смѣются. Она-то зубы съ нимъ скалитъ... И прикончилъ. Сначала его, а потомъ ужъ ее, — чтобъ видѣла!

„Прикончивъ“, поселенецъ жестоко надругался надъ трупами. Буквально искромсалъ ихъ ножомъ. Много накопившейся злобы, тяжкой обиды сказалось въ этомъ звѣрскомъ, циничномъ издѣвательствѣ надъ трупами.

— Себя тогда не помнилъ, что дѣлалъ. Радъ только былъ, что ему не досталась... Да и тяжко было.

Поселенецъ — молодой еще человѣкъ, съ добродушнымъ лицомъ. Но въ глазахъ, когда онъ разсказываетъ, свѣтится много воли и рѣшимости.

— Любилъ ты ее, что ли?

— Извѣстно, любилъ. Не убивалъ бы, если бъ не любилъ..

— Ваше высокоблагородіе!— пристаетъ къ смотрителю, пока я разговариваю въ сторонкѣ, пожилой мужиченка, — велите меня изъ кандальной выпустить! Что жъ я сдѣлалъ? На тр

дня всего отлучился. Горе взяло, — выпилъ, только и всего. Досталъ водки бутылку, да и прогулялъ. За что же меня держать?

— Врешь, паря, убѣжишь!

— Господи, да зачѣмъ мнѣ бѣжать? Что мнѣ, въ тюрьмѣ что ли нехорошо? — распинается „бѣглецъ". — Сами изволите знать, было бы плохо, — взялъ „борцу", да и конецъ. Сами знаете, лучше ничего и не можетъ быть. Борецъ — отъ каторги средство первое.

— Долго ли меня здѣсь держать будутъ? — мрачно спрашиваетъ другой. — Долго ли, спрашиваю!

— Слѣдствіе еще идетъ.

Маклаки, торгующіе хлѣбомъ у тюрьмы.

— Да вѣдь четвертый годъ я здѣсь сижу, задыхаюсь! Долго ли моему терпѣнію предѣла не будетъ? Вѣдь сознаюсь я...

— Мало ли что ты, паря, сознаешься, да слѣдствіе еще не кончено.

— Да вѣдь силъ, силъ моихъ, говорю, нѣту.

— Ваше высокоблагородіе! Что жъ это за баланду дали? Ѣсть невозможно! Картошка нечищенная! На Пасху разговляться, — и то рыбу дали!..

Мы выходимъ.

— Выпустите вы меня, говорю, вамъ...

— Ваше высокоблагородіе, долго ли?.. Ваше...

Надзиратель запираетъ дверь большимъ висячимъ замкомъ.

Изъ-за запертой двери доносится глухой гулъ голосовъ.

Корсаковская кандальная тюрьма — одна изъ наиболѣе мрачныхъ, наиболѣе безотрадныхъ на Сахалинѣ.

Быть-можетъ, ея обитатели произвели на васъ не только непріятное, — отталкивающее впечатлѣніе?

Милостивые государи, вы стоите рядомъ съ человѣческимъ горемъ. А горе надо слушать сердцемъ.

Тогда вы услышите въ этомъ „звѣрствѣ“ много и человѣческихъ мотивовъ, въ „злобѣ“ — много страданія, въ „циничномъ“ смѣхѣ — много отчаянія...

По грязному двору кандальной тюрьмы мы переходимъ въ „отдѣленіе исправляющихся“.

Вольная тюрьма.

Люди на работахъ.

Въ тюрьмѣ остались только староста, „каморщики“, — т.-е. уборщики камеръ, — парашечники, — вообще „чиновники“, какъ ихъ насмѣшливо называетъ каторга.

Метутъ, скребутъ, чистятъ, прибираютъ.

Вездѣ бѣлятъ.

Изъ ельника дѣлаютъ очень живописные узоры и убираютъ ими стѣны.

Ждутъ пріѣзда начальства, — и, конечно, тогда тюрьма не будетъ имѣть того вида, какой она имѣетъ теперь въ своемъ обычномъ, повседневномъ, будничномъ уборѣ.

Вольная тюрьма, — и Корсаковская и всякая другая на Сахалинѣ, — производитъ впечатлѣніе, просто-напросто, ночлежнаго дома.

Очень плохого, очень грязнаго, гдѣ собираются самые подонки городской нищеты.

Гдѣ никто не заботится ни о воздухѣ, ни о чистотѣ, ни о гигіенѣ.

Пришелъ, выспался — и ушелъ!

— Пропади она пропадомъ!

Грязныя, тусклыя окна пропускаютъ мало свѣта.

Нары — посреди каждаго „номера“ — скатомъ на двѣ стороны. Нары вдоль стѣнъ.

Грязь — хоть ножомъ отскабливай. Мыломъ никакимъ не отмоешь.

Когда моютъ полы, поднимаютъ одну изъ половицъ, и грязь просто-напросто стекаетъ подъ полъ.

Мы застаемъ какъ разъ такую картину.

— Ахъ, свиньи, свиньи! — качаетъ головою смотритель словно въ этомъ виноваты однѣ „свиньи“.

Александровская тюрьма въ день пріѣзда высшаго начальства.

Пробую палкой, — палка чуть не на полъ-аршина уходитъ въ жидкую грязь въ подполицѣ.

На этомъ-то болотѣ изъ грязи стоитъ тюрьма. Этими испареніями дышатъ люди.

— Очень, очень скверная тюрьма! — подтверждаетъ смотритель. — Теперь еще ничего, только сыро. А зимой — холодъ. Скверно, очень, очень скверно.

Почти во всякой тюрьмѣ, въ какомъ-нибудь номерѣ, вы непремѣнно увидите скрипку. Она виситъ обыкновенно на передней стѣнѣ, гдѣ виситъ все, что есть наиболѣе цѣннаго у тюрьмы, — образъ, лубочныя картины, какія есть, лучшее платье. Около этой же стѣны стоитъ обыкновенно и отдѣльная, сравнительно чистая постель всегда „чисто“ одѣтаго въ свое платье старосты.

Скрипка — любимый инструментъ каторги.

Помню, я разсказалъ кому-то изъ каторжныхъ ту сцену изъ „Мертваго дома“, гдѣ Достоевскій описываетъ, какъ загулявшій каторжанинъ нанимаетъ скрипача, и тотъ цѣлый день ходитъ за нимъ и пищитъ на скрипкѣ.

Мой собесѣдникъ даже словно обрадовался.

— Вотъ, вотъ, — для этого самаго! Загуляетъ кто! Это господинъ, про котораго вы изволите говорить, вѣрно описалъ.

— Да вѣдь онъ описывалъ давнишнее время.

— Все одно, — и теперь-съ. Скрипка — первая штука, ежели гулять. Веселый струментъ.

Въ одной изъ камеръ на стѣнѣ висѣли самодѣльныя картины одного изъ каторжныхъ, Бабаева. Картины изображали скачущихъ верхами генераловъ.

— А гдѣ самъ художникъ?

— На обвахтѣ сидитъ. Въ одиночкѣ содержится.

— Вотъ что, я возьму одну картину, — на тебѣ рубль, передай Бабаеву. Ему, чай, на табачишко, на сахаръ нужно! — далъ я нарочно, чтобъ испытать, передастъ ли человѣкъ деньги своему еще болѣе страждущему товарищу.

— Смотри же, передай!

— Помилте!

Деньги переданы не были.

Мастерскія.

Корсаковскія мастерскія, — столярная, слесарная, токарная, сапожная, швальная, кузница, — работаютъ недурно.

И у гг. служащихъ и даже во Владивостокѣ, у многихъ можно видѣть очень приличную мебель работы корсаковскихъ мастерскихъ.

Мастерскія расположены здѣсь же на тюремномъ дворѣ.

Многіе мастеровые въ нихъ и ночуютъ. Какъ-то легче на душѣ становится, когда послѣ тюремной „оголтѣлости“ и голой нищеты входишь въ мастерскія.

Здѣсь хоть чуть-чуть да пахнетъ въ воздухѣ достаткомъ, у всякаго есть хоть что-нибудь и лишнее.

Люди имѣютъ кое-какой посторонній заработишко, — по праздникамъ, во время, полагающееся для отдыха.

У кого есть кроватишка, у кого хоть какое-нибудь лишнее тряпье.

Да и лица не такія ужъ „каторжныя“, — трудъ все-таки кладетъ на нихъ благородный, человѣческій отпечатокъ.

Трудъ подневольный, „барщина“, — но если вы хотите видѣть, какъ можетъ работать арестантъ, съ какой охотой, какъ старательно онъ работаетъ, если хоть чуть-чуть заинтересованъ въ трудѣ, — похвалите работу.

— Отличные, молъ, коты (арестантскіе башмаки). Видно, хорошій мастеръ. Тонкую работу исполнять можешь.

Доброе слово на каторгѣ — рѣдкость [1]).

Доброе слово, непривычное, производитъ на каторжнаго больше впечатлѣнія, чѣмъ привычная розга.

Отъ похвалы лицо рабочаго распустится въ улыбку, — онъ непремѣнно достанетъ изъ „укладки“ и похвастается работою „на сторону“.

И что за тщательная, что за любовная работа! Подошва у другого, и та вся выстрочена какими-то рисунками.

Не то, чтобъ ему за это заплатили дороже, а любитъ онъ „свою“ работу, старается надъ ней, отдѣлываетъ сапогъ какой-нибудь, словно художникъ-ювелиръ гранитъ рѣдкій, ему самому нравящійся брилліантъ.

И не даромъ люди, хорошо знающіе каторгу, говорятъ, что, если бы ее хоть чуть-чуть заинтересовать матеріально въ трудѣ, каторга меньше давала бы лѣнтяевъ, игроковъ, рецидивистовъ, — меньше народу падало бы въ ней окончательно.

Но довольно „философіи“.

Передъ нами опять — мрачная, „каторжная“ картина.

Молодой парень сколачиваетъ большой, неуклюжій гробъ. Другой, уже оконченный, стоитъ тутъ же на полу.

— Покойники развѣ есть?

---

[1]) Помню въ п. Александровскомъ меня привѣтствовалъ при встрѣчѣ какой-то хлопотливый подвыпивший поселенецъ.

— Христосъ воскресе, баринъ!

— Воистину воскресе!

Поселенецъ снялъ шапку, поклонился въ поясъ, — нѣтъ, ниже, чѣмъ въ поясъ рукой чуть не касаясь земли.

— Поко-орнѣйше васъ благодарю.

— Да за что ты меня благодаришь-то, чудакъ-человѣкъ?

— За хорошій отвѣтъ. Больно ласково отвѣтили.

— Нѣтъ. Да изъ лазарета присылали сказать: будутъ. Ну, и готовимъ.

Парень со злостью заколачиваетъ гвоздь.

— Возись съ чертями! Хорошій, природный столяръ былъ, у Файнера, въ Кіевѣ, мастеровымъ служилъ, можетъ, изволите знать, первый магазинъ,—а теперь вотъ гроба сколачивай! Тфу!

— А за что пришелъ?

— Въ Кіевскомъ университетѣ за убійство.

— Съ грабежомъ?

— Съ нимъ. Много награбили, держи карманъ шире!

— А надолго?

— Безъ срока.

Неподалеку старичокъ въ очкахъ, низко нагнувшись, мастеритъ „коты“, тщательно заколачиваетъ гвоздики.

— Давно здѣсь, дѣдушка?

— Недавно, милостивый государь мой, — привѣтливо говоритъ онъ, — недавно.

— А за что?

— Старуху свою убилъ.

— Жену?

— Нѣтъ, такъ. Полюбовница была. Десять лѣтъ душа въ душу выжили... И этакій грѣхъ вышелъ!

— Что же случилось?

— Сдурѣла, старая. Въ Ѳеодосіи мы жили, я хорошимъ мастеромъ слылъ, жилъ скромно, деньжонки имѣлъ. На нихъ-то она и зазрилась. „Умретъ, молъ, самъ, все родные отберутъ! Отравлю да отравлю и деньгами воспользуюсь“. А тутъ еще путаться съ молодымъ начала. „Отравлю!“ — да и все. Замѣчаю я. Живемъ, какъ два волка въ клѣткѣ, другъ на друга зубами щелкаемъ. Мнѣ ея боязно, — того и гляди, отравитъ; она меня опасается, — потому видитъ, что замѣчаю. Такъ тяжко въ тѣ поры было, такъ тяжко... Не выдержалъ... убилъ.

Какихъ, какихъ только драмъ здѣсь нѣтъ.

„Околотокъ“.

Корсаковскій тюремный околотокъ, это — тотъ же лазаретъ по назначенію, та же тюрьма по характеру.

Околотокъ, это — мѣсто, куда кладутъ не особенно тяжкихъ больныхъ, нуждающихся въ отдыхѣ.

Здѣсь же живутъ и „богодулы“, богадѣльщики, старики и молодые, неспособные, вслѣдствіе болѣзни или увѣчья, къ работѣ.

Въ околоткѣ только одно удобство — у всякаго своя постель. Воздухъ такой же спертый и душный, какъ въ тюрьмѣ.

Околоткомъ завѣдуетъ врачъ Сурминскій, „старый сахалинскій служака“, про котораго мнѣ съ восторгомъ говорилъ смотритель.

— Вотъ это докторъ, такъ докторъ! Не нынѣшнимъ, не молодымъ чета! У него слабыхъ арестантовъ не бываетъ почти, все полносилые, всѣ годятся въ работу. Пришелъ къ нему арестантъ, жалуется, — „врешь?“ Не то, что нынѣшніе!

О томъ, что это за докторъ, вы можете составить себѣ понятіе по слѣдующему.

Арестантскіе типы.

Нашъ матросъ, съ парохода „Ярославль“, обварилъ себѣ въ банѣ кипяткомъ голову.

Обжогъ былъ страшный: лицо, голова вся напоминала какую-то сплошную, безформенную массу.

Послали больного къ доктору Сурминскому.

— Пусть везутъ на пароходъ! У нихъ на пароходѣ свой врачъ есть!

И пришлось везти несчастнаго на пристань, ждать добрый часъ, пока вернется катеръ, везти больного въ сильное волненіе на зыбкомъ, качающемся катерѣ, версты за полторы отъ берега, на пароходъ...

Послѣ этого станутъ понятными всѣ разсказы, которые ходятъ въ каторгѣ про д-ра Сурминскаго.

Въ разговорѣ съ нимъ меня очень удивило его нѣжное, почти любовное отношеніе къ тѣлеснымъ наказаніямъ.

— Взбрызнутъ — и все.

Словно о резедѣ какой-то шла рѣчь.

И онъ съ такимъ смакомъ говорилъ это „взбрызнутъ“.

Но Господь съ нимъ! Займемся лучше тюремными типами.

Вотъ чисто, даже щеголевато одѣтый пожилой человѣкъ,

Онъ нарочно прожигаетъ себѣ нёбо папиросой и растравляетъ рану, чтобы лежать въ околоткѣ.

— Работать что ли не хочетъ?

— Какое тамъ! — смѣются больные. — Старостой былъ въ номерѣ, за воровство прогнали. Вотъ теперь и стыдно въ „номеръ“ глаза показать. То все спалъ на своей нарѣ, а теперь пошелъ на общую. Былъ староста, „начальство“, „чиновникъ“, а теперь — такой же каторжный.

Каторга смѣется.

Бѣдняга, видимо, сильно страдаетъ отъ уязвленнаго самолюбія.

— Ты что, старина?

— Богодулъ я, вашескородіе! Ни къ чему неспособный человѣкъ!.. Всѣмъ и себѣ лишній. Такъ вотъ, живу только, паекъ ѣмъ!

— А много лѣтъ-то?

— Лѣтъ-то не такъ, чтобъ ужъ очень много, да побоевъ многонько. Изъ бродягъ я, еще въ Сибири ходилъ бродяжить. Участь хотѣлъ перемѣнить. Споймали, такъ били, — сейчасъ отдаетъ. Ни лечь ни встать. Нутра, должно ужъ, у меня нѣтъ. Тяжко здѣсь сидѣть-то, охъ, какъ тяжко! Ну, да теперь ужъ недолго осталось... Теперь недолго...

— Срокъ скоро кончается?

— Нѣтъ. Помру.

Рядомъ хроникъ-чахоточный.

— На ту бы сторону мнѣ. Я бъ и поправился...

— А вѣдь ему ужасно въ этомъ воздухѣ быть, докторъ?

— Да... да... Ну, да что жъ дѣлать!

Женская тюрьма.

Она невелика.

Всего одинъ „номеръ“, человѣкъ на 10. Женщины вѣдь отбываютъ на Сахалинѣ особую каторгу: ихъ отдаютъ въ „сожительницы“ поселенцамъ.

Въ тюрьмѣ сидятъ только состоящія подъ слѣдствіемъ.

При нашемъ появленіи съ наръ встаютъ двѣ.

Одна — старуха-черкешенка, убійца-рецидивистка, ни звука не понимающая по-русски.

Другая — молодая женщина. Крестьянка Вятской губерніи. Попала въ каторгу за то, что подговорила кума убить мужа.

— Почему же?

— Неволей меня за него отдали. А кума-то я любила. Думала, вмѣстѣ въ каторгу пойдемъ. Анъ его въ одно мѣсто, а меня въ другое.

Здѣсь она совершила рѣдкое на Сахалинѣ преступленіе.

Съ оружіемъ въ рукахъ защищала своего „сожителя“.

Онъ поссорился съ поселенцами. На него кинулось 9 человѣкъ, начали бить.

Тогда она бросилась въ хату, схватила ружье и выстрѣлила въ перваго попавшагося изъ нападавшихъ.

— Что жъ ты, полюбила его, что ли, сожителя?

— Извѣстно, полюбила. Ежели бы не полюбила, развѣ стала бы его собой защищать, — чай, меня могли убить... Хорошій человѣкъ, думала, вѣкъ съ нимъ проживемъ, а теперь на-тко...

Она утираетъ набѣжавшія слезы и принимается тихо, беззвучно рыдать.

— Ничего ей не будетъ!—успокоиваетъ меня смотритель.— Осудятъ, отдадутъ на дальнее поселеніе опять къ какому-нибудь поселенцу въ сожительницы... Женщины у насъ, на Сахалинѣ, безнаказанны.

Дѣйствительно, съ одной стороны — какъ будто безнаказанность.

Но какое наказаніе можно придумать тяжелѣе этой „отдачи“ другому, отдачи женщины, полюбившей сильно, горячо, готовой жертвовать своей жизнью.

Не пахнуло ли чѣмъ-то затхлымъ, тяжелымъ на васъ? Отжитымъ временемъ? Крѣпостнымъ правомъ, когда такъ спокойно „отдавали“, играя чужой жизнью и сердцемъ?

Изо всѣхъ тюремъ, которыя мы только что обошли съ вами, эта маленькая производитъ самое тяжелое впечатлѣніе.

Карцеры.

Сыро, тяжелый, зловонный, невыносимый воздухъ, но довольно свѣтло.

Таково общее впечатлѣніе корсаковскихъ одиночныхъ карцеровъ при гауптвахтѣ.

Здѣсь содержатся одиночные подслѣдственные и наиболѣе провинившіеся каторжные.

Вотъ — Авдеевъ.

Юноша, съ непріятнымъ лицомъ, отталкивающимъ взглядомъ.

Необыкновенно циничный.

Онъ производитъ впечатлѣніе волченка, затравленнаго и юбнаго.

Словно для дополненія сходства, онъ постоянно стоитъ около окошечка въ двери и грызетъ дерево. Отгрызъ ужъ орядочно, какъ будто точитъ зубы.

Авдееву теперь около 19 лѣтъ, а въ пятнадцать онъ былъ ужъ признанъ неисправимымъ преступникомъ.

Авдеевъ приговоренъ къ вѣчной каторгѣ.

Въ 14 лѣтъ онъ совершилъ тягчайшее преступленіе: убилъ отца и мать [1]).

— За что же ты ихъ убилъ?

— За что убиваютъ? За деньги!

Арестантскіе типы.

Его коротенькая жизнь—цѣлый романъ.

Его незаконный отецъ — офицеръ. Мать—плѣнная турчанка.

Отецъ сошелся съ ней во время послѣдней войны и привезъ, вмѣстѣ съ прижитымъ ребенкомъ, въ Россію.

Ни отецъ ни мать не любили этого несчастнаго малыша.

Довольно состоятельные люди, они совсѣмъ забросили ребенка. Авдеевъ еле умѣетъ читать.

— Извѣстно, если бы хорошо со мной обращались, — не зарѣзалъ бы!

О своемъ преступленіи Авдеевъ говоритъ спокойно, хладнокровно, цинично.

— Деньги были хорошія, — 30 тысячъ. Удралъ бы за границу, — и все! Да нѣтъ, пьянствовать началъ! Извѣстно, малъ былъ, глупъ еще!

Въ каторгѣ Авдеевъ выходитъ изъ карцера, чтобы лечь на кобылу, подъ розги, — и встаетъ съ кобылы, чтобъ сѣсть въ карцеръ.

[1]) Убійство въ Воронежѣ.

Онъ упорно отказывается работать. Пробовалъ бѣжать,— поймали.

За время каторги онъ успѣлъ получить 500 — 600 розогъ.

И объ этомъ говоритъ такъ же спокойно, хладнокровно и цинично.

— Да почему же ты отказываешься работать?

— А такъ! Не хочу — и не стану.

— Да вѣдь что же впереди? Задерутъ!

— Задрать не смѣютъ.

— Да вѣдь больно?

— Больно, — терпѣть нужно.

— Неужели же это лучше, чѣмъ работать?

— Извѣстно, лучше. Отдерутъ,—да перестанутъ. А работа-то съ утра до ночи, каждый день.

— Ну, а въ карцерѣ сидѣть развѣ пріятно?

— Ничего! Сидятъ люди!.. А только я вамъ прямо говорю: работать не буду! Положите, дерите хоть до смерти, — не буду!

Онъ производитъ тяжелое впечатлѣніе.

На меня лично онъ произвелъ впечатлѣніе „задерганной лошади".

Арестантскіе типы.

Лошадь, которую сильно дергали и нахлестывали, которая остановилась и упрямо ни за что не сдѣлаетъ ни шагу впередъ, какъ бы ее ни били.

Въ такихъ случаяхъ мало-мальски опытные кучера даютъ лошади просто немного передохнуть.

И мнѣ кажется, что хорошая доза бромистаго калія окала бы куда больше дѣйствія, чѣмъ розги, на этого болѣзненно-раздраженнаго, со взвинченными нервами, отвратительнаго и глубоко несчастнаго юношу.

Рядомъ съ нимъ — бывалый каторжникъ Бабаевъ.

Армянинъ Эриванской губерніи.

Съ симпатичнымъ лицомъ, на которомъ во время разговора играетъ добрая, заискивающая, вкрадчивая улыбка.

Маслянистые глаза, вѣчно какъ будто покрытые влагой.

Мягкій, пріятный голосъ.

Онъ говоритъ такъ мягко, нѣжно, вкрадчиво.

Бабаевъ не лишенъ артистической жилки.

Онъ очень любитъ рисовать и постоянно рисуетъ одно и то же: генераловъ съ „грудью колесомъ“, которые скачутъ на коняхъ тоже съ „грудью колесомъ“. Этими картинками увѣшана вся его камера.

Самый лучшій подарокъ для него — ящикъ съ красками.

Тогда въ его глазахъ свѣтится столько счастія...

Его спеціальность — убивать товарищей.

Во вновь прибывшей партіи онъ высматриваетъ новичковъ съ деньгами и соблазняетъ бѣжать.

Описываетъ ужасы каторги и легкость бѣгства.

Обѣщаетъ достать паспортъ и быть преданнымъ товарищемъ.

И нѣтъ ничего удивительнаго, что новички вѣрятъ доброму, ласковому тону его голоса, вкрадчивой улыбкѣ, такому симпатичному лицу.

Гдѣ-нибудь, въ глухой тайгѣ, онъ убиваетъ товарища, отбираетъ деньги и возвращается въ тюрьму.

На эти деньги онъ живетъ, лакомится, покупаетъ себѣ краски и рисуетъ свои любимыя картинки.

Каторга обвиняетъ его въ 6 убійствахъ. Офиціально онъ обвиняется въ двухъ.

Погоня, отправленная ему вдогонку при послѣднемъ бѣгствѣ, — они бѣжали втроемъ, — наткнулась сначала на одинъ трупъ, потомъ — на другой, — и по этому страшному слѣду добралась до Бабаева.

Вотъ человѣкъ, „приговоренный къ жизни“.

Слѣдствіе о немъ тянется, по сахалинскому обычаю, нѣсколько лѣтъ; и самая страшная для него минута, это — когда слѣдствіе кончится и его переведутъ изъ одиночнаго заключенія въ общую тюрьму.

Объ этой минутѣ онъ боится и подумать.

Арестанты его убьютъ.

О, Боже! Что это за жалкое, за презрѣнное существованіе которое онъ влачитъ и которое онъ предпочитаетъ смерти.

Вѣчная мысль о мести со стороны арестантовъ развила него манію преслѣдованія.

Онъ никуда не выходитъ изъ карцера, отказываетс даже отъ прогулокъ.

Онъ боится выйти даже въ сопровожденіи солдатъ.

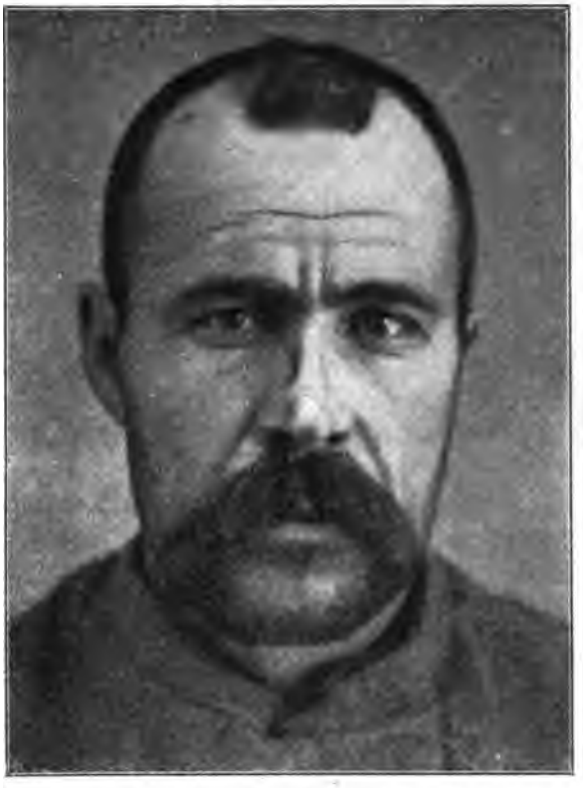
— Бросится кто-нибудь и убьетъ.

И когда онъ говоритъ это, онъ блѣднѣетъ, судороги пробѣгаютъ по лицу, а глаза полны такого страха, словно надъ нимъ уже занесенъ ножъ.

Такое выраженіе лица, вѣроятно, бываетъ у человѣка, когда онъ лежитъ уже на землѣ и ждетъ смертельнаго удара.

Онъ, вѣроятно, сойдетъ съ ума отъ этой мысли, — и... это, быть-можетъ, будетъ лучше для него.

Лучше безуміе, чѣмъ это сознаніе, вѣчный трепетъ, вѣчная дрожь.



Арестантскіе типы.

„Исправился".

— Хе-хе! Это — человѣкъ, котораго лишили невинности, — сказалъ мнѣ о немъ одинъ изъ сахалинскихъ чиновниковъ.

Человѣкъ, съ которымъ случилось это странное происшествіе, — Баладъ-Адашъ, горецъ, осужденный за убійство.

Человѣкъ феноменальной силы, вѣроятно, когда-то такой же отваги, рѣшительный и гордый.

Онъ былъ „нетерпимъ на каторгѣ".

Онъ не отказывался работать, но если ему или кому-нибудь изъ его товарищей назначали работу „не по правиламъ", онъ протестовалъ тѣмъ, что бросалъ работать.

Онъ былъ вѣжливъ и почтителенъ, но, если его ругали, онъ повертывался и уходилъ.

Если ему дѣлали замѣчаніе „зря, не за дѣло", онъ озражалъ.

— Ему — слово, а онъ — десять.

Онъ былъ прямо помѣшанъ на справедливости. И водворялъ ее всюду, какъ могъ.

— Словно не мы его, а онъ насъ исправлять сюда пріѣхалъ, — обиженно разсказывалъ мнѣ о немъ чиновникъ.

Къ тому же „пороться“ за свои дерзости Баладъ-Адашъ не давался.

— Его на „кобылу“ класть, а онъ драться. „Не позволяемъ меня розгамъ трогать! Себѣ, другимъ, какимъ попало, рѣзать будемъ! Не трогай лучше!“ — кричитъ. Что съ нимъ подѣлаешь?!..

— Связать бы да выдрать хорошенько! — перебилъ кто-то, присутствовавшій при разговорѣ.

— Покорнѣйше благодарю. Сегодня его свяжешь и выдерешь, а завтра онъ тебѣ ножъ въ бокъ. Съ этими кавказцами шутки плохи.

Въ это время на Корсаковскій округъ налетѣлъ, — именно не пріѣхалъ, а налетѣлъ, — новый смотритель поселеній.

Человѣкъ вида энергичнаго, силы колоссальной, нрава крутого, образа мыслей рѣшительнаго: „Какіе тамъ суды? Въ морду, да и все“.

Къ нему-то и отправили для „укрощенія“ Баладъ-Адаша.

Отправили съ отвѣтственнымъ предупрежденіемъ, что это за экземпляръ.

Весь округъ ждалъ.

— Что выйдетъ?

Но пусть объ этомъ разсказываетъ самъ энергичный г. смотритель.

— Выхожу изъ канцеляріи. Смотрю, стоитъ среди арестантовъ типъ этакій. Поза свободная, взглядъ смѣлый, дерзкій. Глядитъ! Шапки не ломаетъ [1]). И всѣ, сколько здѣсь было народу, уставились: „Что, молъ, будетъ? Кто кого?“ Самолюбіе заговорило. Подхожу. „Ты что, молъ, такой-сякой, шапки не снимаешь? А? Шапку долой!“ Да какъ развернусь, — съ ногъ!

Баладъ-Адашъ моментально вскочилъ съ земли, „осатанѣлъ“, кинулся на смотрителя: „Ты драться?“

— Я развернулся — два. Съ ногъ долой; кровь, безъ чувствъ унесли.

Поединокъ былъ конченъ. Баладъ-Адашъ укрощенъ.

— Думали потомъ, что онъ его зарѣжетъ. Нѣтъ, ничего, обошелся, — разсказывали мнѣ другіе чиновники.

— Плакалъ Баладка въ тѣ поры шибко. Сколько день ни съ кѣмъ не говорилъ. Молчалъ, — разсказывали мнѣ арестанты.

Я видѣлъ Баладъ-Адаша. Познакомился съ нимъ.

Баладъ-Адашъ дѣйствительно исправился.

Его можно ругать, бить. Онъ дается сѣчь, сколько угодно, и ему частенько приходится испытывать это удовольствіе:

[1]) Баладъ-Адашъ зналъ, что его прислали для «укрощенія».

пьяница, воръ, лгунъ, мошенникъ, доносчикъ; нѣтъ гадости, гнусности, на которую не былъ бы способенъ этотъ „потерявшій невинность“ человѣкъ.

Лѣнтяй,—только и старается, какъ бы свалить свою работу на другихъ.

Онъ пользуется презрѣніемъ всей каторги и принадлежитъ къ „хамамъ“,—людямъ, совсѣмъ ужъ безъ всякой совѣсти, самому презрѣнному классу даже среди этихъ „подонковъ человѣчества“.

Я спрашивалъ его, между прочимъ, и объ „укрощеніи“.

Баладъ-Адашъ чуть-чуть было нахмурился, но сейчасъ же улыбнулся во весь ротъ, словно вспоминая о чемъ-то очень курьезномъ, и сказалъ, махнувъ рукой:

— Сильно мене мордамъ билъ! Шибко билъ!

Таковъ Баладъ-Адашъ и его исправленіе.

Два одессита.

Одесса дала Корсаковской тюрьмѣ двухъ представителей. Верблинскаго и Шапошникова.

Трудно представить двѣ большія противоположности. Верблинскій и Шапошниковъ, это—два полюса каторги.

Если собрать все, что въ каторгѣ есть худшаго, подлаго, низкаго, дать этому отстояться, взять подонки, потомъ выжать ихъ,—вотъ эта-то квинтъ-эссенція каторги и будетъ Верблинскій.

Съ нимъ я познакомился на гауптвахтѣ, гдѣ Верблинскій содержится по подозрѣнію въ убійствѣ, съ цѣлью грабежа, двухъ японцевъ.

Верблинскій клянется и божится, что онъ не убивалъ. Онъ былъ свидѣтелемъ убійства, при немъ убивали, онъ получилъ свою часть за молчаніе, но онъ не убивалъ.

И ему можно повѣрить.

Нѣтъ той гнусности, на которую не былъ бы способенъ Верблинскій. Онъ можетъ зарѣзать соннаго, убить связаннаго, задушить ребенка, больную женщину, безпомощнаго старика. Но напасть на двоихъ съ цѣлью грабежа—на это Верблинскій не способенъ.

— Помилуйте!—горячо протестуетъ онъ,—зачѣмъ я стану бивать? Когда я природный жуликъ, природный карманникъ! Вы всю Россію наскрозь пройдите, спросите: можетъ ли карманникъ человѣка убить? Да вамъ всякій въ глаза расхохочется! Стану я японцевъ убивать!

— Имѣешь, значитъ, свою „спеціальность?“

— Такъ точно. Спеціальность. Вы въ Одессѣ изволили бывать? Адвоката, — Верблинскій называетъ фамилію когда-то довольно извѣстнаго на югѣ адвоката, — знаете? Вы у него извольте спросить. Онъ меня въ 82 году защищалъ, — въ Елисаветградѣ у генеральши К. 18 тысячъ денегъ, двѣ енотовыя шубы, жемчугъ взялъ. 800 рублей за защиту заплатилъ. Вы у него спросите, что Верблинскій за человѣкъ, — онъ вамъ скажетъ! Да я у кого угодно, что угодно, когда угодно возьму. Дозвольте, я у васъ сейчасъ изъ кармана что угодно выйму, — и не замѣтите. Въ Кіевѣ на 900-лѣтіе крещенія Руси, у князя К., — можетъ, изволили слышать, — крупная кража была. Тоже моихъ рукъ дѣло!

Въ тонѣ Верблинскаго слышится гордость.

— И вдругъ я стану какихъ-то тамъ японцевъ убивать! Руки марать, — отродясь не маралъ. Да я захотѣлъ бы что взять, я и безъ убійства бы взялъ. Кого угодно проведу и выведу. Такъ бы подвелъ, сами бы отдали. Вѣдь вотъ здѣсь въ одиночкѣ меня держатъ, — а захотѣлъ я имъ доказать, что Верблинскій можетъ, и доказалъ!

Верблинскій объявилъ, что знаетъ, у кого заложена взятая у японцевъ пушнина, — собольи шкурки, — но для того, чтобы ее выкупить, нужно 52 рубля и „вѣрнаго человѣка“, съ которымъ бы можно было послать деньги къ закладчику.

Смотритель поселеній г. Глинка, производившій слѣдствіе по этому дѣлу, повѣрилъ Верблинскому и согласился дать 52 рубля.

— Сами и въ конвертъ заклейте!

Г. Глинка самъ и въ конвертъ заклеилъ.

Верблинскій сдѣлалъ на конвертѣ какіе-то условные арестантскіе знаки.

— Теперь позвольте мнѣ вѣрнаго человѣка, котораго бы можно послать, потому по начальству я объявлять не могу.

Ему дали какого-то бурята. Верблинскій поговорилъ съ нимъ наединѣ, далъ ему адресъ, сказалъ, какъ нужно постучаться въ дверь, что сказать.

— Смотри, конвертъ не потеряй!

И Верблинскій самъ засунулъ буряту конвертъ за пазуху.

— Выходимъ мы съ гауптвахты, — разсказывалъ мнѣ объ этомъ г. Глинка, — взяло меня сомнѣніе. „Дай, — думаю, — распечатаю конвертъ“. „Нѣтъ, — думаю, — распечатаю, тотъ узнаетъ, пушнины не дастъ“. Или распечатать, или нѣтъ? Въ концѣ концовъ не выдержалъ, — распечаталъ.

Въ конвертѣ оказалась бумага. Верблинскій успѣлъ „передернуть“, „сдѣлалъ вольтъ“ и подмѣнилъ конвертъ.

Верблинскій.

Бросились сейчасъ же его обыскивать: 42 рубля нашли, а десять такъ и пропали, какъ въ воду канули.

— За труды себѣ оставилъ! — нагло улыбается Верблинскій, — за науку! Этакаго маху дали! А? Я и штуку-то нарочно подстроилъ. Мнѣ не деньги нужны были, а доказать хотѣлось, что я, въ клѣткѣ, взаперти, въ одиночкѣ сидючи, ихъ проведу и выведу. И вдругъ я этакую глупость сдѣлаю, — людей рѣзать начну!

— Да ты видѣлъ, какъ рѣзали?

— Такъ точно. Видѣлъ. Я сторожемъ поблизости былъ. Меня позвали, чтобъ участвовалъ. Потому иначе донести бы могъ. При мнѣ ихъ и кончали.

— Сонныхъ?

— Одного, чей трупъ нашли, — соннаго. А другой, котораго не нашли, онъ въ тайгѣ зарытъ, — тотъ проснулся. Метался очень. Его ужъ въ сознаньи зарѣзали.

— Отчего же ты не открылъ убійцъ? Вѣдь самому отвѣчать прійдется?

— Помилуйте! Развѣ вы каторжныхъ порядковъ не знаете? Нешто я могу открыть? Убьютъ меня за это.

Верблинскій — одесситъ. Въ Одессѣ онъ имѣлъ галантерейную лавку.

— Для отвода глазъ, разумѣется! — поясняетъ онъ. — Я, какъ докладываю, по карманной части. Или такъ, — изъ домовъ, случалось, хорошія деньги брать.

Онъ не говоритъ „красть“. Онъ „бралъ“ деньги.

— И много разъ судился?

— Разъ двадцать.

— Все подъ своей фамиліей?

— Подъ разными. У меня именъ-то что было! Здѣсь даже, когда взяли, два паспорта подложныхъ нашли, — на всякій случай, думалъ, — уйду.

Это — человѣкъ, прошедшій огонь, воду и мѣдныя трубы. Всѣ тюрьмы и остроги Россіи онъ знаетъ какъ какой-нибудь туристъ первоклассные отели Европы. И говоритъ о нихъ, какъ объ отеляхъ.

— Тамъ сыровато... Тамъ будетъ посуше. Въ харьковскомъ централѣ пища не важная, очень столъ плохъ. Въ московскомъ кормятъ лучше — и жить удобнѣе. Тамъ водка — дорога, тамъ — подешевле.

На Сахалинъ Верблинскій попалъ за гнусное преступленіе: онъ добился силой того, чего обыкновенно добиваются любовью.

Его судили въ Кіевѣ.

— Ни то, чтобъ она ужъ очень мнѣ ндравилась, — а такъ, недурна была!

Изъ жизни ссыльно-каторжныхъ. Раскомандировка.

Въ его наружности,—типичной наружности бывалаго „прожженнаго“ жулика, въ его глазахъ, хитрыхъ, злыхъ, воровскихъ и безстыдныхъ,—свѣтится душонка низкая, подлая, гнусная.

Шапошниковъ — тоже одесситъ.

Въ 87 или 88 году судился въ Одессѣ за участіе въ шайкѣ грабителей подъ предводительствомъ знаменитаго Чумака. Гдѣ-то въ окрестностяхъ, около Выгоды, они зарѣзали купца.

Попавъ на каторгу, Шапошниковъ вдругъ преобразился.

Видъ ли чужихъ страданій и горя такъ подѣйствовалъ,— но только Шапошниковъ буквально отрекся отъ себя и изъ отчаяннаго головорѣза превратился въ самоотверженнаго, безкорыстнаго защитника всѣхъ страждущихъ и угнетенныхъ, сдѣлался „адвокатомъ за каторгу“...

Какъ и большинство каторжныхъ, попавъ на Сахалинъ, онъ прямо-таки „помѣшался на справедливости“.

Не терпѣлъ, не могъ видѣть равнодушно малѣйшаго проявленія несправедливости. Обличалъ смѣло, рѣшительно, ни передъ кѣмъ и не передъ чѣмъ не останавливаясь и не труся.

Его драли, а онъ, даже лежа на кобылѣ, кричалъ:

— А все-таки вы съ такимъ-то поступили нехорошо! Насъ наказывать сюда прислали, а не мучить. Насъ изъ-за справедливости и сослали. А вы же несправедливости дѣлаете.

— Тысячъ пять или шесть розогъ въ свою жизнь получилъ. Вотъ какой характерецъ былъ! — разсказывалъ мнѣ смотритель.

Какъ вдругъ Шапошниковъ сошелъ съ ума.

Началъ нести какую-то околесицу, чушь, дѣлать несуразные поступки. Его отправили въ лазаретъ, подержали и, какъ „тихаго помѣшаннаго“, выпустили.

Съ тѣхъ поръ Шапошниковъ считается „дурачкомъ“,— его не наказываютъ и на всѣ его продѣлки смотрятъ, какъ на выходки безумнаго.

Но Шапошниковъ далеко не „дурачокъ“.

Онъ просто перемѣнилъ тактику.

— На кобылу усталъ ложиться!—какъ объясняетъ онъ.

Понялъ, что плетью обуха не перешибешь,—и продолжаетъ прежнее дѣло, но въ иной формѣ.

Онъ тотъ же искренній, самоотверженный и преданный другъ каторги.

Какъ „дурачокъ“, онъ освобожденъ отъ работъ и обязанъ только убирать камеру.

Арестантскія работы. Рудникъ въ Дуэ.

Но Шапошниковъ все-таки ходитъ на работы, и притомъ на наиболѣе тяжкія.

Увидавъ, что кто-нибудь измучился, усталъ, не можетъ справиться со слишкомъ большимъ „урокомъ“, Шапошниковъ молча подходитъ, беретъ топоръ и принимается за работу.

Но бѣда. если каторжникъ, по большей части новичокъ, скажетъ по незнанію:

— Спасибо!

Шапошниковъ моментально броситъ топоръ, плюнетъ и убѣжитъ.

Богъ его знаетъ, чѣмъ питается Шапошниковъ.

У него вѣчно кто-нибудь „на хлѣбахъ изъ милости“.

Онъ вѣчно носитъ хлѣбъ какому-нибудь проигравшему свой паекъ, съ голоду умирающему „жигану“.

И тоже не дай Богъ, если тотъ его поблагодаритъ.

Шапошниковъ броситъ хлѣбъ на полъ, плюнетъ своему „обидчику“ въ лицо и уйдетъ.

Онъ требуетъ, чтобы его жертвы принимались такъ же молча, какъ онъ ихъ дѣлаетъ.

Прійдетъ, молча положитъ хлѣбъ и молча стоитъ, пока тотъ не съѣстъ.

Словно ему доставляетъ величайшее удовольствіе смотрѣть, какъ другой ѣстъ.

Если, — что бываетъ страшно рѣдко, — Шапошникову удается какъ-нибудь раздобыть деньжонокъ, онъ непремѣнно выкупаетъ какого-нибудь несчастнаго, совсѣмъ опуганнаго тюремными ростовщиками-татарами.

Свое заступничество за каторгу, свою обличительную дѣятельность Шапошниковъ продолжаетъ попрежнему, но уже прикрываетъ ее шутовской формой, маской дурачества.

Онъ обличаетъ уже не начальство, а каторгу.

— Ну, что же вы? — кричитъ онъ, когда каторга, на вопросъ начальства: „Не имѣетъ ли кто претензій?“ сурово и угрюмо молчитъ, — что жъ примолкли, черти! Орали, орали, будто „баланда“ [1]) плоха, „чалдонъ“, молъ, мясо дрянное кладетъ, такой, дескать, „баландой“ только ноги мыть, а не людей кормить,—а теперь притихли! Вы ужъ извините ихъ!— обращается онъ къ начальству, — орали безъ васъ здорово. А теперь, видно, баландой ноги помыли, попростудились и поохрипли! Вы ужъ съ нихъ не взыщите, что молчатъ.

Или такая сцена.

— Не имѣетъ ли кто претензій? — спрашиваетъ зашедшій въ тюрьму смотритель.

---

[1]) Арестантское названіе похлебки. «Чалдонъ» — прозвище, данное каторгой смотрителю.

— Я имѣю! — выступаетъ впередъ Шапошниковъ.

— Что такое.

— Накажите вы, ваше высокоблагородіе, этихъ негодяевъ! — указываетъ Шапошниковъ на каторгу. — Явите такую начальническую милость. Прикажите ихъ перепороть. Житья отъ нихъ нѣтъ! Ни днемъ ни ночью спокоя. Орутъ, галдятъ! А чего галдятъ? Хлѣбъ, вишь, сыръ. Врутъ, подлецы! Первый сортъ хлѣбъ! — Шапошниковъ вынимаетъ кусокъ дѣйствительно сырого хлѣба, выданнаго въ тотъ день арестантамъ, и тычетъ въ него пальцемъ, — мягкій хлѣбъ! Отличный! Я изъ этого хлѣба какихъ фигуръ налѣпилъ! Чудо! А они, вишь, ѣсть его не могутъ. Свиньи!

Особенно не любитъ этого „дурака“ докторъ Сурминскій, въ свою очередь, не любимый каторгой за его черствость, сухость, недружелюбное отношеніе къ арестантамъ.

— Ваше высокоблагородіе! — обращается къ нему Шапошниковъ въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда г. Сурминскій обходитъ камеры, — и охота вамъ ножки свои утруждать, къ этимъ идоламъ ходить! Стоятъ ли они этого? Они васъ докторомъ Водичкой зовутъ, врутъ про васъ, будто вы только водой ихъ и лѣчите, а вы объ нихъ, негодяяхъ, заботитесь, къ нимъ ходите. Плюньте вы на нихъ, на бестій.

— Пшелъ прочь! — шипитъ докторъ.

Выходитъ ли что-нибудь изъ этихъ протестовъ? Но каторга довольна хоть тѣмъ, что ея обиды не остаются безъ протеста.

И стонать при боли — облегченіе.

Я много говорилъ съ Шапошниковымъ.

Это — не старый еще человѣкъ, котораго преждевременно состарили горе и страданья, свои и чужія.

Онъ получилъ небольшое образованіе, прошелъ 2 класса реальнаго училища, но кое-что читалъ и, право, показался, мнѣ куда интеллигентнѣе многихъ сахалинскихъ чиновниковъ.

Среди чудаческихъ выходокъ, онъ много сказалъ и горькаго и дѣльнаго.

— Меня здѣсь полоумнымъ считаютъ! — улыбнулся онъ. — Ополоумѣешь! Утромъ встану, ищу голову. — гдѣ голова. Нѣтъ головы! А голова въ грязи валяется! Ха-ха-ха!.. Голову иной разъ теряешь, это вѣрно. Да и трудно не потерять. Кругомъ что? Грязь, горе, страданія, нищета, развратъ, отчаяніе. Тутъ потеряешься. Трудно человѣку противъ теченія плыть. Шибко трудно! Тонетъ человѣкъ, — а какъ тонетъ, тутъ о всякій по башкѣ и норовитъ стукнуть. Тонущаго-то вѣдь можно. Онъ не ударитъ, у него руки другимъ заняты, онъ барахтается. Ха-ха-ха! По башкѣ его, по маковкѣ! А тонетъ человѣкъ совсѣмъ — говорятъ: „Мерзавецъ!“ Не

мерзавецъ, а утонувшій совсѣмъ человѣкъ. Вы въ городѣ Парижѣ изволили бывать?

— Былъ.

— Ну, вотъ я въ книжкахъ читалъ, — не помню, чьего сочиненія, — домъ тамъ есть, „Моргой“ прозывается, гдѣ утопленниковъ изъ рѣки кладутъ. Вотъ наша казарма и есть „Морга“. Иду я, — гляжу, а направо, налѣво, на нарахъ опухшіе трупы утонувшихъ лежатъ. Воняетъ отъ нихъ! Разложились, ничего похожаго на человѣка не осталось, — и не разберешь, какая у него раньше морда была! А видать, что человѣкъ былъ! Они говорятъ: „Мерзавцы“, — не мерзавцы, а утопленники. Видитъ только это не всякій, а тотъ, кто по ночамъ не спитъ. Днемъ-то свои, а по ночамъ чужія думы думаетъ. Чужія болячки у него болятъ. А вы знаете, баринъ, кто по ночамъ не спитъ?

— Ну?

— Я да мышка, а потому всему разговору крышка!

И Шапошниковъ запѣлъ пѣтухомъ и запрыгалъ на одной ножкѣ.

Такіе странные, безконечно симпатичные типы создаетъ каторга на ряду съ Верблинскими.

Къ сожалѣнію, рѣдки только эти типы, очень рѣдки.

Такъ же рѣдки, какъ хорошіе люди на свѣтѣ.

Убійцы.

(Супружеская чета).

— Душка, а не выпила ли бы ты чайку? Я бы принесъ.

— Да присядь ты, милый, хоть на минутку. Усталъ!

— И, что ты, душка? Серьезно, я бы принесъ.

Такіе разговоры слышатся за стѣной цѣлый день.

Мои квартирные хозяева, ссыльно-каторжные Пищиковы, — преинтересная парочка.

Онъ — Отелло. Въ нѣкоторомъ родѣ, даже литературная знаменитость. Герой разсказа Г. И. Успенскаго — „Одинъ на одинъ“. Преступникъ-палачъ, о которомъ говорила вся Россія.

Его дѣло — отголосокъ послѣдней войны. Его жертва была, какъ и многія въ то время, влюблена въ плѣннаго турка. Онъ ея давнишній другъ, добровольно принялъ на себя изъ дружбы роль postillon d'amour. Носилъ записки, помогалъ сближенію. Мало-по-малу они на этой почвѣ сблизились, больше узна другъ друга... Онъ полюбилъ ту, которой помогалъ польз ваться любовью другого. Она полюбила его. Турокъ был забытъ, — уѣхалъ къ себѣ на родину. Они повѣнчались, лѣтъ

шесть прожили мирно и счастливо. Онъ былъ уже отцомъ четверыхъ дѣтей. Она готовилась вскорѣ подарить его пятымъ.

Какъ вдругъ въ немъ проснулась ревность къ прошлому.

Этотъ турокъ, мимолетный гость ея сердца, забытый, исчезнувшій съ горизонта, — призракомъ всталъ между ними.

Мысль о томъ, что она дѣлила свои ласки съ другимъ, терзала, мучила, жгла его душу.

Ужасныя, мучительныя подозрѣнія вставали въ разстроенномъ воображеніи.

Подозрѣнія, что она любитъ „того“. Что, лаская его, она думаетъ о другомъ.

Что дѣти, — его дѣти, — рождены съ мыслью о другомъ.

Эта страшная, эта патологическая душевная драма закончилась страшной же казнью „виновной“.

Пищиковъ привязалъ свою жену къ кровати и засѣкъ ее нагайкой до смерти. Мучился самъ и наслаждался ея мученіями. Истязаніе длилось нѣсколько часовъ... А она... Она цѣловала въ это время его руки.

Арестантскіе типы.

Любила ли она его такъ, что даже муки готова была принять отъ него съ благодарностью? Или прощенія себѣ молила въ эти страшныя минуты, — прощенія за тѣ душевныя пытки, невольной виновницей которыхъ была она...

Таковъ онъ — Пищиковъ. Онъ осужденъ въ вѣчную каторгу, но, за скидкой по манифестамъ, ему осталось теперь года.

Она, — теперешняя жена Пищикова, — тоже „вдова по собственной винѣ“.

Ея процессъ, хоть и не столь громкій, обошелъ въ свое время всѣ газеты.

Она — бывшая актриса, убила своего мужа, полковника, вмѣстѣ съ другомъ дома, и спрятала въ укромномъ мѣстѣ. Трупъ былъ найденъ, преступленіе раскрыто, ей пришлось итти въ каторгу на долгій срокъ.

„Шарониха“, какъ ее звали въ каторгѣ, пришлось вытерпѣть не малую борьбу прежде, чѣмъ удалось отстоять свою независимость, спастись отъ общей участи всѣхъ ссыльно-каторжныхъ женщинъ.

Первымъ долгомъ, на Сахалинѣ ее, бойкую, неглупую, довольно интеллигентную женщину, облюбовалъ одинъ изъ сахалинскихъ чиновниковъ и взялъ къ себѣ въ „кухарки“, — со всѣми правами и преимуществами, на Сахалинѣ въ такихъ случаяхъ кухаркамъ предоставляемыми.

Но „Шароніха“ сразу запротестовала.

— Или „кухаркой“, или „сударкой“, — а „смѣшивать два эти ремесла есть тьма охотницъ, — я не изъ ихъ числа“.

И протестовала такъ громко, энергично, настойчиво, что ее пришлось оставить въ покоѣ.

Тутъ она познакомилась съ Пищиковымъ; они полюбили другъ друга, — и пара убійцъ повѣнчалась.

Пара убійцъ... Какъ странно звучитъ это названіе, когда приходится говорить объ этой милой, безконечно симпатичной, душа въ душу живущей, славной парочкѣ.

Ихъ прошлое кажется клеветою на нихъ.

— Не можетъ этого быть! Не можетъ быть, чтобы этотъ нѣжный супругъ, который двухъ словъ не можетъ сказать женѣ, чтобъ не прибавить третьяго — ласковаго, чтобъ онъ могъ быть палачомъ. Не можетъ быть, чтобъ эти вѣчно работающія, честныя, трудовыя руки были обагрены убійствомъ мужа!

Крѣпко схватившись другъ за друга, они выплыли въ этомъ океанѣ грязи, который зовется каторгой, выплыли и спасли другъ друга.

Не отсюда ли эта взаимная, трогательная нѣжность?

Онъ служилъ смотрителемъ маяка и въ канцеляріи начальника округа, — онъ правая рука начальника, знаетъ и отлично, добросовѣстно, старательно ведетъ всѣ дѣла.

Онъ, какъ я уже говорилъ, добрый, славный мужъ, удивительно кроткій, находящійся даже немножко подъ башмакомъ у своей энергичной жены.

Ничто не напоминаетъ въ немъ прежняго Отелло, Отелло—палача.

Только разъ въ немъ проснулась старая болѣзнь—ревность

Его жена до сихъ поръ вспоминаетъ объ этомъ съ ужасомъ.

Онъ досталъ бритву, наточилъ, заперся и... сбрилъ свою огромную окладистую бороду и усы.

„Страшно было взглянуть на него!“

— И не подходи ко мнѣ послѣ этого! — объявила г-жа Пищикова.

Онъ долго просилъ прощенія и ходилъ съ виноватымъ видомъ. Больше онъ уже не ревновалъ.

Она... Нѣтъ минуты, когда бы она не была чѣмъ-нибудь занята. То солитъ сельди, то дѣлаетъ на продажу искусственные цвѣты, работаетъ въ своемъ отличномъ, прямо образцовомъ огородѣ, шьетъ платья корсаковской „интеллигенціи“.

И беретъ... 1 рубль „за фасонъ“.

— Что такъ дешево? — изумился я. — Да вѣдь это даромъ! Вы бы хоть два!

Она даже замахала въ испугѣ руками.

— Что вы?! Что вы! Вѣдь *ему* осталось еще 4 года каторги. Четыре года надъ нимъ все могутъ сдѣлать! На меня разсердятся, а на немъ выместятъ. Нѣтъ! Нѣтъ! Что вы?! Что вы?!

Надо видѣть, какъ говоритъ о своемъ мужѣ эта женщина, слышать, какъ дрожитъ ея голосъ, когда она вспоминаетъ, что ему осталось еще 4 года каторги... сколько любви, тревоги, боязни за любимаго человѣка слышится тогда въ ея голосѣ.

Я познакомился съ ней еще на пароходѣ. Она возвращалась изъ Владивостока, гдѣ ей дѣлали трудную операцію, опасную для жизни.

Едва корсаковскій катеръ присталъ къ пароходу, на трапъ первымъ взбѣжалъ мужчина съ огромной бородой, — ея мужъ.

Они буквально замерли въ объятіяхъ другъ друга. Нѣсколько минутъ стояли такъ.

— Милый!

— Дорогая! — слышалось сквозь тихія всхлипыванія.

У обоихъ ручьемъ текли слезы.

Вспоминаютъ ли они о прошломъ?

И онъ и она отъ времени до времени запиваютъ.

Можетъ-быть, это дань, которую они платятъ совѣсти?

Совѣсть вѣдь „беретъ“ и водкой...

Гребенюкъ и его хозяйство.

Бродя по Корсаковской „слободкѣ“, вы непремѣнно обратите вниманіе на этотъ маленькій домикъ, удивительно чистенькій, аккуратно сдѣланный, щеголеватый: имѣется даже терраса.

Во дворѣ этого дома вы вѣчно увидите кого-нибудь за работой.

Или пожилая женщина задаетъ кормъ „чушкамъ“, или высокій, сгорбленный, болѣзненнаго вида мужикъ что-нибудь рубитъ, строгаетъ, пилитъ.

Полъ, какъ столъ, — чистоты невѣроятной. Отъ двери къ лавкѣ положена дорожка.

На окнахъ — пышно разрослась герань.

Стѣны, потолокъ, — все это тщательно выскоблено, вычищено, выстрогано.

Каждое выстроганное бревнышко по карнизу обведено бордюрчикомъ.

Въ этомъ маленькомъ домикѣ я провелъ нѣсколько хорошихъ часовъ. Здѣсь я отдыхалъ душой отъ „сахалинскаго смрада“, отъ сахалинскаго бездомовья, повальнаго разоренія, каторжной оголтѣлости. Здѣсь дышалось легко. Отъ всего вѣяло трудомъ, любовью къ труду, маленькимъ, скромнымъ достаткомъ.

Когда вы не знаете, куда въ этомъ вылощенномъ домикѣ дѣть окурокъ, — Гребенюкъ идетъ къ рѣзному ящику и, бережно, словно драгоцѣнность какую-то, не безъ гордости несетъ оттуда фаянсовую пепельницу.

— У насъ и это есть. Самъ-то я не занимаюсь, — ну, а прійдетъ кто, все-таки надоть!

Къ своему дому, къ своему хозяйству Гребенюкъ относится чрезвычайно любовно.

— Вѣдь я здѣсь каждое бревнышко по имени-отечеству знаю! — съ доброй улыбкой, съ какой-то прямо нѣжностью, оглядывается онъ кругомъ. — Каждое самъ въ тайгѣ выискалъ, вырубилъ, своими руками сюда притащилъ. Самъ каждое прилаживалъ, — по праздникамъ, а то въ обѣденное время бѣгалъ сюда, работалъ.

И вы видите, что ему, дѣйствительно, знакомо и дорого каждое бревнышко. Съ каждымъ соединено воспоминаніе о томъ, какъ онъ, Гребенюкъ, „человѣкомъ дѣлался“.

Гребенюкъ — мастеръ на всѣ руки и работаетъ отъ зари до зари, „не покладая рукъ“!

Онъ и цырюльникъ, и плотникъ, и столяръ, — всему этому выучился въ каторгѣ, — имѣетъ огородъ, разводитъ „чушекъ“.

— Курей тоже много есть. Баба за ними ходитъ. Овецъ двѣ пары.

Гребенюкъ еще каторжный. За хорошее поведеніе ему разрѣшено жить внѣ тюрьмы, на вольной квартирѣ. На тюрьму онъ „исполняетъ урокъ“: столярничаетъ нѣсколько часовъ въ сутки, а остальное время работаетъ на себя.

— Скоро и каторгѣ конецъ; на двадцать я былъ осужденъ: съ манифестами да съ сокращеніями — черезъ четыре

мѣсяца и совсѣмъ конецъ. Выйду въ поселенцы, тогда ужъ только на свой домъ стану работать.

Не въ примѣръ прочимъ, Гребенюку „выдана сожительница", несмотря на то, что онъ еще каторжный и на такую роскошь не имѣетъ права.

Пожилая женщина пришла „за мужа", т.-е. за убійство мужа; она гораздо старше Гребенюка, некрасивая.

— Ну, да я ее уважаю, и она меня уважаетъ. Хорошо живемъ, нечего Бога гнѣвить!

— Это, дѣйствительно, сожительство, скорѣе основанное на взаимномъ уваженіи, чѣмъ на чемъ-нибудь другомъ. Гребенюкъ ее взялъ за старательность, за хозяйственность. Она въ работѣ не уступаетъ самому Гребенюку.

Гребенюкъ попалъ въ каторгу „со службы".

— По подозрѣнію осужденъ? — задалъ я ему обычный сахалинскій вопросъ.

Гребенюкъ помолчалъ, подумалъ.

— Нѣтъ, ужъ если вы, баринъ, такъ до всего доходите, такъ вамъ правду нужно говорить. За убійство я пришелъ. Барина мы убили... Съ денщикомъ мы его порѣшили.

— Съ цѣлью грабежа?

— Нѣтъ. Изъ-за лютости. Лютъ былъ, покойникъ, — ахъ, какъ лютъ. Билъ такъ, — у меня и до сихъ поръ его побои болятъ. Нутро все отшибъ, — такъ билъ. За кучера я у него былъ, лошади у него хорошія были. Въ ногахъ я у него сколько разъ валялся, сапоги цѣловалъ: „Отпустите вы меня, баринъ, ежели я такой дурной и никакъ на васъ угодить не могу". — „Развѣ я, — говоритъ, — тебя держу, тебя лошади держатъ". Отъ природы у меня эта склонность была, — за лошадьми ходить. Лошади у меня завсегда въ порядкѣ были... Да шибко вотъ билъ, покойникъ! И теперь вспомнить, — мутитъ. Тяжко!

— Было это въ 85 году, 29 сентября, въ городѣ Меджибожѣ, Подольской губерніи — можетъ, изволите знать? Баринъ былъ съ денщикомъ въ Кіевѣ, а я при лошадяхъ оставался. Пріѣзжаетъ баринъ домой и сейчасъ въ конюшню. Замѣсто того, чтобы какъ слѣдуетъ сказать: „Здравствуй, молъ, дьяволъ!" или что, — прямо на меня. „Это что, — говоритъ, — ты мнѣ, подлецъ этакій, надъ лошадьми сдѣлалъ? А? Совсѣмъ удыя стоятъ лошади! Что надъ ними, подлая твоя душа, сдѣлалъ?" А у лошадей безъ его мытъ былъ. Я ему докладую: Помилуйте, баринъ, лошади мытились, оттого и съ тѣла пали. Я вамъ объ этомъ, сами изволите знать, телеграмму далъ!" — „Врешь, — кричитъ, — подлецъ! Овесъ кралъ!" Да меня отмашь. А у меня въ тѣ поры ухо шибко болѣло. Я это

ладонью ухо-то закрываю, а онъ, нѣтъ, чтобы по другому бить, — а руку мою отдираетъ, и все по больному-то, по больному. Свѣту не взвидѣлъ. Вижу, нѣтъ моей моченьки жить. Я и говорю денщику: „Безпремѣнно намъ его убить надо. Потому, либо намъ, либо ему, а кому-нибудь да не жить". А онъ мнѣ: „Я и самъ объ этомъ тебѣ сказать хотѣлъ". Такъ и сговорились. Въ тотъ же вечеръ и кончили.

Гребенюкъ помолчалъ, собрался съ воспоминаніями:

— Было такъ часовъ въ одиннадцать. Я на кухнѣ сидѣлъ, ждалъ. А денщикъ къ нему пошелъ посмотрѣть, „спитъ ли, нѣтъ ли?" Приходитъ, говоритъ: „Можно, спитъ!" Выпили мы тутъ бутылку наливки для куражу, — денщикъ съ вечера припасъ, — разулись, чтобъ не слыхать было, и пошли... Въ спальнѣ у него завсегда ночникъ такъ вотъ горѣлъ, а такъ онъ лежалъ. Не видать. Руки у него на грудяхъ. Спитъ. „Валяй, молъ". Кинулись мы къ нему. Денщикъ-то Царенко его сгрудилъ, а я петлю на шею захлестнулъ да и удавилъ.

— Сразу?

— Въ одинъ, то-есть, моментъ. И помучить его не удалось, — въ голосѣ Гребенюка послышалась злобная дрожь, — и помучить не удалось, потому за стѣной тоже баринъ спалъ, услыхать могъ, проснуться.

— Что же онъ-то проснулся?

— Такъ точно, въ этотъ самый моментъ проснулся, какъ его сгрудили. Только голоса подать не успѣлъ. Руку это у Царенки вырвалъ, да къ стѣнкѣ, — на стѣнкѣ у него револьверъ, шашка, кинжалы висѣли, ружье. Да Царенко его за руку поймалъ, руку отвелъ. А я ужъ успѣлъ петлю сдавить. Посмотрѣлъ только онъ на меня... Такъ мы его и кончили.

Гребенюкъ перевелъ духъ.

— Кончили. „Теперь, молъ, концы прятать надоть". Одѣли мы его, мертваго, какъ слѣдовать, пальто, сапоги съ калошами шапку, — да на рѣчку подъ мостомъ и бросили. „Дорогой, дескать, кто прикончилъ". Вернулись домой. „Теперича, — говоритъ Царенко, — давай деньги искать. Деньги у него должны быть. Что имъ такъ-то? А намъ годятся". Я: „Что ты, что ты? Нешто затѣмъ дѣлали?" — „Ну, — говоритъ, — ты какъ хошь, а я возьму". Взялъ онъ денегъ тамъ, сколько могъ, за печкой спряталъ чемоданъ съ вещами, рубахи тамъ были новыя, тонкаго полотна — къ бабѣ къ одной и поволокъ. Баба у него была знакомая. Черезъ это мы и „засыпались"... У бабы-то у этой въ ту пору еще другой знакомый былъ, тоже у другого барина служилъ. Онъ и видѣлъ, какъ Царенко вещи приносилъ. Какъ потомъ, на другой день, нашли нашего покойника, ему и вдомекъ, — то-то, молъ, Царенко вещи при-

носилъ. Пошелъ объ этомъ слухъ. Дошло до начальства. Царенку и взяли. Онъ ото всего отперся: „Знать, молъ, ничего не знаю, задушилъ Гребенюкъ гдѣ-то подъ мостомъ, а пришелъ, не велѣлъ никому сказывать и чемоданъ сказалъ отнести, спрятать. Я съ испугу и послушался". Взяли тутъ и меня. Я долго не въ сознаніи былъ: „Знать, молъ, ничего не знаю". А потомъ взялъ да все и разсказалъ.

— Совѣсть, что ли, мучила?

— Нѣтъ, зачѣмъ совѣсть! Зло больно взяло. Сидимъ мы съ Царенкой на абвахтѣ по темнымъ карцерамъ. Часовой тутъ, — хоть и запрещено, а разговариваетъ. Свой же братъ, жалѣетъ. Слышу я, Царенко ему говоритъ: „Вотъ, — говоритъ, — долженъ черезъ подлеца теперь сидѣть, безвинный". Такъ меня отъ этого слова за сердце взяло, — я и вскричалъ: „Ведите, — говорю, — меня къ слѣдователю, всю правду открыть желаю". Повели меня къ слѣдователю, — я все какъ есть и объявилъ, какъ было: какъ душили, какъ уговоръ былъ, гдѣ Царенко деньги сховалъ. Ему присудили на вѣчную, а мнѣ дали 20 лѣтъ. Такъ вотъ и живу.

Арестантскіе типы. Осужденный за убійство.

— Тяжело, поди?

— Тружусь, пока въ силахъ. Вы обо мнѣ у кого угодно спросите, вамъ всякій скажетъ. Десять лѣтъ, одиннадцатый зд̀ѣсь живу, — обо мнѣ слова никто не скажетъ. Не только въ ярцерѣ или подъ розгами — пальцемъ меня ни одинъ надзиратель не тронулъ. При какихъ смотрителяхъ работалъ! Ярцевъ отъ былъ, царство ему небесное. Лютый человѣкъ былъ. Не- ванаго арестанта видѣть не могъ. А и тотъ меня не только го пальцемъ не тронулъ, — слова мнѣ грубаго никогда не сказалъ. Трудился, работалъ, дѣлалъ что велятъ, изъ кожи

вонъ лѣзъ. Бывало, другіе послѣ обѣда спать, — а я топоръ за поясъ, — да сюда: постукиваю, домишко лажу... Ничего, хорошо прожилъ. Здоровье вотъ, точно, худо стало, надорвался.

Гребенюкъ и видъ имѣетъ надорванный, — съ виду онъ худой, куда старше своихъ лѣтъ.

— Ну, а насчетъ прошлаго какъ?.. Жалко тебѣ бываетъ его, того, что убили? Не раскаиваешься?

— Жалко?.. Вотъ вамъ, баринъ, что скажу. Какъ хотите, такъ ужъ и судите: хорошій я человѣкъ или негодный. А только я вамъ по совѣсти долженъ сказать, какъ передъ Истиннымъ. Вотъ встань онъ изъ могилы, сюда прійди, — я бъ его опять задушилъ. Десять разъ бы ожилъ, — десять бы разъ задушилъ! Каторга! Вамъ тутъ будутъ говорить, что трудно да тяжко, — не вѣрьте имъ, баринъ. Врутъ все, подлецы! Они настоящей-то каторги не видѣли. Здѣсь я 10 лѣтъ прожилъ, — что! Тамъ вотъ три года, — вотъ эта была каторга, такъ каторга! Здѣсь я только и свѣтъ увидѣлъ!

— Постой, постой! Да вѣдь и здѣсь тяжкія наказанія были!

Да вѣдь за дѣло. Оно, конечно, иной разъ и безовсякаго дѣла, понапрасну. Да вѣдь это когда случится?! Въ мѣсяцъ разъ... А тамъ день денской роздыху не зналъ. Ночи не спалъ, плакалъ, глаза вотъ какъ опухли. Вы не вѣрьте, баринъ, имъ: они горя настоящаго не видѣли. Потому такъ и говорятъ.

И въ словахъ и въ лицѣ Гребенюка, когда онъ говоритъ о своей жертвѣ, столько злобы, столько ненависти къ этому мертвецу, — словно не 12 лѣтъ съ тѣхъ поръ прошло, а все это происходило вчера.

Тяжела вина Гребенюка, словъ нѣтъ, тяжко совершенное имъ преступленіе, возмутительно его сожалѣніе о томъ, что „не удалось помучить“, — но вѣдь и довести же нужно было этого тихаго, смирнаго человѣка до такого озлобленія.

Я спросилъ какъ-то у Гребенюка о Царенкѣ: гдѣ тотъ?

— Въ Александровкѣ. Говорятъ, шибко худо живетъ. Пьетъ. Убить все меня собирался, зачѣмъ выдалъ. Пусть его!

Паклинъ.

(Изъ моей записной книжки).

Убійца и поэтъ. Безпощадный грабитель и нѣжный отецъ. Преступникъ и человѣкъ, глубоко презирающій преступленіе Изъ такихъ противорѣчій созданъ Паклинъ.

Онъ только что былъ у меня, и я спѣшу набросать эти строки, чтобъ изъ нихъ не исчезъ тотъ „запахъ преступленія“, которымъ вѣетъ отъ Паклина.

Часъ тому назадъ я получилъ записку:

„Достопочтеннѣйшій г. писатель! Простите мою смѣлость, что я посылаю Вамъ свои писанья. Можетъ-быть, найдется хоть одно слово, для васъ полезное. А ежели нѣтъ, — прикажите Вашему слугѣ выкинуть все это въ печку. Я жилецъ здѣсь не новый, знаю все вдоль и поперекъ и радъ буду служить Вамъ, въ чемъ могу. Чего не сумѣю написать перомъ, то на словахъ срублю, какъ топоромъ. Еще разъ прошу простить мою смѣлость, но я душою запорожецъ, трусомъ не бывалъ и слыхалъ пословицу, что смѣлость города беретъ. Еще душевно прошу Васъ, не подумайте, что это дѣлается съ цѣлью, чтобы получить на кусокъ сахару. Нѣтъ, я бы былъ въ триста разъ больше награжденъ, если бы оказалось хоть одно словцо для васъ полезнымъ. Быть-можетъ, когда-нибудь дорогія сердцу очи родныхъ взглянули бы на мои строки, — хоть и не знали бы они, что строки эти писаны мной. Тимоѳей Паклинъ".

Въ кухнѣ дожидался отвѣта невысокій, плотный, коренастый, рыжій человѣкъ.

Онъ казался смущеннымъ и былъ красенъ, — только сѣрые, холодные глаза смотрѣли спокойно, смѣло, отливали сталью.

— Это вы принесли записку отъ Паклина?

— Точно такъ, я! — съ сильнымъ заиканьемъ отвѣчалъ онъ.

— Почему же Паклинъ самъ не зашелъ?

— Не зналъ, захотите ли вы принять каторжнаго.

— Скажите ему, чтобъ зашелъ самъ.

Онъ помолчалъ:

— Я и есть Паклинъ.

— Зачѣмъ же вы мнѣ тогда сразу не сказали, что вы Паклинъ? — спросилъ я его потомъ.

— Боялся получить оскорбленіе. Не зналъ, захотите ли вы еще и говорить съ убійцей.

„Паклинъ" — это его не настоящая фамилія. Это его „nom de la guerre" фамилія, подъ которой онъ совершалъ преступленія, судился въ Ростовѣ за убійство архимандрита.

Звѣрское убійство, надѣлавшее въ свое время много шума.

Передо мной стояла въ нѣкоторомъ родѣ „знаменитость".

Тотъ, кто называетъ себя Паклинымъ, — родомъ казакъ и с ень гордится этимъ.

По натурѣ, это — одинъ изъ тѣхъ, которыхъ называютъ „рожденными убійцами".

Онъ съ дѣтства любилъ опасность, борьбу.

— Не было выше для меня удовольствія, какъ вскочить на) чодого, необъѣзженнаго коня и летѣть на немъ; вотъ-вотъ

сломаю голову и себѣ и ему. И себя и его измучаю, — а на душѣ такъ хорошо.

Самоучкой выучившись читать, Паклинъ читалъ только тѣ книги, гдѣ описывается опасность, борьба, смерть.

— Больше же всего любилъ я читать про разбойниковъ.

Свою преступную карьеру Паклинъ началъ двумя убійствами.

Убилъ товарища „изъ-за любви“. Они были влюблены въ одну и ту же дѣвушку.

Свое участіе въ убійствѣ ему удалось скрыть, — но по станицѣ пошелъ слухъ, и, однажды, въ ссорѣ, кто-то изъ парней сказалъ ему:

— Да ты что? Я вѣдь тебѣ не такой-то! меня, братъ, не убьешь изъ-за угла, какъ подлецъ!

— Я не стерпѣлъ обиды, — говоритъ Паклинъ, — ночью засѣдлалъ коня, взялъ оружіе. Убилъ обидчика и уѣхалъ изъ станицы, чтобъ срамъ не дѣлать роднымъ.

Онъ пустился „бродяжить“ и тутъ-то пріобрѣлъ себѣ фамилію „Паклинъ“.

Его взяла къ себѣ, вмѣсто безъ вѣсти пропавшаго сына, — одна старушка.

Онъ увезъ ее въ другой городъ и тамъ поселился съ нею.

— Я ее уважалъ, все равно, какъ родную мать. Заботился объ ней, денегъ всегда давалъ, чтобы нужды ни въ чемъ не терпѣла...

— Гдѣ жъ она теперь?

— Не знаю. Пока въ силахъ былъ,—заботился. А теперь— мое дѣло сторона. Пусть живетъ какъ знаетъ. Жива, — слава Богу, умерла, — пора ужъ. Деньжонки, которыя были взяты изъ дома при бѣгствѣ, изсякли. Тутъ-то мнѣ все больше и больше и начало представляться: займусь-ка грабежомъ. Въ книжкахъ читалъ я, какъ хорошо да богато живутъ разбойники. Думаю, чего бы и мнѣ? Досада меня брала: живутъ люди въ свое удовольствіе, а я какъ собака какая...

Въ это время отъ Паклина вѣяло какимъ-то своеобразнымъ Карломъ Мооромъ.

— Я у бѣдныхъ никогда ни копейки не бралъ. Самъ, случалось, даже помогалъ бѣднымъ. Бѣдняковъ я не обижалъ. А у тѣхъ, кто сами другихъ обижаютъ, бралъ, — и по многу, случалось, бралъ.

Паклинъ, впрочемъ, и не думаетъ себя оправдывать. Онъ даже иначе и не называетъ себя въ разговорѣ, какъ „негодяемъ“. Но говоритъ обо всемъ этомъ такъ спокойно и просто, какъ будто рѣчь идетъ о комъ-нибудь другомъ.

Какъ большинство настоящихъ, врожденныхъ преступниковъ, — женщина въ жизни Паклина не играла особой роли.

Онъ любилъ „ими развлекаться“, бросалъ на нихъ деньги и мѣнялъ безпрестанно.

Онъ грабилъ, прокучивалъ деньги, ѣздилъ по разнымъ городамъ и въ это время намѣчалъ новую жертву. Подъ его руководствомъ работала цѣлая шайка.

Временами на него нападала тоска:

Хотѣлось бросить все, сорвать кушъ, — да и удрать куда-нибудь въ Америку.

Тогда онъ недѣлями запирался отъ своихъ и все читалъ, безъ конца читалъ лубочныя „разбойничьи“ книги.

Арестантскіе типы.

— И бросилъ бы все и ушелъ бы въ новыя земли искать счастья, — да уже больно былъ золъ я въ то время.

Паклинъ ужъ получилъ извѣстность въ Ростовскомъ округѣ и на сѣверномъ Кавказѣ.

Въ Екатеринодарѣ его судили сразу по 7 дѣламъ, — но по всѣмъ оправдали.

— Правду вамъ сказать: мои же подставные свидѣтели меня и оправдали. По всѣмъ дѣламъ доказали, будто я въ это время въ другихъ мѣстахъ былъ.

За Паклинымъ гонялась полиція. Паклинъ былъ неуловимъ и неуязвимъ. Одного его имени боялись.

— Гдѣ бы что ни случилось, все на меня валили: „этого негодяя рукъ дѣло“. И чѣмъ больше про меня говорили, тѣмъ больше я злобился. „Говорите такъ про меня, — такъ пусть [illegible]ть правда будетъ“. Ожесточился я. И чѣмъ хуже про меня [illegible]лва шла, тѣмъ хуже я становился. Отнять — прямо удовольствіе доставляло.

Спеціальность Паклина были ночные грабежи.

— Особенно я любилъ имѣть дѣло съ образованными [illegible]дьми: съ купцами, со священниками. Тотъ сразу понимаетъ,

съ кѣмъ имѣетъ дѣло. Ни шума ни скандала. Самъ укажетъ, гдѣ лежатъ деньги. Жизнь-то дороже! Возьмешь, бывало, да еще извинишься на прощанье, что побезпокоилъ!—съ жесткой, холодной, иронической улыбкой говорилъ Паклинъ.

— А случалось, что и не сразу отдавали деньги? Приходилось къ жестокостямъ прибѣгать?

— Со всячинкой бывало!—нехотя отвѣчалъ онъ.

Нахичеванскій архимандритъ оказался, по словамъ Паклина, человѣкомъ „непонятливымъ".

— Какъ зашли мы къ нему съ товарищемъ,—заранѣе ужъ высмотрѣли всѣ ходы и выходы,— испугался старикъ, затрясся. Крикнуть хотѣлъ,—товарищъ его за глотку держитъ. Какъ отпуститъ, онъ кричать хочетъ. Съ часъ я его уговаривалъ: „Не кричите лучше, не доводите насъ до преступленія, покажите просто, гдѣ у васъ деньги..." Нѣтъ, такъ и не могъ уговорить. „Рѣжь!"—сказалъ я товарищу. Тотъ его ножомъ по горлу. Сразу! Крови что вышло...

Разсказывая это, Паклинъ смотритъ куда-то въ сторону. На его непріятномъ, покрытомъ веснушками лицѣ пятнами выступаетъ и пропадаетъ румянецъ, губы искривились въ какую-то неестественную, натянутую улыбку. Онъ весь какъ-то поеживается, потираетъ руки, заикается сильнѣе обыкновеннаго.

На него тяжело смотрѣть.

Наступаетъ длинная, тяжелая пауза.

Ихъ судили вчетверомъ; двоихъ невиновныхъ Паклинъ выгородилъ изъ дѣла.

— Объ этомъ и своего защитника просилъ,- чтобъ только ихъ выгораживалъ. А обо мнѣ не безпокоился. Не хотѣлъ я, чтобы невиновные изъ-за меня шли. Молодецъ онъ, постарался!

Передъ судомъ Паклинъ 11 мѣсяцевъ высидѣлъ въ одиночномъ заключеніи,—досидѣлся до галлюцинацій, но „духа не потерялъ".

Когда любимый всей тюрьмой, добрый и гуманный врачъ ростовской тюрьмы г. К. не поладилъ съ тюремной администраціей и долженъ былъ уйти, Паклинъ поднесъ ему икону, пріобрѣтенную арестантами по подпискѣ.

— Въ газетахъ тогда объ этомъ было!

— Еще одинъ вопросъ, Паклинъ,—спросилъ я его на прощанье.—Скажите, вы вѣрите въ Бога?

— Въ Бога? Нѣтъ. Всякій — за себя.

На каторгѣ Паклинъ велъ себя, съ перваго взгляда, странно. Несъ самую тяжкую, „двойную", такъ сказать, „каторгу". И по собственному желанію.

— Полоумный онъ какой-то! — разсказывалъ мнѣ одинъ изъ корсаковскихъ чиновниковъ, хорошо знающій исторію Паклина. — Парень онъ трудовой, примѣрный, ему никто слова грубаго за все время не сказалъ. Къ тому же онъ столяръ хорошій, — въ тюрьмѣ сидя, научился, могъ бы отлично здѣсь, въ мастерской, работать, жить припѣваючи. А онъ „не хочу", Христомъ Богомъ молилъ, чтобы его въ сторожа въ глушь, на Охотскій берегъ послали. Туда, за наказанье, самыхъ отъявленныхъ посылаютъ. Тамъ по полгода живого человѣка не видишь, Одичать можно. Тяжелѣй каторги нѣтъ! А онъ самъ просился. Такъ тамъ въ одиночествѣ и жилъ.

Поселенческій бытъ. Селеніе.

— Почему это? — спросилъ я у Паклина.

— Обиды боялся. Здѣсь прежде какъ бывало — ни за что ни про что накажутъ. Ну, а я бы тогда простого удара не стерпѣлъ, не то, что розги, — скажемъ. Отъ грѣха, себя зная, просился. Гордый я тогда былъ.

— Ну, а теперь?

— Теперь, — Паклинъ махнулъ рукой, — теперь куда ужъ я! атрещину кто дастъ, — я бѣжать безъ оглядки. Оно, быть-ожетъ, я бы и расплатился, да о дѣтяхъ сейчасъ же вспомню. ожительница вѣдь теперь у меня, за хорошее поведеніе, хоть и каторжный, дали. Дѣтей двое. Меня ругаютъ, — а я о

дѣтяхъ все думаю. Меня пуще, — а я о дѣтяхъ все пуще думаю! — Паклинъ разсмѣялся. — Съ меня все, какъ съ гуся вода. Бейте, — не пикну... Чудная эта штука! Вотъ что въ немъ, кажись, а пискнетъ — словно самому больно!

И въ тонѣ Паклина послышалось искреннее изумленіе.

Словно этотъ человѣкъ удивлялся пробужденію въ немъ обыкновенныхъ человѣческихъ чувствъ.

Я былъ у Паклина въ гостяхъ.

У него домъ — лучшій во всемъ посту. Чистота — невѣроятная.

Его жена, молодая, красивая бабенка, такъ называемая скопческая „богородица“ [1]), присланная на Сахалинъ за оскопленіе чуть не десятка женщинъ.

Какихъ, какихъ только паръ не сводитъ вмѣстѣ судьба на Сахалинѣ!

Паклинъ живетъ съ нею, что называется, душа въ душу. На всякій лишній грошъ покупаетъ или ей обнову или дѣтямъ гостинца.

Своихъ двоихъ крошечныхъ бутузовъ онъ показывалъ мнѣ съ нѣжностью и гордостью отца:

— Вотъ какіе клопы въ домѣ завелись!

Въ другомъ мѣстѣ, говоря о „поэтахъ-убійцахъ“, я приведу стихи Паклина, не особенно важные, но любопытные.

Онъ имѣетъ небольшое представленіе о стихосложеніи. Но въ его неправильныхъ стихахъ, грустныхъ, элегическихъ много чувства... и даже сентиментальности...

Его записки о дикаряхъ-аинцахъ, которыхъ онъ наблюдалъ, живя сторожемъ на Охотскомъ берегу, показываютъ въ немъ много наблюдательности, умѣнья подмѣчать все наиболѣе типичное.

Спеціальность Паклина — работа шкатулокъ, которыя онъ дѣлаетъ очень хорошо.

Я хотѣлъ купить у него одну.

Но Паклинъ воспротивился изо всѣхъ силъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, баринъ, ни за что. Даромъ вы не возьмете, а продать, вы подумаете, что я и знакомство съ вами свелъ, чтобъ шкатулку вамъ продать. Не желаю!

— Скажите, Паклинъ, — спросилъ я, когда онъ провожалъ меня съ крыльца, — для чего вамъ понадобилось зна-

---

[1]) Этихъ дѣвушекъ не скопятъ; на ихъ обязанности лежитъ только совлекать в секту другихъ.

Поселенцы.

комиться со мной? Почему вамъ хочется, чтобъ о васъ написали?

— Для чего?

Паклинъ грустно улыбнулся.

— Да вотъ, если человѣка взять да живымъ въ землю закопать. Въ подземелье какое, что ли. Хочется ему оттуда голосъ подать или нѣтъ? „Живъ, молъ, я все-таки“...

Поселенье.

(Поселенцы).

— Къ вамъ тамъ поселенцы пришли! — въ смущеніи, почти въ ужасѣ, объявила квартирная хозяйка.

— Такъ нельзя ли ихъ сюда?

— Что вы! Куда тутъ! Вы только взгляните, — что ихъ!

Выхожу на крыльцо. Толпа поселенцевъ — человѣкъ въ двѣсти, — какъ одинъ человѣкъ, снимаютъ шапки.

— Ваше высокоблагородіе! Явите начальническую милость...

— Что вамъ?

— Насчетъ пайковъ мы! Способовъ никакихъ нѣтъ...

— Стойте, стойте, братцы! Да вы за кого меня принимаете? Я вѣдь не начальство!

— Точно такъ! Извѣстно намъ, что вы писатель... Такъ ужъ будьте такіе добрые, напишите тамъ, кому слѣдуетъ... Способовъ нѣтъ. Голодомъ мремъ! Пришли сюда съ поселеній, думали работишку найти, — всѣ подрядчики японцами работаютъ! Пайковъ не даютъ, на материкъ на заработки не пущаютъ. Помирай тутъ на Сакалинѣ! Что жъ намъ теперь дѣлать?

— А сельское хозяйство?

— Какóе жъ, ваше высокоблагородіе, наше хозяйство! Не то что сѣять, — ѣсть нечего. У кого были сѣмена, — съѣли. Скота не даютъ. Смерть подходитъ!

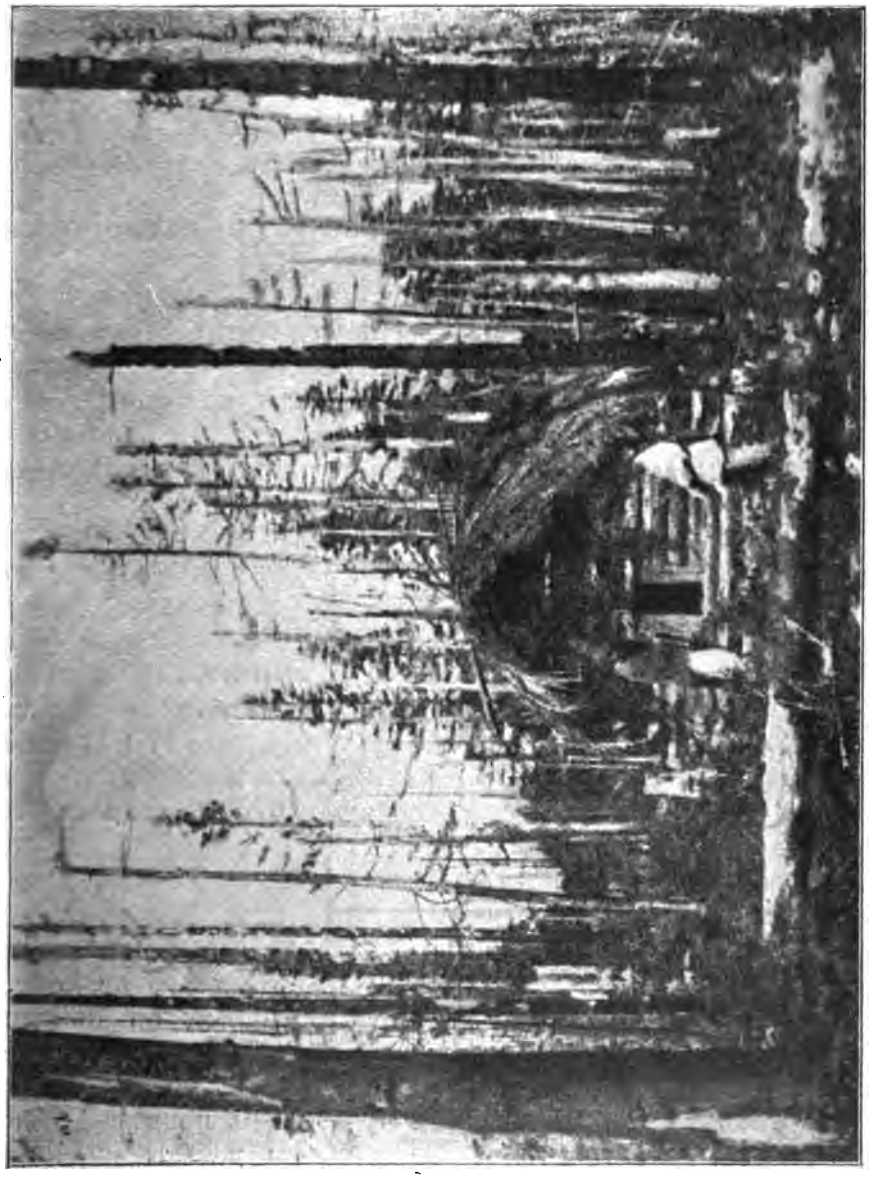
— Баринъ! Господинъ! Вашескобродіе! — протискивается сквозь толпу невзрачный мужичинишка.

Мужичинишка — типъ загулявшаго мастерового. Хоть сейчасъ пиши съ него „Камаринскаго мужика“: „борода его всклокочена, вся дешевкою подмочена“. Красная рубаха отъ вѣтра надулась парусомъ, полы сюртучишка такъ ходуномъ ходятъ.

Голосъ у мужичинишки пронзительный, съ пьяной слезой изъ самыхъ нѣдръ его пьяной души рвущійся.

Первымъ долгомъ онъ зачѣмъ-то изо всей силы кидает объ полъ картузъ.

— Господинъ! Ваше сіятельство! дозвольте, я вамъ все разъясню, какъ по нотамъ! Ваше сіятельство! Господинъ благодѣтель! Это они все правильно! Какъ передъ Господомъ говорю, — правильно! потому способовъ нѣтъ! Сейчасъ это



Начало поселенья въ тайгѣ. Первый домъ.

ходитъ ко мнѣ, къ примѣру скажемъ, онъ: „Мосей Левонтичъ, способовъ нѣтъ". Я ему: „Пей, ѣшь, спасай свою душу!" Потомъ я для всякаго... Правильно я говорю, ай нѣтъ? — вдругъ съ какимъ-то ожесточеніемъ обращается онъ къ толпѣ, — правильно, аль нѣтъ? Что жъ вы, черти, молчите?

— Оно дѣйствительно... Оно конечно! — нехотя отвѣчаетъ толпа. — Ты про дѣло-то, про дѣло.

— Потому я для всякаго! На свои, на кровныя! Вонъ онѣ кровныя-то! — мужичинишка разжимаетъ кулакъ, въ которомъ зажато семь копеекъ, — вонъ онѣ! Обидно!

„Мосей Левонтичъ“ бьетъ себя кулакомъ въ грудь. Въ голосѣ его все сильнѣе и сильнѣе дрожитъ слеза.

— Правильно я говорю, ай нѣтъ? Что жъ вы молчите? Я за васъ, чертей, говорю, стараюсь, а вы молчите!

— Оно конечно... Оно вѣрно... Да ты про дѣло-то, про дѣло! — ужъ съ тоской отвѣчаетъ толпа.

Но „Мосей Левонтичъ“ вошелъ въ ражъ, ничего не слышитъ и не слушаетъ.

— Какой есть на свѣтѣ человѣкъ Мосей Левонтичъ?! Сейчасъ мнѣ поселеній смотритель лично извѣстенъ. Призываетъ. „Можешь, Мосей Левонтичъ, бюсту для сада сдѣлать“. Такъ точно, могу, — потому я скульпторъ природный. Природный!

„Природный скульпторъ“ начинаетъ опять усиленно колотить себя въ грудь и утираетъ слезы.

— Не какой-нибудь, а природный! Изъ Рассеи еще скульпторъ. „Можешь? — Могу. — „На тебѣ двѣ записки на спиртъ“. Обидно! Что я съ ними, съ записками-то, дѣлать буду? Куда дѣнусь. Ежели у всякаго свои записки есть? Правильно я говорю, ай нѣтъ? Что вы, черти...

— Ну, слушай! — перебиваю я его, видя, что краснорѣчію „скульптора“ конца не будетъ, — я вижу, что ты человѣкъ серьезный. Мы съ тобой въ другой разъ поговоримъ. А теперь дай мнѣ съ народомъ покончить. Поотодвиньте-ка его, братцы.

Десятокъ рукъ берется за природнаго, но огорченнаго скульптора, — и его тщедушная фигурка исчезаетъ въ толпѣ.

Положеніе тягостное.

— Что жъ я для васъ могу сдѣлать? Я ничего не могу.

— Такъ! — уныло говоритъ толпа, — къ кому ни пойдешь, всѣ ничего не могутъ? Кто жъ можетъ-то? Дѣлать-то теперь что же?

— Этакъ въ тюрьмѣ лучше!.. Куда! не въ примѣръ!.. Тамъ хошь работа, да зато кормъ!.. А здѣсь ни работы ни корма Что жъ теперь дѣлать? Одно остается: убивать, грабить! Пущай опять въ тюрьму забираютъ. Тамъ хошь кормить будутъ! Больше и дѣлать нечего: хватилъ кого ни попадя! — раздаются озлобленные голоса.

Тутъ-то мнѣ въ первый разъ пришелъ въ голову афоризмъ:

- Каторга начинается тогда, когда она кончается — съ выходомъ на поселеніе.

Афоризмъ, который повсюду на Сахалинѣ имѣлъ одинаковый успѣхъ, гдѣ я что ни говорилъ.

— Это дѣйствительно. Это правильно. Это слово вѣрное!— говорили каторжане и поселенцы. — Это истинно, такъ точно!

— Совершенно, совершенно справедливо! Именно, именно такъ! — подтверждали въ одинъ голосъ чиновники.

И даже тѣ, кому, казалось бы, слѣдовало именно заботиться, чтобы это было не такъ, — и тѣ только вздыхали.

— Вы это напишите! Непремѣнно напишите. Это правда, глубокая правда. Ужасъ, ужасъ!

Сожительница [1]).

Что за фантастическая картина! Гдѣ, когда по всей Россіи вы увидите что-нибудь подобное?

— Богъ въ помочь, дядя!

— Покорнѣйше благодарствуемъ, ваше высокородіе! Ты бы привстала, — видишь, баринъ идетъ! — говоритъ мужикъ, вытаскивающій изъ печи только что испеченный хлѣбъ, въ то время какъ баба, развалясь, лежитъ на кровати.

Баба, нехотя, начинаетъ подниматься.

— Ничего, ничего! Лежи, милая. Больна у тебя хозяйка-то?

— Зачѣмъ больна? — недовольно отзывается баба, снова принявшая прежнее положеніе. — Слава Те, Господи!

— Что жъ лежишь-то? Нескладно оно, какъ-то, выходитъ. Мужикъ и вдругъ бабьимъ дѣломъ занимается: стряпаетъ.

— Ништо ему! Чай, руки-то у него не отвалятся. Свои — не купленныя. Пущай потрудится!

— Да вѣдь срамъ! Ты бы встала, поработала!

— Пущай ее, ваше высокоблагородіе! Баба! — какимъ-то извиняющимся тономъ говоритъ мужикъ, видимо, въ теченіе всей этой бесѣды чувствующій себя ужасно сконфуженнымъ.

— Больно мнѣ надоть! Дома поработала, — будетъ. Дома, въ Рассеѣ, работала, да и здѣсь еще стану работать! Эка ...видаль! Можетъ и онъ мнѣ потрафить. А не желаетъ, ...няться не буду. Меня вонъ надзиратель къ себѣ въ сожи... льницы зоветъ. Ихъ, такихъ-то, много. Взяла, — да къ любому ...шла!

---

[1]) Такъ называются на Сахалинѣ каторжныя женщины, выдаваемыя поселенцамъ «...совмѣстнаго веденія хозяйства». Такъ это называлось официально раньше. Те... ...ь даже официально, — напр., въ «Сахалинскомъ календарѣ», — это называется ...законнымъ сожительствомъ, что гораздо ближе къ истинѣ.

Баба — костромичка, выговоръ сильно на „о“, говоритъ необычайно нахально, съ какимъ-то необыкновенно наглымъ апломбомъ.

— Но, но! Ты не очень-то! Разговорилась!—робко, видимо, только для соблюденія приличія, осаживаетъ ее поселенецъ. — Помолчала бы!

— Хочу и говорю. А не ндравится, — хоть сейчасъ, съ полнымъ моимъ удовольствіемъ! Взяла фартукъ и пошла. Много васъ такихъ-то, безрубашечныхъ! Ищи себѣ другую, — молчальницу!

— Тфу ты! Вередъ — баба! — конфузливо улыбается мужикъ, — прямо вередъ.

— А вередъ, — такъ и сойти вередъ можетъ. Сказала, — недолго.

— Да будетъ же тебѣ. Слова сказать нельзя. Ну, тебя! А ты не запрягъ, такъ и не нукай! Я тебѣ не лошадь, да и ты мнѣ не извозчикъ!

— Тфу, ты!

— Не плюй. Проплюешься. Вотъ погляжу, какъ ты плеваться будешь, когда къ надзирателю жить пойду...

— Ты какого, матушка, сплава? — обращаюсь я къ ней, чтобы прекратить эту дикую, нелѣпую, возмутительную сцену.

— Пятаго года [1])

— А за что пришла?

— Пришла-то за что? За что бабы приходятъ? За мужа.

— Что жъ, сразу къ этому мужику въ сожительницы попала?

— Зачѣмъ сразу! Третій ужъ. Третьяго смѣняю.

— Что жъ тѣ-то, плохи что ли были? Не нравились?

— Извѣстно, были бы хороши, — не ушла бы. Значитъ, плохи были, ежели я ушла. Ихняго брата, босоногой команды, здѣсь сколько хошь: ѣшь, не хочу! Штука не хитрая. Пошла къ поселеній смотрителю: не хочу жить съ этимъ, назначьте къ другому.

— Ну, а если не назначатъ? Ежели въ тюрьму?

— Не посадятъ. Небойсь! нашей-то сестры здѣсь не больно много. Ихъ, душегубовъ, кажинный годъ табуны гонятъ, а нашей сестры мало. Кажный съ удовольствіемъ...

Становилось прямо невыносимо слушать эту наглую, циничную болтовню, эти издѣвательства опухшей отъ сна и лѣни бабы.

— Избаловалъ ты свою бабу! — сказалъ я, выходя изъ избы провожавшему меня поселенцу.

---

[1]) 95-го. Женщинъ присылаютъ обыкновенно осенью

— Всѣ онѣ здѣсь, ваше высокоблагородіе, такія!—все тѣмъ же извиняющимся тономъ отвѣчалъ онъ.

— Меня баловать неча! Сама набалована! — донеслось изъ избы.

Я далъ поселенцу рублишко.

— Покорнѣйше благодарствую вашей милости! — какъ-то необыкновенно радостно проговорилъ онъ.

Арестантскіе типы. Сожительница.

Постой! Скажи, по чистой только совѣсти, на что этотъ рубль дѣнешь? Пропьешь или бабѣ что купишь?

Мужикъ съ минуту постоялъ въ нерѣшительности.

— По чистой ежели совѣсти? — засмѣялся онъ.—По чистой совѣсти, полтину пропью, а на полтину ей, подлой, гостинцу куплю!

Черезъ день, черезъ два, я проходилъ снова по той же дорожкѣ.

Вдругъ слышу — жесточайшій крикъ.

— Батюшки, убилъ! Помилосердуйте, убиваетъ, разбойникъ! Ой, ой, ой! Моченьки моей нѣтъ! Косточки живой не оставилъ! Зарѣжетъ! — пронзительно визжалъ на всю улицу женскій голосъ.

Сосѣди нехотя вылѣзали изъ избъ, глядѣли „Кто оретъ?“ — махали рукой и отправлялись обратно въ избу:

— Началось опять!

Вопила, сидя на завалинкѣ, все та же опухшая отъ лѣни и сна баба.

Около стоялъ ея мужикъ и, видимо, уговаривалъ.

Грѣшный человѣкъ: я сначала подумалъ, что онъ потерялъ терпѣніе и „поучилъ“ свою сожительницу.

Но, подойдя поближе, я увидѣлъ, что тутъ было что-то другое.

Баба сидѣла, правда, съ растрепанными волосами, но орала какъ-то спокойно, совсѣмъ равнодушно и терла кулаками совершенно сухіе глаза!

Увидѣвъ меня, она замолчала, встала и ушла въ избу.

— Ахъ, ты! Вередъ-баба! Прямо вередъ! — растерянно бормоталъ мужикъ.

— Да что ты! „Поучилъ“, можетъ, ее? Билъ?

— Какое тамъ! — съ отчаяніемъ проговорилъ онъ. — Пальцемъ не тронулъ! Тронь ее, дьявола! Изъ-за полусапожекъ все. Вынь ей да положь полусапожки. „А то, — говоритъ, — къ надзирателю жить уйду!“ Тфу, ты! Вопьется этакъ-то, да и ну на улицу голосить, чтобы всѣ слышали, будто я ее тираню, и господину смотрителю поселеній подтвердить могли. А гдѣ я возьму ей полусапожки, подлюгѣ?!

Вотъ вамъ типичная, характерная, обычная сахалинская „семья“.

Сожитель.

— Баринъ! Господинъ! Ваше выскобродіе! — слышится сзади крикъ.

Останавливаюсь.

Подбѣгаетъ, безъ шапки, запыхавшійся поселенецъ.

Видимо, гнался за мной долго и упорно.

— Я васъ по всему посту ищу, бѣгаю!

— Что тебѣ?

— Изволили давеча такую-то заходить требовать?

Онъ называетъ мнѣ фамилію одной ссыльно-каторжной преступленіе которой меня интересовало.

— Да. А что?

— Дозвольте доложить. Онѣ теперь дома.

И онъ спрашиваетъ уже, понизивъ голосъ, тономъ чрезвычайно конфиденціальнымъ.

— Къ вамъ ихъ прикажете прислать или сами пойдете?

А на лицѣ такъ и свѣтится „полная готовность“ на всѣ услуги.

— Да ты думаешь, зачѣмъ мнѣ?

Поселенецъ осклабляется во всю свою физіономію: „Шутникъ, дескать, баринъ“.

— Извѣстно, зачѣмъ господа требуютъ!

Боже! Зачѣмъ я не художникъ, чтобъ нарисовать въ эту минуту эту подлую физіономію!

— Да ты кто жъ такой ей будешь, что этакія дѣла за нее берешься устраивать.

— Я-то?

— Ты-то!

Поселенецъ чешетъ слегка въ затылкѣ.

— Сожитель ейный!

— Какъ же ты... Какъ тебя даже и назвать, не знаю...

— Михайлой зовутъ-съ!

— Какъ же ты... Михайла ты этакій!.. Какъ же ты свою же собственную сожительницу, самъ же...

Арестантскіе типы. Сожитель „Михайла“.

„Михайла“ смотритъ на меня и удивленно и иронически. „Откуда, молъ, такой взялся, что никакихъ порядковъ не знаетъ?“

— Не извольте безпокоиться, — съ усмѣшечкой говоритъ [illegible]ь, — по здѣшнимъ мѣстамъ это принято. Не токмо что [illegible]кительницу или жену тамъ, дочь представляютъ.

И заканчиваетъ ужъ совершенно серьезно.

— Жрать надо, ваше высокоблагородіе.

— Такъ вамъ, ваше высокоблагородіе, какъ же-съ? [illegible]буется?

Тошно становится глядѣть на этого субъекта, — но разговоръ интересный.

— Слушай, ты! Заплачу тебѣ все равно, не за это, а за другое: скажи мнѣ откровенно, — гдѣ была твоя сожительница давеча, когда я заходилъ ее спрашивать. Вотъ деньги.

— Покорнѣйше благодарствуемъ...

— Слышишь, только откровенно!

— Это мы завсегда можемъ. Не извольте сумлѣваться... Гдѣ жъ ей быть? На фартъ ходила [1]).

— Такъ вы и живете?

— Такъ и живемъ. Да нешто мы одни, баринъ? Оно вамъ, конечно, можетъ, спервоначала не кажется. А поживете, обвыкнете! Такъ не требоваится?.. Прощенія просимъ. На милости покорнѣйше благодаримъ. Ваши деньги фартовыя. Выиграю на нихъ, — за ваше здоровьице выпью...

И, отбѣжавъ на небольшую дистанцію, онъ повернулся и крикнулъ:

— Потребуется что, — кликнете Михайлу.

Онъ назвалъ свою фамилію.

— Завсегда съ полнымъ моимъ удовольствіемъ!

Вотъ вамъ еще не менѣе типичная, обычная сахалинская „семья".

Добровольно послѣдовавшая.

Вотъ изба, гдѣ живетъ семья, добровольно послѣдовавшая за своимъ поильцемъ-кормильцемъ на Сахалинъ.

Они прибыли почти въ одно и то же время: онъ — весной, семья — осенью 95 года.

По сахалинскимъ правиламъ, его на первое время освободили отъ работъ, „для домообзаводства".

Какъ и большинство такихъ семей, — если онѣ пріѣзжаютъ съ маленькими деньжонками, — они устроились сравнительно недурно.

Купили у какого-то поселенца, выѣхавшаго на материкъ, избенку, завели огородишко, есть корова, разводятъ „чушекъ".

По-сахалински, это совсѣмъ „слава Тебѣ, Господи".

Въ избѣ грязновато, но домовито.

Изъ-за ситцевыхъ занавѣсей, закрывающихъ колоссальную постель, выглядываютъ дѣтишки.

Не сахалинскія, хмурыя, забитыя, мрачныя дѣтишки, а с свѣтлыми льняными волосенками, веселыми, продувными гл зенками.

---

[1]) «Фартъ», — отъ слова «фортуна», — на арестантскомъ языкѣ означаетъ вообщ «счастіе». Фартовый — счастливый. Для женщины «отправиться на фартъ» — имѣет особое, спеціальное значеніе.

Видно, что дѣти хоть, по крайней мѣрѣ, сыты.

Хозяина нѣтъ дома, ушелъ въ тайгу отбывать каторжную работу, таскать бревна. Хозяйка дома работаетъ и, видимо, чѣмъ-то сильно раздражена.

— Здравствуйте, хозяюшка.

— Здравствуй, добрый человѣкъ. Спасибо хоть на добромъ словѣ, что доброе слово сказалъ. А то здѣсь окромя „подлеца“ да „мерзавца“ и словъ другихъ нѣтъ. Только день денской и слышишь: подлятъ да мерзавятъ. Живой бы въ землю легла, чтобъ ушеньки мои не слышали. Сторона тоже, чтобъ пусто ей было. Чтобъ ей, окромя святыхъ иконъ, скрозь

Поселенческій бытъ. Строящееся селеніе.

землю провалиться. Господи, прости меня, грѣшницу! Милости просимъ присѣсть.

— Что, тетка, ужли такъ Сахалиномъ недовольна?

— Да чѣмъ тутъ довольной-то быть, прости, Господи! Этаку даль ѣхали. Этакое добро-то везли, — деньги. Послѣднее добро попродали. Копленное, береженое тратишь. Въ этакой-то глуши. Господи!

Баба принялась утирать слезы.

— Что жъ теперь дѣлать! Зачѣмъ ѣхала?

— Отчего ѣдутъ? Отъ страму, отъ стыда, — всѣ въ глаза тычутъ: „Мужъ каторжный, мужъ каторжный!“ Побѣжишь куда глаза глядятъ отъ этакой жисти проклятой. Опять же мой

душегубъ съ дороги пишетъ: больно хорошо, домъ даютъ, лошадь, корову, свиней, — живи только! Никто, какъ онъ, подлый, чтобъ мои слезы всю жизнь его окаянную, весь вѣкъ отзывались, аспиду каторжному! Все онъ, ничего путемъ не узнавши, отписалъ. Нешто бы я, когда бъ знала, поѣхала! Въ этаку-то глушь! Ни тебѣ лѣта, ни тебѣ ведрышка, ни тебѣ дождичка во-время! Господи!

— Ну, зато мужу участь облегчила. Мужу легче, какъ семья пришла! Святое дѣло.

На мою собесѣдницу напалъ приливъ ярости.

— Ему-то, идолу, легче! Гнилъ бы, параличъ его расшиби, въ каторгѣ, въ тюрьмѣ. Ему-то, аспиду, душегубу, чтобъ его лихоманка трясла, чтобъ на него, злодѣя этакаго, трясучка напала, — ему-то легче? Да мы-то изъ-за его душегубства за что должны теперь мучиться, муку этакую терпѣть?

— А за что мужъ пошелъ?

— Купца что ли задавили. Я этими дѣлами не займаюсь. Это мужики все. Деньги нажить думали. Какъ же, нажили, — свои проживаемъ!.. Изъ-за него, изъ-за душегубца. Дѣти меня держатъ, дѣти по рукамъ, по ногамъ вяжутъ. Нешто, если бъ не дѣти, стала бы я этакую муку терпѣть! Быть хуже каторжницы всякой, прости, Господи! чтобъ тебя ниже всякой подлой ставили!

— Ну, матушка, это ужъ того... Кто жъ тебя ниже ставитъ? Напротивъ...

— А что жъ, по-твоему, выше, что ль? Каторжной — паекъ, а мнѣ — шишь съ масломъ. Пошла къ окружному просить. „Положенія — говоритъ — такого нѣтъ. На дѣтей получай по полтора цѣлковыхъ, а тебѣ положенія нѣтъ“. Каторжной положеніе есть, а которыя сами пришли, — будто нѣтути. Она, подлая, мужа съ полюбовникомъ убила, — ей паекъ. А я этаку даль за душегубомъ шла, родныхъ всѣхъ побросала, мнѣ нѣтъ ничего. Да ежели бъ не дѣти меня вязали...

— Ну, что бы ты сдѣлала, если бъ не дѣти?

— На фартъ бы пошла. Ужли жъ на своего душегуба стала смотрѣть? Въ сожительство бы опредѣлилась. Съ нами вонъ въ партіи гнали каторжныхъ. Какъ теперь живутъ, — любо, дорого. Со стороны поглядѣть лестно. Въ Рассеѣ такъ чисто не ходила; полусапожки козловые, платье — кумачъ не кумачъ, ситецъ не ситецъ. Полушалокъ въ три цѣлковыхъ, фартукъ надѣнетъ, — глаза бы не глядѣли. Завистно!

Она утерла слезы.

— А что сдѣлали? Мужей на тотъ свѣтъ поотправляли, — только и всего. А тутъ, прости, Господи, работаешь, бьешься, ровно собака какая...

Какъ разъ въ эту минуту дверь отворилась, и на порогѣ появилась молоденькая „сожительница“, кажется, слегка выпившая:

— Тетенька Арина, нѣтъ ли у васъ яичекъ, къ намъ гости пришли, — верещагу [1]) хошь сдѣлать.

— Нѣтъ у меня для тебя яицъ. Куры еще для тебя не неслись!

Бабенка вильнула хвостомъ и выбѣжала.

— Шкура! — напутствовала ее Арина. — Видѣли ее, подлую. Верещаги захотѣла! Въ будень какъ жрутъ! Повѣсить бы ее мало, въ землю бы, подлую, живьемъ закопать надо, на куски

Поселенческій бытъ. Улица въ селеніи Корсаковкѣ, въ 2 верстахъ отъ Александровскаго поста.

рѣзать да не дорѣзывать за дѣло-то за ея. Какъ она мужа на куски изрубила! А она „верещаги“. Да это ли еще! Зимой тутъ всѣмъ каторжнымъ бабамъ работу выдали, рубахи шить. Такъ она, вишь ты, тварь, не можетъ. Я жъ за нее шила, нанималась, отъ рубахи она мнѣ платила. Отъ дѣтей уходила. Я сижу, рубахи шью, — а она на кровати лежитъ, пряникъ жуетъ. Тфу!

Это была ужъ высшая степень бѣшенства. Вся горечь, вся обида на эту разницу въ судьбѣ съ каторжной сказались въ этомъ энергичномъ плевкѣ.

[1]) Верещага — яичница.

Бѣдная баба разразилась горькими слезами.

— Ну, мужъ-то, все-таки, хорошъ съ тобой? Для дома старается, работаетъ?

— Работаетъ, песъ его задави! Да много ль изъ его работы проку-то? — отвѣчала баба сквозь слезы. — Ни тебѣ ржицы ни тебѣ овсеца, одна картошка. Съ ей и пухни... Господи, за что такое попущеніе!

И слезы полились еще горьче. За занавѣской захныкали дѣти.

— Цыцъ вы, дьяволята, нѣтъ на васъ пропасти! — крикнула баба и взялась за ухватъ ставить въ печь корчагу.

Я распрощался и вышелъ.

Вотъ вамъ „героиня“ каторги.

Домовладѣльцы.

Такой домъ только и можно встрѣтить, что на Сахалинѣ.

Домъ, никому рѣшительно не принадлежащій.

Былъ и у него хозяинъ, да ушелъ на материкъ, покупателя не нашлось, — онъ его и бросилъ такъ, на произволъ судьбы.

Одно время здѣсь жили, кажется, пѣвчіе.

Теперь это „пріютъ для ночлега“.

Даже не ночлежный домъ. У ночлежнаго дома есть хозяинъ.

А здѣсь приходи, когда хочешь, ложись на голый полъ и спи.

Чтобъ пробраться къ этому дому, потребовался добрый десятокъ минутъ.

— Сюда, баринъ! Шагайте смѣлѣе! Ничего, становитесь! — кричали мнѣ обитатели этого дома, подбрасывая дощечки въ невылазную, зловонную грязь: обитатели дома не любятъ ни за чѣмъ ходить далеко.

Окна всѣ выставлены. Рамъ нѣтъ. Мебели, конечно, никакой! Чтобъ мнѣ присѣсть, притащили откуда-то соединенными усиліями чурку.

И вотъ я сижу въ пустомъ домѣ на чуркѣ, а передо мною стоятъ безъ шапокъ восемь „домовладѣльцевъ“.

И мы бесѣдуемъ о ихъ „владѣніяхъ“.

У всякаго изъ нихъ есть свой домъ гдѣ-нибудь на посельѣ. Домъ, выстроенный „для правовъ“, чтобъ имѣть право черезъ 5 лѣтъ получить крестьянство и уѣхать „на ту сторону“, „на материкъ“.

— Что жъ ты не живешь въ своемъ домѣ? — спрашиваю наудачу у перваго попавшагося.

Поселенческая мельница.

— Да въ немъ и жить нельзя! — улыбается онъ. — Въ немъ, вашескобродіе, ежели порядочнымъ пѣтуху да курицѣ, не приведи имъ Господь, вдвоемъ жить доведется, они другъ друга задушатъ! — иронизируетъ онъ надъ своимъ „домомъ".

Остальные одобрительно улыбаются; и у нихъ дома такіе же.

— Зачѣмъ же ты такой строилъ?

— Зачѣмъ на Сакалинѣ дома строятъ! Извѣстно, для правовъ.

— Что жъ у тебя хозяйство, что ли, было?

— Какое, вашескобродіе, хозяйство можетъ быть? Одно слово: Сакалинъ! Да я, вашескобродіе, позвольте вамъ доложить, и что съ ей дѣлаютъ, съ землей-то, не знаю. Отродясь не занимался.

— Что же ты мастерство какое знаешь?

— Такъ точно. Мастерство знаю. Только мнѣ по моему мастерству здѣсь дѣлать нечего.

— Кто же ты?

— Литографъ.

Литографу, дѣйствительно, на Сахалинѣ, гдѣ ни одного и литографскаго камня-то нѣтъ, дѣлать нечего.

— Ну, а ты?

— Мы — плотники.

— Ну, плотнику легче найти работу.

— Гдѣ жъ ее тутъ найдешь?! Поселенцу платить нечѣмъ. Самъ бьется, какъ ни на есть сколачиваетъ. А то у тѣхъ беретъ, кто на материкъ уѣзжаетъ. А господъ, на которыхъ бы работать, у насъ, сами изволите знать, нѣту.

— Ну, а ты кто?

— Печники будемъ.

Опять та же пѣсня: поселенецъ самъ печи кладетъ, платить нечѣмъ, а „господъ" нѣту.

— Ты?

— По торговой части занимался... Дозвольте вамъ, вашескородіе, замѣтить, для житья прямо никакихъ способовъ нѣтъ. Питаться нечѣмъ. Казеннаго пайка не даютъ. Прекратили.

— Да вѣдь не можетъ же казна васъ всю вашу жизнь кормить!

— Оно, конечно, такъ... Справедливо изволите говорить! Только и намъ безъ пищи жить тоже никакъ невозможно.

— Зачѣмъ же вы сюда пришли, въ постъ?

— Работу найти думали. Какъ можно, все-таки—постъ! Не поселье дикое.

— Ну, и что жъ. Нашли здѣсь работу?

вергался разжалованію за какія-нибудь безобразныя дѣянія. Подчиненныхъ онъ не могъ имѣть безъ того, чтобъ не совершить надъ ними какого-либо возмутительнаго самоуправства: мордобойства или насилія.

Послѣ военной службы онъ занимался всѣмъ и ничего не признавалъ въ умѣренныхъ размѣрахъ.

Былъ владѣльцемъ огромнаго имѣнія, вводилъ самое усовершенствованное, самое раціональное хозяйство, — и имѣніе самымъ раціональнымъ образомъ вылетѣло въ трубу.

Затѣмъ имѣлъ огромный мыловаренный и свѣчной заводъ, гдѣ мыло и свѣчи должны были приготовляться особенными, еще невиданными машинами. Но мыла и свѣчей, приготовленныхъ невиданными машинами, такъ никто и не увидѣлъ.

Далѣе мы видимъ его владѣльцемъ самой большой типографіи въ Москвѣ, — типографіи, въ которой одновременно печатались: три ежедневныхъ газеты, одинъ еженедѣльный и одинъ ежемѣсячный журналъ, масса земской и частной работы.

Типографія улетѣла туда же, куда улетѣло и имѣніе вмѣстѣ съ мыловаренными заводами. Бестужевъ судился въ московскомъ окружномъ судѣ за двоеженство, — тогда эти дѣла слушались съ присяжными засѣдателями, — и былъ оправданъ, хотя фактъ преступленія былъ признанъ. Изъ дѣла выяснилось, что свою вторую жену, богатую вдову-купчиху, Бестужевъ прельстилъ, выдавая себя за камеръ-юнкера и несмѣтнаго богача. Все состояніе несчастной женщины было потомъ проиграно въ карты и истрачено на разныя аферы. Разбирательство этого громкаго процесса надѣлало въ свое время много шума въ Москвѣ. Перечислить „мелкія дѣла“ Бестужева не было бы никакой возможности: почти еженедѣльно у кого-нибудь изъ московскихъ мировыхъ судей разбиралось какое-нибудь „Бестужевское дѣло“: или по иску съ него, или по обвиненію его въ самоуправствѣ, дракѣ и насиліи.

Бестужевъ былъ одновременно редакторомъ-издателемъ *четырехъ* ежедневныхъ газетъ[1]) и издавалъ изъ нихъ одновременно три!!!

Его литературная извѣстность была грандіозна, но скоротечна. Онъ вдругъ создалъ себѣ всероссійскую извѣстность, но въ тотъ же моментъ ее и утратилъ.

Какъ кто-то изъ великихъ французовъ, онъ въ одно прекрасное утро „проснулся знаменитостью“.

Онъ bona fide, ничего не подозрѣвая, напечаталъ въ издаваемой имъ газетѣ „Жизнь“ Пушкинскую „Пиковую даму“ за произведеніе какого-то начинающаго литератора Ногтева. Всѣ

[1]) Изъ которыхъ три должны были выходить въ Москвѣ, а одна — въ С.-Петербургѣ.

дальнѣйшія извиненія и объясненія редакціи ничего не прибавили къ лаврамъ, заработаннымъ въ одинъ день.

О газетѣ „Жизнь“ говорили всѣ газеты!

Но это была единственная минута литературнаго успѣха.

Бестужевъ въ журналистикѣ игралъ роль душеприказчика, „брата милосердія“.

На его рукахъ умирали газеты.

На его рукахъ покончилъ свои недолгіе, но многострадальные дни „Голосъ Москвы“.

На его рукахъ скончалась начатая г. Плевако и доконченная литературными самозванцами газета „Жизнь“.

На его рукахъ умеръ имъ же основанный „Вѣстникъ объявленій и промышленности“.

На его рукахъ замерло, не издавъ даже писка, многогрѣшное „Эхо“, купленное Бестужевымъ у петербургскаго адвоката г. Т.,—знаменитаго г. Т., который, защищая еще болѣе знаменитую Луизу Филиппо, обвинявшуюся „въ публичномъ оскорбленіи общественной нравственности“, вынулъ среди рѣчи изъ портфеля одну изъ принадлежностей ея туалета, потрясалъ этой шелковой „бездѣлушкой“ въ воздухѣ и патетически восклицалъ:

— Неправда! Вотъ въ чемъ она была въ „вечеръ преступленія“. Какъ видите, все дѣло состоитъ только въ томъ, что шелкъ не выдержалъ и лопнулъ отъ усиленнаго канкана!

По окончаніи литературной дѣятельности, Бестужевъ сразу превратился въ... станового пристава Нижегородской губерніи. Собственно живѣйшее его желаніе было принять участіе въ шумѣвшей тогда Ашиновской экспедиціи. Бестужевъ составилъ уже свой собственный отрядъ и изумлялъ Москву, щеголяя въ необыкновенной черкескѣ, увѣшанный оружіемъ и съ небывалыми орденами. Но знаменитый „атаманъ“ отказался принять Бестужева къ себѣ въ есаулы:

— Больно буенъ.

Съ горя бывшій редакторъ и неудавшійся есаулъ и пошелъ въ становые. Въ становыхъ онъ не удержался: „превысилъ“ власть, натворилъ какихъ-то „насилій“, и мы видимъ ex-редактора въ роли исправника въ Томскѣ.

Затѣмъ, мы его видимъ, — вѣрнѣе, мы его совсѣмъ не видимъ.

Изъ Томска, не удержавшись въ исправникахъ и натворивъ какихъ-то „дѣлъ“, онъ уѣзжаетъ въ Буэносъ-Айресъ, съ цѣлымъ караваномъ проводниковъ и слугъ, зачѣмъ-то объѣзжаетъ Аргентину.

Далѣе, онъ живетъ въ Чили, ищетъ счастья въ Калифорніи, отбываетъ за что-то срокъ въ каторжной тюрьмѣ въ Санъ-

Поселенческій бытъ. Торговля на базарѣ.

Франциско,—въ концѣ концовъ я встрѣтилъ его на Сахалинѣ, въ роли смотрителя поселеній, устроителя быта отбывшихъ наказаніе преступниковъ и насадителя колонизаціи.

Таковы, въ краткихъ чертахъ, жизнь и приключенія этого помѣщика, заводчика, редактора, станового и кругосвѣтнаго путешественника.

Интересна была первая фраза, которою привѣтствовалъ меня Бестужевъ, мой старый пріятель.

— Ты? На Сахалинѣ? — воскликнулъ я.

— А гдѣ жъ ты думалъ меня встрѣтить? — расхохотался Бестужевъ. — Хорошо еще, что хоть чиновникомъ.

При всѣхъ своихъ недостаткахъ, онъ былъ человѣкомъ правдивымъ и какъ-то въ бесѣдѣ сказалъ мнѣ:

— Здѣсь нужны лучшіе люди, а кого сюда присылаютъ?! Кто тамъ, въ Россіи, ни къ чему не пригоденъ! Да вотъ хоть меня возьми. А я, честное слово, еще не изъ худшихъ.

Онъ дѣйствовалъ на Сахалинѣ такъ же бурно, безтолково и не стѣсняясь никакими законами, какъ и всю свою жизнь.

Онъ основывалъ новыя селенія, устраивалъ мастерскія, построилъ церковь, школу, домъ для пріѣзжихъ, — и все это безъ копейки денегъ, — „за водку“. О „пользѣ“ вообще такой экономической и экономной политики я скажу ниже, а теперь только констатирую фактъ, что въ результатѣ Бестужевскихъ „заботъ“ явилось повальное и совершенное обнищаніе ввѣренныхъ его попеченіямъ поселенцевъ.

Человѣкъ „стараго склада мыслей“, онъ слылъ въ своемъ округѣ „крутымъ, но отходчивымъ, безтолковымъ бариномъ“. И я не думаю, чтобы его образъ управленія „ввѣренными душами“ особенно способствовалъ водворенію въ этихъ „душахъ“ какого бы то ни было представленія о законности... Когда по повальному разоренію поселенцевъ увидѣли, что Бестужевъ въ устроители сельскаго хозяйства не годится, его сдѣлали смотрителемъ Корсаковской тюрьмы. Тутъ, оказавшись главою надъ безправными, лишенными возможности протестовать людьми, Бестужевъ развернулся во всю ширь и мощь своей дикой натуры: билъ, колотилъ, далъ неистово,—что на Сахалинѣ рѣдкость, имѣлъ даже „непріятность“ отъ начальства за то, что подвергалъ жестокимъ тѣлеснымъ наказаніямъ людей, завѣдомо больныхъ и освобожденныхъ отъ тѣлесныхъ наказаній. Богъ вѣсть, чѣмъ бы все это безобразіе кончилось, если бы Бестужевъ вдругъ не попалъ подъ судъ. Контроль открылъ безцеремонное хозяйничаніе казенными деньгами. Бестужевъ былъ смѣщенъ и отданъ подъ судъ.

Надѣясь, что ему удастся какъ-нибудь и „отговориться“, онъ поѣхалъ къ генералъ-губернатору въ Хабаровскъ, но тамъ его ждалъ послѣдній ударъ.

Бестужевъ дожидался своей очереди въ пріемной, когда вышелъ чиновникъ особыхъ порученій и сказалъ:

— Генералъ приказалъ передать вамъ, что онъ васъ не приметъ... Довольно! Ваше дѣло будетъ рѣшено по закону.

Тучный Бестужевъ зашатался, лицо его потемнѣло, онъ упалъ, на губахъ показалась пѣна.

Прибѣжалъ докторъ. Бестужевъ былъ мертвъ.

Онъ умеръ отъ апоплектическаго удара.

Такъ кончилъ свои дни этотъ „свободный человѣкъ острова Сахалина“.

Каторга, любящая всѣмъ давать свои прозвища, прозвала его „атаманъ-буря“.

„Сахалинскій Орфей“.

Корсаковскъ, это — царство селедки.

— Селедка идетъ!—это—событіе для тюрьмы, поселенцевъ, промышленниковъ,—для всѣхъ. Это то, чѣмъ живутъ цѣлый годъ.

Что за фантастическая картина! Что за декорація изъ какой-то фееріи!

По морю течетъ молочная рѣка.

На версту отъ берега вода побѣлѣла, стала молочнаго цвѣта.

А кругомъ, кругомъ!

Блещутъ фонтаны китовъ, ревутъ сивучи (моржи), съ воплями носятся тысячи чаекъ.

И надъ всѣмъ этимъ царитъ господинъ Крамаренко.

„Сахалинскій Орфей“, промѣнявшій скрипку на селедку.

Но и скрипка не всегда была постояннымъ инструментомъ г. Крамаренка. Когда-то онъ игралъ на другомъ инструментѣ,—щелкалъ на счетахъ, служа въ конторѣ кого-то изъ астраханскихъ рыбопромышленниковъ.

Г. Крамаренка — человѣкъ молодой годами, но „старый опытомъ“.

Въ 30 лѣтъ онъ успѣлъ быть конторщикомъ, скрипачомъ-виртуозомъ и превратиться въ рыбопромышленника.

Вкусилъ лавра и питается селедкой.

Г. Крамаренко — астраханскій мѣщанинъ. Такъ сказать, землякъ астраханской сельди. Но этимъ и кончается все его родство съ соленой рыбой.

По его собственному, искреннему, чистосердечному и дѣлающему ему честь сознанію, онъ о селедкѣ имѣетъ ровно

столько же понятія, сколько всякій, кому случалось видѣть эту рыбу, приготовленной съ уксусомъ, маслицемъ, горчичкой, свеклой, лучкомъ и картофелемъ.

Онъ знаетъ, что селедка—великолѣпная и риѳма и закуска къ водкѣ. Можетъ дать клятву въ этомъ.

Но на этомъ всѣ его познанія и кончаются.

Даже вашъ покорнѣйшій слуга, и тотъ оказался болѣе опытнымъ рыбопромышленникомъ въ сравненіи съ этимъ „сахалинскимъ Орфеемъ".

— Зачѣмъ вы солите селедку только сухимъ способомъ? То-есть, кладете и пересыпаете солью?—спросилъ я.—Отчего бы вамъ не пускать рыбу въ готовый тузлукъ (разсолъ)? Наглотавшись тузлука, рыба лучше бы просолилась и была бы нѣжнѣе.

Г. Крамаренко посмотрѣлъ на меня во всѣ глаза, какъ на человѣка, только что открывшаго Америку.

— А вѣдь, знаете, это—идея!!! Непремѣнно попробую!

Хороша „идея", которая уже десятки лѣтъ примѣняется на практикѣ! Объ этомъ способѣ засола селедки я слышалъ лѣтъ шесть тому назадъ, на нижегородской ярмаркѣ, отъ керченскихъ рыбопромышленниковъ.

— Да у васъ, что же, были свои рыбные промыслы въ Астрахани?

— Нѣтъ.

— Служили вы на промыслахъ?

— Тоже нѣтъ. Я занимался счетоводствомъ въ конторѣ у купца. Ну, а когда начинался ходъ селедки,—эта вѣдь недѣля весь годъ кормитъ,—тогда всякое счетоводство по боку: насъ всѣхъ посылали на промыслы смотрѣть за рабочими. Тутъ я и видѣлъ.

Вотъ и все. Вся его школа. Всѣ его познанія.

Потерпѣвъ какое-то крушеніе на родинѣ, г. Крамаренко, какъ человѣкъ предпріимчивый, забросилъ счеты, взялъ подъ мышку скрипку, на которой любительски хорошо игралъ, и уѣхалъ въ Уссурійскій край, куда въ тѣ времена тянуло многихъ.

Здѣсь онъ имѣлъ сразу успѣхъ. Можно сказать, весь край плясалъ подъ его скрипку.

Г. Крамаренко игралъ на свадьбахъ, на крестинахъ, на именинахъ, украшалъ себя фантастическими медалями экзотическихъ владыкъ и давалъ концерты въ качествѣ „придворнаго виртуоза эмировъ афганскаго, бухарскаго и киргизъ-колпакскаго".

Онъ одинаково охотно игралъ Венявскаго, Берліоза, польку „трамъ-блямъ", концерты Паганини и кадриль „Вьюшки",

Поселенческій бытъ. Видъ базара въ воскресный день.

изображалъ при помощи смычка, какъ „баба голоситъ“, и отжаривалъ на скрипкѣ, какъ на балалайкѣ, трепака.

Когда же все это разнообразное искусство достаточно понадоѣло и ему и всему краю,— г. Крамаренко уѣхалъ „концертировать“ на Сахалинъ.

На Сахалинъ онъ попалъ какъ разъ въ минуту „рыбнаго замѣшательства“ и даже „рыбнаго помѣшательства“.

— Рыба — вотъ въ чемъ богатство Сахалина, — кричали справа и слѣва.

На самомъ дѣлѣ, рыбы — „уйма“, рыбы дѣвать некуда, рыбой кишатъ рѣки, рыба миріадами трется у морскихъ береговъ.

А какъ къ ней приступить, что съ нею дѣлаютъ, какъ ее солятъ, — никто не зналъ.

Всякій ѣлъ селедку, но рѣшительно не знаетъ, какъ она приготовляется. Положеніе трагическое!

И вдругъ пріѣзжій скрипачъ-виртуозъ, въ антрактѣ между двумя отдѣленіями танцевъ, объявляетъ:

— А вѣдь я, господа, въ Астрахани былъ, на рыбныхъ промыслахъ жилъ, какъ селедку солятъ — знаю.

За него ухватились, какъ за находку.

Г. Крамаренка назначили на три года „техническимъ надзирателемъ“ за тюремными рыбными промыслами.

Поручили ему изслѣдованія по рыбному дѣлу на Сахалинѣ.

И въ результатѣ этихъ изслѣдованій помогли выстроить собственный рыбный заводъ.

Астраханскій конторщикъ и свадебный скрипачъ превратился въ крѣпостного владѣльца.

Отпущенные ему въ помощь, за грошевую плату казнѣ, каторжные строили ему заводъ, погреба, подвалы.

Правда, погреба мало на что годятся, рыба въ нихъ портится, подвалы для засола рыбы текутъ и тузлукъ изъ нихъ уходитъ. Но это ужъ вина не каторжныхъ, отданныхъ во временное крѣпостное пользованіе г. Крамаренки, это — вина самого скрипача-архитектора.

Первые опыты г. Крамаренка были довольно печальны. Съ первыхъ же шаговъ онъ сильно и основательно шлепнулся, можно сказать, „на гладкомъ мѣстѣ“.

Первый ходъ селедки онъ пропустилъ. Второй, хоть и не прозѣвалъ, но толку не вышло: тузлукъ вытекъ, и рыб пришлось обратно выкинуть въ море. При третьемъ ходѣ хо и получилась, наконецъ, желанная селедка, но такая дрянь что никто брать не хотѣлъ.

Г. Крамаренко теперь „учится“. Да и чего жъ не учиться Даровой лѣсъ и за гроши доставшійся трудъ каторжныхъ. В

видѣ маленькой ежегодной субсидіи, — 1000 р. впередъ за рыбу, которую г. Крамаренко обязанъ поставить на тюрьму. Потомъ, впрочемъ, эту субсидію отъ г. Крамаренка, кажется, отняли, убѣдившись, что это за рыбопромышленникъ. Въ Сахалинскомъ „календарѣ“ вы найдете статью г. Крамаренка, въ которой онъ очень громко и весьма справедливо вопіетъ противъ „хищничества“ японскихъ рыбопромышленниковъ.

На самомъ дѣлѣ! Такую цѣнную рыбу, какъ сельдь, они ловятъ на Сахалинѣ стадами, варятъ въ котлахъ и превращаютъ въ удобрительные туки.

Развѣ это не варварство? Развѣ не хищничество?

Что жъ дѣлаетъ самъ г. Крамаренко?

Ловитъ сельдь, варитъ ее и приготовляетъ изъ нея „тукъ“, то-есть, занимается тѣмъ же самымъ хищничествомъ, противъ котораго такъ горячо и справедливо вопіетъ. Весь его игрушечный, комическій „засолъ“ рыбы не даетъ ни гроша, простая игра „для отвода глазъ“.

Главное его дѣло,— онъ и самъ не скрываетъ,— „туковое дѣло“. Приготовляя удобрительный тукъ изъ селедки, онъ продаетъ его тѣмъ же самымъ японцамъ. Вся разница состоитъ только въ томъ, что казна съ „поощряемаго“ г. Крамаренка получаетъ гораздо меньше, чѣмъ получала бы съ арендаторовъ-японцевъ. Къ хищничеству тутъ слѣдуетъ еще добавить и „обставленіе“ казны. Промыслы г. Крамаренка ничего не даютъ населенію, потому что самъ подставное лицо японцевъ, г. Крамаренко работаетъ исключительно японскими рабочими.

Въ чемъ же, однако, секретъ такого быстраго, крупнаго и ничѣмъ, казалось бы, не заслуженнаго успѣха этого виртуоза? — спросите вы.

Очень просто.

Въ томъ, что на Сахалинъ мало кто ѣдетъ по доброй волѣ.

Каждый доброволецъ-предприниматель, какъ рѣдкость, здѣсь встрѣчается съ распростертыми объятіями, находитъ поддержку и помощь.

Жаль только, что эти предприниматели-то. .

Нѣтъ спора, край многимъ и многимъ богатый, но онъ требуетъ людей знанія, людей дѣла, а не кулаковъ-эксплуататоровъ, не свадебныхъ скрипачей, готовыхъ схватиться за что угодно, не людей „безъ опредѣленныхъ занятій, средствъ и рода жизни“...

А тамъ исключительно „орудуютъ“ или неудачники, потерпѣвшіе въ Россіи крушенія на всѣхъ поприщахъ, или мошенники, — какіе это плохіе устроители благосостоянія, дѣйствительно, „несчастныхъ“ острова Сахалина!

„Спиртовая торговля“.

Если Сахалинъ,— какъ въ шутку называютъ его мѣстные чиновники, — „совершенно особое, самостоятельное государство“, то Корсаковскій округъ, непроходимыми тундрами и тайгой отрѣзанный отъ административнаго центра, поста Александровскаго, представляетъ собой ужъ „государство въ государствѣ“, „Сахалинъ на Сахалинѣ“.

Здѣсь свои особые порядки, обычаи, законы, даже своя особая денежная еденица.

Наши обыкновенные денежные знаки въ Корсаковскѣ упразднены. Вся торговля, всѣ дѣла ведутся на спиртъ.

Денежная единица Корсаковскаго округа — бутылка спирта, даже не бутылка спирта, а записка на право купить бутылку спирта. Чтобъ понять эту „девальвацію“, очень выгодную для многихъ, надо знать условія продажи спирта на Сахалинѣ.

Спиртомъ имѣетъ право торговать только колонизаціонный, онъ же экономическій, фондъ.

Невозбранно и въ какомъ угодно количествѣ спиртъ могутъ покупать только люди „свободнаго состоянія“, то-есть чиновники.

Поселенцамъ же разрѣшается покупать спиртъ передъ праздниками или по запискамъ лицъ свободнаго состоянія.

„Отпустить такому-то бутылку спирта. Такой-то“.

Въ „фондѣ“ бутылка спирта стоитъ 1 руб. 25 коп., рыночная ея цѣна колеблется отъ 2 руб. 50 коп. до 6 рублей.

Поселенецъ, получивъ такую записку, „выкупаетъ“ на свои деньги въ фондѣ бутылку спирта и перепродаетъ ее съ прибылью поселенцамъ же и каторгѣ.

А то просто перепродается самая „записка“. Записки ходятъ какъ ассигнаціи. Бываютъ даже подложныя!

На эти записки чиновники покупаютъ у поселенцевъ соболей, — по запискѣ за шкуру, — этими записками платятъ за поставленные продукты, за сдѣланныя работы.

Въ сущности, такимъ образомъ, они получаютъ все *даромъ*, предоставляя только поселенцамъ возможность заниматься торговлей водкой и спаивать каторгу.

Смотритель поселеній Бестужевъ, лично для себя не примѣнявшій этого „порядка“, пробовалъ зато примѣнить этотъ „порядокъ“ къ казеннымъ работамъ.

Онъ быстро построилъ, безъ копейки денегъ, церковь школу, мастерскія, домъ для пріѣзжающихъ чиновниковъ, — за все расплачиваясь „записками“.

Онъ разсуждалъ такъ:

— Если гг. служащіе дѣлаютъ такъ, почему же не дѣлать казнѣ? Пусть ужъ лучше въ казенный карманъ идетъ, чѣмъ въ карманы гг. служащихъ.

Совершенно забывая, что „quod licet bovi — non licet lovi".

Къ сожалѣнію, изобрѣтательный финансистъ не разсчиталъ одного.

Что съ появленіемъ на „рынкѣ" массы записокъ, — цѣна на нихъ упадетъ.

Такъ и случилось.

Работавшіе поселенцы разорились въ конецъ: думая получить за записки рубли, они получили гроши.

Среди нищенствующихъ въ Корсаковскѣ пришлыхъ поселенцевъ, мнѣ много приходилось встрѣчать жертвъ этой оригинальной финансовой затѣи.

Я не стану уже говорить о вліяніи этой „спиртовой системы" на нравственность поселенцевъ.

За спиртъ въ Корсаковскѣ продается и покупается все, — до собственной сожительницы или дочери включительно.

Но какое же уваженіе можетъ имѣть каторга къ чиновникамъ, даромъ покупающимъ ея трудъ, и чиновникамъ, торгующимъ спиртомъ?

А на Сахалинѣ такъ много говорятъ о необходимости поддерживать престижъ.

— Каторга распускается! Становится дерзка, непослушна!

Какъ будто „престижъ" создается и поддерживается одними наказаніями...

Биричъ.

Биричъ — мой сосѣдъ по комнатѣ. Онъ живетъ у того же ссыльно-каторжнаго Пищикова, у котораго остановился и я.

Онъ — компаніонъ одного изъ крупныхъ рыбо-промышленниковъ и ужасно любитъ говорить о томъ, какіе огромные убытки онъ терпитъ, благодаря дурной погодѣ.

— Помилте - съ. Законтрактованные пароходы съ японцами-съ не идутъ. Тутъ каждый день дорогъ-съ. Не нынче, завтра селедка пойдетъ. Вѣдь это мнѣ тысячными убытками пахнетъ-съ! Вѣдь я тысячи могу потерять-съ?

Онъ ужасно любитъ подчеркнуть это слово: „тысячи".

Биричъ — человѣкъ среднихъ лѣтъ, маленькій, невзрачный, дѣтъ не безъ претензіи на франтовство, по жилету „пущена" ѣпь, на которую смѣло можно бы привязать не часы, а обаку.

Ото всей его особы ужасно вѣетъ не то штабнымъ писаремъ, не то фельдшеромъ, вышедшимъ „въ люди".

Такъ оно впослѣдствіи и оказалось.

При встрѣчѣ, при прощаньѣ онъ обязательно по нѣскольку разъ жметъ вамъ руку, — словно это доставляетъ ему особое удовольствіе — здороваться „за руку“.

Когда „заложитъ за галстукъ“, — а это съ нимъ случается часто, — Биричъ становится особенно невыносимъ своей назойливостью и необыкновенной развязностью.

Онъ является безъ спроса, говоритъ безъ-умолку и въ разговорѣ принимаетъ позы одна свободнѣе другой.

Собственно говоря, онъ даже не столько говоритъ, сколько позируетъ.

То раскинется на стулѣ и заложитъ ногу за ногу такъ, что онѣ у него чуть не на столѣ. То встанетъ и поставитъ ногу на стулъ.

„Вотъ человѣкъ, который стремится къ тому, чтобъ ноги у него были непремѣнно выше головы!“ думалъ я, улыбаясь про себя.

То онъ хлопнетъ васъ по колѣну. То возьметъ за бортъ сюртука. То броситъ свой окурокъ въ ваше блюдечко.

И все это — рѣшительно безо всякой надобности, — просто, словно онъ каждую минуту хочетъ доказать вамъ, что онъ съ вами на равной ногѣ и можетъ вести себя „непринужденно“.

Эта мысль словно тѣшитъ его, доставляетъ ему невыразимое наслажденіе.

Когда подопьетъ, — Биричъ особенно яростно принимается ругать ссыльно-каторжныхъ.

Это, кажется, его главное занятіе.

Право, съ перваго раза можно подумать, что у человѣка перерѣзали цѣлую семью. Такая глубокая, непримиримая, яростная ненависть.

Биричъ явился ко мнѣ прежде, чѣмъ я даже успѣлъ устроиться въ своей комнаткѣ.

Нѣсколько разъ пожалъ мою руку, заявилъ, что очень радъ „знакомству съ образованнымъ человѣкомъ“, съ перваго же абцуга объявилъ мнѣ, что у него жена — институтка [1]) и живетъ на рыбныхъ промыслахъ, разсказалъ про свои „тысячные убытки“ и вызвался быть моимъ ментором.

— Я Сахалинъ какъ свои пять пальцевъ знаю. Вы только меня слушайте. Я вамъ все покажу. Увидите, что это за мерзавцы, за негодяи!

Когда Биричъ говоритъ о каторгѣ, онъ даже забываетъ прибавлять „слово ерикъ“, которое прибавляетъ обыкновенно чуть не за каждымъ словомъ. До того его разбираетъ злость

[1]) Дочь одной интеллигентной особы, приговоренной за поджоги. По окончаніи института она пріѣхала къ матери на Сахалинъ и здѣсь сдѣлала такую «партію»...

Поселенческій бытъ. Гулянье на Пасхѣ.

— Вы хорошенько ихъ, негодяевъ, распишите! Чтобъ знали, что это за твари! Распущены, — ужасъ! Еще бы! Деликатничаютъ съ ними! „Жалѣютъ“, мерзавцевъ! Ихъ жалѣть! Драть ихъ, негодяевъ, надо! Вотъ прежде г. Ливинъ былъ смотритель или Ярцевъ — покойникъ, царство ему небесное, — драли ихъ, — тогда и была каторга. А теперь — помилуйте! Какая это каторга? Развѣ это каторга? Издѣвательство надъ закономъ, — и больше ничего.

— Да вы что... можетъ-быть, не потерпѣли ли черезъ нихъ какого-нибудь убытка? Можетъ-быть, работали они у васъ?

Биричъ даже вспыхнулъ весь.

— Я? Да чтобъ съ ними? Да спасетъ меня Господь и помилуетъ! Чтобъ съ этимъ народомъ имѣть дѣло?! Да въ петлю лучше! Нѣтъ, у меня японцы, — никого, кромѣ японцевъ, — помилуйте, развѣ можно съ ними? Я въ прошломъ году попробовалъ было взять поселенцевъ, — подрядъ у меня былъ на желѣзную дорогу, на шпалы, — такъ жизни не былъ радъ. Это — такіе негодяи, такіе мерзавцы...

И т. д., и т. д., и т. д. Становилось тошно слушать, и отдѣлаться отъ Бирича было невозможно.

Нравилось ему, что ли, со мной вездѣ показываться, но только Биричъ не отставалъ отъ меня ни на шагъ.

Иду по дѣлу, гулять, — Биричъ какъ тѣнь. „Въ каторжный театръ“ пошелъ, — Биричъ и тутъ увязался, за мѣсто въ 1-мъ ряду заплатилъ.

— Посмѣемтесь! Нѣтъ, каковы твари, а? Будній день, а у нихъ театры играютъ.

— Да вѣдь Пасха теперь!

— Для каторжныхъ Пасха — три дня. По-настоящему бы, одинъ день надо, да ужъ такъ, распустили, свободу даютъ. А они, негодяи, цѣлую недѣлю. А? Какъ вамъ покажется? И это каторга? Поощреніе мерзавцевъ, а не каторга. Жрутъ, пьютъ, ничего не дѣлаютъ, никакихъ наказаній для нихъ нѣтъ...

Въ концѣ концовъ меня даже сомнѣніе начало разбирать.

— Что-то ты, братецъ, ужъ очень каторгу ругать стараешься? Странновато, что-то...

Идемъ мы какъ-то съ Биричемъ по главной улицѣ, — какъ вдругъ изъ-за угла, неожиданно, лицомъ къ лицу, встрѣтился съ нами начальникъ округа.

Биричъ моментально отскочилъ въ сторону, словно электрическимъ токомъ его хватило, — и не снялъ, а сдернулъ съ головы фуражку.

Нѣтъ! Этого движенія, этой манеры снимать шапку не опишешь, не изобразишь.

Она вырабатывается годами каторги, поселенчества и не изглаживается потомъ ужъ никогда.

По одной манерѣ снимать шапку передъ начальствомъ, — я вамъ берусь отличить бывшаго ссыльно-каторжнаго въ тысячной толпѣ.

Хотя бы со времени его каторги прошелъ десятокъ лѣтъ и онъ пользовался бы уже всѣми „правами“.

Вся прошлая исторія каторги въ этомъ поклонѣ, — то прошлое, когда зазѣвавшемуся или не успѣвшему при встрѣчѣ снять шапку каторжному говорили:

Картинка изъ жизни сс.-каторжныхъ. Водоосвященіе.

— А пойди-ка, братъ, въ тюрьму! Тамъ тебѣ тридцать дадутъ!

Начальникъ округа прошелъ.

Биричъ почувствовалъ, что я понялъ все, и сконфуженно смотрѣлъ въ сторону.

Неловко было и мнѣ.

Мы прошли нѣсколько шаговъ молча.

— Много мнѣ пришлось здѣсь вытерпѣть! — тихо, со вздохомъ сказалъ Биричъ.

Я промолчалъ.

Вплоть до дому мы прошли молча.

А вечеромъ, „заложивъ за галстукъ“, Биричъ снова явился въ мою комнату и принялся ругательски ругать каторгу.

Только ужъ теперь онъ прибавлялъ:

— Развѣ мы то терпѣли, что они терпятъ? Развѣ мы такъ жили, какъ они теперь живутъ? А за что, спрашивается? Развѣ мы грѣшнѣе ихъ, что ли?!

И вся злоба, вся зависть много натерпѣвшагося человѣка къ другимъ, которые не терпятъ и половины того, сказывались въ этихъ восклицаніяхъ, вырвавшихся изъ „нутра“ полупьянаго Бирича.

Какъ я узналъ потомъ, онъ — изъ фельдшеровъ, судился за отравленіе кого-то, отбылъ каторгу, поселенчество, теперь не то крестьянинъ, не то ужъ даже мѣщанинъ, всѣми правдами и неправдами скопилъ копейку и теперь кулачитъ на промыслахъ.

Каторга его терпѣть не можетъ, ненавидитъ и презираетъ какъ „своего же брата“.

Никогда и никто такъ не прижималъ поселенцевъ, какъ Биричъ, когда они работали у него по поставкѣ шпалъ.

Таковъ Биричъ.

Его мелкая фигурка не стоила бы, конечно, и малѣйшаго вниманія, если бы его отношеніе къ каторгѣ не было типичнымъ отношеніемъ бывшихъ каторжниковъ къ теперешнимъ. Это брезгливое отношеніе вылѣзшихъ изъ грязи къ тѣмъ, кто тонетъ еще въ этой грязи.

Сколько я ни видѣлъ потомъ на Сахалинѣ мало-мальски разжившихся бывшихъ каторжныхъ,— всѣ они говорили о каторгѣ злобно, недоброжелательно.

Не иначе.

У болѣе интеллигентныхъ и воспитанныхъ, конечно, это высказывалось не въ такой грубой формѣ, какъ у Бирича. Но недоброжелательство звучало въ тонѣ и словахъ.

И никто изъ нихъ, хоть бы во имя своихъ прежнихъ страданій, не посмотритъ болѣе человѣчно на чужія страданія, не посмотритъ на каторжнаго какъ на страдающаго брата.

Нѣтъ! Страданья только озлобляютъ людей!

Словно самый видъ каторжныхъ, ихъ близость, оскорбляютъ этихъ выплывшихъ изъ грязи людей, напоминаютъ о годахъ позора.

— Самъ былъ такой же, — звучитъ для нихъ въ звонѣ кандаловъ, и это озлобляетъ ихъ.

— Тоже носилъ! — читаютъ они на спинѣ арестантскаго халата въ этихъ „бубновыхъ тузахъ“.

И въ основѣ всего ихъ недоброжелательства, всей злобы противъ каторги, всѣхъ жалобъ на „распущенность, слабость теперешней каторги“, — звучитъ всегда одинъ и тотъ же мотивъ:

— Развѣ мы то терпѣли? Почему же они терпятъ меньше насъ?

И изъ этихъ-то людей, такъ относящихся къ каторгѣ, изъ бывшихъ каторжниковъ, — зачастую назначаютъ надзирателей, непосредственное, такъ сказать, начальство, играющее огромную роль въ судьбѣ ссыльно-каторжнаго.

Можно себѣ представить, какъ относится къ каторгѣ подобный господинъ, когда онъ получаетъ возможность не только словами, но и болѣе существенно выражать свое недоброжелательство?

Поселенческій бытъ. Около собора въ праздничный день.

Каторжный театръ.

На всѣхъ столбахъ, на всѣхъ углахъ поста Корсаковскаго расклеены афиши, что „въ театрѣ Лаврова, съ дозволенія начальства, въ недѣлю св. Пасхи даются утренніе и вечерніе спектакли“.

У маленькаго, наскоро сколоченнаго балаганчика, съ уны-лымъ видомъ стоитъ антрепренеръ, — мѣстный булочникъ Лавровъ.

Бѣднягу постигла та же судьба, что и его россійскихъ собратій: онъ терпитъ антрепренерскую участь — прогораетъ.

Надѣялся на поддержку „интеллигенціи“, лишенной, кромѣ картъ и водки, какихъ бы то ни было удовольствій. Но чиновники, конечно, въ каторжный театръ не пошли.

До чего *старается* туземная „интеллигенція“ сторониться отъ каторги, показываетъ хотя бы слѣдующій фактъ. Начальникъ округа жаловался мнѣ, что большинство „интеллигенціи“ не пожелало быть подписчиками основывающейся библіотеки только потому, что тамъ подписчиками могутъ быть и каторжные. Словно эти бѣдные люди боятся, что ихъ могутъ смѣшать какъ-нибудь съ каторгой!..

Мое первое посѣщеніе театра вышло неудачнымъ.

„Great attraction“ спектакля, чтеніе „Записокъ сумасшедшаго“ состояться не могло по самой необыкновенной въ исторіи театра причинѣ.

— Такъ какъ артистъ Сокольскій посаженъ въ кандальную тюрьму! — какъ анонсировали со сцены.

Зато на слѣдующій день спектакль удался на славу.

Артистъ Сокольскій не пилъ и въ кандальную не попалъ.

По случаю праздника, театръ былъ полонъ.

Артисты старались „предъ литераторомъ“ изо всѣхъ силъ.

Нарочно для меня пѣсенники пѣли не обыкновенныя, а спеціально-тюремныя пѣсни.

Были даже приготовлены куплеты въ честь моего пріѣзда. Куплеты, въ которыхъ привѣтствовался пріѣздъ писателя, и гдѣ я предупреждался, что, показывая мнѣ каторгу, мнѣ часто будутъ напѣвать:

Не моя въ томъ вина,
Наша жизнь вся сполна
Намъ судьбой суждена!..

Но начальство заблаговременно узнало и пѣніе этого куплета запретило.

Театръ убранъ по стѣнамъ елочками.

Сцена отдѣлена занавѣской изъ какой-то грязной дерюги, долженствующей изображать „занавѣсъ“. Полъ на сценѣ — земляной.

5 часовъ вечера.

Театръ полонъ. Галерка волнуется.

„Поселки“ со своими „сожителями“. Поселенцы. Сѣрые „бушлаты“ каторжниковъ. Кой у кого изъ „первоурядниковъ“ желтые тузы на спинѣ.

За дерюжной занавѣской пѣсенники тянутъ унылую, мрачную пѣсню сибирскихъ бродягъ.

Милосердные наши батюшки,
Милосердныя наши матушки!
Помогите намъ, несчастненькимъ,
Много горя повидѣвшимъ!
Выносите, родные, во имя Христа,
Кто что можетъ сюда,

Бѣднымъ странничкамъ, побродяжничкамъ.
Помогите, родные: золотой вѣнецъ вы получите
На томъ свѣтѣ, а на нынѣшнемъ
Поминать въ тюрьмахъ будемъ мы
Васъ, наши рбдные.

Пѣсня стихаетъ на долгой жалобной нотѣ. „Занавѣсъ“ отдергиваютъ. Спектакль начался.

Для начала идетъ сцена: „Опять Петръ Ивановичъ!“

Изъ-за грязной занавѣски, долженствующей изображать ширмы, появляется традиціонный „Петрушка“.

Плутъ, проказникъ, озорникъ и безобразникъ, — даже бѣдный, „Петрушка“, попавъ въ каторгу, „осахалинился“.

Всюду и вездѣ, по всей Руси, отъ Архангельска до Керчи, отъ Владивостока до Петербурга, — онъ только плутуетъ и мошенничаетъ, покупаетъ и не платитъ, дерется и надуваетъ квартальнаго.

Здѣсь онъ еще — и отцеубійца.

Это уже не веселый „Петрушка“ свободной Руси, это — мрачный герой каторги.

Изъ-за занавѣски показывается старикъ, его отецъ.

— Давай, сынокъ, денегъ!

— А много тебѣ? — пищитъ „Петрушка“.

— Да хоть рублей двадцать!

— Двадцать! На вотъ тебѣ! Получай!

Онъ наотмашь ударяетъ старика палкой по головѣ.

— Разъ... два... три... четыре... — отсчитываетъ „Петрушка“.

Старикъ падаетъ и перевѣшивается черезъ ширму.

„Петрушка“ продолжаетъ его бить лежачаго.

— Да вѣдь ты его убилъ! — раздается за ширмой голосъ „хозяина“.

— Зачѣмъ купилъ, — свой, доморошенный! — остритъ „Петрушка“.

Это вызываетъ взрывъ хохота всей аудиторіи.

— Не купилъ, а убилъ! — продолжаетъ хозяинъ. — Мертвый онъ.

— Тятенька, вставай! — теребитъ „Петрушка“ отца подъ непрекращающійся смѣхъ публики, — будетъ дурака-то валять! Вставай! На работу пора!

— А вѣдь и впрямь убилъ! — рѣшаетъ, наконецъ, „Петрушка“ и вдругъ начинаетъ „выть въ голосъ“, какъ въ деревняхъ бабы воютъ по покойникамъ: „Родимый ты мой батюшка-а-а! На кого ты меня споки-и-нулъ! Остался я теперь одинъ одинешене-е-екъ, горькимъ сироти-и-инушкой!“

Какой-то ужъ прямо восторгъ охватываетъ публику.

Стонъ, вой стоятъ въ театрѣ. Топочутъ ногами. Женскій визгливый смѣхъ сливается съ раскатистымъ хохотомъ мужчинъ.

Тошно дѣлается...

Похожденія кончаются тѣмъ, что является квартальный и „Петрушку“ ссылаютъ на Сахалинъ.

Прощай, Одеста,
Славный карантинъ!
Меня посылаютъ
На островъ Сакалинъ...—

поетъ „Петрушка“.

— Ловко! — вопитъ публика.

— Бицъ! — громче всѣхъ кричитъ какой-то подвыпившій поселенецъ.

Онъ — человѣкъ образованный, въ антрактѣ нарочно громко повѣствуетъ, какъ бывалъ въ Москвѣ „въ Скоморохѣ театрѣ“, всякую камедь видалъ.

„Бицъ“ онъ кричитъ спеціально для меня, чтобы обратить вниманіе на свою образованность.

Номера, одинъ другого „фурорнѣе“, слѣдуютъ другъ за другомъ.

Бродяга Ѳедоровъ въ пестромъ костюмѣ,— что-то въ родѣ костюма арлекина,— поетъ куплеты на мотивъ изъ „Боккачіо“:

Не моя въ томъ вина...

Ѳедоровъ служилъ когда-то при театрѣ, былъ театральнымъ парикмахеромъ.

Онъ поетъ вѣрно, безъ аккомпанемента, затрогиваетъ мѣстныя злобы дня.

„Баланду“, которой не ѣдятъ даже свиньи; коты, которые надо въ рукахъ, а не на ногахъ носить; расползающіеся по швамъ халаты и т. п.

Его успѣхъ идетъ все crescendo. Онъ повторяетъ безъ конца,— и за каждымъ куплетомъ мой образованный зритель кричитъ:

— Бицъ!

Ѳедоровъ сіяетъ, расшаркивается, кланяется на всѣ стороны, прижимаетъ обѣ руки къ сердцу.

Занавѣсъ снова отдергиваютъ; на сценѣ — три сдвинутыхъ табурета.

Сидѣвшій вчера въ „кандальной“ Сокольскій, въ арестантскомъ халатѣ, читаетъ „Записки сумасшедшаго“.

Группа арестантовъ.

И что это? Въ этомъ — Богомъ забытомъ, людьми проклятомъ уголкѣ на меня пахнуло чѣмъ-то такимъ далекимъ отсюда...

Съ этой „каторжной сцены“ пахнуло настоящимъ искусствомъ. Этотъ „бродяга“, видимо, когда-то любилъ искусство, интересовался имъ. Отъ его игры вѣетъ не только талантомъ, но и знаніемъ сцены, — онъ видалъ хорошихъ исполнителей и удачно подражаетъ имъ.

Онъ читаетъ горячо, съ жаромъ, съ увлеченіемъ. „Живой душой“ повѣяло въ этомъ мірѣ подъ сѣрыми халатами погибшихъ людей...

У Сокольскаго настоящее актерское лицо, нервное, подвижное, выразительное.

Онъ — эпилептикъ, въ припадкѣ откусилъ себѣ кончикъ языка, немного шепелявитъ, — и это слегка напоминаетъ покойнаго В. Н. Андреева-Бурлака.

Въ „Запискахъ сумасшедшаго“ Гоголя осталась только одна фраза:

„А знаете ли вы, что у алжирскаго дея подъ самымъ носомъ шишка“.

Все остальное — импровизація, мѣстами талантливая, мѣстами посыпанная недурной солью.

Это — Поприщинъ-каторжникъ, ждущій смерти, какъ избавленія.

Въ его монологѣ много намековъ на мѣстную тюрьму. Я уже посвященъ въ ея маленькія тайны, знаю, о комъ изъ докторовъ идетъ рѣчь, кого слѣдуетъ разумѣть подъ какой кличкой.

Эти намеки вызываютъ одобрительный смѣхъ публики, но въ настоящій восторгъ она приходитъ только тогда, когда Сокольскій, читающій нервно, горячо, видимо волнующійся, начинаетъ кричать, стуча кулакомъ по столу:

— Да убейте вы меня! Убейте лучше, а не мучайте! Не мучайте!

— Бицъ его! — не унимается образованный зритель.

И вся публика аплодируетъ, — кажется, больше тому, что человѣкъ очень громко кричитъ и бьетъ кулакомъ по столу, чѣмъ его трагическимъ словамъ и тону, которымъ они произнесены.

Мрачное впечатлѣніе „Записокъ сумасшедшаго“ разсѣивается слѣдующей за ними сценой „Сѣдина — въ бороду, а бѣсъ — въ ребро“.

Это — импровизація. Живая, мѣткая, полная юмора и правды картинка изъ поселенческаго быта.

Поселенецъ съ длинной, бѣлой, льняной бородой всячески ухаживаетъ за своей „сожительницей“.

— Куляша! Ты бы прилегла! Ты бы присѣла! Куляша, не труди ножки!

„Куляша“ капризничаетъ, требуетъ то того, то другого, — и, въ концѣ концовъ, выражаетъ желаніе плясать въ присядку.

Въ угоду ей, старикъ пускается выдѣлывать вензеля ногами.

Здѣсь же въ публикѣ сидящія „Куляши“ хихикаютъ:

— Какая мараль!

Поселенцы только крутятъ головой. Каторга отпускаетъ крѣпкія словца.

Какъ вдругъ появляется старуха, законная, добровольно пріѣхавшая къ мужу жена, и метлой гонитъ „Куляшу“.

„Куляша“ садится старику на плечи, — и старикъ съ „сожительницей“ за спиной удираетъ отъ законной жены.

Такъ кончается эта комедія... Чуть-чуть не сказалъ „трагедія“.

Теперь предстоитъ самый „гвоздь“ спектакля.

Пьеса „Бѣглый каторжникъ“.

Пьеса, сочиненная тюрьмой, созданная каторгой. Ея любимая, боевая пьеса.

Гдѣ бы въ каторжной тюрьмѣ ни устраивался спектакль,— „Бѣглый каторжникъ“ на первомъ планѣ.

Она передается изъ тюрьмы въ тюрьму, отъ одной смѣны каторжныхъ къ другой. Во всякой тюрьмѣ есть человѣкъ, знающій ее наизусть, — съ его голоса и разучиваютъ роли артисты.

Дѣйствіе первое.

Глубина сцены завѣшана какимъ-то тряпьемъ. Справа и слѣва небольшія кулисы, изображающія печь и окно.

Но публика не взыскательна и охотно принимаетъ это за декорацію лѣса.

Сцена изображаетъ каторжныя работы.

Трое каторжанъ, долженствующихъ изображать толпу каторжныхъ, копаютъ землю.

Герой пьесы, — почему-то архитекторъ Василій Ивановичъ Сунинъ, — сидитъ въ сторонкѣ въ глубокой задумчивости.

— Что лѣниво работаете, черти, дьяволы, лѣшіе? Пора урокъ кончать! — слышится изъ-за кулисъ.

— Это — голосъ надзирателя.

Бьетъ звонокъ, и каторжные идутъ въ тюрьму

— Пойдемъ баланду хлебать! Что сидишь? — говорятъ [illegible] и Василію Ивановичу.

— Сейчасъ, братцы, ступайте! Я васъ догоню, — отвѣ[illegible]етъ онъ.

Василій Ивановичъ, — его изображаетъ все тотъ же [illegible]кольскій, главный артистъ труппы, — Василій Ивановичъ [illegible]жко вздыхаетъ.

— И такъ все впереди. Кандалы, работа, ругань, наказанія! Ничего свѣтлаго, ничего отраднаго. На всю жизнь! Вѣдь я — вѣчный каторжникъ. Бѣжать? Но куда? Кругомъ лѣсъ, тайга! Бѣгу! Лучше голодная смерть, лучше смерть отъ хищныхъ звѣрей, чѣмъ такая жизнь! Разобью кандалы и бѣгу. бѣгу...

Василій Ивановичъ снимаетъ кандалы и... и вотъ ужъ этого-то меньше всего можно было бы ожидать.

Съ изумленіемъ, съ испугомъ оглядываюсь на „публику".

— Да что это?

Каторга разражается гомерическимъ хохотомъ... Хохочутъ просто надъ тѣмъ, какъ легко снять кандалы.

— Прощайте, кандалы! Васъ никто больше носить не будетъ! Я васъ разбилъ! — говоритъ Василій Ивановичъ. — Прощай, неволя!

И уходитъ.

Дѣйствіе второе снова должно изображать лѣсъ.

Накрывшись халатомъ, спитъ каторжанинъ.

Озираясь кругомъ, входитъ Василій Ивановичъ.

— Убѣжалъ отъ погони! Гнались, стрѣляли! Убѣжалъ, — но что будетъ со мной? Чѣмъ прикрою свое грѣшное тѣло, когда даже и халата у меня нѣтъ.

Въ это время онъ замѣчаетъ спящаго арестанта.

— Усталъ, бѣдняга, намаялся и заснулъ, гдѣ работалъ, на сырой землѣ... Взять, нешто, у него халатъ... у него, у своего же брата...

Василій Ивановичъ становится на колѣни передъ арестантомъ. Публика начинаетъ хихикать.

— Прости меня, товарищъ, что краду у тебя послѣднее. Спрашивать съ тебя станутъ, мучить тебя! Своимъ тѣломъ, кровью своей прійдется тебѣ расплачиваться за этотъ халатъ... Но что жъ дѣлать? Я долженъ позаботиться о себѣ. Ты бы то же самое сдѣлалъ на моемъ мѣстѣ.

Василій Ивановичъ снимаетъ со спящаго товарища халатъ.

Въ публикѣ... гомерическій хохотъ.

— Бицъ его! Бицъ! — въ какомъ-то изступленіи оретъ „образованный" зритель.

Для нихъ это — только забавно. Они хохочутъ надъ „дядей Сараемъ [1])", который спитъ и не слышитъ, что у него отнимаютъ послѣднее.

Для нихъ это ловкая кража, — и только.

Внѣшность, одна внѣшность, — о сущности, казалось бы, такой близкой, понятной и трогающей душу, не думаетъ никто.

---

[1]) Такъ арестанты называютъ «простофилю», «разиню».

Дѣйствіе третье.

Сцена должна изображать домъ богатаго сибирскаго купца Потапа Петровича.

Къ нему-то и является Василій Ивановичъ.

— Примите странника! — робко останавливается онъ у порога.

— Милости просимъ, добрый человѣкъ, — необыкновенно радушно принимаетъ его сибирскій купецъ, — раздѣвайтесь, садитесь. Не хотите ли ѣсть съ дороги?

— Благодарю васъ, что не погнушались принять меня! — отвѣчаетъ Василій Ивановичъ. — Я подожду, пока вы будете обѣдать.

— Какъ вамъ будетъ угодно.

Вообще, купецъ отличается въ разговорахъ съ Василіемъ Ивановичемъ необыкновенной вѣжливостью.

Спрашиваетъ, какъ зовутъ, и, только извинившись, задаетъ вопросъ:

— Куда путь держите, Василій Ивановичъ?

— Мой путь лежитъ на всѣ четыре стороны, — отвѣчаетъ со вздохомъ бѣглый каторжникъ. — Иду жить не съ людьми, со звѣрьми. Съ людьми я не ужился.

— Я вижу, вы много горя приняли, Василій Ивановичъ?

— Не стану скрывать отъ васъ, Потапъ Петровичъ: я — бѣглый каторжникъ, кандальникъ, изъ тюрьмы бѣжалъ! — онъ встаетъ со скамьи. — Быть-можетъ, прогоните меня послѣ этого? Сидѣть погнушаетесь съ бродягой? Скажите — я уйду!

— Что вы, что вы, Василій Ивановичъ! Прошу васъ и не думать объ этомъ.

Василій Ивановичъ разсказываетъ свою исторію. Какъ онъ былъ архитекторомъ, какъ поссорился съ отцомъ, какъ отецъ въ ссорѣ хотѣлъ его убить.

— Тогда я взялъ со стѣны ружье и...

Василій Ивановичъ умолкаетъ.

— Въ такомъ случаѣ (!), — говоритъ купецъ, — прошу васъ, Василій Ивановичъ, остаться жить въ моемъ домѣ. Живите, пока понравится.

— Какъ мнѣ благодарить васъ? — отвѣчаетъ растроганный каторжникъ.

Въ эту минуту вбѣгаетъ дочь купца.

— Ахъ! — восклицаетъ она въ сторону, — кто этотъ незнакомый человѣкъ? При видѣ его сильно забилось мое сердце. Я полюбила его.

Адскій, невѣроятный хохотъ всей публики сопровождаетъ эту нѣжную тираду.

Да и нѣтъ возможности безъ смѣха смотрѣть на каторжнаго Абрамкина, изображающаго купеческую дочь, въ сарафанѣ до колѣнъ, съ рукавами по локоть.

Онъ и самъ чувствуетъ, что это должно быть очень „чудно́“, и улыбается во всю ширину своей глуповатой, добродушной, кирпичомъ подрумяненной физіономіи.

Любой мрачный меланхоликъ умеръ бы со смѣху при видѣ этой нескладной, долговязой, удивительно нелѣпой фигуры.

Да еще съ такими нѣжными словами на устахъ.

— Позвольте вамъ представить, Василій Ивановичъ, мою единственную дочь! — говоритъ купецъ, — Вареньку! Нашъ гость — Василій Ивановичъ.

— Папаша, обѣдъ готовъ, — заявляетъ „Варенька“, раскланиваясь подъ неумолкающій хохотъ съ Василіемъ Ивановичемъ.

Дѣйствіе четвертое.

— Бѣжать, бѣжать я долженъ отсюда! — говоритъ Василій Ивановичъ. — Я чувствую, что здѣсь мои мученія становятся сильнѣе. Я полюбилъ Вареньку... Я, ссыльно-каторжный, бродяга, котораго каждую минуту могутъ поймать, заключить въ тюрьму, отдать палачу на истязаніе. О, какое мученіе!

Онъ беретъ котомку.

— Куда вы, Василій Ивановичъ? — спрашиваетъ его вошедшая Варенька.

— Прощайте, Варвара Потаповна, — кланяется онъ, — я ухожу отъ васъ. Пойду искать... не счастья, нѣтъ! Счастье мнѣ не суждено! Смерти пойду я искать.

— Зачѣмъ вы говорите такъ? — перебиваетъ его „Варенька“. — Вы много видѣли горя? Вы никогда мнѣ не говорили, кто вы, откуда къ намъ пришли. И папенька мнѣ запретилъ спрашивать васъ объ этомъ. Почему?

— Это я никому не могу сказать!

— Никому? Даже вашей женѣ?

— Зачѣмъ вы сказали такое слово? — утирая слезу, говоритъ Василій Ивановичъ. — Вы смѣетесь надъ бѣднякомъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! Я сказала это не спроста, не для смѣха. Я люблю васъ, Василій Ивановичъ, я полюбила васъ съ перваго взгляда. Мнѣ вы можете сказать, кто вы такой.

— Такъ слушайте же! — съ отчаяніемъ произноситъ Василій Ивановичъ. — Передъ вами — тяжкій преступникъ, отцеубійца! Бѣгите отъ меня: я — каторжникъ, я — кандальникъ! Я... я... убилъ родного отца!

— Ахъ! — вскрикиваетъ Варенька и, подъ хохотъ публики, падаетъ въ обморокъ.

— Я убилъ и ее! — ломая руки, говоритъ бѣглый каторжникъ.

— Нѣтъ, я жива! — очнувшись отвѣчаетъ она. — Прошу васъ, не уходите, подождите здѣсь одну минуту!

Вы, конечно, догадываетесь о концѣ.

— Моя дочь сказала мнѣ все! Она любитъ васъ и согласна быть вашей женой! — говоритъ вошедшій отецъ. — Василій Ивановичъ, прошу васъ быть ея мужемъ!

— И для несчастнаго суждена новая жизнь! — этими словами Василія Ивановича подъ аплодисменты публики заканчивается пьеса.

Эта излюбленная пьеса каторги, ея дѣтище, ея греза.

Пьеса, въ которой сказались всѣ мечты, всѣ надежды, которыми живетъ каторга.

Въ ней все нравится каторгѣ.

И удачное бѣгство, и то, что бѣглый каторжникъ находитъ себѣ счастье, и то, что „порядочные люди“ говорятъ съ нимъ вѣжливо „на вы“, какъ съ человѣкомъ, и то, что есть на свѣтѣ люди, которыхъ не отталкиваетъ отъ падшаго даже совершенное имъ тягчайшее преступленіе.

Люди, которые видятъ въ преступленіи — несчастье, въ преступникѣ — человѣка.

Послѣ этой пьесы, гдѣ нѣтъ ничего бутафорскаго, гдѣ все настоящее: каторжные, кандалы, халаты, — мы, конечно, не станемъ смотрѣть „разбиванія камня на груди“ и прочихъ прелестей программы.

Пройдемъ за кулисы. За самыя оригинальныя кулисы въ мірѣ!

„Каторжные артисты“.

Огарокъ, прилѣпленный къ скамьѣ, освѣщаетъ самую оригинальную „уборную“ въ мірѣ.

Торопясь къ перекличкѣ, артисты переодѣваются въ арестантскіе халаты.

Тѣ, которые играли кандальниковъ въ „Бѣгломъ каторжникѣ“, покуриваютъ цыгарку, переходящую изъ рукъ въ руки, и ожидаютъ платы отъ антрепренера.

Имъ переодѣваться нечего: ихъ „костюмы“, ихъ кандалы — не снимаются.

Кулисы всюду и вездѣ — тѣ же кулисы. То же артистическое самолюбіе.

— Благодарю васъ! — крѣпко жметъ мою руку Сокольскій, когда я расхваливаю его чтеніе „Записокъ сумасшедшаго“, — вы меня обрадовали. Все-таки, хоть и такой театръ, — но все же это что-то человѣческое... А я, признаться, сильно трусилъ: играть передъ литераторомъ, передъ понимающимъ человѣкомъ... Такъ ничего себѣ?

— Да увѣряю васъ, что очень хорошо! Вы никогда не были актеромъ, Сокольскій?

— Актеромъ — нѣтъ. Но любительствовалъ много. Въ Секретаревкѣ, въ Нѣмчиновкѣ (любительскіе театры въ Москвѣ). Вѣдь я изъ Москвы. Вы тоже москвичъ? Ахъ, Москва! Малый театръ! Ермолова Марья Николаевна! Бывало, лупишь изъ „Скворцовъ“ (студенческіе номера) въ Малый театръ на верхотурье. А помните, Парадизъ привозилъ Барная, Поссарта. Я и теперь его въ Ричардѣ словно передъ глазами вижу. Монологъ этотъ послѣ встрѣчи съ Елисаветой... „На тѣнь свою мнѣ надо наглядѣться!“

— Сокольскій, чортъ! На перекличку иди! Опять завтра въ кандальную посадятъ! — высунулась изъ-за занавѣски физіономія антрепренера.

— Сейчасъ... сейчасъ... Вы меня извините. Къ перекличкѣ надо. Вотъ если бы вы позволили... Да ужъ не знаю... Нѣтъ, нѣтъ, вы меня извините!..

— Что? Зайти ко мнѣ?..

— Д-да...

— Сокольскій, какъ вамъ не стыдно?

— Ну, хорошо, хорошо. Благодарю васъ. Такъ завтра, если позволите...

— Да иди же, дьяволъ, опять будешь въ кандальной — изъ-за тебя представленіе отмѣнять!

— Иду... иду... Значитъ, до завтра!

Сокольскій побѣжалъ на перекличку въ тюрьму.

— А вы отлично поете куплеты! — обращаюсь я къ Ѳедорову.

Ѳедоровъ сіяетъ.

— При театрѣ, знаете, понаторѣлъ... А вы къ намъ изъ Одессы изволили, говорятъ, пріѣхать. Кто теперь тамъ играетъ?

— Труппа Соловцова.

— Николая Николаевича? Ну, какъ онъ?

— А вы и его знаете?

— Его-то? Еще съ Корша помню. У Корша я парикмахеромъ былъ. Да кого я не знаю! Марью Михайловну (Глѣбову) сколько разъ завивалъ. Рощинъ-Инсаровъ — хорошій артистъ. Я вѣдь его еще когда помню. Отлично Неклюжева играетъ. Кисилевскій Иванъ Платонычъ — строгій господинъ: парикъ и такъ завьешь, — бѣда!

Ѳедоровъ смѣется при одномъ воспоминаніи, — и у него вырывается глубокій вздохъ.

— Хоть бы однимъ глазкомъ посмотрѣть на господина Кисилевскаго въ „Старомъ баринѣ“! Эхъ!

— Абрашкинъ, чего на перекличку не идешь.

Но Абрашкинъ артистъ на роли ingenue dramatique, стоитъ, переминается съ ноги на ногу, дожидается тоже комплимента.

— А, здорово, братъ, это ты представляешь? — обращаюсь я къ нему.

Глупая физіономія Абрашкина расплывается въ блаженную улыбку.

— Я, ваше высокоблагородіе, на рукахъ еще могу ходить, — мѣсто только не дозволяетъ!

— Комедіянтъ, дьяволъ! — хохочутъ каторжане.

Абрашкинъ со счастливой рожей машетъ рукой.

— Такъ точно!

А вѣдь этотъ добродушный человѣкъ — рѣзалъ.

Бродяга Сокольскій.

— Къ вамъ Сокольскій. Говоритъ, что приказали прійти! — доложила мнѣ рано утромъ квартирная хозяйка.

— Гдѣ же онъ?

— Велѣла на кухнѣ подождать.

— Да просите, просите!

Если бы улыбка не была въ этомъ случаѣ преступленіемъ,—трудно было бы удержаться отъ улыбки при взглядѣ на „штатскій костюмъ", въ который облачился для визита ко мнѣ Сокольскій.

Рыжій, весь рваный пиджакъ, дырявые штиблеты, необыкновенно узкіе и короткіе штаны, обтягивавшіе его ноги какъ трико, — совсѣмъ костюмъ Аркашки.

— А я къ вамъ въ штатскомъ, чтобъ не смущать васъ арестантскимъ халатомъ,—сказалъ онъ.

— Да будетъ вамъ, Сокольскій, о такихъ пустякахъ. Садитесь, будемъ пить чай!

Сначала разговоръ вязался плохо. Сокольскій сидѣлъ на кончикѣ стула, конфузливо вынималъ изъ кармана бѣлую тряпку, которую досталъ вмѣсто платка.

Но мало-по-малу бесѣда оживилась. Оба москвичи, мы вспомнили Москву, театръ, пріѣзжихъ знаменитостей.

Оба забыли — гдѣ мы.

Онъ оказался горячимъ поклонникомъ Поссарта, я — Барная. Мы спорили, кипятились, говорили горячо, громко, такъ что хозяйка нѣсколько разъ съ недоумѣніемъ, даже съ испугомъ заглядывала въ дверь.

— Чего, молъ, это они? Не надѣлалъ бы онъ пріѣзжему господину дерзостей?

Я продиктовалъ Сокольскому „Записки сумасшедшаго“, которыя зналъ наизусть. Записывая ихъ, Сокольскій отъ души хохоталъ надъ безсмертными выраженіями Поприщина.

Разговоръ перешелъ на литературу. Сокольскій особенно любитъ, знаетъ и понимаетъ Достоевскаго. Помнитъ цѣлыя страницы изъ „Мертваго дома“ наизусть.

— Вѣдь я самъ хотѣлъ написать „Записки съ мертваго острова“. Конечно, это былъ бы не „Мертвый домъ“. Куда до солнца! Но все-таки хотѣлось дать понять, что такое теперешняя каторга. Думалъ, — самъ погибъ, но пусть хоть какъ-нибудь пользу принесу. Многіе изъ интеллигентныхъ этимъ увлекаются. Да потомъ... бросаютъ. Здѣсь все бросаютъ... У всѣхъ почти начало есть... если только на цыгарки кто не искурилъ! Вотъ и у меня. Уцѣлѣло. Нарочно вамъ принесъ. Возьмете — радъ буду.

Мы заговорили о разницѣ между „Мертвымъ домомъ“ и теперешней каторгой.

Сокольскій говорилъ горячо, страстно, увлекаясь, какъ человѣкъ, которому на своихъ плечахъ пришлось вынести все это.

— Даже не „Мертвый домъ“! — говорилъ онъ, вскочивъ со стула и энергично жестикулируя, — даже не онъ! Тамъ даже что-то было. Вспомните этотъ ужасъ, это отвращеніе къ палачу. А здѣсь даже и этого нѣтъ... А эти дивныя строки Ѳедора Михайловича...

Въ эту минуту дверь отворилась, и явившійся ко мнѣ съ визитомъ смотритель поселеній на полуфразѣ перебилъ Сокольскаго.

— Сбѣгай-ка, братецъ, на конюшню. Вели, чтобъ мнѣ тройку прислали!

— Слушаю, ваше высокоблагородіе! — выкрикнулъ Сокольскій и со всѣхъ ногъ бросился изъ комнаты.

Я схватился за голову.

— Зачѣмъ вы это?

Смотритель глядѣлъ на меня во всѣ глаза.

— Что зачѣмъ?

— Да развѣ нельзя было кого другого послать?.. Хоть бы изъ уваженія ко мнѣ...

Онъ расхохотался.

— Да вы что это? Гуманничать съ ними думаете? Съ мерзавцами? Да повѣрьте вы мнѣ: мерзавцы, мерзавцы и мерзавцы, — и больше ничего! Что ему сдѣлается?

Съ Сокольскимъ мы видѣлись довольно часто. Онъ дѣятельно, охотно мнѣ помогалъ знакомиться съ каторгой, собирать пѣсни, составлять словарь арестантскихъ выраженій.

Но каждый разъ, какъ я заговаривалъ о чемъ-нибудь, кромѣ каторги, онъ весь какъ-то съеживался и бормоталъ.

— Нѣтъ, нѣтъ. Не надо объ этомъ... Ни о чемъ не надо... Вы уѣдете, а мнѣ еще тяжелѣй будетъ... Не надо!..

Одну странность я замѣтилъ въ Сокольскомъ.

Онъ словно чего-то не договаривалъ... Прійдетъ, посидитъ, повертится на стулѣ, поговоритъ о какихъ-то пустякахъ и уйдетъ... Словно давится онъ чѣмъ-то, что никакъ не можетъ сойти у него съ языка.

Старался навести его на этотъ разговоръ.

— Сокольскій, вы, кажется, мнѣ что-то хотите сказать? Пожалуйста, откровенно...

— Нѣтъ, нѣтъ... Ничего, ничего... Право, ничего... До свиданья, до свиданья!

Становилось тягостно.

— Сокольскій! — какъ-то не безъ страха началъ я, — я скоро уѣзжаю изъ Корсаковска. Вы мнѣ много помогли въ моей работѣ... Я за это вѣдь получаю гонораръ и считаю своимъ долгомъ...

На лицѣ Сокольскаго отразилось страданіе. Во взглядѣ, который онъ кинулъ на меня, было много злобы.

— Къ вамъ идетъ кто-то... идетъ...

Его чуть не на половину откушенный языкъ заплетался и шепелявилъ еще больше.

— Ишдетъ... Ишдетъ...

И Сокольскій выбѣжалъ изъ комнаты.

— Да Боже мой. Что жъ это все за муки?! — должно-быть, вслухъ крикнулъ я, потому что хозяйка отворила двери и спросила.

— Чаю прикажете?! Звали?

Черезъ нѣсколько времени встрѣчаю моего знакомаго, „адвоката за каторгу“, „дурачка“ Шапошникова [1]).

— Слушайте, Шапошниковъ. Вы — пріятель Сокольскаго. Онъ что-то имѣетъ ко мнѣ, да все...

Шапошниковъ пристально посмотрѣлъ мнѣ въ глаза и захохоталъ.

— Подстрѣлить васъ хочетъ, ваше высокоблагородіе. Да все не рѣшается!

— Какъ подстрѣлить? Какой вздоръ говорите!

— Какъ „подстрѣливаютъ“? Денегъ попросить семь цѣлковыхъ. Татары насѣли. Онъ тутъ майданщику да другимъ, за водку и за разное, семь рублей долженъ. Узнали, что онъ къ вашему высокоблагородію ходитъ, и насѣли: „Проси да проси

[1]) См. очеркъ «Два полюса».

у барина". Избить до полусмерти обѣщаютъ. А онъ давится, шельма! Ха, ха, ха! Давеча отъ васъ въ тюрьму какъ угорѣлый прибѣгъ. „Догадался!" кричитъ. Ха, ха, ха! Въ каторгѣ да этакія нѣжности!

— Да на-те, на-те вамъ, Шапошниковъ, пойдите, сейчасъ же отдайте... Не говорите ему про нашъ разговоръ... Скажите, что я вамъ далъ. лично вамъ... Сдѣлайте тамъ, какъ хотите...

Во взглядѣ Шапошникова на одно мгновеніе сверкнула какая-то жалость, но онъ сейчасъ же прищурилъ глаза и посмотрѣлъ на меня съ ироніей.

— Вы кого зарѣзали?

— Кто? Я?

— Вы?

— Я никого не рѣзалъ.

— Никого?.. Такъ за что же васъ на Сахалинъ послали?

И Шапошниковъ снова расхохотался своимъ страннымъ смѣхомъ, отъ котораго у непривычнаго человѣка мурашки по тѣлу пробѣгаютъ.

Преступленія въ Корсаковскомъ округѣ.

— Мы въ тайгу иначе не ходимъ, какъ съ ножомъ за голенищемъ! — говорили мнѣ сами каторжные.

Вотъ вамъ то, что лучше всякихъ статистическихъ цифръ говоритъ объ имущественной и личной безопасности на Сахалинѣ.

Когда разгружаются пароходы, каторжныхъ на бортъ ни за что не пускаютъ.

— Все уволокутъ, что попадется!

У моей квартирной хозяйки поселенцы успѣли стащить въ кухнѣ со стола деньги, едва она отвернулась.

Несмотря на то, что у меня сидѣлъ въ это время ихъ начальникъ,—смотритель поселеній.

— Ваше высокоблагородіе, простите ихъ! — молила квартирная хозяйка, когда виновные нашлись. — Простите, а то они меня подожгутъ.

Къ ея просьбѣ присоединился и я.

— Да бросьте вы ихъ! Вѣдь, дѣйствительно, сожгутъ домъ, по міру пойдетъ баба.

Смотритель поселеній долго настаивалъ на необходимост наказанія.

— Не возможно! Подъ носомъ у меня смѣютъ воровать. Д чего жъ это дойдетъ?!

Но потомъ энергично плюнулъ и махнулъ рукой.

— А, ну ихъ къ дьяволу! Вѣдь, дѣйствительно, — съ голоду, съ голоду все!

Кражи, грабежи, воровство—сильно развиты въ округѣ.

Но убійствъ съ цѣлью грабежа какъ-то меньше, чѣмъ въ другихъ округахъ.

Незадолго до моего пріѣзда тутъ произошло четыре убійства.

Одинъ поселенецъ, похороны котораго я описывалъ, — хорошій, работящій, „смирный“ парень, зарѣзалъ изъ ревности свою „сожительницу“ и отравился самъ.

Просѣка въ сахалинской тайгѣ.

Женщина свободнаго состоянія отравила своего мужа, крестьянина изъ ссыльныхъ, за то, что онъ не хотѣлъ ѣхать на материкъ, куда уѣхалъ ея „милый“ изъ ссыльно-поселенцевъ.

Одинъ поселенецъ зарѣзалъ сожительницу и надзирателя.

Послѣднее дѣло отлично рисуетъ картину возмутительныхъ заимныхъ отношеній на Сахалинѣ.

„Сожительница“ спуталась съ надзирателемъ.

— Уйду да уйду!

— Нѣтъ, не уйдешь!—удерживалъ ее сожитель-поселенецъ.

Въ концѣ концовъ, надзиратель явился однажды и „отобралъ“ у поселенца бабу.

Прямо, просто, такъ, ни слова не говоря.

Взялъ и повелъ въ „постъ“.

— Ты, молъ, скверно съ ней обращаешься!

Поселенецъ нагналъ ихъ на дорогѣ, убилъ и страшно надругался надъ трупами. Буквально—искромсалъ ихъ ножомъ.

„Натѣшилъ свою душу“ [1]).

Наконецъ, четвертое преступленіе, съ цѣлью грабежа, совершено въ самомъ „посту“.

Убитъ былъ зажиточный писарь изъ ссыльно-каторжныхъ.

У него водились деньжонки, — и его же сожительница „подвела“ убійцъ.

Она не сознается, но, когда я бесѣдовалъ съ ней одинъ на одинъ въ карцерѣ, гдѣ она содержится, — она озлобленно отвѣтила.

— А чего жъ на нихъ смотрѣть-то, на чертей? Не законный, чай? Поживетъ, кончитъ срокъ,—да и поминай его какъ звали! Куда наша сестра подъ старость лѣтъ, безъ гроша дѣнется!..

И, помолчавъ, добавила.

— Не убивала я. А ежели бъ и убила, не каялась бы. Всякій о себѣ тоже долженъ подумать!

Вотъ вамъ сахалинскіе „нравы“.

Отъѣздъ.

Пароходъ готовъ къ отплытію.

По Корсаковской пристани, заваленной мѣшками съ мукой, движется печальная процессія.

На носилкахъ, въ самодѣльныхъ неуклюжихъ креслахъ, несутъ тяжкихъ хирургическихъ больныхъ, отправляемыхъ для операціи въ Александровскъ.

Страдальческія лица... А впереди еще путешествіе по бурному Татарскому проливу...

Тутъ же на пристани разыгрывается трагедія?-комедія... траги-комедія...

Агаѳья Золотыхъ уѣзжаетъ съ Сахалина на родину и прощается со своимъ сожителемъ, сс.-поселенцемъ изъ нѣмцевъ.

Исторію Агаѳьи Золотыхъ, — всю можно охарактеризовать двумя строками поэта:

Мало словъ, — а горя рѣченька,
Горя рѣченька бездонная...

„Агаѳья Золотыхъ“,— это ея „бродяжеское“, нѣ настоящее имя, — попала на Сахалинъ добровольно.

[1]) Съ несчастнымъ «героемъ» этого преступленія мы уже встрѣчались въ «кандальной тюрьмѣ».

Ея другъ сердца былъ сосланъ въ каторгу за поддѣлку монеты.

Чтобы послѣдовать за нимъ на каторгу, она назвалась бродягой.

Ее судили, какъ не помнящую родства, сослали на Сахалинъ, — здѣсь ее ждало новое горе.

Тотъ, ради кого она пошла на каторгу, умеръ.

„Агаѳья Золотыхъ“ открыла свое „родословіе“ и просила возвратить ее на родину.

А пока „ходили бумаги“, вѣдь ѣсть-то что-нибудь надо!

Агаѳьѣ пришлось сойтись съ поселенцемъ, пойти въ „сожительницы“.

Понемногу она привыкла къ сожителю, полюбила его, — какъ вдругъ приходитъ рѣшеніе возвратить „Агаѳью Золотыхъ“ на родину въ Россію.

— Прощай, Карлуша! — говоритъ, глотая слезы, Агаѳья, — не поминай лихомъ. Добромъ, можетъ, не за что!

— Прощайте, Агашка! — отвѣчаетъ нѣмецъ, молодой парень.

Катеръ отчаливаетъ, черезъ полчаса приходитъ обратно, и на пристань выходитъ... „Агаѳья Золотыхъ“.

На пароходѣ появленіе „Агаѳьи Золотыхъ“ произвело цѣлую сенсацію.

— Какъ, Агаѳья Золотыхъ? Какая Агаѳья Золотыхъ? Да вѣдь мы въ прошломъ году еще увезли Агаѳью Золотыхъ! Отлично помнимъ! Изъ-за нея даже переписка была. Какъ только пришли въ Одессу, Агаѳья Золотыхъ, не ожидая, пока за ней явится полиція, сбѣжала съ парохода!

Оказывается, что Агаѳья Золотыхъ, не желая уѣзжать отъ человѣка, котораго она успѣла полюбить, „смѣнялась именами“, — и подъ ея именемъ уѣхала и гуляетъ себѣ по Руси какая-то ссыльно-каторжная[1]).

Теперь „Агаѳью Золотыхъ“ рѣшительно отказываются принять на пароходъ.

— Да вѣдь это настоящая „Агаѳья Золотыхъ“! Ее всѣ здѣсь знаютъ! То была какая-то ошибка! — говоритъ тюремная администрація.

— А намъ какое дѣло! Станемъ мы по два раза одну и ту же „Агаѳью Золотыхъ“ возить!

Агаѳью возвращаютъ на берегъ.

— Ну, Карлуша, видно, судьба ужъ намъ вмѣстѣ жить, — говоритъ Агаѳья. — Идемъ домой!

— Зачѣмъ же я съ вами пойду, Агашка? — разсудительно отвѣчаетъ нѣмецъ. — Я буду брать себѣ другую бабу, Агашка!

[1]) Вотъ вамъ доказательство, что, несмотря на фотографическія карточки, «смѣны» бываютъ и до сихъ поръ.

Въ ожиданіи отъѣзда сожительницы, нѣмецъ успѣлъ присмотрѣть себѣ другую, условился, договорился.

Агаѳья качаетъ головой.

— Былъ ты, Карлушка, подлецъ, — подлецомъ и остался. Тфу!

— Агаѳья! Агаѳья! Куда ты? Стой! — кричитъ ей кто-то изъ „интеллигенціи“, — садись въ катеръ! Я попрошу капитана, — можетъ, и возьметъ!

Агаѳья поворачивается на минутку.

— А идите вы всѣ къ чорту, къ дьяволу, къ лѣшману! — со злобой, съ остервенѣніемъ говоритъ она и идетъ.

Куда?

— А чортъ ее знаетъ, куда! — какъ говорятъ въ такихъ случаяхъ на Сахалинѣ.

Еще разъ, — въ третій разъ уже жизнь разбита...

Пора, однако, на пароходъ.

— Все готово! — говоритъ... персидскій принцъ.

Настоящій принцъ, которому письма съ родины адресуются не иначе, какъ „его свѣтлости“.

Онъ осужденъ вмѣстѣ съ братомъ за убійство третьяго брата.

Отбылъ каторгу и теперь что-то въ родѣ надзирателя надъ ссыльными.

Онъ распоряжается на пристани, очень строгъ и говоритъ съ каторжными тономъ человѣка, который привыкъ приказывать.

— Алексѣевъ, подавай катеръ! Пожалуйте, баринъ! — помогаетъ бывшій принцъ сойти съ пристани.

Послѣдняя баржа, принимающая остатки груза, готова отойти отъ парохода.

— Такъ не забижаютъ, говорили, надзиратели-то? — кричитъ съ борта одинъ изъ нашихъ арестантовъ, — изъ тѣхъ, которыхъ мы веземъ.

— Куда имъ! — хвастливо отвѣчаетъ съ баржи старый, „здѣшній“ каторжанинъ.

Баржа отплываетъ.

Гремятъ якорныя цѣпи. Съ мостика слышны звонки телеграфа. Раздается команда.

Право руля!

Право руля! — какъ эхо вторитъ рулевой.

— Такъ держать!

— Такъ держать!

„Ярославль“ даетъ три прощальныхъ свистка и медленно отплываетъ отъ береговъ.

Прощай, Корсаковскъ, такой чистенькій, веселый, „не похожій на каторгу“ съ перваго взгляда, — такъ много горя, страданій и грязи таящій внутри.

„Ярославль“ прибавляетъ ходу.

Берега тонутъ въ туманной дали.

А впереди, — „настоящая каторга“, Александровскъ, гдѣ содержатся всѣ наиболѣе тяжкіе, долгосрочные преступники, Рыковскъ, Оноръ, тайга, тундра, рудники...

— Корсаковскъ, — это еще что! Рай! — говоритъ одинъ изъ ѣдущихъ съ нами сахалинскихъ служащихъ. — Развѣ Корсаковскъ — каторга? Это ли Сахалинъ?

Пристань на Александровскомъ посту.

Все, что я вамъ разсказалъ, это — только прелюдія къ „настоящей“ каторгѣ.

Настоящая каторга.

Мы съ вами на пароходѣ „Ярославль“ у пристани Александровскаго поста, главнаго административнаго центра острова, гдѣ находится самая большая тюрьма, гдѣ сосредоточена „самая головка каторги“, т.-е. всѣ наиболѣе долгосрочные и тяжкіе преступники.

Сюда два раза въ годъ пристаетъ „Ярославль“ „съ урожаемъ порока и преступленія“. Здѣсь этотъ „урожай“ „выгружается“, здѣсь уже всѣ вновь прибывшіе арестанты распредѣляются и отсюда разсылаются по разнымъ округамъ.

Сирена пронзительно оретъ, словно пароходъ рѣжутъ, чтобъ поживѣе распоряжались на берегу.

Холодно, дуетъ пронзительный вѣтеръ и разводитъ волненіе.

Крупная зыбь колышетъ стоящія у борта баржи. Пыхтитъ буксирующій ихъ маленькій катерокъ тюремнаго вѣдомства.

Тоскливо на душѣ. Передъ глазами унылый, глинистый берегъ. Снѣгъ кое-гдѣ бѣлѣетъ по горамъ, покрытымъ, словно щетиной, колючей тайгой.

— Это вчера навалило, снѣгъ-то, — поясняетъ кто-то изъ служащихъ, пріѣхавшій на пароходъ за арестантами. — Совсѣмъ было сходить сталъ, да вчера опять вьюга началась.

Сегодня какъ будто потеплѣе. Завтра опять вьются въ воздухѣ бѣлыя мухи. Туманы. Пронизывающіе вѣтры. И такъ — до начала іюня. Это здѣсь называется „весна“.

Направо хлещутъ и пѣнятся буруны около Трехъ Братьевъ — трехъ скалъ, рядомъ возвышающихся надъ водой. Въ море выдалась огромная темная масса мыса Жонкверъ, съ маякомъ на вершинѣ. Въ темной громадѣ, словно отверстіе отъ пули, чернѣетъ входъ въ тоннель. Богъ его знаетъ, зачѣмъ и кому понадобился этотъ тоннель. Зачѣмъ понадобилось сверлить эту огромную гору.

— Для чего онъ сдѣланъ?

— А чтобъ соединить постъ Александровскій съ Дуэ.

— Что жъ, ѣздитъ кто этимъ тоннелемъ?

— Нѣтъ. Ѣздятъ другой дорогой, — вонъ тамъ, горами. А нужно везти что, — возятъ на баржахъ, буксируютъ катерами. Да по немъ и не проѣдешь, по тоннелю. Онъ въ извилинахъ.

Тоннель вели подъ руководствомъ какого-то господина, который, вѣроятно, никогда и въ глаза не видалъ никакого тоннеля. На Сахалинѣ все такъ: тамъ еще и теперь арестантами завѣдуютъ горные инженеры, горными работами — смотрителя тюремъ, рыбными промыслами — люди, никогда этимъ дѣломъ не занимавшіеся, а устройство хозяйства поселенцевъ возложено на прогорѣвшихъ помѣщиковъ, которые только тѣмъ и замѣчательны, что разстроили даже свое собственное хозяйство. Сахалинъ, за немногими исключеніями, это — въ полномъ смыслѣ слова сборище всевозможныхъ неудачниковъ, людей, ни къ какому дѣлу не пригодныхъ, людей, выброшенныхъ жизнью за бортъ. Господинъ, вообразившій себя строителемъ тоннеля, по сахалинскому обычаю, ровно ничего не понималъ въ томъ дѣлѣ, за которое взялся. Какъ и всегда, тоннель повели сразу съ обоихъ концовъ, съ такимъ расчетомъ, чтобы партіи работающихъ встрѣтились. Но люди все дальше и дальше закапывались въ гору, а встрѣчаться не встрѣчались. Было ясно, что работающія партіи разошлись. Къ счастью,

среди ссыльно-каторжныхъ нашелся человѣкъ, понимающій дѣло, бывшій саперъ, г. Л., фамилія котораго въ свое время прогремѣла на всю Россію и до сихъ поръ еще не забыта. Ему и отдали подъ команду рабочихъ. Цѣной неимовѣрныхъ трудовъ и усилій рабочихъ удалось поправить ошибку. Провели коридоръ въ бокъ, и соединили двѣ разошедшіяся въ разныя стороны половины тоннеля.

Вернемся, однако, къ „разгрузкѣ“.

Арестантовъ перваго отдѣленія вывели на палубу. Присматриваются къ унылымъ берегамъ. Сахалинъ, видимо, производитъ первое тяжелое впечатлѣніе. Видъ оторопѣлый, растерянный.

Имъ сдѣлали перекличку по фамиліямъ.

— Ну, теперь, садись, ребята, — скомандовалъ офицеръ. Т.-е., „садись на баржу“.

Арестанты, словно по командѣ, поджали ноги и... сѣли на палубѣ.

И смѣхъ и грѣхъ.

Можно же до такой степени огорбѣть и смѣшаться.

По трапу одинъ за другимъ, съ мѣшками за плечами, спускаются въ баржу каторжане. Баржу качаетъ, арестанты въ ней, ослабѣвшіе на ноги, благодаря долгому отсутствію моціона, не могутъ стоять и валятся другъ на друга. Одна баржа наполнена, подводятъ другую, — нагружаютъ. И катерокъ, пыхтя и сопя, тащитъ качающіяся и бултыхающіяся баржи къ пристани, далеко выдавшейся въ море. А къ пароходу ужъ ползетъ по волнамъ другой катерокъ съ двумя съ бока на бокъ переваливающимися посудинами. Разгрузка идетъ быстро, — и наступаетъ самый тяжелый моментъ. Изъ лазарета движется удручающаго вида процессія. На какихъ-то самодѣльныхъ неудобныхъ креслахъ, на неуклюжихъ носилкахъ несутъ больныхъ. Доктора съ озабоченными лицами хлопочутъ около процессіи. На ихъ лицахъ такъ и читается укоръ.

И это — перевозочныя средства для больныхъ.

Боже, какія измученныя, какія страдальческія лица у больныхъ. Одно изъ нихъ словно и сейчасъ смотритъ на меня. Обвязанная голова. Заострившіяся черты, словно у покойника, съ застывшимъ выраженіемъ страданія и муки. Восковое лицо. Провалившіеся глаза, въ которыхъ еле-еле зѣтится жизнь, словно погасающій огонекъ догорающаго гарка. Съ губъ его, бѣлыхъ и тонкихъ, срывается чуть лышный стонъ, скорѣе жалобный вздохъ.

Это, по большей части, — хирургическіе больные изъ лазарета орсаковскаго поста, пересылаемые сюда за неимѣніемъ въ орсаковскомъ операціонной комнаты. По нѣскольку мѣсяцевъ

ждали они операціи, часто необходимой немедленно. А время уходило, надо было ждать открытія навигаціи. Какой добрый человѣкъ подниметъ вопросъ о необходимости, насущной необходимости, вопіющей необходимости, устройства при Корсаковскомъ лазаретѣ своего операціоннаго зала. Когда обратятъ вниманіе на то, что больные, нуждающіеся въ трудныхъ операціяхъ, цѣлыми мѣсяцами должны ждать парохода и мучиться. Отъ сколькихъ напрасныхъ мученій и страданій спасены будутъ тогда несчастные больные, сколько жизней сохранено.

По крутому, почти отвѣсному трапу, бережно, подъ наблюденіемъ врачей, но, конечно, все же не безъ страданій для больныхъ, — ихъ сносятъ въ кувыркающуюся на волнахъ баржу.

Разгрузка кончена. Жалкій тюремный катерокъ доставляетъ насъ на пристань.

Чувствуется, что вы приближаетесь къ административному центру. Александровская пристань, это — вполнѣ благоустроенная пристань. Сигнальная мачта. Хорошенькій домикъ, съ канцеляріей и командой для ожидающихъ катера гг. чиновниковъ. Нѣсколько времени тому назадъ эту пристань разбило было вдребезги. Но горю помогъ все тотъ же истинный благодѣтель Сахалина по технической части, — бывшій с. с. — каторжный г. Л. Онъ перестроилъ пристань уже „какъ слѣдуетъ“. На Сахалинѣ вѣчно такъ: сначала сдѣлаютъ кое-какъ, а потомъ передѣлаютъ „по-настоящему“. Да и отчего бы и не дѣлать такихъ опытовъ: рабочихъ рукъ много, и притомъ даровыхъ. По деревянному молу мы идемъ на берегъ.

На молѣ кипитъ работа. Каторжане изъ „вольной тюрьмы“ таскаютъ кули, мѣшки и ящики. Раньше насъ пришелъ какой-то другой пароходъ и привезъ товары изъ Владивостока. Грузополучатели сидятъ тутъ же на своихъ ящикахъ и зорко поглядываютъ.

— Не стащили бы чего.

Нищая тюрьма тащитъ, что можетъ.

— Надзиратель, надзиратель, — раздается пронзительный крикъ, словно человѣку къ горлу ножъ ужъ приставили, — надзиратель, чего жъ ты не смотришь, куда онъ куль-то претъ, оглашенный. Какой же ты надзиратель, ежели воруютъ, а ты не смотришь. Я смотрителю буду жалиться.

— Ты куда это куль прешь, такой разъэтакій?

— Чортъ же его, проклятаго, зналъ, что это его. Я думалъ, туды его ташшыть надобно. Возьми куль, оглашенный! Ишь прорвы на тебя нѣтъ, оретъ, анаѳема.

— Жулье.

— Положь мѣшокъ, положь мѣшокъ, говорятъ тебѣ, — слышится въ другой сторонѣ.

Среди этой суетящейся толпы, словно не замѣчая никого, медленно движется странная фигура.

Свита изъ сѣраго арестантскаго сукна до пятъ, похожа на подрясникъ. Онъ простоволосъ. Вѣтеръ треплетъ его бѣлокурые волосы. Сѣро-голубые, свѣтлые глаза устремлены на небо. На лицѣ застыло выраженіе какого-то благоговѣйнаго восторга. Словно онъ Бога видитъ тамъ, въ далекихъ небесахъ. Въ одной рукѣ у него верба, другая сложена какъ для благословенія. Онъ весь унесся отсюда душой, не слышитъ ничего кругомъ, идетъ прямо, какъ будто кругомъ пусто и нѣтъ никого: его толкаютъ, онъ не замѣчаетъ.

Арестантскіе типы.

— У-у, анаѳема. Пропаду на тебя нѣтъ.

Это—несчастный сумасшедшій Казанцевъ, у него mania religiosa. И зиму и лѣто онъ ходитъ вотъ такъ, съ непокрытой головой, въ длинной свитѣ, похожей на подрясникъ, съ высоко поднятой благословляющей рукой. Его нищіе родные, пришедшіе за нимъ на Сахалинъ, сдѣлали себѣ источникъ дохода изъ „блаженненькаго“, ходятъ за нимъ и выпрашиваютъ милостыню на „Божьяго человѣка“. Въ его лицѣ, въ его фигурѣ, въ поднятой для благословенія рукѣ, въ его походкѣ, торжественной и мѣрной, словно онъ шествуетъ къ какой-то великой, важной цѣли, есть что-то трогательное, если хотите, даже величественное. Контрастъ между этимъ человѣкомъ, унесшимся больной душой далеко отъ этого міра, и кипящей кругомъ суетой нищихъ и несчастныхъ, — контрастъ очень сильный.

У конца мола противный лязгъ желѣза. Здѣсь работаютъ, подъ конвоемъ часовыхъ съ ружьями, кандальные.

— Развязывай штаны,— кричитъ солдатъ, стоя предъ высокимъ, мрачнаго вида, бородатымъ мужикомъ, — сейчасъ развязывай штаны, говорятъ тебѣ.

— А самъ и развязывай, ежели тебѣ есть охота, — спокойно и равнодушно отвѣчаетъ кандальный. — Да ты не дерися, — кричитъ онъ, когда солдатъ исподтишка даетъ ему прикладомъ,— ты чего дерешься, чувырло братское. Можно и тебѣ бока-то помять, косопузый.

— Пришить васъ всѣхъ тутъ мало, всѣхъ, сколько есть, дьяволовъ. Хлѣбъ только казенный жрете, пропасти на васъ нѣтъ, проклятыхъ, — ругается солдатъ, весь покраснѣвшій со злости, и принимается развязывать каторжнику исподнее платье.

— Такъ-то лучше. Давно бы такъ,—попрежнему спокойно говоритъ каторжанинъ.

Этотъ тонъ, спокойный и равнодушный, повидимому, особенно злитъ, раздражаетъ, волнуетъ, мучитъ и бѣситъ солдата.

— Молчи лучше. Молчи, пока не пришибъ.

— Много васъ здѣсь, пришибалъ-то, найдется.

— Молчи, — кричитъ солдатъ, уже весь багровый и отъ злости, и отъ усилій развязать панталоны одной рукой: изъ другой нельзя выпустить ружье, — молчи.

— Да ты не дерись, — кричитъ опять каторжанинъ, которому снова влетѣло въ бокъ ружьемъ.

На молъ съ визгомъ въѣзжаетъ съ пригорка шибко разогнанная вагонетка. На ней сидятъ кандальники. За нею еле поспѣваетъ, одной рукой поддерживая ружье на плечѣ, другой— подобравъ фалды шинели, конвойный.

— Тише, дьяволы.

— Ничего, пробѣгайся.

У входа на молъ стоятъ дрожки, тарантасы съ каторжными кучерами на козлахъ. На весь Александровскій постъ имѣется только одинъ извозчикъ изъ поселенцевъ, да и тотъ не занимается этимъ дѣломъ постоянно, — не стоитъ: за дѣломъ ли, за бездѣльемъ всѣ всегда ѣздятъ на казенныхъ. Зато и достается же лошадямъ на Сахалинѣ. Вотъ для кого здѣсь поистинѣ каторжная работа. Цѣлый день въ Александровскѣ по главной улицѣ только и слышишь, что звонъ колокольцевъ только и видишь, что бѣшено мчащіяся тройки „подъ гг. служащихъ“.

„Вотъ,— думаешь себѣ, — какая, должно-быть, дѣятельность кипитъ на этомъ островѣ“.

Видъ улицы въ Александровскомъ посту.

Если бы спросить у лошадей, онѣ бы отвѣтили, что гг. служащіе — народъ очень дѣятельный.

Что это, однако, за странная группа, словно группа переселенцевъ, расположилась у стѣны казеннаго сарая. Старики, молодые, женщины, дѣти сидятъ на сундукахъ, на укладкахъ, съ подушками въ рукахъ, съ образами, съ жидкимъ, скуднымъ и жалкимъ скарбомъ. Это — „бѣглецы съ Сахалина". Новые „крестьяне изъ ссыльныхъ", люди, окончившіе срокъ каторги и поселенчества, получившіе „крестьянство", а вмѣстѣ съ нимъ, и право выѣзда „на материкъ". Завѣтная мечта каждаго невольнаго (да и вольнаго) жителя Сахалина. Распродавъ, а то и прямо бросивъ свои домишки, они стянулись сюда изъ ближайшихъ и дальнихъ поселеній. Желанный, давно жданый, грезившійся во снѣ и наяву день насталъ. Свищетъ вѣтеръ, летаютъ и кручатся въ воздухѣ бѣлыя мухи, а они сидятъ здѣсь, дрожащіе, посинѣлые отъ холода, не зная, когда ихъ будутъ сажать на пароходъ. А сажать будутъ дня черезъ три, не раньше. Никто не позаботился ихъ предупредить объ этомъ, никто не позаботился сказать, когда именно нужно явиться. И они будутъ мерзнуть здѣсь на вѣтру, на холодѣ, плохо одѣтые, съ маленькими дѣтьми, боясь пропустить „посадку" и остаться здѣсь, на проклятомъ островѣ.

— Милай, — ноетъ баба, — пусти хошь куды. Мнѣ бы ребенка покормить только. Махонькій ребенокъ-то, грудной. Замретъ не ѣмши.

— Здѣсь и корми. Куда жъ тебя еще.

— Холодно, милай; на этакомъ-то холоду нешто можно грудью кормить.

Таковъ „желанный день". Подойдемъ къ этой полузамерзшей группѣ.

— Давно сидите?

— Съ авчирашняго дня. Авчирашняго еще числа парохода ждали. Дрогнемъ, и отъ вещей отлучиться нельзя: народъ шпанка, сейчасъ свистнетъ.

— А куда жъ теперь, на материкъ?

— Такъ точно, на материкъ, ваше высокоблагородіе.

— Ну, а что жъ дѣлать будете тамъ, на материкѣ?

— Да ужъ тамъ, что Богъ дастъ. Что Владистокъ (Владивостокъ) окажетъ.

Да вѣдь на материкѣ-то теперь; во Владивостокѣ, и своему-то народу дѣлать нечего.

— Все-таки, думается, тамъ лучше. Все не Сокалинъ... Какъ Богъ.

Ну, а деньги у тебя на дорогу есть?

— Вотъ три рубля есть.

Партія вновь прибывшихъ каторжанъ.

— Да вѣдь билетъ стоитъ не три рубля, а дороже.

— Можетъ, капитанъ смилуется, трешницу возьметъ.

— Да не можетъ капитанъ, у капитана — тарифъ.

— Что жъ, сдыхать здѣсь, что ли. Сдыхать на этомъ острову проклятомъ. Сдыхать.

— Подайте, Христа ради, на билетъ, — слышится то тамъ, то здѣсь.

Нищіе у нищихъ просятъ милостыни.

Въ сторонкѣ, отдѣльно отъ другихъ, сидитъ старикъ на маленькой укладочкѣ и плачетъ. Всхлипываетъ какъ ребенокъ, и слезы ручьемъ текутъ по его посинѣвшему, восточнаго типа лицу.

— Что съ тобой, старикъ?

— Дэнга, бачка, домой на родына эхать нэтъ.

23 года ждалъ онъ этого дня. 23 долгихъ года. 23 года сахалинской каторги.

Его фамилія Акопъ-Гудовичъ. 25 лѣтъ тому назадъ, этотъ маленькій, несчастный, плачущій какъ ребенокъ старикъ, тогда, вѣроятно, лихой горецъ, участвовалъ въ похищеніи какой-то дѣвицы, отстрѣливался, вѣроятно, мѣтко и попалъ на каторгу. 23 года мечталъ онъ объ этомъ днѣ и копилъ денегъ на отъѣздъ. Накопилъ тридцать рублей, явился, и ему говорятъ:

— Куда ты. Нужно 165 рублей.

— Братья у меня въ Эриванской губерніи, жена осталась, дѣти теперь ужъ большія. Умирать хотымъ на родной сторона, — горько рыдаетъ старикъ.

И сколько такихъ, какъ онъ отбывшихъ каторгу, поселенье, мечтавшихъ о возвратѣ на родину, дождавшихся желаннаго дня, пришедшихъ сюда и получившихъ отвѣтъ.

— Сначала припаси денегъ на билетъ, а потомъ и возвращайся на родину.

И сидятъ они десятками лѣтъ на Сахалинѣ, тоскуя о близкихъ и милыхъ, — они, искупившіе уже свою вину и несущіе все-таки тяжкую душевную каторгу.

Мимо насъ проходитъ толпа каторжанъ. Это — наши, съ „Ярославля“. Они поворачиваютъ налѣво по берегу, къ большому одноэтажному зданію „карантина“. На дворѣ карантина уже кишитъ сѣрая толпа арестантовъ. А къ пристани подходитъ еще послѣдняя баржа, нагруженная арестантами, которые издали кажутся какой-то сѣрой массой.

Столица Сахалина.

Такъ зовутъ постъ Александровскій, гдѣ сосредоточено главное управленіе островомъ, гдѣ находится самая большая

Видъ Александровскаго поста.

тюрьма, гдѣ содержится самая „головка каторги“, и откуда начинается та „настоящая каторга“, которую мы и будемъ теперь описывать.

— Не правда ли, — услышите вы со всѣхъ сторонъ отъ гг. служащихъ, — въ Александровскѣ ничто не напоминаетъ каторги?

Я не знаю другого мѣста, гдѣ все до такой степени напоминало бы о каторгѣ.

Нигдѣ звонъ кандаловъ не слышится такъ часто.

Широкія немощеныя улицы, маленькіе деревянные дома, — все переноситъ въ глухой провинціальный городокъ. Вы готовы забыть, что вы на каторгѣ. Но раздается лязгъ кандаловъ, и изъ-за угла выходитъ партія кандальниковъ, окруженная конвоемъ. И это на каждомъ шагу.

Нигдѣ истинно каторжныя условія сахалинской жизни не напоминаютъ о себѣ такъ на каждомъ шагу. Нигдѣ истинно каторжная нищета, каторжное бездомовье не бросаются такъ ярко въ глаза. На каждомъ шагу — фигура поселенца, которая медленно, подобострастно, заискивающе, приниженно приближается къ вамъ, снимая картузъ еще за 20 и 30 шаговъ.

Словно призракъ нищеты.

Типичная фигура сахалинскаго поселенца. Одежда перешитая изъ арестантскаго бушлата. Что-то такое растрепанное на ногахъ, не похожее ни на сапоги, ни на коты, ни на что. Тоска на лицѣ.

Сахалинскій поселенецъ всегда начинаетъ свою рѣчь словами „такъ что“, и всегда, обязательно ведетъ ее „издали“.

— Такъ что, какъ мы, ваше высокоблагородіе, теперича на Сахалинѣ не извѣстно за что...

— Ну, говори толкомъ что нужно.

— Такъ что, какъ теперича безо всякой вины...

— Да говори же, наконецъ, что тебѣ нужно...

— Такъ что, третій день не ѣмши... Не будетъ ли вашей начальнической милости...

— На. На, получай — и проваливай.

А съ другой стороны улицы къ вамъ подбирается другая такая же фигура, такая же сѣрая, такая же тоскливая.

Сѣрые призраки сахалинской тоски.

И также начинаетъ нараспѣвъ, тягуче, тоскливо „пѣснь сахалинской нищеты“:

— Такъ что, какъ мы...

А впереди десятки, сотни этихъ сѣрыхъ призраковъ поютъ ту же тоскливую пѣснь.

Порой среди нихъ вы встрѣтите особенно безнадежно-скорбное лицо.

Это — сосланные за холерные безпорядки.

Отъ каторги они всѣ освобождены, перечислены въ поселенцы, хозяйства не заводятъ.

— Не къ чему. Скоро выйдетъ, чтобы всѣхъ насъ, стало-быть, на родину, въ Россію, вернуть.

И слоняются безъ дѣла, попусту, куда пришли узнать, нѣтъ ли „манифесту, чтобъ домой ѣхать“. День идетъ за днемъ, и все тоскливѣе, безнадежнѣе дѣлаются лица, ожидающія возврата на родину.

Герой холернаго бунта.

Увѣренность въ томъ, что ихъ вернутъ, у этихъ несчастныхъ такъ же сильна, какъ и увѣренность въ томъ, что ихъ прислали сюда „безвинно“.

— За что присланъ?

— Такъ, глупости вышли... Доктора холеру выдумали. Известью стали народъ присыпать, живьемъ хоронить. Ну, мы это, стало-быть, не давать. Глупости и вышли. Доктора, стало, убили.

— За что же убивали?

— Такъ. Спужались сильно.

— Да ты видѣлъ, какъ живыхъ хоронили?

— Нѣ. Я не видалъ. Народъ видѣлъ.

Вотъ одинъ изъ защитниковъ страшныхъ Юзовскихъ безпорядковъ. Высокій, рослый мужикъ. Онъ былъ, должно-быть, старшенъ въ эти грозные дни, когда, обезумѣвъ отъ ужаса, онъ ходилъ по базару съ камнемъ и кричалъ:

— Бей докторовъ.

И грозилъ разбить камнемъ голову каждому, кто сейчасъ же не приступитъ къ этой страшной бойнѣ, не пойдетъ съ базара „на докторовъ“.

Теперь у него истомленный долгимъ, безплоднымъ скитаніемъ видъ. Все ходитъ попусту, подавая во всѣ учрежденія, всѣмъ начальствующимъ лицамъ самыя нелѣпыя прошенія. Онъ подаетъ ихъ всѣмъ: тюремному смотрителю, горному инженеру, землемѣру и докторамъ. Онъ такъ и ходитъ съ бумагой въ рукахъ, — и стоитъ ему увидѣть на улицѣ какого-нибудь „вольнаго человѣка“, онъ сейчасъ же подастъ ему бумагу.

— Явите начальническую милость...

— Да насчетъ чего?

— Насчетъ освобожденія...

— Я-то тутъ при чемъ. Я, милый, ничего не могу сдѣлать.

— Господи. Да кто же вступится за правду, за истину.

Въ глазахъ его блещетъ отчаяніе. Онъ во всемъ отчаялся, во все потерялъ вѣру, — въ правду, въ справедливость. И только въ одномъ увѣренъ глубоко, всѣмъ сердцемъ, всей душой, — въ томъ, что, призывая убивать докторовъ, онъ пострадалъ „безвинно“.

И въ этомъ вы его не разубѣдите.

— Какъ же такъ. Какъ не доктора холеру выдумали? Дозвольте вамъ объяснить...

И онъ принимается разсказывать про известь, которой „присыпали народъ“, и про тѣхъ заживо похороненныхъ, которыхъ онъ не видалъ, но зато „народъ видѣлъ“.

Вотъ еще интересный сахалинскій типъ.

Держится молодцомъ. Одѣтъ щеголевато. Лицо жульническое. Выраженіе на лицѣ: „готовый къ услугамъ“.

Черный „спинжакъ“. Штаны заправлены въ высокіе крѣпкіе сапоги. На шеѣ — красный шарфъ. Выправка бывшаго солдата.

Сосланъ за вооруженное сопротивленіе полиціи. Былъ въ Москвѣ въ какомъ-то трактирѣ, — притомъ съ отдѣльными кабинетами, — приказчикомъ. Что тамъ дѣлалось, въ этихъ „отдѣльныхъ кабинетахъ“, — Господь его знаетъ. Но когда не ждано ночью явилась полиція, онъ пошелъ на все, чтобы только не допустить полиціи до „кабинетовъ“. Заперъ дверь, стрѣлялъ, когда ее выломали, изъ револьвера.

Теперь отбылъ каторгу и числится поселенцемъ. Цѣлы дни вы его видите только на улицѣ, ничего не дѣлая. На вопросъ, чѣмъ занимается, говоритъ:

— Такъ... Торгую...

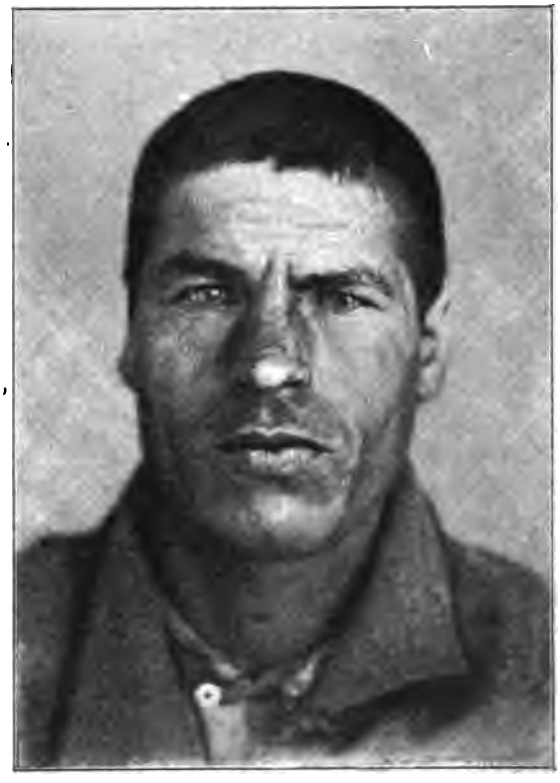
Когда мнѣ нужно познакомиться поближе съ кѣмъ-нибудь изъ наиболѣе темныхъ личностей, — онъ для меня неоцѣненная протекція.

Какъ онъ прикомандировался ко мнѣ, я даже и объяснить не могу. Не успѣлъ я ступить на пристань, — онъ выросъ передо мной, словно изъ-подъ земли, съ своимъ вѣчнымъ выраженіемъ:

„Готовый къ услугамъ“...

Не успѣваю я сказать, что мнѣ нужно, онъ летитъ со всѣхъ ногъ.

Лошадь нужно, — ведетъ лошадь. Квартиру отыскать, — пожалуйте, нѣсколько квартиръ. На лицѣ готовность оказать еще тысячу услугъ. Какихъ—безразлично. Ни добра ни зла нѣтъ для этого человѣка, „готоваго служить“ чѣмъ угодно и какъ угодно.



Арестантскіе типы.

Куда бы я ни пошелъ, я всюду наталкиваюсь на него. Выхожу утромъ изъдома,— какъ столбъ стоитъ у подъѣзда. Возвращаюсь вечеромъ,—въ темнотѣ вырастаетъ силуэтъ.

— Не будетъ ли какихъ приказаній назавтра?

— Да объясни ты на милость: чего тебѣ отъ меня нужно. Что ты ко мнѣ привязался.

— Ваше высокобродіе, явите начальническую милость. Такъ что, какъ вы со всѣми господами начальниками знакомы, вамъ ни въ чемъ не откажутъ...

— Ну, къ дѣлу.

— Билетъ на выѣздъ на материкъ. На постройку.

Т.-е., на постройку Уссурійской желѣзной дороги, которая строится каторжными съ острова Сахалина.

— Когда еще въ „работахъ“ былъ, я на дорогѣ находился, работалъ всегда усердно, исправно. Начальство мною было довольно. Ваше высокобродіе, явите такую вашу начальническую милость...

И послѣ этого вѣчный припѣвъ, при каждой нашей встрѣчѣ.

— Господи. Работалъ всегда были довольны. И теперь должонъ на Сакалинѣ пропадать...

Замѣчаю, однако, что болѣе порядочные поселенцы отъ моего чичероне, уссурійскаго труженика, что-то сторонятся.

Спрашиваю какъ-то у моего кучера — мальчишки изъ хорошей поселенческой семьи, присланной сюда „за монету“ [1]):

— Слышь-ка, что это этого, чернаго, высокаго, всѣ какъ будто чураются.

— Не любитъ его народъ, — нехотя отвѣчаетъ мальчишка.

— А за что?

— Кто жъ его знаетъ... На дворѣ тамъ, что ли... палачомъ былъ... вотъ и чураются...

Вотъ что называется на Сахалинѣ „работой“. И вотъ на какія работы просится уссурійскій труженикъ.

— Ты что жъ, — спрашиваю его, — ты мнѣ прямо говори. Я теперь знаю. Ты въ палачи хочешь поѣхать наниматься.

— Такъ точно.

И смотритъ на меня такими ясными, такими свѣтлыми глазами.

Словно рѣчь идетъ о самомъ, что ни на есть почтеннѣйшемъ трудѣ.

О, эта Сахалинская улица. Какія встрѣчи на ней!

Идетъ по улицѣ бодрой, веселой походкой Николка Толстой, съ разносной книжкой подъ мышкой, на ходу позванивая желѣзной палочкой.

— Здравствуй, умница, — весело окликаетъ молодую поселянку.

- Здравствуйте, дяденька.

— Кому, дурочка, дяденька,—а твоему сожителю крестный отецъ.

Николка — бывшій палачъ. И теперь еще нанимается драть, если въ тюрьмѣ нѣтъ охотниковъ взять на себя роль палача. И фраза его означаетъ, что онъ далъ сожителя поселянки, когда тотъ былъ каторжнымъ.

Въ палачахъ состоялъ долго. „Присланъ“ за то, что отрубилъ женѣ топоромъ голову.

— Изъ-за ревности, — объясняетъ онъ съ любезной улыбкой.

Кончилъ каторгу, теперь на поселеніи, чѣмъ-то провинился и на мѣсяцъ назначенъ „въ работу“: служитъ разсыльнымъ при тюремной канцеляріи.

---

[1]) За выдѣлку фальшивой монеты.

Увидалъ меня, подходитъ:

— Желаю здравствовать. Ваше высокобродіе, явите начальническую милость. Заступитесь. За напраслину терплю: ей-ей, ни въ чемъ неповиненъ. И вдругъ изъ поселенца — опять въ работу: день денской съ книжкой бѣгай, пакеты разноси. Этакой напасти еще и не видѣлъ.

— Ну, а драть — развѣ это работа легче?

— Такъ за то деньги платятъ. Ваше выскородіе...

— Николка, а правда, что ты, когда Школкинъ у капельмейстера денщика убилъ и ты долженъ былъ его наказывать, — такъ ты нанимался за 15 рублей запороть Школкина до смерти?

— Хе, хе. Ваще выскобродіе. Вы и это ужъ знаете, — весело улыбается Николка, — такъ какъ же. Похлопочите, ваше высокобродіе.

Арестантскіе типы.

Надо было мнѣ повидать сахалинскую „знаменитость“, палача Комлева.

Отыскалъ домъ, гдѣ онъ временно пріютился.

— Комлевъ! Комлевъ! — позвала мнѣ его хозяйка.

И изъ-за угла дома показался Комлевъ съ ребенкомъ на рукахъ. Другого онъ велъ за руку.

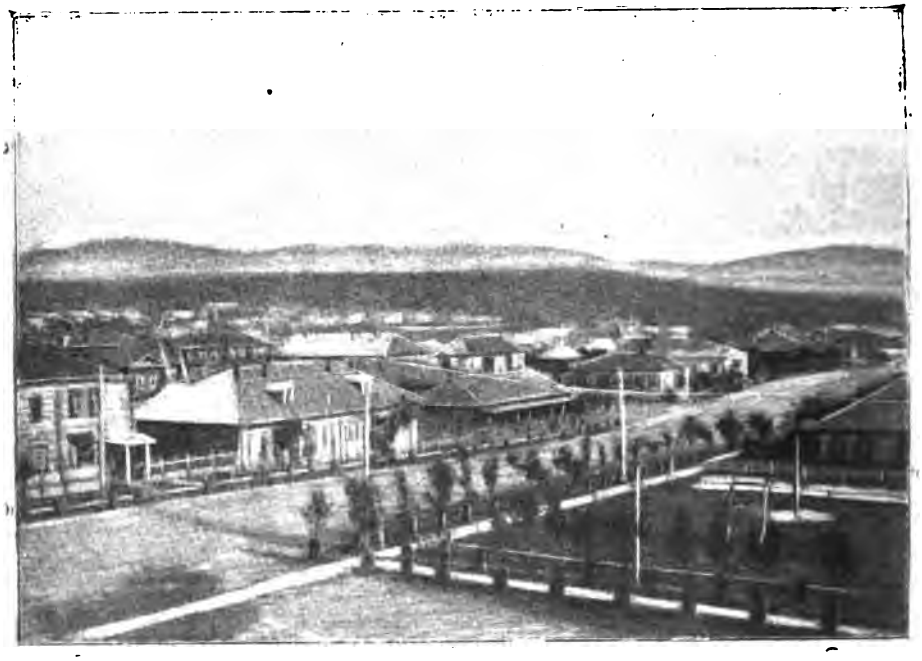
Развѣ не истинно каторжнымъ вѣетъ отъ такихъ ежесекундныхъ встрѣчъ въ посту Александровскомъ, отъ этихъ на каждомъ шагу попадающихся на глаза картинъ нищеты и крайняго паденія.

Постъ Александровскій.

Мы — на главной улицѣ Александровскаго. Если бы не сѣрые бушлаты, не арестантскіе „бушлаты“ пѣшеходовъ, — смѣло можно

было бы вообразить себя на какой-нибудь Милліонной или Дворянской улицѣ маленькаго городка средней полосы Россіи. Широкая немощеная улица. Тротуары, по которымъ сдѣланы дощатые мостики. Палисаднички, въ которыхъ прозябаютъ жалкія деревца. Одноэтажные деревянные домики.

Каменныхъ зданій на главной улицѣ два: очень красивая часовня, построенная въ память избавленія Государя Императора отъ угрожавшей опасности во время путешествія по Японіи, въ бытность Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, и зданіе метеорологической станціи, гдѣ помѣщается также школа.



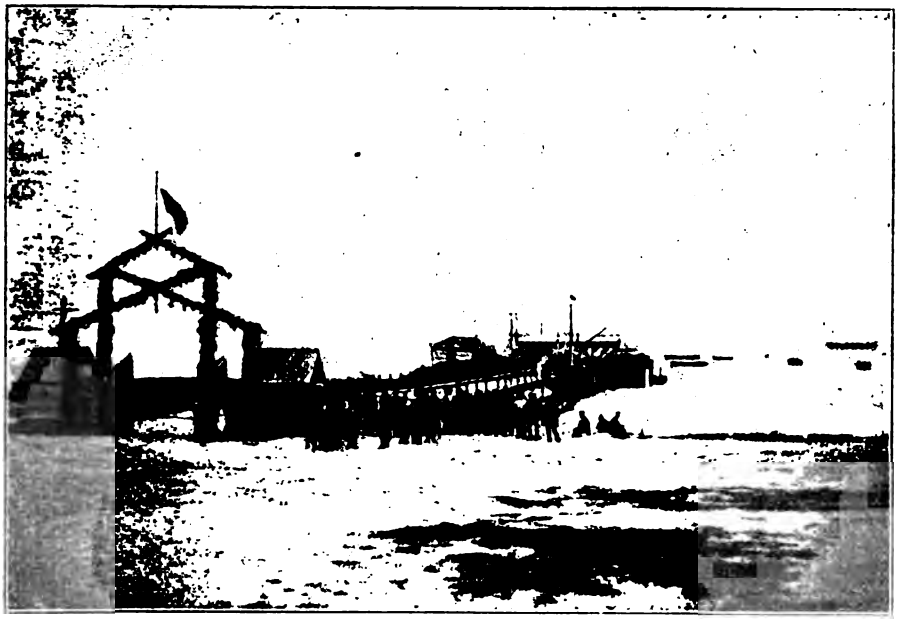
Николаевская главная улица въ посту Александровскомъ.

Видъ главной улицы — унылый. Необычное время, это — если пріѣзжаетъ кто-либо изъ Петербурга. Тогда главная улица становится неузнаваемой. Въ моей коллекціи есть нѣсколько фотографій, снятыхъ съ этой улицы, во время пріѣзда г. начальника главнаго тюремнаго управленія. И, конечно, нельзя узнать унылой сахалинской улицы среди тріумфальныхъ арокъ и флаговъ. Деревянные домишки становятся, разумѣетс неузнаваемыми подъ зелеными хвойными гирляндами, которы разубраны ихъ стѣны. Тогда сахалинская улица имѣетъ, дѣ ствительно, блестящій видъ. Удивительно прихорашиваетс прикрашивается. То же происходитъ тогда и со всѣмъ вообш Сахалиномъ.

Если вы вспомните, однако, что на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь находятся часовня, соборъ, музей, губернаторскій домъ, метеорологическая станція, клубъ, присутственныя мѣста, дома служащихъ, еще 15 лѣтъ тому назадъ былъ глухой непроходимый боръ, — нельзя не подивиться быстротѣ роста сахалинской колонизаціи.

15 лѣтъ тому назадъ — непроходимый лѣсъ, теперь — улица, какъ улица.

Словно не на каторгѣ, а въ обычномъ унылом провинціальномъ городишкѣ. Полной иллюзіи мѣшаютъ, какъ я уже



Пристань въ Александровскомъ посту въ день пріѣзда высшаго начальства.

сказалъ, костюмы пѣшеходовъ да еще кости кита, красующіяся на деревянныхъ подпоркахъ передъ зданіемъ Сахалинскаго музея. Совсѣмъ необычное украшеніе улицы. Китъ былъ выброшенъ во время шторма на отмель, и его кости — предметъ гордости музея. „Ихъ моютъ дожди, посыпаетъ ихъ пыль“, а чавѣсъ для нихъ все еще „думаютъ“ и „собираются“ строить. „Думать“ и „собираться“ — два самыхъ распространенныхъ занятія на о. Сахалинѣ.

Сахалинскій музей — маленькое, но очень интересное учрежденіе. Все, что могла дать бѣдная исторія и этнографія печальнаго острова, вы найдете здѣсь въ нѣсколькихъ маленькихъ комнатахъ. На васъ глядятъ унылые манекены туземцевъ, дикарей Сахалина: гиляковъ, орогонъ, тунгусовъ,

айновъ. Тупыя, добродушныя, плоскія лица гиляковъ въ мѣховыхъ одеждахъ. Щурятъ свои калмыцкіе глазки тунгусы и орогоны, зашитые въ мѣхахъ. Невыносимо воняютъ айны въ ихъ разноцвѣтныхъ праздничныхъ нарядахъ изъ рыбьей кожи, это — загадочное вымирающее племя, какая-то смѣсь монгольскаго типа съ намеками; странные дикари съ волосами поэтовъ и добрыми, мечтательными глазами. Вамъ покажутъ въ музеѣ домашнюю утварь, оружіе этихъ дикарей, предметы ихъ религіознаго культа. Покажутъ чучела птицъ, заспиртованныхъ рыбъ, водящихся въ сахалинскихъ рѣкахъ, отрѣзы деревьевъ, образцы сахалинскаго каменнаго угля, кой-какія вещицы, въ родѣ остатковъ каменнаго вѣка, по которымъ можно еле-еле намѣтить исторію дикарей о. Сахалина.

Есть двѣ-три гипсовыхъ группы, изображающихъ выволочку каторжанами бревна изъ тайги. Онѣ свидѣтельствуютъ только о томъ, что на Сахалинъ попалъ талантливый человѣкъ, изъ котораго при другихъ условіяхъ вышелъ бы недурной скульпторъ.

— Ну, а гдѣ же отдѣлъ, посвященный каторгѣ въ этомъ спеціальномъ сахалинскомъ музеѣ? — спросилъ я у г. завѣдующаго.

— Каторга меня не интересуетъ.

И въ этомъ отвѣтѣ послышалось обычное на Сахалинѣ типичное полное пренебреженіе къ каторгѣ, къ ея жизни и быту.

— Меня интересуютъ только чисто научные вопросы.

Какъ будто изученіе этихъ „отбросовъ общества“ не представляетъ уже никакого научнаго интереса.

Бытъ каторги мѣняется въ связи съ перемѣной взглядовъ на преступленіе и наказаніе. Вѣяніе великаго гуманнаго вѣка, теплое и мягкое и согрѣвающее, какъ лѣтній вѣтерокъ, чувствуется и здѣсь. Многое, что вчера еще было ужасной дѣйствительностью, сегодня уже отходитъ въ область страшныхъ преданій. И какой бы богатый, поучительный матеріалъ по исторіи каторги могъ бы собрать сахалинскій музей.

Я уже не говорю о томъ неоцѣненномъ матеріалѣ для ученыхъ, для антропологовъ, для юристовъ, для врачей, который погибаетъ на Сахалинѣ, благодаря тому, что тамъ, на каторгѣ, меньше всего интересуются каторгой. Нѣсколько времени тому назадъ одинъ изъ врачей началъ составлять коллекцію типовъ преступниковъ. Для съемки такъ называемыхъ антропологическихъ карточекъ онъ устроилъ при лазаретѣ фотографію. Работы шли прекрасно. Коллекція шла прекрасно. Коллекція обѣщала быть цѣннымъ вкладомъ въ науку. Какъ вдругъ такое невинное занятіе было найдено почему-то предосудительнымъ. Фотографію приказано было уничтожить.

Почему? По недоразумѣнію, по незнанію... И неоцѣненный матеріалъ для науки гибнетъ, съ одной стороны — вслѣдствіе незнанія, съ другой — вслѣдствіе пренебреженія каторги.

— Изучать кого же? „Каторгу“. — Это на Сахалинѣ кажется такимъ же смѣшнымъ, какъ у насъ серьезнымъ.

Жизнь сахалинскихъ служащихъ — жизнь унылая, сѣрая, однообразная. Все ихъ ежедневное общеніе съ міромъ состоитъ въ полученіи телеграммъ „Россійскаго телеграфнаго агентства“. Телеграммы имѣются ежедневно за исключеніемъ, конечно, тѣхъ случаевъ, когда телеграфъ испорченъ. А это случается часто и подолгу. Тогда сахалинскіе служащіе чув-

Сахалинскій музей.

ствуютъ себя окончательно отрѣзанными отъ всего міра и, по ихъ словамъ, чувствуютъ тогда гнетущую, давящую, ноющую тоску.

— Словно заперли умирать въ казематъ, — и никто не услышитъ ни крика, ни вопля, ни стона, — какъ говорила мнѣ с на изъ сахалинскихъ дамъ.

Телеграммы, этотъ послѣдній нервъ, соединяющій „мертвый с стровъ“ съ живымъ міромъ, получаются служащими въ с ладчину и въ посту Александровскомъ печатаются въ ка- нной типографіи. Зайдемъ туда. Здѣсь, дѣйствительно, можно м минуту забыть, что находишься на каторгѣ. Знакомая с изкая обстановка: кассы, реалы. Привычный стукъ литеръ

о „верстатку". Запахъ типографской краски. Изо всѣхъ сахалинскихъ мастерскихъ здѣсь мы можемъ разсчитывать на пріемъ наиболѣе теплый, дружескій, въ которомъ есть даже что-то родственное. Журналистъ и наборщикъ, когда они встрѣчаются между собой, — какъ во встрѣчѣ двухъ солдатъ одного и того же полка, къ тому же пріятно и поговорить на этомъ особомъ языкѣ типографскихъ терминовъ, близкомъ и понятномъ намъ обоимъ. На языкѣ, на которомъ давно не приходилось говорить.

— Чисто какъ я въ Москвѣ, — улыбаясь говоритъ мнѣ метранпажъ.

Мы оказываемся старыми знакомыми. Онъ — изъ Москвы, набиралъ въ той газетѣ, гдѣ я писалъ. Судился за преступленіе, которое слушалось при закрытыхъ дверяхъ...

Бѣдная техническими средствами сахалинская типографія работаетъ на славу, — и на простомъ „тискальномъ станкѣ" ухитряется печатать офиціальное изданіе „Сахалинскій календарь" въ 30 печатныхъ листовъ. Въ нѣкоторомъ родѣ подвигъ, который изъ читателей оцѣнятъ только гг. типографы.

Среди наборщиковъ оригинальный типъ. Старичокъ въ очкахъ. Бродяга всю свою жизнь состоитъ при „журнальномъ дѣлѣ".

— Еще работалъ въ покойномъ, блаженной памяти, „Морскомъ сборникѣ".

И онъ говоритъ о „покойномъ", какъ будто рѣчь идетъ объ умершемъ родственникѣ. Съ какою любовью онъ говоритъ со мной о журналахъ.

— Скучаете здѣсь по журналамъ?

Онъ улыбается грустной улыбкой.

— Шибко-съ. Вѣдь вся жизнь прошла въ этомъ дѣлѣ. Свыкнешься... Одно вотъ теперь успокоеніе нахожу: когда телеграммы набирать. Набираешь,—ровно „на газетѣ" работаешь. Такъ иной разъ намечтаешься, — смѣшно-съ...

И на глазахъ старика, смѣющагося надъ своими мечтаньями, навертываются слезы.

— А за что здѣсь-то?

— Изъ бродягъ-съ.

— И нельзя открыться?

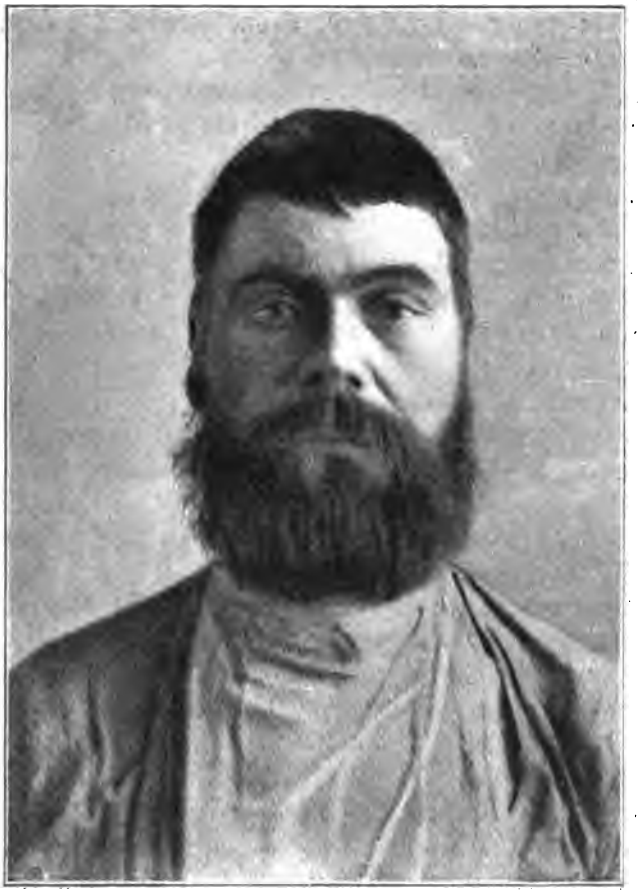
— Невозможно-съ.

Чего натворилъ этотъ старичокъ, находящій себѣ поэзію въ наборѣ телеграммъ и говорящій, словно о человѣкѣ, о „покойномъ журналѣ".

Въ переплетной при типографіи мы встрѣтимъ интересную личность — въ нѣкоторомъ родѣ недавнюю „знаменитость".

Петербургскій „убійца въ Апраксиномъ переулкѣ". Преступленіе, обратившее на себя вниманіе своимъ спокойствіемъ,

жестокостью, звѣрствомъ. Молодой парнишка, онъ убилъ съ цѣлью грабежа трехъ женщинъ. Присужденъ къ 20 годамъ каторги. Вотъ странные глаза. Совершенно желтаго, золотистаго цвѣта. Такіе глаза бываютъ только у кошекъ. Онъ смотритъ на васъ прямо, открыто, зорко,—и, если можно такъ выразиться, никакой души не чувствуется въ этихъ глазахъ. Ни злой ни доброй, — такъ, совсѣмъ никакой. Такой взглядъ



Арестантскіе типы.

встрѣчается у особенно звѣрскихъ, холодныхъ и спокойныхъ убійцъ съ цѣлью грабежа. Они, обыкновенно, очень благообразны, даже симпатичны. На лицѣ у нихъ вы напрасно стали бы искать какой-нибудь „печати Каина“, какихъ-либо „звѣрскихъ“ чертъ. Только въ глазахъ нѣтъ тихаго мерцанія души. Только во взглядѣ вы читаете, что чего-то человѣческаго не хватаетъ этому существу. И вы ясно представляете себѣ, какъ онъ убивалъ. Онъ смотрѣлъ, вѣроятно, на свою жертву тѣмъ

же спокойнымъ взглядомъ. Холоднымъ, пристальнымъ взглядомъ очковой змѣи. И отъ этого взгляда холодно, вѣроятно, дѣлалось на душѣ у жертвы. Ни злобы, ни ненависти, ни бѣшенства не было въ этомъ взглядѣ. Онъ смотрѣлъ съ любопытствомъ на льющуюся кровь, на предсмертныя судороги жертвы. Съ любопытствомъ кошки, раздавившей лапой таракана. И только. Чувство жалости, чувство состраданія атрофировано у этихъ людей, — читается въ ихъ взглядѣ. Они лишены отъ рожденія чувства жалости, какъ бываютъ люди, лишенные отъ рожденія чувства зрѣнія.

Бойкій, расторопный мальчишка смотритъ своими кошачьими глазами и спокойно разсказываетъ, какъ убивалъ.

— Какъ же это такъ?

— Съ куражу.

— Пьянъ былъ?

— Никакъ нѣтъ. А такъ вся жизнь тогда въ куражѣ была. Лакеемъ служилъ, половымъ. Постоянный куражъ кругомъ. Съ куражу и подумалъ: „Пойтить, убить, — денегъ добуду“.

— Ну, а теперь?

— Къ ремеслу пріучаюсь.

И онъ съ любовью, — съ любовью, въ которой есть что-то сентиментальное, — показываетъ переплетъ, который только что сдѣлалъ.

Переплетъ, любовно сдѣланный тѣми же руками, которыя такъ спокойно убивали людей.

— Отличный переплетъ, братецъ, у тебя вышелъ.

По его лицу расплывается широчайшая улыбка удовольствія.

Удивительно странное впечатлѣніе производитъ этотъ мальчикъ, и изъ звѣря-убійцы превращающійся въ подмастерье, котораго тѣшитъ его дѣло. Словно зарѣзалъ троихъ и сѣлъ въ игрушки играть.

Въ томъ же домѣ, гдѣ типографія, помѣщается и библіотека. Библіотека, которой еще чуждаются многіе „свободные“ люди, потому что изъ нея могутъ брать книги и ссыльно-каторжные.

Изъ-за стола навстрѣчу намъ поднимается молодой человѣкъ, совсѣмъ еще юноша, К.

И въ „области скорби“, на Сахалинѣ, мало людей, которые производили бы такое тяжелое впечатлѣніе.

У него такой видъ, словно онъ только что получилъ какое-то тяжелое извѣстіе, его ошеломившее, и весь еще находится подъ его гнетомъ.

Когда онъ говоритъ, онъ словно просыпается отъ печальныхъ думъ, которыя витаютъ гдѣ-то далеко, далеко...

Болѣзненный видъ, блѣдное лицо.

Онъ сосланъ на 17½ лѣтъ за убійство въ запальчивости и раздраженіи.

На Сахалинѣ онъ извѣстенъ за безотвѣтнаго человѣка. Словно все вылетѣло изъ этого человѣка, и остался трупъ, съ которымъ, что хочешь, то и дѣлай.

На Сахалинѣ ему не повезло. Онъ былъ писаремъ въ канцеляріи горнаго инженера. Тамъ столкнулся съ завѣдующимъ канцеляріей, тоже ссыльно-каторжнымъ, нѣкіимъ Г., сосланнымъ за грязное преступленіе. Этотъ Г. накляузничалъ на него инженеру, тотъ попросилъ посадить К. на мѣсяцъ въ

Арестантскіе типы. Заковываніе въ кандалы.

кандальную. И цѣлый мѣсяцъ несчастный К. провелъ въ кандалахъ, въ самомъ страшномъ уголкѣ каторги.

По выходѣ оттуда добрые люди пристроили его завѣдующимъ библіотекой. Онъ производитъ тяжелое впечатлѣніе человѣка, въ которомъ все убито.

Приговаривается къ каторжнымъ работамъ...

Выражась по-сахалински, въ „пятомъ“ (1895) году на Сахалинъ было сослано 2.212 человѣкъ, въ „шестомъ“—2.725.

Замѣчательное дѣло: мы ежегодно приговариваемъ къ каторжнымъ работамъ отъ двухъ до трехъ тысячъ, рѣшительно не зная, — что же такое эта самая каторга?

Что значатъ эти приговоры „безъ срока“, на 20, на 15, на 10 лѣтъ, на 4, на 2 года.

А потому, прежде чѣмъ ввести васъ во внутренній бытъ каторги, познакомить съ ея оригинальнымъ дѣленіемъ на касты, ея обычаями, нравами, взглядами на религію, законъ, преступленіе и наказаніе, — я долженъ познакомить васъ съ тѣмъ, что такое эта самая „каторга“, какому наказанію подвергаются люди, ссылаемые на Сахалинъ.

Какъ мы уже видѣли, всѣ каторжники дѣлятся на два разряда: разрядъ испытуемыхъ и разрядъ исправляющихся.

Въ разрядъ испытуемыхъ попадаютъ люди, приговоренные не меньше, какъ на 15 лѣтъ каторги.

Безсрочные каторжники должны пробыть въ разрядѣ испытуемыхъ 8 лѣтъ, присужденные къ работамъ не свыше 20 лѣтъ — 5 лѣтъ и присужденные къ работамъ отъ 15 до 20 лѣтъ — четыре года. Остальные, обыкновенно, сейчасъ же зачисляются въ разрядъ „исправляющихся“.

Только тюрьма для испытуемыхъ и представляетъ собою „тюрьму“ такъ, какъ ее обыкновенно понимаютъ.

„Испытуемая“, или, какъ ее обыкновенно зовутъ въ просторѣчьѣ, „кандальная“ тюрьма построена обыкновенно совершенно отдѣльно, огорожена высокими „палями“, — заборомъ. Вдоль стѣнъ ходятъ часовые, что не мѣшаетъ „испытуемымъ“ бѣгать и изъ этихъ стѣнъ, на виду у этихъ часовыхъ. Какой стѣной удержишь, какимъ часовымъ испугаешь человѣка, которому, кромѣ жизни, нечего ужъ больше терять? И которому смерть кажется „сластью“ въ сравненіи съ этой ужасной жизнью въ „кандальной“?

Доступъ постороннимъ лицамъ въ тюрьму для испытуемыхъ закрытъ. Ихъ держатъ какъ зачумленныхъ совершенно изолированно отъ остальной каторги, даже больницы для „испытуемыхъ“ — совершенно отдѣльныя. Но это, конечно, ничуть не мѣшаетъ „исправляющимся“ арестантамъ все-таки проникать въ „кандальную“, проносить туда водку, играть въ карты. Изобрѣтательности, находчивости каторги нѣтъ предѣловъ. Да къ тому же на Сахалинѣ все покупается, и покупается очень дешево.

Отъ весны до осени, съ начала и до окончанія „сезона бѣговъ“, — испытуемымъ арестантамъ бреютъ половину головы и заковываютъ въ ножные кандалы. И тогда сахалинскій воздухъ, и безъ того проклятый, наполняется еще и лязгомъ кандаловъ. Еще издали, подъѣзжая къ тюрьмѣ, вы слышите, какъ гремитъ цѣпями „кандальная“. Отъ весны до осени на половину бритые арестанты теряютъ человѣческій обликъ и пріобрѣтаютъ „обликъ звѣриный“, омерзительный и отврати-

тельный. Что, конечно, глубоко мучитъ тѣхъ изъ испытуемыхъ, которые ни о какихъ „побѣгахъ“ не думаютъ и рѣшили было терпѣливо нести свою тяжкую долю. Это заставляетъ ихъ рѣшаться на такіе поступки, которые при другихъ условіяхъ, быть-можетъ, и не пришли бы имъ въ голову.

Время работъ какъ „испытуемыхъ“, такъ и „исправляющихся“, полагается по расписанію, глядя по времени года, отъ 7 до 11 час. въ сутки. Но это расписаніе никогда не соблюдается. Если есть пароходы, — въ особенности Добровольнаго флота, которые терпѣть не могутъ никакихъ задержекъ, — каторжные работаютъ, „сколько влѣзетъ“ и даже сколько не влѣзетъ. Тогда каторжане превращаются совсѣмъ въ крѣпостныхъ гг. капитановъ. И я самъ былъ свидѣтелемъ, какъ работы, начинавшіяся въ 5 часовъ утра, оканчивались въ 11 часовъ вечера: разгружался пароходъ Добровольнаго флота.

Арестантскіе типы. Приговоренный за убійство и побѣги къ безсрочной каторгѣ.

Кромѣ трехъ дней для говѣнья и воскресеній, — праздничныхъ дней для „испытуемыхъ“ каторжниковъ полагается въ годъ 14.

Крещеніе, Вознесеніе Господне, Троицынъ и Духовъ дни, Благовѣщеніе, — все это не праздники для испытуемыхъ. Но и это требованіе закона не всегда соблюдается. И изъ этихъ 14 дней отдыха у „испытуемыхъ“ отнимается нѣсколько. Я самъ былъ свидѣтелемъ, какъ каторжныхъ гнали разгружать пароходъ Добровольнаго флота въ праздникъ, въ который они по закону освобождены отъ работы. Заставляли ихъ работать тогда, въ такой день, когда даже крѣпостные въ былое время освобождались отъ работъ.

Отсюда возникаютъ тѣ бунты, которые вызываютъ „соотвѣтствующія мѣры“ для усмиренія. Мѣры, при которыхъ часто

достается людямъ, ни въ чемъ неповиннымъ, и которыя еще больше озлобляютъ и безъ того достаточно мучащуюся каторгу.

Такъ было и тогда. „Кандальные“ арестанты Корсаковской тюрьмы рѣшительно отказались итти разгружать пароходъ въ праздникъ.

— Не законъ!

Имъ напрасно обѣщали, что вмѣсто этого дня имъ дадутъ отдохнуть въ будни.

— Знаемъ мы эти обѣщанія! Сколько дней такъ пропало! — отвѣчали кандальные каторжной тюрьмы и рѣшительно не вышли на работу.

— Вотъ-съ она, вотъ-съ до чего доводитъ эта „гуманность“! — со скорбью и злобой говорилъ мнѣ по этому поводу смотритель. — Какъ же! У насъ теперь „гуманность“. Начальство не любитъ, чтобъ драли! Что жъ, я васъ спрашиваю, я стану съ ними, съ мерзавцами, дѣлать?!

А каторжанинъ, къ которому я обратился съ вопросомъ:

— Почему вы не хотите выходить на работу? Вѣдь хуже будетъ!

Отвѣчалъ мнѣ, махнувъ рукой:

— Хуже того, что есть, не будетъ. Помилуйте, вѣдь намъ для того и праздничный день данъ, чтобъ мы могли хоть на себя поработать, хоть зашить, пришить что. Вѣдь мы наги и босы ходимъ. Оборвались всѣ. День денской безъ передышки, да еще и въ законный праздникъ, да еще въ кандалахъ, иди на нихъ работать. Гдѣ ужъ тутъ хуже быть!

Измѣнить на Сахалинѣ установленный самимъ закономъ порядокъ ровно ничего не стоитъ любому капитану, находящемуся въ хорошихъ отношеніяхъ со смотрителемъ.

— Надо поѣхать къ смотрителю! — говоритъ агентъ какой-нибудь торговой фирмы, — сказать, чтобъ людей послалъ. А то пароходъ нашъ зафрахтованный пришелъ. Что жъ ему такъ-то стоять!

— Да вѣдь сегодня, по закону, такой праздникъ, когда каторжные освобождены отъ работы!

— Ничего не значитъ.

— Да вѣдь по закону!

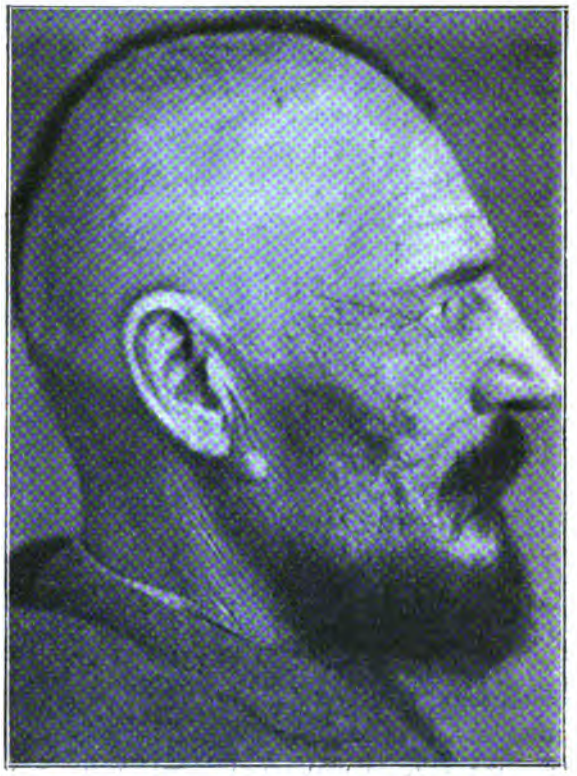
— Пустяки.

Если вы къ этому прибавите дурную, вовсе не питательную пищу, одежду и обувь, рѣшительно не грѣющія п[illegible] мало-мальскомъ холодѣ, — вы, быть-можетъ, поймете и п[illegible] чины того, что терпѣніе этихъ „испытуемыхъ“ людей подча[illegible] лопается, и причины ихъ безумныхъ побѣговъ, и причи[illegible] того озлобленія, которымъ дышитъ каторга.

Я, по возможности, избѣгалъ посѣщать кандальныя тюры[illegible] вмѣстѣ съ гг. смотрителями. *Мнѣ* хотѣлось провалиться [illegible]

мѣстѣ отъ тѣхъ вещей, которыя имъ въ лицо говорили каторжане. Говорили съ такой дерзостью, какая никогда не приснится намъ. Съ дерзостью людей, которымъ больше ужъ нечего бояться. Говорили, рискуя многимъ, чтобъ только излить свое озлобленное чувство,— говорили потому, что ужъ, вѣроятно, языкъ не могъ молчать.

Въ „кандальной“ Рыковской тюрьмѣ, когда я пріѣхалъ туда, царило такое озлобленіе, что смотритель не сразу рѣшился меня вести.



Арестантскіе типы. Приговоренный за убійство и побѣги къ безсрочной каторгѣ.

— Да это такіе мерзавцы, которыхъ и смотрѣть не стоитъ!— „разговаривалъ“ онъ меня.

— Да вѣдь я и на Сахалинъ пріѣхалъ смотрѣть не рыцарей чести!

„Кандальное“ отдѣленіе сидѣло уже двѣ недѣли „на парашѣ“. Они отказывались работать, ихъ уже двѣ недѣли держали взаперти, никуда не выпуская изъ „номера“, только утромъ и вечеромъ мѣняя „парашу“, стоявшую въ углу. Въ этомъ зловонномъ воздухѣ, люди, сидѣвшіе взаперти,казались,дѣйствительно, звѣрями. И, я не стану скрывать, было довольно жутко проходить между ними. Каждый разъ, когда я касался вопроса: „Почему не идете на работу?— было видно, что я касаюсь наболѣвшаго мѣста.

— И не пойдемъ! — кричали мнѣ со всѣхъ сторонъ.—Пускай переморятъ всѣхъ, — не пойдемъ!

— Ты за что?— обратился я къ одному, стоявшему „какъ истуканъ“ у стѣнки и смотрѣвшему злобнымъ взглядомъ.

— А тебѣ на что?— отвѣтилъ онъ такимъ тономъ, что одинъ изъ каторжниковъ тронулъ меня за рукавъ и тихонько сказалъ:

— Баринъ, поотойдите отъ него!

Принимая меня за начальство, они нарочно говорили такимъ тономъ, стараясь вызвать меня на рѣзкость, на дерзость, думая сорвать на мнѣ накопившееся озлобленіе.

„Испытуемые“ посылаются на работы не иначе, какъ подъ конвоемъ солдатъ. И вы часто увидите такую, напримѣръ, сцену. „Испытуемые“ разогнали пустую вагонетку, на которой они перевозятъ мѣшки съ мукою, и повскакали на нее. Вагонетка летитъ по рельсамъ. А за ней, одной рукой поддерживая шинель, въ которой онъ путается, и съ ружьемъ въ другой, задыхаясь, весь въ поту, бѣжитъ солдатъ. А на вагонетку каторжане его не пускаютъ:

— Нѣтъ! Ты пробѣгайся!

— Братцы, ну, зачѣмъ вы такое свинство дѣлаете? — спрашиваю какъ-то у каторжанъ. — Вѣдь онъ такой же человѣкъ, какъ и вы!

— Эхъ, баринъ! Да вѣдь надо же хоть на комъ-нибудь злость сорвать! — отвѣчаютъ каторжане.

Зато не на рѣдкость и такая, напримѣръ, сцена. На пристани солдатъ, какъ изступленный, кричитъ на „кандальнаго“:

— Зачѣмъ муки за пазуху насыпалъ? Распоясывайся!

— Самъ и распоясывай, ежели тебѣ надоть.

Конвойный распоясываетъ кандальному рубаху и другія принадлежности туалета. Оттуда сыплется масса муки. Каторга хохочетъ. Конвойный, распоясывая, кое-какъ подъ мышкой придерживаетъ ружье и во все время раздѣванія „норовитъ прикладомъ“.

Вижу разъ такую сцену. Одинъ изъ „испытуемыхъ“, съ больной ногой, поотсталъ отъ партіи поправить кандалы. Конвойный его въ бокъ прикладомъ.

— Ну, за что ты его?—говорю.—Видишь, человѣкъ больной,

Конвойный оглянулся:

— А ты не лѣзь, куда не спрашиваютъ!

И во взглядѣ его свѣтилось столько накипѣвшей злобы.

Вотъ еще люди, которые отбываютъ на Сахалинѣ дѣйствительно каторжную работу!

Въ посту Александровскомъ, въ клубѣ для служащихъ, служитъ лакеемъ Николай, бывшій конвойный, убившій каторжника и теперь самъ осужденный на каторгу.

— Какъ живется? — спрашиваю.

— Да что жъ,— отвѣчаетъ, — допрежде, дѣйствительно, конвойнымъ былъ, а теперь, слава Богу, въ каторгу попалъ.

— Какъ, слава Богу?

— А то что жъ! Работы-то тѣ же самыя, что и у нихъ: такъ же бревна, дрова таскаемъ. Да еще за ними, за чертями,

Партія арестантовъ на работѣ.

смотри. Всякій тебѣ норовитъ подлость сдѣлать, издѣвку какую учинить, „засыпать“. Того и гляди,—влетишь за нихъ. Гляди въ оба, чтобы не убѣгъ. Да поглядывай, чтобы самого не убили. А тронешь кого, — самъ подъ судъ. Нѣтъ, въ каторгѣ-то оно поспособнѣй. Тутъ смотрѣть не за кѣмъ. За мной пусть смотрятъ!

Пройдитесь пѣшкомъ съ партіей кандальныхъ, идущихъ подъ конвоемъ. О чемъ разговоръ? Непремѣнно про конвойныхъ. Анекдоты разсказываютъ про солдатскую глупость, тупость, хохочутъ надъ наружностью конвойныхъ, а то и просто ругаются.

А каторга, надо ей должное отдать, умѣетъ человѣку кличку дать. Такую, что его и въ жаръ и въ холодъ броситъ. И шагаютъ конвойные съ озлобленными, перекошенными отъ злости, лицами, еле сдерживаясь.

— А ты слушай! — злорадствуетъ каторга.

Замолкнетъ на минутку партія, — и сейчасъ же какой-нибудь снова начнетъ:

— Какіе, братцы вы мои, самые эти солдаты дурни, — и уму непостижимо!

И „пойдетъ сначала“.

Не мудрено, что эти несчастные, въ концѣ концовъ, озлобляются невѣроятно. Даже гг. служащіе жалуются на нихъ:

— Хуже каторжныхъ.

Иду какъ-то слишкомъ близко отъ какого-то амбара.

— А ты, чортъ, зачѣмъ здѣсь ходишь? — кричитъ часовой. — Не смѣй здѣсь ходить, дьяволъ!

— Да ты чего же сердишься-то? Ты бы безъ сердца сказалъ.

— Разсердишься тутъ! — какъ будто немножко смягчившись, сказалъ часовой, но сейчасъ же опять „вошелъ въ сердце“. — Да ты не смѣй со мной разговаривать! Ежели будешь со мной разговаривать, я тебя прикладомъ!

Люди, дѣйствительно, озлоблены до невѣроятія. Это взаимное озлобленіе особенно сказывается при бѣгствѣ каторжныхъ и при ловлѣ ихъ солдатами.

— Жалко, что не убилъ конвойнаго! — съ сожалѣніемъ говорилъ бѣглый, добродушнѣйшій, въ сущности, парень, бѣжавшій для того, чтобы переплыть на лодкѣ... въ Америку.

— Да зачѣмъ же это тебѣ?

— А съ нами они что дѣлаютъ, когда ловятъ?!

Такова атмосфера, которою дышитъ „испытуемая“ тюрьма.

Озлобленные „испытуемые“ вселяютъ къ себѣ страхъ, который гг. смотрители стараются обыкновенно прикрыть презрѣніемъ:

— Я съ такими мерзавцами и разговаривать-то не хочу. Если негодяй, — такъ я его и видѣть не желаю!

Можете себѣ представить, что творится въ „испытуемыхъ“ тюрьмахъ, предоставленныхъ цѣликомъ на усмотрѣніе надзирателей, часто тоже изъ бывшихъ каторжныхъ. Что дѣлается въ этихъ тюрьмахъ, наполненныхъ тягчайшими преступниками и мѣсяцами не видящихъ никакого начальства. Что тамъ дѣлается съ каторжными и каторжными же надъ каторжными.

— Да и зайти опасно! — объясняютъ гг. служащіе. — Вѣдь это все дышитъ злобой!

И это правда... Хотя ходятъ же туда доктора Лобасъ, Поддубскій, Чердынцевъ, гуманный смотритель Александровской

Арестантскіе типы. Везутъ бѣглаго.

тюрьмы. И я думаю, что самымъ безопаснымъ на Сахалинѣ мѣстомъ для семействъ всѣхъ этихъ лицъ была бы кандальная тюрьма, и именно то ея отдѣленіе, гдѣ содержатся безсрочные. Здѣсь они могли бы чувствовать себя застрахованными отъ малѣйшей обиды. Почему это, — какъ-нибудь въ другой разъ.

Благодаря массѣ различныхъ причинъ, атмосфера „испытуемой“ тюрьмы — недовольство, ея религія — протестъ. Протестъ всѣми мѣрами и всѣми силами.

Подчасъ этотъ протестъ носитъ забавную, но на Сахалинѣ небезопасную для протестующаго форму. „Испытуемые“, напримѣръ, не снимаютъ шапокъ. Ѣду какъ-то мимо партіи кандальныхъ. Смотрятъ вызывающе, — только одинъ нашелся, снялъ шапку.

Я отвѣтилъ ему тѣмъ же, снялъ шапку и поклонился. Моментально вся партія сняла шапки и заорала:

— Здравствуйте, ваше высокоблагородіе!

И изводили же они меня потомъ этимъ сниманіемъ шапокъ!

Такова „кандальная“ тюрьма.

По правиламъ, въ ней содержатся только наиболѣе тяжкіе преступники, отъ „пятнадцатилѣтнихъ“ до безсрочныхъ каторжниковъ включительно.

Но, входя въ „кандальную“, не думайте, что васъ окружаютъ исключительно „изверги рода человѣческаго“. Нѣтъ. На ряду съ отцеубійцами вы найдете здѣсь и людей, вся вина которыхъ заключается въ томъ, что онъ загулялъ и не явился на повѣрку. Въ толпѣ людей, одно имя которыхъ способно наводить ужасъ, среди „луганскаго“ Полуляхова, „одесскаго“ Томилова, „московскаго“ Викторова, можно было видѣть въ кандалахъ бывшаго офицера К—ра, посаженнаго въ кандальную на мѣсяцъ за то, что онъ не снялъ шапки при встрѣчѣ съ г. горнымъ инженеромъ. Я знаю случай, когда жена одного изъ гг. служащихъ просила посадить въ кандальную одного каторжника за то... что онъ ухаживалъ за ея горничной, вызывалъ на свиданія и тѣмъ мѣшалъ правильному отправленію обязанностей. И посадили, временно перевели „исправляющагося“ въ разрядъ „испытуемыхъ“ по дамской просьбѣ.

Какъ видите, здѣсь смѣшано все, — какъ бываетъ смѣшано въ выгребной ямѣ.

И человѣкъ, только не снявшій шапки, гніетъ нравственно въ обществѣ убійцъ по профессіи.

Окончивъ „срокъ испытуемости“, долгосрочный каторжанинъ изъ „кандальной“ переходитъ въ „вольную тюрьму“...

Такъ въ простонародьѣ зовется „отдѣленіе для исправляющихся“.

Сюда же попадаютъ прямо, по прибытіи на Сахалинъ, и „краткосрочные“ каторжники, т.-е. приговоренные не болѣе, чѣмъ на 15 лѣтъ каторги.

„Исправляющимся“ дается болѣе льготъ. Десять мѣсяцевъ у нихъ считается за годъ. Праздничныхъ дней полагается въ годъ 22. Имъ не бреютъ головъ, ихъ не заковываютъ. На работу они выходятъ не подъ конвоемъ солдатъ, а подъ присмотромъ надзирателя. Часто даже и вовсе безъ всякаго присмотра. И вотъ тутъ-то происходитъ чрезвычайно курьезное явленіе. Самыя тяжкія, истинно „каторжныя“ работы, напр мѣръ вытаска бревенъ изъ тайги, заготовка и таска дро достаются на долю „исправляющихся“ — менѣе тяжкихъ пр ступниковъ, въ то время какъ тягчайшіе преступники и отдѣленія испытуемыхъ исполняютъ наиболѣе легкія работ

Человѣкъ, приговоренный на 4, на 5 лѣтъ за какое-нибудь нечаянное убійство во время драки, съ утра до ночи мучится въ непроходимой тайгѣ, въ то время, какъ человѣкъ, съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ перерѣзавшій цѣлую семью, — катаетъ себѣ вагонетки по рельсамъ.

— Помилуйте! Развѣ мы можемъ посылать „испытуемыхъ“ въ тайгу? Конвоя не хватитъ, солдатъ мало.

Судите сами, можетъ ли такой „порядокъ“ внушить каторгѣ какое-нибудь понятіе о „справедливости“ наказанія,—единственное сознаніе, которое еще можетъ какъ-нибудь помирить преступника съ тяжестью переносимаго наказанія.

Природа Сахалина. Въ глуши.—Лѣсныя работы.

— Какая ужъ тутъ правда!—говорятъ „исправляющіеся“.— Что кандальникъ головорѣзъ, такъ онъ поэтому и живи себѣ бариномъ: вагончики по рельцамъ катай. А что я смирный да покорный и меня безъ конвоя послать можно, такъ я и мучься въ тайгѣ. Нешто мое-то супротивъ его-то преступленье?

Тюрьма для исправляющихся, это — менѣе всего тюрьма. Прежде всего, это — ночлежный домъ, грязный, отвратительный, ужасный.

Когда я вошелъ въ первый разъ подъ вечеръ въ „номеръ“, гдѣ содержатся бревнотаски, дровотаски и вообще занимающіеся болѣе тяжкими работами, у меня закружилась голова и нача ало „мутить“. Такой тамъ „духъ“!

Арестанты только что вернулись изъ тайги, гдѣ они работали по колѣно въ таломъ снѣгу. Онучи, „коты“, бушлаты,— все было на нихъ мокрое. И они лежали въ поту, во всемъ мокромъ, на нарахъ. Я велѣлъ одному раздѣться и долженъ былъ отступить: такой запахъ шелъ отъ этого человѣка.

— Да вѣдь ты прѣешь весь?

— Что же дѣлать-то! Прѣю. На ноги вонъ и то ужъ больно вступить.

— Чего жъ ты не раздѣнешься? Не развѣсишь платье посушить?

— Развѣсь! Развѣсилъ вонъ Кузька халатъ да онучи, задремалъ, — и свистнули.

— Это у насъ не долго! — подтверждали, улыбаясь, каторжане.

Можете себѣ представить, что дѣлается съ этими людьми, по недѣлямъ не раздѣвающимися. Если бы кто-нибудь и пожелалъ вести себя почище, благодаря общимъ нарамъ, это — невозможно. У нихъ и паразиты общіе. Помню, разговариваю въ Онорской тюрьмѣ съ однимъ бѣлобрысымъ арестантомъ, а каторжане меня предупреждаютъ:

— Баринъ, велите-ка ему отъ васъ поотодвинуться: съ него падаютъ.

И съ этакимъ-то субъектомъ лежать рядомъ на нарахъ! Заботься тутъ о чистотѣ!

Этимъ объясняется и „непонятная“, какъ говорятъ гг. смотрители тюремъ, страсть каторжанъ спать подъ нарами.

— Не лежится ему на нарахъ, подъ нары, въ слякоть лѣзетъ!

Лучше ужъ лежать въ „слякоти“, чѣмъ рядомъ съ такимъ субъектомъ!

Мнѣ говорили многіе изъ каторжанъ, что они сначала даже ѣсть не могли.

— Тошнило. Вездѣ ползаютъ... Да и теперь припрячешь хлѣба кусокъ: „прійду, молъ, съ работы,— пожую“. Возьмешь, а по немъ ползутъ... Тфу!

Каждый разъ, когда мнѣ случалось провести нѣсколько часовъ въ тюрьмѣ, мое платье и бѣлье было полно паразитовъ. Чтобы дать вамъ понятіе объ этой ужасающей грязи, я скажу только, что долженъ былъ выбросить все платье, въ которомъ я ходилъ по тюрьмамъ, и остригся подъ гребенку. Другихъ средствъ „борьбы“ не было! И въ такой обстановкѣ живутъ люди, которымъ нужны силы для работы.

Второе назначеніе „Вольной тюрьмы“ — быть игорнымъ домомъ. Игра идетъ съ утра до ночи и съ ночи до утра. Въ каждую данную минуту заложатъ банкъ въ нѣсколько деся-

ковъ рублей. Игра идетъ на деньги и на вещи, на пайки хлѣба за нѣсколько мѣсяцевъ впередъ, на предстоящую дачку казеннаго платья. Все это сейчасъ же можно реализовать у

Сахалинскіе рудники.

тюремныхъ ростовщиковъ, вертящихся тутъ же. Играютъ катержане между собой. Сюда же являются играть и поселенцы. Играютъ старики и... дѣти. При мнѣ въ Дербинской тюремной

богадѣльнѣ поселенецъ, явившійся продавать въ казну картофель, проигралъ вырученныя деньги, телѣгу и лошадь. Въ Рыковской тюрьмѣ къ смотрителю при мнѣ явилась съ воемъ баба-поселенка.

— Послала мальченку въ тюрьму хлѣба купить. А они, изверги, заманули его въ номеръ и обыграли.

— Не вѣрьте ей, ваше высокоблагородіе, — оправдывалась каторга, — она сама посылаетъ мальченку играть. Каждый день онъ къ намъ ходитъ. Выиграетъ, — небось, ничего, а проигралъ — „заманули“. Заманешь его, какъ же!

На повѣрку, это все оказалось правдой...

„Исправляющіеся“ выходятъ изъ тюрьмы въ теченіе дня свободно. Они обязаны только исполнить заданный „урокъ“ и явиться вечеромъ къ повѣркѣ. Все остальное время они шатаются гдѣ имъ угодно. Точно такъ же свободно входятъ и выходятъ изъ тюрьмы постороннія лица; это облегчаетъ сбытъ краденаго. Около „тюрьмы исправляющихся“ всегда толпится нѣсколько десятковъ поселенцевъ, по большей части татаръ. Это — все ростовщики, покупатели краденаго.

Третья роль, которую играетъ „вольная тюрьма“, это—быть притономъ и бездомовныхъ и даже бѣглыхъ. Такъ характеризовалъ сахалинскія вольныя тюрьмы и пріѣзжавшій для ревизіи генералъ Гродековъ.

Тюрьма, надо ей отдать справедливость, съ большой жалостью относится къ участи „поселенцевъ“. Вѣдь „поселенецъ“, это—будущее „каторжника“. Зайдя во время обѣда въ „вольную тюрьму“, вы всегда застанете тамъ кормящихся поселенцевъ. Хлѣба каторжане имъ не даютъ.

— Потому самимъ не хватаетъ.

А похлебки, „баланды“, которую каторга продаетъ по 5 копеекъ ведро на кормъ свиньямъ, отпускаютъ сколько угодно. Такимъ образомъ, въ годы безработицы и голодовки, въ „вольной тюрьмѣ“, говоря по-сахалински, „кормится въ одну ручку“ подчасъ до 200 поселенцевъ. Въ вольную же тюрьму ходятъ ночевать и бездомовные поселенцы, пришедшіе „съ голоду“ въ постъ изъ дальнѣйшихъ поселеній и неимѣющіе гдѣ приклонить голову.

Они приходятъ передъ вечеромъ, забираются подъ нары и тамъ спятъ до утра.

Право, есть что-то глубоко-трогательное въ этомъ милосердіи, которое оказываютъ нищіе нищимъ. И сколько разъ воспоминаніе объ этомъ поддерживало меня въ тѣ трудныя минуты, когда мой умъ мутился, и каторга, благодаря творящимся въ ней ужасамъ, казалась мнѣ только „скопищемъ злодѣевъ“. Нѣтъ, даже въ тюрьмѣ, въ этой злой, гнойной ямѣ, живетъ „человѣкъ“!

„Вольная тюрьма“ служитъ часто притономъ для бѣглыхъ каторжниковъ, бѣжавшихъ изъ другихъ округовъ. Такъ, напримѣръ, страхъ и ужасъ Сахалина Широколобовъ, отковавшійся отъ тачки и бѣжавшій изъ Александровской кандальной

Широколобовъ Ѳедоръ (безъ срока).

тюрьмы, Широколобовъ, за поимку котораго обѣщано 100 рублей, неуловимый Широколобовъ, для поимки котораго посылаютъ цѣлые отряды и переодѣтыхъ сыщиковъ-надзирателей,— этотъ самый Широколобовъ тихо и мирно скрывался цѣлую зиму въ Рыковской тюрьмѣ.

— И получалъ казенный паекъ! Какова бестія! — воскликали начальники округа и смотритель тюрьмы.

— Да какъ же это могло случиться?

— А очень просто. Въ лицо мы его не знаемъ. Почемъ знать: кто онъ такой? А каторга ужъ, разумѣется, не выдастъ. Такъ и прожилъ всю зиму. А потеплѣло, ушелъ — и „дѣла творитъ“. Что съ нимъ подѣлаешь?

Вообще, вольности „вольныхъ тюремъ“ неисчислимы. Надо было мнѣ отыскать арестанта П., извѣстнаго преступника. Справляюсь у смотрителя.

— На мельницѣ работаетъ.

Иду на мельницу.

— Нѣтъ.

Въ другой разъ „нѣту“. Въ третій „нѣту“. Ходилъ въ шесть часовъ утра,—все „нѣту“. За это время каторга успѣла ужъ со мной познакомиться, я уже сталъ пользоваться ея довѣріемъ. Мнѣ и говорятъ на мельницѣ:

— Да онъ здѣсь, баринъ, никогда и не бываетъ. Онъ за себя другого поставилъ. За полтора цѣлковыхъ въ мѣсяцъ нанялъ. А самъ въ тюрьмѣ постоянно. У него тамъ дѣло: онъ и майданщикъ (содержатель буфета и тюремнаго стола, онъ и барахольщикъ (старьевщикъ), онъ и отецъ (ростовщикъ).

Посмотрѣлъ изъ любопытства на „сухарника“ (человѣкъ, который нанимается за другого нести каторгу). Жалкій мужиченка, приговоренный на 4 года за убійство въ дракѣ, въ пьяномъ видѣ, въ престольный праздникъ. До часа дня онъ работаетъ на мельницѣ за другого, а съ часа до вечера исполняетъ свой урокъ. Въ чемъ только душа держится, а несетъ двѣ каторги.

И такіе случаи на Сахалинѣ не только не рѣдки, — они ординарны, заурядны, обыкновенны. Человѣкъ, въ пьяномъ видѣ попавшій въ бѣду, отбываетъ двойную каторгу, а преступникъ по профессіи, одинъ изъ „знаменитѣйшихъ“ убійцъ, гуляетъ, обираетъ каторгу, наживается на этихъ несчастныхъ.

Полтора рубля на Сахалинѣ, это — побольше, чѣмъ у насъ пятнадцать.

Таковы нравы тюрьмы для исправляющихся.

За хорошее поведеніе арестанта, по истеченіи нѣкотораго времени, могутъ освободить совсѣмъ отъ тюрьмы. Онъ переходитъ тогда въ „вольную каторжную команду“, живетъ не въ тюрьмѣ, а на частной квартирѣ, и исполняетъ только заданный на день „урокъ“.

И если бы вы знали, какъ все, что есть мало-мальски порядочнаго въ тюрьмѣ, стремится къ этому! Какъ они мечтаютъ

Улица въ селеніи Рыковскомъ.

вырваться изъ этой физической и нравственной грязи тюрьмы и поселиться на вольной, на „своей“ квартиркѣ. Но, къ сожалѣнію, это не всѣмъ удается, не всѣмъ желающимъ дается. Самъ смотритель не можетъ знать каждаго изъ сотенъ своихъ арестантовъ. Аттестація о „хорошемъ поведеніи“ зависитъ отъ надзирателей, часто самихъ бывшихъ каторжниковъ. „Представленіе“ о переводѣ въ вольную команду составляется писарями, назначаемыми исключительно изъ каторжныхъ. Они все держатъ въ своихъ рукахъ. И часто, изъ-за неимѣнія двухъ-трехъ рублей, бѣднягѣ-каторжанину приходится отказаться отъ мечты о „своемъ“ углѣ, отъ всякой надежды на облегченіе участи...

Вырвавшіеся всѣми правдами и неправдами въ „вольную команду“ или снимаютъ гдѣ-нибудь койку за полтинникъ въ мѣсяцъ или живутъ подвое въ хибаркахъ. Въ каждомъ посту есть такая „каторжная слободка“.

Заходишь, — бѣдность страшная, имущества никакого. А у людей все-таки въ глазахъ свѣтится довольство.

— Слава Те, Господи, вырвались изъ „ея“, проклятой!

Сами себѣ господа! Хибарка—повернуться негдѣ. И, Боже, что за людей сводитъ судьба вмѣстѣ! Зайдемъ въ одну мазанку. На пространствѣ въ пять шаговъ длины и ширины живутъ двое.

Одинъ — полякъ. Ему 40 лѣтъ отроду, а на видъ — 60. Онъ похожъ на огромный, сгорбившійся скелетъ. Лицо желтое, обтянутое. Глаза горятъ мрачнымъ огнемъ. Онъ вѣчно угрюмъ, необщителенъ, ни съ кѣмъ не говоритъ. Присужденъ на 20 лѣтъ за то, что нанялъ убійцъ убить жену. Онъ замученъ былъ ревностью, но боялся убить самъ. Много, вѣроятно, бурь пережилъ этотъ преждевременно посѣдѣвшій, сгорбившійся, высохшій человѣкъ.

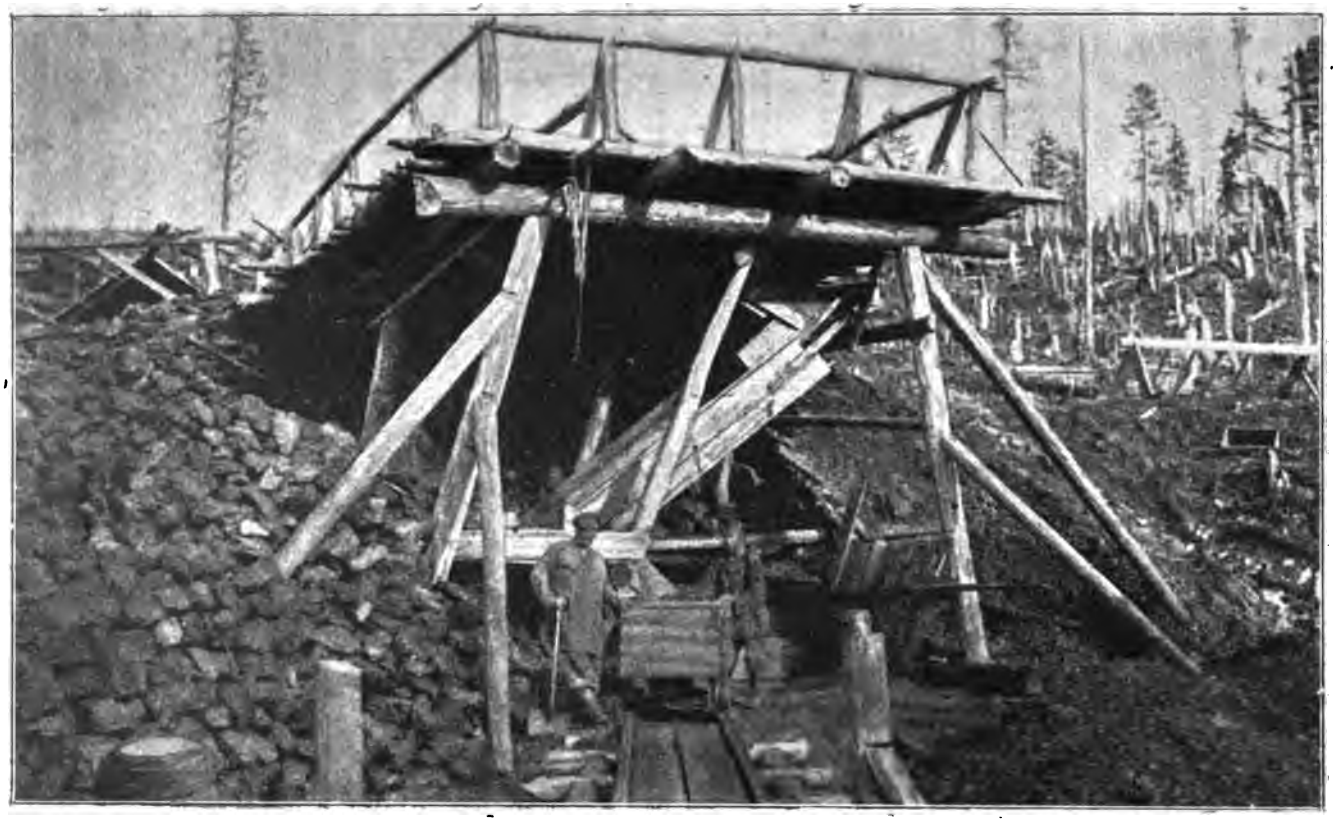
Его „половинщикъ“ — паренекъ Воронежской губерніи. Попалъ за насиліе надъ дѣвушкой.

— Пьянъ былъ, ваше высокородіе. Гурьбой шли. А она навстрѣчу. Можетъ, я, а, можетъ, и не я. Ничего не помню!

И живутъ эти два полюса вмѣстѣ.

Вотъ другая пара.

„Сурьезный“, старый мужикъ, сибирякъ. Атлетъ по сложенію. Лицо всегда строгое. Глаза свѣтятся холоднымъ, спокойнымъ блескомъ. Въ нихъ чуется заледянѣлая душа. Такъ же холодно и спокойно, вѣроятно, смотрѣли эти глаза и въ то время, когда онъ, хозяинъ постоялаго двора, убивалъ топоромъ четырехъ спавшихъ постояльцевъ: трехъ захмелѣвшихъ купцовъ и ямщика. Натура сильная, могучая. Его „бѣсъ попуталъ“. Когда такого человѣка „бѣсъ попутаетъ“, онъ пойдетъ на все, не остановится ни передъ чѣмъ. Жалость, сострадае



Арестантскія работы на рудникѣ.

чужды его душѣ. Онъ слишкомъ могучъ для такихъ „слабостей“. Отъ него вѣетъ настоящей трагической фигурой.

Вмѣстѣ съ нимъ живетъ рыжій мужиченка, добродушнѣйшее въ мірѣ существо, который даже о своемъ преступленіи вспоминаетъ такъ, что нельзя не улыбнуться.

— На сходѣ было... Мужика не въ число, знать, ударили, а мужикъ-отъ осерчалъ да и померъ, дай Богъ ему царствія небеснаго, вѣчный покой!

— И ничего? Уживаетесь? — спрашиваю.

— Парень не озорникъ? — отзывается старикъ о своемъ „половинщикѣ“.

— Живемъ! Чаво жъ намъ?! — улыбается мужиченка.

По большей части, стремящіеся жить на вольной квартирѣ, это — лучшее, что есть на каторгѣ. Игроки, моты, пьяницы, ростовщики, — тѣмъ не въ примѣръ „способнѣе“ жить въ тюрьмѣ. И когда подумаешь, что въ ихъ обществѣ долженъ гнить хорошій человѣкъ только потому, что у него нѣтъ двухъ-трехъ рублей для надзирателей и писарей за „аттестацію“ и „представленіе“!

„Кандальная“, „вольная тюрьма“ и „вольная команда“ — передъ нами прошла вся тюремная карьера каторжника. Обычный порядокъ.

Но весь этотъ порядокъ опрокидывается вверхъ ногами, если за прибывшимъ на Сахалинъ самымъ тяжкимъ преступникомъ слѣдуетъ семья и, особенно, если, къ тому же, онъ хорошо знаетъ какое-нибудь мастерство.

Если онъ, напримѣръ, хорошій слесарь, токарь или рѣзчикъ по дереву, — онъ уже не обыкновенный арестантъ, а persona grata, даже persona gratissima. Ужъ не онъ ищетъ, а въ немъ ищутъ. Въ Александровскѣ, напримѣръ, есть рѣзчикъ Кейзеръ. И вы сразу видите въ обращеніи съ нимъ даже общую почтительность. Еще бы! Это — единственный рѣзчикъ во всемъ посту; нужно кому-нибудь изъ служащихъ хорошенькую вещицу — бѣгутъ къ нему. Онъ тонко и искусно выполняетъ тѣ вещи, которыя посылаютъ въ Хабаровскъ, чтобы показать, какъ процвѣтаютъ и на какой высокой ступени развитія стоятъ сахалинскія мастерскія.

— Ему лафа! — помню, съ иронической улыбкой говорилъ мнѣ про него одинъ кандальникъ. — А только, я вамъ скажу онъ не то что хорошій рѣзчикъ по дереву, а недурно рѣжетъ и по горлу. Не хуже насъ, многогрѣшныхъ. А живетъ барономъ!

Если за каторжникомъ приходитъ семья, онъ выпускается изъ тюрьмы, на два года совсѣмъ освобождается отъ какихъ бы то ни было работъ, а затѣмъ работаетъ поурочно, пр

чемъ ему урокъ должны назначать такой, чтобъ это не мѣшало правильному веденію хозяйства.

Случается такъ, что за одно и то же преступленіе, на одинъ и тотъ же срокъ, приходятъ двое преступниковъ. За однимъ слѣдуетъ семья, — и онъ живетъ „на волѣ", два года ничего не дѣлаетъ. А другой — холостой и потому сидитъ въ кандальной тюрьмѣ, на лѣто ему бреютъ голову, его заковываютъ.

Убійца-звѣрь, убійца по профессіи, гуляетъ на свободѣ и работаетъ на себя, потому что онъ семейный. А человѣкъ, осужденный на $17^1/_2$ лѣтъ за то, что, разговаривая съ фельдфебелемъ, онъ наговорилъ дерзостей и сорвалъ *съ себя* погоны, томится въ кандальной тюрьмѣ.

Арестантскіе типы.

— Зналъ бы, напередъ женился,—смѣются каторжане.

Все это мало внушаетъ каторгѣ мысль о справедливости наказанія, которое они несутъ.

Одинъ изъ кандальныхъ, въ бесѣдѣ глазъ на глазъ, убѣждалъ меня, что ему необходимо бѣжать. И какъ я его ни разговаривалъ, стоялъ на своемъ:

— Невмоготу мнѣ!

— Ну, послушай. Будемъ говорить прямо. Тяжко наказаніе, это—вѣрно. Но вѣдь ты же его заслужилъ. Вѣдь ты же въ полчаса пять человѣкъ топоромъ убилъ. Вѣдь должна же быть на свѣтѣ справедливость!

— Такъ! А тутъ есть, которые не по пяти, а по восьми человѣкъ рѣзали и живутъ на волѣ, а не въ кандальной, потому что за ними жены пришли. И выходитъ, стало-быть, что я не потому въ кандальной сижу, что пять душъ загубилъ, а потому, что я холостой. Вонъ хоть тотъ же Кейзеръ, взять, барином живетъ. А другой, супротивъ его, половины не сдѣ-

лалъ, — въ кандальной сидитъ. Потому только, что мастерства не знаетъ. Гдѣ же здѣсь справедливость!

Что тутъ станешь говорить?

Прослѣдимъ, однако, дальнѣйшую карьеру каторжника.

Отсидѣвъ свою „испытуемость“ въ кандальной, докончивъ свой срокъ въ вольной тюрьмѣ или вольной командѣ, каторжанинъ выходитъ въ поселенцы.

Строитъ гдѣ-нибудь въ глухой тайгѣ „домъ“, въ которомъ и жить-то нельзя, домъ „для правовъ“, потому что каждый поселенецъ, какъ я уже упоминалъ, долженъ заняться „домоустройствомъ“, иначе не получитъ крестьянства. Промаявшись впроголодь пять лѣтъ, поселенецъ перечисляется въ „крестьяне изъ ссыльныхъ“ и получаетъ право выѣзда „на материкъ“. Мечта сбылась! Онъ ѣдетъ съ проклятаго острова въ Сибирь, которая кажется ему раемъ.

Тамъ онъ долженъ пробыть 12 лѣтъ и, по истеченіи ихъ, имѣетъ право вернуться на родину.

Такимъ образомъ, даже „вѣчный каторжникъ“, со скидкою по манифестамъ, со скидками за тяжкія работы, можетъ надѣяться, что хоть черезъ 35—37 лѣтъ, но онъ вернется на родину.

Къ сожалѣнію, такихъ счастливцевъ очень немного.

Пожизненной каторги у насъ нѣтъ.

Пожизненная каторга существуетъ, — и вы это ясно прочтете при входѣ въ любую кандальную тюрьму, въ спискѣ содержащихся каторжниковъ:

— Такой-то. Срокъ: 15 лѣтъ + 10 лѣтъ + 20 лѣтъ + 15 лѣтъ.

Что за страшные плюсы!

Есть каторжники, которымъ, въ общей сложности, надо отбыть 70 лѣтъ. Этимъ ужъ никогда не вырваться отсюда. У этихъ ни на что нѣтъ надеждъ.

Этими страшными плюсами для всякаго, имѣющаго глаза, написано на дверяхъ кандальной тюрьмы:

— Lasciate ogni speranza voi che intrate...

Откуда же получаются эти „плюсы“? Это все — результаты „бѣговъ“.

Страшны не тѣ сроки, на которые присылаютъ каторжанъ, ужасъ вселяютъ тѣ сроки, которые они „наживаютъ“ себѣ здѣсь.

Часто человѣкъ, присланный на 6 лѣтъ, „наживаетъ“ себѣ 40.

Бѣжитъ,—ловятъ, набавляютъ. Надежды еще меньше; снова бѣжитъ, — снова ловятъ, снова надбавка. Надежды ужъ никакой. Человѣкъ бѣжитъ, бѣжитъ, — „копитъ“ срокъ. Плюсы растутъ растутъ.

Бывали случаи, что бѣжали даже изъ лазарета, чуть не умирающіе. Сквозь густо сросшіяся вѣтви кустарника, чрезъ непроходимую тайгу, карабкаясь въ валежникѣ, бѣжалъ человѣкъ, не человѣкъ, а полутрупъ, съ ужасомъ въ гаснущемъ взорѣ.

Изъ этого бѣглаго очерка, что такое каторга, вы поняли, быть-можетъ, отчасти, что заставляетъ этихъ людей бѣжать, набавлять себѣ срокъ, отягчать участь.

Бѣгутъ отъ ужаса...

Тачечники.

Кто правитъ каторгой?

Представьте себѣ такую картину. Кто-нибудь заболѣлъ, и нужно прибѣгнуть къ трудной операціи.

Созывается консиліумъ. Иногда выписываются даже знаменитости. Ученые доктора долго совѣщаются, толкуютъ, какую сдѣлать операцію, какъ ее сдѣлать, какія могутъ быть послѣдствія. И когда все обсудятъ и рѣшатъ, берутъ и уходятъ, а самую операцію поручаютъ сдѣлать сторожу.

— Но это невозможно!

— Но это на Сахалинѣ такъ и дѣлается.

Человѣкъ совершилъ преступленіе. Два ученыхъ юриста, прокуроръ и защитникъ, взвѣшиваютъ каждую мелочь свидѣ-

тельскихъ показаній, какъ онъ совершилъ преступленіе, почему, что это за человѣкъ. Иногда вызываются даже эксперты-психіатры, которые изслѣдуютъ не только здоровье подсудимаго, но и освѣдомляются о здоровьѣ всѣхъ его родственниковъ по восходящей линіи. Если подсудимый признается виновнымъ, — три ученыхъ юриста совѣщаются, обдумываютъ: какое къ нему примѣнить наказаніе, въ какой мѣрѣ.

А самое наказаніе, долженствующее, — девизъ Сахалина! — „возродить преступника", самое это „возрожденіе" поручается цѣликомъ надзирателю изъ отставныхъ солдатъ или изъ ссыльно-каторжныхъ.

Это именно такъ. Отъ надзирателей зависитъ не только судьба ссыльно-каторжныхъ, но и примѣненіе къ нимъ манифестовъ. Манифесты, сокращающіе сроки наказаній, примѣняются къ тѣмъ, кто заслуживаетъ этого своимъ добрымъ поведеніемъ. О поведеніи ссыльно-каторжныхъ судятъ по штрафнымъ журналамъ. А въ штрафные журналы вписываются наказанія, которыя налагаются надзирателями и никогда не отмѣняются смотрителями тюремъ.

— Это подорветъ престижъ надзирателя въ глазахъ каторги. Какъ же онъ потомъ будетъ съ ней управляться?

На Сахалинѣ больше, чѣмъ гдѣ-либо, помѣшаны на „престижѣ" и понимаютъ его къ тому же въ высшей степени своеобразно.

Обладаютъ ли эти надзиратели, добрая половина которыхъ состоитъ изъ бывшихъ каторжниковъ, достаточными нравственными качествами, чтобъ имъ можно было всецѣло ввѣрять судьбу людей?

При мнѣ, на моихъ глазахъ, никто изъ надзирателей не бралъ съ арестантовъ взятки. То-есть, я никогда не видалъ, чтобы арестантъ передавалъ надзирателю изъ рукъ въ руки деньги. Но, посѣщая надзирателей, я часто спрашивалъ:

— Откуда у васъ вотъ это? Откуда вотъ то-то?

И часто получалъ отвѣтъ:

— Въ тюрьмѣ подарили... Арестантъ у насъ есть такой, онъ сработалъ.

Нѣсколько разъ, въ то время какъ я въ тюрьмѣ присутствовалъ при арестантской игрѣ въ карты, входили надзиратели.

— Ну, чего собрались? Разойдитесь! — говорилъ надзиратель, проходя между нарами и рѣшительно не замѣчая разбросанныхъ въ изобиліи картъ.

— Пошелъ на свое мѣсто! — говорилъ онъ банкомету, тюремному шулеру, и не видѣлъ, что тотъ тасуетъ въ это время передъ его носомъ колоду картъ. Вѣроятно, не видѣлъ потому что не дѣлалъ даже замѣчанія.

Арестантскія дорожныя работы.

Когда мнѣ нужно было узнать, кто въ такой-то тюрьмѣ майданщикъ, т.-е. торгуетъ водкой и даетъ для игры карты, я всегда обращался съ вопросомъ къ надзирателямъ, и они указывали мнѣ всегда безошибочно.

Иногда арестанты потихоньку жаловались мнѣ, что такой-то тюремный главарь, арестантъ изъ породы „Ивановъ“, обижаетъ ихъ, вымогаетъ отъ нихъ послѣднія деньги. И когда я указывалъ на это надзирателямъ, я слышалъ всегда одинъ и тотъ же отвѣтъ:

— Да что же, ваше высокоблагородіе, намъ съ нимъ дѣлать? Человѣкъ отчаянный, чуть что, — сейчасъ ножъ въ бокъ. Нешто онъ остановится? Ну, и молчимъ.

Мнѣ нужно было разыскать интереснаго каторжника Я. Справился въ тюремной канцеляріи: значится рабочимъ на паровой мельницѣ. Но сколько я туда ни ходилъ, когда я туда ни заходилъ, одинъ отвѣтъ:

— Нѣтъ его сейчасъ. Должно, куда вышелъ!

Наконецъ, меня избавилъ отъ этихъ безполезныхъ скитаній надзиратель:

— Да вы, ваше высокоблагородіе, пойдите въ тюрьму. Онъ тамъ. На мельницѣ онъ никогда не бываетъ.

— Да вѣдь онъ значится рабочимъ!

— Работать за себя онъ нанимаетъ другого арестанта. А самъ весь день въ тюрьмѣ. Ему оттуда отойти нельзя.

— Что жъ онъ тамъ дѣлаетъ?

— „Отечествомъ“ занимается!

(„Отецъ“ на арестантскомъ языкѣ — ростовщикъ, „отечество“ — ростовщичество).

Я. приговоренъ за убійство съ цѣлью грабежа. Я узналъ, кто отбываетъ за него каторжныя работы по 5 копеекъ въ день, — оказалось, мужиченка, приговоренный за убійство во время драки.

— О праздникѣ было. Пьянъ былъ, не помню. Можетъ, я билъ, можетъ, — не я. Гурьбой насъ присудили.

У него есть своя урочная работа, которую онъ исполняетъ, а остальное время (паровая мельница работаетъ не весь день) отбываетъ чужую каторгу по пятаку въ день.

— Жрать тоже хочется.

— Да ужъ больно дешево!

— Самъ знаю, что дешево. Да ужъ больно я задолжалъ Г. Что хочетъ, то и платитъ!

Онъ долженъ П. три рубля: П. далъ ему какъ-то бутыль водки, которую и засчиталъ въ три рубля.

Такъ несъ этотъ злосчастный двойную каторгу, въ то врем какъ убійца съ цѣлью грабежа обиралъ другихъ каторжан

Въ силу отчасти чувства самосохраненія, отчасти по другимъ побужденіямъ, эти низко стоящіе на нравственномъ уровнѣ и безграмотные надзиратели являются потатчиками именно для худшихъ элементовъ каторги: „Ивановъ“, майданщиковъ, шулеровъ — „игроковъ“, „отцовъ“,— и смѣло можно сказать, что, только благодаря надзирателямъ, эти „господа каторги“ имѣютъ возможность держать въ такой кабалѣ бѣдную, загнанную „шпанку“.

Горный инженеръ о. Сахалина г. М. постоянно жаловался мнѣ, что у него на Владимирскомъ рудникѣ вѣчные „бунты“.

Владимирскій рудникъ.

— Хотѣлось бы хоть одинъ рудникъ устроить какъ слѣдуетъ! А вотъ пойдите же, не даютъ! Вѣчныя исторіи.

— Но вѣдь у васъ два рудника, въ которыхъ работаютъ каторжане: Владимирскій и Александровскій. Въ Александровскомъ бунтовъ не бываетъ?

— Въ Александровскомъ — нѣтъ.

Богъ знаетъ, словно какой-то особенный сортъ каторжныхъ! Какая-то прямо тайна. Тайна, впрочемъ, обнаружилась очень просто.

За нѣсколько дней до моего отъѣзда съ Сахалина г. М. объявилъ мнѣ при встрѣчѣ:

— На Владимирскомъ рудникѣ бунтъ. На этотъ разъ ужъ совсѣмъ настоящій бунтъ. Не хотятъ грузить пароходъ! Я буду требовать для усмиренія солдатъ! Пусть этихъ негодяевъ перепорютъ.

Дѣло, къ счастью, какъ-то уладилось безъ порокъ и усмиренія: японскій пароходъ „Яеяма-Мару“ былъ нагруженъ углемъ, и я благополучно отплылъ на немъ съ Сахалина. Дорогой сопровождающій грузъ угля похвастался мнѣ:

— Какъ скоро нагрузили! А? Пароходъ зафрахтованъ у японцевъ посуточно. Какую я экономію сдѣлалъ, нагрузивъ его такъ скоро!

Похвастаться, дѣйствительно, было чѣмъ: пароходъ былъ нагруженъ изумительно быстро.

— Но какъ же вы это сдѣлали?

— Тамъ человѣчекъ одинъ есть, надзиратель, удивительно ловкій и дѣльный малый. Я ему далъ красненькую, онъ и заставилъ каторжанъ приналечь. И въ рабочіе и не въ рабочіе часы грузили. Вѣдь отъ него все зависитъ. Тутъ на Сахалинѣ все отъ надзирателей зависитъ.

Вотъ гдѣ была причина Владимирскихъ „бунтовъ“.

На томъ же Владимирскомъ рудникѣ интересенъ другой надзиратель, Кононбековъ, изъ бывшихъ каторжниковъ. Онъ—кавказецъ, сосланъ за убійство въ запальчивости, во время ссоры.

— Пустая ссора была! — улыбаясь говоритъ красавецъ Кононбековъ. — Да я шибко горячій кровь имѣю.

На Сахалинѣ онъ герой: онъ убилъ бѣглаго каторжника Пащенка. За Пащенкомъ числилось 32 убійства. Его побѣгъ изъ кандальной тюрьмы, съ откованіемъ отъ тачки, повергъ въ ужасъ весь Сахалинъ. Кононбековъ его застрѣлилъ, и надо видѣть, съ какимъ наслажденіемъ разсказываетъ Кононбековъ, какъ онъ убивалъ. Какъ горятъ при этомъ его глаза.

— Шелъ вотъ тутъ по горкѣ. Ружье имѣлъ. Ходилъ, нѣтъ ли бѣглыхъ! Я горкой иду, а внизу шу-шу-шу въ кустахъ. Я приложился,—трахъ! Только вскрикнуло. Изъ кустовъ человѣкъ побѣгъ. Я думалъ, промахъ давалъ. Бросился въ кусты, а тамъ человѣкъ корчится. Какъ попалъ! Голову насквозь! А изъ него кровь, кровь, кровь...

Бѣжавшій изъ кустовъ былъ товарищъ Пащенка, Широколобовъ.

— Какъ же ты такъ и стрѣлялъ безъ предупрежденія? Ни слова не говоря?

— Зачѣмъ говорить? Прямо стрѣлялъ!

— И ты часто ходишь такъ?

— Каждый день хожу: нѣтъ ли бѣглыхъ? Бѣглый—стрѣлять. Словно на охоту!

Арестанты на работѣ.

Интересенъ уголокъ, въ которомъ живетъ Кононбековъ. Идеальной чистоты кровать. Надъ кроватью лубочныя картины: охота на тигра, левъ, раздирающій антилопу, сраженіе японцевъ съ китайцами. Издали — одни красныя пятна. Кровь на картинахъ такъ и льетъ ручьемъ.

— Покупалъ?

— Покупалъ. Самыя мои любимыя картины.

— О чемъ тамъ толкуетъ Кононбековъ съ арестантами? — спросилъ я какъ-то надзирателя, берущаго по 10 рублей за „скорую нагрузку".

— О чемъ ему больше разговаривать! Разсказываетъ, небось, какъ онъ „у себя на Кавказѣ" убилъ или какъ Пащенка застрѣлилъ. Больше онъ ни о чемъ не говоритъ. Пустой человѣкъ! — махнулъ рукой практичный надзиратель.

У этого Кононбекова какая-то манія къ убійству, къ крови.

И подъ руководствомъ такихъ-то людей должно совершаться нравственное „возрожденіе" ссыльныхъ!

Въ ихъ рукахъ судьба каторги.

— Но чего же смотрятъ гг. сахалинскіе служащіе?

Нужно прежде всего знать, изъ кого на девять десятыхъ состоитъ контингентъ этихъ служащихъ.

Первымъ служащимъ, котораго я встрѣтилъ на Сахалинѣ, былъ нѣкто г. Б., знакомый мнѣ еще по Москвѣ.

Подъѣзжая на катерѣ къ Корсаковску, я увидалъ на пристани человѣка въ нагольномъ тулупѣ и форменной фуражкѣ, который кричалъ, топалъ ногами и сквернословилъ самымъ невѣроятнымъ образомъ передъ толпой каторжанъ. Кажется Б.! Неужели это онъ?!

Давно не видавшись, мы заключили другъ друга въ объятія.

— Ты? Здѣсь? На Сахалинѣ?

— А гдѣ жъ ты меня еще надѣялся видѣть? — расхохотался г. Б.

Г. Б. когда-то имѣлъ свѣчной заводъ; разорился. Затѣмъ издавалъ три газеты одновременно, собирался въ экспедицію съ Ашиновымъ, служилъ въ становыхъ, судился за двоеженство и высидѣлъ долгій срокъ за буйство и избіеніе.

На Сахалинъ онъ попалъ начальникомъ тюрьмы.

Можете себѣ представить, чего долженъ надѣлать человѣкъ такого нрава и такихъ понятій о законности, очутившись здѣсь, среди лишеннаго всѣхъ правъ населенія.

— Вѣдь кто сюда пріѣзжаетъ! Кто пріѣзжаетъ! — говорилъ мнѣ г. Б. въ минуту откровенности. — Здѣсь, гдѣ именно нужно „возродить" человѣка, преступника обратить въ мирнаго кол-

ниста, тутъ нужны лучшіе люди. А кто ѣдетъ? Всѣмъ намъ — одна цѣна: хорошо еще, что попали сюда въ качествѣ только служащихъ. Ѣдутъ сюда люди, въ родѣ меня, которые тамъ оказались ни на что непригодными! Хорошо еще, если такіе люди умѣютъ, какъ я, только драться...

Онъ самъ съ хвастовствомъ разсказывалъ мнѣ про способы „исправленія“ преступныхъ натуръ.

— Привели ко мнѣ кавказца. Супротивникъ, — какъ что замѣтитъ, что, по его мнѣнію, „не по правдѣ“, — сейчасъ на дыбы. Всѣ его боялись. А я, ни слова не говоря, разъ его въ зубы, разъ...

Исторія такого „начальствованія“ г. Б. была очень печальна для каторги и кончилась печально для него: г. Б. попалъ подъ судъ за какіе-то „недочеты“ и за то, что высѣкъ, вопреки докторскому протесту, арестанта-эпилептика, вслѣдствіе болѣзни по закону освобожденнаго отъ тѣлесныхъ наказаній.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что слово „законъ“, какъ я уже упоминалъ, приводитъ такихъ господъ въ изступленіе, прямо невѣроятное.

— Законъ... — упоминаетъ каторжникъ.

— А?! Ты бунтовать! — топаетъ ногами служащій.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что на Сахалинѣ нѣтъ слова болѣе ругательнаго, чѣмъ слово „гуманный“.

Мы бесѣдовали какъ-то съ однимъ сахалинскимъ землемѣромъ объ одномъ изъ докторовъ.

— Гуманный человѣкъ! — отозвался землемѣръ.

— Вотъ, вотъ! — обрадовался я, что нашелъ единомышленника. — Не правда ли, именно гуманный человѣкъ!

— Вѣрно! Гуманный. Гуманничаетъ только. А нешто съ каторгой такъ можно? Вообще, не человѣкъ — а дрянь!

Мы говоримъ на разныхъ языкахъ.

Гуманничаетъ! — это слово звучитъ полупрезрѣніемъ, полуобвиненіемъ въ томъ, что человѣкъ „распускаетъ каторгу“, и для сахалинскаго служащаго нѣтъ обвиненія страшнѣе, какъ то, что онъ „гуманничаетъ“.

— Откуда они взяли, будто я какой-то „гуманный“! — оправдываются эти добрые люди.

Г. Б. былъ первымъ служащимъ, съ которымъ я столкнулся на Сахалинѣ. Послѣднимъ изъ служащихъ, съ которымъ мнѣ пришлось столкнуться при отъѣздѣ съ Сахалина, былъ г. П. Ко мнѣ явилась его жена:

— Похлопочите, чтобъ и насъ взяли во Владивостокъ на японскомъ пароходѣ.

— А вы развѣ уѣзжаете?

— Мужа выгнали со службы.

— За что?

— Глупость сдѣлалъ.

— А именно?

— Надъ дѣвочкой сдѣлалъ насиліе. Теперь подозрѣвается.

О высотѣ нравственныхъ понятій этихъ господъ можете судить хотя бы по слѣдующему случаю. Одно офиціальное лицо, посѣтившее Сахалинъ, осматривало карцеры Александровской тюрьмы.

— Ты за что наказанъ? — обратился онъ къ одному изъ сидѣвшихъ по темнымъ карцерамъ.

— За отказъ быть палачомъ.

— Вѣрно?—спросило лицо у сопровождавшаго его помощника начальника тюрьмы.

— Такъ точно-съ. Вѣрно. Я приказалъ ему исполнять обязанности палача, а онъ ослушался, не захотѣлъ.

„Лицо", извѣстное и въ наукѣ своими просвѣщенными и гуманными взглядами, конечно, не могло прійти въ себя отъ изумленія.

— Какъ? Вы наказываете человѣка за то, что онъ проявилъ хорошія наклонности? Не захотѣлъ быть палачомъ? Да понимаете ли вы, что вы дѣлаете?!

Понимаютъ ли они, что они дѣлаютъ!

Продрогшій, иззябшій, я однажды поздно вечеромъ вернулся къ себѣ домой въ посту Корсаковскомъ.

— Рюмку водки бы! Погрѣться.

— Водки нѣтъ! — отвѣчала моя квартирная хозяйка, ссыльно-каторжная, — но можно купить.

— Гдѣ же теперь достанешь? „Фондъ" запертъ.

— А можно достать у...

Она назвала фамилію одного изъ служащихъ.

— Да неужто онъ торгуетъ водкой?

— Не онъ, а его лакей Маметка, изъ каторжанъ. Да это все равно: Маметка отъ него торгуетъ.

На Сахалинѣ ни одному слову не слѣдуетъ вѣрить. Во всемъ нужно убѣдиться своими глазами. Я надѣлъ арестантскій халатъ и шапку и вмѣстѣ съ поселенцемъ, работникомъ моихъ хозяевъ, отправился за водкой.

Мы подошли къ дому служащаго. Поселенецъ постучалъ въ окно условнымъ образомъ. Дверь отворилась, и показался татаринъ Маметка.

— Чего нужно?

— Водочки бы.

— А это кто? — спросилъ Маметка, разглядѣвъ мою фигуру.

— Товарищъ мой.

Маметка, разсмотрѣвъ въ темнотѣ длинный арестантскій халатъ и шапку блиномъ, успокоился.

— Сейчасъ,

Онъ вынесъ бутылку водки:

— Два цѣлковыхъ.

Водка оказалась отвратительнымъ, разбавленнымъ водой спиртомъ.

На слѣдующій день я сдѣлалъ визитъ этому служащему, очень много разспрашивалъ его о житьѣ-бытьѣ, попросилъ показать квартиру и въ спальнѣ увидалъ цѣлую батарею такихъ же точно бутылокъ, какъ я купилъ наканунѣ.

Арестантскіе типы.

— Однако, вы живете съ запасцемъ! — улыбнулся я.

— Да, знаете! Пріятели иногда заходятъ. Держу на всякій случай.

Черезъ годъ этотъ служащій былъ уволенъ со службы, и именно за продажу водки поселенцамъ и каторгѣ: при провѣркѣ книгъ „фонда“,— а кромѣ лавки казеннаго „колонизаціоннаго фонда“, спирта на Сахалинѣ купить негдѣ,— оказалось, что этотъ служащій забираетъ спирту столько, что на этомъ спирту можно бы вскипятить цѣлую рѣку!

— А вы соболей много накупили? — спрашивали меня служащіе на Сахалинѣ и ихъ супруги. — Совсѣмъ не покупаете? Вотъ это странно!

Покупка соболей сильно распространена между сахалинскими служащими.

Охота на соболей — почти единственное подспорье ссыльно-поселенцевъ въ ихъ голодномъ быту. И гг. служащіе обыкновенно покупаютъ собольи шкурки за квитанціи.

Водку и спиртъ на Сахалинѣ могутъ покупать только лица свободнаго состоянія, т.-е. служащіе. Но посылать за ней они могутъ кого угодно съ „квитанціей“, запиской:

„Прошу отпустить посланному изъ фонда бутылку водки (или спирта) для меня. Такой-то".

Квитанцій такихъ можно выдавать сколько угодно. Квитанціи эти въ большомъ ходу среди каторжанъ и поселенцевъ и отлично замѣняютъ деньги. Рыночная ихъ стоимость, обыкновенно,— полтинникъ. Квитанція — это право купить, или, какъ на Сахалинѣ говорятъ, „выкупить бутылку водки". Это „право" продаютъ между собой и покупаютъ поселенцы и каторжане. На Сахалинѣ даже милостыню просятъ такъ:

— Ваше высокоблагородіе! Будьте благодѣтелемъ! Напишите квитанцію!

Гг. служащіе расплачиваются съ поселенцами квитанціями. Курсъ: соболья шкурка—квитанція. Такимъ образомъ, гг. служащимъ соболи приходятся совершенно даромъ, а поселенцы затѣмъ продаютъ эти квитанціи по полтиннику тѣмъ, кто хочетъ купить себѣ водки.

Иначе никто изъ служащихъ на Сахалинѣ соболей и не покупаетъ.

— Да вѣдь, значитъ, вы даромъ соболей у нихъ берете?

— Мнѣ-то даромъ, а онъ за квитанцію деньги получитъ.

— Конечно, сахалинскія мастерскія, это—одна „затѣя"! Но знаете, при желаніи, и онѣ недурно работать могутъ. Видѣли коляску у Х.? Обратите вниманіе на обстановку у У. Все — работа сахалинскихъ мастерскихъ!—говорили мнѣ еще во Владивостокѣ.

— Да-съ! Было времечко, да сплыло! — со вздохомъ мнѣ говорилъ по этому случаю смотритель одной изъ тюремъ. — Работали у насъ въ мастерскихъ и иногда хорошо работали: среди нихъ всякій народъ попадается. Да теперь „фактическій контроль" устроили. Контролеровъ понаслали,—все учитываютъ: сколько рабочихъ часовъ ушло, сколько матеріалу. Только на казну мастерскія и работаютъ. Ну, конечно, себѣ благопріятелямъ тоже въ мастерскихъ все велишь дѣлать; но чтобъ на продажу изготовлять, — нѣтъ, ужъ шабашъ! Трудно.

— Ну, хорошо. Казна ихъ обувала, одѣвала, кормила мастеровъ, которые на васъ работали. А сами-то они отъ васъ что-нибудь получали?

— Они-то? За что? Развѣ ему не все равно, на кого свои работы отбывать: на казну или на меня?

Ко всему этому слѣдуетъ прибавить еще одно. На Сахалинѣ очень распространенъ обычай брать женскую прислугу.

Изъ 260 ссыльно-каторжныхъ женщинъ въ Александровскомъ округѣ въ 1894 году— ровно половина числилась „одинокими", въ услуженіи у гг. служащихъ.

Тюремные склады въ селеніи Рыковскомъ.

Принимая во вниманіе все это, вы поймете, что гг. служащіе не могутъ пользоваться въ глазахъ каторги именно тѣмъ „престижемъ“, о которомъ гг. служащіе такъ хлопочутъ.

— Ужасные черти!—жаловался мнѣ на каторгу помощникъ смотрителя Рыковской тюрьмы. — Никакого уваженія! Можете себѣ представить, иначе какъ на „ты“ со мной и не разговариваютъ! Да вы сами слышали!

Первое посѣщеніе всякой тюрьмы, которое я дѣлалъ, изъ любезности, со смотрителемъ, всегда оставляетъ ужасное впечатлѣніе.

Каторжане тутъ же, при немъ, ему въ глаза, начинаютъ „докладывать“ вамъ обо всѣхъ его штукахъ и продѣлкахъ. Вы напрасно протестуете:

— Да я не начальство! Это меня не касается!

— Нѣтъ, вы, ваше высокоблагородіе, послушайте!

И они отдѣлываютъ человѣка, отъ котораго зависитъ вся ихъ жизнь, вся ихъ судьба, не стѣсняясь въ выраженіяхъ, ругательски его ругая.

Смотритель-бѣдняга только переминается съ ноги на ногу, словно стоитъ на горячихъ угольяхъ.

— Пойдемте-съ!

Послѣ онъ, можетъ-быть, съ этими обличителями и разочтется, но теперь „принять мѣры для поддержанія престижа“, при постороннемъ человѣкѣ, стѣсняется. А возразить?

Что онъ возразитъ, когда все, что говоритъ каторжанинъ, я только что слышалъ въ домѣ одного изъ его сослуживцевъ и услышу во всякомъ домѣ, куда пойду!

Если эта служащая сахалинская мелкота презираетъ и ненавидитъ каторгу, то и каторга ее презираетъ и ненавидитъ.

Это и заставляетъ гг. сахалинскихъ служащихъ держаться насторожѣ и вдалекѣ отъ каторги, полной ненависти и презрѣнія, заниматься только хозяйственными дѣлами, а весь распорядокъ, весь внутренній строй каторги оставлять цѣликомъ въ рукахъ надзирателей, которые и являются настоящими, полными, безконтрольными „хозяевами каторги“.

Гг. сахалинскіе служащіе раздѣляются на двѣ категоріи. Сибиряки, забайкальцы, — „чалдоны“, какъ зовутъ ихъ каторжане, — и служащіе „россійскаго навоза“.

Послѣднее выраженіе отнюдь не слѣдуетъ понимать, как что-нибудь оскорбительное, ругательное. „Россійскаго навоза“ это — выраженіе, выдуманное для себя гг. служащими, так сказать, изъ аристократизма, для отличія отъ каторжанъ. Ар стантовъ на Сахалинъ „сплавляютъ“, а служащихъ на Сах линъ „навозятъ“. Поэтому у каторжанъ спрашиваютъ:

— Ты какого сплава?

Партія арестантовъ на работѣ.

— Весенняго или, тамъ, осенняго, такого-то года.

А гг. служащіе между собой разговариваютъ такъ:

— Вы какого навоза?

— Я навоза такого-то года.

„Чалдоны", забайкальцы, пріѣзжающіе на службу на Сахалинъ, сами про себя говорятъ, что они „на каторгѣ выросли".

— Меня, братъ, не проведешь! Я самъ подъ нарами выросъ!—съ гордостью говоритъ про себя „чалдонъ", смотритель тюрьмы.

По большей части это — тюремщики во второмъ, третьемъ поколѣніи. Дѣдъ былъ смотрителемъ каторжной тюрьмы, отецъ и онъ „смотрительствуетъ".

— Каторга въ меня съ дѣтства въѣлась! Я самъ каторжникъ! Меня каторга не проведетъ! Я не баринъ - бѣлоручка россійскаго навоза! — хвастаютъ „чалдоны".

И если бы не было „форменныхъ отличекъ", вы, разговаривая съ такимъ господиномъ, ни за что бы не разобрали, да съ кѣмъ же вы, наконецъ, говорите: съ каторжаниномъ или служащимъ.

Они говорятъ на томъ же каторжномъ языкѣ: „пришить" вмѣсто „убить", „фартъ" вмѣсто „счастье", „жуликъ"—„ножъ" и т. д.

— Онъ просто пришить бороду (обмануть) хотѣлъ, да побоялся, что тотъ свезетъ тачку (донесетъ), ну, онъ его жуликомъ и пришилъ. Такой ужъ тому фартъ!

Разберите, кто это говоритъ, каторжанинъ или служащій изъ „чалдоновъ"? Это разсказъ одного изъ смотрителей тюрьмы.

У нихъ и термины каторжные и взгляды, заимствованные у каторги.

Когда эти люди берутся за благоустройство о. Сахалина, выходитъ или одинъ смѣхъ, въ родѣ тоннеля, при проведеніи котораго партіи, рывшія тоннель съ обоихъ концовъ, разошлись въ горѣ въ разныя стороны, или ужасъ въ родѣ Онорскихъ работъ.

Да ничего другого и получиться не можетъ, когда за проведеніе дороги берутся забайкальцы,—люди, никогда въ глаза не видавшіе даже шоссейной дороги и не знающіе, что это за чудище.

Выросши среди каторги, „чалдоны", въ противоположность служащимъ „россійскаго навоза", чувствуютъ себя на Сахалинѣ спокойно и отлично. Они занимаются себѣ хозяйственными дѣлами и умѣютъ все для себя очень недурно устроить.

— У меня даже арбузы бываютъ! — хвалится передъ вами „чалдонъ". — Каторжане мнѣ оранжерейку построили!

„Чалдонъ“-смотритель, желая передъ вами похвалиться своею „дѣятельностью“, прежде всего ведетъ васъ показать свою квартиру, а затѣмъ обращаетъ ваше вниманіе на дома другихъ служащихъ:

— Все я построилъ! Каковы палаты соорудилъ? Ась? Какія удобства!

— Да это все заботы о служащихъ. А каторга-то, каторга какъ у васъ?

— Каторга?! Съ каторгой справляются надзиратели! Повѣрьте мнѣ, батенька, съ каторгой лучше надзирателя никто

Рудникъ.

не справится. Только мѣшать ему не нужно. У меня надзиратели на подборъ. Все изъ каторжанъ. Онъ самъ каторжникъ, его каторга не проведетъ.

Произволъ, полнѣйшій произволъ надзирателей не встрѣчаетъ, при такихъ взглядахъ, никакого противодѣйствія со стороны „чалдоновъ“. Дореформенное Забайкалье — плохая школа для порядка и законности.

Служащіе „россійскаго навоза“, это, какъ я уже говорилъ,— по большей части неудачники, люди, потерпѣвшіе крушеніе на всѣхъ поприщахъ, за которыя они хватались, ни къ чему не оказавшіеся пригодными въ Россіи. Они „махнули рукой“ и „махнули“ на Сахалинъ.

Они по большей части пріѣхали сюда, наслушавшись разсказовъ, что на окраинахъ не житье, а масленица, пріѣхали, мечтая о колоссальныхъ „припекахъ“, которые умѣютъ дѣлать на арестантскомъ хлѣбѣ смотрительскіе фавориты — тюремные хлѣбопеки, объ огромныхъ „экономіяхъ“, дѣлаемыхъ при поставкахъ матеріаловъ и т. п. Здѣсь ихъ ждало горькое разочарованіе. Все это „можно“, но далеко не въ такихъ размѣрахъ, какъ грезилось: „фактическій контроль“ мѣшаетъ. Контрольные чиновники во все „носъ суютъ“.

— Я васъ спрашиваю, какая же выгода служить на Сахалинѣ, терпѣть эту каторгу? — спрашиваютъ обыкновенно съ горечью эти господа. — Какая выгода? Увеличенное содержаніе? Такъ и продукты здѣсь, за что ни возьмись, вдвое, втрое дороже? А доходы? Что соболей покупаемъ за квитанціи? Доходъ, нечего сказать! Служишь, служишь, на тысячу рублей соболей вывезешь. Есть, конечно, такіе, что водочкой поторговываютъ. Тѣ хорошій барышъ имѣютъ. Но вѣдь за это и подъ судъ попадешь, нынче все строже и строже. Того, что прежде было, и въ поминѣ нѣтъ. Прислугу изъ каторжанъ берешь, и за ту въ казну плати. То-есть, никакого профиту!

„Всякому лестно“, конечно, пожить бариномъ при крѣпостномъ правѣ, имѣя слугъ и рабочихъ, которыхъ, „въ случаѣ неудовольствія“, приказалъ выдрать или посадить въ тюрьму. Но и эти надежды сбываются плохо.

Среди „оголтѣлаго“, отчаяннаго населенія, — населенія, которому нечего терять, гг. служащіе чувствуютъ себя робко. Къ тому же голодъ заставляетъ это населеніе быть головорѣзами. На Сахалинѣ убійства безпрестанны: убиваютъ за 20 копеекъ и говорятъ, что убили „за деньги“, — такова „порча нравовъ“ вслѣдствіе голода.

И вотъ, съ одной стороны, обманутыя надежды насчетъ „привольнаго житья“, съ другой — вѣчная боязнь каторги, — все это, конечно, вызываетъ въ гг. служащихъ россійскаго навоза очень мало симпатій къ Сахалину и его обитателямъ.

Большинство только „отбываетъ свой срокъ“, ждетъ не дождется, когда пройдутъ три года службы, — только послѣ трехъ лѣтъ можно вернуться съ семьей въ Россію на казенный счетъ. И гг. служащіе, какъ и каторга, только и мечтаютъ о „материкѣ“. Весь Сахалинъ мечтаетъ о материкѣ, клянетъ и проклинаетъ:

— Этотъ островъ, чтобъ ему провалиться сквозь землю!

И какъ люди мечтаютъ! Я гостилъ у одного служащаго которому оставалось всего нѣсколько мѣсяцевъ до конца трехлѣтняго „срока“. У него на стѣнкѣ, около кровати, висѣла табличка съ обозначеніемъ дней. Словно у институтки передъ

выпускомъ. Каждое утро онъ вставалъ и радостно зечеркивалъ одинъ день.

— Девяносто два осталось!

— Да вы какіе дни-то зачеркиваете? Прошедшіе?

— Нѣтъ, наступающій. Такъ скорѣе какъ-то. Все равно,— всталъ, ужъ день начался, можно его зачеркнуть. Веселѣе, что меньше дней остается!

До такого малодушія можно дойти!

Конечно, не отъ такихъ людей можно требовать, чтобъ они интересовались бытомъ каторги, вникали, сообразно съ закономъ, или несообразно ни съ какими законами правятъ надзиратели каторгой.

— А пропади она пропадомъ, вся эта каторга и надзиратели!

На Сахалинъ въ служащіе попадаютъ, конечно, и не плохіе люди. Но это полное безправіе, царящее на островѣ, населенномъ людьми, лишенными „всѣхъ правъ", развращаетъ не только управляемыхъ, но и управляющихъ. У Сахалина есть удивительное свойство необыкновенно быстро „осахалинивать" людей. Жизнь среди тюремъ, розогъ, плетей, какъ чего-то обычнаго, не проходитъ даромъ. И многое, что кажется страшнымъ для свѣжаго человѣка, здѣсь кажется такимъ обычнымъ, заурядднымъ, повседневнымъ.

— Вы куда, господа, идете? — остановила насъ съ докторомъ жена помощника начальника округа, очень милая дама.— Ахъ, арестантовъ пороть будутъ? Такъ кончайте это дѣло скорѣе и приходите, я васъ съ самоваромъ ждать буду.

Меня била лихорадка, въ ожиданіи предстоящаго зрѣлища, а она говорила объ этомъ такъ, словно мы шли въ лавочку папиросъ купить. Сила привычки,— и больше ничего.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что сахалинскія дамы ведутъ престранные, на нашъ взглядъ, салонные разговоры. Вы дѣлаете визитъ супругѣ служащаго, и между вами происходитъ такого рода обмѣнъ мыслей.

— Вотъ вы сами видите каторгу,— говоритъ дама очень любезно.— Согласитесь, что тѣлесныя наказанія для нея необходимы.

— А если бы попробовать...

— Ахъ, нѣтъ! Безъ дранья съ ними ничего не сдѣлаешь. Каторга удивительно какъ распущена. Рѣшительно необходимо, чтобы кого-нибудь, для примѣра другимъ, повѣсили.

— То-есть какъ это? Такъ-таки „кого-нибудь"?

— Да, чтобъ другимъ не повадно было! А то просто боишься за мужа. А вдругъ ножомъ пырнутъ, что это имъ стоитъ?

Тутъ къ привычкѣ присоединяется еще чувство самосохраненія.

Но къ женамъ служащихъ, женщинамъ, по большей части, мало развитымъ, мало образованнымъ, мы не въ правѣ предъявлять особыхъ требованій. Онѣ могутъ имѣть и куриные мозги.

Но на Сахалинѣ „осахалиниваются“ и развитые и образованные люди. Среди осахалинившихся попадаются даже доктора, которые во всей исторіи каторги представляютъ собой свѣтлое исключеніе среди царящихъ кругомъ жестокости и безсердечія.

Какъ вамъ понравятся, напримѣръ, такія вещи въ устахъ *молодого* доктора Давыдова, прослужившаго нѣсколько лѣтъ на Сахалинѣ.

Я цитую его брошюру „О притворныхъ заболѣваніяхъ и другихъ способахъ уклоненія отъ работъ среди ссыльно-каторжныхъ Александровской тюрьмы“, изд. 1894 года.

Болѣзни, которыя докторъ Давыдовъ считаетъ „симулятивными“, слѣдующія: „душевныя, бронхиты, гастро-энтериты, обмороки, вывихи, куриную слѣпоту, общее недомоганіе“.

Говоря о „притворствѣ“ арестантовъ, г. Давыдовъ сообщаетъ:

„Арестанты подставляютъ ноги подъ вагонетки съ грузомъ, падаютъ подъ лошадей или подставляютъ ногу подъ бревно.

„Или же *искусственно* отмараживаютъ себѣ тѣ или другія части тѣла, и отмороженіе наступаетъ быстро и вѣрно, и можетъ достигать любой степени“.

„Одинъ арестантъ не пожелалъ итти на работу, тогда надзиратель сталъ просить его честью, а онъ схватилъ въ правую руку топоръ и отрубилъ себѣ лѣвое предплечье“.

Все это, по мнѣнію доктора Давыдова, случаи „притворства“, и онъ объясняетъ ихъ лѣнью и нежеланіемъ „работать“. И ни разу у этого врача не шевельнется въ сердцѣ и головѣ вопросъ:

„Да что же это за работы, что люди предпочитаютъ отрубать себѣ руки, „искусственно“ отмораживать или „нарочно“ подставлять подъ вагонетку ноги?“

Докторъ Давыдовъ съ гордостью разсказываетъ, какъ онъ боролся съ такими „притворяющимися“.

Считая всѣ случаи душевныхъ болѣзней за одно притворство со стороны арестантовъ, докторъ Давыдовъ прибѣгалъ къ такимъ пріемамъ діагноза.

На Сахалинѣ есть смотритель, поговорка котораго:

— Мое правило *выбить* изъ арестанта за день всѣ съѣденные имъ 3 фунта хлѣба, а если нужно, то и больше.

Арестанты на работѣ.

Когда къ доктору Давыдову приводили душевно-больного арестанта, онъ, угрозами отправить его къ этому смотрителю, узналъ: „душевно-больной арестантъ, или только притворяется“.

Если же это средство не помогало, то Давыдовъ, по его словамъ, прибѣгалъ „къ assafoetida (вонючка) въ большой дозѣ“. И больные, по словамъ г. Давыдова, иногда „заявляютъ“, что имъ лучше, и просятъ даже возобновить лѣкарство“.

„Въ этихъ случаяхъ, — замѣчаетъ докторъ Давыдовъ, — имѣешь дѣло или съ симулянтомъ, который, чтобы прогулять полдня, готовъ глотать всякую пакость, или съ ипохондрикомъ“.

Но еще лучше въ практикѣ этого молодого врача, „для пробы“ пичкавшаго ипохондриковъ „всякой пакостью“, случай слѣдующаго истязанія, которому онъ подвергъ одного „симулянта“.

„Больной, 30 лѣтъ, нога согнута въ колѣнѣ, — разсказываетъ г. Давыдовъ, — два съ половиной года провелъ въ постели, мышцы ноги были атрофированы. Тогда ему *насильно* выпрямили ногу, мышцы стали оживляться, но больной стоять не могъ. Его выписали изъ больницы, и онъ упалъ у подъѣзда. Больного отнесли въ тюрьму, и никакими наказаніями и лишеніями нельзя было заставить его ходить“. Тогда г. Давыдовъ прибѣгъ „для опыта“ къ слѣдующему способу. „Больному объявили, что отрѣжутъ ногу, приготовили его къ операціи, уложили на столѣ, разложили передъ нимъ всѣ пилы и ножи, какіе имѣлись въ лазаретѣ, и захлороформировали...“

Хлороформированіе безъ надобности — преступленіе. И въ какой же степени долженъ былъ „осахалиниться“ этотъ „молодой врачъ“, чтобы считать преступленіе чѣмъ-то обыденнымъ, законнымъ, должнымъ, хвастаться имъ въ своемъ „научномъ“ трудѣ!

Этотъ докторъ, по его собственному признанію, подвергавшій пыткамъ больныхъ, — типичное указаніе, какъ „осахаливаетъ“ Сахалинъ даже образованныхъ и, казалось бы, развитыхъ людей.

Конечно, не отъ такихъ господъ можетъ ждать каторга защиты отъ надзирательскаго произвола!

Есть еще одна, можетъ-быть, самая страшная для каторги категорія служащихъ, это — неисправимые трусы. Всѣ служащіе, какъ я уже говорилъ, „побаиваются каторги“, и совершенно естественно человѣку чувствовать себя „не по себѣ“ среди каторжанъ, но есть люди, у которыхъ эта боязнь доходитъ, положительно, до геркулесовыхъ столбовъ. Сколько бы они ни служили на Сахалинѣ, они не могутъ преодолѣть своей „боязни каторги“.

Партія арестантовъ передъ входомъ въ рудникъ.

Изъ такихъ обыкновенно выходятъ наиболѣе жестокіе тюремщики. Жестокость — родная сестра трусости. Бывшій сахалинскій смотритель тюрьмы, нѣкто Ф., котораго начальство въ офиціальныхъ бумагахъ аттестовало „трусомъ", „человѣкомъ робкимъ", „человѣкомъ, боявшимся каторжниковъ".—этотъ смотритель такъ живописалъ затѣмъ въ „Одесскомъ Листкѣ" свои подвиги на Сахалинѣ.

Арестанты, работающіе въ рудникахъ и желающіе бѣжать, остаются обыкновенно въ рудникахъ. Въ рудникѣ человѣка не поймаешь, и начальство обыкновенно ограничивалось тѣмъ, что ставило на ночь караулъ у всѣхъ выходовъ штоленъ. Караулъ стоялъ нѣсколько ночей, а затѣмъ отмѣнялся, — не вѣкъ же ему стоять! И тогда арестанты ночью выходили изъ рудника и удирали. Ф. выдумалъ такое „средство". Когда двое арестантовъ осталось въ рудникѣ, онъ на ночь не поставилъ караула, а спряталъ его въ кустахъ, съ приказаніемъ, какъ только бѣглые выйдутъ, ихъ убить. Бѣглые поддались на удочку: не видя конвоя, они ночью вышли, и конвой стрѣлялъ. Одинъ изъ бѣглыхъ былъ убитъ на мѣстѣ, и Ф. приказалъ не убирать трупа:

— Вмѣсто двора тюрьмы, гдѣ обыкновенно производится раскомандировка арестантовъ на работу, я производилъ ее около рудника, чтобы арестанты, видя неубранный трупъ товарища, поняли, что прежній способъ бѣгства больше не существуетъ.

Засада, убійство, неубранный трупъ, — жестокость, на которую только и способенъ трусъ. Трусъ, мстящій за то униженіе, которое онъ испытываетъ, боясь каторги.

Другіе „робкіе люди", если не отличаются жестокостью, то попадаютъ цѣликомъ въ руки надзирателей, что для каторги тоже не легче.

Таковъ, напримѣръ, былъ горный инженеръ М., о которомъ я уже говорилъ. Очень добродушный и даже милый человѣкъ по натурѣ, онъ чувствовалъ непреодолимую боязнь къ арестантамъ.

Я не забуду никогда тѣхъ отчаянныхъ воплей, которые онъ издавалъ, когда мы ползли въ рудникѣ по параллелямъ и когда надзиратель скрывался хоть на секунду за угломъ штрека.

— Надзиратель! Надзиратель! — вопилъ бѣдняга-инженер , словно каторжники ужъ бросились на него со своими койл - ми. — Надзиратель! Гдѣ ты? Не смѣй отъ меня отдаляться!

— Ровно звѣри мы! — разсказывали про него каторжане. — Подойти къ намъ боится. Все черезъ надзирателей: что он хотятъ, то съ нами и дѣлаютъ.

Рудники. Входъ въ штольню.

Пользуясь его боязнью, надзиратели нагоняли на бѣднаго инженера еще большаго страха разсказами о „бунтахъ“ и готовящихся „возмущеніяхъ“, и инженеръ вѣрилъ имъ безусловно и оставлялъ каторгу на произволъ надзирателей.

Службу у него въ конторѣ даже,—службу у этого, повторяю, въ сущности, добродушнѣйшаго человѣка, считали, и справедливо считали, худшей каторгой.

— Того и гляди, въ кандальное угодишь!

Въ конторѣ всѣми вертѣлъ письмоводитель изъ каторжанъ, нѣкто Г., умный, ловкій, но отвратительный, въ конецъ опустившійся субъектъ.

Инженеръ самъ мнѣ жаловался на Г.:

— Нельзя даже подумать, что этотъ Г. еще такъ недавно былъ человѣкомъ изъ лучшаго общества. Пьяница, воръ, — на дняхъ опять его въ подлогѣ поймалъ: поддѣлалъ квитанцію на 15 бутылокъ водки.

— Зачѣмъ же вы его держите?

— Кого же взять? Что за народъ кругомъ?

Г. хорошо зналъ слабую струнку своего начальника, держалъ его въ постоянномъ страхѣ разсказами о готовящихся злоумышленіяхъ и вертѣлъ судьбой подвластныхъ ему каторжанъ, работавшихъ въ конторѣ, какъ хотѣлъ.

Напримѣръ, бывшій офицеръ К., сосланный за убійство, совершенное подъ вліяніемъ тяжкой обиды, милый и скромный юноша, ни за что ни про что попалъ изъ конторы горнаго инженера на мѣсяцъ въ кандальную тюрьму.

Человѣкъ честный, онъ не хотѣлъ потворствовать Г. въ его плутняхъ, и Г., чтобы избавиться отъ этого „бѣльма на глазу“, насплетничалъ на него инженеру.

Тотъ повѣрилъ, и несчастный К. попалъ въ кандальную.

Я самъ слышалъ, какъ этотъ Г., съ полупьяной, избитой физіономіей, оралъ на каторжника:

— Въ кандалы, захочу, закую! Запорю!

А вся разница-то между этимъ каторжаниномъ и Г. была та, что сосланъ онъ за меньшее преступленіе, чѣмъ Г., и за преступленіе не столь гнусное, какъ преступленіе Г.

Сахалинскій служащій... Для меня, видѣвшаго ихъ всѣхъ, даже лучшій изъ сахалинскихъ служащихъ рисуется въ видѣ одного милѣйшаго смотрителя поселеній, у котораго я прожилъ нѣсколько дней.

Въ качествѣ смотрителя поселеній, онъ обязанъ заботиться объ „устройствѣ поселенческихъ хозяйствъ“, а что онъ можетъ сдѣлать, когда и на службу-то на Сахалинъ онъ попалъ именно потому, что „прохозяйничалъ“ свое собственное имѣніе.

— Не дается мнѣ это! — простодушно сознавался онъ.

Пожилой человѣкъ, онъ содержалъ семью, оставшуюся въ Россіи.

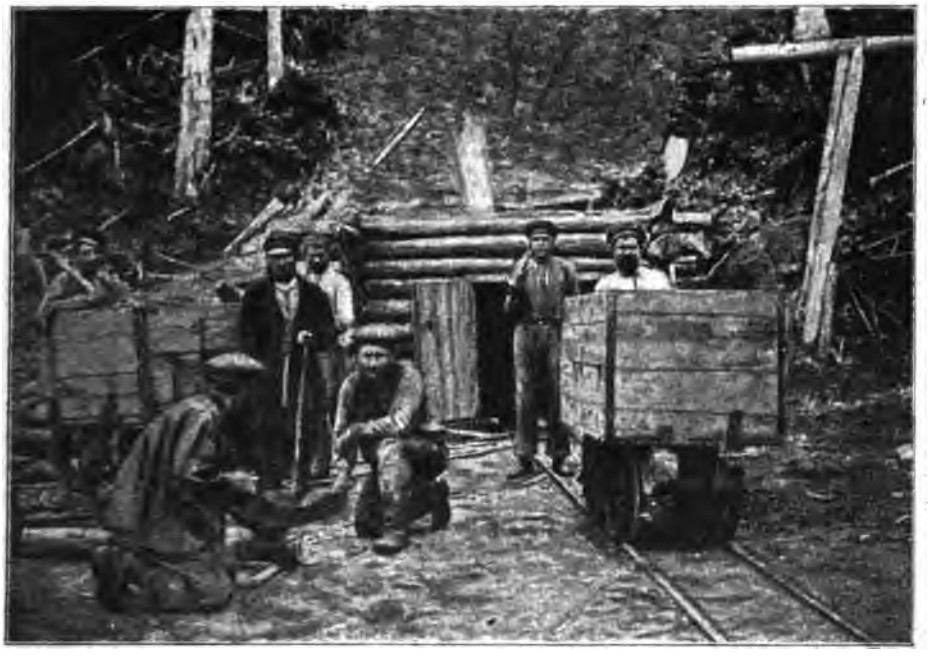
— Во всемъ, какъ видите, въ лишней папиросѣ себѣ отказываю! Никогда такой каторги не терпѣлъ.

Онъ страшно тосковалъ по семьѣ и проклиналъ день, когда поѣхалъ на Сахалинъ.

— Жизнь какая! Что за люди кругомъ!

Ложась спать, онъ клалъ себѣ по обѣимъ сторонамъ кровати, на стульяхъ, два револьвера.

Положимъ, „постелить постель“ на Сахалинѣ значитъ: по-



Арестантскія работы. Передъ входомъ въ рудники.

стлать бѣлье, положить подушки, одѣяло и револьверъ на стулъ около кровати. Такъ всѣ спятъ,—мужчины и женщины.

— Но два-то револьвера зачѣмъ?

— А на всякій случай. За правую руку схватятъ, я лѣвой буду стрѣлять. Два револьвера спокойнѣе. Здѣсь страшно.

Когда я ему указывалъ, что у него удивительно какъ процвѣтаетъ ростовщичество и кулаки пьютъ кровь изъ поселенцевъ, онъ отвѣчалъ:

— А какъ же? Знаете, кулачество, это—во вкусѣ русскаго крестьянина. Каждый хорошій хозяинъ непремѣнно кулакомъ дѣлается. Я кулакамъ даже покровительствую, я ихъ люблю: они — хорошіе хозяева.

— Да вѣдь остальнымъ-то отъ нихъ...

— Ахъ, повѣрьте, объ остальныхъ и думать не стоитъ! Это дрянь, это мерзость, это навозъ, — пусть на этомъ навозѣ хоть нѣсколько хорошихъ хозяйствъ вырастетъ.

Я обращалъ его вниманіе на то, что каторга и поселенье, оставленныя на произволъ надзирателей, Богъ знаетъ что отъ нихъ терпятъ:

— Положительно страдаютъ.

И онъ отвѣчалъ:

— И пусть страдаютъ. Это хорошо. Страданіе очищаетъ человѣка. Вы не читали книги...

Онъ назвалъ какое-то лубочное изданіе.

— Нѣтъ? Напрасно. А я, какъ сюда ѣхалъ, въ Одессѣ купилъ и дорогой на пароходѣ прочелъ. Очень интересно. Какъ одинъ преступникъ описываетъ, какъ онъ въ австрійской тюрьмѣ сидѣлъ и что съ нимъ дѣлали. Волосъ дыбомъ становится. А онъ еще благодаритъ тюремщиковъ, говоритъ, что, именно благодаря страданіямъ, онъ сталъ чище. Именно благодаря страданіямъ!

Вѣдь надо же было! Одну, можетъ-быть, книгу прочелъ въ жизни человѣкъ, и та, какъ нарочно, оказалась дрянь.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что, когда я спросилъ этого добраго человѣка, какъ мнѣ проѣхать въ селенье Хандосу вторую, въ его же округѣ, онъ отвѣтилъ мнѣ:

— О, это пустое. Въ Онорской тюрьмѣ вамъ дадутъ тройку, а тамъ — верстъ восемь. Въ полчаса доѣдете!

Милый человѣкъ!

А я отъ Онора до Хандосы 2-й ѣхалъ три съ половиной часа, и не только на тройкѣ, а верхомъ едва черезъ тундру и тайгу пробрался.

Оказалось, что смотритель поселій въ своемъ поселѣ ни разу не былъ!

Такъ „сахалинскіе“ служащіе „входятъ въ соприкосновеніе“ съ людьми, которыхъ имъ ввѣрено „исправлять и возрождать“.

Да если и входятъ въ соприкосновеніе...

Въ Хандосѣ 2-й, затерянномъ среди непроходимой тайги поселѣ, меня обступили поселенцы. Стоятъ и глядятъ.

— Чего смотрите?

Дай, ваше высокоблагородіе, на свѣжаго человѣка поглядѣть. Два года у насъ никто не былъ.

Безконтрольнымъ распорядителемъ поселья былъ надзиратель; въ его избѣ я и остановился. Надзиратель ушелъ ставить самоваръ, и я бесѣдовалъ съ каторжанкой, отданной ему въ сожительницы.

Она смотрѣла на меня, какъ на начальство.

Въ Хандосѣ 2-й меня интересовала одна каторжанка, Татьяна Ерофеева, отданная въ сожительницы къ поселенцу. На-

стоящій изверг, 30 лѣтъ, она успѣла овдовѣть три раза и на Сахалинъ попала, какъ гласитъ приговоръ, за то, что:

1) Задумавъ лишить жизни падчерицу, ударила ее такъ, что та на слѣдующій день умерла.

2) За то, что неоднократно колола глаза иголкой своему пасынку и присыпала ихъ солью, послѣдствіемъ чего было плохое зрѣніе въ правомъ глазу и полная потеря зрѣнія въ лѣвомъ.

Я спросилъ у надзирательской сожительницы:

— У васъ въ Хандосѣ живетъ Ерофеева?

Онорская просѣка.

— Живетъ!

— Ну, что она? Какъ?

Т.-е., какъ живетъ, хорошо, плохо. И вдругъ услышалъ отвѣтъ:

— Ничаво. Годится.

Согласитесь, что очень типичный отвѣтъ пріѣзжему г. служащему!

Таковы нравы.

И таково отношеніе къ каторгѣ, предоставленной всецѣло на произволъ надзирателей.

Теперь пересматривается положеніе о ссылкѣ и каторгѣ, сахалинскую каторгу предполагается замѣнить центральными тюрьмами, и чѣмъ скорѣе это будетъ, тѣмъ лучше.

Пусть наказаніе будетъ сурово, строго, но пусть оно соотвѣтствуетъ тѣмъ цѣлямъ, которыя преслѣдуетъ законъ. Пусть возрожденіе или даже наказаніе не будетъ предоставлено на полный, безконтрольный произволъ надзирателей.

Смотрители тюремъ.

Смотритель тюрьмы, это, по большей части, — человѣкъ, выслужившійся изъ надзирателей, изъ фельдшеровъ. Полное ничтожество, которое получаетъ вдругъ огромную власть и ею „объѣдается".

По уставу онъ имѣетъ право въ каждую данную минуту своею властью дать арестанту до 30 розогъ или до 10 плетей.

По закону — каждое наказаніе должно быть вписано въ штрафной журналъ.

На дѣлѣ эти наказанія почти никогда не вписываются.

Отодралъ — и кончено.

Сами каторжане просятъ:

— Не записывайте только въ штрафной журналъ.

Переводъ изъ отдѣла испытуемыхъ въ отдѣлъ исправляющихся, изъ „кандальной" тюрьмы въ такъ называемую „вольную" тюрьму, сокращеніе сроковъ, — все это зависитъ отъ записей въ штрафномъ журналѣ.

Выдрать и записать въ журналъ, это — уже не одно наказаніе, а два.

Такимъ образомъ, смотритель тюрьмы, по части тѣлесныхъ наказаній, является совершенно безконтрольнымъ.

Отсутствіе записи въ журналѣ лишаетъ каторжника возможности жаловаться, — и смотритель тюрьмы является совершенно безнаказаннымъ.

Изрѣдка всплываютъ на свѣтъ Божій такія дѣла, какъ всплыло дѣло смотрителя тюрьмы Бестужева, который выпоролъ освобожденнаго отъ тѣлесныхъ наказаній больного падучей болѣзнью арестанта Сокольскаго.

Но тамъ за Сокольскаго вступились врачи.

Тѣлесныя наказанія развращаютъ не только тѣхъ, кого наказываютъ, убивая въ арестантахъ послѣднюю даже „каторжную" совѣсть, но и тѣхъ, кто наказываетъ.

Вся атмосфера на Сахалинѣ заражена.

Драть, — это кажется всѣмъ простымъ, естественнымъ обычнымъ. Даже дамы, жены чиновниковъ на вечеринках болтаютъ о драньѣ и о томъ, что драть слѣдуетъ побольше.

— Развѣ безъ этого можно?

Видъ разложеннаго на позорной скамьѣ человѣка заключаетъ въ себѣ что-то развращающее, разнуздывающее звѣря, сидящаго въ человѣкѣ.

— Я тебѣ царь и Богъ! — оретъ ничтожество, вышедшее изъ надзирателей или фельдшеровъ.

Это, какъ я уже говорилъ, — любимая поговорка смотрителей тюремъ.

Наказанія доходятъ до удивительнаго издѣвательства.

— Это что теперь за наказанія!—машутъ рукой смотрителя тюремъ.—Прежде, бывало, выпорютъ арестанта,—и онъ долженъ итти смотрителя благодарить.

— За что благодарить?

— За науку. Такой порядокъ былъ. Встанетъ и въ ноги кланяться долженъ: „Благодарю васъ, ваше высокоблагородіе, за то, что поучили меня, дурака!“ А теперь ужъ этого нѣтъ. Распущена каторга! Все „гуманности“ пошли.

Были и есть смотрителя, не признающіе непоротыхъ арестантовъ.

— Система ужъ у меня такая.

Одинъ изъ нихъ, по каторжному прозвищу „Желѣзный Носъ“, оставилъ по себѣ въ этомъ отношеніи анекдотическую память.

Приходя утромъ на раскомандировку, онъ высматривалъ, нѣтъ ли непоротаго арестанта.

— Что это, братецъ, ты стоишь не по формѣ? Ногу отставилъ? А? Поди-ка, ляжь!

Если непоротый велъ себя „въ аккуратѣ“, стоялъ, что называется, „не дыша“ и Желѣзный Носъ никакъ къ нему придраться не могъ, онъ отворачивался и говорилъ:

— Эй, ты тамъ, тихоня! Поди-ка, ляжь, братецъ. Палачъ, дай-ка ему горяченькихъ!

— За что, ваше высокоблагородіе?

— А, ты еще разговаривать? Разложить!

Онъ охотился за арестантами.

Ѣдетъ по берегу въ Корсаковскомъ округѣ, видитъ, — арестантъ на отмели копается; къ нему.

Арестантъ, завидѣвъ Желѣзный Носъ, дальше по отмели, смотритель — за нимъ. Наконецъ, дальше итти некуда: вода по поясъ.

Арестантъ останавливается.

— Ты что тутъ, братецъ, дѣлаешь?

— Рачковъ ловлю, ваше высокоблагородіе, вамъ на кухню.

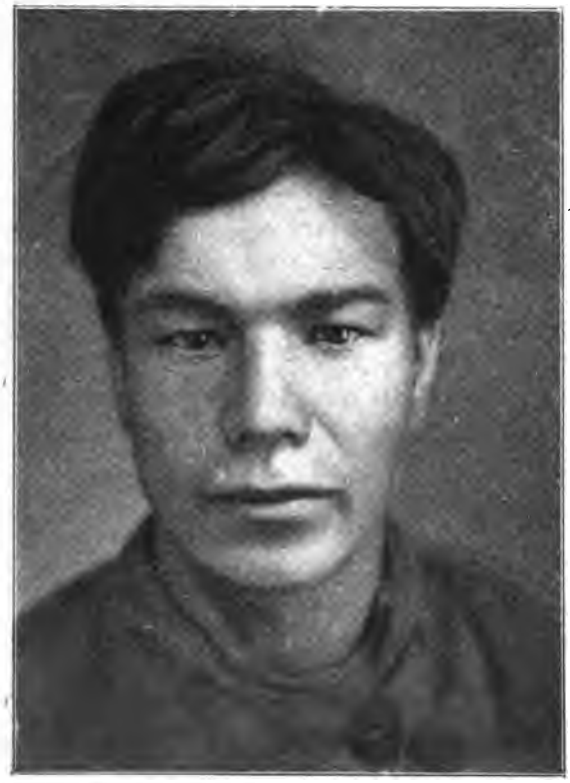
— Рачковъ ловишь? Это хорошо. А чего жъ ты отъ начальства бѣгаешь? А? Должно-быть, нехорошее что на умѣ? Хорошо. Рачковъ отнеси ко мнѣ на кухню, а утромъ на раскомандировкѣ, выйди, — тебя посѣкутъ!

Единственнымъ непоротымъ каторжникомъ былъ его собственный поваръ.

Очень искусный поваръ, находившійся за это подъ покровительствомъ смотрительши.

— Ты мнѣ его не тронь! — разъ навсегда объявила смотрительша своему супругу.

Однажды она уѣхала куда-то на цѣлый день къ знакомымъ; возвращается, — мужъ встрѣчаетъ ее сконфуженный.



Арестантскіе типы.

— Выпоролъ?! — всплеснула руками смотрительша.

— Выпоролъ! — виновато отвѣчаетъ Желѣзный Носъ. — Не сердись, душенька!

Меня интересовала личность смотрителя Л., оставившаго по себѣ на Сахалинѣ поистинѣ страшную память.

Порки при Л. носили какой-то невѣроятный характеръ.

Пороли каждое утро по 30, по 40 человѣкъ.

Я разспрашивалъ арестантовъ, какъ это происходило.

— Выйдетъ онъ, бывало, — ничего. Да потомъ себя растравлять начнетъ. Воззрится, замѣтитъ у кого какую неисправность: „У тебя что это, братъ, бушлатъ (куртка) какъ будто рваный? А? Нарочно разорвалъ? Нарочно?“ — „Помилуйте, ваше высокоблагородіе, зачѣмъ нарочно? На работѣ разорвался!“ — „На работѣ? А ты что жъ не починилъ? А? Такъ-то ты о казенномъ имуществѣ печешься? Такъ-то?“ — „Зачинить нечѣмъ!“ Къ этому времени онъ ужъ совсѣмъ озвѣрѣетъ. „Жилы изъ себя мерзавецъ, вытяни, да зашей! Жилы! Изъ кожи куски вырѣзай, да заплатки клади! Я тѣло твое такъ изорву, как ты казенный бушлатъ. Палачъ! Клади! Бей!“ И пойдетъ. И чѣмъ дальше, тѣмъ пуще звѣрѣетъ. Стонъ стоитъ, а онъ ногами топочетъ. „Притворяются, подлецы. Бей ихъ крѣпче“. В

концѣ, бывало, до того въ сердце войдетъ, что напослѣдокъ и палача разложить прикажетъ, — арестантамъ драть велитъ: „Дерите его, чтобъ спуску вамъ, подлецамъ, не давалъ!“

— Не глупый человѣкъ былъ! — пояснялъ мнѣ бывшій его помощникъ, теперь самъ смотритель. — Зналъ, какъ каторгу держать. Каторгу на палача, да и палача на каторгу озлоблялъ. Стачки быть не можетъ! Ужъ палачъ послѣ этого-то „мазать“ не будетъ.

Арестантскіе типы.

Смотритель М., при мнѣ завѣдывавшій Корсаковской тюрьмой, считался однимъ изъ наиболѣе жестокихъ смотрителей на Сахалинѣ.

— Доктора—вотъ мое бѣльмо на глазу! — кричалъ онъ по вечерамъ, напиваясь „по принятому имъ обычаю“. — Гуманность разводятъ! А намъ это не къ лицу. Я разгильдѣевецъ! — хвастался онъ. — Разгильдѣевскія времена на Карѣ помню! Я прирожденный тюремщикъ. Мой отецъ смотрителемъ тюрьмы былъ. Я самъ подъ нарами выросъ! Мы не баре, чтобъ гуманности разводить! Мы вотъ въ чемъ ходимъ!

И онъ съ гордостью показывалъ свою порыжѣлую, выгорѣвшую на солнцѣ шинель, которой было лѣтъ, можетъ-быть, двадцать.

Въ трезвомъ видѣ не было человѣка болѣе мягкаго, льстиваго, медоточиваго, чѣмъ этотъ старый лукавый сибирякъ.

Арестантовъ онъ называлъ „братанами“, „братиками“, „родненькими“, „милыми людьми“, „голубчиками“, и безъ „Божьяго слова“ — никуда.

— Безъ Божьяго слова развѣ можно?!

Провинившагося арестанта онъ подманивалъ къ себѣ пальцикомъ.

— Пойди-ка, миленькій, сюда. Ляжь-ка, голубушка, — тебя взбрызнутъ!

Арестантъ валился въ ноги.

— Ваше высокоблагородіе, за что же? Простите.

— И что ты, миленькій? И что ты, голубчикъ! Развѣ я на тебя сержусь? Я на тебя не сержусь. Ложись, ложись, голубчикъ! А за то, что разговариваешь, пяточекъ прибавимъ.

— Ваше высокоблагородіе...

— И-и, голубчикъ, какъ нехорошо. Тебѣ начальникъ говоритъ: ложись!—а ты не слушаешься. Еще пять. Ложись, братанъ.

Видя, что наказаніе все растетъ, арестантъ ложится.

— Вотъ такъ-то, родной, лучше! Съ Богомъ, милый. Взбрызни-ка его, Медвѣдевъ. Пороть порѣже, не торопись, милый! Порѣже, покрѣпче! Вотъ такъ, вотъ этакъ! Рѣже-то лучше. Намъ торопиться некуда.

И если арестантъ вопилъ не своимъ голосомъ, М. говорилъ ему:

— Ничего, ничего, потерпи, родненькій! Христосъ терпѣлъ и намъ велѣлъ.

Опытные арестанты, разумѣется, ложились безъ всякихъ разговоровъ, зная, что за всякую просьбу бываетъ только прибавка, — и смотритель говорилъ, глядя на нихъ:

— Душа радуется! Братики меня съ одного слова понимаютъ! Живемъ душа въ душу съ миленькими!

— А не случалось такъ, чтобъ „фордыбачили“?—спросилъ я М., слушая, какъ онъ „съ Божьимъ словомъ отечески наказуетъ свое стадо“.

Онъ захихикалъ.

— И что вы-съ? Какое выдумали! Это у новыхъ, у „гуманныхъ“ каторга распущена. А у меня нѣтъ-съ. Душонка у него, у родненькаго, трясется, какъ ложится. Онъ меня знаетъ.

И, только напиваясь по вечерамъ, онъ кричалъ:

— Въ ужасѣ надо каторгу держать! Въ ужасѣ! Вы у меня спросите! А эти „гуманные-то“ только унижаютъ насъ! Унижаютъ, подлецы! Ѣхали бы гуманничать, куда хотятъ, а въ каторгу соваться нечего. Каторга — наше дѣло. И въ писаніи сказано: страхъ — спасителенъ.

Бывшій фельдшеръ К., смотритель Рыковской тюрьмы,—человѣкъ другого склада.

Онъ любитъ порисоваться и пофигурировать.

Даже о своемъ фельдшерствѣ разсказываетъ небылицы и лицахъ. Какъ какая-то графиня, отправляя на войну своего мужа, поручала ему:

— Вамъ его поручаю! Берегите его!

— Ваше сіятельство, будьте спокойны.

На Сахалинѣ онъ основываетъ по болотамъ поселенія и называетъ ихъ въ честь себя, своимъ именемъ. Перестраиваетъ тюрьмы „по собственнымъ проектамъ“ и невѣроятно этимъ хвастается.

„Произойдя изъ ничтожества“, онъ упивается властью.

— У меня арестантъ волосокъ каждый на бровяхъ моихъ знаетъ, какъ лежитъ.

Особенно онъ любитъ вспоминать, какъ временно завѣдывалъ Воеводской тюрьмой, страшнѣйшей на Сахалинѣ, теперь упраздненной.

Арестантскіе типы.

— Выхожу, бывало, на раскомандировку: „Здорово, мерзавцы! Здорово, варнаки!“ Дружный отвѣтъ: „Здравія желаемъ, ваше высокоблагородіе!“ — и хохотъ. Понимаютъ, что я веселый. А ужъ если молчу, — могила кругомъ. Вышелъ, мерзавцами не назвалъ, понимаютъ: „жди!“ Не въ духѣ я, значитъ. Ни одного генерала на смотру такъ не трепещутъ! Драть велю, — отъ страха едва дышатъ. „Рррозги, лопаты, яму рыть!“

— Это-то зачѣмъ же?

— А могилу. Будто насмерть запарывать буду. „Фельдшера!“ кричу. Помощники — около, будто меня успокоиваютъ. Арестанты въ ноги валятся. Палачу страшно. И начну наказаніе. „Мазать пришелъ? — кричу, — мазать? Самого разложу!“

Онъ — врагъ тѣлесныхъ наказаній.

— Это ни къ чему не приводитъ! Арестанты привыкаютъ. Это на нихъ не дѣйствуетъ. Онъ 3.000 розогъ въ свою жизнь получилъ, что ему? Хоть каждый день дери. Нѣтъ, арестантъ

долженъ начальника понимать. Если я скажу: „Драть!“ — у арестанта загодя шкура сходитъ. Вы у арестантовъ обо мнѣ спросите.

У арестантовъ и спрашивать было нечего: я зналъ о той славѣ, которою пользуется К.

— Я съ вами на наказаніе не пойду, — сказалъ мнѣ какъ-то К. — Если я присутствую на наказаньи, арестанта должны въ лазаретъ замертво унести. Не иначе. Такъ меня ужъ тюрьма знаетъ. Я деру обыкновенно въ конторѣ, — разсказывалъ онъ. — Посединѣ ставятъ кобылу. Я закуриваю папиросу и начинаю ходить изъ угла въ уголъ. Поравняюсь съ кобылой: „разъ“. А то еще за дѣло примусь, пишу: будто про него забылъ. А потомъ „разъ!“ Я тридцать розогъ по два, по три часа даю. Онъ у меня измотается весь, пока выпорю. И кричитъ, и стонетъ, и Богу молится, и ругаться начинаетъ, и въ родѣ какъ сумасшедшій дѣлается. Въ контору-то какъ на висѣлицу идетъ. Никогда не забудетъ.

И, дѣйствительно, не забываетъ. Я видѣлъ людей, считавшихъ полученныя ими розги тысячами, но 30 ударовъ „въ конторѣ“ они ни съ чѣмъ сравнить не могли.

— Каждый ударъ прочувствуешь. Ждетъ, пока саднѣть перестанетъ. Да опять, что тѣло, душа отъ ожиданья измучается. Смерти просишь, только бы не такое мучительство.

— Но и это, — говоритъ К., — мало къ чему приводитъ. Я и къ этому рѣдко прибѣгаю. По-моему, нѣтъ лучше темнаго карцера. Вотъ это — средство. Страшнѣе всякой порки. Какъ посадятъ недѣли на двѣ. Пойдемте, посмотримъ.

Это нѣчто, дѣйствительно, ужасное.

Мы вошли въ узенькій коридорчикъ, по обѣимъ сторонамъ котораго были расположены маленькія клѣтушки съ крошечными оконцами въ двери.

Отъ воздуха въ коридорѣ кружилась голова. Запахъ словно на псарнѣ или около клѣтокъ съ волками.

И, едва мы вошли въ коридоръ, изъ всѣхъ каморокъ послышалась адская ругань по адресу К.

Люди вопили въ бѣшенствѣ, ломились въ двери. Это напоминало буйное отдѣленіе сумасшедшаго дома.

— Отвори-ка Гусева! — приказалъ К.

Надзиратель взялся за замокъ. Но изъ камеры послышался голосъ, полный ужаса:

— Не входите! Не входите ко мнѣ! Я убью!

— И на самомъ дѣлѣ, оставь его! — отмѣнилъ свое распоряженіе К. — Это, какъ видите, почище порки. Порка что!

Замѣчательно, что всѣ эти люди, славящіеся своимъ драньемъ, — всѣ въ одинъ голосъ говорятъ:

— Порка что! Развѣ она дѣйствуетъ!

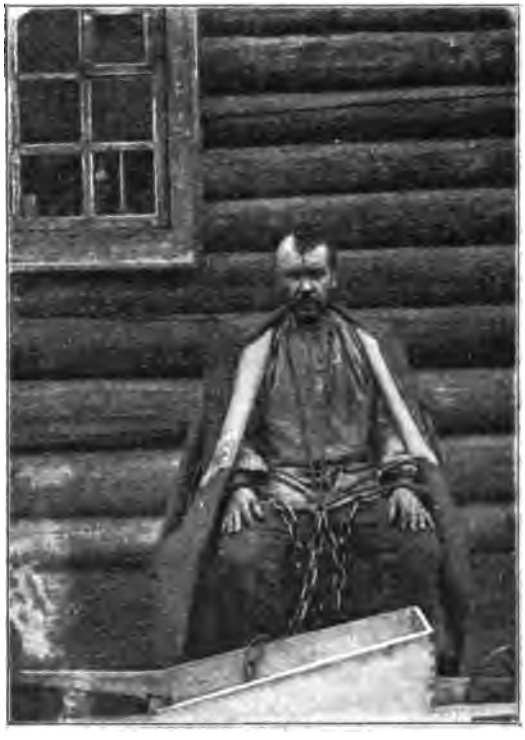
И дерутъ.

Смертная казнь.

За четыре года управленія генерала Мерказина, на Сахалинѣ не было ни одной смертной казни.

— Я знаю, это вызываетъ недовольство у многихъ! — говорилъ мнѣ генералъ.

Но прежде, чѣмъ говорить объ этомъ „недовольствѣ“, его причинахъ и основательности этихъ причинъ, скажемъ нѣсколько словъ о томъ, какъ происходила обыкновенно смертная казнь на Сахалинѣ.



Арестантскіе типы. Тачечникъ.

Послѣдняя казнь на Сахалинѣ происходила около четырехъ лѣтъ тому назадъ.

Казнили троихъ каторжныхъ-рецидивистовъ, — старика, бывалаго каторжанина, и двоихъ молодыхъ людей, — за убійство съ цѣлью грабежа, совершенное уже на островѣ.

Мнѣ разсказывалъ объ этой казни сахалинскій благочинный, о. Александръ, напутствовавшій осужденныхъ.

Они содержались отдѣльно. О. Александръ, по распоряженію начальства, явился къ нимъ за три дня до смертной казни.

По появленію священника осужденные поняли, что смертный часъ приближается.

— Поблѣднѣли, испугались, оторопѣли, слова выговорить не могутъ, — разсказывалъ о. Александръ, — только старикъ по первоначалу куражился, смѣялся, издѣвался надъ смертью, надъ товарищами... „Ну, — говорю, — братцы, тамъ что будетъ, то будетъ, а пока не мѣшаетъ и о душѣ подумать“. Ну-съ,

хорошо. Принялись за молитву. Молились пристально, съ усердіемъ, всей душой.

— Всѣ три дня?

— Всѣ три дня-съ. Бесѣдовали о загробной жизни, читали житія святыхъ, пѣли псалмы, молились вмѣстѣ. Гулять на дворикъ вмѣстѣ ходили. Не выпускали они меня отъ себя. Молятъ прямо: „Батюшка, побудьте съ нами, страшно намъ". Сбѣгаешь, бывало, домой часа на полтора, перекусишь, — и опять къ нимъ. Спали они мало, такъ, съ часъ забудется который и опять проснется. И я съ ними не спалъ. Да и до сна ли было!

— Бесѣдовали о чемъ-нибудь съ ними, кромѣ священныхъ предметовъ?

— Какъ же! Надежду въ нихъ все-таки поддерживалъ. „Бывали, молъ, случаи, что и на эшафотѣ прощенье объявляли". Развѣ можно человѣка надежды лишать? Безъ надежды человѣкъ въ отчаянье впадаетъ. Допытывали они меня все — „когда, да когда?" Ну, а какъ принесли имъ наканунѣ бѣлье чистое, тутъ они все поняли, что, значитъ, на утро. Эту ночь всю ужъ не спали. Одинъ только, кажется, на полчаса забылся. Причастилъ я ихъ этой ночью. А на утро, еле забрезжилось, — выводить. Надѣлъ черную ризу — повели.

Тутъ произошла задержка: опоздалъ на четверть часа кто-то изъ лицъ, обязанныхъ присутствовать при казни.

— Вѣрите ли,—говорилъ мнѣ о. Александръ, — мнѣ эти четверть часа дольше всѣхъ трехъ дней показались. Мнѣ! А каково имъ?

Когда прочли конфирмацію, ударили барабаны.

Но это была лишняя предосторожность. Никакой обычной въ такихъ случаяхъ ругани по адресу начальства не было.

— Умерли удивительно покойно. Приложились ко кресту и отдались въ руки палача. Только одинъ, самый молодой, Сіютинъ, сказалъ: „Теперь самое жить бы, а нужно помирать". Сами и на эшафотъ взошли и на западню стали.

Только старикъ, сначала куражившійся надъ смертью, съ каждымъ часомъ все больше и больше падалъ духомъ.

Его пришлось чуть не отнести на эшафотъ. Отъ ужаса у него отнялись руки и ноги.

Предъ казнью онъ просилъ водки.

— Ну, что жъ, дали?

— Нѣтъ. Развѣ можно? Послѣ полночи только пріобщались, а въ пять часовъ водку пить не подобаетъ.

Казнь продолжалась долго. Одинъ изъ конвоировъ во время ея упалъ въ обморокъ. Многіе изъ арестантовъ, приведенные присутствовать при казни, не выдерживали и уходили.

Эта послѣдняя казнь на Сахалинѣ происходила во двѣ Александровской тюрьмы.

Обыкновеннымъ же мѣстомъ смертной казни была, теперь упраздненная и срытая до основанія, страшная и мрачная Воеводская тюрьма, между постами Александровскимъ и Дуэ.

Висѣлица ставилась посрединѣ двора.

Присутствовать при казни выгоняли изъ тюрьмы 100 арестантовъ, а если казнили арестанта Александровской тюрьмы, то пригоняли еще человѣкъ 25 оттуда.

Арестантскіе типы.

Воеводская тюрьма была расположена въ ложбинѣ, и съ горъ, амфитеатромъ возвышающихся надъ нею, было какъ на ладони видно все, что дѣлается во дворѣ тюрьмы.

На этихъ-то горахъ спозаранку располагались поселенцы изъ Александровска и „смотрѣли, какъ вѣшаютъ“.

И этотъ амфитеатръ, переполненный зрителями, и эти подмостки висѣлицы,—все это дѣлало Воеводскую тюрьму похожей на какой-то чудовищный театръ, гдѣ давались страшныя трагедіи.

Отъ многихъ изъ зрителей я слышалъ подробности трагедій, разыгрывавшихся на подмосткахъ Воеводской тюрьмы, но, разумѣется, самыя цѣнныя, самыя интересныя, самыя точныя подробности мнѣ могъ сообщить только человѣкъ, ближе всѣхъ стоявшій къ казненнымъ, присутствовавшій при ихъ дѣйствительно послѣднихъ минутахъ, — старый сахалинскій палачъ Комлевъ.

Онъ повѣсилъ на Сахалинѣ 13 человѣкъ; изъ нихъ 10 въ Воеводской тюрьмѣ.

Его первой жертвой былъ сс.-каторжный Кучерявскій, присужденный къ смертной казни за нанесеніе ранъ смотрителю Александровской тюрьмы Шишкову.

Кучерявскій боялся казни, но не боялся смерти.

... Въ ночь передъ казнью онъ какъ-то ухитрился достать ножъ и перерѣзалъ себѣ артерію.

Бросились за докторомъ; пока сдѣлали перевязку, пока привели въ чувство бывшаго въ безпамятствѣ Кучерявскаго, наступилъ часъ „выводить“.

Кучерявскій умиралъ смѣло и дерзко.

Онъ самъ скинулъ бинтъ, которымъ было забинтовано его горло.

И все время кричалъ арестантамъ, чтобы они послѣдовали его примѣру.

Напрасно билъ барабанъ. Слова Кучерявскаго слышались и изъ-за барабаннаго боя.

Кучерявскій продолжалъ кричать и тогда уже, когда его въ саванѣ взвели на эшафотъ и поставили на западню.

Комлевъ стоялъ около и, по обычаю, держалъ его за плечи.

Кучерявскій продолжалъ изъ-подъ савана кричать:

— Не робѣйте, братцы!

Послѣдними его словами было:

— Веревка тонка, а смерть легка...

Тутъ Комлевъ махнулъ платкомъ, помощники выбили изъ-подъ западни подпорки, — и казнь была совершена.

Процедура казни длилась обыкновенно долго: часа полтора.

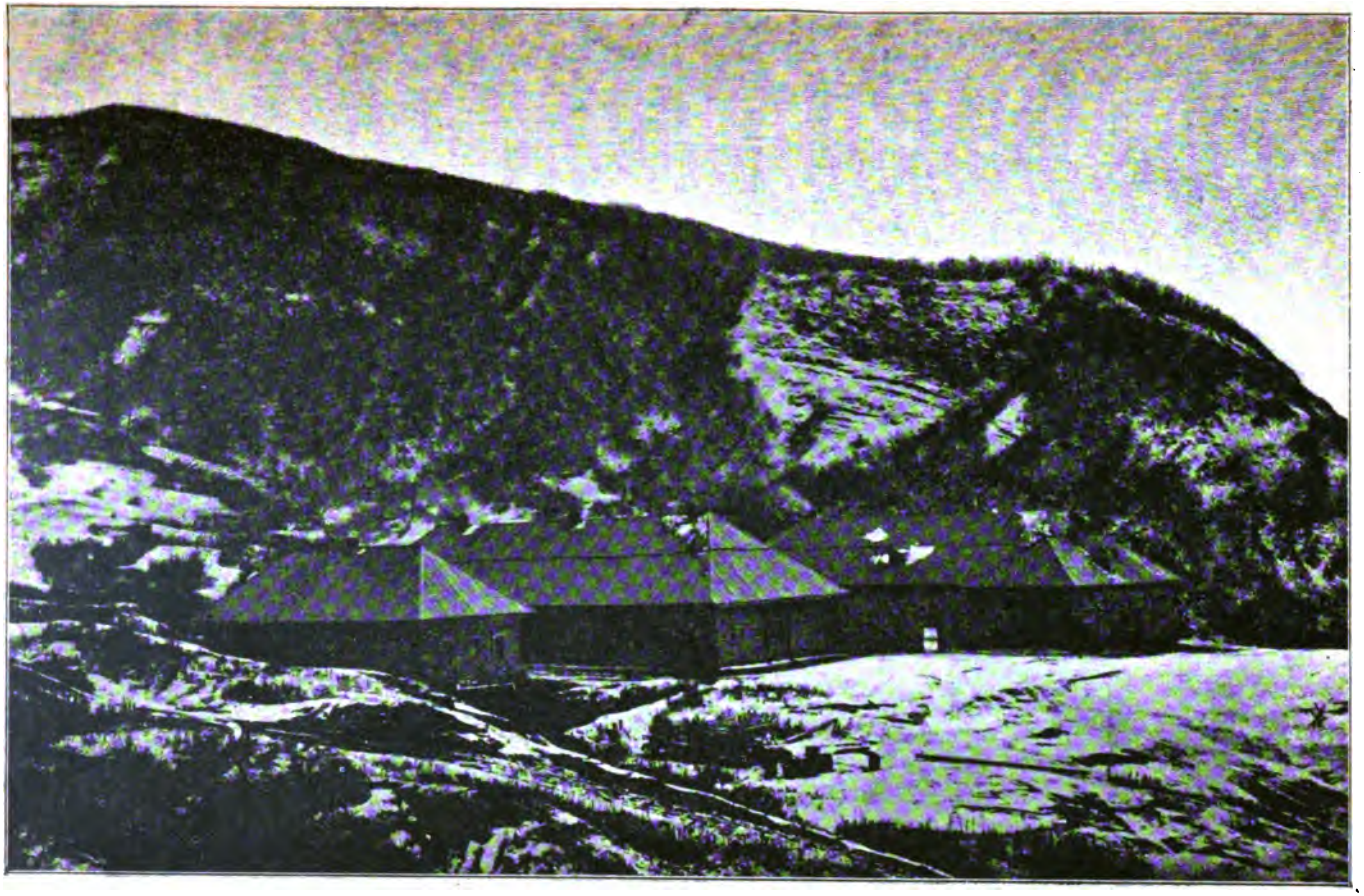
Осужденнаго выводили въ кандалахъ.

Въ кандалахъ онъ выслушивалъ приговоръ. Затѣмъ его расковывали, надѣвали саванъ, сверхъ савана петлю, смазанную саломъ...

Въ общемъ, казнь, назначавшаяся обыкновенно въ пять рѣдко кончалась раньше половины седьмого.

Эти страшные полтора часа рѣдко кто могъ выдержать.

„Иной спадаетъ такъ, что обомлѣетъ совсѣмъ“, по выраженію Комлева.



Воеводская, нынѣ упраздненная, тюрьма.

У большинства хватало силъ лишь попросить палача:

— Поскорѣе только! Прихлестните потуже! Безъ мученій, пожалуйста.

У многихъ не хватало силъ и на это.

Сс.-каторжный Кинжаловъ, казненный за убійство на Сахалинѣ лавочника Никитина [1]), все время молился, пока читали приговоръ, а затѣмъ, когда его начали расковывать, лишился чувствъ.

Его пришлось взнести на эшафотъ.

Державшій его Комлевъ говоритъ:

— По-моему, ему и петлю-то надѣли ужъ мертвому.

Передъ казнью, по воспоминаніямъ Комлева, почти всякій холодѣетъ и дрожитъ, весь колотится, дѣлается ужъ не блѣднымъ, а бѣлымъ совсѣмъ.

— Держишь его за плечи, когда стоитъ на западнѣ, черезъ рубашку рукѣ слышно, что тѣло у него все холодное, дрожитъ весь.

Среди всѣхъ 13 казненныхъ Комлевымъ совершенно особнякомъ стоитъ нѣкто Клименко.

Преступленіе, совершенное Клименкомъ, состояло въ слѣдующемъ.

Онъ бѣжалъ, былъ пойманъ надзирателемъ Бѣловымъ, доставленъ обратно и дорогой избитъ.

Тогда Клименко далъ товарищамъ „честное арестантское слово“, что онъ раздѣлается съ Бѣловымъ, бѣжалъ вторично и самъ явился на тотъ кордонъ, гдѣ былъ Бѣловъ.

— Твое счастье — бери. Невмоготу больше итти.

Бѣловъ снова повелъ Клименка въ тюрьму и по дорогѣ арестантъ убилъ своего конвоира.

Послѣ этого Клименко самъ явился въ тюрьму и заявилъ о совершенномъ имъ убійствѣ, разсказавъ все подробно: какъ и за что.

Его приговорили къ смертной казни.

Ничего подобнаго смерти Клименка не видалъ даже видывавшій на своемъ вѣку виды Комлевъ.

Когда его взвели на эшафотъ, Клименко обратился къ начальству и... благодарилъ за то, что его приговорили къ смерти.

— Потому что самъ, ваше высокоблагородіе, знаю, что стою этого. Заслужилъ, — вотъ и казнятъ.

Единственной его просьбой было „отписать женѣ, что онъ принялъ такую казнь“.

— И отписать, что, молъ, за дѣло.

---

[1]) Говорятъ, что все это убійство было подстроено знаменитой «Золотой Ручкой Она была по этому дѣлу подъ слѣдствіемъ, но освобождена за недостаткомъ уликъ.

Даже барабанъ не билъ при казни!— по словамъ Комлева. Такъ тихо и спокойно умиралъ этотъ человѣкъ.

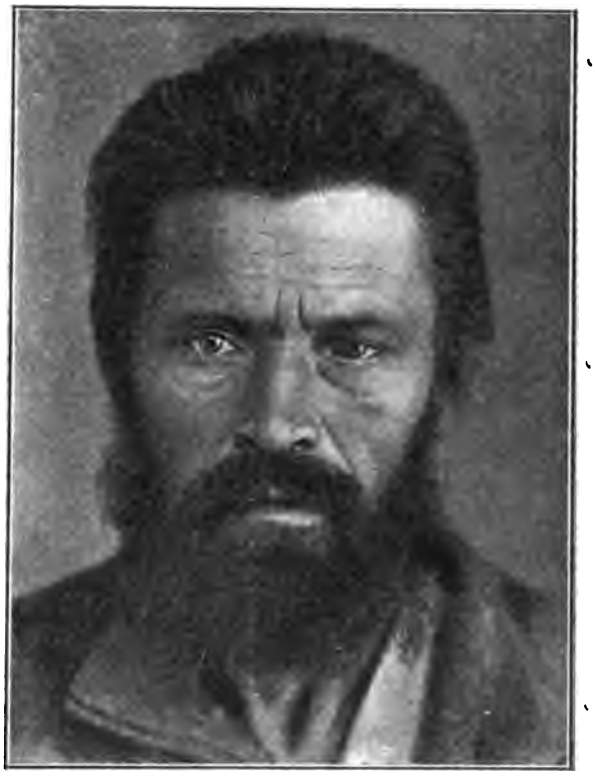
Вотъ вамъ, какъ умирали каторжники, и что такое смертная казнь.

Врядъ ли видъ ея особенно содѣйствовалъ исправленію сс.-каторжныхъ, которыхъ выгоняли изъ тюрьмы „для присутствованія“, и поселенцевъ, которые занимали самый естественный въ мірѣ амфитеатръ передъ этой противоестественной сценой.

Теперь перейдемъ къ недовольству отсутствіемъ смертной казни.

Генералъ былъ совершенно правъ, когда говорилъ, что отсутствіе смертной казни вызываетъ большое неудовольствіе во многихъ.

Даже отъ нѣкоторыхъ сахалинскихъ дамъ, среди „салонной“ болтовни, во время визита, приходилось выслушивать жалобы на то, что „каторга распущена“, и разсужденія о томъ, что „смертная казнь положительно, положительно необходима“.



Комлевъ—старѣйшій сахалинскій палачъ, осужденный за убійство и побѣги на 55 лѣтъ каторги.

— Повѣсили бы одного, двоихъ въ годъ, тогда стали бы знать!

До того среди этой каторжной обстановки даже дама можетъ „осахалиниться“.

Но, впрочемъ, пусть это служитъ только къ чести сахалинскихъ дамъ, что онѣ такъ дрожатъ за жизнь своихъ супруговъ.

Въ чемъ же причина неудовольствія самихъ сахалинскихъ интеллигентовъ?

— Помилуйте, батенька, — приходилось слышать буквально на каждомъ шагу, — вѣдь этакъ жить страшно! Того и гляди, зарѣжутъ! Безнаказанность полная! Вѣдь это курамъ насмѣхъ:

только прибавляютъ срока! У человѣка и такъ 40 лѣтъ, а ему набавляютъ еще 15. Не все ли ему равно: 40 или 55 лѣтъ?! Нѣтъ! Эти гуманности надо по боку. Смертная казнь, — вотъ что необходимо.

И когда даже я, привыкшій на Сахалинѣ цѣлые дни проводить въ обществѣ Комлевыхъ, Полуляховыхъ, „Золотыхъ Ручекъ“, выходилъ изъ терпѣнія отъ этихъ разсужденій и говорилъ имъ:

— Тогда, господа, ужъ будетъ лучше говорить о колесованіи, о четвертованіи. Это хоть будетъ имѣть смыслъ. Это, хоть еще не примѣнялось, — можетъ-быть, поможетъ. А смертная казнь примѣнялась и ничему не помогала.

На самомъ дѣлѣ!

Когда происходили всѣ эти убійства смотрителей?

Когда былъ убитъ Дербинъ? Селивановъ? Другіе? Когда было покушеніе на Ливина, на Шишкова?

Въ то время, когда за это смертная казнь полагалась обязательно.

Былъ ли убитъ хоть одинъ чиновникъ за эти четыре года, пока не было смертной казни?

Нѣтъ. Ни одного.

— А покушеніе на убійство доктора Чардынцева? А покушеніе на убійство секретаря полиціи Тымовскаго округа [1])?

Дѣйствительно, „въ производствѣ“ имѣются оба эти дѣла.

На доктора Чардынцева бросился арестантъ Криковъ.

Съ Криковымъ меня познакомилъ... докторъ Чардынцевъ.

— Ну, а теперь пойдемте посмотрѣть на человѣка, который чуть меня не зарѣзалъ! — сказалъ мнѣ докторъ, когда мы обошли весь лазаретъ.

— Какъ? Развѣ онъ здѣсь? У васъ?

— Да. Въ отдѣльной комнатѣ.

— И вы не боитесь къ нему ходить?

— Нѣтъ, ничего. Онъ теперь успокоился. Мы съ нимъ большіе друзья.

Въ маленькой отдѣльной комнаткѣ лежалъ больной Криковъ, блѣдный, исхудалый, измученный.

Принявъ меня за доктора, онъ началъ, слабымъ, прерывающимся отъ одышки голосомъ жаловаться на сильное сердцебіеніе и расхваливать своего доктора:

— Если бы вотъ не они, — прямо бы на тотъ свѣтъ о правился.

„Сильнѣйшій порокъ сердца“, шепталъ мнѣ докторъ.

---

[1]) Оба случая въ селѣ Рыльскомъ.

Тогда мы перевели разговоръ на недавнее покушеніе. Крикова сильно заволновался, схватился за голову:

— Лучше не поминайте, не поминайте про это!.. Тамъ не знаю, что со мной было... У меня бываетъ это!.. голова кружится, самъ тогда себя не помню... Ужасъ беретъ, когда подумаю, что я чуть-чуть не сдѣлалъ!.. И противъ кого же?.. Противъ доктора!.. доктора!..

И онъ смотрѣлъ на доктора Чардынцева глазами, полными слезъ, съ такой мольбой, съ такимъ благоговѣніемъ, что, право, не вѣрилось: неужели отъ рукъ этого человѣка дѣйствительно чуть-чуть не погибъ этотъ-то самый докторъ?

Арестантскіе типы.

Криковъ — не старый еще человѣкъ, но уже богадѣльщикъ: вслѣдствіе сильнѣйшаго порока сердца не способенъ ни на какую работу. Онъ — человѣкъ, несомнѣнно, психически ненормальный. Ему вѣчно кажется, что его преслѣдуютъ, обижаютъ, что къ нему относятся враждебно. Онъ вѣчно всѣмъ недоволенъ. Необычайно, болѣзненно раздражителенъ. По временамъ впадаетъ прямо въ умоизступленіе и тогда, дѣйствительно, не помнитъ, что дѣлаетъ.

Съ докторомъ Чардынцевымъ онъ все время былъ въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ.

Но въ одинъ изъ такихъ припадковъ обратился съ требованіемъ какого-то лѣкарства. Докторъ отказалъ.

— Ага! Вы меня уморить хотите! Вы меня нарочно въ лазаретѣ держите, не лѣчите! Такъ нѣтъ же, не дамся я вамъ!— завопилъ Криковъ и, прежде чѣмъ кто-нибудь успѣлъ опомниться, выхватилъ изъ-за голенища ножъ и кинулся на доктора.

Къ счастью, г. Чардынцевъ успѣлъ схватить его за руку, обезоружить; сейчасъ же отвелъ его въ отдѣльную комнату и принялся успокоивать.

Когда Криковъ опомнился и пришелъ въ себя, его горю, его отчаянью, стыду не было границъ.

Онъ и теперь безъ волненія не можетъ вспомнить объ этомъ страшномъ для него случаѣ.

Какъ видите, подъ умышленное покушеніе этого случая подвести никакъ нельзя. Я увѣренъ, — и говорю, строго провѣривъ это, — что во всей каторгѣ не найдется ни одного человѣка, который умышленно захотѣлъ бы причинить вредъ г. Чардынцеву, этому славному, доброму, симпатичному, гуманному врачу.

Онъ чуть не палъ жертвой ненормальнаго субъекта. Какой врачъ, имѣющій дѣло съ душевно-больными, застрахованъ отъ этого?

При чемъ тутъ распущенность каторги?

Случай съ секретаремъ полиціи Тымовскаго округа, — случай странный, загадочный, и если говорить о распущенности, то не одной только каторги.

Г. секретарь — человѣкъ молодой, но быстро усвоившій себѣ сахалинскіе обычаи.

Въ его канцеляріи былъ писцомъ бродяга, нѣкто Тумановъ, молодой человѣкъ, тихій, скромный, трудолюбивый, хорошо воспитанный. Онъ попалъ въ какое-то „дѣло“, не захотѣлъ срамить своей семьи, предпочелъ скрыться и пойти на каторгу подъ именемъ бродяги.

На Сахалинѣ мало стѣсняются насчетъ ругани.

И однажды г. секретарь, будучи почему-то не въ духѣ, ни за что ни про что изругалъ Туманова и при всей канцеляріи назвалъ его „подлецомъ“ и „мерзавцемъ“.

На Туманова это страшно подѣйствовало. Быть-можетъ, въ особенности потому, что это случилось тогда, когда онъ только что выбрался изъ тюрьмы и только-только началъ снова чувствовать себя человѣкомъ.

Онъ нашелъ человѣка, судьба котораго близко подходила къ его. Поселился у одной бывшей баронессы, сосланной за поджогъ, и, кажется, между ними установились отношенія болѣе нѣжныя, чѣмъ отношенія квартирной хозяйки къ жильцу.

По ея словамъ, на Тумановѣ, когда онъ пришелъ домой послѣ сцены съ секретаремъ, „лица не было“.

Онъ казался помѣшаннымъ, ходилъ по комнатѣ, хватался за голову, разговаривалъ самъ съ собою.

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Это не такъ... Я все, что угодно, но подлецомъ и мерзавцемъ я никогда не былъ. Я потому и въ каторгу пошелъ, что я не подлецъ и не мерзавецъ... Нѣтъ нѣтъ, — этого такъ оставить нельзя...

Девизъ Сахалина: „всякій за себя“. Видя, что дѣло можетъ кончиться плохо, баронесса потребовала, чтобъ Тумановъ оставилъ ея домъ:

— Дѣлайте тамъ, что вамъ угодно, но я не желаю быть впутанной въ эту исторію. Довольно съ меня! Я отбыла каторгу, поселенчество, теперь я, слава Богу, крестьянка изъ ссыльныхъ, имѣю булочную, двухъ коровъ. Мнѣ рисковать всѣмъ этимъ не приходится. У меня есть ребенокъ. Оставьте мой домъ немедленно и забудьте, что были со мной знакомы.

Арестантскіе типы.

— Мнѣ было тяжело говорить ему это,—разсказывала мнѣ она.— Вѣдь онъ на меня чуть Богу не молился. Но вы поймите и мое положеніе.

И вотъ, выкинутый на улицу, потерявшій голову, въ такую трудную минуту оттолкнутый даже той, на которую онъ „чуть Богу не молился“, Тумановъ идетъ и совершаетъ свое безумное дѣло.

У г. секретаря шла, по обычаю, картежная игра. Штоссъ — обычное времяпрепровожденіе на Сахалинѣ не однихъ каторжанъ. Какъ вдругъ докладываютъ, что г. секретаря желаетъ видѣть Тумановъ „по чрезвычайно важному и неотложному дѣлу“. Г. секретарь вышелъ въ кухню.

— Что тебѣ?

Тумановъ стоялъ передъ нимъ блѣдный, какъ смерть, съ дрожащими губами.

— Я пришелъ поблагодарить васъ за то, что вы сегодня...

Вполнѣ увѣренный, что Тумановъ пришелъ просить прощенія, — на Сахалинѣ это принято, чтобы тѣ, кого обругали, просили прощенія, быть-можетъ, это остатокъ еще тѣхъ временъ, когда выдранный каторжникъ обязанъ былъ непремѣнно

благодарить г. смотрителя за науку,—увѣренный, что Тумановъ пришелъ просить прощенія, г. секретарь сказалъ:

— Хорошо, хорошо! Прійдешь завтра!

Тогда Тумановъ сдѣлалъ шагъ впередъ и со словами:

— Это вамъ отъ подлеца и мерзавца!..— выхватилъ револьверъ. Щелкнулъ курокъ, выстрѣла не послѣдовало.

На крикъ перепуганнаго секретаря сбѣжались гости. Но Туманова уже не было. Лишь только произошла осѣчка, онъ бросился изъ кухни.

Г. секретарь и его гости пережили нѣсколько нехорошихъ минутъ. Въ домѣ масса оконъ. Ставни закрыты не были. Вотъ-вотъ въ одно изъ оконъ грянетъ выстрѣлъ.

Но тутъ исторія начинаетъ становиться удивительно странной.

Страхъ былъ напрасенъ: выстрѣлъ не грянулъ. Убѣгая изъ кухни, Тумановъ выронилъ или выбросилъ револьверъ. Оказалось, что тотъ стволъ, изъ котораго стрѣлялъ Тумановъ въ г. секретаря, не былъ вовсе заряженъ!

Что это было? Случайный недосмотръ, или только желаніе „попугать"? Если недосмотръ, кто мѣшалъ Туманову выстрѣлить еще разъ, въ то время, какъ г. секретарь стоялъ передъ нимъ, схватившись за притолоку, по его собственнымъ словамъ, „оцѣпенѣвъ отъ ужаса", не будучи въ состояніи даже крикнуть, не проявляя никакой попытки сопротивляться или обезоружить врага?

Когда Туманова поймали, въ его карманѣ нашли записку, въ которой онъ пишетъ, что рѣшилъ „покончить съ собой".

На всѣ вопросы Тумановъ отвѣчалъ только одно:

— Я не стрѣлялъ. Это подлецъ и мерзавецъ стрѣлялъ въ г. секретаря, а не Тумановъ.

И просилъ только перевести его изъ Рыковскаго въ Александровскъ. По переводѣ туда, онъ началъ вести себя еще страннѣе. Началъ писать докладныя записки, въ которыхъ проситъ для поправленія здоровья отправить его... то въ Спа, то въ Біаррицъ.

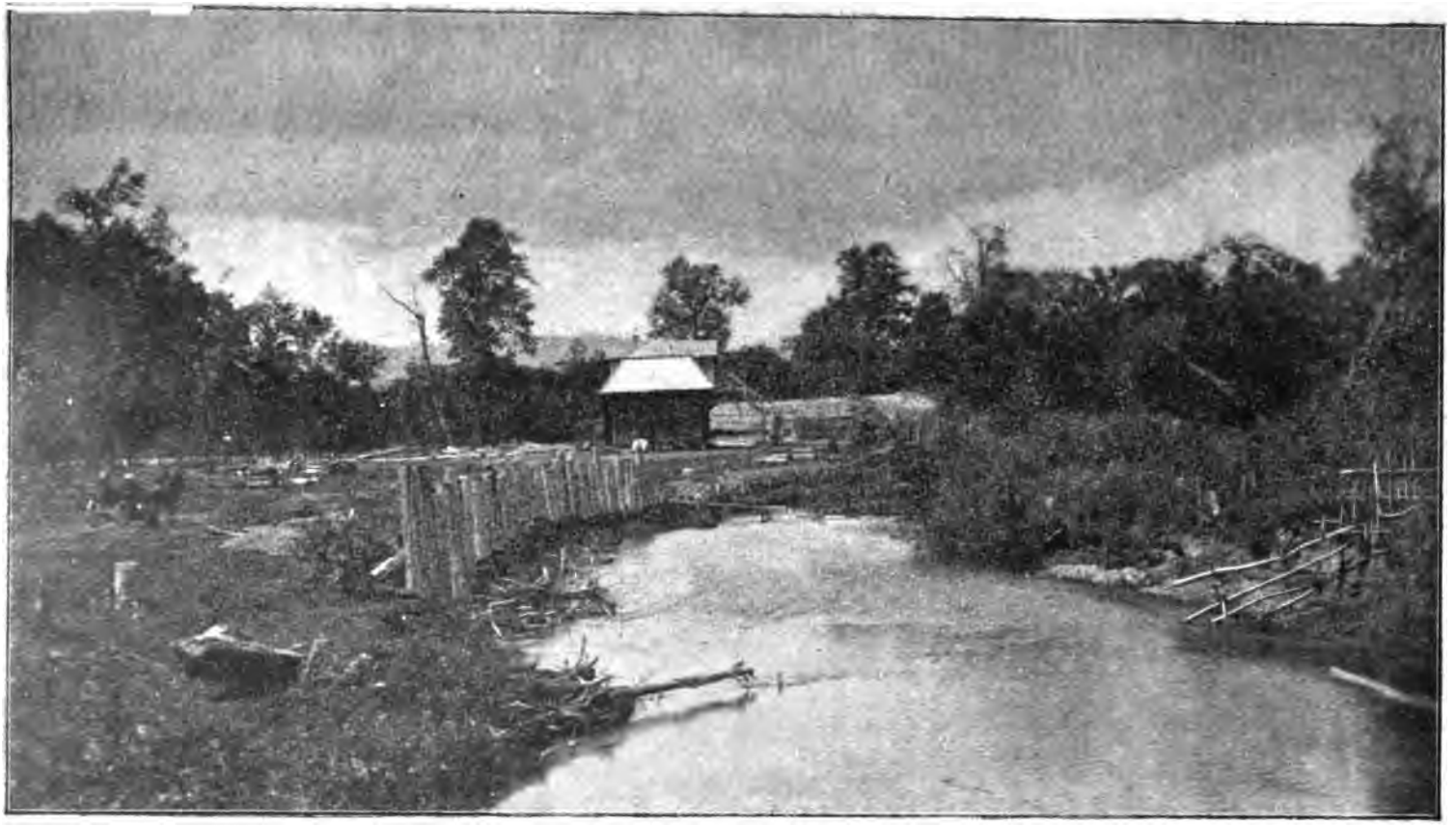
Симулянтъ это или дѣйствительно душевно-больной,— когда я уѣзжалъ съ Сахалина, еще не было выяснено: Тумановъ только что былъ отданъ для испытанія въ психіатрическое отдѣленіе.

Но несомнѣнно, что въ этомъ дѣлѣ много страннаго, много загадочнаго.

Случай этотъ произвелъ сильное волненіе среди гг. служащихъ. Братъ потерпѣвшаго, докторъ, говорилъ мнѣ:

— Какая тутъ къ дьяволу гуманность! Если его не повѣсятъ, я готовъ задушить его собственными руками.

Но братья—плохіе судьи въ дѣлахъ, гдѣ замѣшаны ихъ братья



Поселенческій бытъ. Видъ Рыковской мельницы.

Остальные гг. служащіе раздѣлились на два лагеря. Одни,— и я не скажу, чтобы это была лучшая часть сахалинскихъ служащихъ, — кричатъ:

— Повѣсить!

— Повѣсить для примѣра! Каторга распущена. Нужно защищать безопасность...

— Но, ради Бога, — говорилъ я имъ, — безопасность чего вы, добрые люди, хотите защищать такимъ страшнымъ путемъ? Безопасность ругани, издѣвательства надъ каторжанами и поселенцами? Да развѣ такъ надо обращаться съ „возрождающимся“ человѣкомъ. Вѣдь законъ, правительство хотятъ сдѣлать Сахалинъ мѣстомъ „возрожденія“ преступника.

Но въ отвѣтъ раздавалось:

— Вздоръ! Все это — одна „гуманность“!

Самое ненавистное на Сахалинѣ слово!

— Повѣсить, — и все.

Другая часть служащихъ, — и никто не скажетъ, чтобы это была худшая часть, — полагаетъ, что:

— Нужно намъ самимъ многое измѣнить въ нашихъ отношеніяхъ къ каторгѣ.

Не слѣдуетъ забывать, что даже въ этой несчастной, забитой, придавленной средѣ всегда найдутся люди, которые остатки своей чести поставятъ выше жалкихъ остатковъ своей горькой, презрѣнной жизни.

Какъ бы то ни было, но фактъ, что описанные мною два случая покушеній были единственными за тѣ четыре года, когда смертная казнь на Сахалинѣ не примѣнялась, и нравы, сравнительно съ прежними, были все-таки мягче. Всѣ убійства служащихъ, всѣ безпрестанныя покушенія, въ родѣ покушенія зарѣзать г. Ливина или повѣсить г. Фельдмана, происходили въ то время, когда нравы были куда круче и когда за убійство служащаго смертная казнь полагалась обязательно.

Слѣдовательно, не однимъ только страхомъ смертной казни можно установить добрыя отношенія каторжанъ къ гг. служащимъ. Веревка, какъ показалъ опытъ, одна веревка слишкомъ слаба, чтобы удержать безопасность гг. служащихъ на должной высотѣ.

Что касается до убійства своего же брата, поселенца, съ цѣлью грабежа, то такихъ случаевъ на Сахалинѣ, дѣйствительно очень много.

— Ну, а въ Петербургѣ, а въ Москвѣ, во всемъ мірѣ и ь мало?— основательно замѣчалъ мнѣ по этому поводу противни ь смертной казни, военный губернаторъ острова г. Мерказинъ. - А вѣдь это — островъ, сплошь населенный убійцами.

То, что говорится на Сахалинѣ, дѣйствительно, заставляе ь волосы подниматься дыбомъ, непонятно по своему ужасу д я

насъ. Но не слѣдуетъ забывать, что Сахалинъ, это—мѣсто, гдѣ все „перевернуто вверхъ ногами“. Въ этой средѣ несчастныхъ, ищущихъ забвенія, бутылка спирта стоитъ подчасъ 10 рублей. Въ этой средѣ нищихъ человѣка рѣжутъ за 60 копеекъ. Поселенцы селенія Вальзы отправились на охоту за бѣглымъ Полуляховымъ, Казѣевымъ и товарищами и стрѣляли по нимъ, боясь, что бѣглые съ голоду зарѣжутъ у нихъ корову.

Слѣдуетъ съ особой осторожностью относиться ко всѣмъ этимъ „убійствамъ съ цѣлью грабежа“. Часто тамъ, гдѣ пред-

Поселенческій бытъ. Мостъ на рѣкѣ Тверми въ селеніи Рыковскомъ.

полагаютъ грабежъ, таится месть, многолѣтняя, глубокая, затаенная такъ, какъ умѣетъ затаивать обиды только каторга.

У поселенца Потемкина, въ селеніи Михайловскомъ, Александровскаго округа, бѣглый Широколобовъ зарѣзалъ жену. И случай этотъ вызвалъ сочувствіе къ Широколобову всей каторги:

— И подѣломъ. Не онъ — другой бы это сдѣлалъ.

— За что же?

— Да вы не знаете, баринъ, что онъ за человѣкъ, этотъ Потемкинъ. Майданщикъ бывшій, „отецъ“, на нашей крови, какъ клопъ, раздулся. Нашими слезами напился. Сколько народу изъ-за него навѣкъ погибло, сколькихъ до „свадьбы“ (смѣны именъ) довелъ, сколько въ бѣга отъ него пустилось и изъ малосрочныхъ въ вѣчные каторжники перешло, сколько народу изъ-за него перерѣзано!

Мнѣ пришлось остановиться у одного богатаго поселенца, домъ котораго положительно представлялъ собою вооруженную крѣпость. По стѣнамъ, надъ постелями, — вездѣ револьверы.

— А на ночь мы вамъ, баринъ, на столикѣ около револьверъ положимъ, а свой-то вы подъ подушку суньте. Который будетъ ловчѣе достать.

Я удивился.

— Что такъ?

— Грабить меня собираются. Широколобовъ тутъ въ округѣ балуетъ. По ночамъ мнѣ военный караулъ отряжаютъ. Въ сараюшкѣ тутъ непремѣнно прячется. Пусть прійдутъ, пусть пограбятъ.

Но насмерть перепуганная, слезливая хозяйка не удержалась и повѣдала мнѣ истинную причину ожидавшагося нападенія:

— Убивца одного бѣглаго хозяинъ-то мой въ Александровскѣ призналъ. Зато и порѣшили всѣхъ перерѣзать. Не любятъ они хозяина-то: лютъ онъ съ ними, что грѣха таить! Деньгу любитъ и беретъ. Ну, да вѣдь для того и на Сакалинѣ живемъ, чтобы чѣмъ ни на есть себя вознаградить. Каторгу, поселенье отбыли, — должны за это что нажить. Вѣдь у насъ дѣти.

И такъ во многихъ случаяхъ, гдѣ сначала подозрѣваютъ только одинъ грабежъ. Много бываетъ случаевъ и убійствъ съ цѣлью только грабежа. Безработица, голодъ, полное неумѣнье заняться тѣмъ дѣломъ, которымъ заставляютъ заниматься, очень часто, непривычка къ труду, нежеланіе трудиться, порча человѣка тюрьмой, страсть къ картамъ, — вотъ что толкаетъ сахалинца итти убивать и грабить. Среди всѣхъ этихъ причинъ, страсть къ картамъ и невозможность что-либо заработать — главнѣйшія. Нигдѣ, конечно, нѣтъ столько „голодныхъ убійствъ“, какъ на Сахалинѣ. Мнѣ разсказывали нѣсколько каторжанъ, какъ они, окончивъ каторгу „по рассейскому преступленію“ и выйдя на поселеніе, уже на Сахалинѣ убили поселенца. Выпросили у кого-то на время „поработать“ топоръ и пошли.

— Бить долженъ былъ Степка, потому онъ въ тѣ поры былъ посильнѣе насъ всѣхъ.

„Степка“ размахнулся топоромъ:

— Ударилъ поселенца по головѣ, да съ размаха-то и самъ на него повалился.

— Почему же?

— Ослабъ больно. Три дня передъ тѣмъ ничего не ѣлъ. Онъ, поселенецъ-то, ежели бъ захотѣлъ, самъ бы насъ всѣхъ какъ котятъ передушилъ. Убили—и сейчасъ это на куфню з хлѣбомъ. Енъ тута лежитъ, а мы жремъ. Смѣхота!..

Такъ ихъ и „накрыли“.

Но веревка, какъ устрашающее средство, обанкротилась и въ дѣлѣ предупрежденія этихъ убійствъ.

Когда происходили всѣ эти ужасающія убійства, въ родѣ до сихъ поръ памятнаго даже на Сахалинѣ убійства лавочника Никитина? Въ то время, когда казнь въ Воеводской тюрьмѣ была въ самомъ разгарѣ, и палачъ Комлевъ, по его выраженію, „работалъ“.

Эти случаи были, есть и будутъ, пока на Сахалинѣ не измѣнится многое, толкающее людей на преступленіе.

Викторовъ Николай, сосланный за убійство дѣвушки въ Москвѣ.

Имѣетъ ли смертная казнь, вообще, такое устрашающее вліяніе, какое приписываютъ ей гг. сахалинскіе сторонники повѣшенья „для примѣра“?

Надо вамъ сказать, что, благодаря невѣжеству и полному незнакомству съ закономъ, очень многіе преступники, совершая преступленіе, были увѣрены, что имъ за него „полагается веревка“.

Полуляховъ, убивая семью Арцимовичей въ Луганскѣ, былъ вполнѣ увѣренъ, что его, если поймаютъ, непремѣнно повѣсятъ:

— Вѣдь не кто-нибудь, членъ суда. Былъ увѣренъ, что за это веревки не избѣжать.

Единственнымъ послѣдствіемъ этой боязни было то, что онъ убилъ и мальчика, сына Арцимовича.

— Жаль было его убивать. Рука не поднималась... Даже и удара-то я ему не могъ нанести какъ слѣдуетъ... Но какъ подумалъ, что не о чемъ другомъ, о моей жизни идетъ тутъ рѣчь, — и убилъ.

Викторовъ, своимъ убійствомъ молодой дѣвушки въ Москвѣ надѣлавшій очень много шума, былъ тоже увѣренъ, что его за это непремѣнно повѣсятъ.

Онъ и на судѣ ждалъ смертнаго приговора. Его ужасъ былъ такъ великъ, что онъ не сознавалъ, что говорилось на судѣ. Онъ до сихъ поръ увѣренъ, что прокуроръ, указывая на окровавленныя вещи жертвы, требовалъ, чтобъ его, Викторова, тоже разрубили на части. Когда объявили, что онъ приговоренъ къ каторгѣ, Викторовъ „такъ обрадовался, что даже не зналъ: вѣрить или нѣтъ".

Этотъ страхъ смертной казни заставилъ Викторова только разрубить трупъ убитой имъ дѣвушки на части, запаковать въ чемоданъ и отправить по желѣзной дорогѣ. Въ то время всѣ удивлялись этому хладнокровному звѣрству преступника. А въ сущности, это „хладнокровное звѣрство" было не чѣмъ инымъ, какъ трусостью передъ веревкой.

Знаменитый когда-то на югѣ преступникъ Позульскій зарѣзалъ въ Херсонѣ помощника смотрителя тюрьмы при совершенно исключительныхъ обстоятельствахъ. Помощникъ смотрителя приказалъ его отколотить прикладами. Позульскій далъ обѣщаніе отомстить. Затѣмъ онъ бѣжалъ, два года скрывался, былъ пойманъ и черезъ два года, попавъ снова въ херсонскую тюрьму, „исполнилъ свое слово". Зналъ ли онъ, что его за это ждетъ веревка? Былъ въ этомъ увѣренъ.

Но его положеніе было таково, что иначе онъ поступить не могъ. Цѣной большихъ трудовъ онъ завоевалъ себѣ въ мірѣ преступниковъ титулъ „настоящаго Ивана". Въ этомъ мірѣ его боялись, его приказанія исполнялись безпрекословно. Онъ, какъ это подтверждали мнѣ смотрители тюремъ, однимъ приказаніемъ усмирялъ арестантскіе бунты, онъ давалъ, какъ, напримѣръ, Іовановичу, рекомендательныя письма, съ которыми рекомендованныя имъ лица пользовались льготами во всѣхъ тюрьмахъ. Я самъ на Сахалинѣ видѣлъ то прямо невѣроятное почтеніе, которымъ въ арестантскомъ мірѣ окруженъ Позульскій: съ нимъ никто не смѣетъ говорить въ шапкѣ. Его уважали, потому что боялись. Слушались, потому что передъ его „угрозой" дрожали. Въ случаѣ съ херсонскимъ помощникомъ смотрителя онъ ставилъ на карту все. Онъ далъ слово — и долженъ былъ исполнить угрозу. Его боялись, потому что онъ самъ не боялся ничего. Люди такого сорта должны держать слово. Иначе, тюрьма увидитъ, что поклонялась простой деревяжкѣ, когда съ идола слѣзетъ позолота. Какъ бы издѣвалась какъ бы глумилась тюрьма надъ „струсившимъ" Позульским какъ поступаютъ люди вообще съ тѣмъ, кто падаетъ съ выс каго пьедестала?!

И Позульскій предпочелъ смерть такой жизни и зарѣза.

На Сахалинѣ нѣкто Капитонъ Звѣревъ зарѣзалъ докто Заржевскаго. Это былъ докторъ стараго закала, какихъ оче

любили гг. смотрители. Для него не было больныхъ и слабосильныхъ. Когда являлись на освидѣтельствованіе, онъ, обыкновенно, писалъ: „Дать 50 розогъ“. Звѣревъ надорвался на работѣ, не былъ въ состояніи выполнять „уроковъ“ и, получивъ массу „лозъ“, явился къ доктору отпроситься отъ работъ. Докторъ Заржевскій прописалъ ему свой обычный „рецептъ“. Тогда Звѣревъ выхватилъ заранѣе приготовленный ножъ и зарѣзалъ доктора. Это было еще въ тѣ времена, когда вѣшали.

— А не боялся, что повѣсятъ?—спрашивалъ я Звѣрева.

— Даже удивились всѣ, какъ я отъ веревки ушелъ. Увѣренъ былъ, что повѣсятъ.

— Зачѣмъ же дѣлалъ это?

— Да усталъ больно на кобылу ложиться. Такъ рѣшилъ: лучше ужъ смерть, чѣмъ этакая жизнь.

— Ну, и покончилъ бы съ собой.

— А онъ, мучитель, другихъ мучить будетъ? Нѣтъ, ужъ такъ рѣшилъ: ежели мнѣ конецъ, то пусть ужъ другимъ хоть лучше будетъ. Помирать, — такъ не одному.

Антоновъ-Балдоха, долго наводившій на Москву трепетъ, какъ одинъ изъ коноводовъ гремѣвшей когда-то шайки „замоскворѣцкихъ баши-бузуковъ“, все время ждалъ, что „поймаютъ, — безпремѣнно повѣсятъ“. Такъ ему и другіе товарищи говорили. Это заставляло его только, по его выраженію, „работать чисто“.

— Возьмешь что, — бьешь. Потому уличить можетъ, зачѣмъ въ живыхъ оставлять, — веревка.

Страхъ смертной казни заставляетъ преступника быть болѣе жестокимъ, — это часто. Останавливаетъ ли отъ преступленія? Факты говорятъ, что нѣтъ.

Не слѣдуетъ забывать объ одномъ важномъ, такъ сказать, элементѣ преступной натуры, — о крайнемъ легкомысліи преступника. Всякое наказаніе страшитъ преступника, но онъ всегда надѣется, что удастся избѣжать и не быть открытымъ. Разберите большинство преступленій, и васъ, въ концѣ концовъ, поразитъ ихъ удивительное легкомысліе.

— Почему же ты убилъ?

— Слыхалъ, что деньги есть.

— Ну, а самъ ты зналъ, есть ли деньги, сколько ихъ?

— А почемъ я могъ знать? Не зналъ. Люди говорили, будто есть. Анъ не оказалось.

— Да вѣдь, оставивъ въ сторонѣ все прочее, вѣдь, идя на такое дѣло, ты рисковалъ собой?

— Извѣстно.

— Какъ же ты, рискуя всей своей жизнью, не зналъ даже изъ-за чего ты рискуешь?

Что это, какъ не крайнее легкомысліе!

Или:

— Убилъ, потому мужикъ богатый. Думалъ, возьму тыщи двѣ. Хату нову построю, своя-то больно развалилась.

— Такъ. Ты былъ, говоришь, мужикъ бѣдный?

— Бѣднѣющій.

— И вдругъ бы хату новую построилъ. Всѣ бы удивились: на какія деньги? А тутъ рядомъ богатый сосѣдъ убитъ и ограбленъ. У всякаго бы явилось на тебя подозрѣніе.

— Оно, конечно, такъ. Извѣстно, ежели бъ раньше все обмозговать, — можетъ, лучше бъ и не убивать. Да такъ ужъ въ голову засѣло: убью да убью, хату нову поставлю, своя-то ужъ больно развалилась.

Или: убилъ, ограбилъ и ушелъ въ притонъ, началъ пьянствовать, хвастаться деньгами, — тамъ его и накрыли. А человѣкъ бывалый: былъ стрѣлкомъ, форточникомъ, поѣздошникомъ, парадникомъ, громилой. Прошелъ всѣ стадіи своего ремесла,— ничѣмъ другимъ, кромѣ кражъ, въ жизни не занимался. Долженъ знать все „насквозь“.

— Ну, зачѣмъ же пьянствовать сейчасъ же пошелъ, — да еще куда? Знаешь вѣдь, что, случись грабежъ, полиція первымъ дѣломъ въ притонъ бросается: тамъ вашего брата ищетъ.

— Извѣстно. Это у нея дѣло первое.

— Ну, зачѣмъ же шелъ?

— Думалъ, что на поѣздъ пойдутъ искать. Будутъ думать, что изъ города уѣхалъ.

Это изумительное легкомысліе заставляетъ ихъ и съ Сахалина бѣжать. Люди знаютъ, что идутъ на вѣрную смерть, что впереди Татарскій проливъ, лѣсная пустыня,—а идутъ, потому что „надѣются“.

Этого легкомыслія не пересилитъ даже страхъ веревки.

Съ другой стороны, есть люди, которыхъ, какъ Позульскаго, толкаютъ на преступленіе обстоятельства: ему лучше умереть.

Съ третьей стороны, можно человѣка, какъ Звѣрева, довести до такого состоянія, когда смерть покажется благомъ.

Наконецъ, не слѣдуетъ забывать, что не всегда преступленія на Сахалинѣ совершаются по личной иниціативѣ. Очень часто они совершаются по приговору каторги человѣкомъ, —, котораго палъ жребій. Для такого человѣка нѣтъ выбора: исполнитъ или не исполнитъ онъ приговоръ каторги, — ( ) одинаково ждетъ смерть. .

Я не собираюсь писать трактата о смертной казни вообще. Моя задача гораздо болѣе узкая: сказать то, что я знаю ( ) смертной казни на Сахалинѣ.

Но несомнѣнно, что одинъ изъ главныхъ доводовъ, который приводятъ противники смертной казни,—„непоправимость наказанія“ въ случаѣ ошибки правосудія,—нигдѣ не выступаетъ такъ ярко, какъ именно на Сахалинѣ. Нигдѣ онъ не витаетъ такимъ страшнымъ призракомъ.

Правосудіе ошибается повсюду. Но врядъ ли гдѣ такъ трудно избѣжать ошибки, какъ на Сахалинѣ. Производить слѣдствіе тамъ, гдѣ вы должны допрашивать безъ присяги, гдѣ ничто уже не грозитъ за лжесвидѣтельство, производить слѣдствіе въ средѣ исключительно преступной, нищей, голодной, въ средѣ, гдѣ люди продаются и покупаются за десятки копеекъ, гдѣ ложь передъ начальствомъ — обычай, а укрывательство преступниковъ — законъ,— производить слѣдствіе, творить судъ въ такой средѣ, при такихъ обстоятельствахъ особенно трудно.

Тутъ труднѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было, узнать истину. И правосудію, окруженному непроходимою ложью, нигдѣ такъ не легко впасть въ ошибку.

При такихъ условіяхъ „непоправимость наказанія“ вселяетъ особенный ужасъ.

Смертная казнь, это страшное, непоправимое, могущее часто быть ошибочнымъ, 23-лѣтнимъ опытомъ доказавшее свою несостоятельность въ дѣлѣ устрашенія наказаніе, 4 года было спрятано въ архивъ на Сахалинѣ, и никому никакого худа отъ этого не вышло.

Палачи.

«Каждый разъ, какъ вамъ кажется, что вы коснулись ужъ послѣдней ступени человѣческаго паденія, — вы, навѣрное, ошибаетесь. Навѣрное, есть ступень еще ниже. Нѣтъ такой ступени, ниже которой не могъ бы пасть человѣкъ. Бездонна эта бездна человѣческаго паденія».

Изъ дневника.

Толстыхъ.

— Здравствуй, умница!

— Здравствуйте, дяденька!

— Кому, дурочка, дяденька, а твоему сожителю крестный отецъ! — весело шутитъ на ходу старый сахалинскій палачъ Толстыхъ.

— Да почему жъ ты ему крестный отецъ?

— Дралъ я ея сожителя, ваше высокоблагородіе!

— А много ты народу передралъ?

Только посмѣивается:

— Да вотъ все, что кругомъ, ваше высокоблагородіе, видите, — все мною перепорото!

Толстыхъ лѣтъ подъ шестьдесятъ. Но на видъ не больше сорока. Онъ бравый мужчина, въ усахъ, подбородокъ всегда чисто-начисто бреетъ. Живетъ по-сахалински, зажиточно. Одѣтъ щеголевато, въ пиджакъ, высокіе сапоги, даже кожаную фуражку, — верхъ сахалинскаго шика. Вообще, „себя соблюдаетъ“. Настроеніе духа у него всегда великолѣпное: шутитъ и балагуритъ.

Толстыхъ, — какъ и по его странной фамиліи видно, — сибирякъ. На вопросъ, за что попалъ въ каторгу, отвѣчаетъ:

— За жану!

Онъ отрубилъ женѣ топоромъ голову.

— За что жъ ты такъ ее?

— Гуляла, ваше высокоблагородіе.

Попавъ на Сахалинъ, этотъ сибирскій Отелло „не потерялся“. Сразу нашелся: жестокій по природѣ, сильный, ловкій, онъ пошелъ въ палачи.

Человѣкъ рожденъ быть артистомъ. Человѣкъ изо всего сдѣлаетъ искусство. Какой инструментъ ему не дайте, онъ на всякомъ сдѣлается виртуозомъ. Сами смотрители тюремъ жалуются:

— У хорошаго палача ни за что не разберешь: дѣйствительно онъ поретъ страшно, или видъ только дѣлаетъ. Ударъ наноситъ, кажется, страшный...

Дѣйствительно, сердце падаетъ, какъ взмахнетъ плетью...

— А ложится плеть мягко и безъ боли. Умѣютъ они это, подлецы, дѣлать. Не уконтролируешь!

Толстыхъ научился владѣть плетью въ совершенствѣ. И грабилъ же онъ каторгу! Заплатятъ, — послѣ ста плетей человѣкъ встанетъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Не заплатятъ, — держись.

Человѣкъ ловкій и оборотистый, онъ умѣлъ вести свои дѣла „чисто“: и начальство его поймать не могло, и каторга боялась.

Боялась, но въ тѣ жестокія времена палача, съ которымъ можно столковаться, считала для себя удобнымъ.

— Зналъ, съ кого сколько взять! — поясняли мнѣ старые каторжане на вопросъ, какъ же каторга терпѣла такого „грабителя“.

— Мнѣ каторга, неча Бога гнѣвить, досталась легко! говоритъ Толстыхъ.

Окончивъ срокъ каторги, Толстыхъ вышелъ на поселе съ деньгами и занялся торговлей. Онъ барышничаетъ, ску и перепродавая разное старье.

Его никто не чурается, — напротивъ, съ нимъ им дѣло охотно:

— Парень-то больно оборотистый!

Когда я познакомился съ Толстыхъ, онъ переживалъ трудныя времена: кому-то надерзилъ, и его на мѣсяцъ отдали „въ работу“: назначили разсыльнымъ при тюрьмѣ.

— День денской бѣгаю. Въ дѣлахъ упущенье. Хотя бы вы за меня, ваше высокоблагородіе, похлопотали! — просилъ Толстыхъ. — За что жъ меня въ работу? Затруднительно.

Поселенческій бытъ. Торговля въ воскресенье на базарѣ.

— Въ палачахъ, небось, легче было?

— Въ палачахъ, извѣстно. Тамъ доходъ.

— Что жъ, опять бы въ палачи хотѣлось?

— Зачѣмъ? Я и торговлишкой хлѣбъ имѣю. Палачъ — дѣлю каторжное. А я теперь — поселенецъ. Такъ, порю иногда по вольному найму.

— Какъ „по вольному найму“?

— Палача въ прошломъ вотъ году при тюрьмѣ не было. Никто не хотѣлъ. А приговоровъ накопилось, — сполнять надо. Ну, и перепоролъ 50 человѣкъ за три цѣловыхъ.

— А правду про тебя, Толстыхъ, разсказываютъ, что ты намался за 15 рублей насмерть запоротъ арестанта Школкина?

Только посмѣивается:

— Сакàлинъ, ваше высокоблагородіе!

Медвѣдевъ.

Палачъ Корсаковской тюрьмы, Медвѣдевъ, быть-можетъ, самое отратительное и несчастное существо на Сахалинѣ.

Вся жизнь его — сплошной трепетъ.

Проходя мимо тюрьмы, вы увидите у воротъ приземистаго, нескладнаго арестанта. Руки, какъ грабли. Большія, оттопырившіяся уши торчатъ, какъ лопухи. Маленькій красненькій носъ. Лицо — словно морда огромной летучей мыши.

Отъ воротъ онъ не отходитъ ни шагу. Это — Медвѣдевъ „гуляетъ“. Онъ все время держится на глазахъ у часовыхъ и ни за что не отойдетъ въ сторону.

— Будто прикованный!

Медвѣдевъ и въ палачи пошелъ „изъ страха“.

Въ 1893 году онъ судился въ Екатеринодарѣ за убійство хозяина постоялаго двора, у котораго служилъ въ работникахъ. Убійство съ цѣлью грабежа. Хозяинъ, по словамъ Медвѣдева, былъ ему долженъ и не отдавалъ денегъ.

— По подозрѣнію въ убивствѣ! — говоритъ Медвѣдевъ.

И этотъ человѣкъ, вызвавшійся быть палачомъ, вѣшавшій, упорно отрицаетъ, что онъ убилъ хозяина.

— Не мой грѣхъ, — да и все.

Послѣ того, какъ мы познакомились больше, Медвѣдевъ объяснилъ мнѣ, почему онъ такъ упорно отрицаетъ свою вину.

— Не въ сознаніи я судился!

— Ну?

— Ну, и положили мнѣ наказаніе. А скажу, что я, — пожалуй, еще наказанія прибавятъ. Мнѣ теперь говорить нельзя.

Въ палачи Медвѣдевъ пошелъ изъ страха передъ каторгой:

— Слыхалъ, что въ каторгѣ людей подъ земь сажаютъ. Боялся я шибко. Потому и въ палачи вызвался, — думалъ, въ Рассеѣ при тюрьмѣ оставятъ.

Въ тюрьмѣ, гдѣ содержался Медвѣдевъ, предстояла казнь двухъ кавказцевъ-разбойниковъ. Палача не было, Медвѣдевъ и „вызвался“.

Объ этой казни Медвѣдевъ разсказываетъ съ тѣмъ же тупымъ, спокойнымъ лицомъ, равнодушно, до сихъ поръ только жалѣетъ, что „не все по положенію получилъ“:

— Рубаха красная мнѣ слѣдовала. Да сшить не успѣли, — такъ рубаха и пропала. Халатъ только новый дали.

— Что жъ ты передъ казнью водку хоть пилъ?

— Нѣтъ, зачѣмъ. Захмелѣть боялся. Былъ трезвый.

— И ничего? Не страшно было?

— Ничаво. Только какъ закрутился первый, страшно стало. Въ душу подступило.

И Медвѣдевъ указалъ куда-то на селезенку.

— Ну, а если бы здѣсь вѣшать пришлось?

— Что жъ. Прикажутъ, — повѣшу.

Надежды Медвѣдева не сбылись: палачомъ его при тюрьмѣ не оставили, а послали на Сахалинъ.

— Ну, хорошо. Тамъ ты въ палачи пошелъ, боялся, что подъ земь въ каторгѣ посадятъ. А здѣсь-то зачѣмъ же въ палачахъ остался? Здѣсь вѣдь ты увидалъ, что это все сказки и подъ земь не сажаютъ.

— А здѣсь ужъ мнѣ нельзя. Мнѣ ужъ въ арестантскую команду итти невозможно: палачомъ былъ, — пришьютъ (убьютъ). Мнѣ изъ палачей уходить невозможно.

И онъ держится въ палачахъ изъ страха.

Медвѣдевъ живетъ въ страшной нищетѣ: никакого имущества. Ничего, кромѣ кобылы да плети, казенныхъ вещей, сданныхъ ему на храненіе.

Изъ страха онъ не беретъ даже взятокъ.

Когда пригоняется новая партія, между арестантами всегда идетъ сборъ „на палача", для тѣхъ, кто пришелъ на Сахалинъ съ наказаньемъ плетьми или розгами, по приговору суда. Ни одинъ арестантъ никогда не откажетъ въ копейкѣ, послѣднюю отдаетъ при сборѣ „на палача". Это — обычный доходъ палачей.

Но Медвѣдевъ и отъ этого отказывается:

— Нельзя. Возьмешь деньги да тихо драть будешь, — изъ палачей выгонятъ. А возьмешь деньги да шибко пороть начнешь, — каторга убьетъ.

И то, что онъ не беретъ, въ одинъ голосъ подтверждаетъ вся тюрьма.

— Хоть ты ему что, — запоретъ!

Деретъ онъ, дѣйствительно, отчаянно.

— Такъ, песъ, смотрителю въ глаза и смотритъ. Ему только мигни, — духъ вышибетъ. Нешто онъ что чувствуетъ!

А „чувствуетъ" Медвѣдевъ, когда передъ нимъ лежитъ арестантъ, вѣроятно, многое. Этотъ трусъ становится на одну минуту могучимъ. Все вымещаетъ онъ тогда: и вѣчное униженіе, и вѣчный животный страхъ, и нищету свою, и свою боязнь брать. Все припоминается Медвѣдеву, когда передъ нимъ лежитъ человѣкъ, котораго онъ боится. За всю свою собачью жизнь разсчитывается.

И чѣмъ больше озлобляется, тѣмъ больше боится, и чѣмъ больше боится, тѣмъ больше озлобляется.

Изъ страха Медвѣдевъ даже не пользуется тѣмъ нѣкоторымъ комфортомъ, который полагается палачу.

Палачу полагается отдѣльная каморка. Медвѣдевъ въ ней не живетъ:

— Ночью выломаютъ двери и пришьютъ.

Онъ валяется у хлѣбопековъ. Отъ хлѣбопековъ зависитъ количество припека; смотрители хлѣбопековъ цѣнятъ; хлѣбопековъ не дерутъ, — хлѣбопекамъ не за что злобствовать на палача,—и у нихъ Медвѣдевъ чувствуетъ себя въ безопасности. Хлѣбопеки его, конечно, презираютъ и „держатъ за собаку". Когда кто-нибудь изъ хлѣбопековъ напьется, онъ глумится надъ Медвѣдевымъ, заставляетъ его, напримѣръ, спать подъ лавкой.

— А то выгоню!

И тотъ лѣзетъ подъ лавку, какъ собака.

— Ночью-то онъ на минутку выйти боится!

Медвѣдевъ со страхомъ и ужасомъ думаетъ о томъ, о чемъ всякій каторжникъ только и мечтаетъ: когда онъ кончитъ каторгу.

— О чемъ я васъ попросить хотѣлъ, ваше высокоблагородіе!—робко и нерѣшительно обратился онъ однажды ко мнѣ, и въ голосѣ его слышалось столько мольбы:

— Попросите смотрителя, когда мнѣ срокъ кончится, чтобъ меня въ палачахъ оставили. Какъ мнѣ на поселеніе выйти? Убьютъ меня, безпремѣнно убьютъ!

И онъ даже прослезился, этотъ человѣкъ, мечта котораго остаться до конца жизни палачомъ, ужасъ котораго — выйти на свободу.

Опъ повалился въ ноги:

— Попросите!

И хотѣлъ цѣловать руки.

Комлевъ.

Противъ оконъ канцеляріи Александровской тюрьмы бродитъ низкорослый, со впалой грудью, мрачный, понурый человѣкъ. И бродитъ какъ-то странно. Голодныя собаки, которыхъ часто бьютъ, ходятъ такъ мимо оконъ кухни. Не спуская глазъ съ оконъ и боясь подойти близко: а вдругъ кипяткомъ ошпарятъ.

Это — Комлевъ, старѣйшій сахалинскій палачъ. Теперь ставной.

Онъ прослышалъ, что въ Александровской тюрьмѣ буд вѣшать бродягу Туманова, стрѣлявшаго въ чиновника, и п шелъ съ поселья, гдѣ живетъ въ качествѣ богадѣльщика:

— Безъ меня повѣсить некому.

Онъ повѣсилъ на Сахалинѣ 13 человѣкъ. Спеціалистъ по этому дѣлу и надѣется „заработать рубля три“.

А пока, въ ожиданіи казни, онъ нанялся у каторжанки, живущей съ поселенцемъ, няньчить дѣтей.

Таковы сахалинскіе нравы.

Комлевъ пришелъ къ тюрьмѣ провѣдать: „не слышно ли, когда“ — и бродитъ противъ оконъ канцеляріи, потому что здѣсь есть надзиратели.

Комлева ненавидитъ вся каторга. Гдѣ бы ни встрѣтился, — его каждый бьетъ. Бьютъ, какъ собаку, пока не свалится безъ чувствъ, гдѣ-нибудь въ канаву. Отдышится и пойдетъ.

Живучъ старикъ необычайно. 50 лѣтъ, и грудь впалая, и тѣло все истерзано, и отъ битья кашляетъ иногда кровью, а въ рукахъ сила необычайная.

„Комлевъ“ — это его палачскій псевдонимъ.

Когда бьютъ розгами тонкимъ концомъ, это называется:

— Давать лозы.

Когда бьютъ толстымъ, — это:

— Давать комли.

Комлевъ.

Отсюда и это прозвище „Комлевъ“.

Комлевъ — костромской мѣщанинъ, изъ духовнаго званія, учился въ училищѣ при семинаріи и очень любитъ тексты, преимущественно изъ Ветхаго завѣта.

Онъ былъ осужденъ за денной грабежъ съ револьверомъ, а 20 лѣтъ. Въ 77 году онъ бѣжалъ съ Сахалина, но въ самомъ узкомъ мѣстѣ Татарскаго пролива, почти достигнувъ материка, былъ пойманъ гиляками, получилъ 96 плетей и 3 лѣтъ прибавки къ сроку. Въ тѣ жестокія времена палачамъ работы было много, и палачу, тоже сахалинской знаменитости,

Терскому потребовался помощникъ. Въ тюрьмѣ бросили жребій: кому итти въ палачи. И жребій выпалъ Комлеву.

Но Комлевъ все еще мечталъ о волѣ и въ 89 году опять бѣжалъ, его поймали на Сахалинѣ же, прибавили еще 15 лѣтъ каторги.

— И того, 55 лѣтъ чистой каторги!—съ чувствомъ достоинства говоритъ Комлевъ.

И приговорили къ 45 плетямъ.

Плети давалъ „ученику“ Терскій.

— Ну, ложись, ученикъ, я тебѣ покажу, какъ надо драть.

И „показалъ“.

Въ 97 году Комлевъ говорилъ мнѣ:

— До сихъ поръ гнію.

И раздѣлся. Тѣло — словно прижжено каленымъ желѣзомъ. Страшно было смотрѣть. Мѣстами зарубцевалось въ бѣлые рубцы. А мѣстами, вмѣсто кожи, — тонкая красная пленочка.

— Пожмешь и течетъ!

Пленочка лопнула, и потекла какая-то сукровица.

На луетической почвѣ это наказаніе разыгралось во что-то страшное.

Такъ глумился палачъ надъ палачомъ.

Скоро, однако, Терскаго поймали въ томъ, что онъ, взявъ взятку съ арестанта, наказалъ его легко.

Терскому назначили 200 розогъ и наказать его дали Комлеву.

— Ты меня училъ, какъ плетями, а я тебѣ покажу, что розгами можно сдѣлать.

Терскій до сихъ поръ гніетъ. То, что онъ сдѣлалъ съ Комлевымъ,—шутка въ сравненіи съ тѣмъ, что Комлевъ сдѣлалъ съ нимъ.

— По Моисееву закону: око за око и зубъ за зубъ! — добавляетъ Комлевъ при этомъ разсказѣ.

— Я драть умѣю: на моемъ тѣлѣ выучили.

Бѣглый каторжникъ Губарь, который былъ приговоренъ къ плетямъ за людоѣдство, послѣ 45 или 48 комлевскихъ плетей, былъ унесенъ въ лазаретъ и чрезъ три дня, не приходя въ себя, умеръ. И Комлевъ сдѣлалъ это, получивъ взятку отъ каторги, которая ненавидѣла Губаря.

Доктора, присутствовавшіе при наказаніяхъ, которыя приводилъ въ исполненіе Комлевъ, говорятъ, что это что-то в вѣроятно страшное.

Это не простое озлобленіе Медвѣдева. Это утонченное з чительство. Комлевъ смакуетъ свое могущество. Онъ да особый костюмъ себѣ выдумалъ: красную рубаху, черный фа тукъ, сшилъ какую-то высокую черную шапку. И крикнулъ

— Поддержись!

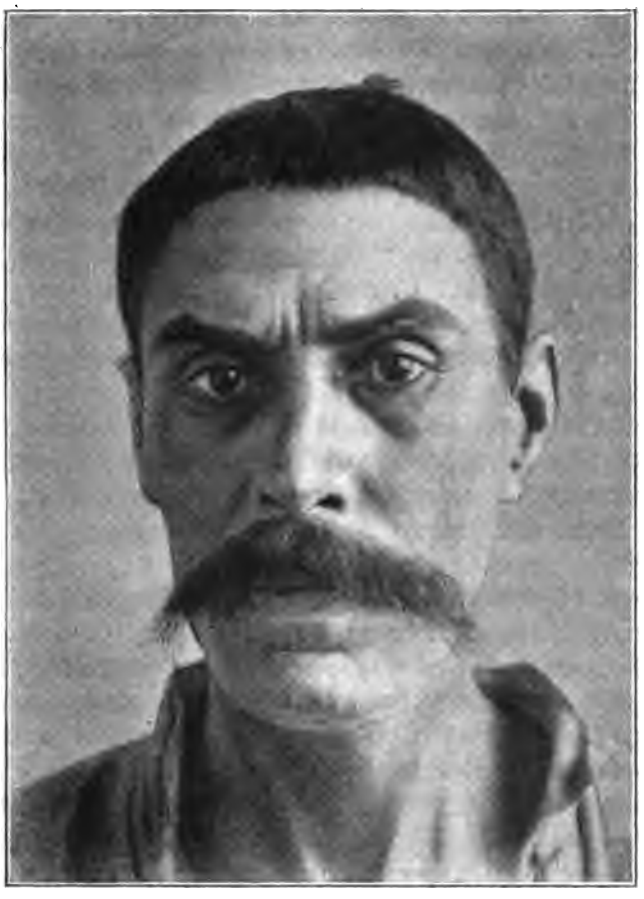
Медлитъ и выжидаетъ, словно любуясь, какъ судорожно подергиваются отъ ожиданія мускулы у жертвы.

Докторамъ приходилось отворачиваться и кричать:

— Скорѣе! Скорѣе!

Чтобы прекратить это мучительство.

— А они меня мало бьютъ? Всю жизнь изъ меня выбили! —



Арестантскіе типы.

говоритъ Комлевъ, когда его спрашиваютъ, почему онъ такъ „лютѣетъ“, подходя къ разложенному на кобылѣ человѣку.

Чѣмъ-то дѣйствительно страшнымъ вѣетъ отъ этого человѣка, который выкладываетъ по пальцамъ, „сколько ихъ всего было“:

— Сначала одинъ въ Воеводской... потомъ еще два въ Воеводской... Двухъ въ Александровской... Да двухъ еще въ Воеводской... да еще одинъ... да еще три... да еще одинъ... да еще одинъ... Всего мною было повѣшено 13 человѣкъ.

И было жутко, когда онъ разсказывалъ мнѣ подробно, какъ это дѣлалъ; разсказывалъ монотонно, словно читалъ по покойнику, не говорилъ ни „казнимый“ ни „преступникъ“, а понижая голосъ:

— „Онъ“.

— Первымъ былъ Кучеровскій. За нанесеніе ранъ смотрителю Шишкову, его казнили въ Воеводской, во дворѣ. Вывели во дворъ 100 человѣкъ, да 25 изъ Александровской смотрѣть пригнали. На первомъ беретъ робость, какъ будто трясеніе рукъ. Выпилъ 2 стакана водки... Трогательно и немного жалостливо, когда крутится и судорогами подергивается... Но страшнѣе всего, когда еще только выводятъ, и впереди идетъ священникъ въ черной ризѣ, — тогда робость беретъ.

— По вечерамъ было особенно трогательно, когда выходишь, бывало, — все „онъ“ представляется.

Послѣ первой казни Комлевъ пилъ сильно:

— Страшно было.

Но со второй привыкъ и ни до казни ни послѣ казни не пилъ.

— Просятъ только: „нельзя ли безъ мученіевъ“. Бѣлѣютъ всѣ. Дрожатъ мелкой дрожью. Его за плечи держишь, когда на западнѣ стоитъ, а черезъ рубашку чувствуешь, что тѣло холодное. Махнешь платкомъ, помощники подпорку и вышибаютъ.

— И ты пришелъ теперь, чтобы дѣлать это?

— Жрать-то нужно?

„Какой ужасный и отвратительный человѣкъ“, скажете вы. А я зналъ женщину, ласками которой онъ пользовался.

И у этой женщины былъ мужчина, который избилъ ее и отнялъ подаренныя Комлевымъ двѣ копейки.

Меня интересовало, что скажетъ Комлевъ, если ему сказать такую вещь:

— А знаешь, скоро вѣдь тѣлесныя наказанія хотятъ уничтожить.

— Дай-то Богъ... Когда бы это кончилось! — сказалъ Комлевъ и перекрестился.

Голынскій.

Когда въ 1897 году, въ Александровской тюрьмѣ, гдѣ собрана вся „головка“ каторги, все, что есть въ ней самаго тяжкаго и гнуснаго, освободилось мѣсто палача, ни одинъ изъ каторжанъ не захотѣлъ быть палачомъ. Это случилось въ первый разъ за всю исторію каторги. Къ этому нельзя было даже принудить, и совершенно безплодно тѣхъ, на кого палъ выборъ, держали въ карцерѣ.

Но тюрьма не можетъ быть безъ палача.

И „вся команда“ назначила палачомъ Голынскаго.

— И не хотѣлъ итти, а команда приказываетъ, ничего не попишешь! — объясняетъ Голынскій.

— Почему же вы его выбрали? — спрашиваю каторгу.

— Хорошій человѣкъ. Доберъ больно.

Голынскому 47 лѣтъ. Но на видъ не больше тридцати пяти.

Удивительно моложавое, простодушное и глупое лицо. Голъ какъ соколъ, бѣгаетъ въ опоркахъ, и при взглядѣ на него вы ни за что не сказали бы, что это палачъ.

— Голынскій, а сколько ты самъ плетей получилъ?

— Сто.

— А розогъ?

— Тысячи три.

И предобродушно улыбался.

„Терпитъ“ Голынскій „сызмальства“.

Онъ человѣкъ добрый, но вспыльчивъ, горячъ страшно и, вспыливъ, золъ невѣроятно.

Какъ и Комлевъ, онъ изъ духовнаго званія, учился въ каменецъ-подольской семинаріи и былъ сосланъ подъ надзоръ полиціи за нечаянное убійство товарища во время драки.

— Остервенѣлъ шибко. Треснулъ его по головѣ квадратомъ, — онъ и отдалъ Богу душу.

Затѣмъ онъ 4 года служилъ въ военной службѣ и попалъ въ заговоръ: пятеро солдатъ сговорились убить фельдфебеля, — „лютъ былъ“. Голынскій зналъ объ этомъ, не донесъ и былъ осужденъ на $13^1/_2$ лѣтъ въ каторгу.

Со сбавками по манифестамъ ему пришлось пробыть въ каторгѣ меньше: онъ вышелъ на поселенье, былъ уже представленъ къ крестьянству, не сегодня, завтра получилъ бы право выѣзда съ Сахалина на материкъ, но:

— Голода не выдержалъ. Тутъ-то самая голодьба и началась, съ переходомъ въ поселенчество. Въ работники нанимался, — да что на Сахалинѣ заработаешь. Такъ и жилъ: гдѣ день, гдѣ ночь.

Эта голодьба кончилась тѣмъ, что онъ, вдвоемъ съ такимъ же голоднымъ поселенцемъ, убилъ состоятельнаго поселенца-кавказца.

— Я жъ его и убивалъ. Самъ-то былъ какъ тѣнь. Взмахнулъ топоромъ, ударилъ, да самъ, вмѣстѣ съ топоромъ, на него и повалился. А встать и не могу. Подняли ужъ.

За это убійство Голынскій получилъ 100 плетей и каторгу безъ срока. На этотъ разъ въ каторгѣ ему пришлось туго.

Голынскаго оговорили, будто онъ донесъ о готовящемся побѣгѣ. И его избили такъ, что „до сихъ поръ ноги болятъ“.

Но и это не озлобило Голынскаго:

— За что жъ я на всѣхъ серчать буду? А кто оговорилъ, тѣхъ до сихъ поръ дую и впередъ дуть всегда буду!

Этихъ клеветниковъ онъ, говорятъ, бьетъ смертнымъ боемъ при всякой встрѣчѣ, а каторгу „жалѣетъ“:

— Потому на своей шкурѣ и лозы, и манты (плети), и голодъ, — все вынесъ.

За эту жалостливость его и выбрали... въ палачи.

Сижу какъ-то дома, вдругъ является Голынскій.

Лицо перетревоженное:

— Ваше высокоблагородіе, пожалуйте завтра утромъ въ тюрьму безпремѣнно.

— Зачѣмъ?

— Говорятъ, драть будутъ. А при васъ шибко драть не велятъ.

Этотъ „палачъ“, хлопочущій, чтобъ шибко драть не приказали, съ перепуганнымъ лицомъ, — трудно было удержаться отъ улыбки:

— И нескладный же ты человѣкъ, Голынскій!

— Такъ точно, нескладный я въ своей жизни человѣкъ, ваше высокоблагородіе!

И предобродушно самъ надъ собой смѣется.

Тѣлесныя наказанія.

Уголовное отдѣленіе суда. Публики два-три человѣка. Разсматриваются дѣла безъ участія присяжныхъ засѣдателей: о редакторахъ, обвиняемыхъ въ диффамаціи, трактирщикахъ, обвиняемыхъ въ нарушеніи питейнаго устава, бродягъ, не помнящихъ родства, бѣглыхъ каторжникахъ и т. п.

— Подсудимый Иванъ Груздевъ. Признаете ли вы себя виновнымъ въ томъ, что, будучи приговорены къ ссылкѣ въ каторжныя работы на 10 лѣтъ, вы самовольно оставили мѣсто ссылки и скрывались по подложному виду?

— Да что жъ, ваше превосходительство, признаваться, ежели уличенъ...

— Признаетесь или нѣтъ?

— Такъ точно, признаюсь, ваше превосходительство.

— Г. прокуроръ?

— Въ виду сознанія подсудимаго, отъ допроса свидѣтелей отказываюсь.

— Г. защитникъ?

— Присоединяюсь.

Двѣ минуты рѣчи прокурора. О чемъ тутъ много-то говорить?

— На основаніи статей такихъ-то, такихъ-то, такихъ-то...

Двѣ минуты рѣчи защитника „по назначенію“. Что тутъ скажешь?

Судъ читаетъ приговоръ:

— ...Къ наказанію 80 ударами плетей...

И вотъ этотъ Иванъ Груздевъ въ канцеляріи Сахалинской тюрьмы подходитъ къ доктору на освидѣтельствованіе.

— Какъ зовутъ?

— Иванъ Груздевъ.

Докторъ развертываетъ его „статейный списокъ“, смотритъ и только бормочетъ:

— Господи, къ чему они тамъ приговариваютъ!

— Сколько? — заглядываетъ въ статейный списокъ смотритель тюрьмы.

— Восемьдесятъ.

— Ого!

— Восемьдесятъ! — какъ эхо повторяетъ помощникъ смотрителя. — Ого!

— Восемьдесятъ! — шепчутся писаря.

И всѣ смотрятъ на человѣка, которому сейчасъ предстоитъ получить 80 плетей. Кто съ удивленіемъ, кто со страхомъ.

Арестантскіе типы. Осужденный на 34½ г. Судился за два покушенія на убійство и за побѣгъ съ работ. (7+17½+10=34½ г.).

Докторъ подходитъ, выстукиваетъ, выслушиваетъ.

Долгія, томительныя для всѣхъ минуты.

— Ну? — спрашиваетъ смотритель.

Докторъ только пожимаетъ плечами.

— Ты здоровъ?

— Такъ точно, здоровъ, ваше высокоблагородіе.

— Совсѣмъ здоровъ?

— Такъ точно, совсѣмъ здоровъ, ваше высокоблагородіе.

— Гмъ... Можетъ, у тебя сердце болитъ?

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе, николи не болитъ.

— Да ты знаешь, гдѣ у тебя сердце? Ты! Въ этомъ боку никогда не болитъ? Ну, можетъ, иногда, — понимаешь, иногда покалываетъ?

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе, николи не покалываетъ.

Докторъ даже свой молоточекъ со злостью бросилъ на столъ.

— Смотри на меня! Кашель хоть у тебя иногда бываетъ? Кашель?

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе. Кашля у меня никогда не бываетъ.

Докторъ взбѣшенъ. Докторъ чуть не скрежещетъ зубами. Онъ смотритъ на арестанта полными ненависти глазами. Ясно говоритъ взглядомъ:

„Да хоть соври ты, соври что-нибудь, анаѳема!“

Но арестантъ ничего не понимаетъ.

— Голова хоть у тебя иногда болитъ? — почти уже шипитъ докторъ.

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе.

Докторъ садится и пишетъ:

— Порокъ сердца.

Даже перо ломаетъ со злости.

Смотритель заглядываетъ въ актъ освидѣтельствованія.

— Отъ тѣлеснаго наказанія освобожденъ. Ступай!

Всѣ облегченно вздыхаютъ. Всѣмъ стало легче.

— Въ потъ вогналъ меня, анаѳема! Въ потъ! — говоритъ мнѣ потомъ докторъ. — Вѣдь этакій дуботолъ, чортъ! „Здоровъ!“ Дьяволъ! А вѣдь что подѣлаешь? 80 плетей! Вѣдь это же — смертная казнь! Развѣ можно? Если бъ они видѣли, къ чему приговариваютъ.

Палачъ Рыковской тюрьмы Хрусцель — приземистый, стройный, необыкновенно ловкій, сильный человѣкъ. Весь словно отлитъ изъ стали. Сѣрые, холодные, спокойные глаза, въ которыхъ свѣтится страданіе, когда онъ говоритъ о пережитыхъ невзгодахъ. Присмотрѣвшись повнимательнѣе, вы замѣтите асимметрію лица, — одинъ изъ признаковъ вырожденія.

Въ каторгу попалъ за грабежи вооруженною шайкою гдѣ-то около Лодзи.

— Зачѣмъ въ шайку-то пошелъ?

— Устроиться хотѣлъ. Думалъ деньги взять, ваше высокоблагородіе. Земли совсѣмъ не было. Съ голоду опухал. Устроиться не было возможности.

На Сахалинѣ онъ думалъ устроиться какъ-нибудь хорошо „на новой жизни“.

Съ собой онъ привезъ маленькія деньги, десятка два рублей, и завелъ въ кандальномъ отдѣленіи Рыковской тюрьмы „майданъ“.

Платилъ по 15 коп. въ мѣсяцъ каждому арестанту камеры, уплачивалъ, по обычаю, по полтора рубля двумъ камерщикамъ, мывшимъ полы и выносившимъ „парашу“, и въ часы обѣда открывалъ свой „майданъ“. Продавалъ молоко по 5 коп. бутылка, яйца по 3 коп. штука, сахаръ по копейкѣ кусокъ, хлѣбъ бѣлый по 6 коп. фунтъ, папиросы по копейкѣ штука, свинину вареную по пятачку за кусочекъ, спички.

Понемножку наживалъ, копилъ и мечталъ, какъ выйдетъ на поселеніе и „устроится“ своимъ домомъ.

Самъ жилъ впроголодь на одной арестантской порціи.

— Бывало, лежишь ночью голодный. Не спишь. Съ голоду-то брюхо подводитъ. А въ головахъ-то ящикъ стоитъ. Тамъ молоко, хлѣбъ, свинина. Хочется. „Нѣтъ, — думаю, — не трону“.

Въ этомъ ящикѣ изъ-подъ свѣчей, стоявшемъ на нарахъ, въ головахъ, у Хрусцеля было все, что онъ имѣлъ: деньги, товаръ. Все, что онъ имѣлъ въ настоящемъ, все его будущее.

По обычаю, вся камера должна слѣдить за тѣмъ, чтобъ имущество майданщика было цѣло. За то и по 15 копеекъ въ мѣсяцъ на брата берутъ.

Но Рыковская кандальная — самая голодная изъ тюремъ.

— Развѣ у насъ, ваше высокоблагородіе, дадутъ человѣку подняться? — со злостью говоритъ Хрусцель. — Зависть беретъ, какъ у человѣка что заведется. Злоба... У насъ ничего нѣтъ, пусть и у другого не будетъ! По злобѣ одной всего лишатъ.

Однажды, вернувшись въ камеру, Хрусцель увидѣлъ, что ящикъ разломанъ. Ни денегъ ни товару не было.

Кандальная ходила, улыбаясь.

— Спички жгли, папиросы раскуривали.

Самые голодные „жиганы“ на нарахъ дрыхли:

— Нажрались!

А три арестанта, самыхъ отчаянныхъ, изъ породы „Ивановъ“, передъ тѣмъ проигравшіеся догола, теперь сидѣли и на деньги въ карты играли.

Ящикъ изъ-подъ свѣчей былъ не только разломанъ, а еще надѣлали всякихъ гадостей.

— Пошелъ — хохочутъ.

— Голова у меня пошла кругомъ, свѣта не взвидѣлъ, говоритъ Хрусцель.

— Шибко Хрусцель въ тѣ поры вылъ и объ нары головой бился! — разсказываютъ арестанты.

Наплакавшись, Хрусцель пошелъ къ смотрителю и предложилъ себя въ палачи. Въ то время при Рыковской тюрьмѣ эта должность была свободной.

Смотритель былъ человѣкъ жестокій, а Хрусцель сразу сдѣлался его любимцемъ. Дралъ Хрусцель невѣроятно.

— Кожу спускалъ, — это вѣрно. Не дралъ, а рѣзалъ лозой. Шибко я въ тѣ поры всѣхъ ихъ ненавидѣлъ.

Но затѣмъ у Хрусцеля „сердце отошло“: трое арестантовъ, которые сломали ящикъ, были приговорены за что-то къ плетямъ, и наказывать ихъ надо было Хрусцелю.

— Есть Богъ на свѣтѣ! — говоритъ Хрусцель и до сихъ поръ еще ликуетъ, когда разсказываетъ объ этомъ наказаніи.

Радостью горитъ все его лицо при воспоминаніи.

— Черезъ плечо ихъ дралъ.

Ударъ плетью „черезъ плечо“ — самый жестокій.

— Боялся одного, чтобъ сознанія не лишились, — доктора отнимутъ. Нѣтъ, выдержали. Всѣмъ сполна далъ.

Враговъ Хрусцеля истерзанными, искалѣченными, еле живыми унесли въ лазаретъ.

— Съ тѣхъ поръ переломъ вышелъ. Порю, — какъ велятъ. А лютости той нѣтъ. Мнѣ все одно. Только бы начальническую волю исполнить.

Хрусцель живетъ въ маленькомъ домишкѣ. Ему выдали сожительницу. Молоденькая татарка. У нихъ уже двое дѣтей.

Доходы съ каторги дали ему возможность обзавестись необходимымъ.

— У меня и корова есть. Двѣ овцы! Свиней развожу на продажу! — любуется самъ своимъ хозяйствомъ, показывая его постороннему, Хрусцель.

Онъ занимается земледѣліемъ. У него — огородъ.

— Самъ все сажалъ.

И татарка и онъ очень любятъ чистоту. Въ домѣ у нихъ все блеститъ, какъ стеклышко. А въ переднемъ углу, на чистенькой полочкѣ, лежатъ бережно казенныя вещи: плеть, деревянная мыльница, бритва, — головы арестантамъ бреетъ тоже палачъ.

— Дэты, дэты, не растаскайте прутья! Батка сердитъ будэтъ! — кричала татарка двумъ маленькимъ славнымъ ребятишкамъ, игравшимъ въ сѣняхъ прутьями, которые нарѣзалъ Хрусцель сегодня для предстоящаго тѣлеснаго наказанія.

— Жалюны, жалюны — ужасти! — обратилась ко мнѣ татарка, смѣясь, и въ ея смѣхѣ и въ томъ, какъ она коверкала рѣчь, было что-то дѣтское и очень милое.

Такимъ страннымъ казалось это блестѣвшее, какъ стеклышко, полное дѣтскаго лепета, логово палача.

— Ну, вотъ я и устроился! — говорилъ мнѣ Хрусцель, показывая свое „домообзаводство“.

— А каторга не трогаетъ у тебя ничего? Не разоряетъ?

— Не смѣютъ. Знаютъ — убью. Подсолнухъ тронутъ — убью.

И по лицу, съ которымъ Хрусцель сказалъ это, можно быть увѣреннымъ, что онъ убьетъ.

Арестантскіе типы. Сосланъ за изнасилованіе.

А тѣхъ, относительно кого вполнѣ увѣрены, что „онъ у ьетъ“, каторга не трогаетъ.

Таковъ Хрусцель, котораго мнѣ передъ вечеромъ суждено б ло видѣть „на работѣ“.

— Ваше высокоблагородіе, цельзя ли поскорѣича! — прис ли къ помощнику смотрителя два оборванныхъ поселенца,

одинъ — длинный какъ жердь, другой — покороче, когда мы съ помощникомъ смотрителя зашли днемъ въ канцелярію.

— Ладно, братъ, ладно. Успѣешь!

— Помилуйте, ваше высокоблагородіе. У меня хозяйство стоитъ. Рабочее время. Нешто можно человѣка столько времени держать? День теряю. Нешто возможно? Ваше высокоблагородіе, явите начальническую милость!

Это приставалъ длинный какъ жердь.

Тотъ, что былъ покороче, даже шапку оземь бросилъ:

— Жисть! Волы стоятъ не кормлены, а тутъ не отпущаютъ!

— Да вы зачѣмъ пришли? — спросилъ я.

— Пороться, ваше высокоблагородіе, пришли! — отвѣчалъ длинный.

— Драть насъ, что ли, будутъ! — пояснилъ короткій.

— А за что?

— Про то мы неизвѣстны!

Начальство знаетъ!

— За водку! — объяснилъ мнѣ помощникъ смотрителя, — „самосядку“ (домодѣльную водку) курили.

— Никакой мы водки не курили!

— Жрать нечего, а то — водку!

— Съ поличнымъ ихъ поймали. Я жъ и накрылъ. Съ топоромъ вотъ этотъ, большой-то, на меня бросился!

— Вретъ онъ все, ваше высокоблагородіе, не вѣрьте ему. Вовсе я на него съ топоромъ не бросался, а что боченокъ топоромъ расшибъ, это — вѣрно. Вотъ его зло и беретъ. Зачѣмъ боченокъ расшибъ, — ему не досталось!

Помощникъ смотрителя буркнулъ что-то и выбѣжалъ взбѣшенный. Всѣ кругомъ улыбались.

— Ты чего жъ, дурья голова, его злишь? Вѣдь хуже, братъ, будетъ.

— Да вѣдь зло возьметъ, ваше высокоблагородіе. День теряемъ. Волы некормленные стоятъ.

— Нешто мы супротивъ дранья что говоримъ. Драть законъ есть. А чтобъ человѣка задерживать, закона нѣтъ.

Мы встрѣтились съ помощникомъ смотрителя на дворѣ:

— Сегодня будутъ пороть пятерыхъ по приговорамъ (а вотъ этихъ двухъ! — пояснилъ онъ мнѣ. — По приговорамъ, что за порка! Только мажутъ. Приговоры, это — не наше дѣло. Это въ Россіи постановлено. Тѣ намъ ничего не сдѣлали. А вотъ этимъ двумъ мерзавцамъ показать надо.

Порка состоялась около пяти часовъ.

Мы съ докторомъ пришли въ канцелярію.

Въ сѣняхъ, широкія двери которыхъ были открыты на дворъ, стояла „кобыла“, лежали двѣ аккуратно связанныя вязанки длинныхъ, аршина въ два, розогъ.

— Докторъ! Докторъ! — заговорили по тюремному двору, и передъ открытыми дверями сѣней моментально образовалась толпа арестантовъ.

Въ тусклой и хмурой канцеляріи по стѣнкѣ стояло семь человѣкъ. Въ дверяхъ съ плетью стоялъ палачъ.

Было тяжело и хмуро и страшно.

— Подходи.

Первымъ подошелъ Васютинъ Иванъ, молодой парнишка, бродяга, не помнящій родства, — 30 розогъ.

За ними шли двое кавказцевъ, потомъ еще одинъ русскій, бѣжавшій изъ сибирской тюрьмы. Всѣ приговоренные къ тѣлесному наказанію по суду.

Сначала читали приговоръ, при чемъ всѣ въ канцеляріи вставали.

Затѣмъ, шло освидѣтельствованіе, опросъ, подвергался ли раньше тѣлеснымъ наказаніямъ, докторъ писалъ актъ освидѣтельствованія.

Приговоренному подали бумагу:

— Грамотный? Подпиши!

— Что это? — спросилъ я.

— Расписка, что получилъ тѣлесное наказаніе.

— Зачѣмъ?!

— Такой порядокъ.

Русскіе были оба грамотны и расписались, при чемъ у Васютина буквы распрыгались вверхъ и внизъ на полвершка другъ отъ друга.

Рука его не дрожала, а ходуномъ ходила.

Татары долго не понимали, что отъ нихъ требуется, имъ разъяснили черезъ переводчика-арестанта; тотъ съ ними очень долго разговаривалъ, махалъ руками, о чемъ-то спорилъ и, наконецъ, говорилъ:

— Неграмотная она, вашескибродіе!

Это тянулось ужасно, мучительно долго.

— Раздѣвайся! — кричали татарину. — Слышишь ты, раздѣвайся! Переводчикъ, да скажи ему, чтобъ онъ раздѣвался! Что ты стоишь, какъ болванъ?

Переводчикъ начиналъ говорить, кричать, махать руками, присѣдалъ даже зачѣмъ-то. Кавказецъ смотрѣлъ хмуро, недовѣрчиво, отвѣчалъ односложно, мрачно.

— Раздѣвайся! — кричали ему всѣ и показывали жестами, чтобы снималъ рубаху.

Кавказецъ, наконецъ, медленно раздѣлся.

Докторъ подходилъ къ нему съ трубочкой и молоточкомъ. Въ глазахъ кавказца свѣтилось недовѣріе и страхъ. Онъ пятился.

— Да не пяться ты, чортъ! Не пяться, говорятъ тебѣ!

Кавказецъ пятился.

— Переводчикъ, болванъ, что ты стоишь какъ тумба? Объясни ему, что я ему ничего не сдѣлаю!

Переводчикъ опять принялся кричать, жестикулировать, присѣдать. Кавказецъ слушалъ его недовѣрчиво, косился на доктора, — котораго онъ принималъ за палача, что ли, — и вдругъ сказалъ что-то коротко и односложно.

Переводчикъ съ отчаяніемъ всплеснулъ руками.

— Что онъ говоритъ?

— Спрашивать трубочка у тебя зачѣмъ, вашескобродіе!

Доктору пришлось положить трубочку и молоточекъ, чтобы выслушать, наконецъ, кавказца.

И на все это смотрѣлъ съ улыбкой только одинъ длинный поселенецъ Бардуновъ.

— Неосновательный народъ!—замѣтилъ онъ, когда очередь дошла до него. — Порядку не знаютъ.

— Раздѣвайся!

— Не имѣю надобности, ваше высокоблагородіе. Всѣмъ здоровъ. Только безпокоить вашу милость занапрасно.

— Раздѣвайся, говорятъ тебѣ. Тѣлеснымъ наказаньямъ раньше подвергался?

— Ни въ жисть, ваше высокоблагородіе. Впервой!

— Потри его.

Надзиратель потеръ ему тѣло суконкой. Тѣло покраснѣло, и на немъ ясно выступили полосы — слѣды прежнихъ наказаній.

— Что жъ ты врешь! Драли?

— Запамятовалъ, ваше высокоблагородіе... Я этихъ самыхъ розогъ, ваше высокоблагородіе, ни есть числа при гг. смотрителяхъ принялъ!

Было очевидно, что этотъ поротый и перепоротый арестантъ „валяетъ шута для храбрости“.

Его товарищъ мрачно отвѣчалъ:

— Здоровъ. Скорѣе бы. Волы некормлены. Раздѣвайся еще! На-те. Смотрите. Жисть! Драли. Много. Сколько, запамятовалъ. Не упомню. Нешто у меня тѣмъ голова занята Осмотрѣли? Слава Богу! Нельзя ли насъ первыми? Там хозяйство.

Осмотрѣнные одѣвались, но штановъ не подвязывали, поддерживали ихъ руками.

— Всѣ. Ну, ступай!

Хрусцель сталъ у кобылы. Арестанты, переваливаясь, путаясь въ полуспущенныхъ штанахъ, вышли въ сѣни.

— Бардуновъ, покажи удаль! — крикнулъ кто-то со двора.

Стоявшіе толпой арестанты оглянулись:

— Молчи ты, сволочь!

Всѣ стали по мѣстамъ.

Я стоялъ рядомъ съ докторомъ, у него лицо шло пятнами.

— Васютинъ Иванъ!

Молодой паренекъ подошелъ къ „кобылѣ“.

— Брось, брось штаны! — заговорили кругомъ.

Но онъ только оглядывался, словно не могъ понять, что ему такое говорятъ.

— Штаны брось! — сказалъ Хрусцель и отвелъ ему руки. — Ложись!

Васютинъ сѣлъ верхомъ на „кобылу“, лицомъ къ свѣту.

Онъ былъ бѣлый, какъ полотно. Глаза безсмысленно смотрѣли впередъ.

— Да не туда головой. Туда! Ложись!

Хрусцель взялъ его за плечи, свелъ съ „кобылы“, положилъ.

Арестантскіе типы. Осужденный за убійство.

— Руки убери! Обними руками „кобылу“!

Васютинъ обнялъ руками доску.

— Вотъ такъ!

Хрусцель поправилъ ему рубаху.

Стыдно было, стыдно невѣроятно, смотрѣть на полуобнаженнаго человѣка, лежавшаго на „кобылѣ“.

Хрусцель, словно песъ, смотрѣлъ въ глаза помощнику смотрителя.

— Тридцать розогъ!

Хрусцель взялъ пучокъ розогъ, необыкновенно ловко выдернулъ одну, отошелъ на шагъ отъ кобылы и замеръ.

— Начинай!

Хрусцель свистнулъ розгой по воздуху, словно рапирой передъ фехтованіемъ, потомъ еще разъ свистнулъ по воздуху справа, потомъ слѣва.

Свистъ — рѣзкій, отчаянный, отвратительный.

— Разъ!

Свистъ — и на вздрогнувшемъ тѣлѣ легла красная полоса.

— Два... Три... Четыре... Пять...

Хрусцель бросилъ розгу, выхватилъ другую, перешелъ на другую сторону кобылы. Опять пять ударовъ по другой сторонѣ тѣла.

Каждые пять ударовъ онъ быстро мѣнялъ розгу и переходилъ съ одной стороны на другую.

Свистъ заставлялъ болѣзненно вздрагивать сердце. Мгновенія между двумя ударами тянулись, какъ вѣчность.

Помощникъ смотрителя считалъ:

— 29... 30...

— Вставай... Вставай же!

Васютинъ поднялся и сѣлъ опять верхомъ на кобылу. Глаза его были полны слезъ. Вотъ-вотъ потекутъ.

— Совсѣмъ вставай! Иди же!

— Двѣ съ половиной минуты! — сказалъ смотрѣвшій на часы докторъ.

Я думалъ прошло полчаса.

— Мѣдниковъ Иванъ!

Опять обнаженный до пояса, лежащій на кобылѣ человѣкъ.

Снова свистъ, вздрагиванія, красныя полосы.

Теперь плети!

Хрусцель отложилъ розги, взялся за плеть и ловкимъ движеніемъ разложилъ длинную плеть по землѣ.

— Хрусцель, клади ихъ.

Хрусцель бралъ кавказцевъ за плечи, подталкивалъ къ „кобылѣ“, поднималъ имъ руки и клалъ на „кобылу“. Тѣ тяжело рухались и лежали съ темнымъ обнаженнымъ тѣломъ.

Наказаніе было „по приговорамъ“.

Хрусцель по взгляду понялъ приказъ помощника смотрителя и взялъ плеть за середину, тамъ, гдѣ стволъ плети переходилъ въ трехвостку. Наказаніе — „въ полплети“.

Хрусцель вертѣлъ свою плеть, словно ручку шарманки, три хвоста хлопали по тѣлу, тѣло краснѣло и пухло.

— Бардуновъ!

Съ блѣднымъ, блѣднымъ лицомъ онъ подошелъ къ „кобылѣ“, сдѣлалъ какую-то жалкую, жалкую гримасу, хотѣлъ улыбнуться.

Началъ ложиться на „кобылу“.

— Штаны, штаны брось! — остановилъ его Хрусцель.

— Ежели законный порядокъ требуетъ...

Бардунова колотила дрожь, онъ безпомощно оглядывался кругомъ, словно затравленный заяцъ, и все силился улыбнуться, — выходила гримаса.

Хрусцель толкнулъ его слегка въ шею.

— Ложись!

Бардуновъ повалился и крѣпко ухватился за доску, чтобы не кричать, быть-можетъ.

Хрусцель снова пустилъ плеть „по земи“. Зловѣщее движеніе.

Это было наказаніе не по приговорамъ, а ужъ сахалинское.

Тихо было, словно кругомъ никто не дышалъ.

Хрусцель впился глазами въ помощника смотрителя.

Тотъ стоялъ, переминаясь на мѣстѣ, смотрѣлъ на меня, на доктора... И сдѣлалъ какое-то движеніе головой.

Хрусцель взялъ „въ полплети“.

Словно одинъ какой-то большой человѣкъ вздохнулъ въ сѣняхъ и на дворѣ.

По тѣлу Бардунова пробѣгали судороги.

Арестантскіе типы.

Богъ знаетъ, какого удара ждалъ этотъ человѣкъ и задрожалъ весь мелкой дрожью, когда посыпались сравнительно слабые удары.

— Ваше высокоблагородіе, ваше высокоблагородіе, за что не наказываютъ? Нешто возможно! — послышался его голосъ, но словно не его, какой-то странный. — Нешто возможно?!

На дворѣ въ толпѣ раздались смѣшки.

— Шута строитъ! Привыкъ! — пробормоталъ помощникъ смотрителя.

Бардуновъ поднялся, захватилъ въ руки штаны и, не натянувъ ихъ, бросился въ толпу арестантовъ.

Видя, что наказаніе на этотъ разъ не будетъ страшнымъ, его товарищъ, Гусятниковъ, короткій и мрачный мужикъ, легъ спокойно, безъ звука вздрагивалъ при каждомъ ударѣ и, сходя съ „кобылы", даже проворчалъ:

— Только продержали день зря. Воды не кормлены!

— Такъ ужъ, пожалѣлъ мерзавцевъ! — умилялся своей гуманностью помощникъ смотрителя.

Хрусцель ловко и проворно убиралъ розги и „кобылу".

— Ты чего же не одѣваешься?

Васютинъ стоялъ у притолоки дверей канцеляріи, какъ столбъ, съ голыми ногами. Штаны съ него свалились.

Онъ икалъ. Крупныя слезы катились по щекамъ.

Было страшно и стыдно смотрѣть на этого парнишку.

Онъ — изъ военной службы, сдѣлалъ какое-то преступленіе, бѣжалъ и, боясь наказанія, „скрылъ свое родословіе", сказался бродягой Иваномъ Васютинымъ, не помнящимъ родства.

— Какъ же тебя къ розгамъ приговорили?

Бродягъ обыкновенно приговариваютъ къ $1^1/_2$ годамъ „принудительныхъ работъ" и затѣмъ — на поселеніе. Розги имъ прибавляютъ, если они почему-либо „путаютъ", не называютъ себя просто „бродягой не помнящимъ", а именуются ложнымъ именемъ: крестьяниномъ, молъ, такой-то деревни, — а пошлютъ туда, окажется, что нѣтъ. Опытный бродяга дѣлаетъ это въ надеждѣ удрать во время пересылки. Но зачѣмъ этому?

— Ты что же, чужимъ именемъ назвался?

— Такъ точно.

— Зачѣмъ? Бѣжать съ дороги хотѣлъ?

— Нѣтъ.

— Тогда зачѣмъ же?

— Въ тюрьмѣ незнающій человѣкъ нашелся, сказалъ, что такъ сдѣлать нужно. Я и сдѣлалъ.

— Ты въ первый разъ этому-то подвергался?

— Въ первый.

И по щекамъ его еще сильнѣе текли слезы. И заикалъ онъ сильнѣе.

А у воротъ тюрьмы, когда я выходилъ, сидѣлъ теперь уже совсѣмъ оправившійся Бардуновъ и бахвалился:

— Мнѣ, братцы мои, что на „кобылу" ложиться, что к женѣ подъ бокъ — все единственно. Потому, вотъ какъ я к ней привыкъ!

Нравы каторги.

„Каторга", это — официальное названіе. Неофиціально каторга зоветъ себя добродушно-ироническимъ именемъ „кобылка".

— Ну, какъ поживаете, братцы?

— Ничего себѣ, ваше высокоблагородіе, наша кобылка живетъ.

— Это что, тоже рабочій?—спрашиваете вы про кого-нибудь.

— Нашъ же, кобылка.

Названіе, происходящее отъ слова „кобылка", — скамья, на которой деруть арестантовъ.

Каторжане, какъ извѣстно, доставляются на Сахалинъ двумя путями: или „сплавляются" моремъ, черезъ Одессу, или идутъ Сибирью, черезъ Кару.

Соотвѣтственно этому, каторжники дѣлятся на „кругоболотинцевъ", или „галетниковъ", и „каринцевъ", или „терпигорцевъ".

Названіе „галетникъ"—названіе даже слегка презрительное:

— Что они тамъ видѣли? Плыли да ѣли галеты. Только и всего!

Тогда какъ „каринцы" пользуются и нѣкоторымъ почетомъ и уваженіемъ каторги.

Странствуя по сибирскимъ этапамъ, они натерпѣлись горя, почему и зовутся „терпигорцами".

Въ сибирскихъ „централахъ" (центральныхъ тюрьмахъ) и на Карѣ они прошли высшій курсъ каторги, побывали, такъ сказать, въ академіи каторги. Знаютъ всѣ порядки, обычаи, законы. Сибирскій каторжникъ вообще въ почетѣ у сахалинцевъ: въ Сибири каторга крѣпче держится другъ друга, тамъ есть свои десятилѣтніе выработанные законы, твердые и ненарушимые, тамъ есть товарищество, чего вовсе нѣтъ на Сахалинѣ [1]).

Скоро, однако, это различіе сглаживается. „Кругоболотинецъ" быстро входитъ въ курсъ, осваивается съ нравами и обычаями каторги, становится „почище" всякаго „каринца", — и тогда слова „каринецъ", „галетникъ" раздаются только во время перебранки:

— Молчи ты! Съ кѣмъ говоришь-то, мараказія? Я, по крайности, настоящій каринецъ. А ты кто? Тфу! Одно слово, галетникъ!

Каторга дѣлится на четыре касты:

1) Ивановъ,

---

[1]) Уже уѣхавъ съ Сахалина, во Владивостокѣ я прочелъ въ газетахъ, что прежнее нѣшее путешествіе по этапамъ замѣняется перевозкой по желѣзной дорогѣ тамъ, гдѣ она уже есть; прочелъ и отъ души порадовался за злосчастныхъ «терпигорцевъ». Сколько народу скажетъ спасибо за это облегченіе тяжкаго пути. Сколько лишнихъ, и ненужныхъ страданій упразднено, сколько ужасовъ, творившихся на этихъ «этапахъ», отойдетъ въ область преданій. Сколько народу будетъ буквально спасено. Изъ моихъ дальнѣйшихъ очерковъ вы увидите, что такое были эти этапы и какую роковую роль они играли въ жизни многихъ каторжанъ.

2) Храповъ,
3) Игроковъ
и 4) Несчастную „шпанку".

Это—аристократія и демократія каторги, ея правящіе классы и подчиненная масса, патриціи, плебеи и рабы.

Иваны.

„Иваны", это — зло, это—язва, это — бичъ нашей каторги, ея деспоты, ея тираны.

„Иванъ" родился подъ розгами, плетью крещенъ, возведенъ въ званіе „Ивана" рукой палача.

Это — типъ историческій. Онъ народился въ тѣ страшныя времена, правдивая исторія которыхъ „неизгладимыми чертами" написана на спинахъ стариковъ-„богодуловъ" Дербинской каторжной богадѣльни.

Онъ родился на Карѣ во „времена Разгильдѣевскія", о которыхъ и теперь вспоминаютъ съ ужасомъ [1]).

Тогда въ „разрѣзѣ", гдѣ добываютъ золото, всегда была наготовѣ „кобыла" и на дежурствѣ палачъ. Розги тогда считались сотнями, да и то считалась только „одна сторона", т.-е. человѣку, приговоренному, положимъ, къ сотнѣ ударовъ, палачъ давалъ сотню съ одной стороны, а затѣмъ заходилъ съ другой и давалъ еще сотню, при чемъ послѣдняя сотня въ счетъ не шла. Два удара считались за одинъ. Сѣкли не розгами, а „комлями", т.-е. брали розгу за тонкій конецъ и ударяли толстымъ. По первому удару показывалась уже кровь. Розги ломались, и занозы впивались въ тѣло. „Урки", т.-е. заданныя на день работы, были большіе, и малѣйшее неисполненіе „урка" влекло за собой немедленное наказаніе.

Тогда всякая вина была виновата, — и малѣйшая дерзость, самое крошечное противорѣчіе простому надзирателю изъ ссыльныхъ вели за собой жестокое истязаніе.

Въ это-то тяжелое время, подъ свистъ розогъ, комлей и плетей, и родился на свѣтъ „Иванъ".

Отчаянный головорѣзъ, долгосрочный каторжникъ, которому нечего терять и нечего ждать, онъ являлся протестантомъ за всю эту забитую, измученную, обираемую каторгу. Онъ протестовалъ смѣло и дерзко, протестовалъ противъ всего: противъ несправедливыхъ наказаній, непосильныхъ „урковъ", [illegible] пищи и тѣхъ смѣшныхъ дѣтскихъ курточекъ, которыми [illegible] вались арестантамъ подъ видомъ „одежды узаконеннаго образца".

[1]) Разгильдѣевъ—тогдашній начальникъ Карійской каторги. Время,—близкое эпохѣ «Мертваго дома».

„Иванъ“ не молчалъ ни передъ какимъ начальствомъ, протестовалъ смѣло, дерзко, на каждомъ шагу.

„Ивановъ“ приковывали къ стѣнѣ, къ тачкѣ, заковывали въ ручные и ножные кандалы, драли и комлями и плетьми. „Иваны“ въ счетѣ полученныхъ ими на каторгѣ плетей часто переваливали за двѣ тысячи, а розогъ не считали совсѣмъ.

Все это окружало ихъ ореоломъ мученичества, вызывало почтеніе.

Начальство ихъ драло, но побаивалось. Эти были люди, не задумывавшіеся въ каждую данную минуту запустить ножъ подъ ребро, люди, разбивавшіе обидчику голову ручными кандалами.

Въ то время „Иваны“ представляли изъ себя нѣчто въ родѣ „рыцарскаго ордена“. „Иванъ“ былъ „человѣкомъ слова“. Сказалъ — значитъ, будетъ.

Старый „Иванъ“ — Пазульскій, когда-то гремѣвшій на югѣ атаманомъ разбойничьихъ шаекъ, далъ въ Херсонѣ слово, что зарѣжетъ обидѣвшаго его помощника смотрителя тюрьмы. Послѣ этого Пазульскій бѣжалъ, былъ пойманъ только черезъ 2 года, попалъ въ Херсонскую тюрьму и таки, — черезъ два года, — сдержалъ слово — зарѣзалъ.

Это вызывало боязнь, дрожь предъ „Иванами“.

Угроза для смотрителей и надзирателей, эти, дѣйствительно, на все способные люди были грозой для каторги.

Это были ея деспоты, тираны, грабители.

„Иванъ“ прямо, открыто, на глазахъ у всѣхъ, бралъ у каторжныхъ послѣднія, тяжкимъ трудомъ нажитыя крохи, тутъ же, на глазахъ хозяина, пропивалъ, проигрывалъ, проматывалъ ихъ — и не терпѣлъ возраженій.

— Что?! Я за васъ, такихъ-сякихъ, тѣла, крови не жалѣю, коли надо — веревки не побоюсь, а вы...

Что бы „Иванъ“ ни дѣлалъ, каторга обязана была его покрывать. Часто отвѣчала за него своими боками. Если за преступленіе, совершенное „Иваномъ“, карали другого, тотъ долженъ былъ молчать.

— Зато я терплю за васъ.

„Иваны“ держались особой компаніей, стояли другъ за друга и были неограниченными властелинами каторги; распоряжались жизнью и смертью; были законодателями, судьями и палачами; изрекали и приводили въ исполненіе приговоры, — иногда смертные, всегда непреложные.

Среди безчисленныхъ страшныхъ преданій о тѣхъ временахъ до сихъ поръ въ каторгѣ вспоминаютъ о „казни“ въ Одесской тюрьмѣ.

Двое „Ивановъ“ рѣшили бѣжать. Какъ вдругъ, чуть не наканунѣ предполагаемаго побѣга, ихъ неожиданно перековали

въ ручные и ножные кандалы крѣпко-накрѣпко, усилили караулъ, и побѣгъ не состоялся.

Два мѣсяца „Иваны“ Омской тюрьмы производили негласно слѣдствіе:

— Кто бы могъ донести?

И, наконецъ, подозрѣніе пало на одного арестанта. Въ то время, какъ онъ ничего не подозрѣвалъ, „Иваны“ произнесли ему приговоръ. Конечно, смертный, потому что за доносъ о побѣгѣ каторга другихъ приговоровъ не знаетъ.

Двѣ ночи работали потихоньку „Иваны“, вынули нѣсколько досокъ около стѣны подъ нарами, выкопали могилу и на третью ночь кинулись на спящаго товарища, заткнули ему ротъ, бросили въ могилу и закопали живымъ.

Вся тюрьма знала объ этомъ и вся молчала, не смѣла заикнуться.

Когда начальство хватилось пропавшаго арестанта,—рѣшили, что онъ незамѣтно проскользнулъ и бѣжалъ, когда отворяли дверь для утренней переклички.

И только черезъ годъ, когда перестраивали Омскую тюрьму, около стѣны, на глубинѣ полутора аршинъ, нашли скелетъ въ кандалахъ.

Преступники остались ненайденными. Ихъ никто не выдалъ. Никто не смѣлъ выдать.

„Иванъ“, это — злой геній каторги.

Сколько арестантскихъ „бунтовъ“ подняли они. Сколько народу поплатилось за эти бунты, и какъ поплатилось! А „Иваны“ всегда выходили сухими изъ воды, потому что ихъ всегда покрывала каторга.

Таковы „Иваны“ „добраго стараго времени“.

„Ивана“ вы отличите сразу, съ перваго взгляда, лишь только войдете въ тюрьму.

Лихо заломленный, на ухо сдвинутый картузъ, рубашка съ „кованымъ“, шитымъ воротомъ, разстегнутый бушлатъ, халатъ еле держится на одномъ плечѣ. Руки непремѣнно въ карманахъ.

Дерзкій, наглый, вызывающій взглядъ. Невѣроятно нахальный, грубый и дерзкій тонъ.

Человѣкъ такъ и нарывается на какую-нибудь непріятность.

Это — тотъ же „на все способный“ головорѣзъ-большесрочникъ; и смотрителя стараются избѣгать ихъ, обыкновенно маскируя нѣкоторую внутреннюю дрожь тѣмъ, что они „даже и говорить съ такими негодяями не желаютъ,—я, молъ, говорю только съ хорошими людьми“. Какъ бы тамъ ни было, но, только изъ-за этого „нежеланія говорить“, „Иванамъ“ сходитъ съ рукъ многое такое, что, конечно, никогда бы не сошло несчастной, безотвѣтной „шпанкѣ“.

Поселенческій бытъ. Раздача подаянныхъ вещей изъ Россіи въ помѣщ. пожарн. команды въ посту Александровскомъ.

„Иванъ“ то же зло, тотъ же бичъ для всего, что есть въ каторгѣ мало-мальски честнаго, добраго, порядочнаго.

Это — злѣйшіе и гнуснѣйшіе враги всякаго бережливаго арестанта, всякой самой малѣйшей „зажиточности“.

Глядя по обстоятельствамъ, „Иванъ“ то открыто отнимаетъ, то мошеннически выманиваетъ, то просто воруетъ у арестанта всякую тяжкимъ трудомъ добытую копейку.

Но времена уже мѣняются. Вмѣстѣ съ наступленіемъ лучшихъ для каторги временъ, наступаютъ плохія времена для „Ивановъ“.

Теперь нѣтъ уже больше этихъ ужасныхъ наказаній. И съ „Ивановъ“ спалъ ихъ ореолъ мученичества. Они постепенно лишаются въ глазахъ каторги всего своего обаянія. Ихъ ужасная, ихъ тираническая власть при послѣднемъ издыханіи. „Иваны“ вымираютъ.

И чѣмъ мягче, чѣмъ гуманнѣе режимъ, тѣмъ меньше и меньше пагубное вліяніе на каторгу „Ивановъ“.

Въ Александровской тюрьмѣ, самой большой на Сахалинѣ, гдѣ собрана вся „головка“ каторги, самые тяжкіе и долгосрочные преступники, и гдѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ, тѣлесныя наказанія бываютъ только по приговорамъ суда, — вліяніе „Ивановъ“ самое ничтожное. Они не пользуются никакимъ значеніемъ.

Ихъ даже „забижаетъ“ „шпанка“! А всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ „Иваны“ Александровской тюрьмы славились на весь Сахалинъ!

„Иваны“ еще держатся тамъ, гдѣ смотрителя придерживаются тѣлесныхъ наказаній. Тамъ еще „Иванъ“ окруженъ нѣкоторымъ ореоломъ, хотя, конечно, далеко не такимъ, какъ въ Разгильдѣевскія времена.

Власть и значеніе „Ивановъ“ сильно подорвали... холерные безпорядки. Въ этомъ отношеніи „не бывать бы счастью, да несчастье помогло“. Въ атмосферу тюрьмы, въ эту атмосферу навоза и крови, ворвалась струя чистаго воздуха. Сахалинскія тюрьмы наполнились людьми, которыхъ на каторгу привело только несчастіе. Людьми, которые совершали ужасы только потому, что ихъ самихъ охватилъ ужасъ. Людьми, которые не понимали, что дѣлали. Людьми темными, невѣжественными, несчастными, но не преступными[1]). Эти свѣжіе, честные и работящіе люди не захотѣли подчиняться законамъ, уставамъ и порядкамъ, созданнымъ убійцами. И такъ какъ ихъ было много, то они противопоставили „Иванамъ“ самую дѣйствительную на каторгѣ силу — кулаки. Почуявъ въ нихъ друзей,

[1]) Всѣ сосланные за безпорядки помилованы и, вмѣсто каторги, живутъ на поселеніи.

сторонниковъ и сообщниковъ, бѣдная, ограбленная забитая „Иванами“ „шпанка“ подняла голову и соединилась съ вновь прибывшими, и противъ „Ивановъ“ стала масса. Дѣло дошло до того, что нѣсколькихъ „Ивановъ“ исколотили до полусмерти. „Ивановъ“ исколотили, — фактъ, небывалый въ исторіи каторги. Все это страшно подорвало авторитетъ „Ивановъ“.

Но самый главный ударъ, это — смягченіе тѣлесныхъ наказаній. Съ „Ивановъ“ въ значительной степени снятъ ореолъ мученичества. Ужъ теперь „Иванъ“, отнимая у каторжанина послѣднее, не можетъ сказать:

— А кровью и тѣломъ своимъ я нешто за это не плачу?

„Иваны“ еще держатся, какъ я уже говорилъ, въ тюрьмахъ, смотрители которыхъ любятъ тѣлесныя наказанія.

Но власть ихъ все же не та, что еще очень недавно. Часто подъ вечеръ, гдѣ-нибудь въ углу кандальной, вы услышите, какъ, собравшись въ кучку, „Иваны“ вспоминаютъ о добромъ, старомъ, невозвратномъ времени, когда каторга чтила „Ивановъ“, о ихъ подвигахъ, о томъ, какъ они правили каторгой.

Но въ этихъ разсказахъ слышится элегическая нотка, чуется грусть о невозвратномъ прошломъ.

Прежней власти, прежняго положенія не вернешь.

„Иваны“, эти аристократы страданій, родились подъ свистъ плетей, комлей и розогъ. Вмѣстѣ съ ними они и умрутъ.

Храпы.

„Храпы“, это — вторая каста каторги.

Имъ хотѣлось бы быть „Иванами“, но не хватаетъ смѣлости. По трусливости имъ слѣдовало бы принадлежать къ „шпанкѣ“, но „не дозволяетъ самолюбіе“.

„Храпы“ не стоятъ того, чтобы надъ ними долго останавливаться. Это — тѣ же „горланы“ деревенскаго схода. Когда въ тюрьмѣ случается какое-нибудь происшествіе, какая-нибудь „заворошка“, храпы всегда лѣзутъ впередъ, больше всѣхъ горланятъ, кричатъ, ораторствуютъ, на словахъ готовы все вверхъ дномъ перевернуть; но когда дѣло доходитъ до „раздѣлки“ и появляется начальство, „храпы“ молча исчезаютъ въ заднихъ рядахъ.

— Ты что жъ, корявый чортъ? — накидывается на „храпа“ тюрьма по окончаніи „раздѣлки“. — Набухвостилъ, да и на попятную?

— А то что жъ? Одинъ я за всѣхъ впередъ полѣзу, что ли? Всѣ молчатъ, и я молчу.

И „храпъ“ начинаетъ изворачиваться, почему онъ смолкъ при появленіи начальства. „Но зато пусть-ка еще разъ случится что-нибудь подобное, — онъ себя покажетъ!“ Названіе „храпъ“ слегка насмѣшливое. Оно происходитъ отъ слова „храпѣть“. И этимъ опредѣляется профессія храповъ; они „храпятъ“ на все. Нѣтъ такого распоряженія, которое они сочли бы правильнымъ. Они въ вѣчной оппозиціи. Все признаютъ неправильнымъ, незаконнымъ, несправедливымъ. Всѣмъ возмущаются. Задали человѣку урокъ, хотя бы и нетрудный, посадили въ карцеръ, хотя бы и заслуженно, не положили въ лазаретъ, хотя бы и совсѣмъ здороваго, — „храпы“ всегда орутъ (конечно, за глаза отъ начальства):

— Несправедливо!

Каторгѣ, которая только и живетъ и дышитъ, что недовольствомъ, — это нравится. Тамъ, гдѣ много недовольства, всегда имѣютъ успѣхъ говоруны. А каторга къ тому же любитъ послушать, если кто хорошо и „складно“ говоритъ. Эта способность цѣнится въ каторгѣ высоко. Среди „храповъ“ есть очень недурные ораторы. Я самъ слушалъ ихъ съ большимъ интересомъ, удивляясь ихъ знанію аудиторіи. Какое знаніе больныхъ и слабыхъ струнъ своей публики, какое умѣнье играть на этихъ струнахъ! Благодаря этому, „храпы“ иногда, — когда тюрьма волнуется ужъ очень сильно, — пріобрѣтаютъ нѣкоторое вліяніе на дѣла. Они „разжигаютъ“. И не мало тюремныхъ „исторій“, за которыя потомъ тѣломъ и кровью расплатилась бѣдная, безотвѣтная „шпанка“, возбуждено „храпами“. Шпанкѣ“, по обыкновенію, влетѣло, а храпы успѣли во-время отойти на задній планъ.

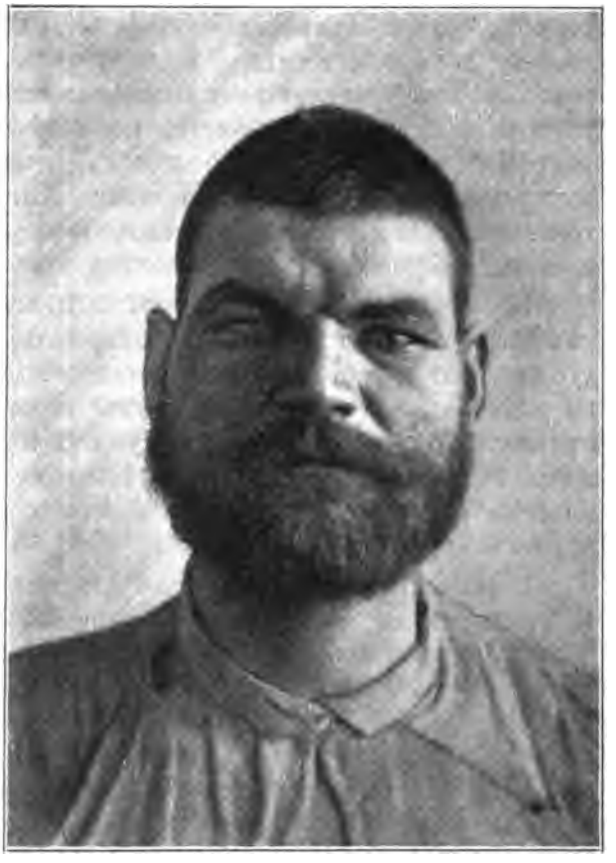
„Храпы“ по большей части и „глоты“, т.-е. люди, принимающіе въ спорахъ сторону того, кто больше дастъ. Они берутся и защищать и обвинять, — иногда насмерть, — за деньги. Попался человѣкъ въ какой-нибудь гадости противъ товарищей, — „храпы“ за деньги будутъ стоять за него горой, на тюремномъ сходѣ будутъ орать, божиться, что другого такого арестанта-товарища поискать да поискать. Захочетъ кто-нибудь насолить другому, онъ подкупаетъ „храповъ“. „Храпы взводятъ на человѣка какой-нибудь поклепъ, напримѣръ, въ наушничествѣ, въ доносѣ, изъ своей же среды выставляютъ свидѣтелей, вопію[illegible] о примѣрномъ наказаніи. А тюрьма подозрительна, и человѣк[illegible], на котораго только пало подозрѣніе, что онъ донесъ, у[illegible] рискуетъ жизнью. И сколько жизней, ни за что ни про [illegible] загубленныхъ этой несчастной, темной, озлобленной тюрьм[illegible] пало бы на совѣсть „храповъ“, если бы у этихъ несчастны[illegible] была хоть какая-нибудь совѣсть.

У „храповъ“ бываетъ два большихъ праздника въ годъ,— весной и осенью, когда приходитъ „Ярославль“ вывалить на Сахалинъ новый грузъ „общественныхъ отбросовъ“. Тогда „храпы“ орудуютъ среди новичковъ. Растерявшіеся новички, по неопытности, принимаютъ „храповъ“ дѣйствительно за „первыхъ лицъ на каторгѣ“, по повадкѣ даже путаютъ ихъ съ „Иванами“ и спѣшатъ, при помощи денегъ, заручиться ихъ благоволеніемъ.

Въ обыкновенное же время „храпы“ живутъ на счетъ „шпанки“. Эта бѣдная, безпомощная, беззащитная арестантская масса дрожитъ передъ наглымъ, смѣлымъ „храпомъ“.

— Ну, его! Еще въ такую кашу втюритъ, — костей не соберешь!

И откупается.



Арестантскіе типы.

Игроки.

На каторгѣ, гдѣ все продается и покупается, и притомъ продается и покупается очень дешево, человѣкъ, у котораго есть деньги, да еще шальныя, не можетъ не имѣть вліянія.

„Игрокъ“, кромѣ игры, ничѣмъ больше и не занимается. Шулера—они всѣ. И когда „игрокъ“ играетъ съ „игрокомъ“, это, въ сущности, — только состязаніе въ шулерничествѣ. Въ то время, какъ одинъ мечетъ подтасованными картами, другой дѣлаетъ вольты, мѣняя карты, подъ которыя подложенъ кушъ. Но да спасетъ васъ Богъ замѣтить: „Да онъ мошенничаетъ!“ Торьма изобьетъ до полусмерти:

— Не лѣзь не въ свое дѣло!

— Если „игрокъ“ особенно ловкій шулеръ, онъ носитъ почетное имя „мастака“.

Около „игрока“ кормится слишкомъ много народу, чтобы онъ не имѣлъ вѣса и значенія. Во-первыхъ, „игрокъ“ никогда не отбываетъ каторжныхъ работъ, — онъ нанимаетъ за себя „сухарника“. Затѣмъ „игрокъ“ всегда имѣетъ „поддувалу“, иногда даже нѣсколько, которые убираютъ его мѣсто на нарахъ, стелютъ постель, бѣгаютъ за обѣдомъ, завариваютъ чай. „Игрокъ“ даетъ заработокъ майдану, получающему 10 процентовъ съ банкомета и пять съ „понтеровъ“. Благодаря „игроку“, зарабатываетъ и „стремщикъ“, который караулитъ у дверей, пока идетъ игра, и получаетъ за это тоже мзду. Черезъ „игрока“ пускаютъ въ оборотъ свои деньги и „отцы“,— ростовщики, когда появляется неопытный или новичокъ, — а у „игрока“ нѣтъ достаточно денегъ, — они „кладутъ банкъ“ и выигрываютъ навѣрняка. Наконецъ, „игрокъ“ человѣкъ „фартовый“. Деньги у него шальныя,—ему „ничего не составляетъ“ и такъ, здорово живешь, человѣку три, пять копеекъ дать.

Въ лицѣ всей этой оравы „игрокъ“ всегда имѣетъ свою партію, которая готова его поддержать, когда угодно, въ чемъ угодно. Онъ можетъ измѣнять постановленія тюремнаго схода,— за него много народа. Съ нимъ страшно ссориться. Велитъ отлупить — отлупятъ. Къ нему нужно подольщаться: прикажетъ помиловать—помилуютъ. Къ тому же отъ него „завсегда мало-мало перепасть можетъ“, что среди нищихъ, конечно, играетъ огромную роль.

И „кочевряжатся“ же зато „игроки“, пока они въ силѣ. И „измываются“ же надъ товарищами. Какихъ только дикихъ формъ издѣвательства не приходитъ имъ въ голову. Былъ у меня въ одной изъ тюремъ знакомый „игрокъ“, за которымъ я охотился, какъ за интереснымъ типомъ. Бѣдняга „попалъ въ полосу“, ему не везло. „Игроки“ всегда франты, а тутъ съ него даже лоскъ сошелъ. Ходитъ злой, раздражительный, вѣчно хмурый. Съ себя ужъ даже проигрывать началъ, — часы серебряные продулъ, предметъ величайшей гордости. Плохо!

— Что, братъ, въ „жиганы“ попадаешь?

— Къ тому идетъ!

Только прихожу какъ-то въ тюрьму,—батюшки, да это онъ ли? Не узналъ даже сразу. Развалился на нарахъ, покрикиваетъ. „Поддувала“ еле-еле всѣ его капризы исполнять успѣваетъ.

— Что, — кричитъ, — Матвѣй Николаевичъ сегодня обѣдъ будетъ?

„Поддувала“ подноситъ обычную лаханочку съ баландой.

„Матвѣй Николаевичъ“ приподнялся, поглядѣлъ и въ лаханочку плюнулъ.

— Собакъ этимъ кормить. Кому, дура, подалъ? Станетъ Матвѣй Николаевичъ это ѣсть? Дальше что есть?

„Поддувала“ положилъ на нары нарѣзанный черный хлѣбъ.

— Чайку, Матвѣй Николаевичъ, пожалуйте!

„Матвѣй Николаевичъ“ сшибъ хлѣбъ ногой съ наръ.

— Нешто это Матвѣй Николаевича ѣда? Учить васъ, дураковъ, некому! Станетъ Матвѣй Николаевичъ дураковскую пищу ѣсть? Подавай колбасу!

„Поддувала“ подалъ копченую колбасу и бѣлый хлѣбъ.

— То-то!

„Поддувала“, подбирая съ пола куски чернаго хлѣба, только улыбнулся въ мою сторону.

— Забавники, молъ!

А кругомъ сидятъ голодные люди.

— Ты чего жъ ему, — спрашиваю потомъ „поддувалу“, — баланду подаешь, чтобы плевалъ, да хлѣбъ, чтобъ по полу валялъ! Знаешь, что онъ при деньгахъ кочевряжится и кромѣ своего ничего не ѣстъ. И подавалъ бы ему сразу колбасу съ бѣлымъ хлѣбомъ.

— Нешто можно? — даже испугался „поддувала“. — Не приведи, Господи. „Ты это что же? — сейчасъ спроситъ. — Кто я такой есть? Арестантъ я, иль ужъ нѣтъ?“ — Арестантъ, молъ. — „А если я арестантъ, почему жъ ты мнѣ арестантской пищи не подаешь? А? Можетъ, я не погнушаюсь, ѣсть буду? Почему ты, такой-сякой, знать можешь, что Матвѣй Николаевичъ, человѣкъ сильный, на умѣ содержитъ? Колбасу подавать, такой сякой! Мое добро не беречь, — можетъ, я казеннымъ пропитаюсь, а ты мое добро травить хочешь!“ И пойдетъ! На цѣлый часъ волынку затретъ! Ну, и подаешь ему пайку съ баландой. Для порядка. Ему вѣдь что, — ему только чтобъ власть свою показать! Порядокъ извѣстный! Выигралъ!

А то въ другой разъ послали какъ-то одного „игрока“ въ тайгу на работу. Отвертѣться никакъ не удалось. Такъ онъ на товарищѣ „жиганѣ“ съ полверсты верхомъ поѣхалъ. Нанялъ и поѣхалъ.

— У меня, — говоритъ, — ноги болятъ.

Жиганы.

Бѣда, однако, когда такой „игрокъ“ продуется въ конецъ и превратится въ „жигана“. „Жиганомъ“ въ каторгѣ вообще называется всякій бѣдный, ничего не имѣющій человѣкъ, но, въ частности, этимъ именемъ зовутъ проигравшихся въ пухъ и прахъ „игроковъ“.

Вотъ когда каторга „наверстаетъ свое“. И нѣтъ тогда горы, нѣтъ конца издѣвательствамъ надъ человѣкомъ, лишив-

щимся всѣхъ своихъ друзей, поклонниковъ, защитниковъ, прихлебателей и покорнѣйшихъ слугъ. Каторга не знаетъ пощады и не имѣетъ жалости.

Когда „жиганъ“ продулъ ужъ все: деньги, одежду, свой трудъ за годъ впередъ, пайку хлѣба за нѣсколько мѣсяцевъ впередъ,—съ нимъ играютъ или на мѣсто на нарахъ, или на баланду. Ни то ни другое не нужно ровно никому, — играютъ просто для униженія.

— Чортъ съ тобой, промечу тебѣ, псу. Аль-бо три копейки, аль-бо три дня на полу спать будешь!

Или:

— Аль-бо трешница (3 коп.) твоя, аль-бо съ голоду дохни, недѣлю безъ баланды, не пимши, не жрамши, сиди.

Захожу какъ-то въ тюрьму передъ вечеромъ, когда всѣ уже улеглись. Смотрю, — одинъ арестантъ въ проходѣ около наръ на полу лежитъ. Увидя меня, вскочилъ, полѣзъ на нары. Сосѣдъ не пускаетъ:

— Стой! Куда лѣзешь? Нѣтъ, ты на полу лежи!

— Чортъ! Дьяволъ! Видишь, баринъ!

— Нѣтъ, ты и при баринѣ лежи. Пусть баринъ видитъ, какая такая ты тварь есть на свѣтѣ. Лежи!

Арестантъ сталъ около наръ.

— Нѣтъ, ты ложись!— послышалось среди смѣха со всѣхъ сторонъ. — Неча вставать. Баринъ сказалъ, что ничего, при немъ можно лежать! Ты и лежи, какъ лежалъ.

— Мѣсто проигралъ что ли? — спрашиваю.

— Такъ точно, продулъ, песъ, а теперь и моркотно.

— Во сколько мѣсто шло?

— Шло въ трешницѣ, да я и цѣлковаго не возьму.

— Получай три!

— Вотъ, ужъ это зачѣмъ же! Мнѣ своя амбиція дороже трехъ цѣлковыхъ вашихъ стоитъ.

Видимо, выигравшій „уперся“: ничего въ такихъ случаяхъ съ арестантомъ не подѣлаешь.

— Проигралъ — и плати. Валяйся на полу. На то игра! А не хочешь платить,—встряска!

За неуплату тюрьма „накрываетъ темную“, т.-е. бьетъ безъ пощады, при чемъ бьютъ рѣшительно всѣ, и тѣ, кто въ игрѣ не былъ заинтересованъ.

— Это ужъ вѣрно! Это такъ! — послышалось кругомъ. Порядокъ извѣстный! Встряска!

— Ложись, что ль, дьяволъ!

И „жиганъ“, подъ хохотъ всей тюрьмы, легъ на полъ, у которомъ было чуть не на вершокъ липкой, жидкой грязи.

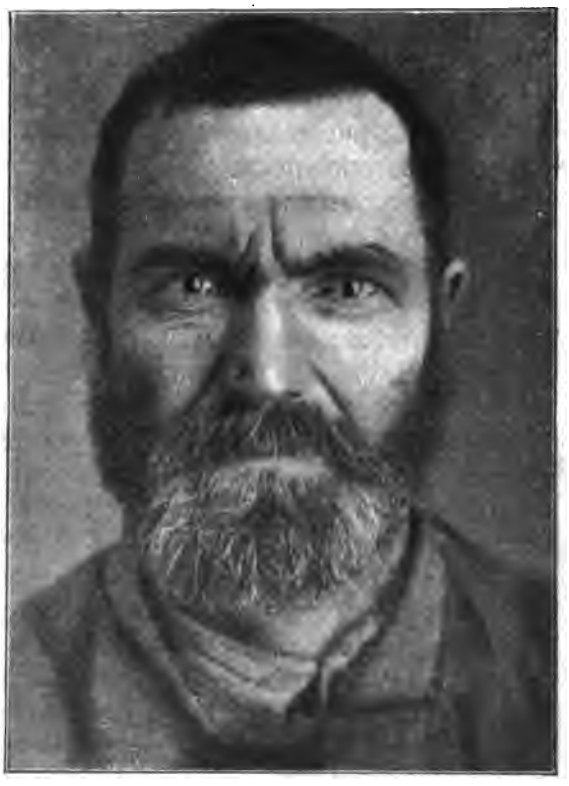
Тюрьмѣ скучно, — она и рада маленькому развлеченію.

А вѣдь этотъ „жиганъ“ пришелъ въ тюрьму за то, что задушилъ изъ ревности свою жену. Въ его душѣ когда-то носились бури. Онъ чувствовалъ и любовь, и ревность, и горькую обиду. Какъ вамъ нравится „Отелло“ въ такой обстановкѣ!..

Захожу въ тюрьму въ обѣденное время. Обѣдъ былъ уже на исходѣ. „Поддувалы“ побѣжали въ кубъ за кипяткомъ, заваривать чай. Кто еще доѣдалъ, кто пряталъ на вечеръ оставшіеся кусочки хлѣба, кто ложился отдохнуть.

— Ну, теперь, братцы, „жигана“ кормить. Выходи что ль! Иль апекита нѣтъ?

Съ наръ поднялся человѣкъ, съ котораго смѣло можно было бы рисовать „Голодъ“. Ничего кромѣ голода не было написано въ глазахъ, въ блѣдномъ, безъ кровинки, синеватаго цвѣта, лицѣ, во всей этой слабой, обезсиленной фигурѣ. Это былъ „жиганъ“, вторую недѣлю уже проигрывающій даже свою баланду. Дней десять человѣкъ не видалъ крошки хлѣба и питался только жидкой похлебкой, „баландой“. И какъ питался!



Арестантскіе типы.

Многіе даже приподнялись съ мѣста. Тюрьма предвкушала готовящуюся потѣху. Особенно это было замѣтно на лицѣ одного паренька. Видимо, человѣкъ готовился выкинуть надъ „жиганомъ“ что-то ужъ особенное.

„Жиганъ“ подошелъ къ первому, сидѣвшему съ краю, молча клонился и сталъ. Тотъ съ улыбкой зачерпнулъ ему полъ-ожки баланды и далъ. „Жиганъ“ хлебнулъ, поклонился снова подошелъ къ слѣдующему.

Это былъ типичный „Иванъ“, лежавшій въ величественной зѣ на нарахъ.

— „Жиганамъ“ почтеніе! Обѣдать что ли пришли?

— Такъ точно, Николай Степановичъ, полакомиться! — съ низкимъ поклономъ отвѣчалъ „жиганъ“.

— Тэкъ!.. Ну, а скажи-ка намъ, чего бы ты теперь съѣлъ?

„Жиганъ“ постарался сдѣлать преуморительную улыбку и отвѣчалъ:

— Съѣлъ бы я теперь, Николай Степановичъ, тетерьки да телятинки, яичекъ да говядинки, лапши изъ поросятинки, немножечко ветчинки, чуть-чуточку свининки, съ хрѣночкомъ солонинки. Слюна бьетъ, какъ подумаю!

Тюрьма хохотала надъ прибаутками. „Иванъ“ обмакнулъ въ баланду ложку и подалъ „жигану“.

— На, лижи!

„Жиганъ“ открылъ ротъ.

— Ишь, раскрылъ пасть! Ложку слопаешь! Нѣтъ, ты язычкомъ, съ осторожностью!

„Жиганъ“ слизнулъ прилипшій къ ложкѣ кусочекъ капусты.

— Лижи досыта!

„Жиганъ“ пошелъ къ слѣдующему.

— Стой! — крикнулъ „Иванъ“. — Ты что жъ это, невѣжа, напился, наѣлся, а хозяевъ поблагодарить нѣтъ тебя?

Жиганъ снова поклонился въ поясъ:

— Покорнѣйше благодаримъ за добро да за ласку, за угощенье да за таску, за доброе слово, за привѣтъ да за участіе. Чтобы хозяину многія лѣта, да еще столько, да полстолько, да четверть столько. Чтобъ хозяюшку парни любили. Дѣточекъ Господь прибралъ!

— То-то, учи васъ, дураковъ! — улыбнулся „Иванъ“. — А еще въ имназіи учился? Чему васъ тамъ, дураковъ, учатъ? Невѣжи!

Слѣдующимъ былъ паренекъ, судя по лицу, придумавшій какую-то особенную штуку.

Онъ молча зачерпнулъ баланды и подалъ „жигану“. Но едва „жиганъ“ протянулъ губы, паренекъ крикнулъ:

— Цыцъ! А Богу передъ хлѣбомъ-солью молиться забылъ?

„Жиганъ“ перекрестился.

— Не такъ! На колѣнкахъ, какъ слѣддоваитъ!

„Жиганъ“ сталъ на колѣни и началъ говорить. Что онъ говорилъ! Сидѣвшій неподалеку старикъ-фальшивомонетчикъ даже не выдержалъ, плюнулъ:

— Тфу, ты! Паскудники!

Паренекъ хохоталъ во всю глотку.

— Ну, теперича вотъ, по порядку, на!

Онъ подалъ ему половину ложки.

— Будетъ что ли?

— Слава Богу, Богъ меня напиталъ, никто меня не видалъ, а кто видѣлъ, не обидѣлъ, слава Богу, сытъ покуда, съѣ

полпуда, осталось фунтовъ семь,—тѣ завтра съѣмъ,—причиталъ „жиганъ".

Паренекъ держался за животики:

— Ой, батюшки, уморилъ, проваливай!

Слѣдующимъ былъ добродушнѣйшій рыжій мужикъ, съ улыбкой во весь ротъ.

— Ахъ, ты, елова голова!—привѣтствовалъ онъ „жигана".— Хошь, я въ тебя баланды этой самой сколько хошь волью? Желаешь?

— Влейте, дяденька!

— Подставляй корыто!

„Жиганъ" поднялъ голову и раскрылъ ротъ. Мужикъ захватилъ полную большую ложку баланды, осторожно донесъ и опрокинулъ ее въ ротъ „жигана".

У того судорогой передернуло горло, онъ закашлялся, лицо налилось кровью.

— Отдышится! — отвѣчалъ онъ, улыбаясь во весь ротъ.

„Жиганъ" кое-какъ откашлялся, прокашлялся и подошелъ къ слѣдующему.

Это былъ фальшивомонетчикъ, степенный старикъ, занимающійся въ тюрьмѣ ростовщичествомъ.

— Угостите, дяденька!

— Прочь пошелъ, паршивецъ!—съ негодованіемъ отвѣчалъ старикъ.

— Только и всего будетъ?

— Говорятъ, отходи безъ грѣха...

„Жиганъ" подперъ руки въ боки.

Вся камера превратилась во вниманіе, ожидая, что дальше будетъ.

— Ахъ, ты, Асмодей Асмодеевичъ! — началъ срамить „жиганъ" старика. — На гробъ что ли копишь, да на саванъ, да на свѣчку...

— Уходи, тебѣ говорятъ!

— Да на ладанъ, да на мѣсто. Скоро тебѣ, Асмодею Асмодеевичу, конецъ прійдетъ, сдохнешь, накопить не успѣешь...

— Уходи!

— Сгніешь, старый чортъ, съ голода сдохнешь...

Но въ эту минуту „жигана" схватилъ за шиворотъ вернувшійся изъ кухни съ кипяткомъ „поддувала" Асмодея Асмодеича.

— Пусти! — кричалъ „жиганъ".

— Не озорничай!

— Бей его! — словно изступленный, вопилъ старый ростовщикъ.

Огромный верзила-„поддувала" изо всей силы хватилъ „жигана" по уху.

— Бей! Бей! — кричалъ старикъ.

— Такъ ты вотъ какъ?! Вотъ какъ?!

„Жиганъ“ поднялся было съ пола, но „поддувала“ сгребъ его „за волосья“, пригнулъ къ землѣ и накладывалъ по шеѣ.

— Бей! Бей! — оралъ остервенѣвшійся старикъ.

Каторга хохотала.

— За-акуска! — трясъ головой и заливался смѣшливый паренекъ.

А вѣдь „Иванъ“ сказалъ правду: этотъ „жиганъ“, дѣйствительно, прошелъ шесть классовъ гимназіи...

Я часто, бывало, спрашивалъ: „За что вы такъ бьете этихъ несчастныхъ?“ — и всегда мнѣ отвѣчали съ улыбкой одно и то же:

— Не извольте, баринъ, объ нихъ безпокоиться. Самый пустой народъ. Онъ на всякое дѣло способенъ!

Изъ нихъ-то и формируются „сухарники“, нанимающіеся нести работы за тюремныхъ ростовщиковъ и шулеровъ, „смѣнщики“, мѣняющіеся съ долгосрочными каторжниками именемъ и участью, воры и, разумѣется, голодные убійцы.

Шпанка.

„Шпанка“ это—Панургово стадо, это—задавленная „масса“ каторги, ея безправный плебсъ. Это — тѣ крестьяне, которые „пришли“ за убійство въ пьяномъ видѣ во время драки на сельскомъ праздникѣ; это—тѣ убійцы, которые совершили преступленіе отъ голода или по крайнему невѣжеству; это — жертвы семейныхъ неурядицъ, злосчастные мужья, не умѣвшіе внушить къ себѣ пылкую любовь со стороны женъ; это—тѣ, кого задавило обрушившееся несчастье, кто терпѣливо несетъ свой крестъ, кому не хватило силы, смѣлости или наглости завоевать себѣ положеніе „въ тюрьмѣ“. Это—люди, которые, отбывъ наказаніе, снова могли бы превратиться въ честныхъ, мирныхъ, трудящихся гражданъ.

Потому-то и „Иванъ“, и „храпъ“, и „игрокъ“, и даже несчастный „жиганъ“, отзываются о шпанкѣ не иначе, какъ съ величайшимъ презрѣніемъ:

— Нешто это арестанты! Такъ — „отъ сохи взятъ на время“ [1]).

Настоящая каторга, „ея головка“: „Иваны“ „храпы“ „игроки“ и „жиганы“, — хохочетъ надъ „шпанкой“.

— Да нешто онъ понималъ даже, что дѣлалъ! Такъ — несуразный народъ.

И совершенно искренно не считаетъ „шпанку“ за людей:

[1]) «Отъ сохи на время» — такъ называются, собственно, невинно осужденные. Но это презрительное названіе каторга распространяетъ и на всю «шпанку».

Партія арестантовъ на работѣ.

— Какой это человѣкъ? Такъ—сурокъ какой-то. Свернется и дрыхнетъ!

У этихъ, вѣчно полуголодныхъ людей, съ вида напоминающихъ „босяковъ“, есть два занятія: работать и спать. Слабосильный, плохо накормленный, плохо одѣтый, обутый, онъ наработается, прійдетъ и, „какъ сурокъ“, заляжетъ спать. Такъ и проходитъ его жизнь.

„Шпанка“ безотвѣтна, а потому и несетъ самыя тяжелыя работы. „Шпанка“ бѣдна, а потому и не пользуется никакими льготами отъ надзирателей. „Шпанка“ забита, безропотна, а потому тѣ, кто не рѣшается подступиться къ „Иванамъ“, велики и страшны, когда имъ приходится имѣть дѣло со „шпанкой“. Тогда „мерзавецъ“, какъ громъ, гремитъ въ воздухѣ. „Задеру“, „сгною“,—только и слышится обѣщаній!

„Шпанка“, это—тѣ, кто спитъ не раздѣваясь, боясь, что „свистнутъ“ одежонку. Остающійся на вечеръ хлѣбъ они прячутъ за пазуху, такъ цѣлый день съ нимъ и ходятъ, а то стащатъ. Возвращаясь съ работъ въ тюрьму, представитель „шпанки“ никогда не знаетъ, цѣлъ ли его сундучокъ на нарахъ, или разбитъ и оттуда вытащено послѣднее арестантское добро.

Ихъ давятъ „Иваны“, застращиваютъ и обираютъ „храпы“, надъ ними измываются „игроки“, ихъ обкрадываютъ голодные „жиганы“.

„Шпанка“ дрожитъ всякаго и каждаго. Живетъ всю жизнь дрожа, потому что въ этихъ тюрьмахъ, гдѣ должны „исправляться и возрождаться“ преступники, царитъ самоуправство, произволъ „Ивановъ“, полная власть сильнаго надъ слабымъ „отпѣтаго негодяя“ надъ порядочнымъ человѣкомъ.

Горе Матвѣя [1]).

Мы шли со смотрителемъ по двору тюрьмы. Время было подъ вечеръ. Арестанты возвращались съ работъ.

— Не угодно ли посмотрѣть на негодяя? Пойди сюда! гдѣ халатъ?—обратился смотритель къ арестанту, шедшему, несмотря на ненастную погоду, безъ халата. — Проигралъ, негодяй? Проигралъ, я тебя спрашиваю?

Арестантъ молча и угрюмо смотрѣлъ въ сторону.

— Чтобъ былъ мнѣ халатъ! Слышишь? Кожу собственну сдери да сшей, негодяй! Пороть буду! Въ карцерѣ сгною! Слышалъ? Да ты что молчишь? Слышалъ, я тебя спрашиваю?

---

[1]) «Матвѣемъ» называется на каторгѣ хозяйственный мужикъ. Не каторжникъ, пьяница, не воръ и не мотъ, это, по большей части,—тихій, смирный, трудолюбивый безотвѣтный человѣкъ. Я привожу эти два разсказа, какъ характеристику «подлыхъ Ивановъ».

— Слышалъ! — глухимъ голосомъ отвѣчалъ арестантъ.

— То-то „слышалъ“! Чтобъ былъ халатъ! Пшелъ!

И чрезвычайно довольный, что показалъ мнѣ, какъ онъ умѣетъ арестантамъ „задавать пфейфера“, смотритель (изъ бывшихъ ротныхъ фельдшеровъ) пояснилъ:

— Съ ними иначе нельзя. Не только казенное имущество,— тѣло, душу готовы промотать, проиграть! Я вѣдь, батенька, каторгу-то знаю какъ свои пять пальцевъ! Каждаго, какъ облупленнаго, насквозь вижу!

Промотчикъ, „игрокъ“, дѣйствительно способный проиграть и душу и тѣло, проигрывающій свой паекъ часто за полгода, за годъ впередъ, проигрывающій не только ту казенную одежду, какая у него есть, но и ту, которую ему еще выдадутъ, проигрывающій даже собственное мѣсто на нарахъ, проигрывающій свою жизнь, свою будущность, мѣняющійся именами съ болѣе тяжкимъ преступникомъ, приговореннымъ къ плетямъ, вѣчной каторгѣ, кандальной тюрьмѣ, — этотъ типъ очень меня интересовалъ, — и на слѣдующій же день, въ обѣденное время, я отправился въ тюрьму уже одинъ, безъ смотрителя, и попросилъ арестантовъ позвать ко мнѣ такого-то.

— А вамъ, баринъ, на что его? — полюбопытствовали арестанты, среди которыхъ были такіе, симпатіями и довѣріемъ которыхъ я уже могъ заручиться...

— Да вотъ хочется посмотрѣть на завзятаго игрока.

Среди арестантовъ раздался смѣхъ.

— Игрока!

— Да что вы, баринъ! Они вамъ говорятъ, а вы ихъ слушаете. Да онъ и картъ-то въ рукахъ отродясь не держалъ! А вы „игрока“!

— А какъ же халатъ?

— Халатъ-то?!

Арестанты зашушукались. Среди этого шушуканья слышались возгласы моихъ знакомцевъ:

— Ничего! Ему можно!.. Онъ не скажетъ!.. Онъ не выдастъ!..

И мнѣ разсказали исторію этого „проиграннаго“ халата.

Мой „промотчикъ“ оказался тихимъ, скромнымъ „Матвѣемъ“, вѣчнымъ труженикомъ, минуты не сидящимъ безъ дѣла.

Дня два тому назадъ онъ сидѣлъ на нарахъ и, по обыкновенію, что-то зашивалъ, какъ вдругъ появился „Иванъ“, изъ другого отдѣленія, или „номера“, какъ зовутъ арестанты.

— Слышь ты, — обратился онъ къ моему „Матвѣю“,—меня зачѣмъ-то въ канцелярію къ смотрителю требуютъ. А халатъ я пропилъ. Дай-кась свой надѣть. Слышь, дай! А то смотритель уведитъ безъ халата, въ „сушилку“ [1]) засадитъ.

[1]) Карцеръ.

Если бы „Матвѣю“ сказали, что его самого засадятъ въ „сушилку“, онъ не поблѣднѣлъ бы такъ, какъ теперь.

Онъ не дастъ халата, изъ-за него засадятъ „Ивана“ въ сушилку. За это обыкновенно „накрываютъ темную“, то-есть, набрасываютъ человѣку на голову халатъ, чтобъ не видѣлъ, кто его бьетъ, и бьютъ такъ, какъ умѣютъ бить только арестанты: колѣнами въ спину, безъ знаковъ, но человѣкъ всю жизнь будетъ помнить.

Приходилось разстаться съ халатомъ.

„Иванъ“, разумѣется, ни въ какую канцелярію не ходилъ, да его и не звали, а просто пошелъ въ другой „номеръ“ и проигралъ халатъ въ штоссъ.

И никто не вступился за бѣднаго „Матвѣя“, у котораго отнимали послѣднее имущество, за которое прійдется отвѣчать своей спиной. Никто не вступился, потому что:

— Съ „Иванами“ много не поговоришь!..

Пока мнѣ разсказывали всю эту исторію, привели и самого „Матвѣя“.

— Ну, гдѣ жъ, братъ, халатъ?

„Матвѣй“ молчалъ.

— Да ты не бойсь. Баринъ все ужъ знаетъ. Ничего тебѣ плохого не будетъ! — подталкивали его арестанты.

Но „Матвѣй“ продолжалъ такъ же угрюмо, такъ же понуро молчать.

На каторгѣ ничему вѣрить нельзя. Во всемъ нужно убѣдиться лично.

Посмотрѣлъ я на „Матвѣя“; и по одеждѣ — впрямь „Матвѣй“, — на бушлатѣ ни дырочки, все зашито, заштопано.

Спросилъ, гдѣ его мѣсто, пошелъ, посмотрѣлъ сундочокъ. Сундучокъ настоящаго „Матвѣя“: тутъ и иголка, и нитокъ мотокъ, и кусочекъ сукна — „заплатку пригодится сдѣлать“,—и кусочекъ кожи, перегорѣлой, подобранной на дорогѣ, и обрывокъ веревки, — „можетъ, подвязать что потребуется“. Словомъ, типичный сундучокъ не промотчика, не игрока, а скромнаго, хозяйственнаго, бережливаго арестанта.

— За сколько халатъ-то заложенъ?

— Въ шести гривнахъ съ пятакомъ пошелъ. До пѣтуховъ[1]) закладали. Теперь ужъ третьи сутки пошли. Три гривны проценту, значитъ, наросло.

Я далъ „Матвѣю“ рубль.

Надо было видѣть его лицо.

Онъ даже не обрадовался, — онъ просто оторопѣлъ. На лицѣ было написано изумленіе, почти испугъ.

---

[1]) Заложить «до пѣтуховъ»— заложить до утра.

Съ минуту онъ постоялъ молча съ бумажкой въ рукѣ, затѣмъ кинулся опрометью изъ камеры, подъ веселый хохотъ всей арестантской братіи.

Я потомъ встрѣчалъ его много разъ. И всякій разъ, несмотря ни на какую погоду, обязательно въ халатѣ. Онъ, кажется, и спалъ въ немъ.

Всякій разъ, завидѣвъ меня, онъ еще издали снималъ шапку и улыбался до ушей, а на мой вопросъ: „Ну, что, какъ халатъ? — только смѣялся и махалъ рукой:

— Попалъ, молъ, было въ кашу!

Дня черезъ три послѣ выкупа мы встрѣтили его съ смотрителемъ.

— Ага, нашелся-таки халатъ?

„Матвѣй“ молчалъ.

Смотритель торжествовалъ.

— Видите, пригрозилъ, и нашелся? Съ ними только надо умѣть обращаться. Я, батенька, каторгу знаю! Вотъ какъ знаю. Они сами себя такъ не знаютъ, какъ я ихъ, негодяевъ, знаю.

Я не сталъ разубѣждать добраго человѣка. Къ чему?

Безсрочный „испытуемый“ Гловацкій.

47 лѣтъ онъ признанъ неспособнымъ уже не на какую работу.

Избитый, искалѣченный, вогнанный въ чахотку, приговоренный всю свою жизнь не выходить изъ кандальной,—передъ вами, дѣйствительно, быть-можетъ, самый несчастный человѣкъ на свѣтѣ.

Ложась спать, онъ не знаетъ, встанетъ ли завтра, или арестанты ночью его задушатъ. Онъ ни на секунду не можетъ разстаться съ ножомъ. Долженъ каждую минуту дрожать за эту несчастную жизнь.

На голову этого человѣка свалилось такъ много незаслуженныхъ бѣдъ, несправедливостей, неправды, что, право, начинаешь вѣрить Гловацкому, что и на Сахалинъ онъ попалъ „безвинно“.

Николай Гловацкій, мѣщанинъ Кіевской губерніи, гор. Звенигородки, присужденъ къ безсрочной каторгѣ за то, что повѣсилъ свою жену.

Окончившій курсъ уѣзднаго училища, по ремеслу шорникъ, Гловацкій въ 1876 году женился, а въ 1877 ушелъ въ военную службу. Вернувшись черезъ пять лѣтъ, онъ уже не узналъ своей жены. За это время она успѣла „избаловаться“, мѣняла друзей сердца и не хотѣла тихой семейной жизни. А Гловацкій

былъ влюбленъ въ свою жену. Онъ отыскалъ себѣ мѣсто въ имѣніи графини Дзелинской, въ Волынской губерніи, и увезъ туда жену, думая, что, вдали отъ соблазна, жена исправится и сдѣлается честной женщиной. Но она бѣжала изъ имѣнія. Гловацкій быстро хватился ея, догналъ и подъ вечеръ привезъ домой. Это была бурная и тяжелая ночь. По словамъ Гловацкаго, жена была въ какомъ-то изступленіи, она кричала:

— Ты противенъ мнѣ. Понимаешь ли, противенъ! Ничего, кромѣ отвращенія, я къ тебѣ не чувствую. Мнѣ что ты, что лягушка. Вотъ какъ ты мнѣ мерзокъ. Мнѣ въ петлю легче, пріятнѣе, чѣмъ быть твоей женой!

Она расхваливала ему достоинства своихъ друзей сердца. Говорила вещи, отъ которыхъ у Гловацкаго голова шла кругомъ. Онъ просилъ, умолялъ ее опомниться, образумиться, плакалъ, грозилъ. И, наконецъ, измученный въ конецъ, подъ утро задремалъ.

— Но вдругъ проснулся, — разсказываетъ Гловацкій, — словно меня толкнуло что. Смотрю,— жены нѣтъ. Зажегъ фонарь, выбѣжалъ изъ дома вслѣдъ, догнать. Выбѣгаю, а она около дома на деревѣ виситъ. Повѣсилась.

Гловацкій, по его словамъ, отъ ужаса не помнилъ, что дѣлалъ. Никто не видалъ, какъ онъ вечеромъ привезъ жену назадъ. Знали только, что она сбѣжала. И Гловацкій почему-то захотѣлъ скрыть ужасный случай.

— Почему, — и самъ не знаю, — говоритъ онъ.

Онъ снялъ трупъ съ дерева, положилъ въ мѣшокъ, пронесъ черезъ садъ и бросилъ въ рѣку. Черезъ нѣсколько дней трупъ въ мѣшкѣ прибило гдѣ-то, ниже по теченію, къ берегу. Гловацкій на всѣ вопросы твердилъ:

— Знать не знаю и вѣдать не вѣдаю.

По знакамъ отъ веревки нарисовали трагедію. И Гловацкій былъ осужденъ въ безсрочную каторгу за то, что, потихоньку привезя домой жену, онъ повѣсилъ ее и, чтобы скрыть слѣды преступленія, хотѣлъ утопить трупъ въ рѣкѣ.

Пусть онъ въ этомъ и будетъ виновенъ. Не будемъ вѣрить его разсказу. Вѣдь они всѣ говорятъ, что страдаютъ „безвинно“. Тайну своей смерти унесла съ собой покойная Гловацкая. И разрѣшить, кто правъ, правосудіе или Гловацкій — невозможно. Но вотъ дальнѣйшіе факты, свидѣтели которыхъ живы.

На Сахалинъ Гловацкій пришелъ въ 1888 году. Какъ безсрочный каторжникъ, Гловацкій былъ заключенъ въ существовавшую еще тогда страшную Воеводскую тюрьму, о которой сами гг. смотрители говорятъ, что это былъ „ужасъ“. Въ теченіе трехъ лѣтъ Гловацкій получилъ болѣе 500 розогъ, все за то, что не успѣвалъ окончить заданнаго „урока“. Напрасно

Арестантскія работы.

Гловацкій обращался за льготой къ тогдашнему врачу Давыдову. Этотъ типичный „осахалинившійся“ докторъ отвѣчалъ ему то же, что онъ отвѣчалъ всегда и всѣмъ:

— Что жъ я тебя въ комнату посажу, что ли?!

За обращеніе къ доктору Гловацкаго считали „лодыремъ“ и отправляли на наиболѣе тяжкія работы, — на вытаску бревенъ изъ тайги.

— Три раза за одно бревно пороли: никакъ вытащить не могъ, обезсилѣлъ! — вспоминаетъ Гловацкій одно особенно памятное ему дерево.

Вообще, въ этихъ воспоминаніяхъ Гловацкаго, какъ и вообще въ воспоминаніяхъ всѣхъ каторжниковъ бывшей Воеводской тюрьмы, ничего не слышно, кромѣ свиста розогъ и плетей.

Ведутъ, бывало, къ Фельдману, только молишь Бога, чтобъ дѣти его дома были. Дѣти,—дай имъ, Господи, всего хорошаго, всѣхъ благъ земныхъ и небесныхъ, — не допускали его до порки. Затрясутся, бывало, поблѣднѣютъ: „Папочка, не дѣлай этого, папочка, не пори!“ Ему передъ ними станетъ совѣстно, ну, и махнетъ рукой. Вся каторга за нихъ Бога молила.

Но и это было небольшимъ облегченіемъ:

— Что Фельдманъ! Старшимъ надзирателемъ тогда Старцевъ былъ. Бывало, пока до Фельдмана еще доведетъ, до полусмерти изобьетъ. Еле на ногахъ стоишь!

Все тяжелѣе и тяжелѣе было жить этому измученному человѣку. Въ 92 году онъ и совсѣмъ, какъ говорятъ на Сахалинѣ, „попалъ подъ колесо судьбы“.

— Иду какъ-то задумавшись, — вдругъ окрикъ: „Ты чего шапки не снимаешь?“ Господинъ Дмитріевъ. Задумался и не замѣтилъ, что онъ на крылечкѣ сидитъ. „Дать ему сто!“

Но Гловацкому дали только 50. Послѣ пятидесятой розги онъ былъ снятъ съ „кобылы“ безъ чувствъ и два дня пролежалъ въ „околоткѣ“. Не успѣлъ поправиться, — новая порка. Играли въ тюрьмѣ въ карты, рядомъ съ мѣстомъ Гловацкаго. Какъ вдругъ нагрянулъ тогда замѣнявшій начальника округа Шилкинъ. „Стремщики“ не успѣли предупредить, тюрьма была захвачена врасплохъ. Картъ не успѣли спрятать и бросили какъ попало на нары.

— Чье мѣсто? — спросилъ начальникъ.

— Гловацкаго!

— Сто!

— Да я не игралъ...

— Сто!

И Гловацкому, дѣйствительно, вовсе не играющему въ карты, „всыпали“ сто. На этотъ разъ Гловацкій выдержалъ всю сотню, но послѣ наказанія даже тогдашній сахалинскій докторъ положилъ его на три дня въ лазаретъ и далъ послѣ этого недѣлю отдыха.

— Только вышелъ, иду еле ноги двигаю, — голосъ. Господинъ Шилкинъ передъ очами. Ну, ей Богу, мнѣ съ перепуга показалось, что онъ изъ-подъ земли передо мною выросъ. И не замѣтилъ, что онъ въ сторонкѣ сидѣлъ. „Такъ ты вотъ еще

Арестантскіе типы.

какъ? Ты сопротивничать? Не кланяться еще вздумалъ? Пятьдесятъ“. Дали. Вижу, душа ужъ съ тѣломъ разстается. Смерть подходитъ неминучая.

Какъ разъ въ это время одинъ кабардинецъ собиралъ въ Воеводской тюрьмѣ партію для побѣга. Кабардинцу предстояло получить 70 плетей. Онъ подбиралъ людей, для которыхъ смерть была бы, какъ и для него, — ничто. Къ этой-то партіи и примкнулъ Гловацкій. Бѣжали четверо кавказцевъ, Гловацкій и каторжникъ Бейлинъ, сыгравшій впослѣдствіи страшную роль въ жизни Гловацкаго.

Бейлинъ послѣ ухода изъ тюрьмы отдѣлился отъ партіи и пошелъ бродяжить одинъ. А пятеро бѣглецовъ сколотили плотъ и поплыли по Татарскому проливу.

— Плывемъ. Вдругъ, — дымокъ показался. Смотримъ — катеръ. Замѣтили насъ. Полицеймейстеръ Домбровскій вслѣдъ катитъ. „Значитъ, не судьба. Ждемъ своей участи. Бьетъ это насъ волнами, бросаетъ нашъ плотъ. Вѣтромъ, — брезентовый пиджакъ тутъ лежалъ, — подхватило, въ воду снесло. Я его шестомъ хотѣлъ достать, — куда тебѣ, унесло. Подходитъ катеръ. „Сдавайтесь!“ — Домбровскій кричитъ. Мы — по положенію: на колѣни становимся. Взяли насъ на катеръ. „А зачѣмъ человѣка въ воду бросили?“ — полицеймейстеръ спрашиваетъ. „Какого человѣка?“ „— Не отпирайтесь, — говоритъ, — самъ видѣлъ, какъ человѣкъ въ воду полетѣлъ. Вотъ этотъ, вотъ, русскій, его еще шестомъ отпихивалъ“. — „Да это, молъ, пиджакъ, а не человѣкъ“. — „Ладно, — говоритъ, — разберется. Самъ видѣлъ“. Привозятъ въ тюрьму. Бѣжало шестеро, а привели пятерыхъ, Бейлина нѣтъ. „Гдѣ Бейлинъ?“ спрашиваютъ. Клянемся и божимся, что Бейлинъ отдѣлился, одинъ пошелъ. Вѣры нѣтъ, — „самъ полицеймейстеръ видѣлъ, какъ Гловацкій человѣка въ воду бросилъ и шестомъ топилъ“.

Пошло дѣло объ убійствѣ Гловацкимъ во время побѣга арестанта Бейлина.

— Два года, какъ тяжкій подслѣдственный, въ кандалахъ сижу, пока идетъ судъ да дѣло. Жду, либо висѣлицы, либо плетей, — насмерть запорютъ. Начальству божусь, клянусь, — смѣются, „а вотъ явится съ того свѣта Бейлинъ, тогда тебя оправдаютъ. Другого способа нѣтъ“.

Какъ вдругъ, въ 1894 году „Ярославль“ привозитъ на Сахалинъ Бейлина. Бейлину удалось добраться до Россіи, тамъ онъ попался, сказался бродягой непомнящимъ и пришелъ теперь въ каторгу, какъ бродяга, на $1^1/_2$ года.

Бросился Гловацкій къ Бейлину:

— Скажись. Вѣдь меня судятъ, будто я тебя убилъ.

Бейлинъ отказывается:

— Нѣтъ. Какой мнѣ расчетъ полтора года на долгій срокъ да на плети мѣнять.

Гловацкій обратился къ каторгѣ:

— Братцы! Да вступитесь же! Вѣдь вы знаете, что это Бейлинъ!

Но Бейлинъ, у котораго были маленькія деньжонки, подкупилъ „Ивановъ“. „Иваны“, эти законодатели, судьи и палачи, объявили:

— Убьемъ, кто донесетъ. Старый порядокъ: бродягу не уличать.

Тогда, видя, что все равно приходится гибнуть, Гловацкій явился самъ по начальству:

— Меня обвиняютъ въ убійствѣ Бейлина, а Бейлинъ живъ здѣсь. Вотъ онъ!

Берега Сахалина.

Сличили съ карточками, допросили арестантовъ, Бейлинъ долженъ былъ сознаться. Дѣло объ его убійствѣ прекратили, и Гловацкаго за побѣгъ приговорили къ 11 годамъ „испытуемости“ и 65 плетямъ.

— Только за 6 дней отлучки!—говоритъ онъ, и на глазахъ навертываются слезы при воспоминаніи объ этихъ 65 плетяхъ.

Бейлину за побѣгъ тоже вышла прибавка срока и плети, и онъ рѣшилъ отомстить.

— Десяти рублей не пожалѣю, а Гловацкому не жить!

10 рублей на Сахалинѣ, гдѣ про „Ивана“ Балданова, зарѣзавшаго поселенца изъ-за 60 копеекъ, мнѣ говорили, что онъ убилъ „за деньги“. За 10 рублей на Сахалинѣ можно нанять убійцъ и перерѣзать цѣлую семью.

За 10 рублей „Иваны“ нанялись повѣсить Гловацкаго въ „укромномъ“ мѣстѣ. Но Гловацкому кто-то за 20 копеекъ выдалъ заговоръ „Ивановъ“.

— Что было дѣлать? Донести начальству — невозможно. И такъ и этакъ, — все равно убьютъ.

Гловацкій запасся ножомъ и рѣшилъ быть на чеку. Однажды, когда Гловацкій, передъ вечеромъ, шелъ къ „укромному“ мѣсту, на него кинулась шайка „Ивановъ“, и одинъ изъ нихъ, Степка Шибаевъ, накинулъ ему на шею петлю. Гловацкій успѣлъ, однако, схватить одной рукой веревку, а другою ударилъ Степку ножомъ въ животъ.

„Иваны“ кинулись въ сторону.

— Что жъ вы, подлецы? — кричалъ имъ Гловацкій и, наклонившись къ корчившемуся въ предсмертныхъ мукахъ Шибаеву, спросилъ. — Ну, что, задавили Гловацкаго, мерзавецъ!

Въ тюрьмѣ убійство! Явилось начальство. Умирающаго Степку отнесли въ лазаретъ. Гловацкаго арестовали и посадили въ особое отдѣленіе.

Между тѣмъ, „Иваны“ пришли въ себя. Они кинулись въ отдѣленіе, гдѣ сидѣлъ обезоруженный Гловацкій, выломали двери и били его до полусмерти. Переломили ему руку, разбили лобъ, „отбили всѣ внутренности“. Къ счастью или къ несчастью, подоспѣла стража, и Гловацкаго еле вырвали, полуживого, безъ сознанія, изъ рукъ озвѣрѣвшихъ людей.

Гловацкій остался искалѣченный на всю жизнь. Ему даже говорить трудно. Онъ задыхается.

Слѣдствіе на Сахалинѣ вели, кто прійдется,— люди, вовсе незнакомые съ этимъ дѣломъ [1]). Свидѣтелями допрашивались тѣ же „Иваны“, которые, конечно, „засыпали“ Гловацкаго:

[1]) Только недавно на Сахалинъ назначены двое слѣдователей, они же — мировые судьи.

Арестантскія работы.

— Убилъ по злобѣ!

И Гловацкій, только защищавшій свою жизнь, приговоренъ къ пожизненной „испытуемости“, къ пожизненному содержанію въ кандальной тюрьмѣ и 30 плетямъ. Плетей не дали. Какія же плети полуумирающему? Докторъ призналъ его неспособнымъ къ перенесенію тѣлеснаго наказанія. Но за жизнь, сидя въ кандальной, Гловацкій долженъ дрожать день и ночь, каждую минуту: „Иваны“ приговорили его къ смерти и за Бейлина и за Степку.

— Вотъ у насъ, поистинѣ, страдалецъ! — говорилъ мнѣ смотритель тюрьмы г. Кнохтъ.

— Да что жъ вы-то?

— А я что могу? Слѣдствіе такъ повели!

Я обращался къ каторжанамъ:

— Вы чего же молчали?

— Что это? Соваться, — сказывать, что „Иваны“ нанялись его убить. Убьютъ!

Бейлинъ содержится въ той же тюрьмѣ. Я говорилъ съ нимъ.

— Вѣдь изъ-за тебя невиннаго человѣка повѣсить могли. Чего жъ ты самъ не сказалъ.

— Мнѣ это не полезно. Мнѣ о другихъ думать нечего. Всякій за себя.

Гловацкій никуда не выходитъ изъ своего „номера“. Для бесѣдъ со мной его водили по тюремному двору подъ конвоемъ: а то убьютъ.

— Я и такъ ножъ всегда при себѣ ношу. „Иваны“ мнѣ Степки не простятъ. Сказали: убьютъ, — и убьютъ. Такъ вотъ живу и жду.

И этотъ несчастнѣйшій человѣкъ въ мірѣ, обреченный на смерть въ кандальной, когда я его спросилъ, не могу ли быть чѣмъ-нибудь полезенъ, просилъ меня не за себя, а за другого:

— Ему очень тяжко.

Каторжные типы.

Сѣрые лица и халаты. Какой однообразной кажется толпа каторжанъ! Но когда вы познакомитесь поближе, войдете въ ея жизнь, вы будете различать въ этой сѣрой массѣ безконечно разнообразные типы. Мы познакомимся съ главнѣйшими — съ тѣми, про которые можно сказать, что они составляютъ „атмосферу тюрьмы“, ту атмосферу, въ которой нарождаются преступленія и задыхается все, что попадаетъ въ нее маломальски честнаго и хорошаго.

Если вы войдете въ тюрьму въ обѣденное время, вамъ, конечно, прежде всего бросится въ глаза небольшой ящикъ, на которомъ разставлены бутылочки молока; положены вареныя яйца, кусочки мяса, бѣлый хлѣбъ. Тутъ же лежатъ сахаръ и папиросы. Гдѣ-нибудь подъ нарами, можете быть вполнѣ увѣрены, отлично спрятаны водка и карты. Это — „майданъ". Около этого буфета вы увидите фигуру, по большей части, *татарина-майданщика*. Прежде, въ сибирскія времена каторги, майданы держали исключительно бродяги. Каторга тамъ была богаче. Тюрьма получала массу подаяній. Русскій народъ считаетъ святымъ долгомъ подавать „несчастненькимъ", и, пространствовавъ пѣшкомъ по городамъ и весямъ, партія арестантовъ приходила въ каторгу съ деньгами. Тогда майданщики наживали въ тюрьмѣ тысячи, — бродяги обирали тюрьму. Вотъ откуда и ведется теперешняя ненависть и презрѣніе каторги къ бродягамъ. Это ненависть историческая, восходящая еще къ страшнымъ разгильдѣевскимъ временамъ. Эта ненависть передана однимъ поколѣніемъ каторги другому. Каторга вымещаетъ бродягамъ обиды историческія. Мститъ за давнія угнетенія, своеволіе, обирательство. Теперь денежная власть изъ рукъ бродягъ перешла къ татарамъ. Нищую сахалинскую каторгу обираютъ татары, какъ „богатую" сибирскую каторгу обирали бродяги. Вотъ причина той страшной ненависти къ татарамъ, которую я никакъ не могъ понять, когда у насъ въ трюмѣ парохода арестанты чуть не убили татарина только за то, что онъ нечаянно наступилъ кому-то на ногу. Эта національная ненависть носитъ экономическую подкладку.

Всѣ эти богатеи Сахалина, зажиточные поселенцы, на которыхъ вамъ съ такою гордостью указываютъ, — по большей части, нажились въ тюрьмѣ на майданѣ.

— Нескладно!—упрекалъ я каторжника, когда онъ разсказывалъ мнѣ, какъ зарѣзали одного зажиточнаго поселенца. — Свой же братъ, трудомъ, потомъ, кровью нажилъ, а вы же его убили!

— Трудомъ!—каторжникъ даже разсмѣялся.—Будетъ, ваше высокое благородіе, ихъ-то жалѣть, — вы насъ лучше пожалѣйте! Трудомъ! При мнѣ же въ тюрьмѣ майданъ держалъ; сколько изъ-за него народа погибло!

Майданъ, это—закусочная, кабакъ, табачная лавочка, игорный домъ и доходная статья тюрьмы. Тюрьма продаетъ право ее эксплоатировать. Майданъ сдается обыкновенно на одинъ мѣсяцъ, съ торговъ, 1-го числа. Майданщикъ платитъ по 15 к. каждому арестанту камеры, если у него играютъ только въ „арестантскій преферансъ", и по 20 коп., если игра идетъ еще и въ штоссъ и въ кончинку. Кромѣ того, майданщикъ

долженъ нанять по 1 рублю 50 копеекъ двоихъ *каморщиковъ*, обыкновенно несчастнѣйшихъ жигановъ, которые обязуются выносить „парашу“, подметать, или, вѣрнѣе, съ мѣста на мѣсто перекладывать, соръ, мыть тюрьму, или, вѣрнѣе, разводить водой и размазывать жидкую грязь.

Майданщикъ же долженъ держать и *стремщика*, который за 15 копеекъ въ день стоитъ у дверей и долженъ предупреждать:

— Духъ! — если идетъ надзиратель.

— Шестъ! — если идетъ начальство.

— Вода! — если грозитъ вообще какая-нибудь опасность.

За это тюрьма обязуется охранять интересы майданщика и смертнымъ боемъ бить всякаго, кто не платитъ майданщику долга. Тюрьмѣ нѣтъ дѣла до того, при какихъ условіяхъ задолжалъ товарищъ майданщику. Майданщикъ кричитъ:

— Что жъ вы, такіе-сякіе, деньги съ меня взяли, а бить не бьете?

И тюрьма бьетъ насмерть:

— Задолжалъ, — такъ плати.

Самый выгодный и хорошій товаръ майдана — водка. Цѣна на нее колеблется, глядя по мѣсту и по обстоятельствамъ; но обыкновенная цѣна бутылкѣ слабо разведеннаго спирта, въ тюрьмѣ для исправляющихся, отъ 1 руб. до 1 руб. 50 коп. Водка очень слабая, оставляетъ во рту только скверный вкусъ, и у меня вѣчно выходили изъ-за этого пререканія съ самымъ старымъ каторжникомъ на Сахалинѣ [1]), дѣдушкой русской каторги, Матвѣемъ Васильевичемъ Соколовымъ.

— Чего ты мнѣ все деньги даешь! Ты самъ пойди въ майданъ выпей,—кака-така тамъ есть водка! Ты меня къ себѣ позови, кухаркѣ вели, чтобъ чашечку поднесла. Это вотъ — водка!

Цѣны на остальные товары въ майданѣ слѣдующія: бутылку молока, которая самимъ имъ достается за 3—4 копейки, майданщики продаютъ по пятачку. Яйцо — 3 коп., самому 1 р. 20 коп. сотня. Хлѣбъ бѣлый—6 коп. фунтъ, самому—4 коп. Свинина — другого мяса въ тюрьмѣ нѣтъ, коровъ поселенцы не продаютъ: нужны для хозяйства,—вареная свинина рѣжется кусочками по $^1/_6$ фунта, кусочекъ—5 копеекъ, фунтъ сырой свинины—20—25 коп. Кусочекъ сахару — копейка. Папироса — копейка.

Это все на наличныя деньги. Можете себѣ представить, по какимъ цѣнамъ все это отпускается въ кредитъ! Главнѣйшая

[1]) Пятьдесятъ лѣтъ въ каторгѣ. Три «вѣчныхъ приговора».

статья дохода майдановъ, какъ и нашихъ клубовъ, — карты. Майданщикъ получаетъ 10 процентовъ съ банкомета и 5 — съ понтера. Кромѣ того, майданщики занимаются, конечно, и ростовщичествомъ, покупкой и сбытомъ краденаго. Все почти, что заработаетъ, украдетъ или изъ-за чего убьетъ тюрьма, переходитъ, въ концѣ концовъ, въ руки майданщика.

Майданщикъ играетъ огромную роль при „смѣнкахъ", которыя называются на арестантскомъ языкѣ „свадьбой". „Свадьба" обыкновенно происходитъ такъ. Если въ тюрьмѣ есть долгосрочный арестантъ, желающій смѣняться именемъ и „участью" съ краткосрочнымъ,— онъ входитъ въ компанію съ Иванами, храпами, и они привлекаютъ къ участію въ дѣлѣ обязательно майданщика. Они подыскиваютъ подходящаго по внѣшнему виду краткосрочнаго арестанта, по большой части бѣдняка, и начинаютъ за нимъ охоту. Когда съ человѣкомъ сидишь 24 часа вмѣстѣ, поневолѣ изучишь его нравъ, характеръ, узнаешь склонности и маленькія слабости. Компанія начинаетъ работать. Майданщикъ вдругъ входитъ въ необыкновенную дружбу съ намѣченной жертвой. Предлагаетъ голодному въ кредитъ, что угодно:

Арестантскіе типы.

— Ты ничего. Ты бери. Ты парень, я вижу, добрый. Изъ дома тебѣ пришлютъ,— можетъ, подаяніе будетъ, а либо заработаешь, украдешь что. Я повѣрю. Ты парень честный.

— Да ты водочки не хочешь ли?

И майданщикъ подноситъ чашечку водочки.

— Пей, пей! Потомъ сочтемся!

Захмелѣвшій арестантъ проситъ другую. Хмелѣетъ сильнѣе. А тутъ сосѣдъ „затираетъ":

— Ты что? Ты человѣкъ фартовый! Ты въ карты сядь,— завсегда и водка и все будетъ... Смотри вонъ, такой-то. Сколько деньжищъ сгребъ, какъ живетъ: водка не водка! Ты не робѣй, главное!

— Денегъ нѣту...

— А ты у майданщика попроси. Онъ къ тебѣ добрый. Дастъ на розыгрышъ? Эй, дядя...

— Чего? Деньжонокъ на розыгрышъ? Играй, — плачу за тебя, потомъ сочтемся!

Тутъ на сцену выступаетъ „мастакъ", обыгрывающій простака навѣрняка. Нѣсколько рублей, которые „для затравки" спервоначала даютъ простаку выиграть, кружатъ ему голову.

— Ловко! Молодца! Бухвость его! Дуй въ хвостъ и гриву!— подзадориваютъ толпящіеся около „Иваны".

— Видать птицу по полету! За этакимъ не пропадетъ! Подать водочки? — предлагаетъ майданщикъ.

А опьянѣвшій отъ вина и успѣха герой вопитъ:

— Бардадымъ два цѣлковыхъ! Шеперка полтина очко!

— Такъ его! Такъ! Дуй! Эта бита, — другая будетъ дана! Мечи, сиволапый чортъ, не любишь проигрывать?..

Бита!.. Бита!.. Бита!..

Словомъ, когда на утро „герой" просыпается съ головой, готовой треснуть отъ вчерашняго похмелья, у него проиграно все: казенная дачка хлѣба за годъ впередъ... Съ голода мри... А тутъ еще „барахольщикъ" подходитъ:

— Отлежался, милъ человѣкъ! Скидавай-ка бушлатъ да штаны. Помнишь, какъ вчера мнѣ продалъ!

„Герой" съ ужасомъ припоминаетъ, какъ вчера, дѣйствительно, кажется, что-то въ этомъ родѣ было!

— А не помните, — тюрьма напомнитъ. Вотъ они всѣ видѣли!— „барахольщикъ" указываетъ на „Ивановъ".

— При насъ было!

— Ты и слѣдующую-то дачку тоже не забудь мнѣ отдать. За годъ впередъ проиграно. Аль забылъ? Реберъ, братъ не бываетъ у тѣхъ, кто забываетъ Порядокъ арестантскій—извѣстный.

А тутъ и майданщикъ подходитъ:

— Начудилъ ты тутъ вчера, милъ человѣкъ! Теперь за расплату возьмемся. По майдану ты мнѣ задолжалъ столько-то, да проигрышу я за тебя заплатилъ столько-то. Выкладывай! Гдѣ денежки?

— Да вѣдь ты жъ авчерась говорилъ...

— То другое дѣло, милый человѣкъ! Авчерашняго числа авчерашній разговоръ былъ. А сегодняшняго — сегодній. Мнѣ деньги нужны, — за товаръ платить. А ежели ты должать да не платить, — такъ мы по-свойски. Братцы, что жъ это? Грабежъ!

— Какой же такой порядокъ въ тюрьмѣ пошелъ? — орутъ храпы.— Майданщику не платятъ! Мы съ майданщика за майданъ беремъ, а ему не платятъ! Кто жъ послѣ этого майданъ содержать будетъ? Чѣмъ тюрьма жить будетъ? Гдѣ таки порядки писаны?

— Мять будемъ!— заявляютъ „Иваны“.— Нѣтъ такихъ порядковъ въ каторгѣ, чтобъ задолжать да не платить!

Все проиграно, кругомъ въ долгу. Впереди—голодная смерть и переломанныя ребра.

Въ эту-то минуту къ потерявшему голову краткосрочному и подходитъ *крученый* арестантъ,—торреадоръ каторги.

— Хочь, изъ бѣды выручу?

— Милостивецъ!

— Слухай, словечка не проронн. Есть тутъ такой-то, большесрочникъ, на тебя смахиваетъ. Наймись за него въ каторгу.

— На двадцать лѣтъ-то? Вѣкъ загубить?— съ ужасомъ глядитъ на демона-искусителя арестантъ, которому и каторги-то всего 3—4 года.

— Все одно,— жизни тебѣ нѣтъ. Убьютъ за то, что въ майданъ не платишь,—аль-бо съ голода подохнешь! А ты слухай хорошенько. Ты человѣкъ молодой, порядковъ не знаешь, а я человѣкъ крученый, всѣ ходы и выходы знаю. Зачѣмъ навѣкъ иттить? Сбѣжимъ за первый сортъ! Да тебѣ и вся, сколько есть, каторга поможетъ! Мы завсегда такихъ освобождаемъ! Сколько такихъ-то бѣгало. Такой-то, такой-то, такой-то!..

„Крученый“ сыплетъ небывалыми фамиліями:

— Не слыхалъ? Такъ ты у другихъ спроси, какіе поумнѣе. Бѣжалъ, сказался бродягой, никто не выдастъ, — на полтора года. Любехонько. „Сухарнику“ ли не житье! А ты, милъ человѣкъ, пойди къ долгосрочнику да въ ножки поклонись: чтобъ тебя взялъ. Насъ, такихъ-то, много.

Если будущій „сухарникъ“ не соглашается, „крученому“ остается только мигнуть.

— Бей его!—вопитъ майданщикъ.

И каторга принимается истязать неисправнаго плательщика. На первый разъ бьютъ безъ членовредительства, по большей части ногами между лопатокъ, и отнюдь не „въ морду“, чтобъ смѣнщика „не портить“. Но предупреждаютъ:

— А дальше не то тебѣ, такому-сякому, будетъ! До тѣхъ поръ бить станутъ, пока все до копеечки въ майданъ не отдашь!

Иваны и храпы слѣдятъ за нимъ и не отступаютъ ни на шагъ: „чтобъ не повѣсился“. Голодный, избитый, во всемъ отчаявшійся, онъ идетъ къ долгосрочнику и говоритъ:

— Согласенъ!

— Помни же! Не я звалъ, — самъ напросился. Чтобъ потомъ не на попятную.

И начинается торгъ на человѣческую жизнь. Торгъ мошенническій: долгосрочный арестантъ будто бы платитъ майданщику огромные фиктивные долги „смѣнщика“. А Иваны и храпы, дѣлая видъ, будто они надбиваютъ цѣну, на самомъ дѣлѣ оттягиваютъ всякій грошъ у несчастнаго.

— Ты ужъ и ему дай, что на разживку! — орутъ храпы.

— Съ чего давать-то? — кобенится наемщикъ. — Эку прорву деньжищъ-то платить-то! Въ майданъ плати! У барахольщика его выкупи! За пайку за годъ впередъ заплати. Съ чего давать?

— Ну, дай хоть пятишку! — великодушничаетъ какой-нибудь Иванъ. — Не обижай! Парень-то хорошъ. Да и то, по примѣтамъ подходитъ.

— Давать-то не изъ-за чего!

— Хошь пополамъ получку? — шепчетъ несчастному храпъ. — За тебя орать стану, а то ничего не дадутъ. Хошь, что ли-ча?

— Ори!

— Чаво тамъ пятишку! — принимается орать храпъ. — Красненькую дать не грѣшно. Ты ужъ не обижай человѣка-то: твое вѣдь имя приметъ. Грѣхи несть будетъ! Давай красный билетъ!

— Пятишку съ него будетъ!

— Красную!

— Цѣнъ этихъ въ каторгѣ нѣтъ!

— Деньги-то вѣдь настоящія, не липовыя.

— Да вѣдь и онъ-то настоящій, не липовый.

— Чортъ, будь по-вашему! Жертвую красную! Пущай чувствуетъ, чье имя, отчество, фамилію носитъ!

— Вотъ это дѣло! Ай-да Сидоръ Карповичъ! Это — душа!

— Вотъ тебѣ и свадьба и тюрьмѣ радость. Требуй что ль водки изъ майдана, Сидоръ Карповичъ! Дай молодыхъ вспрыснуть. Дай имъ Богъ совѣтъ да любовь! — балагуритъ каторга. — Майданщикъ, песій сынъ сиволапый, аль дѣла своего не знаешь? Свадьба, а ты водку не несешь!

И продалъ человѣкъ свою жизнь, свою участь за 10 р., — тогда какъ настоящая-то цѣна человѣческой жизни на каторгѣ, настоящая плата за „смѣнку“ колеблется отъ 5 до 20 рублей. Половину изъ полученныхъ 10 рублей возьметъ себѣ, по условію, храпъ за то, что „надбавилъ“ цѣну, а остальные пять отыграетъ „мастакъ“ или возьметъ майданщикъ „въ счетъ долга“:

— Это что что за тебя заплатили! Ты самъ за себя попла[illegible]! За водку, молъ, не плачено.

Или попросту украдутъ у соннаго и пьянаго. Тюрьмѣ ни до чего до этого дѣла нѣтъ:

— Всякій о себѣ думай!

Но одна традиція свято соблюдается въ тюрьмѣ: человѣка, продавшаго свою „участь“, напаиваютъ до безчувствія, чтобы не мучился.

— Тѣшь, дескать, свою проданную душу!

Онъ мѣняется со своимъ смѣнщикомъ платьемъ. Если раньше не носилъ кандаловъ, ему „пригоняютъ“ на ноги кандалы, смѣнившійся разсказываетъ ему всю свою исторію, и тотъ обязанъ разсказать ему свою, чтобы не сбиться гдѣ на допросѣ. Тутъ же „подгоняютъ примѣты“. Если у долгосрочнаго арестанта значилось въ особыхъ примѣтахъ нѣсколько недостающихъ зубовъ, — то смѣнившемуся краткосрочному вырываютъ или выламываютъ нужное число зубовъ. Если въ особыхъ примѣтахъ значатся родимыя пятна, — выжигаютъ ляписомъ пятна на соотвѣтствующихъ мѣстахъ. Все это дѣлается обязательно въ присутствіи всей камеры.

— Помнишь же? — спрашиваютъ у смѣнившагося.

— Помню.

— Всѣ, братцы, видѣли?

— Всѣ! — отвѣчаетъ тюрьма.

Приказываютъ майданщику подать водку, — и „свадьба“ кончена. Человѣкъ продалъ свою жизнь, взялъ чужое имя и превратился съ *сухарника*. Наниматель отнынѣ — его *хозяинъ*. Если сухарникъ вздумалъ бы заявить о „свадьбѣ“ по начальству и „засыпать“ хозяина, — онъ будетъ убитъ. Другого наказанія за это каторга не знаетъ.

И вотъ на утро, снова съ головой, которая трещитъ съ похмелья, просыпается новый долгосрочный каторжникъ.

Онъ — не онъ.

Подъ его именемъ ходитъ по тюрьмѣ другой и несетъ наказаніе за его пустяшный грѣхъ.

А у него впереди — 20 лѣтъ каторги. Иногда плети. Наказаніе за преступленіе, котораго онъ никогда не совершалъ.

У него на ногахъ кандалы — чужіе. Преступленіе — чужое. Участь — чужая. Имя — чужое. Нѣтъ, теперь все это не чужое, а свое.

— Это вѣрно! — посмѣивается каторга. — „Самъ не свой“ человѣкъ становится.

Что долженъ чувствовать такой человѣкъ? Сердцевѣдъ-каторга первое время слѣдитъ за нимъ: „Не повѣсился бы?“ Тогда можетъ все открыться.

Но затѣмъ привыкнетъ...

— Ко всему подлецъ-человѣкъ привыкаетъ! — со слезами въ голосѣ и на глазахъ говорилъ мнѣ одинъ интеллигентный каторжанинъ, вспоминая слова Достоевскаго.

Эти „свадьбы“ особенно процвѣтали на страшной памяти сибирскихъ этапахъ. Но процвѣтаютъ ли они теперь, при существованіи фотографическихъ карточекъ преступниковъ?

Вотъ факты. Не дальше, какъ осенью этого года, при посадкѣ партіи на „Ярославль“, была обнаружена такая „смѣна“. Знаменитостью по части смѣнокъ, о которой я упоминалъ уже въ самомъ началѣ моего путешествія, является какой-то „Иванъ Пройди-Свѣтъ“. Личность, ставшая какой-то миѳической. Въ теченіе трехъ лѣтъ на пароходъ доставлялся для отправки на Сахалинъ „бродяга Иванъ Пройди-Свѣтъ“, — и каждый разъ передъ отходомъ парохода получалась телеграмма: „Вернуть бродягу, доставленнаго подъ именемъ „Ивана Пройди-Свѣтъ“, потому что это не настоящій“. Кто же этотъ „Иванъ Пройди-Свѣтъ“, гдѣ онъ, — такъ и остается неизвѣстнымъ. Вспомните въ моихъ разсказахъ „Агаѳью Золотыхъ“, вмѣсто которой съ Сахалина была освобождена, до Одессы доставлена и въ Одессѣ бѣжала какая-то другая арестантка. На Сахалинѣ славится каторжанинъ „Блоха“, когда-то „знаменитый“ московскій убійца. Личность, тоже ставшая полумиѳической. Въ каждой тюрьмѣ бывалъ арестантъ „Блоха“, — и всегда, въ концѣ концовъ, оказывалось, что это „не настоящій“. На Сахалинѣ было одно время двое „Блохъ“, но ни одинъ изъ нихъ не былъ тѣмъ настоящимъ, неуловимымъ, которому за его неуловимость каторга дала прозвище „Блохи“. Смѣнки происходятъ въ сахалинскихъ тюрьмахъ и при пересылкѣ партій изъ поста въ постъ. Гдѣ же прослѣдить за карточками, когда ихъ тысячи? Кому слѣдить? Карточки снимаются, складываются. И лежатъ карточки въ шкапу, а арестанты въ тюрьмѣ распоряжаются сами по себѣ...

Я нѣсколько уклонился въ сторону, но говоря о майданщикахъ, нельзя не говорить и о смѣнкахъ, потому что нигдѣ такъ ярко не обрисовывается этотъ типъ. Ростовщикъ, кабатчикъ, содержатель игорнаго дома, — онъ напоминаетъ какого-то большого паука, сидящаго въ углу и высасывающаго кровь изъ бьющихся въ его тенетахъ преступниковъ и несчастныхъ.

Принимаются ли какія-нибудь мѣры противъ майданщиковъ?

Принимаются. Смотритель Рыковской тюрьмы съ гордостью говорилъ мнѣ, что въ его тюрьмѣ нѣтъ больше майдановъ, и очень подробно разсказалъ мнѣ, какъ онъ этого добился.

Это не помѣшало мнѣ въ тотъ же день, когда мнѣ по добились въ тюрьмѣ спички, купить ихъ... въ майданѣ.

Асмодеи, это — Плюшкины каторги. Асмодеемъ называется арестантъ, который копитъ деньгу и отказываетъ себѣ для этого въ самомъ необходимомъ. Нигдѣ, вѣроятно, эта страсть — скупость, не выражается въ такихъ уродливыхъ формахъ. Въ этомъ мірѣ „промотчиковъ“, если у арестанта вспыхиваетъ скупость, то она вспыхиваетъ съ могуществомъ настоящей страсти и охватываетъ человѣка цѣликомъ. „Асмодей“ продаетъ выдаваемые ему въ мѣсяцъ 24 золотника мыла и четверть кирпича чаю.

Арестантскіе типы.

Изъ скуднаго арестантскаго пайка продаетъ половину выдаваемаго на день хлѣба. Ухитряется по два срока носить казенное платье, которое уже къ концу перваго-то срока превращается обыкновенно въ лохмотья. Оборванецъ даже среди арестантовъ, вѣчно полуголодный, онъ долженъ каждую минуту дрожать, чтобы его не обокрали, безпрестанно откапывать и закапывать въ другое мѣсто деньги такъ, чтобъ за нимъ не подсмотрѣли десятки зорко слѣдящихъ арестантскихъ глазъ. Или носить эти деньги постоянно при себѣ, въ ладанкѣ на тѣлѣ, ежесекундно боясь, что ихъ срѣжутъ. Морить себя голодомъ, вести непрерывную борьбу съ обитателями каторги, дрожать за себя, отравлять себѣ и безъ того гнусное существованіе, и для чего? Я сидѣлъ какъ-то въ Дербинской богадѣльнѣ.

— Баринъ, баринъ, глянь!

Старый слѣпой бродяга заснулъ на нарахъ. Халатъ сползъ, грудь, еле прикрытая отвратительными грязными лохмотьями, обнажилась. Старикъ спалъ, зажавъ въ рукѣ висѣвшую на груди ладанку съ деньгами. Онъ уже лѣтъ десять иначе не спитъ, какъ держа въ рукѣ завѣтную ладанку.

— Тсъ! — подмигнулъ одинъ изъ старыхъ каторжанъ и тихонько тронулъ старина за руку.

Слѣпой старикъ вскочилъ, словно его ударило электрическимъ токомъ, и, не выпуская изъ рукъ ладанки, другой рукой моментально выхватилъ изъ-подъ подушки „жулика“ (арестантскій ножъ). Онъ сидѣлъ на нарахъ, хлопая своими бѣльмами, ворочая головой и на слухъ стараясь опредѣлить, гдѣ опасность. Въ эту минуту онъ былъ похожъ на вспуганнаго днемъ филина. Когда раздался общій хохотъ, онъ понялъ, что надъ нимъ подшутили, и принялся неистово ругаться. И, право, трудно сказать, кто тутъ былъ болѣе ужасенъ и отвратителенъ: эти ли развратничающіе, пьянствующіе, азартные игроки-старики, или этотъ „Асмодей“, десять лѣтъ спящій съ ладанкой въ рукѣ и ножомъ подъ подушкой.

Асмодей часто для увеличенія своего состоянія занимается ростовщичествомъ. Для ростовщика у каторги есть два названія. Ростовщикъ-татаринъ титулуется *Бабаемъ*, ростовщиковъ-русскихъ называютъ *отцами*. Обычный закладъ арестантскаго имущества — „до пѣтуховъ“, т.-е. на ночь, до утренней повѣрки. „За ночь выиграешь“. При чемъ самымъ божескимъ процентомъ считается 5 коп. съ рубля. Но обыкновенно, процентъ бываетъ выше и зависитъ отъ нужды въ деньгахъ. Для займовъ безъ залога — никакихъ правилъ нѣтъ. „За сколько согласились, то и ладно“. Даютъ взаймы подъ получку казенныхъ вещей, подъ кражу, подъ убійство. Нищіе и игроки, — тюрьма всегда вся въ рукахъ бабаевъ и отцовъ. Цѣлая масса преступленій на Сахалинѣ объясняются тѣмъ, что бабаи или отцы насѣли: зарѣжь да отдай. Въ Александровской кандальной тюрьмѣ есть интересный типъ — Болдановъ. Онъ сосланъ за то, что зарѣзалъ цѣлую семью, — и на Сахалинѣ въ первый день Пасхи зарѣзалъ поселенца изъ-за 60 копеекъ.

— А я почемъ зналъ, сколько тамъ у него, — говорилъ онъ мнѣ, — въ чужомъ карманѣ я не считалъ. Праздникъ, гуляетъ человѣкъ, — значитъ, должны быть деньги.

— И рѣзать человѣка изъ-за этого?

— Думалъ, отыграюсь.

— Да ты бы у отца какого занялъ?

— Занялъ одинъ такой! Сунься, цѣлкачъ возмешь, съ жизнью простись. Паекъ отберутъ, а все изъ долга не выл-зешь... Заложишь бушлатъ, а снимутъ шкуру. Нѣтъ, каждо у тоже нужно и о своей жизни помыслить. Всякій за себя.

Говоря объ отцахъ, бабаяхъ и асмодеяхъ, нельзя не уп-мянуть о ихъ ближайшихъ помощникахъ, *барахольщика* и самыхъ страшныхъ и неумолимыхъ врагахъ — *крученых*. „Барахломъ“, собственно, на арестантскомъ языкѣ называе-я

Поселенческій бытъ. Балаганъ на Пасхѣ.

старая ни на что больше негодная вещь, лохмотья. Но этимъ же именемъ арестанты зовутъ и выдаваемую имъ одежду. Можете поэтому судить о ея качествѣ. Барахольщикъ, это — старьевщикъ. Онъ, входя въ камеру, выкрикиваетъ:

— Кому чего продать — промотать!

Скупаетъ и продаетъ арестантскія вещи, даетъ смѣнку, то-есть за новую вещь даетъ старую съ денежной придачей. Барахольщики по большей части работаютъ на комиссіи, отъ отцовъ. Но часто, купивъ за безцѣнокъ краденое, барахольщикъ начинаетъ вести дѣло за свой страхъ и рискъ, выходитъ въ отцы или майданщики и получаетъ огромные вѣсъ и вліяніе. И при видѣ злосчастнаго арестанта, входящаго въ камеру съ традиціоннымъ выкрикомъ: „Кому чего продать — промотать“, вы невольно задумаетесь:

„Сколько разъ, быть-можетъ, прійдется этому человѣку держать въ своихъ рукахъ жизнь человѣческую“.

Съ крученымъ арестантомъ мы уже встрѣчались, когда онъ уговаривалъ будущаго сухарника согласиться на „свадьбу съ долгосрочнымъ каторжникомъ и за 5—10 рублей продать свою жизнь. Крученымъ съ любовью и нѣкоторымъ уваженіемъ каторга называетъ арестанта, прошедшаго огонь, воду, мѣдныя трубы и волчьи зубы. Такой арестантъ долженъ до тонкости умѣть провести начальство, но особую славу они составляютъ себѣ на асмодеяхъ. Втереться въ довѣріе даже къ опасающемуся всего на свѣтѣ асмодею, насулить ему выгодъ, вовлечь въ какую-нибудь сдѣлку, обмошенничать и обобрать, или просто подсмотрѣть, куда асмодей прячетъ свои деньги, украсть самому или „подвести“ воровъ, — спеціальность крученаго арестанта. И въ этой спеціальности онъ доходитъ до виртуозности, обнаруживаетъ подчасъ геніальность по части притворства, хитрости, находчивости, выдержки и предательства. „Кругомъ пальца обведетъ“, говорятъ про хорошаго крученаго съ похвалой арестанты. Другой вѣчной жертвой крученаго является *дядя сарай*. Этимъ типичнымъ прозвищемъ каторга зоветъ каждаго простодушнаго и довѣрчиваго арестанта.

— Ишь, дядя, ротъ раскрылъ, что сарай! Хоть съ возомъ туда въѣзжай да хозяйничай!

Вотъ происхожденіе выраженія „дядя сарай“.

„Туисъ колыванскій!“ зоветъ еще такихъ субъекто каторга на своемъ характерномъ жаргонѣ. Обманъ простоду наго и довѣрчиваго дяди сарая составляетъ пищу, но славу для крученаго. Чѣмъ больше асмодеевъ онъ проведет тѣмъ больше славы для него. Асмодея провести,—вотъ что д ставляетъ истинное удовольствіе всей каторгѣ. Закабаленн

она въ глубинѣ души ненавидитъ и презираетъ ихъ, но повинуется и относится къ „отцамъ“ съ почетомъ, какъ къ людямъ сильнымъ и „могутнымъ“. Вѣдь это — нищіе, нищіе, до того, что, когда въ тюрьмѣ скоропостижно умираетъ арестантъ, трупъ обязательно грабятъ: бушлатъ, бѣлье, сапоги, — все это мѣняется на старое.

Чтобы покончить съ почетными лицами тюрьмы, мнѣ остается, кромѣ майданщиковъ, отцовъ, крученыхъ и разжившихся барахольщиковъ, познакомить васъ еще съ однимъ типомъ, — съ *обратникомъ*. Такъ называется каторжникъ, бѣжавшій уже съ Сахалина, добравшійся до Россіи и „возвороченный“ назадъ подъ своей фамиліей или подъ бродяжеской. „Обратникъ“ — неоцѣненный товарищъ для каждой собирающейся бѣжать арестантской партіи. Онъ знаетъ всѣ ходы и выходы, всѣ тропы въ тайгѣ и всѣ броды черезъ рѣки на Сахалинѣ. Знаетъ „какъ пройти“. Есть излюбленныя мѣста для бѣговъ — „модныя“ можно сказать. Раньше „въ модѣ“ были Погеби, — мѣсто, гдѣ Сахалинъ ближе всего подходитъ къ материку, и Татарскій проливъ имѣетъ всего нѣсколько верстъ ширины. Погеби, или „Погиби“ (отъ слова погибнуть) — какъ характерно и вѣрно передѣлали каторжане это гиляцкое названіе! Затѣмъ, когда въ „Погибяхъ“ слишкомъ усилили кордоны, „въ моду“ вошелъ Сартунай, — мѣсто ближе къ югу Сахалина. Когда я былъ на Сахалинѣ, всѣ стремились къ устьямъ Найры, еще ближе къ югу.

— Да почему?

— Обратники говорятъ: способно. Мѣсто способное.

А гроза всего Сахалина и служащаго и арестантскаго, Широколобовъ, пошелъ искать „новаго мѣста“ на крайній сѣверъ въ Тамлово. Но истомленный, голодный, опухшій долженъ былъ добровольно сдаться гилякамъ...

Обратникъ — неоцѣненный совѣтникъ, у него можно купить самыя нужныя свѣдѣнія. Въ моей маленькой коллекціи есть облитая кровью бродяжеская книжка знаменитаго обратника „Пашенка“ [1]). Онъ былъ убитъ во время удивительно смѣлаго бѣгства, и книжку, мокрую отъ крови, нашли у него на груди. Завѣтная книжка. Въ ней идутъ записи: 1-я рѣчка отъ „Погибей“ — 60 верстъ Теньги, 2-я — Найде, 3-я — Тамлово и т. д. Это — все рѣки Сахалина. Затѣмъ списокъ всѣхъ населенныхъ мѣстъ по пути отъ Срѣтенска до Благовѣщенска, до Хабаровска, по всему Уссурійскому краю, при чемъ число верстъ отмѣчено съ удивительной точностью: 2271—1998. Далѣе идутъ адреса пристанодержателей и надежныхъ людей.

[1]) Каторга за нимъ числила 32 убійства.

— Иванъ Васильевичъ Черкашевъ, на новомъ базарѣ лавочка.

— Никита Яковлевичъ Турецкій, уголъ Гусьевской и Зейской, собственный домъ.

И т. д. Пристанодержатели во всевозможныхъ городахъ Восточной и Западной Сибири и Европейской Россіи. Все свѣдѣнія цѣнныя, необходимыя для бѣглеца.

Обратникъ можетъ снабдить бѣглеца и рекомендательными письмами. Вотъ образчикъ такого рекомендательнаго арестантскаго письма, отобраннаго при поимкѣ у бѣглаго:

„Ю. Гапонико. Гапонико (очевидно, условные знаки). Любезный мой товарищъ[1]), Юлисъ Ивановичъ, покорнше я васъ прошу прынать етого человека какъ и мене до мого приходу Яковъ".

Фамилій въ такихъ рекомендаціяхъ, на случай поимки, проставлять не полагается. Среди „обратниковъ" есть знаменитости. Люди, побывавшіе на своемъ вѣку во многихъ тюрьмахъ и пользующіеся вліяніемъ. И рекомендація такого человѣка много можетъ помочь и въ тюрьмѣ. Есть, напримѣръ, знаменитый „обратникъ" Пазульскій. Содержась съ нимъ вмѣстѣ въ Одессѣ, ех-банкиръ Іованновичъ запасся отъ него рекомендаціями для всей Сибири, и это значительно облегчило ех-банкиру его путешествіе.

У обратниковъ есть еще одна спеціальность.

Намѣтивъ довѣрчиваго арестанта съ деньгами, они подговариваютъ его бѣжать и затѣмъ дорогой убиваютъ, грабятъ и возвращаются въ тюрьму:

— А товарищъ, молъ, отсталъ или поссорился, одинъ пошелъ. Я же съ голодухи вернулся.

Есть люди, убившіе такимъ образомъ на своемъ вѣку по 6 товарищей. Эти преступленія очень часты. Но это ужъ надо дѣлать потихоньку отъ каторги: за это каторга убиваетъ.

„Обратниками" заканчивается циклъ „почетныхъ" лицъ. Теперь мы переходимъ съ вами къ отверженнымъ даже среди міра отверженныхъ. Къ людямъ, которыхъ презираетъ даже каторга.

Тутъ мы прежде всего встрѣчаемся съ *крохоборами*, или *кусочниками*. Каторга не любитъ тѣхъ изъ ея среды, кто „выходитъ въ люди", дѣлается старостой, кашеваромъ или хлѣбопекомъ. И она права. Чистыми путями нельзя добиться этого привилегированнаго положенія. Только цѣной полнаго отреченія отъ какого бы то ни было достоинства, лести, пресмыкательства передъ начальствомъ, взятокъ надзирателямъ, цѣно

[1]) Арестанты всегда очень вѣжливы въ письмахъ другъ къ другу.

Природа Сахалина.

наушничества, предательства и доносовъ можно пролѣзть на Сахалинѣ въ „старосты“, т.-е. освободиться отъ работъ и сдѣлаться въ нѣкоторомъ родѣ начальствомъ для каторжанъ. Прежде въ нѣкоторыхъ тюрьмахъ даже драли арестантовъ не палачи, а старосты. Такъ, что идя въ старосты, человѣкъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, долженъ былъ быть готовъ и въ „палачи“. Только нагоняя, по требованію смотрителя, какъ можно больше „припека“, т.-е. кормя арестантовъ полусырымъ хлѣбомъ, хлѣбопекъ и можетъ сохранить за собой свою должность, позволяющую ему иногда кой-что утянуть. Этихъ-то людей, урѣзывающихъ у арестантовъ послѣдній кусокъ и отнимающихъ послѣднія крохи, каторга и зоветъ презрительнымъ именемъ „крохоборовъ“ или „кусочниковъ“

— Тоже въ „начальство“ полѣзъ!

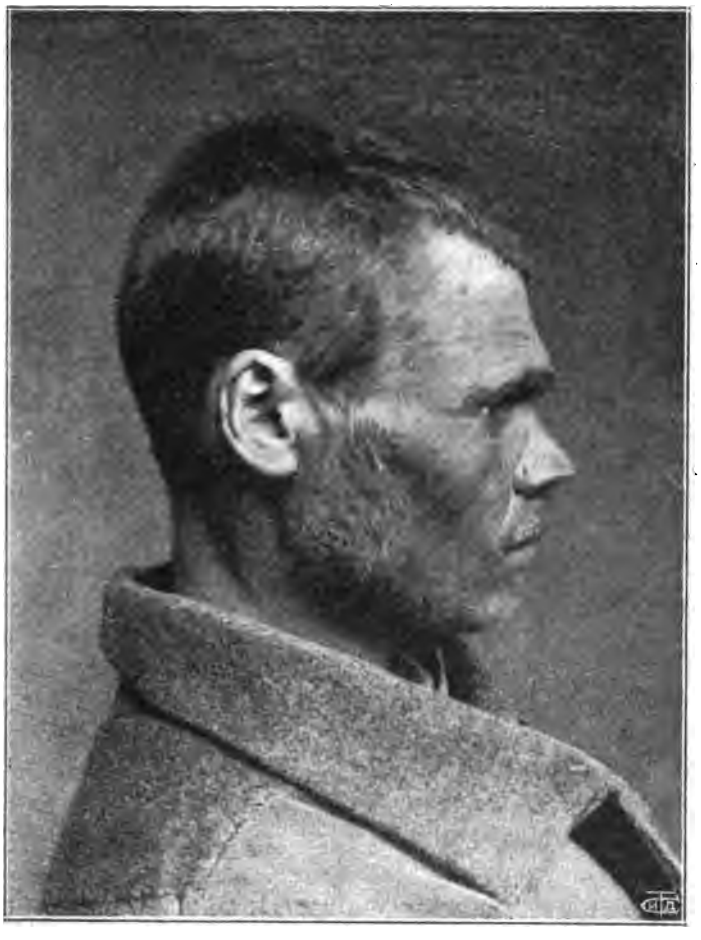
— Арестантъ, — такъ ты арестантъ и будь!

Каторга не любитъ тѣхъ, кто старается „возвышаться“, но презираетъ и тѣхъ, кто унижается. Мы уже знакомы съ типомъ *поддувалы*. Такъ называется арестантъ, нанимающійся въ лакеи къ другому. Кромѣ исполненія чисто-лакейскихъ обязанностей, онъ обязанъ еще и защищать своего хозяина, расплачиваться своими боками и бить каждаго, кого хозяинъ прикажетъ. Поддувалы „отцовъ“, напримѣръ, обязаны бить неисправныхъ должниковъ. А если должникъ сильнѣе, то и терпѣть пораженіе въ неравномъ бою. Конечно, даже каторга не можетъ иначе какъ съ презрѣніемъ относиться къ людямъ, торгующимъ своими кулаками и боками.

На слѣдующей ступенькѣ человѣческаго паденія мы встрѣчаемся съ очень распространеннымъ типомъ *волынщика*. „Затереть волынку“ на арестантскомъ языкѣ называется затѣять ссору. Волынщики, это — такіе люди, которые только тѣмъ и живутъ, что производятъ въ тюрьмѣ „заворошки“. Сплетничая, наушничая арестантамъ другъ на друга, они ссорятъ между собою болѣе или менѣе состоятельныхъ арестантовъ для того, чтобы поживиться чѣмъ-нибудь отъ того, чью сторону они яко бы принимаютъ. Этими волынщиками кишатъ всѣ тюрьмы. Такихъ людей много и вездѣ, кромѣ тюрьмы. Но въ каторгѣ, вѣчно озлобленной, страшно подозрительной, недовѣрчивой другъ къ другу, голодной и изнервничавшейся въ каторгѣ, гдѣ за 60 копеекъ рѣжутъ человѣка, гдѣ, имѣя въ карманѣ грош, можно нанять не только отколотить, но и убить человѣка, — въ каторгѣ волынщики часто играютъ страшную роль. Часто „ни изъ-за чего“ происходятъ страшныя вещи. Заколотивъ насмерть арестанта, или при видѣ лежащаго „съ распоротымъ брюхомъ“ товарища, каторга часто съ недоумѣніемъ спрашиваетъ себя:

— Да изъ-за чего же все случилось? Съ чего пошло? Съ чего началось?

И причиной всѣхъ причинъ оказываются волынщики, затѣявшіе „заворошку“, въ надеждѣ чѣмъ-нибудь поживиться. Робкому, забитому арестанту приходится дружить да дружить



Арестантскіе типы.

со старымъ, опытнымъ волынщикомъ, а то затретъ въ такую кашу, что и костей не соберешь.

Ступенью ниже еще стоятъ *глоты*. Съ этимъ типомъ вы уже немножко знакомы. За картами, въ спорѣ на арестантскомъ сходѣ они готовы стоять за того, кто больше дастъ. „Засыпать“ праваго и защищать обидчика, имъ ничего не значитъ. Такихъ людей презираетъ каторга, но они имѣютъ часто вліяніе на сходахъ, такъ какъ ихъ много и дѣйствуютъ они всегда скопомъ. Глотъ — одно изъ самыхъ оскорбительныхъ

названій, и храпъ, когда вы его назовете глотомъ, полѣзетъ на стѣну.

— Я — храпъ. Храпѣть на сходахъ люблю, это — вѣрно. Но чтобъ я нанимался за кого...

И фраза можетъ кончиться при случаѣ даже ножомъ въ бокъ, камнемъ или петлей, наброшенной изъ-за угла. Это не мѣшаетъ, конечно, храпамъ быть, по большей части, глотами, но они не любятъ, когда имъ объ этомъ говорятъ. Для глотовъ у каторги есть еще два прозвища. Одно — остроумное „чужой ужинъ", другое — историческое „синельковскій закупъ". Происхожденіе послѣдняго названія восходитъ еще ко времени, когда, при г. Синельниковѣ, за поимку бродяги въ Восточной Сибири платили обыкновенно 3 рубля. Съ тѣхъ поръ каторга и зоветъ человѣка, готоваго продать ближняго, „синельниковскій закупъ". Названіе — одно изъ самыхъ обидныхъ, и, если вы слышите на каторгѣ, что два человѣка обмѣниваются кличками:

— Молчи, чужой ужинъ!

— Молчи, синельниковскій закупъ!

Это значитъ, что на предпослѣдней ступенькѣ человѣческаго паденія готовы взяться за ножи.

И, наконецъ, на самомъ днѣ подонковъ каторги передъ нами — *хамъ*. Дальше паденія нѣтъ. Хамъ, въ сущности, означаетъ на арестантскомъ языкѣ просто человѣка любящаго чужое. „Захамничать" — значитъ, взять и не отдать. Но хамомъ называется человѣкъ, у котораго не осталось даже обрывковъ чего-то, похожаго на совѣсть, что есть и у глота, и у поддувалы, и у волынщика. Тѣ дѣлаютъ гнусности въ арестантской средѣ. Хамъ — предатель. За лишнюю пайку хлѣба, за маленькое облегченіе, онъ донесетъ о готовящемся побѣгѣ, откроетъ мѣсто, гдѣ скрылись бѣглецы. Этотъ типъ поощряется смотрителями, потому что только черезъ нихъ можно узнавать, что дѣлается въ тюрьмѣ.

Хамъ это — страшное названіе. Имъ человѣкъ обрекается, если не всегда насмерть, то всегда на такую жизнь, которая хуже смерти. Достаточно обыска, даже просто внезапнаго прихода смотрителя, чтобы подозрительная каторга сейчасъ увидала въ этомъ „что-то неладное" и начала смертнымъ боемъ бить тѣхъ, кого она считаетъ хамами. Достаточно послѣднему жигану сказать:

— А нашъ хамъ что-то, кажись, „плесомъ бьетъ" (наушничаетъ начальству).

Чтобъ хаму начали ломать ребра.

Больше того, довольно кому-нибудь просто такъ, мимо домъ, отъ нечего дѣлать, дать „хаму подзатыльника", что вся тюрьма кинулась бить хама.

— Бьетъ, — значитъ, знаетъ за что.

Чтобъ хаму „накрыли темную“, завалили его халатами, били, били и вынули изъ-подъ халатовъ полуживымъ.

Посвященіе въ каторжники.

Всякій, конечно, слыхалъ объ этомъ обычаѣ „посвященія въ арестанты“, объ этихъ жестокихъ истязаніяхъ, которымъ умирающая отъ скуки и озлобленная тюрьма подвергаетъ „новичковъ“.

Для чего тюрьма творила надъ „новичками“ эти истязанія, при разсказѣ о которыхъ волосъ встаетъ дыбомъ? Отчасти, какъ я уже говорилъ, отъ скуки, отчасти по злобѣ на все и на вся и изъ желанія хоть на комъ-нибудь выместить накипѣвшую злобу, отъ которой задыхается человѣкъ, — а отчасти и изъ практическихъ соображеній: нужно было узнать человѣка, устоитъ ли онъ противъ жалобы начальству, даже если его подвергнутъ страшнымъ истязаніямъ. Вѣдь надо же знать человѣка, пришедшаго въ „семью“. Будетъ ли онъ всегда и во всемъ надежнымъ товарищемъ?

Я обошелъ всѣ сахалинскія тюрьмы и могу съ полной достовѣрностью сказать, что прежній страшный обычай „посвященія въ каторжники“, обычай пытать „новичковъ“, отошелъ въ область преданій. Теперь этого нѣтъ. Тогда розга и кнутъ свистѣли повсюду, и это отражалось на нравахъ тюрьмы. Теперь нравы „мягчаютъ“.

„Молодая“ каторга дѣлаетъ только удивленные глаза, когда спрашиваешь: „А нѣтъ ли у васъ такихъ-то и такихъ-то обычаевъ“? И только старики Дербинской каторжной богадѣльни, когда я имъ напоминалъ о прежнихъ обычаяхъ „посвященія“, улыбались и кивали головами на эти разсказы, словно встрѣтились съ добрымъ старымъ знакомымъ.

— Было, было все это! Вѣрно.

И они охотно пускались въ тѣ пространныя описанія, въ которыя всегда пускается человѣкъ при воспоминаніяхъ о пережитыхъ бѣдствіяхъ.

А „молодая“ каторга и понять даже этихъ обычаевъ не можетъ:

— Да кому жъ какая отъ этого польза?

„Польза“, — вотъ альфа и омега всего міросозерцанія теперешней каторги. И въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго: преобладающій элементъ каторги — убійцы съ цѣлью грабежа, т.-е. люди, совершавшіе преступленіе ради „пользы“. И нравамъ, обычаямъ и законамъ этихъ людей приходится подчиняться остальнымъ: дисциплинарнымъ, жертвамъ случая, семейныхъ неурядицъ и т. д.

„Польза“, это — все. Каторжанинъ, совершившій убійство на Сахалинѣ, разсказывалъ мнѣ о своемъ преступленіи и упомянулъ о томъ, что по его преступленію забрали было и другого, ни въ чемъ неповиннаго поселенца:

— Но я его высвободилъ... Потому онъ не могъ быть въ моемъ дѣлѣ полезенъ.

А если бы „могъ быть полезенъ“, онъ бы запуталъ ни въ чемъ неповиннаго человѣка, и вся каторга бы его поняла:

— Долженъ же человѣкъ думать о своей „пользѣ“. Всякъ за себя.

Все теперешнее „посвященіе въ каторжники“ состоитъ въ томъ, что тюрьма старается извлечь изъ новичка „пользу“, т.-е., пользуясь его неопытностью, обмошенничать его, елико возможно.

Для этого у каторги есть нѣсколько игръ, въ которыя только и можно играть, что съ „новичками“: въ платочекъ, въ крестики, въ кошелекъ, въ наперстокъ, въ тузы, въ черное и красное.

Въ этомъ „посвященіи“ есть даже нѣчто симпатичное: тутъ наказывается страсть къ легкой и вѣрной наживѣ, желаніе объегорить своего же брата навѣрняка.

Вновь прибывшая на пароходѣ партія выдержала карантинъ, подверглась медицинскому освидѣтельствованію, раздѣлена, безо всякой практической пользы и безо всякаго примѣненія этого дѣленія, на „полносильныхъ“, „слабосильныхъ“ и „вовсе не способныхъ къ труду“, и явилась въ тюрьму.

Еще раньше, пока партія сидѣла свои 3—4 дня въ карантинѣ, тюрьма навела о ней кой-какія справки. У одного съ новой партіей пришелъ братъ, у другого — сообщникъ, у третьяго — просто старый товарищъ. Всѣ эти лица, рискуя карцеромъ и розгами, побывали въ карантинѣ и кое-что разузнали. Тюремные брадобреи, рискуя спиной, сбѣгали въ карантинъ и поразнюхали, кому изъ вновь прибывшихъ арестантовъ удалось протащить съ собой деньги, кто разжился дорогой игрой въ карты или писаніемъ писемъ и прошеній, у кого, вообще, водятся деньжонки. Тутъ все разузнается: сколько гг. пассажиры дали на Пасху пѣвчимъ-арестантамъ, сколько удалось выпросить у постороннихъ „на палача“. И когда новая партія п[illegible]ходитъ въ тюрьму, тюрьма уже знаетъ о ея имущественно[illegible] положеніи и на кого слѣдуетъ обратить вниманіе.

Въ тюрьмѣ и такъ тѣсно, а тутъ прибавилось народу е[illegible] Приходится спать подъ нарами. Старосты продаютъ новичка[illegible] лучшія мѣста, конечно, стараясь содрать гораздо дороже то[illegible] что, обыкновенно, стоитъ „хорошее мѣсто“ въ тюрьмѣ. И[illegible]

лодавшіеся жиганы немножко „обрастаютъ шерстью“, продавая послѣднее, что у нихъ осталось, — мѣста на нарахъ, — и сами залѣзая подъ нары.

Новичокъ еще не можетъ прійти въ себя, собраться съ мыслями; онъ напуганъ, ошарашенъ новой обстановкой, не знаетъ какъ ступить, какъ держаться; онъ видитъ только одно, что здѣсь, куда ни сунься, — все деньги, что безъ денегъ пропадешь, что деньги нужно наживать во что бы то ни стало. Въ это-то время его и уловляютъ.

Новичокъ сидитъ на нарахъ и со страхомъ и съ любопытствомъ смотритъ на людей, среди которыхъ ему суждено прожить долгіе, ухъ, какіе долгіе годы.

По тюрьмѣ, съ видомъ настоящаго дяди сарая, ходитъ какой-то разиня-арестантъ. Изъ кармана бушлата торчитъ кончикъ платка, на которомъ завязанъ узелокъ, а въ узелкѣ, видно, завязана монета.

Другой арестантъ, успѣвшій уже давеча закинуть ласковое слово новичку, тихонько сзади подкрадывается къ дядѣ сараю, хитро подмигнувъ, развязываетъ узелокъ, вынимаетъ двугривенный и завязываетъ копейку. Новичокъ, которому подмигнулъ ловкачъ, сочувственно улыбается: „Здóрово, молъ“.

— Эй, дядя! — окрикиваетъ „ловкачъ“ дядю сарая. — Что у тебя фармазонская, что ли, копейка, что ты ее въ узелокъ завязалъ?

— Кака-така копейка? — простодушно спрашиваетъ „дядя сарай“.

— А така, что въ платкѣ завязана. Дура, чортъ! Чувырло братское! Завязалъ копейку да и ходитъ.

— Буде заливать-то! Заливала-дьяволъ! Не копейка, а двоегривенный!

Дядя-сарай прячетъ высунувшійся уголъ платка въ карманъ. Кругомъ собирается толпа.

— „Двоегривенный“! — передразниваетъ его „ловкачъ“. — Да ты видалъ ли когда двоегривенные-то какіе бываютъ: ясные-то, не липовые? Завязалъ копейку, ходитъ-задается: „двоегривенный“!

— Ахъ, ты, такой-сякой!—выходитъ изъ себя дядя-сарай. — Ты что жъ срамишь меня передъ всѣми господами арестантами? Хошь парей? На десять цѣлковыхъ, что двоегривенный?

— На десять?!

— То-то, на десять. Прикусилъ языкъ голый!

Толпа хохочетъ.

— Слышь ты, нѣтъ у меня десяти цѣлковыхъ. Ставь красненькую, мнѣ потомъ цѣлковый дашь! — шепчетъ „ловкачъ“ новичку.

Новичокъ колеблется.

— Навѣрняка вѣдь! Самъ видѣлъ.

— Ставь! — подуськиваютъ въ толпѣ.

А пока идутъ эти переговоры, дядю-сарая яко бы „отвлекаютъ“ разговорами, чтобы не замѣтилъ.

— Вотъ онъ за меня ставитъ! — объявляетъ „ловкачъ“, указывая на новичка. — Выкладай красный билетъ!

Оба „выкладаютъ“ по десяти рублей.

— Давай платокъ! Ты и развязывай! — передаютъ платокъ новичку.

Новичокъ развязываетъ узелъ и блѣднѣетъ: двугривенный!

— Такъ-то! А говоришь, дурашка, копейка! Не лѣзь въ чужомъ карманѣ саргу считать.

— Да это мошенство! — вопитъ новичокъ, хватаясь за деньги.

Но у него вырываютъ десятирублевку, а если не отдаетъ, бьютъ:

— Проигралъ, — плати. Правило.

Только тутъ онъ узнаетъ, что и прикинувшійся дядей сараемъ, и „ловкачъ“, все это — одна шайка жигановъ и игроковъ.

„Фокусъ“ объясняется просто: дядя сарай долженъ только успѣть развязать въ карманѣ узелокъ, вынуть копейку и завязать двугривенный. Передъ прибытіемъ новой партіи къ этой „ловкости и проворству рукъ“ спеціально готовятся.

А въ другомъ углу камеры разыгрывается между тѣмъ другая сцена.

— Ахъ, ты, татарва некрещеная! Бабай проклятый! — оретъ передъ нѣсколькими новичками арестантъ на простофилю, у котораго онъ только что незамѣтно срѣзалъ высунувшійся изъ-подъ рубахи крестъ.

— Какой же я бабай, — запальчиво оретъ простофиля, — ежели я крещеный человѣкъ и у меня крестъ на шеѣ есть!

— Нѣтъ у тебя креста на шеѣ, у бабая!

— Какъ нѣтъ? Парей на пятишку.

— Ребята! — обращается арестантъ къ новичкамъ. — Сложимъ пять цѣлковыхъ, утремъ бабаю носъ.

Всѣ видѣли, какъ крестъ былъ срѣзанъ, а деньги въ каторгѣ ой-ой какъ нужны. Пять рублей немедленно составляются.

— Разстегивай воротъ.

Спорщикъ разстегиваетъ рубаху. На шеѣ крестъ. Тутъ и е, конечно, состоитъ только въ томъ, что на человѣкѣ было д ва креста.

Новички ошеломлены, требуютъ деньги назадъ: „Мош ство“! — но напарываются на кулаки всей тюрьмы.

— Плати, коль проигралъ! Правило!

Не будемъ особенно долго останавливаться передъ новичкомъ, который съ изумленіемъ повторяетъ, глядя въ свой кошелекъ:

— Какъ же такъ? Было двадцать цѣлковыхъ, а стало десять. Значитъ, украли! Этакъ я жалиться буду!

— Попробуй! Свези тачку! Легашъ поскудный!

Съ нимъ сыграли ту же штуку, какую мошенники устраиваютъ часто на улицахъ и Одессы и всѣхъ вообще большихъ городовъ.

Вдвоемъ съ арестантомъ они нашли кошелекъ и только что хотѣли приступить къ дѣлежу добычи, какъ передъ ними словно изъ-подъ земли выросъ владѣлецъ потеряннаго кошелька.

— Мой!

— А твой, такъ возьми!

— Стой! А куда же два серебряныхъ цѣлковика дѣлись? Тутъ два серебряныхъ цѣлковика были!

— Никакихъ мы цѣлковиковъ не видали.

— Анъ, врешь! Это что жъ? Воровство? У своихъ тырить начали?

— Да хоть обыщи, дьяволъ! Чего лаешь!

Арестантъ выворачиваетъ карманы и показываетъ кошелекъ. То же по необходимости дѣлаетъ и новичокъ.

Владѣлецъ двухъ яко бы пропавшихъ рублей роется въ его кошелькѣ, двухъ цѣлковиковъ, понятно, не находитъ и отдаетъ кошелекъ обратно.

— Знать, другой кто взялъ! Не взыщите! Вижу теперь, что вы люди честные!..

И уходитъ искать два пропавшихъ цѣлковыхъ.

Только потомъ, новичокъ, заглянувъ въ кошелекъ, увидитъ, что изъ него во время осмотра исчезло десять рублей.

Тутъ дѣло снова въ „ловкости и проворствѣ“, да въ томъ, чтобъ во время осмотра кто-нибудь сзади будто нечаянно толкнулъ новичка, заоралъ, вообще заставилъ его на секунду отвернуться.

Подойдемъ къ группѣ, собравшейся около игрока. Тутъ идетъ игра „въ наперстокъ“. Два наперстка, подъ однимъ есть шарикъ, подъ другимъ — нѣтъ. Игра идетъ на маленькой скамеечкѣ, во время обѣда замѣняющей столъ, поставленной на нарахъ. Игрокъ съ такой быстротой передвигаетъ наперстки, что нѣтъ возможности замѣтить, который изъ нихъ тотъ, подъ которымъ шарикъ.

— Закручу, замучу, — оретъ игрокъ. — Ставьте что ли!

— Ишь, чортъ, дьяволъ, лѣшманъ! Ни свѣтъ ни заря, спозаранку за игру принялся! — раздается сзади игрока въ толпѣ.

— А тебѣ какое дѣло, треклятому? — отзывается игрокъ.

— А такое, что непорядокъ! Вотъ какое!..

— А ты что тутъ за порядочникъ такой выискался? Тебя кто порядки уставлять звалъ? Ты что за шишка?

— А ты не лайся! Звѣздануть тебя въ душу, чорта...

— Молчи, пока арбузъ не раскололи!

— Раскололъ одинъ такой...

Вотъ-вотъ запустятъ руки за голенища, и пойдутъ въ ходъ „жулики“,—ножи. Лица озвѣрѣли. Игрокъ забылъ и объ игрѣ. Повернулся лицомъ къ обидчику.

А въ это время арестанты подглядываютъ, подъ какимъ наперсткомъ хлѣбный шарикъ.

— Ставь, ставь красненькую! — шепчутъ они денежному новичку, около мѣста котораго и затѣялась игра.—Ставь! Чего его жалѣть! Всѣхъ обыгрываетъ! Надо и его! Ставь, навѣрняка вѣдь. Вотъ такъ, — прячь деньги подъ карту...

— Да будетъ вамъ, дьяволы! — обращаются они къ ссорящимся.—Ишь волынку затерли, дьяволы! А тебѣ что? Не ндравится, — проходи, а огня изъ человѣка добывать нечего. Скипидаристый, право, человѣкъ!

Вступившагося въ игру протестанта уводятъ. Игрокъ, ворча и доругиваясь, возвращается къ игрѣ:

— Ну, что тутъ?

— Все сдѣлано. Кушъ подъ картой.

Игрокъ берется за наперстки.

— Нѣтъ, ужъ это ты оставь! — протестуетъ толпа, — игра составлена. Какъ есть, такъ и будетъ! Вотъ на этотъ онъ поставилъ!

— Да вы, можетъ, подсмотрѣли, дьяволы?

— Видать, что окромя жулья никого не видѣлъ въ жисть. Станетъ кто подсматривать? Нѣтъ, ужъ правило! Игра составлена!

— Да, можетъ, кушъ великъ?!

— Подъ картой сколько есть! Нѣтъ, ты ужъ по правиламъ! А то — „темную“. Любишь, щучій сынъ, выигрывать! Умѣй и платить.

— Ну, инъ, будь по-вашему! Ежели правило,—я ни слова. Этотъ что ли?

— Этотъ! — подтверждаетъ новичокъ.

Игрокъ поднимаетъ наперстокъ, подъ наперсткомъ—пус , и тянетъ кушъ изъ-подъ карты.

Дѣло снова въ ловкости рукъ, въ умѣніи быстро и не - мѣтно, пока новичокъ волнуется во время спора, передвиг ь наперстки одинъ на мѣсто другого.

Тузы и „черное и красное“, это — почти одно и то же. - бираютъ по желанію: тузы или другія карты.

Лежатъ крапомъ вверхъ три туза: два черные и одинъ красный. Игрокъ ихъ перекладываетъ съ такой изумительной быстротой, что нѣтъ возможности услѣдить, куда ляжетъ красный.

Но во время игры его отвлекутъ какой-нибудь ссорой или прибѣгутъ сказать что-нибудь. Игрокъ отвернется, а въ это время какой-нибудь арестантъ подсмотритъ, гдѣ красный, и сдѣлаетъ на крапѣ карандашомъ мѣтку.

— Ставь на этого, — шепнутъ новичку.

Игрокъ кончитъ ссору или разговоръ, возьмется снова за игру, начнетъ перекладывать карты съ мѣста на мѣсто.

— Готово!

Новичокъ ставитъ на мѣченаго туза часто все, что у него есть, желая сразу вдвое разбогатѣть. Ему дадутъ самому вскрыть туза, — онъ вскроетъ: черный!

Дѣло въ вольтѣ, который дѣлаетъ во время мѣтки игрокъ. Онъ подмѣняетъ мѣченаго краснаго туза точно такъ же отмѣченнымъ, заранѣе приготовленнымъ чернымъ.

Такъ шулера обыгрываютъ тѣхъ, кто не прочь бы выиграть навѣрняка.

И вотъ къ вечеру новички, проигравшіеся впрахъ, обманутые, часто избитые за нежеланіе платить, ложатся на нары, думая:

— Ну, народъ!

А сосѣдъ утѣшаетъ:

— Зато ты теперь настоящій арестантъ. Форменный, какъ есть. Всѣ ту же школу проходили. Порядокъ.

Они обобраны и тѣмъ посвящены въ каторжане. Каторга не любитъ собственности и собственниковъ. Ихъ деньги пошли гулять по тюрьмѣ: сегодня—къ одному, завтра—къ другому...

Нѣкоторые изъ вновь посвященныхъ съ тоской и ужасомъ думаютъ о предстоящихъ дняхъ голодовокъ и всяческихъ лишеній.

Другіе чувствуютъ злобу въ душѣ и засыпаютъ съ мечтою, какъ они и сами будутъ точно также обирать новичковъ.

Интеллигентные люди на каторгѣ.

«Какое страшное мученье
Страдать вѣка безъ раздѣленья,
Все знать, все чувствовать, все видѣть,
Все противъ воли ненавидѣть,
И все на свѣтѣ презирать»...

Лермонтовъ.

Приходилось ли вамъ когда-нибудь видѣть въ глаза смерть?

Тогда вы знаете, что „время“, это — вздоръ, что понятіе о „времени“—условность, что часовъ, минутъ, секундъ на свѣтѣ не существуетъ.

Пока поднимется и щелкнетъ курокъ, — вы успѣете столько передумать, переиспытать, перечувствовать, — сколько не передумали бы, не перечувствовали, не переиспытали въ годъ.

И мнѣ кажется, я имѣю право, ставя эпиграфомъ къ этой статьѣ строки Лермонтова, оставить слово „вѣка".

Годъ каторги... Это—не 12 мѣсяцевъ, изъ которыхъ каждое 20 приноситъ вамъ жалованье. Это—не „четыре сезона", какъ для свѣтскихъ людей. Не 365 дней, какъ для всѣхъ. Это—милліоны минутъ, изъ которыхъ многія—каждая длиннѣе вѣчности.

Все, что я долженъ измѣнить въ Лермонтовскихъ стихахъ, это — слова на „свѣтѣ":

„И все кругомъ насъ презирать".

Развѣ можно не презирать всѣхъ этихъ „Ивановъ", „храповъ", „жигановъ", „асмодеевъ", „хамовъ", „поддувалъ", „крохоборовъ". Презирать и быть съ ними за панибрата.

Потому что это „ваше общество"! Потому что рядомъ съ ними вы спите на нарахъ, вмѣстѣ ѣдите, работаете,—съ ними дѣлите вашу жизнь!

Да, если бы даже только „быть за панибрата".

Нѣтъ!

„Барина" каторга ненавидитъ.

„Барина" каторга презираетъ за его слабость, непривычку къ физическому труду.

— Какой онъ рабочій въ артели? Намъ за него приходится работать.

Надъ бариномъ каторга „измывается", потому что у него есть привычки, заставляющія его сторониться отъ грязи.

— Нѣтъ! Ты попалъ—такъ терпи! Нечего нѣжничать! Такой же теперь!

„Барину" каторга не довѣряетъ:

— Продастъ, чтобы въ писаря выскочить!

— „Баринъ!" — у каторги нѣтъ хуже, нѣтъ презрительнѣе клички.

И вотъ, когда я подумаю о положеніи интеллигенціи въ каторгѣ, — цѣлый рядъ призраковъ встаетъ предо мной.

Прямо, призраковъ!

Вотъ несчастный бродяга Сокольскій[1]).

Больной, эпилептикъ, издерганный, измученный.

Я знаю его настоящую фамилію, онъ — хорошей сем учился въ университетѣ.

— Боже! Чего, чего я не дѣлалъ, чтобы избавиться о этой проклятой клички. Чтобы пасть до нихъ. Чтобы не ч

[1]) Въ Корсаковскомъ посту.

ствовать, лежа на нарахъ, что при тебѣ боятся говорить, что тебя считаютъ за предателя, за измѣнника, за человѣка, готоваго на доносы. Нѣтъ! Какой-нибудь негодяй, какой-нибудь, — говоря на нашемъ каторжномъ языкѣ, — „хамъ“, готовый за пятачокъ продать себя, другихъ, все, — обзываетъ тебя „бариномъ“. И даже онъ каторгѣ ближе, чѣмъ ты! А какихъ, какихъ жертвъ я имъ не приносилъ. Я пью, какъ они. Играю въ карты, какъ они. Меня назначили писаремъ,—я ради нихъ набезобразничалъ, чтобы меня выгнали. Чтобы доказать, что я не хочу никакихъ привилегій. Я принялъ участіе въ ихъ мошенничествѣ, — въ сбытѣ фальшивыхъ ассигнацій. Я помогалъ имъ скрывать эти ассигнаціи. Я пряталъ. Когда поймали, — я никого не выдалъ. Мнѣ грозитъ каторга на много, много лѣтъ. И все-таки я—отверженный среди „отверженныхъ“, я— баринъ!

Этотъ Сокольскій! Человѣкъ много игравшій, съ обширной, прекрасной эрудиціей, съ такими свѣтлыми взглядами. Я съ такимъ удовольствіемъ бесѣдовалъ съ нимъ цѣлое утро. Я, — да что я! — онъ забылъ о своемъ арестантскомъ бушлатѣ...

Онъ любитъ и знаетъ Достоевскаго. Мы бесѣдовали съ нимъ, насколько теперяшняя каторга ушла далеко отъ „Мертваго дома“, спорили, оба горячились.

Какъ вдругъ ко мнѣ явился съ визитомъ смотритель поселеній.

— Ну-ка, братецъ, сбѣгай, скажи, чтобъ мнѣ перемѣнили лошадей! — приказалъ онъ Сокольскому.

— Слушаю, ваше высокоблагородіе!

Я былъ сконфуженъ, смятъ, уничтоженъ за него. Былъ возмущенъ.

— Зачѣмъ вы такъ? Вѣдь вы застали его у меня. Онъ — мой гость.

Смотритель поглядѣлъ на меня съ изумленіемъ.

— Да полно вамъ съ этими мерзавцами сентиментальничать! Ничего, пробѣгается! Что ему сдѣлается!

Когда Сокольскій „сбѣгалъ“, онъ избѣгалъ смотрѣть на меня, я избѣгалъ смотрѣть на него.

— Эхъ! Разбередили только меня этимъ разговоромъ. Человѣкомъ себя почувствовалъ. А это мнѣ не годится! Человѣкомъ [illegible] къ вамъ пришелъ, а ухожу...

— Сокольскій...

— Я ни на кого не сержусь. На васъ? Да вы-то тутъ при [illegible]мъ? Развѣ вы-то создали все это. На него? Онъ еще постуд[illegible]лъ мягко, не обругался. Только лучше бы онъ мнѣ въ морду [illegible]лъ въ другую минуту, чѣмъ за лошадьми послалъ въ эту; [illegible]остоевскій, и „сбѣгай-ка, братецъ“.

Сокольскій ушелъ въ себя, какъ уходитъ въ свою раковину улитка, когда ее неосторожно тронутъ грубою рукой.

Мы были съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ, онъ во многомъ мнѣ помогалъ относительно свѣдѣній о каторгѣ,—но ужъ въ длинныя, откровенныя бесѣды, въ споры не пускался:

— Не надо! Вы уѣдете, а мнѣ еще тяжелѣе будетъ.

Вотъ Козыревъ [1]), несчастный юноша со взглядомъ утопающаго человѣка.

Онъ прошелъ все-таки 6 классовъ гимназіи. Сынъ зажиточныхъ родителей. Его родные — богатые московскіе купцы.

Былъ вольноопредѣляющимся, — и за оскорбленіе караульнаго начальника попалъ въ каторгу на 6 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ.

Теперь онъ сидитъ въ кандальной за грошевой... подлогъ.

У него такое честное, симпатичное лицо. Я это хорошо знаю, онъ всегда готовъ подѣлиться послѣднимъ, дѣлился, дѣлится съ нуждающимся.

Наконецъ, родные его не забываютъ. Присылаютъ ему сравнительно по многу.

— И вдругъ какой-то грошевой подлогъ?!

— Эхъ, баринъ! — по совѣсти сказали мнѣ люди, знающіе дѣло, — да нешто для себя онъ! Каторга заставила. Каторгѣ этотъ подлогъ былъ нуженъ. Они и приказали, — а онъ писаремъ былъ, вотъ и сдѣлалъ. Пользуется ли онъ для себя! Да и къ чему ему?

Его будущность тяжка и безотрадна.

Прибавки каторги не выдержитъ, бѣжитъ, плети, еще прибавка, безъ конца, испытуемость и безъ выхода сидѣнье въ кандальной тюрьмѣ.

Да что „какой-то“ Козыревъ?

Такіе ли люди гибли въ каторгѣ, тонули,—„вверхъ только пузыри шли“.

Гибли нравственно въ конецъ, безвозвратно.

Въ селеніи Рождественскомъ, въ Александровскомъ округѣ, учителемъ состоитъ нѣкто В.

Человѣкъ, получившій образованіе въ одномъ изъ привилегированныхъ учебныхъ заведеній.

Въ каторгѣ этотъ человѣкъ за пять рублей нанялся взять на себя чужое убійство.

Потребовалось цѣлое слѣдствіе, чтобы доказать, что убилъ не онъ.

Одинъ сановникъ, лично знавшій В. въ Петербургѣ, уѣхавъ на Сахалинъ, захотѣлъ его видѣть, хотѣлъ хлопотать за него въ Петербургѣ.

---

[1]) Корсаковская кандальная тюрьма.

Поселенческій бытъ. Старое поселеніе.

— Поблагодарите, — просилъ передать ему В., — и попросите, пусть забудетъ объ этомъ. Поздно. *Тамъ* ужъ я не гожусь. Пусть меня забудутъ здѣсь.

У меня есть, я взялъ, какъ образчикъ человѣческаго паденія, одинъ доносъ. Доносъ ложный, гнусный, клеветническій, обвиняющій десятокъ ни въ чемъ неповинныхъ людей, своихъ же собратій, и заканчивающійся... просьбой дать мѣсто писаря на 5 рублей въ мѣсяцъ.

Этотъ доносъ писанъ бывшимъ инженеромъ, теперь занимающимся поддѣлкой кредитокъ.

А вотъ Валентинъ, настоящій Валентинъ, которому вы такъ горячо аплодируете по окончаніи 4 акта „Фауста".

Какъ это красиво! Благородно! Прекрасно! Что можетъ быть выше, почтеннѣе? Братъ, мстящій за честь сестры.

Это — преступленіе, котораго „требуетъ" общество.

Вы требуете, — такъ и смотрите, что изъ этого выходитъ.

Своего Валентина я увидалъ тоже на подмосткахъ, — на нарахъ кандальнаго отдѣленія Онорской тюрьмы.

Онъ всталъ передо мной съ опухшимъ, опившимся лицомъ. Обдалъ меня запахомъ перегорѣлой водки.

Обвинялся, уже на каторгѣ, въ неоднократной поддѣлкѣ и сбытѣ документовъ.

А вѣдь этотъ человѣкъ...

Нѣсколько, — довольно много, — лѣтъ тому назадъ, Москва была взволнована страшнымъ, кровавымъ происшествіемъ, случившимся на одномъ изъ бульваровъ.

Къ проходившему молодому человѣку подошелъ другой и, ни слова не говоря, наповалъ положилъ его выстрѣломъ изъ револьвера.

На судѣ такъ и не выяснилось, что была за причина убійства.

— По злобѣ! — коротко отвѣчалъ обвиняемый и никакихъ подробностей разъяснить не желалъ.

Въ публикѣ говорили, что убійца мстилъ за поруганную честь сестры, что онъ молчитъ, не желая оглашать позора дѣвушки, что онъ посылалъ соблазнителю вызовъ на дуэль и, когда тотъ не принялъ, прибѣгъ къ револьверу.

Я встрѣтился съ нимъ въ полутемной кандальной.

Онъ обвиняется въ угрозахъ бывшему смотрителю, — угрозахъ глупыхъ, сдѣланныхъ въ пьяномъ видѣ.

Обвинялся, въ каторгѣ уже, за неоднократную поддѣлку документовъ.

— Какъ же это случилось?

— Да какъ? Я рисовалъ хорошо. Отъ скуки учился гравировать. Каторга узнала про мою способность, потребова

чтобъ я для одного бѣглаго „документъ сдѣлалъ“, печати, все какъ слѣдуетъ. Первый-то разъ я по принужденію сдѣлалъ... А дальше... дальше ужъ пошелъ. Три документа за вытертую, старую бобровую шапку краденую сдѣлалъ...

Какъ они падаютъ?

Быстро. Перпендикулярно. Идутъ какъ топоръ ко дну.

Черезъ годъ, черезъ два, вы даже по внѣшности не узнаете, что предъ вами существо, у котораго на груди можно повѣсить надпись:

„Здѣсь когда-то жилъ интеллигентный человѣкъ“.

Вотъ хорошо извѣстный Одессѣ Гр—евъ. При взглядѣ на эту вѣчно избитую, исцарапанную, вѣчно опухшую съ похмелья физіономію, вы никогда не скажете, что предъ вами человѣкъ, который еще 2 года тому назадъ игралъ въ обществѣ выдающуюся роль.

— Знаете, упалъ я, оступился и ударился лицомъ! — объясняетъ онъ свои синяки и ссадины.

Его общество — спеціалисты-грабители, нѣсколько тюремныхъ шуллеровъ, ростовщиковъ.

Глядя на этого человѣка, на его то наглую, то подобострастную манеру держаться, вы сразу скажете:

— Да, это типичный выжига — волостной писарь!

Слушая про творимыя имъ мерзости и гадости, про поддѣлку записокъ на полученіе водки, вы не повѣрите, чтобъ этотъ человѣкъ былъ когда-нибудь, не то что только 2 года тому назадъ, человѣкомъ съ положеніемъ, и съ очень хорошимъ положеніемъ.

А вотъ К—ръ, бывшій офицеръ, несчастный юноша, убійца подъ вліяніемъ тяжкаго, нанесеннаго ему оскорбленія.

Товарищи предложили ему посильную помощь при отправкѣ въ каторгу, — отъ отказался.

Несчастному много пришлось вытерпѣть на Сахалинѣ.

Судьба толкнула его писаремъ въ канцелярію горнаго инженера, туда же, гдѣ занимается и „ворочаетъ дѣлами“ только что описанный Г.

Г. показалось неудобнымъ сосѣдство чистаго, неиспорченнаго юноши. Не такъ удобно было обдѣлывать свои дѣлишки. Г. накляузничалъ на него горному инженеру, обвинилъ въ томъ, что К. непочтительно отзывался о немъ и т. д. — и г. горный инженеръ попросилъ посадить К. на мѣсяцъ въ кандальную.

Цѣлый мѣсяцъ высидѣлъ несчастный въ обществѣ убійцъ-рецидивистовъ, наиболѣе тяжкихъ преступниковъ.

Теперь его выручили оттуда, онъ завѣдуетъ въ Александровскѣ библіотекой, всѣ имъ довольны.

Онъ — тихій, скромный, застѣнчивый юноша. Но подъ этой „тишиной“ таится глубокая драма, ноетъ тяжелая рана. Развѣ прошлое забудешь? Воспоминаніе сотрешь?

Онъ гибнетъ. Онъ пьетъ.

И въ какомъ обществѣ встрѣтите вы его въ такія минуты.

Какой-то бродяга, дезертиръ, — Богъ знаетъ, о чемъ и говорить-то они могутъ, даже въ пьяномъ видѣ.

Что можетъ быть общаго между ними и имъ?

Развѣ что онъ низводитъ себя до нихъ.

— Но неужели же нельзя удержаться на высотѣ? Не падать, не ложиться самому въ эту грязь?

Я задавалъ этотъ вопросъ людямъ, на себѣ испытавшимъ каторгу.

— Неужели нельзя держаться особнякомъ?

— На каторгѣ невозможно. Сейчасъ заподозрятъ: „Должно-быть, доносчикъ, не хочетъ съ нами за одно быть, въ начальство мѣтитъ!“ Наконецъ, просто почувствуютъ себя обиженными. Изведутъ, отравятъ каждую минуту, каждую секунду существованія. Будутъ дѣлать мерзости на каждомъ шагу, — и нѣтъ ничего изобрѣтательнѣе на мерзости, чѣмъ подонки каторги. Эти-то подонки васъ и доймутъ, въ угоду „сильнымъ“ каторжанамъ.

— Ну, заставить ихъ относиться съ уваженіемъ, съ симпатіей.

— Трудно. Ужъ очень они ненавидятъ и презираютъ „барина“. У меня, впрочемъ, былъ способъ! — разсказывалъ мнѣ одинъ интеллигентный человѣкъ, сосланный за убійство. — Я писалъ имъ письма, прошенія, что ими очень цѣнится. Конечно, безплатно. Охотно дѣлился съ ними своими знаніями. Всякое знаніе каторга очень цѣнитъ, хотя къ людямъ знанія относится какъ вообще простонародье, какъ ребенокъ, который очень любитъ яблоки и ругаетъ яблоню, зачѣмъ такъ высоко. Мало-по-малу мнѣ начало казаться, что я заслуживаю ихъ расположеніе. Но тутъ мнѣ пришлось столкнуться съ грамотными бродягами и „Иванами“. У первыхъ я отнималъ заработки, даромъ составляя прошенія. Вторыя не переносятъ, чтобы кто-нибудь, кромѣ нихъ, имѣлъ вѣсъ и вліяніе въ тюрьмѣ. Сколько усилій пришлось потратить, чтобы избѣгать столкновеній съ ними. Меня оскорбляли, вызывали на дерзос[illegible]. Собирались даже бить. Обвиняли въ доносахъ. Добились то[illegible], что каторга перестала мнѣ вѣрить: убѣдили ихъ, будто я п[illegible]шенія нарочно составляю не такъ, какъ слѣдуетъ. И это [illegible]рачье имъ повѣрило! Короче вамъ скажу, — не знаю, чѣмъ [illegible] все это кончилось, — но меня выпустили изъ кандаль[illegible] тюрьмы.

Неужели же всѣ интеллигентныя лица „тонутъ“? Неужели нѣтъ „выплывшихъ“?

Есть.

Пользующійся всероссійской печальной извѣстностью Л—гъ выплылъ. Но ему пришлось отбывать каторгу при совершенно исключительныхъ условіяхъ, о которыхъ я поговорю въ свое время. Да и то мнѣ кажется, что „выплыть“ ему помогла милая, добрая дѣвушка, полюбившая его и согласившаяся раздѣлить свою судьбу съ его.

Я видѣлъ еще одного „выплывшаго“ юношу.

Но чего стоило это?

Цѣлой жизни! Жизни молодой, цвѣтущей, прекрасной.

Чтобы спасти его, нужно было, чтобъ молодая дѣвушка, почти ребенокъ, съ душой прекрасной, сердцемъ рѣдкимъ, — чтобы это исключительное существо, чтобы оно, полюбивъ его, бросило домъ, родныхъ, добровольно пошла за нимъ, вышла за него замужъ, вытерпѣла столько, сколько вытерпѣла она, отреклась отъ всего и сказала себѣ:

— Я сама приговариваю себя къ пожизненной ссылкѣ, чтобы спасти его.

Требовался подвигъ, самопожертвованіе для спасенія этого юноши.

За преступную жизнь пошла въ видѣ платы жизнь молодая, чистая, прекрасная.

Женщина хорошая, любящая до самопожертвованія, можетъ спасти человѣка.

Но какой цѣной.

Приговоривъ себя, безвинную, къ каторгѣ, къ самой тяжелой каторгѣ: видѣть страданія, униженія любимаго человѣка.

Только такой цѣной, цѣной собственной жизни, она можетъ спасти чужую.

— Жизнь за жизнь требуетъ Сахалинъ и не дѣлаетъ никакой уступки.

Я не стану касаться вопроса: „кому много дано, съ того много и взыщется“.

Мое дѣло разсказать только, какъ взыскивается.

Много. Очень много.

Страшна не тяжелая работа, не плохая пища, не лишеніе правъ, подчасъ призрачныхъ, номинальныхъ, ничего не значащихъ.

Страшно то, что васъ, человѣка мыслящаго, чувствующаго, видящаго, понимающаго все это, съ вашей душевной тоской, съ вашимъ горемъ, кинутъ на однѣ нары съ „Иванами“, „глотами“, „жиганами“.

Страшно то отчаяніе, которое охватитъ васъ въ этой атмосферѣ навоза и крови.

Страшны не кандалы!

Страшно это превращеніе человѣка въ шуллера, въ доносчика, въ дѣлателя фальшивыхъ ассигнацій.

Страшно превращеніе изъ Валентина „въ поддѣлывателя документовъ“ за краденую вытертую шапку.

И какіе характеры гибли!

Тальма на Сахалинѣ.

Это происходило въ канцеляріи Александровской тюрьмы. Передъ вечеромъ, на „нарядѣ“, когда каторжане являются къ начальнику тюрьмы съ жалобами и просьбами.

— Что тебѣ?

— Ваше высокоблагородіе, нельзя ли, чтобы мнѣ вмѣсто бушлата [1]) выдали сукномъ.

— Какъ твоя фамилія?

— Тальма.

„Я „воззрился“ на этого большого молодого человѣка, съ блѣднымъ, одутловатымъ лицомъ, добрыми и кроткими глазами, съ небольшой бородкой, въ „своемъ“ штатскомъ платьѣ, съ накинутымъ на плечи арестантскимъ халатомъ.

— Нельзя. Не порядокъ, — сказалъ начальникъ тюрьмы.

Тальма поклонился и вышелъ. Я пошелъ за нимъ и долго смотрѣлъ вслѣдъ этой живой загадкѣ.

Онъ шелъ сгорбившись. Сѣрый халатъ съ бубновымъ тузомъ болтался на его большой, нескладной фигурѣ, какъ на вѣшалкѣ. Прошелъ большую улицу и свернулъ вправо въ узенькіе переулочки, въ одномъ изъ которыхъ онъ снималъ себѣ квартиру.

Во второй разъ я встрѣтился съ Тальмой на пристани.

Онъ былъ безъ арестантскаго халата. Въ темной пиджачной парѣ, мягкой рубахѣ и черномъ картузѣ.

Мы пріѣхали на катерѣ съ однимъ изъ офицеровъ парохода „Ярославль“, и къ офицеру сейчасъ же подошелъ Тальма.

Они были знакомы. Тальма привезенъ на „Ярославлѣ“.

— Я къ вамъ съ просьбой. Вотъ накладная. Мнѣ прислали изъ Петербурга красное вино. А мнѣ, какъ...

Всѣ интеллигентные и неинтеллигентные одинаково обзываются словомъ „каторжный“ и говорятъ „рабочій“.

---

[1]) Такъ каторжане называютъ куртку.

— Мнѣ, какъ рабочему, его взять нельзя. Будьте добры, отдайте накладную ресторатору. Пусть возьметъ вино себѣ. Я ему дарю. Вино, должно-быть, очень хорошее.

— Странная посылка! — пожалъ плечами офицеръ, когда Тальма отъ насъ отошелъ.

Странная посылка человѣку, сосланному въ каторгу!

Потомъ, когда мы познакомились, Тальма однажды съ радостью объявилъ мнѣ:

— А я телеграмму изъ Петербурга получилъ!

— Радостное что-нибудь?

— Вотъ.

Александровскій рудникъ.

Я хорошо помню содержаніе телеграммы: „Такой-то, такой-то, такой-то, обѣдал въ такомъ-то ресторанѣ, вспоминаемъ о тебѣ и пьемъ твое здоровье“. Подписано его братомъ.

Телеграмма вызвала радостную улыбку на всегда печальномъ лицѣ Тальмы. Поддержала немножко его духъ, — что и требовалось доказать.

Разные люди, и разными способами ихъ можно подбодрять!

Я познакомился съ Тальмой въ конторѣ Александровской больницы, гдѣ онъ исполнялъ обязанности писаря.

Я долженъ немножко пояснить читателю.

„Каторги“ такъ, какъ ее понимаетъ публика, для интеллигентнаго человѣка на Сахалинѣ почти нѣтъ. Интеллигентные люди, — „господа“, какъ ихъ съ презрѣніемъ и злобой зовутъ въ каторга, — не работаютъ въ рудникахъ, не вытаскиваютъ

бревенъ изъ тайги, не прокладываютъ дорогъ по непроходимой трясинѣ тундры.

Сахалинъ, съ его безчисленными канцеляріями и управленіями, страшно нуждается въ грамотныхъ людяхъ.

Всякій мало-мальски интеллигентный человѣкъ, прибывъ на Сахалинъ, сейчасъ же получаетъ мѣсто писаря, учителя, завѣдующаго метеорологической станціей, статистика, и что-нибудь подобное. И отбываетъ каторгу учительствомъ, писарствомъ, корректорствомъ при сахалинской типографіи.

На первый взглядъ вся „каторга“ до интеллигентнаго человѣка состоитъ въ томъ, что его превращаютъ въ обыкновеннаго писаря.

Для интеллигентныхъ людей на Сахалинѣ есть другая каторга.

Лишая всѣхъ правъ состоянія, васъ лишаютъ человѣческаго достоинства. Только!

Всякій „начальникъ тюрьмы“ изъ выгнанныхъ фельдшеровъ, въ каждую данную минуту, по первому своему желанію, можетъ, безъ суда и слѣдствія, назначить до 10 плетей или 30 розогъ.

По первому капризу, запишетъ въ штрафной журналъ: „за непослушаніе“, — и больше ничего.

И можетъ назначить по первому неудовольствію на васъ, по первой жалобѣ какого-нибудь „помощника смотрителя“, ничтожества, которому даже каторга изъ презрѣнія говоритъ „ты“, по первой жалобѣ какого-нибудь „надзирателя“ изъ бывшихъ ссыльно-каторжныхъ.

Вы можете отлично отбывать свою писарскую каторгу, скромно, старательно,—вами будутъ довольны, но стоитъ вамъ встрѣтиться на улицѣ съ какимъ-нибудь мелкимъ чиновничкомъ, которому покажется, что вы недостаточно почтительно или быстро сняли передъ нимъ шапку, и васъ посадятъ на мѣсяцъ, на два въ кандальную.

Такія жалобы гг. чиновниковъ всегда удовлетворяются,

— И жалко мнѣ человѣка, а сажаю! — часто приходится вамъ слышать отъ болѣе порядочныхъ „начальниковъ“ тюремъ, — сажаю, потому что иначе скажутъ, что я „распускаю“ каторгу!

А этого обвиненія на Сахалинѣ служащіе боятся больше всего.

И вотъ, по первому же вздорному желанію какого-нибудь мелкаго служащаго, заковываютъ на мѣсяцъ, на два въ кандалы, сажаютъ въ общество самаго отребья рода человѣческаго, и вы должны подчиняться этому отребью, потому что „арестантскіе законы“, какъ держать и вести себя

тюрьмѣ, издаютъ самые отчаянные изъ кандальныхъ каторжанъ, подонки изъ подонковъ тюрьмы. Чѣмъ ниже палъ человѣкъ, тѣмъ выше онъ стоитъ въ арестантской средѣ. И вы должны ему подчиняться.

Интеллигентные люди живутъ подъ вѣчнымъ Дамокловымъ мечомъ. Вотъ „вся“ ихъ каторга. Годами, каждую секунду бояться и дрожать.

Оттого такія унылыя и пришибленныя лица вы только и встрѣчаете у интеллигентныхъ каторжанъ.

И многіе изъ нихъ „впадаютъ въ тоску“ отъ такого существованія, въ страшную, безпросвѣтную тоску, отъ этой вѣчной боязни исполняются презрѣніемъ къ самому себѣ, впадаютъ въ отчаяніе. Начинаютъ пить...

И если вы видите постоянно живущаго въ тюрьмѣ и назначаемаго на работы наравнѣ съ другими интеллигентнаго человѣка, это, значитъ, — ужъ совсѣмъ погибшій человѣкъ, потерявшій образъ и подобіе человѣческое.

Тюрьмой рѣдко кто изъ интеллигентныхъ людей на Сахалинѣ начинаетъ, но многіе ею кончаютъ.

Съ Тальмой, по прибытіи на Сахалинъ, случилось то же, что и со всѣми грамотными людьми. Онъ попалъ въ писаря.

Въ конторѣ больницы я съ нимъ познакомился. Тутъ, подъ начальствомъ прекрасныхъ и гуманныхъ людей, сахалинскихъ докторовъ, ему жилось сравнительно сносно. И имъ были всѣ довольны, какъ тихимъ, работящимъ и очень скромнымъ молодымъ человѣкомъ.

Я имѣлъ возможность хорошо узнать Тальму. Я бывалъ у него, и онъ заходилъ ко мнѣ.

Конечно, рѣчь очень часто заходила о дѣлѣ. Но что онъ могъ сказать новаго? Онъ повторялъ только то же, что говорилъ и на процессѣ.

Письма, телеграммы „изъ Россіи“ поддерживали его бодрость, вызывали вспышки надежды. Но это были вспышки магнія среди непроглядной тьмы, яркія и мгновенныя, послѣ которой тьма кажется еще темнѣй.

Самъ онъ, кажется, считалъ свое дѣло „рѣшеннымъ“ разъ и навсегда, и, когда я пробовалъ утѣшать его, что, молъ, „Богъ дастъ“, — онъ только махалъ рукой:

— Гдѣ ужъ тутъ!

Интересная черта, что, когда онъ говорилъ о своемъ дѣлѣ, онъ не жаловался ни на страданія ни на лишенія. Не жаловался на загубленную жизнь, — но всегда приходилъ въ величайшее волненіе, говоря, что его лишили чести.

Связь съ прошлымъ, — какъ святыня, у него хранятся тѣ зеты, въ которыхъ нѣсколько журналистовъ стояли за его

невиновность. Достаточно истрепанныя газеты, которыя, видимо, часто перечитываются. Давая ихъ мнѣ на прочтеніе, онъ просилъ:

— Я знаю, знаю, что вы будете съ ними обращаться бережно. Пожалуйста, не сердитесь на меня за эту просьбу!.. Но все-таки, чтобъ что-нибудь не затерялось...

Это все, что осталось. И какъ, вѣроятно, это перечитывалось, хоть Тальма и знаетъ все, что тамъ написано, наизусть. Онъ сразу безошибочно указывалъ въ разговорѣ столбецъ, строку, гдѣ написана та или другая фраза.

Связь съ настоящимъ, — Тальма показывалъ мнѣ письма его жены и письма нѣкоей Битяевой, странной дѣвушки изъ полуинтеллигентокъ. Письма, дышавшія экзальтированной любовью къ семьѣ Тальма, въ которыхъ Битяева, словно о ребенкѣ, писала о женѣ Тальмы:

„Большой Саша (супруга Тальмы) ведетъ себя нехорошо: все скучаетъ, тоскуетъ и болѣетъ. А маленькій Саша совсѣмъ здоровъ. Большой Саша только и думаетъ, какъ бы поѣхать къ вамъ, и я поѣду вмѣстѣ съ ними, я буду горничной, нянькой, всѣмъ!“

Супруга тоже все увѣдомляла Тальму о скоромъ пріѣздѣ.

И онъ часто говорилъ:

— Вотъ пріѣдетъ жена, устроимся такъ-то и такъ-то...

Но въ тонѣ, которымъ онъ это говорилъ, слышалось какъ будто, что онъ и самъ въ этотъ пріѣздъ не вѣрилъ.

Вѣрилъ, вѣрилъ человѣкъ, да ужъ и отчаялся. А фразу старую повторяетъ такъ, машинально, по привычкѣ:

— Вотъ пріѣдетъ...

На Сахалинѣ это часто слышишь:

— Вотъ жена пріѣдетъ...

— Вотъ мое дѣло пересмотрятъ...

И говорятъ это люди годами. Надо же хоть тѣнь надежды въ душѣ держать! Все легче.

Да насмотрѣвшись на сахалинскіе порядки, Тальма и самъ, кажется, колебался: хорошо ли, или нехорошо будетъ, если жена и впрямь пріѣдетъ. И писалъ ей письма, чтобъ она думала о своемъ здоровьѣ:

„Разъ чувствуешь себя не совсѣмъ хорошо и не дурно, не ѣхать. Лучше подождать“.

Впечатлѣніе, которое производилъ Тальма? Это — впечатлѣніе тонущаго человѣка, тонущаго безъ крика, безъ стона, знающаго, что помощи ему ждать неоткуда, что кричи, не кричи — все равно никто не услышитъ.

Такое же впечатлѣніе онъ производилъ на другихъ.

— Не нравится мнѣ Тальма! — говорилъ мнѣ докторъ, подъ начальствомъ котораго Тальма служилъ, который видѣлъ Тальму каждый день и который, слава Богу, перевидалъ на своемъ вѣку ссыльныхъ. — Съ каждымъ днемъ онъ становится все апатичнѣе, апатичнѣе. Въ полную безнадежность впадаетъ. Не хорошо, когда это у арестантовъ появляется. Того и гляди, человѣкъ на себя рукой махнетъ. А тамъ — ужъ кончено.

Маленькая, но на Сахалинѣ значительная подробность.

Когда я въ первый разъ зашелъ къ Тальмѣ, мнѣ бросилась въ глаза лежавшая на кровати гармоника. Не хорошо это, когда у интеллигентнаго человѣка на Сахалинѣ заводится гармоника.

Значитъ, ужъ очень тоска одолѣла.

Начинается обыкновенно съ унылой игры на гармоникѣ, въ долгіе сахалинскіе вечера, когда за окнами стонетъ и воетъ пурга. А затѣмъ появляется на столѣ водка, а тамъ...

Въ то время, когда я его видѣлъ, Тальма, хоть и охватывала его, видимо, отчаяніе, все еще не сдавался, крѣпился и не пилъ.

Онъ жилъ не одинъ: снималъ двѣ крошечныя каморочки и одну изъ нихъ отдалъ:

— Товарищу! — кратко пояснилъ онъ.

Я стороной узналъ, что это за товарищъ. Круглый бѣднякъ, бывшій офицеръ, сосланный за оскорбленіе начальника. „Схоронили — позабыли“. Никто ему „изъ Россіи“ ничего не писалъ, никто ничего не присылалъ. Занятій, урока какого-нибудь, частной переписки бѣдняга достать не могъ. И предстояло ему одно изъ двухъ: или на улицѣ помирать, — на казенный „паекъ“, который выдается каторжанамъ, не проживешь, — или проситься, чтобъ въ тюрьму посадили.

Къ счастью, о его положеніи узналъ Тальма и взялъ его къ себѣ, чѣмъ и спасъ бѣднягу отъ горькой участи.

— Хорошій такой человѣкъ, скромный, симпатичный, — только очень несчастный! — пояснялъ мнѣ Тальма.

Онъ жилъ на полномъ иждивеніи у Тальмы.

Потому-то Тальма и просилъ у начальника тюрьмы дать ему, вмѣсто бушлата, сукно,—чтобъ „товарища“ одѣть.

— Свой у него износился. А мнѣ срокъ подходитъ бушлатъ новый получать. Выдадутъ готовый, — съ меня на товарища велико будетъ. Вотъ я и просилъ, сукномъ чтобъ выдали. Сама бы на него и сшили.

Тальма заходилъ ко мнѣ, но не по своему дѣлу, а чтобъ опросить за другого, за офицера, тоже сосланнаго за оскорбленіе начальника и только что прибывшаго на Сахалинъ.

— Вы со всѣми знакомы, не можете ли попросить за него, чтобы его какъ-нибудь получше устроили. Чрезвычайно хорошій, симпатичный человѣкъ!

Знаете, когда человѣкъ тонетъ, ему думать только о себѣ.

И, глядя на этого человѣка, который находитъ время о другихъ подумать, когда самъ тонетъ, — я невольно думалъ:

„Да полно, онъ ли это?“

Положимъ, я видѣлъ убійцъ, которые дѣлились послѣднимъ кускомъ даже съ кошками. Я видѣлъ кошекъ въ кандальныхъ тюрьмахъ. Люди, которые тамъ сидѣли, увѣряли, „что человѣкъ помираетъ, что собака — все одно“, — у каждаго изъ нихъ на душѣ было по нѣскольку убійствъ, — но тотъ изъ нихъ, кто убилъ бы эту кошку, былъ бы убитъ товарищами. Кошку они жалѣли.

Но то была не любовь, а сентиментальность.

Сентиментальность — маргаринъ любви.

Сентиментальность людей среди убійцъ я встрѣчалъ много, но добрыхъ, истинно добрыхъ—ни одного.

А впечатлѣніе, которое осталось у меня отъ Тальмы, это — именно то, что я видѣлъ очень добраго человѣка.

Картежная игра.

— Да что съ нимъ такое?

— Э-хъ!.. Играть началъ! — отвѣчаетъ степенный каторжанинъ или поселенецъ.

И онъ говоритъ это „играть началъ“ такимъ безнадежнымъ тономъ, какимъ въ простонародьѣ говорятъ: „запилъ!“ Пропалъ, молъ, человѣкъ.

Игра въ каторгѣ, это — ужъ не игра, это—запой, это — болѣзнь. Игра мѣняетъ весь строй, весь бытъ тюрьмы, вверхъ ногами перевертываетъ всѣ отношенія. Дѣлаетъ ихъ чудовищными. Благодаря игрѣ, тяжкіе преступники освобождаются отъ наказанія, къ которому приговорилъ ихъ судъ. Благодаря игрѣ, люди мѣняются именами и несутъ наказанія за преступленія, которыхъ не совершали. Вы выдумываете, совершенствуете системы наказанія, мечтаете (только мечтаете) объ исправленіи преступниковъ,—а тамъ, въ тюрьмѣ, всѣ ваши системы, планы надежды, мечты, — все это перевертывается вверхъ ногами, благодаря свирѣпствующей въ каторгѣ эпидеміи картежной игры. Именно эпидеміи, потому что о картежной игрѣ на каторгѣ только и можно говорить, какъ о повальной болѣзни. Въ сущности, старую формулу „приговаривается къ каторжнымъ работамъ безъ срока“ можно смѣло замѣнить формулой „приговаривается къ безсрочной каторжной игрѣ“.

Арестанты на работѣ.

— Бардадымъ (король)!
— Шеперка (шестерка)!
— Солдатъ (валетъ)!
— Старикъ Блиновъ (тузъ)!
— Заморская фигура (двойка)!
— Братское окошко (четверка)!
— Мамка! Барыня! Шелихвостка (дама)!
— Помирилъ (на-пе)!
— Два съ боку! Поле! Фигура! Транспортъ съ кушемъ! По кушу очко! Атáнде! Нѣтъ, áтанде!

Только и слышится въ камерѣ въ обѣденный часъ, вечеромъ, когда арестанты вернулись съ работъ, ночью, рано утромъ передъ раскомандировкой. Игра, въ сущности, продолжается непрерывно: когда не играютъ, говорятъ, думаютъ только объ игрѣ.

У меня былъ одинъ знакомый каторжанинъ въ Александровской тюрьмѣ, которому я давалъ деньги на игру. Онъ не давалъ мнѣ покоя. Удиралъ отъ обѣда, съ работъ, забѣгалъ съ чернаго крыльца, караулилъ на улицѣ:

— Баринъ, приходите! Нынче будетъ здоровая игра!

На работахъ онъ только и дѣлалъ, что глядѣлъ на дорогу:

— Не ѣдетъ ли мой баринъ?

Сосѣди его по нарамъ со смѣхомъ говорили, что онъ и во снѣ только и кричитъ:

— Бардадымъ!.. Шеперка!.. Полтина мазу!..

Онъ игралъ, проигрывалъ, жилъ какъ въ угарѣ, таялъ и горѣлъ, — этотъ человѣкъ съ лихорадочнымъ огнемъ въ глазахъ. На что не былъ бы онъ способенъ, чтобъ достать денегъ на игру.

Это — болѣзнь. Я уже разсказывалъ о жиганѣ, умиравшемъ отъ истощенія, отъ скоротечной чахотки въ Корсаковскомъ лазаретѣ. Онъ проигрывалъ все, — дачку хлѣба. Цѣлыми мѣсяцами сидѣлъ на одной „баландѣ“, которую и сахалинскія свиньи ѣдятъ неохотно, когда имъ даютъ. Въ лазаретѣ началъ проигрывать лѣкарства. Его потухшіе, безжизненные глаза умирающаго отъ истощенія человѣка вспыхиваютъ жизнью, огнемъ, блещутъ только тогда, когда онъ говоритъ объ игрѣ.

Въ одной изъ тюремъ я, по просьбѣ арестантовъ, разсказывалъ имъ объ игрѣ въ Монте-Карло. Старался разсказывать какъ можно картиннѣе, наблюдая, какое впечатлѣніе это производитъ на нихъ.

— Ну... ну...— раздался хриплый голосъ, когда я остановился на самомъ интересномъ мѣстѣ.

Этотъ хриплый голосъ человѣка, котораго словно душат принадлежалъ арестанту, который былъ боленъ и лежалъ

нарахъ. Теперь онъ поднялся на локтѣ. На него страшно было смотрѣть. Лицо потемнѣло, налилось кровью, широко раскрытые, горящіе глаза:

— Ну... ну...

Словно онъ самъ велъ игру, — и вотъ-вотъ рѣшалась его судьба. Каждый разъ слова: „номеръ былъ данъ“ или „бито!“— вызывали то радостные, то полные досады возгласы:

— Э-эхъ, чортъ!

Они участвовали въ игрѣ всѣмъ сердцемъ, всей душой. Я задѣвалъ ихъ самую чувствительную струнку. Они слышать не могутъ объ игрѣ. Это — ихъ болѣзнь.

Почему это?

Во-первыхъ, хоть и плохіе, они все-таки дѣти своей страны. И если вся Русь отъ восьми вечера до восьми утра играетъ въ карты, а отъ восьми утра до восьми вечера думаетъ о картахъ, — что жъ удивительнаго, что въ маленькомъ уголкѣ, на Сахалинѣ, дѣлается то же, что и вездѣ. Во-вторыхъ, на игру позываетъ тюремная скука. Въ-третьихъ, существуетъ какая-то таинственная связь между преступленіемъ и страстью къ картежной игрѣ. Въ тюрьмахъ всего міра страшно развита страсть къ картамъ. Можетъ-быть, какъ нѣчто отвлекающее отъ обуревающихъ мыслей, арестанты любятъ карточную игру, — и обычное времяпрепровожденіе приговореннаго къ смертной казни въ парижской Grande Roquette, это — игра въ карты съ „mouton“'омъ, — арестантомъ, котораго осужденному даютъ для развлеченія. Далѣе, человѣку попавшему на Сахалинъ, не на что надѣяться, кромѣ случая. „Выйдетъ случай, — удачно сбѣгу“. Это создало, какъ я уже говорилъ, вѣру въ „фартъ“, въ счастливый случай, цѣлый культъ „фарта“. И картежная игра, это—только жертвоприношеніе богу—„фарту“: гдѣ жъ, какъ не въ картахъ, случай играетъ самую большую роль. Затѣмъ арестанту заработать негдѣ. Выиграть— единственная надежда немножко скрасить свое положеніе: купить сахару, поправить одежонку, нанять за себя на работы. И, наконецъ, этой всепоглощающей игрѣ, этому азарту, въ который человѣкъ уходитъ съ головой, отдается какъ пьянству, какъ средству забыться, уйти отъ тяжкихъ думъ о родинѣ, о волѣ, о прошломъ, — этимъ стараются заглушить мученья совѣсти. По крайней мѣрѣ, наиболѣе тяжкіе преступники обыкновенно наиболѣе страстные игроки.

Этимъ я объясняю и страсть моего „пріятеля“ изъ Александровской тюрьмы. Онъ пришелъ за убійство жены, которую очень любилъ.

— Не любилъ бы, не убилъ бы! — сказалъ онъ мнѣ разъ такимъ тономъ, что, если бы какой-нибудь Отелло въ по-

слѣднемъ актѣ такимъ тономъ сказалъ объ убійствѣ Дездемоны, у зрителей душа перевернулась бы отъ ужаса и жалости.

И мнѣ всегда думалось при взглядѣ на него:

— Вотъ человѣкъ, который въ азартѣ сжигаетъ свои воспоминанія.

Много нравственныхъ мукъ стараются потопить въ этой карточной игрѣ!

Какъ бы то ни было, она губитъ и каторгу и поселенье. Заразившись, каторжане такъ и говорятъ — „заразился“ картами, словно о болѣзни; заразившись карточной игрой въ тюрьмѣ, — арестантъ уноситъ ее и на поселеніе. Это мѣшаетъ ему поправиться, стать на ноги. Онъ проигрываетъ послѣднее, что у него есть, крадетъ, убиваетъ, продаетъ дочерей, сожительницу, жену, если она послѣдовала за нимъ въ ссылку.

На Сахалинѣ рѣдко бываютъ вольные люди, — но если такой появляется, его осаждаютъ толпы нищенствующихъ поселенцевъ:

— Третій день не ѣмши!

Вы дали двугривенный, и онъ спѣшитъ въ закусочную, которыми обстроена вся Базарная площадь въ Александровскомъ. Вы думаете, — купитъ хлѣба? Нѣтъ, играть. Каждая закусочная въ то же время игорный притонъ: въ задней комнатѣ „мечутъ“, и умирающій отъ голода бѣднякъ надѣется выиграть и тогда ужъ „поѣсть какъ слѣдуетъ въ свое полное удовольствіе“. Страсть къ игрѣ пересиливаетъ даже чувство голода — сильнѣйшее изъ человѣческихъ чувствъ.

Обычная просьба, съ которой обращаются на Сахалинѣ поселенцы:

— Баринъ, ваше высокоблагородіе! Дайте записочку!

То-есть напишите въ лавку колонизаціоннаго фонда: „Отпустить для меня бутылку водки. Такой-то“.

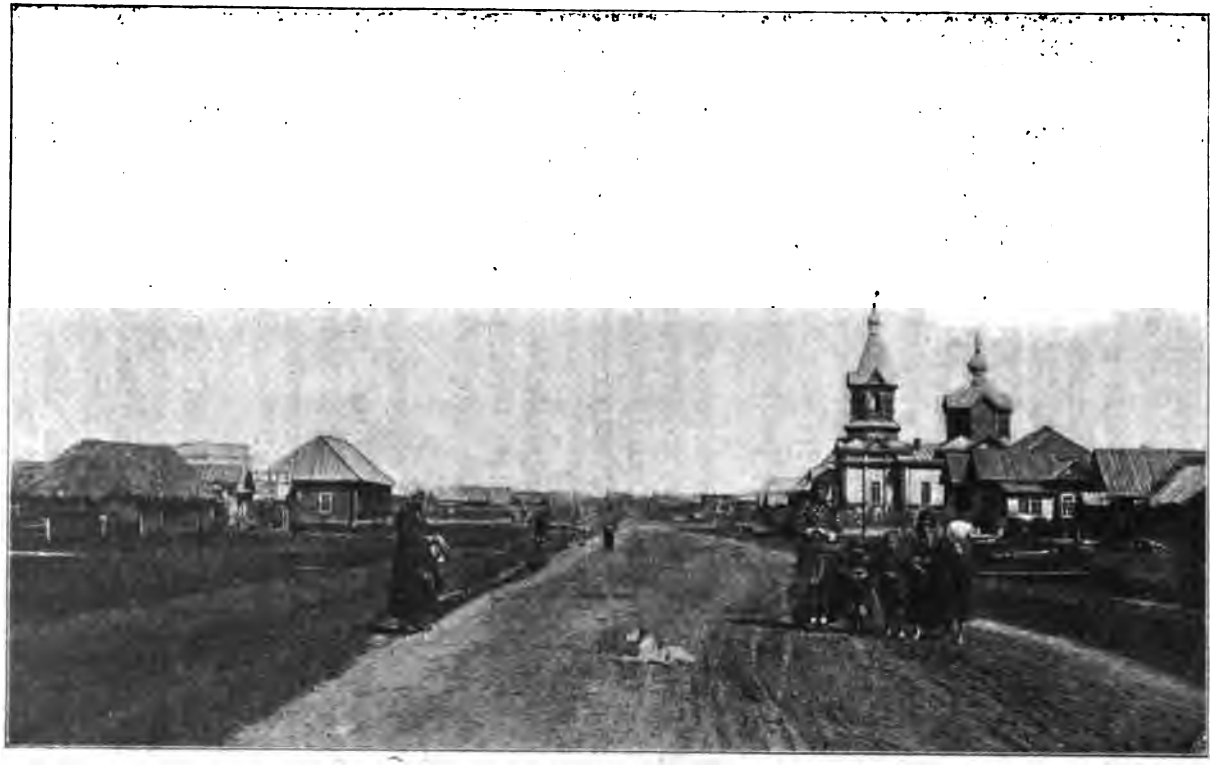
— А что, выпить хочется?

— Смерть!

Но у него даже денегъ нѣтъ, чтобы купить по этой запискѣ бутылку водки. Можете быть спокойны. Онъ отправится и поставитъ „записку“ на карту, потому что эти записки, какъ я уже упоминалъ, ходятъ между поселенцами какъ деньги, цѣнятся обыкновенно въ 50 коп. и принимаются какъ ставка на карту.

Есть даже цѣлыя селенія, занимающіяся исключительно картежной игрой. Таково, напримѣръ, селеніе Аркво, расположенное въ долинѣ рѣки того же имени, по дорогѣ отъ поста Александровскаго къ рудникамъ.

— А, гг. арковскимъ мѣщанамъ почтеніе! — привѣтствуютъ арковскаго поселенца въ посту.



Поселенческій бытъ. Старое поселеніе.

„Арковскіе мѣщане“ земледѣліемъ занимаются такъ, „черезъ пень въ колоду“, только „балуются по этой части“; ихъ главный источникъ дохода — карты.

Въ дни, когда въ Мгачскихъ рудникахъ происходитъ „дачка“ вольнонаемнымъ рабочимъ поселенцамъ, вы не найдете въ Арквѣ ни одного взрослаго поселенца. Остались дѣти, старики да старухи. А „арковскіе мѣщане“ съ женами и сожительницами, захвативъ самовары и карты, пошли къ Мгачи.

Поставили самовары, обрядили женъ и сожительницъ въ фартуки и новые платки и засѣли на дорогѣ прельщать, угощать и обыгрывать мгачскихъ чернорабочихъ, отправляющихся за покупками въ постъ.

Ѣду разъ во Владимирскій каторжный рудникъ и по дорогѣ обгоняю толпу „арковскихъ мѣщанъ“.

Бабы разряжены, какъ можетъ „разрядиться“ нищая; мужики оживленно болтаютъ, несутъ самовары.

— Путь добрый. Куда?

— Къ Ямамъ (Владимирскій рудникъ) подаемся.

— Что такъ?

— Японецъ (японскій пароходъ) пришелъ. Грузятъ. Сказываютъ, дачка была, чтобъ поскорѣича!

„Арковскіе мѣщане“ шли отыгрывать у каторжанъ тѣ жалкіе гроши, которыя имъ выдаются съ выработаннаго и проданнаго угля.

Около поста Александровскаго есть знаменитое въ своемъ родѣ „Орлово поле“, можетъ-быть, такъ и названное отъ игры въ орлянку. Колоссальный игорный притонъ подъ открытымъ небомъ.

Что вы подѣлаете съ человѣкомъ, развращеннымъ тюрьмой, „заразившимся“ тамъ страстью къ картамъ? И какъ часто приходится слышать отъ жены, добровольно пошедшей за мужемъ, жены-героини, жены-мученицы, на вопросъ:

— Какъ живете?

Безнадежное:

— Какая ужъ жизнь! Нешто съ такимъ подлецомъ жизнь! Все дома голо, все дочиста проиграно. Дѣти голодомъ мрутъ, меня „на фартъ“ посылаетъ. Все для игры. Подлецъ, — одно слово. Хамъ!

— Зачѣмъ же за такимъ шла?

— Да нешто онъ такой былъ? Нешто за такимъ шла? Ш за путнымъ. Это ужъ онъ въ тюрьмѣ заразился, прахъ є расшиби! Было бы знато, нешто стала бы себя губить.

И это общая „пѣснь Сахалина“.

Каторга, „заражающая“ игрой на пароходѣ играетъ самодѣльными картами. Если читатели припомнятъ, я описы-

эти карты, среди которыхъ въ „хорошихъ колодахъ“ черви и бубны печатаются кровью. На Сахалинѣ самодѣльными картами не занимаются. Здѣсь свободно покупаютъ въ лавкахъ настоящія. Покупаютъ или сами или черезъ прислугу гг. служащихъ. Во всякомъ „майданѣ“ картъ всегда сколько угодно.

Кто сталъ бы изслѣдовать причины многочисленныхъ преступленій на Сахалинѣ, тотъ убѣдился бы, что среди тысячъ причинъ, вызывающихъ эти преступленія, чаще всего является картежная игра, эта болѣзнь тюрьмы, эта эпидемія каторги, ломающая всю жизнь этихъ несчастныхъ людей.

Законы каторги.

Какъ и всякое человѣческое общежитіе, каторга не можетъ обойтись безъ своихъ законовъ.

— Удивительное дѣло!— замѣтилъ я какъ-то въ бесѣдѣ съ однимъ „интеллигентнымъ“ сахалинскимъ служащимъ,—каторга такъ горячо возстаетъ противъ смертной казни и тѣлесныхъ наказаній. Такъ возмущается. А въ своемъ обиходѣ признаетъ только двѣ мѣры: тѣлесныя наказанія и смертную казнь!

Собесѣдникъ даже подпрыгнулъ на мѣстѣ. Обрадовался,— словно я его рублемъ подарилъ:

— Вотъ, вотъ! Вы это напишите, непремѣнно напишите. Пусть знаютъ, какъ съ ними гуманничать! Если они сами для себя ничего другого не признаютъ...

Я невольно улыбнулся:

— Неужели вы хотите, чтобъ мы были не лучше каторжниковъ?

Бѣдняга посмотрѣлъ на меня изумленно, растерялся и только нашелся отвѣтить:

— Это... это съ вашей стороны игра словами... Это—парадоксъ!

Общество считаетъ ихъ своими врагами, ссылаетъ. И они считаютъ своими врагами все общество. A la guerre comme, à la guerre. Каторгѣ нѣтъ никакого дѣла до преступленій, совершаемыхъ каторжанами противъ „чалдоновъ“. Самое звѣрское преступленіе не вызоветъ ничьего осужденія. Разъ человѣкъ убьетъ кого не изъ-за денегъ, каторга отнесется къ этому какъ къ „баловству:“

— Ишь, чортъ, пришилъ ни за понюхъ табаку.

Но скажетъ это добродушно. Насчетъ убійства человѣка „съ воли“ у каторги есть даже поговорка, что чалдона убить— только „въ среду, пятницу молока не ѣсть“. Законы каторги предусматриваютъ только преступленія, совершаемыя каторжанами противъ каторжанъ.

Сначала разсмотримъ законы, опредѣляющіе обязанности каторжанъ. Ихъ немного, — всего два. Если въ камерѣ, въ „номерѣ“ тюрьмы кому-нибудь предстоитъ наказаніе плетьми,— вся камера дѣлаетъ складчину „на палача“, чтобы не люто дралъ. Кто жертвуетъ копейку, кто двѣ, кто три, — глядя по состоянію. Но всякій, у кого есть за душой хоть грошъ, обязанъ его пожертвовать. Это—законъ, отъ котораго отступленій нѣтъ.

Иначе палачъ, при его истинной виртуозности, можетъ плетью и искалѣчить и задрать даже человѣка насмерть. При такихъ смотрителяхъ, какъ упоминавшійся мною Фельдманъ, любившихъ драть, тюрьма прямо разорялась на взятки палачамъ, а палачи благодушествовали и пьянствовали.

Вторая обязанность всякаго каторжанина — помогать бѣглымъ. Тюрьма прячетъ бѣглыхъ съ опасностью для себя. При мнѣ въ банѣ Рыковской тюрьмы былъ пойманъ скрывавшійся тамъ бѣжавшій изъ Рыковской же тюрьмы важный арестантъ. Тюрьма носила ему туда ѣсть. Какъ бы бѣденъ и голоденъ ни былъ каторжанинъ, онъ отдастъ послѣдній кусокъ хлѣба бѣглому. Это тоже законъ каторги. Только этимъ и можно объяснить, напримѣръ, такой странный фактъ: гроза и ужасъ всего Сахалина Широколобовъ, бѣжавшій изъ Александровской тюрьмы, всю зиму прожилъ въ Рыковской. Каторга укрывала и кормила его, рискуя своей шкурой и дѣлясь послѣднимъ.

Несоблюденіе этихъ двухъ священныхъ обязанностей каторжанина наказывается общимъ презрѣніемъ. А общее презрѣніе на Сахалинѣ выражается общими побоями. Такой человѣкъ — „хамъ“, бить его ежечасно можно и должно.

Гражданскій кодексъ каторги простъ и кратокъ. Каторга предоставляетъ своимъ членамъ заключать между собой какіе угодны договоры. И требуетъ только одного: свято соблюдать заключенный договоръ. Какъ бы возмутителенъ этотъ договоръ ни былъ, — каторгѣ дѣла нѣтъ:

— Самъ лѣзъ!

И такъ какъ „отцы“, „майданщики“ и „хозяева“,—все это народъ, который платитъ каторгѣ, то каторга всегда на ихъ сторонѣ, и если должникъ не платитъ, отнимаетъ у него послѣднее и еще „наливаетъ ему, какъ богатому“. Этимъ и держится кредитъ въ ихъ мірѣ. Часто человѣкъ, взявшій „под пашню“, т.-е. продавшій свой паекъ хлѣба за полгода, за годъ впередъ, съ голода нарочно совершаетъ преступленіе, чтобы его посадили въ карцеръ или одиночку: тамъ-то ужъ никто не отниметъ у него за долгъ его куска хлѣба! Таково происхожденіе многихъ преступленій и проступковъ среди каторжанъ особенно проступковъ мелкихъ: напримѣръ, „ничѣмъ не объяс

нимыхъ“ дерзостей начальству. Но если, вмѣсто того, чтобы посадить въ карцеръ только наказываютъ розгами, — тогда приходится совершить преступленіе покрупнѣе, чтобъ попасть въ „подслѣдственную“ одиночку и поѣсть. Чтобъ избавиться совсѣмъ отъ непосильныхъ долговъ, есть только одинъ способъ — бѣжать. Бѣга — единственное спасеніе, единственная возможность „перемѣнить участъ“. И каторга относится къ бѣгамъ съ величайшей симпатіей и почтеніемъ. Разъ человѣкъ бѣжалъ изъ тюрьмы, — всѣ обязательства и долги идутъ на смарку, безъ права возобновленія! Часто человѣкъ, запутавшійся въ долгахъ, бѣжитъ безъ всякой надежды выйти на волю. Проплутавъ недѣли двѣ, полуумирающій отъ голода, изодранный въ кровь въ колючей тайгѣ, иззябшій, въ рубищѣ, — онъ возвращается въ ту же тюрьму, откуда ушелъ. Получаетъ прибавленіе срока, „наградныя“ и собственнымъ тѣломъ расплачивается за сдѣланные долги. Но зато всѣ эти долги ужъ смараны, и онъ снова кредитоспособный человѣкъ. Вотъ происхожденіе многихъ сахалинскихъ „бѣговъ“, ставящихъ прямо втупикъ тюремную администрацію:

— Да зачѣмъ же, на что надѣясь, они бѣгаютъ?

Уголовное законодательство каторги такъ же просто и кратко.

„Кража“, — такого преступленія каторга не знаетъ. На языкѣ каторги „преступленіемъ“ называется только убійство. И если, положимъ, человѣкъ, присужденный за вооруженную кражу, говоритъ вамъ:

— Никакого преступленія я не совершалъ!

Это вовсе не означаетъ „упорнаго запирательства“. Просто, вы говорите на двухъ разныхъ языкахъ: онъ никого не убилъ, значитъ — „преступленія“ не было. И вы очень часто услышите на Сахалинѣ:

— За разбой безъ преступленія.

— За грабежъ безъ преступленія.

— За нападеніе вооруженной шайкой безъ преступленія.

Кража не считается ничѣмъ. Тамъ, гдѣ беззаконія творятъ всѣ, беззаконіе становится закономъ. Въ случаѣ кражи, каторга предоставляетъ обкраденному самому вѣдаться съ воромъ или нанять людей, которые бы вора избили. Но если воръ начинаетъ ужъ красть у всѣхъ поголовно, тогда тюрьма учитъ его для острастки вся. Но всѣ подобныя дѣла должны оканчиваться въ тюрьмѣ и самосудомъ. Начальства каторга не признаетъ. И всякая жалоба по начальству, — правъ человѣкъ или виноватъ, безразлично, — оканчивается для жалобщика или доносчика жесточайшимъ избіеніемъ всей тюрьмой. Въ этомъ случаѣ разнорѣчія ни отступленія не бываетъ. Бьютъ всѣ: одни

изъ мести, другіе—по злобѣ, третьи—„для порядка“, четвертые—отъ нечего дѣлать: надо же чѣмъ-нибудь развлекаться. Нѣкоторые „изъ прилики“: не будешь такого бить, скажутъ: „Самъ, должно-быть, такой же!“

Теперь мы входимъ въ самую мрачную часть „уложенія“ каторги, гдѣ звучитъ только одно слово „смерть“. Эти законы охраняютъ безопасность бѣгства.

Каждый, кто, зная о готовящемся побѣгѣ, предупредитъ объ этомъ начальство или, зная мѣсто, гдѣ скрывается бѣглецъ, укажетъ это мѣсто начальству,— подлежитъ смерти. И пусть его для безопасности переведутъ въ другую тюрьму, каторга и туда сумѣетъ дать знать о совершенномъ преступленіи, и такого человѣка убьютъ и тамъ.

Если каторжникъ бѣжалъ, его поймали, привели снова въ ту же тюрьму и онъ сказывается „бродягой непомнящимъ“, никто изъ знающихъ его, подъ страхомъ смерти, не имѣетъ права его „признать“, то-есть открыть его настоящее имя. Этому непреложному закону подчиняются не только каторжане, но и надзиратели, никогда почти не признающіе „бродягъ“, которые у нихъ же сидѣли. Этотъ законъ имѣютъ въ виду и другіе служащіе, неохотно „признающіе“ бѣглаго, когда его возвращаютъ:

— Охота потомъ ножа въ бокъ ждать!

Въ Корсаковскій постъ доставили съ японскаго берега Мацмая нѣсколько перебравшихся туда бѣглыхъ. Они выдавали себя за „иностранцевъ“ и лопотали на какомъ-то тарабарскомъ нарѣчіи, сами еле сдерживались отъ смѣха при видѣ пріятелей-каторжанъ и старыхъ знакомыхъ надзирателей. Но ихъ никто не „признавалъ“.

— Впервой видимъ!

Пока, наконецъ, бѣглецамъ не надоѣло „ломать дурака“, и они сами не открыли своихъ именъ.

Мнѣ разсказывалъ одинъ изъ служащихъ:

— Приводятъ къ намъ въ постъ бродягу. Смотрю: „батюшки, да онъ у меня же въ лакеяхъ, будучи каторжаниномъ, служилъ“. Думаю: „признавать — не признавать? Уличать — не уличать?“ Попросилъ, чтобъ меня съ нимъ оставили наединѣ. Смѣется: „Здравствуйте, — говоритъ, — ваше вышесокоблагородіе. Какъ барынино здоровье?“ — „Что жъ ты, — спрашиваю, — такъ настоящее свое имя и не думаешь открывать?“ — „Не думаю!“ — „Да вѣдь тебя здѣсь половина людей знаетъ. Признаютъ!“ — „Никто не признаетъ, не безпокойтесь!“ — „Да вѣдь я тебя первый уличить долженъ. Не могу не уличить!“ — „Что жъ, — говоритъ, — уличайте, коли охота есть!„ А самъ на меня въ упоръ смотритъ. Бился я съ нимъ, бился, чт

два, пока доказалъ, что ему инкогнито своего не скрыть, и самому признаться выгоднѣе, — наказанія меньше. Насильно уломалъ: „Ладно, — говоритъ, — сознаюсь!“

Помню испуганное лицо моего ямщика, который часто меня возилъ и былъ ко мнѣ расположенъ, когда я сказалъ ему:

— А я Широколобова (бѣглаго) видѣлъ!

Даже вздрогнулъ, бѣдняга, испугался за меня:

— Бога для, баринъ, никому объ этомъ не говорите! Бѣда будетъ!

Но я успокоилъ его, что пошутилъ.

Вотъ это-то обязательное всеобщее молчаніе относительно бѣглаго и придаетъ надежды сахалинскимъ бѣглецамъ. Немногіе бѣгутъ въ надеждѣ вернуться въ Россію, но всякій надѣется „перемѣнить участь“, при бѣгствѣ сказаться „бродягой“ и вмѣсто десяти, двадцатилѣтней каторги отбыть полуторагодовую.

Убійство каторжаниномъ каторжанина каторга не всегда наказываетъ смертью. Но убійство каторжаниномъ „товарища“ — всегда и обязательно. „Товарищъ“ — не всякій. И часто каторжанинъ, совершившій убійство въ тюрьмѣ, на вашъ вопросъ: „Какъ же такъ, товарища?“ — съ недоумѣніемъ отвѣтитъ вамъ:

— Какой же онъ мнѣ былъ товарищъ?

И даже смертельно обидится:

— Нешто я могу товарища убить?

Вы снова говорите на разныхъ языкахъ.

„Товарищъ“ — на каторгѣ великое слово. Въ словѣ „товарищъ“ заключается договоръ на жизнь и смерть. Товарища берутъ для совершенія преступленія, для бѣговъ. Берутъ не зря, а хорошенько узнавъ, изучивъ, съ большой осторожностью. Товарищъ становится какъ бы роднымъ, самымъ близкимъ и дорогимъ существомъ въ мірѣ. И я знаю массу случаевъ, когда товарищъ къ товарищу, заболѣвшему, раненому во время бѣговъ, относился съ трогательной нѣжностью. Къ товарищу относятся съ почтеніемъ и любовью и даже письма пишутъ не иначе, какъ: „Любезнѣйшій нашъ товарищъ“, „премногоуважаемый нашъ товарищъ“. Почтеніемъ и истинно-братской любовью проникнуты всѣ отношенія къ товарищу.

Убить товарища въ тюрьмѣ — одно изъ величайшихъ преступленій. Убить его съ цѣлью грабежа во время бѣговъ — величайшее, какое только знаетъ каторга.

Во всѣхъ сахалинскихъ тюрьмахъ, въ „подслѣдственныхъ“ одиночкахъ вы найдете несчастнѣйшихъ людей въ мірѣ, ждущихъ какъ казни своего освобожденія изъ одиночки. Полупомѣшанныхъ отъ ужаса, дошедшихъ до маніи преслѣдованія. И все это — лица, заподозрѣнныя каторгой въ доносѣ о предстоя-

щемъ побѣгѣ, въ указаніи мѣста, гдѣ скрывается бѣглый, въ уличкѣ бродяги, въ убійствѣ товарища во время бѣговъ. И они имѣютъ всѣ основанія сходить съ ума, эти несчастные. Каторга говоритъ:

— Не уйдутъ отъ насъ! Пришьемъ.

Изъ того, что такіе несчастные водятся *во всѣхъ* тюрьмахъ, вы видите, что даже законъ товарищества въ развращенной сахалинской каторгѣ находитъ много нарушителей.

Таковы гражданскій и уголовный кодексы каторги. Мнѣ остается только сказать о постановкѣ слѣдственной части у каторжанъ. Каторга еще не пережила эпохи пытокъ. Производить обыскъ, сыскъ и розыскъ на каторжномъ языкѣ называется „шманать", и на обыкновенный языкъ это слово слѣдуетъ перевести словомъ: пытать. Творя самосудъ, каторга добивается истины жестокими истязаніями.

Капитанъ Моровицкій разсказывалъ мнѣ, какъ въ бытность его смотрителемъ Дуйской тюрьмы каторга производила тамъ розыскъ убійцъ. Двоихъ заподозрѣнныхъ каторжане подбрасывали вверхъ и разомъ разступались. Несчастные грохались объ полъ. И это продолжалось до тѣхъ поръ, пока несчастные, избитые въ кровь и искалѣченные, не сознались.

— Да это по-нашему называется просто „шманать"! — подтвердилъ мнѣ потомъ и одинъ изъ каторжанъ — Ивановъ, производившихъ это слѣдствіе.

Языкъ каторги.

У каторги есть много вещей, которыхъ постороннимъ лицамъ знать не слѣдуетъ. Это и заставило ее, для домашняго обихода, создать свой особый языкъ. Нарѣчіе интересное, оригинальное, создавшееся цѣлыми поколѣніями каторжанъ, — въ немъ часто отражается и міросозерцаніе и исторія каторги. Отъ этого оригинальнаго нарѣчія вѣетъ то мѣткимъ добродушнымъ русскимъ юморомъ, то цинизмомъ, отдаетъ то слезами, то кровью.

Убить — на языкѣ каторги называется *пришить*.

— Я его ударилъ, — онъ и легъ къ землѣ, какъ пришитый.

Вотъ не лишенное висѣльнаго юмора происхожденіе слова „пришить".

„Пришить" просто — означаетъ убить, но *пришить бороду* означаетъ только обмануть.

— Пришилъ ему бороду, и бери, что знаешь! — говорятъ каторжане

Происхожденіе этого выраженія кроется, быть-можетъ, в легендѣ о похожденіяхъ одного славившагося сибирскаго бр

дяги, преданія о которомъ и до сихъ поръ живутъ въ памяти каторги. Онъ грабилъ спеціально богатыхъ одинокихъ стариковъ — „столовѣровъ“ (старовѣровъ), спасающихся въ сибирской тайгѣ. И ходилъ, по словамъ легенды, на грабежъ съ одной нагайкой. Онъ никогда не связывалъ своей жертвы, а, хорошенько напугавъ, припечатывалъ старику бороду сургучомъ къ столу. И затѣмъ хозяйничалъ въ избѣ какъ хотѣлъ. Если же старикъ не указывалъ денегъ, бродяга билъ его нагайкой. Отъ сильныхъ ударовъ старикъ поневолѣ рвался и тогда испытывалъ двойныя страданія: и отъ нагайки и нестерпимую боль отъ припечатанной бороды. Взявъ все, что нужно, бродяга такъ и оставлялъ несчастнаго припечатаннымъ: „Сиди, молъ, — повѣстки не подашь“ (знать не дашь). Судя по тому, что мнѣ приходилось слышать вмѣсто „пришить бороду“ также выраженіе „припечатать бороду“ — этому объясненію оригинальнаго выраженія можно повѣрить.

У каторги есть два спеціальныхъ термина для обозначенія того, какъ „пришиваютъ“ людей. Разбить человѣку голову на каторгѣ называется *расколоть арбузъ* (!), а ударить человѣка ножомъ въ грудь называютъ *ударить въ душу*. Грудь на каторжномъ языкѣ называется душой, — и корсаковскій палачъ Медвѣдевъ, разсказывая мнѣ, какъ онъ вѣшалъ, говорилъ:

— Какъ закрутились они на веревкѣ, подступило мнѣ что-то въ душу.

И указалъ при этомъ куда-то на селезенку...

„Умереть“ разно называется на Сахалинѣ. Въ посту Корсаковскомъ кладбище помѣщается около маяка, а потому тамъ умереть — это значитъ *отправиться къ маяку*.

— А гдѣ больной такой-то?

— Къ маяку пошелъ, ваше высокоблагородіе! — отвѣчаютъ вамъ въ лазаретѣ.

— Къ маяку бы поскорѣй! — стонутъ больные.

Въ Александровскомъ посту кладбище помѣщается на пригоркѣ, который занялъ когда-то ссыльно-поселенецъ Рачковъ для выпаса скота. А потому умереть въ Александровскомъ посту — это значитъ *отправиться на Рачкову заимку*.

Такъ какъ Александровскій постъ — это главный пунктъ острова и всякій каторжанинъ обязательно пройдетъ черезъ него, то и „Рачкова заимка“ получила всеобщую извѣстность, и выраженіе „отправиться на Рачкову заимку“ повсемѣстно значитъ „умереть“.

И угроза „отправить на Рачкову“ равносильна угрозѣ „пришить“.

Изъ преступленій, кромѣ убійства, на Сахалинѣ очень распространено дѣланіе фальшивой монеты. Особенно теперь въ

ходу поддѣлка серебряныхъ рублей. Японскій пароходъ „Ясима-Мару“, пришедшій за углемъ для Владивостока, простоялъ около сахалинскаго Владимирскаго рудника около недѣли. Японцы, по обыкновенію, привезшіе для каторжанъ „саки“ (японская водка) и разные припасы, чтобъ мошеннически продать ихъ втридорога, — уѣхали съ Сахалина съ карманами, полными... фальшивыхъ рублей. Каторга перемошенничала! Эти фальшивыя монеты на Сахалинѣ фабрикуются повсемѣстно и затѣмъ сбываются въ Уссурійскій край, гдѣ и спускаются неопытнымъ инородцамъ. Это часто на Сахалинѣ. Спрашиваю про одну гремѣвшую когда-то преступницу, теперь ссыльно-крестьянку:

— Да зачѣмъ ей понадобилось ѣздить на материкъ?

— Зачѣмъ! Деньги фальшивыя, небось, возила. У нея дѣло извѣстное.

„Деньги“ на языкѣ каторги называются *сарга*. Но сарга бываетъ японская и *липовая*. „Липовымъ“ каторга называетъ все фальшивое: деньги, паспорты, имя. Дѣлать „липовую саргу“, заниматься дѣланіемъ фальшивой монеты, каторга не безъ юмора называетъ *печь блины*. И мнѣ передавали, — можетъ-быть, анекдотъ, но клялись и божились, что фактъ, — курьезный случай. Одно изъ начальствующихъ лицъ заинтересовалось, — а чѣмъ занимается теперь лично извѣстный ему почему-то поселенецъ такой-то?

— Блины печетъ! — отвѣчали каторжане, любящіе поглумиться надъ начальствомъ.

Начальство поняло, что онъ печетъ блины для продажи, „какъ дѣлается въ городахъ“, и замѣтило:

— А-а, отлично, отлично! Я очень радъ за него, пусть старается! Это мнѣ очень пріятно.

Третьимъ распространеннымъ на Сахалинѣ преступленіемъ является, конечно, кража. Украсть на каторжномъ языкѣ называется *стырить*. Подучить украсть, сказать, какъ легче это сдѣлать, указать, гдѣ лежатъ деньги, — называется *натырить*. Передать краденое въ другія руки, чтобъ скрыть концы въ воду, — называется *перетырить*. И при дѣлежѣ обмануть сообщника, утаить въ свою пользу часть похищеннаго, — именуется *оттырить*. Ни одна мало-мальски крупная кража ни на Сахалинѣ ни у насъ, въ городахъ, не обходится безъ „натырщиковъ“ и „перетырщиковъ“, при чемъ самъ „стырщикъ“ получаетъ обыкновенно сущіе пустяки, потому что львиную долю „оттыриваютъ“ „натырщики“ и „перетырщики“ — подводчики и сбытчики завѣдомо краденаго. Воръ, — это только батракъ, всю жизнь работающій на другихъ.

Рудники. Угольные склады.

Нищенство, какъ профессія, мало даетъ на голодномъ Сахалинѣ. Просить милостыню на языкѣ каторги называется *стрѣлять*. И это громкое слово, имѣющее такое мирное значеніе, приведшее въ первый разъ и меня въ смущеніе, сыграло большую роль въ жизни каторжанина Маріана Пишатовскаго. Геркулесъ, добродушнѣйшее въ мірѣ существо, страшный только во время эпилептическихъ припадковъ, — онъ подошелъ къ начальнику, посѣтившему тюрьму, съ самой добродушной фразой:

— А я васъ подстрѣлить хочу...

— Убрать! Въ кандалы! — крикнулъ натурально отшатнувшійся въ сторону начальникъ.

И Пишатовскій нѣсколько мѣсяцевъ отсидѣлъ въ кандалахъ, рѣшительно не понимая, — за что. Полжизни прожившему въ каторгѣ, ему и невдомекъ, что вѣдь не весь же міръ говоритъ на каторжномъ языкѣ! Съ тѣхъ поръ, каждый разъ, какъ перепуганный начальникъ посѣщалъ тюрьму, Пишатовскаго уводили и заковывали. Жалуясь мнѣ на свои злоключенія, добрякъ особенно жаловался на это:

— Въ жизнь свою мухи не убилъ (онъ изъ дисциплинарныхъ), а что терплю. Какъ самый отъявленный. И за что? За то, что на чаекъ, на сахарокъ подстрѣлить хотѣлъ. Обрадовался: вотъ, думаю, доброе начальство, гривенничекъ дастъ. Вотъ тѣ и обрадовался!

Для слова „просить“, „итти по міру“, у каторги есть и другое выраженіе, историческое, пришедшее изъ Сибири, — *стрѣлять саватѣйки*. „Саватѣйками“ въ Сибири называются очень вкусныя сдобныя лепешки, которыя пекутся на сметанѣ. Зажиточный сибирскій крестьянинъ считаетъ долгомъ совѣсти, дѣломъ хорошимъ „для души“, подать бродягѣ — варнаку — „саватѣйку“. Отсюда „стрѣлять саватѣйки“ — значитъ на каторжномъ языкѣ также и итти бродяжить. Но, увы! — въ сахалинской каторгѣ это выраженіе стало ужъ совсѣмъ историческимъ. На голодномъ Сахалинѣ не то что „саватѣекъ“, хлѣба-то нѣтъ. Сахалинскій поселенецъ не сибирскій крестьянинъ: у голоднаго не поѣшь. Въ Сибири крестьянинъ кормитъ бродягу, и за то бродяга ни за что ничего у крестьянина не тронетъ. А голодный сахалинскій бродяга рѣжетъ у поселенца на кормъ и корову и послѣднюю лошадь. За то и поселенцы охотятся за бродягами, ловятъ, а то и убиваютъ

— Здѣсь Сахалинъ, батюшка, всякому до себя! — говорятъ на этомъ островѣ, гдѣ человѣкъ человѣку поневолѣ — волкъ.

Перейдемъ теперь къ выраженіямъ, означающимъ наказаніе. Во всѣхъ въ нихъ звучитъ иронія. Эта иронія напоминаетъ мнѣ ту улыбку, кривую, довольно „плохую“, похожую скорѣе на гримасу, съ которой человѣкъ идетъ ложиться на „кобылу“.

— Стало-быть, такъ порядокъ того требуетъ.

Каторга не любитъ слова „вѣшать“. Она называетъ это *заслужить веревку*. Эта какая-то инстинктивная боязнь страшнаго слова доходитъ до того, что даже палачъ, разсказывая вамъ, какъ онъ повѣсилъ 13 человѣкъ, ухитряется какъ-то избѣжать непріятнаго слова, а если и произноситъ его, то словно давится и какъ будто конфузится. Точно такъ же каторга не любитъ слово „розги“ и предпочитаетъ ироническое названіе *лозы*. Если же дерутъ, держа тонкій конецъ въ рукѣ и ударяя толстымъ,— что гораздо больнѣе,— тогда розги называются *колями*. Плети каторга зоветъ *мантами* — слово, которое произносится всегда иронически. А вообще получить плети называется—*получить наградныя*. При чемъ, получить ихъ въ высшемъ, опредѣленномъ закономъ размѣрѣ, называется получить *полняк*. Для слова „карцеръ“ у каторги есть два выраженія—*пчельникъ* или *сушилка*, при чемъ употребительнѣе послѣднее; оно ироничнѣе.

— А гдѣ такой-то? Что я его третій день не вижу?

— Сушится!

Значитъ, сидитъ въ темномъ карцерѣ.

Чтобы увернуться отъ всѣхъ этихъ прелестей, начиная съ мантовъ, продолжая лозами и кончая сушилкой, — каторжанину нужно быть или ужъ особенно *фартовымъ*, или умѣть *фельдить*.

Этотъ совершилъ 20 преступленій и попался только на 21-мъ, а тотъ и на первомъ „вляпался“, да такъ,—что пришелъ на 20 лѣтъ. За тѣмъ числится десятка полтора человѣческихъ жизней, а онъ пришелъ, какъ бродяга, на потлора года „за скрытіе родословія“: отбудетъ и опять уйдетъ, а другой, — каторга это знаетъ,—ни за что сидитъ, и будетъ сидѣть весь долгій срокъ. Тотъ на глазахъ у всѣхъ ушелъ и пробрался въ Россію, а другой и версты отъ тюрьмы не отошелъ: поймали, дали „наградныя“ и посадили „съ продолженіемъ срока“. Все заставляетъ каторгу вѣрить въ слѣпой случай. Только случай, — и ничего больше. Даже судъ, по ея характерному взгляду, „это — карты“. Вѣра въ случай — вотъ истинная религія каторги, въ судьбу, въ фортуну. Отъ слова „фортуна“ и происходитъ слово *фартъ*. Собственно, оно означаетъ „счастье“, и о, Боже, что подчасъ на Сахалинѣ называется „счастіемъ“! Соотвѣтственно этому и слова „фартъ“, „фартовы“, — имѣютъ много значеній.

— Онъ человѣкъ фартовый! — говорятъ про человѣка, когда хотятъ сказать, что это человѣкъ — добрый, широкая натура, — человѣкъ, готовый помочь ближнему безо всякой даже выгоды для себя.

— Онъ *фартовецъ*! Онъ человѣкъ фартовый!—говорятъ съ завистью и про человѣка, которому сходятъ съ рукъ всякія гадости.

А когда поселенецъ говоритъ про сожительницу, или каторжанинъ про жену, добровольно за нимъ послѣдовавшую: „она пошла на фартъ"; — мнѣ не нужно объяснять вамъ значенія этого выраженія.

Слово *фельдить* означаетъ „обманывать". Но въ то время, какъ каторжанину „пришиваютъ бороду", — начальство только *берутъ на фельду*. *Фельда* означаетъ обманъ, хитрость, лукавство именно передъ начальствомъ. Говорятъ, что слово „фельда" спеціально сахалинское и появилось на свѣтъ въ то время, когда смотрителемъ Воеводской тюрьмы былъ нѣкто Фельдманъ, о которомъ я уже упоминалъ. Тогда только хитрость, только лукавство могло спасти каторжанина отъ мантъ и лозъ: Фельдманъ не признавалъ непоротыхъ арестантовъ. Арестанты и фельдили передъ Фельдманомъ, какъ Фельдманъ, кормившій тюрьму сырымъ хлѣбомъ и экономившій на „припекѣ", фельдилъ передъ начальствомъ. Историческое объясненіе, не лишенное интереса.

Низкопоклонство и наушничество — два самыхъ испытанныхъ пріема „фельды". Для нихъ у каторги есть два выраженія: *бить хвостомъ* и *ударить плесомъ*. Въ сущности, „онъ бьетъ хвостомъ" или „онъ ударяетъ плесомъ" — значитъ, что арестантъ ловко уклоняется отъ наиболѣе трудныхъ работъ. Но такъ какъ для этого есть на каторгѣ только два средства: подольщаться и наушничать,—то каторга и говоритъ про людей, лебезящихъ передъ начальствомъ:

— Ишь, словно рыба на пескѣ: такъ и бьетъ плесомъ, — не трожь, молъ.

Выраженіе „бить хвостомъ" показываетъ вамъ, какъ каторга смотритъ на доносчика. Она зоветъ его *лигашемъ* или *сучкой*. Онъ передъ начальствомъ „бьетъ хвостъ". Она и обращается съ нимъ, какъ съ собакой. Накляузничать на каторжномъ языкѣ называется *лягнуть* или *свезти тачку*. А обвинить передъ начальствомъ человѣка такъ, чтобъ онъ ужъ и не выкарабкался, называется — его совсѣмъ ужъ *засыпать*.

За это каторга знаетъ одно наказаніе, которое она съ каторжнымъ юморомъ называетъ: *налить какъ богатому*, т.-е. сильно избить, бить „пока влѣзетъ", и, чтобъ человѣкъ не видѣлъ, кто его бьетъ, *накрыть темную*, т.-е. закутать ему голову халатомъ.

— Двойная польза!—объясняютъ каторжане,—и головы злѣ не прошибутъ,— живъ останется, и ужъ „налютъ как богатому": орать не будетъ.

Какъ и всѣ измученные, изстрадавшіеся, озлобленные, съ издерганными нервами люди, каторжане любятъ злить и мучить другихъ. Бѣда, если каторга, умѣющая тонко подмѣчать у людей слабости, замѣтитъ, что человѣкъ *спидчидарный*, — т.-е. его можно легко разсердить. Тогда *заскипидарить* такого человѣка, изъ него *огня добыть* — первое удовольстіе для каторги. Есть изумительныя мастера по этой части. И я только диву давался, какъ они тонко знаютъ свое начальство. Если бы начальство хоть въ сотую часть такъ знало ихъ! Скажетъ слово, кажется, самое невинное, а — глядишь, г. смотритель уже „заскипидарился“.

— Я только, чтобы по закону...

Г. смотритель краснѣетъ:

— А вотъ я тебѣ покажу законъ! Лишенный всѣхъ правъ,— а туда же разсуждать лѣзетъ и учитъ. Законникъ онъ! ты бы, мерзавецъ, лучше объ законѣ думалъ, когда грабить шелъ.

— Да мнѣ что жъ! Я только, чтобы, какъ по инструкціямъ...

Смотритель даже подпрыгиваетъ на мѣстѣ. Если бы тутъ не было „писателя“.

— Я тебѣ выпишу инструкціи! Ты учить, учить меня?!

— Зачѣмъ учить! Мнѣ только, чтобы, что по табели полагается, выдавали.

— По табели?! По табели?!

Смотритель весь побагровѣлъ.

— Да вы успокойтесь, — говорю я ему, — ну, чего вамъ волноваться! Стоитъ ли?

— Нѣтъ, какова каналья! Какъ сыплетъ: по закону, по инструкціи, по табели!..

А каторга, глядя на эту сцену,— вижу,—давится со смѣху. Смотрителя *въ пузырекъ загнали*, — на языкѣ каторги такъ называется довести человѣка до неистовства, когда онъ уже „землю роетъ“.

— Ну, зачѣмъ ты?— спрашиваю потомъ каторжанина.

— А онъ этихъ самыхъ словъ очинно не любитъ. Ему что хошь говори, — ничего. А вотъ „табели“ онъ особенно не уважаетъ!

— Да вѣдь выпороть за это можетъ.

— И очень просто!

— Ну, зачѣмъ же ты, чудакъ-человѣкъ?

— Эхъ, ваше высокоблагородіе, не понять вамъ насъ. Подѣли бы какъ мы, не стали бы спрашивать „зачѣмъ“? Зло взметъ. Сорвать хочется.

„Заскипидарить“, „огня добыть“, „въ пузырекъ загнать“— все это выраженія примѣнительно къ начальству. Это каторга сажаетъ. Задѣть, оскорбить ни за что ни про что своего

брата, это каторга презираетъ и называетъ—*укусить*. Она смотритъ на человѣка, дѣлающаго это, какъ на шальную собаку, которая кусаетъ людей ни за что, ни про что. Она презираетъ это и вѣчно этимъ занимается.

— Особачишься тутъ! — говорятъ каторжане.

Когда, повторяю, у человѣка издерганы нервы, ему доставляетъ удовольстіе дернуть за нервы другого. Я мучаюсь, — и другой пусть чувствуетъ. Страданіе — плохой отецъ состраданія.

Отъ скуки, бездѣлья и оттого, что тамъ большинство вѣдь испорченныхъ людей, — на каторгѣ страшно развита ложь. Каторга зоветъ такихъ людей *заливалами, звонарями* и *хлопушами*. Но такъ какъ этотъ недостатокъ общій, то относится къ этому добродушно. И для опредѣленія лжеца у нея есть два названія, въ которыхъ больше юмора, чѣмъ злости.

— *Прямой, какъ дуга,* — говоритъ она про такого человѣка, или опредѣляетъ его разсказы такъ:

— Ишь расписываетъ. *Семь верстъ до небесъ, и все лѣсомъ!*

Я ужъ говорилъ, что каторга презрительно относится къ тѣмъ изъ своихъ собратій, которые вылѣзли въ „начальство“: въ старосты и т. п. Такого человѣка она зоветъ *шишкой*. А для надзирателей, дѣйствительно умѣющихъ, если они захотятъ, появиться совершенно незамѣтно и накрыть арестантовъ за игрой или другимъ недозволеннымъ занятіемъ, у каторги есть остроумное названіе — *духъ*.

Я не привожу цѣлой массы менѣе типичныхъ каторжныхъ терминовъ. Но у каторги на все есть свои имена. Каторга скрытна и не любитъ, чтобъ посторонніе понимали даже ея обычные разговоры.

Она какъ будто требуетъ, чтобъ человѣкъ, невольно вступая въ ея среду, отрекся отъ всего прежняго, — даже отъ языка, которымъ онъ говорилъ „тамъ“, на волѣ.

Похлебка, по-каторжному — „баланда“.

Казенный хлѣбъ — чурекъ.

Ложка — конь.

Водка — сумасшедшая вода.

Шуба — баранъ.

Ножъ — жуликъ.

И т. д.

Очень мѣтко каторга зоветъ паспортъ, — глаза.

— Безъ „глазъ“ человѣкъ слѣпой, куда пойдетъ?

Чтобъ покончить съ языкомъ каторги, мнѣ остается только сказать о ругательствахъ каторги.

„Каторжный“, „арестантъ“, — всѣ ругательныя слова рядомъ скаго слова на каторгѣ только обычная приправа къ разговору. Но есть одно слово, за которое рѣжутъ.

Это грубое, простонародное слово, въ переводѣ на болѣе благовоспитанный языкъ означающее „кокотку“.

Это объясняется особыми условіями каторги. Но указать на то, что человѣкъ занимается этой профессіей, назвать его этимъ именемъ, — за это хватаются за ножи.

Въ Михайловской „подслѣдственной“ тюрьмѣ одинъ арестантъ, красивый молодой кавказецъ, зарѣзалъ своего товарища.

— За что?

— Онъ мнѣ одно слово говорилъ!

И не надо спрашивать, какое „слово“ тотъ ему говорилъ.

Пѣсни каторги.

Замѣчательно, — даже страшная сибирская каторга былыхъ временъ, мрачная, жестокая, создала свои пѣсни. А Сахалинъ — ничего. Пресловутое:

„Прощай Одеста,
Славный (?) карантинъ,
Меня посылаютъ
На островъ Сахалинъ“...

кажется, — единственная пѣсня, созданная сахалинской каторгой. Да и та почти совсѣмъ не поется. Даже въ сибирской каторгѣ былъ какой-то оттѣнокъ романтизма, что-то такое — что можно было выразить въ пѣснѣ. А здѣсь и этого нѣтъ. Такая ужасная проза кругомъ, что ее въ пѣснѣ не выразишь. Даже ямщики, эти исконные пѣсенники и балагуры, и тѣ молча, безъ гиканья, безъ прибаутокъ правятъ несущейся тройкой маленькихъ, но быстрыхъ сахалинскихъ лошадей. Словно на козлахъ погребальныхъ дрогъ сидитъ. Развѣ пристяжная забалуетъ, такъ прикрикнетъ:

— Н-но, ты, каторжная!

И снова молчитъ всю дорогу, какъ убитый. Не поется здѣсь.

— Въ сердцѣ скука! — говорятъ каторжане и поселенцы.

„Не поется“ на Сахалинѣ даже и вольному человѣку. Помню, — въ праздничный какой-то день изъ воротъ казармъ выходитъ солдатъ — конвойный. Урѣзалъ, видно, для праздника. Въ рукахъ гармонія и поетъ во все горло. Но, что это за пѣсня! Крикъ, вопль, стонъ какой-то. Словно вопитъ человѣкъ „отъ зубной боли въ душѣ“. Не видя, что человѣкъ „веселится“, подумать можно, что рѣжутъ кого. Да и не запоешь, когда передъ глазами тюрьма, а около нея уныло, словно тѣнь, бродитъ старый палачъ Комлевъ.

— Ты зачѣмъ пришелъ съ поселья?

— Слыхалъ, что вѣшать будутъ. Думалъ три цѣлковыхъ заработать. Безъ меня некому.

Въ тюрьмѣ поютъ рѣдко. Не по заказу. Слышалъ я разъ пѣніе въ Рыковской „кандальной".

Дѣло было подъ вечеръ. Повѣрка кончилась, арестантовъ заперли по камерамъ. Начальство разошлось. Тюремный дворъ опустѣлъ. Надзиратели прикурнули по своимъ уголкамъ. Сгущались вечернія тѣни. — Вотъ-вотъ наступитъ полная тьма. Иду тюремнымъ дворомъ,—остановился, какъ вкопанный. Что это, стонъ? Нѣтъ, поютъ.

Кандальники отъ скуки пѣли пѣсню сибирскихъ бродягъ „Милосердные"... Но что это было за пѣніе! Словно отпѣваютъ кого, словно похоронное пѣнье несется изъ кандальной тюрьмы. Словно отходную какую-то пѣла эта тюрьма, смотрѣвшая въ сумракъ своими рѣшетчатыми окнами, отходную заживо похороненнымъ въ ней людямъ. Становилось жутко...

„Славится" между арестантами, какъ пѣсенникъ, старый бродяга Шушаковъ въ селеніи Дербинскомъ, — и я отыскалъ его, думая „позаимствоваться". Но Шушаковъ не поетъ острожныхъ пѣсенъ, отзываясь о нихъ съ омерзѣніемъ.

— Этой пакостью и ротъ поганить не стану. А вотъ что знаю — спою.

Онъ поетъ теноркомъ, немного старческимъ, но еще звонкимъ. Поетъ „пригорюнившись", подпершись рукою. Поетъ пѣсни своей далекой родины, вспоминая, быть-можетъ, домъ, близкихъ, дѣтей. Онъ уходилъ съ Сахалина „бродяжить", добрался до дому, шелъ Христовымъ именемъ два года. Лѣто цѣлое прожилъ дома, съ дѣтьми, а потомъ „поймался" и вотъ ужъ 16 лѣтъ живетъ въ каторгѣ. Онъ поетъ эти грустныя, протяжныя, тоскливыя пѣсни родной деревни. И плакать хочется, слушая его пѣсни. Сердце сжимается.

— Будетъ, старикъ!

Онъ машетъ рукой:

— Эхъ, баринъ! Запоешь, и раздумаешься.

Это не человѣкъ, это — „горе поетъ"!

Но у каторги есть все-таки свои любимыя пѣсни. Все шире и шире развивающаяся грамотность въ народѣ сказывается и здѣсь, на Сахалинѣ. Словно слышишь всплескъ какого-то все шире и шире разливающагося моря. Въ каторг очень распространены „книжныя" пѣсни. Каторгѣ больш всѣхъ по душѣ нашъ истинно-народный поэтъ,—чаще другихъ вы услышите: „То не вѣтеръ вѣтку клонитъ", „Долю бѣ няка", „Вѣтку бѣдную",— все стихотворенія Кольцова.

А разъ, ѣду верхомъ, въ сторонкѣ отъ дороги мотыг поднимаетъ новь поселенецъ, потомъ обливается и поетъ

„Укажи мнѣ такую обитель“ изъ некрасовскаго параднаго подъѣзда. Поетъ, какъ и обыкновенно поютъ это, на мотивъ изъ „Лукреціи Борджіа“.

— Стой. Ты за что?

— По подозрѣнію въ грабежѣ съ убивствомъ, ваше высокоблагородіе.

— Что жъ эту пѣсню поешь? Нравится она тебѣ, что ли?

— Ничаво. Промзительно!

— А выучился-то ей гдѣ?

Поселенческій бытъ. Возникающее селеніе. Первыя постройки.

— Въ тюрьмѣ сидѣмши. Научили.

Приходилось мнѣ раза три слышать:

„Хорошо было Ванюшкѣ сыпать“ (спать) — передѣлку Некрасовскихъ „Коробейниковъ“.

— Ты что же, прочиталъ ее гдѣ, что ли? — спросилъ я пѣвшаго мнѣ сапожника Алфимова.

— Никакъ нѣтъ-съ. Въ тюрьмѣ обучился.

Изъ числа народныхъ пѣсенъ каторга рѣдко-рѣдко поетъ „Среди долины ровныя“, предпочитая этой пѣснѣ ея каторжное переложеніе:

— „Среди Данилы бревна“...

Безсмысленную и циничную пѣсню, которую, впрочемъ, къ и все, тюрьма поетъ тоже рѣдко. Любятъ больше другъ еще и малороссійскую:

„Солнце низенько
Вечеръ близенько“.

И любятъ за ея разудалый припѣвъ, который поется лихо, съ присвистомъ, гиканьемъ, постукиваніемъ въ ложки „дисциплинарныхъ“ изъ бывшихъ полковыхъ пѣсенниковъ, съ ругательными вскрикиваньями слушателей.

Почти всякій каторжанинъ знаетъ, и чаще прочихъ поется очень милая пѣсня:

„Вечеркомъ красна дѣвица
На прудокъ за стадомъ шла.
Черноброва, круглолица
Такъ гусей домой гнала:

Припѣвъ.

Тяга, тяга, тяга,—
Вы, гуськи мои, домой!

Мнѣ одной любви довольно,
Чтобы вѣкъ счастливой быть,
Но сердечку очень больно
Поневолѣ въ свѣтѣ жить.

Припѣвъ.

Не ищи меня, богатый,
Коль не милъ моей душѣ!
Что мнѣ, что твои палаты?
Съ милымъ рай и въ шалашѣ“...

Или послѣдній куплетъ варьируется такъ:

„Вмѣсто стараго, сѣдого
Буду милаго любить,
Вѣдь сердечку очень больно
Черезъ злато слезы лить!“...

Пѣсня тоже нравится изъ-за припѣва. И помню одного паренька, — онъ за какой-то глупый грабежъ, — какъ онъ пѣлъ это „тяга, тяга, тяга, тяга!“ Всѣмъ существомъ своимъ пѣлъ. Раскраснѣлся весь, глаза горятъ, на лицѣ „полное удовольствіе“: словно и впрямь видитъ знакомую, родную картину.

Очень принято и тоже чаще другихъ поется сантиментальная пѣсня:

Звѣздочка моя ночная,
Зачѣмъ до полночи горишь!
Король, король, о чемъ вздыхаешь,
Со страхомъ рѣчи говоришь?
„Красавица моя драгая,
Да полюби-ка ты меня;
Со збруей, збруей золотой
Дарю тебѣ коня“.
— Не надо мнѣ твоей златницы,
Не нуженъ мнѣ твой добрый конь,—
Отдай, отдай коня царицѣ,

Женѣ прелестной, дорогой.
А мнѣ, мнѣ, красной ты дѣвицѣ,
Верни души моей покой...
Король, съ женою разставаясь,
Дѣтей къ благословенью звалъ:
„Прощай, жена, прощайте, дѣти! —
Едва отъ слезъ онъ имъ сказалъ,—
Живите въ дружескомъ совѣтѣ,
Какъ Самъ Господь вамъ указалъ,
Не мстите зломъ за зло въ отвѣтѣ,
Платите добротой!" — сказалъ...

Эта сантиментальная пѣсня про короля, кинувшаго свое королевство изъ-за любимой дѣвушки, поется съ большимъ чувствомъ.

Но всѣ эти пѣсни поются только молодой каторгой, — и вызываютъ негодованіе стариковъ:

— Ишь, черти! Чему обрадовались!

Особенно, помнится, разбѣсила одного старика пѣсня про дѣвицу, которая „гусей домой гнала". Припѣвъ „тяга, тяга" приводилъ его прямо въ остервенѣніе.

— Начальству жалиться буду! Покоя не даете, черти! — оралъ онъ. А это угроза на каторгѣ не обычная.

— Да почему жъ тебѣ, дѣдушка, такъ эта пѣсня досадила? — спрашиваю.

— А то, что не къ чему ее играть.

И, помолчавъ, добавилъ:

— Бередитъ. Тфу!

Богъ вѣсть, какія воспоминанія бередили въ душѣ стараго бродяги эти знакомыя слова: „тяга, тяга" [1]).

Изъ спеціально тюремныхъ пѣсенъ изъ Сибири на Сахалинъ пришли немногія. Если въ тюрьмѣ есть 5—6 старыхъ „еще сибирскихъ" бродягъ, они подъ вечерокъ сойдутся, поговорятъ о „привольномъ сибирскомъ житьѣ":

— „Сибирь-матушка благая, земля тамъ злая, а народъ бѣшеный!"

И затянутъ подъ наплывомъ нахлынувшихъ воспоминаній любимую бродяжескую: „милосердные наши батюшки", — я приводилъ эту пѣсню въ статьѣ: „каторжный театръ". Поютъ, и вспоминается имъ свобода, безпредѣльная тайга, „саватѣйки", бѣшеный, но добрый сибирскій народъ. А сахалинская каторга, не знающая ни Сибири ни ея отношеній къ каторгѣ, смѣется надъ ними, надъ ихъ воспоминаніями, надъ ихъ пѣсней.

— Нешто это возможно, чтобъ чалдонъ (по нашему — обыватель) былъ къ варнаку добрый! Ни въ жисть не повѣрю! — говорилъ мнѣ одинъ, — да и не одинъ, — „сахалинецъ".

[1]) Такъ въ деревнѣ сзываютъ гусей.

Есть еще излюбленная „сибирская“ пѣсня, которую время отъ времени затягиваетъ каторга:

„Вслѣдъ за буйными вѣтрами,
Богъ защитникъ — мой покровъ,
Въ тундрахъ нѣтъ зеленой тѣни,
Нѣтъ ни солнца ни зари,
Вдругъ являются, какъ тѣни,
По утесамъ дикари.
Отъ Ангары къ устью моря
Вижу дикія скалы, —
Вдругъ являются, какъ тѣни,
По утесамъ дикари.
Дикари, скорѣй, толпою
Съ горъ несится ко мнѣ, —
Помиритеся со мною:
Я — вашъ братъ, — боюсь людей“...

Когда эту пѣсню, рожденную въ Якутской области, поетъ каторга, — отъ пѣсни вѣетъ какою-то мрачной, могучею силой. Сколько разъ я жалѣлъ, что не могу записать мотивовъ этихъ пѣсенъ!

Интересно было бы записать напѣвъ и этой, когда-то любимой, а теперь умирающей каторжной пѣсни:

„Идетъ онъ усталый, и цѣпи гремятъ,
Закованы руки и ноги.
Покойный и грустный онъ взглядъ устремилъ
По долгой, пустынной дорогѣ...
Полдневное солнце безщадно палитъ,
Дышать ему трудно отъ боли,
И каплетъ по каплѣ горячая кровь
Изъ ранъ, растравленныхъ цѣпями...“

Эта пѣсня, — отголосокъ теперь упраздняемыхъ „этаповъ“.

И пѣла мнѣ каторга свою страшную пѣснь, которую я назвалъ бы „гимномъ каторги“. Что за заунывный, какъ стонъ осенняго вѣтра, мотивъ. Всю душу, истомившуюся тоскою по родинѣ, вложила каторга въ этотъ напѣвъ. И когда вы слышите эту пѣснь, вы слышите душу каторги.

„Посреди палатъ каменныхъ, ты подай, подай!
Ты подай вѣсточку въ Москву каменную,
Въ Москву каменну, бѣлокаменну...
Ты воспой, воспой, жавороночекъ,
Ты воспой, воспой! Ты воспой, воспой
Про ту горькую, да неволюшку.
Кабы вѣсть подать да отцу разсказать
Про то, что со мною случилося
На чужой на той сторонушкѣ..
Я не воръ вѣдь былъ, не убивецъ,
Но послали меня, добра молодца, —
Попровѣдать каторги, распроклятой долюшки.

На чужой на той сторонушкѣ—
Больно тяжко вѣдь жить!
Эхъ, невѣста моя!.. А ты, матушка!
Позабыла меня, — словно сгинулъ я.
Но вѣдь будетъ пора, — и вернусь снова я
За всѣ бѣды и зло ужъ я вамъ отплачу,
Будетъ время, вернусь...
Ты о томъ подай, жаворонночекъ,
Подай вѣсточку, — ты подай, подай!..“

Мнѣ пѣли ее въ тюрьмѣ подъ вечеръ, послѣ повѣрки. Пѣли всѣ. Здоровый парень, сидя на нарахъ и глядя куда-то вверхъ, покрывалъ хоръ своимъ заливнымъ теноромъ и уныло выводилъ про жавороночка, пѣлъ про обиду и месть, словно мечталъ вслухъ. А изъ темныхъ угловъ неслось это надрывающее душу:

— Ты, подай, подай...

Унылое, безнадежное. Горло себѣ перерѣзать можно, слушая такое пѣніе.

Но всѣ эти пѣсни, въ Сибири рожденныя, на Сахалинъ привезенныя, какъ я уже говорилъ, — не любитъ каторга. Онѣ „бередятъ“. И если ужъ пѣть, — она предпочитаетъ другія, — „веселыя“. Ихъ нельзя передать въ печати. И что это за пѣсни! Это даже не цинизмъ... Это совсѣмъ ужъ — чортъ знаетъ что: безсмысленнѣйшій наборъ словъ, изъ сочетанія которыхъ выходитъ что-то похожее на неприличныя слова.

Вотъ вамъ что поетъ каторга. Говорятъ, что пѣсня — это „душа народа“. И каторга поетъ пѣсни, отъ которыхъ то вѣетъ сантиментальностью, этимъ „суррогатомъ чувства“, который часто замѣняетъ у людей чувство, то вѣчно ноющей раной — тоскою по родинѣ, то злобой, то пережитыми страданіями, то напускнымъ „куражемъ“, то цинизмомъ и каторжной „оголтѣлостью“.

А чаще всего каторга молчитъ.

Каторга и религія.

На Сахалинѣ одиннадцать церквей, но религіозна ли каторга?

Мнѣ вспоминается такая картина.

Свѣтлый праздникъ. Ясная, холодная, чуть-чуть морозная ночь. Владивостокъ то тамъ, то здѣсь, словно вспыхнулъ,—иллюминованы церкви. Налѣво отъ насъ огнями сіяетъ „Петербургъ“. Нѣсколько подальше гигантъ „Екатеринославъ“ кажется какимъ-то призрачнымъ кораблемъ, сотканнымъ изъ свѣта.

— „Христосъ Воскресе!“ — несется надъ тихимъ рейдомъ. Небо такъ бездонно. Звѣзды такъ ярко горятъ.

На нашемъ „Ярославлѣ“ радостное оживленіе. Изъ каютъ-компаніи доносится стукъ посуды,—приготовляютъ разговляться.

По палубѣ мигаютъ свѣчки конвойныхъ и команды. Нашъ батюшка сіяетъ. Мы цѣлуемся другъ съ другомъ особенно сердечно. Словно дѣйствительно стали другъ къ другу ближе, роднѣе. Какъ-то особенно чувствуется въ эту ночь, вдали отъ дома, отъ близкихъ...

И только тамъ, въ трюмѣ, тихо какъ въ могилѣ. Среди радостнаго ропота „воистину воскресе", батюшка идетъ кропить святой водой палубу. Мы проходимъ мимо „особыхъ мѣстъ", выходящихъ на палубу. Я заглядываю въ иллюминаторъ. Тамъ нѣсколько человѣкъ. Хотя бы кто всталъ, пошевелился при пѣніи проходящихъ мимо пѣвчихъ, когда въ иллюминаторъ виденъ священникъ съ крестомъ.

Мнѣ особенно запомнилось лицо одного старосты отдѣленія, „обратника". Я словно сейчасъ вижу передъ собой это лицо. Онъ смотритъ на проходящую мимо процессію и—ничего, кромѣ спокойнаго равнодушія.

— Ишь, молъ, сколько ихъ.

Онъ даже не перекрестился, когда, проходя мимо, ему чуть не въ лицо запѣли „Христосъ Воскресе".

Такъ встрѣтить Пасху, — сердце невольно сжимается.

— Будетъ батюшка обходить арестантскія отдѣленія? — спрашиваю я у старшаго офицера.

Черезъ полчаса онъ подходитъ ко мнѣ. У него какой смущенный видъ:

— Знаете, я думалъ просить батюшку обойти отдѣленія... Пошелъ, а они всѣ спятъ.

Спать тихо и мирно въ такую ночь. И это послѣ тѣхъ душу переворачивающихъ сценъ, которыя я видѣлъ во время исповѣди еще мѣсяцъ тому назадъ. Но въ томъ-то и дѣло, что въ каторгѣ человѣкъ съ каждымъ днемъ сердцемъ крѣпчаетъ, — какъ объяснилъ мнѣ одинъ каторжанинъ-сектантъ.

Англійскій миссіонеръ, членъ библейскаго общества, посѣтивши сахалинскія тюрьмы, раздавалъ каторжанамъ молитвенники. Очередь дошла до стараго каторжанина П. Онъ въ высшей степени вѣжливо и почтительно поклонился миссіонеру и, отдавая назадъ книгу, холодно и вѣжливо сказалъ переводчику:

— Скажите господину, чтобъ онъ отдалъ книгу кому-нибудь другому: я не курю [1]).

Большинство каторги — атеисты. И если кто-нибудь из каторжниковъ вздумаетъ молиться въ тюрьмѣ,—это вызываетъ общія насмѣшки. Каторга считаетъ это „слабостью", а слабос она презираетъ.

[1]) Т.-е. мнѣ не нужна бумага для «цыгарокъ».

Какъ они доходятъ до отрицанія. Одни — своимъ умомъ.

— Вы вѣрите въ Бога?—спросилъ я Паклина, убійцу архимандрита въ Ростовѣ.

— Нѣтъ. Всякій за себя, — отвѣчалъ онъ мнѣ кратко и просто.

Полуляховъ, убійца Арцимовичей въ Луганскѣ, относился, по его словамъ, съ большой симпатіей къ людямъ религіознымъ, „любилъ ихъ“.

— Ну, а сами вы?

— Я по Дарвину.

— Да вы читали Дарвина?

— Потомъ ужъ, послѣ убійства, случалось.

Изъ разговоровъ съ нимъ можно было видѣть, что онъ Дарвина, дѣйствительно, читалъ, хотя и понялъ его чрезвычайно своеобразно, „по-своему“.

— Гдѣ же Дарвинъ отрицаетъ существованіе Бога.

— Такъ. Жизнь, по-моему, это борьба за существованіе.

„Борьба за существованіе“, понятая грубо, совсѣмъ позвѣриному, — вотъ ихъ религія.

Нѣкоторыя дошли до отрицанія, такъ сказать, путемъ опыта.

— Вздоръ все это, — съ улыбкой говорилъ мнѣ одинъ каторжанинъ, — я видалъ, какъ люди умираютъ...

А онъ имѣлъ право это сказать: онъ, дѣйствительно, „видалъ“.

— Меня самого „это“ интересовало. Я нарочно убивалъ и собакъ. Одинаково умираютъ. Никакой разницы. Смотришь, что ему въ это время нужно, чтобъ пришибить его только поскорѣе, чтобъ не мучился.

Какъ доходятъ въ каторгѣ не только до отрицанія, — до ненависти къ религіи, ненависти, высказывающейся въ невѣроятныхъ.

— Въ этакомъ-то болотѣ не трудно потеряться,—говорилъ мнѣ въ Корсаковскомъ округѣ одесскій убійца Шапошниковъ въ одну изъ тѣхъ минутъ, когда ему приходила охота говорить здраво и не юродствовать.

Мнѣ вспоминается одинъ каторжанинъ. Онъ трактирщикъ изъ Вологодской губерніи. Въ его „заведеніи“ случилась драка между двумя компаніями. Онъ принялъ сторону одной изъ нихъ и кричалъ:

— Бей хорошенько.

Въ результатѣ — одинъ убитый, и его обвинили въ подговорѣ къ убійству. Говоря о своемъ разрушенномъ благосостояніи, о своей покинутой семьѣ, о томъ, что ему пришлось и приходится терпѣть на каторгѣ,— онъ весь дрожалъ и началъ говорить такія вещи, что я его остановилъ:

— Что ты! Что ты! Что говоришь? Бога побойся? Вѣдь ты христіанинъ.

Несчастный схватился за голову:

— Баринъ, баринъ, ума я здѣсь рѣшаюсь.

Мнѣ вспоминается одна сцена, разыгравшаяся передъ поркой. „Наказанію подлежалъ“ безсрочный каторжанинъ Ѳедотовъ, 58 лѣтъ. Онъ сосланъ на Сахалинъ за разбой. Бѣжалъ, разбойничалъ въ Корсаковскомъ округѣ въ шайкѣ бѣглыхъ, убилъ, защищаясь при поимкѣ, — крестьянина. Затѣмъ вмѣстѣ съ однимъ бывшимъ инженеръ-технологомъ былъ пойманъ въ поддѣлкѣ пятирублевыхъ ассигнацій и, наконецъ, укралъ изъ церкви ножичекъ.

— Богъ меня изъ огорода выгналъ, красть у него сталъ. Съ тѣхъ поръ безъ Бога и хожу, — съ грустной улыбкой объяснилъ мнѣ Ѳедотовъ.

За свои три преступленія Ѳедотовъ получилъ три раза по сту плетей и былъ три года прикованъ къ тачкѣ. Теперь у него развился сильнѣйшій порокъ сердца. Онъ еле ходитъ, еле дышитъ. Страдаетъ по временамъ сильными головокруженіями и психически ненормаленъ: его подозрительность граничитъ прямо съ бредомъ преслѣдованія. Во время припадковъ головокруженія онъ кидается съ ножомъ на докторовъ и на начальство. Въ обыкновенное же время это — очень тихій, кроткій, добрый человѣкъ, слабый и крайне болѣзненный.

Преступленіе, за которое онъ подлежалъ наказанію на этотъ разъ, заключалось въ слѣдующемъ. Боясь, что въ Рыковскомъ докторъ лѣчитъ его не „какъ слѣдуетъ“, — Ѳедотовъ безъ спроса ушелъ въ Александровское къ доктору Поддубскому, которому вся каторга вѣритъ безусловно. За побѣгъ онъ и былъ присужденъ къ 80 плетямъ. Еще не подозрѣвая, что мнѣ придется передъ вечеромъ встрѣтиться съ Ѳедотовымъ при такой страшной обстановкѣ, я бесѣдовалъ съ нимъ. Онъ подошелъ ко мнѣ съ письмомъ.

— Отъ кого письмо?

— Собственно отъ меня.

— Зачѣмъ же писать было?

— Не зналъ, будете ли съ такимъ, какъ я, говорить. Да и высказать мнѣ все трудно, — задыхаюсь. Видите, какъ говорю.

Въ письмѣ Ѳедотовъ „считалъ своимъ долгомъ“ извѣстить меня, что каторга относится къ моей любознательности с большимъ сочувствіемъ, просилъ меня „никому не вѣрить“ и каторги не бояться: „кто къ намъ человѣкъ, къ тому и мы звѣри“. И въ заключеніе выражалъ надежду, что мое посѣщеніе принесетъ такую же пользу, какъ и посѣщеніе „господи доктора Чехова“.

И вотъ въ тотъ же день мы встрѣтились съ Ѳедотовымъ при такихъ обстоятельствахъ.

Въ числѣ другихъ „подлежавшихъ наказанію“ былъ приведенъ въ канцелярію и ничего не подозрѣвавшій Ѳедотовъ. Въ сторонкѣ скромно стоялъ палачъ Хрусцель со своими „инструментами“, завернутыми въ чистую холстину, подъ мышкой. Около дверей съ испуганными, растерянными лицами толпились „подлежавшіе наказанію“.

Я съ докторомъ и помощникомъ смотрителя сидѣлъ у присутственнаго стола.

— Ѳедотовъ!

Ѳедотовъ съ тѣмъ же недоумѣвающимъ видомъ подошелъ къ столу своей колеблющейся походкой слабаго человѣка.

— Зачѣмъ меня, ваше высокоблагородіе, изволили спрашивать?

— А вотъ сейчасъ узнаешь. Встаньте, пожалуйста: приговоръ, — обратился ко мнѣ помощникъ смотрителя и началъ скороговоркой „вычитывать“ приговоръ:

— Принимая во вниманіе... признавая виновнымъ... 80 плетей...

Чѣмъ далѣе читалъ помощникъ смотрителя приговоръ, тѣмъ сильнѣе и сильнѣе дрожалъ всѣмъ тѣломъ Ѳедотовъ. Онъ стоялъ, держась рукою за сердце, блѣдный какъ полотно, и только растерянно бормоталъ:

— За отлучку-то... за то, что къ доктору сходилъ.

И когда кончили читать приговоръ, и мы всѣ сѣли, онъ, удивленно посмотрѣвъ на насъ всѣхъ съ величайшимъ недоумѣніемъ, сказалъ:

— Вотъ такъ Богъ. Значитъ, пусть отнимаютъ жизнь...

Сказалъ, шагнувъ впередъ, и вдругъ все лицо его исказилось. Его забило, затрясло. Вырвался страшный крикъ.

И посыпался цѣлый рядъ такихъ кощунствъ, такихъ страшныхъ богохульствъ, что, дѣйствительно, жутко было слушать. Ѳедотовъ рвалъ на себѣ волосы, одежду, шатаясь ходилъ по всей канцеляріи, ударялся головой объ стѣны, о косяки дверей, и вопилъ не своимъ голосомъ:

Рѣжьте, душите, бейте меня. Хрусцель, пей мою кровь... Надзиратель, убей меня...

Онъ кидался на надзирателей, разрывая на себѣ рубашку и обнажая грудь:

— Убейте. Убейте.

И пересыпалъ все это такими богохульствами, какихъ я никогда не слыхивалъ и, конечно, никогда ужъ больше не услышу. Трудно себѣ представить, что человѣческій языкъ могъ повернуться сказать такія вещи, какія выкрикивалъ этотъ бившійся въ припадкѣ человѣкъ.

Становилось трудно дышать. Докторъ былъ весь блѣдный и трясся. Перепуганный помощникъ смотрителя кричалъ:

— Выведите его. Выведите его.

Ѳедотова схватили подъ руки. Онъ вырывался, но его вытащили, почти выволокли изъ канцеляріи. Теперь его вопли слышались со двора.

— Да развѣ его будутъ наказывать съ порокомъ сердца? — спросилъ я.

— Кто его станетъ наказывать. Развѣ его можно наказывать, — говорилъ дрожащій докторъ.

— Такъ зачѣмъ же вся эта исторія? Для чего? Что жъ прямо было не успокоить его, не сказать впередъ, что наказаніе приводиться въ исполненіе не будетъ, что это только формальность — чтеніе приговора? Вѣдь онъ больной.

— Нельзя-съ, порядокъ, — бормоталъ юноша, помощникъ смотрителя.

Вотъ, быть-можетъ, одна изъ тѣхъ минутъ, когда гаснетъ вѣра, — и злоба, одна злоба на все, просыпается въ душѣ.

— Какой я есть православный христіанинъ,— часто приходилось мнѣ слышать отъ каторжанъ, — когда я и у исповѣди, святого причастія не бываю.

Многіе просто отвыкаютъ отъ религіи.

— Просто силкомъ приходится гонять, — жалуются и священники и смотрители.

Обыкновенно же, это уклоненіе имѣетъ своимъ источникомъ глубоко-религіозное чувство.

— Нешто тутъ говѣніе,—говорятъ каторжане.—изъ церкви придешь, а кругомъ пьянство, игра, ругня. Лобъ перекрестишь, гогочутъ, сквернословятъ. Исповѣдуешься — придешь, — ругаться. До причастія-то такъ напоганишься,—ну, и нейдешь. Такъ годъ за годъ и отвыкаешь.

И сколько истинно глубоко-религіозныхъ людей „отвыкаетъ“. Говоришь съ нимъ, слушаешь и диву даешься: „Да неужели все это люди изъ „простой“, вѣрящей, религіозной среды“.

— Помилуйте, гдѣ жъ тутъ, какому тутъ уваженію къ религіи быть,—говорилъ мнѣ одинъ изъ священнослужителей въ селеніи Рыковскомъ, — еще недавно у насъ покойниковъ голыхъ хоронили.

— Какъ такъ?

Такъ. Принесутъ въ гробу голаго, и отпѣваемъ. Соблазнъ.

— А гдѣ жъ одежда арестантская?

— Спросите... Не похороны, а смѣхъ.

Большой ударъ религіозному чувству каторги, наносятъ эти „незаконныя сожительства“, отдачи каторжницъ поселен

цамъ, практикуемыя „въ интересахъ колонизаціи“. Одно изъ величайшихъ таинствъ, на которое въ нашемъ народѣ смотрятъ съ особымъ почтеніемъ, профанируется въ глазахъ каторги этими „отдачами“.

— Чего ужъ тутъ молиться,—услышите вы очень часто,— чего тутъ въ церковь ходить. Въ этакомъ грѣхѣ живемъ. У нея вонъ въ Рассеѣ мужъ живъ, а ее чужому мужику даютъ: живи!

Или:

— Мужъ въ каторгѣ въ Корсаковскомъ, а жену въ Александровское: съ чужимъ живи.

Помню „ахи“ и „охи“, какіе возбудило въ Рыковскомъ прибытіе Горошко—мужа, добровольно послѣдовавшаго въ каторгу за женой:

— Ну, дѣла,—качали головой поселенцы,—за ней мужъ изъ Рассеи добровольно идетъ, а ее здѣсь тѣмъ временемъ тремъ мужикамъ поперемѣнкамъ отдавали.

Бракъ потерялъ въ глазахъ каторги значеніе таинства; изрѣдка, очень-очень изрѣдка услышишь очень робкій вздохъ сожительницы-каторжанки:

— Оно хорошо бы повѣнчаться. Вѣнчаннымъ-то на что лучше.

Но большинство, но всѣ—разсуждаютъ такъ:

— Не „крученымъ“ не въ примѣръ лучше. Не ндравится, смѣнилъ. Ровно портянку.

— Развѣ здѣсь заботятся о поддержкѣ религіознаго чувства среди каторжныхъ,—жалуются священники.

Каторжникъ считается „человѣкомъ отпѣтымъ“. И всякое человѣческое чувство считается ему чуждымъ.

— Это все нѣжности, сантиментальности и одна гуманность,—говорятъ гг. сахалинскіе служащіе.

Каторжные, только разряда исправляющихся, освобождаются отъ работъ въ послѣдніе три дня Страстной недѣли. Но частному предпринимателю Маеву, въ посту Дуэ [1]), понадобилось чтобъ каторжане работали и эти три дня. Равнодушная ко всему, каторга махнула рукой и пошла. Это незаконное распоряженіе остановилъ только священникъ въ Дуэ. Онъ вышелъ навстрѣчу къ рабочимъ, шедшимъ въ рудники, съ крестомъ въ рукахъ,—это было въ Страстную пятницу. Каторга „опамятовалась“ и вернулась въ тюрьму.

Старики Дербинской каторжной богадѣльни, эти страшные старики,—нищіе, которые все на свѣтѣ презираютъ, кромѣ денегъ, жаловались мнѣ, что они:

[1]) Общество каменноугольныхъ копей «Сахалинъ». Г. Маеву даютъ по контракту за ничтожную плату каторжныхъ для работъ въ рудники, но въ сущности въ крѣпостное право; по желанію, онъ посылаетъ рабочаго или въ рудники, или беретъ къ себѣ въ дворню: поваромъ, кучеромъ.

Священника-то даже и въ глаза не видятъ. На Пасху и то не былъ.

А Дербенскій священникъ говорилъ мнѣ:

— Я ходилъ и велъ съ ними собесѣдованія, но пересталъ: они не умѣютъ себя вести. Тутъ читаешь, ведешь бесѣду, а въ другомъ углу во все горло ругаются между собою площадными словами. Смѣются. Я и прекратилъ свою дѣятельность.

Мнѣ, наоборотъ, казалось бы, что тутъ-то и слѣдуетъ ее усилить.

Но батюшка только посмотрѣлъ на меня съ изумленіемъ.

Въ библіотекѣ Александровскаго лазарета я нашелъ предназначенныя для духовно-нравственнаго чтенія каторжанамъ слѣдующія книги:

16 экземпляровъ брошюры „О томъ, что ереученія графа Л. Толстого разрушаютъ основы общественнаго и государственнаго порядка“.

21 экземпляръ брошюры „О поминовеніи раба Божія Александра“ (поэта Пушкина).

4 экземпляра „Поученія о вегетаріанствѣ“.

14 экземпляровъ брошюры „О театральныхъ зрѣлищахъ Великимъ постомъ“.

Конечно, это играетъ огромную роль: эти брошюры о „Толстомъ“, о существованіи котораго они и не подозрѣваютъ, о вегетаріанствѣ, о которомъ они никогда и не слыхивали, и особенно — „о театральныхъ зрѣлищахъ Великимъ постомъ“.

И въ то же самое время въ этой библіотекѣ на Сахалинѣ, такъ хорошо вооруженной противъ театральныхъ зрѣлищъ, имѣется для раздачи каторжнымъ всего 5 экземпляровъ „Новаго завѣта“ и только 2 экземпляра „Страстей Христовыхъ“.

Вотъ и все.

Сектанты о. Сахалина.

I.

Когда кандальниковъ за убійство запираютъ „на парашу“, т.-е. безвыходно, они развлекаются игрой въ „страпію“, представляющую собою гнуснѣйшую и циничнѣйшую пародію на богослуженіе.

О. благочинный, священникъ собора въ посту Александровскомъ, разсказывалъ мнѣ, какъ онъ приготовлялъ къ смерти троихъ, приговоренныхъ къ повѣшенію.

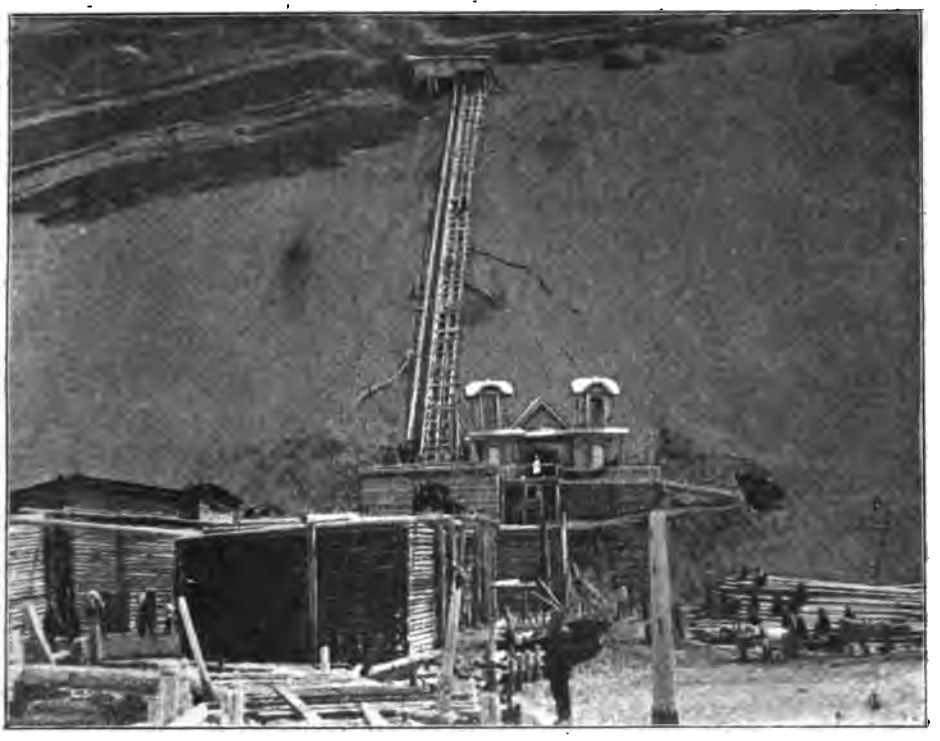
Три дня и три ночи пробылъ я съ ними. Не выпускали они меня отъ себя. У нихъ и спалъ. Забудешься съ полчасика, а потомъ опять будятъ: „Батя, вставай“, — молиться и

священное Писаніе читать. Все о будущей жизни бесѣдовали. Это съ двоими, а третій, старикъ, тотъ все надъ нами хохоталъ. Ругался. „Спать только мѣшаете“. Мы запоемъ, — а онъ: „Веселенькое бы что спѣли!“ И такъ кощунствовалъ предъ лицомъ смерти, такъ кощунствовалъ. Нераскаянный и померъ.

А этотъ старикъ былъ простой русскій крестьянинъ.

— Въ Бога не вѣрятъ! — съ ужасомъ жалуются краткосрочные.

— Изъ десяти девять — атеисты! — говорятъ болѣе интеллигентные каторжане, особенно, кто подольше здѣсь поживетъ.



Старый рудникъ въ Дуэ.

Но вѣдь все это простой русскій народъ — „къ Богу привычный“, должна же религіозность прорваться, въ видѣ протеста, прорваться ярко, страстно, горячо, фанатически.

И она прорвалась.

Въ селеніи Рыковскомъ и окрестныхъ возникла секта „православно вѣрующихъ христіанъ“. Секта эта, ниоткуда не занесенная, чисто сахалинскаго происхожденія. И возникла она, быть-можетъ, именно, какъ невольный протестъ противъ атеизма каторги. Два года тому назадъ, когда я былъ на Сахалинѣ, сахалинскіе „православные христіане“ претерпѣвали „гоненіе“, что еще болѣе закаляло ихъ въ сектантской вѣрѣ.

На мой вопросъ, что это за секта, — священникъ села Дербенскаго, „воздвигшій на нихъ гоненіе“, очень оригинальный сахалинскій батюшка, изъ бурятъ, — отвѣчалъ мнѣ:

Молокане.

А отъ самихъ сектантовъ я слышалъ:

— Христосъ — есть камень, о Который разбиваются невѣрующіе, — къ примѣру сказать, хоть молокане.

Секта странная, какъ странна ея родина, какъ необычайны люди, ее основавшіе.

Батюшка изъ бурятъ, богословски, по его словамъ, „особенно не образованный“, не особый знатокъ въ опредѣленіи сектъ.

Онъ и „гоненіе воздвигъ“, т.-е. началъ дѣло о молоканахъ, послѣ того, какъ потерпѣлъ крушеніе на мирномъ пути. Прослышавъ о появленіи сектантовъ, онъ устроилъ съ ними собесѣдованія, — но сектантъ Галактіоновъ, Писаніе знающій, дѣйствительно какъ таблицу умноженія, началъ „предерзко засыпать батюшку ложно толкуемыми текстами“. Собесѣдованія эти были такъ „соблазнительны“, что священникъ ихъ прекратилъ и нашелъ, что секта, съ которой онъ борется, не простая, а „опасная“.

А опасная секта, это, по мнѣнію батюшки, — молоканство.

И вотъ страстные сектанты ждали, дождаться не могли „гоненій“ за то, что они исповѣдуютъ будто бы молоканство. Имъ страстно хотѣлось именно „неправеднаго гоненія“:

— Пусть ижденутъ насъ за напраслину!

И они готовились къ этому гоненію за напраслину радостно, какъ къ мученичеству.

Сахалинская секта „православныхъ христіанъ“, еще разъ повторяю, секта странная, — въ ней всего есть: и молоканства, и духоборчества, есть нѣсколько и хлыстовщины.

Хотя у этой секты и есть „Іисусъ Христосъ“, — но главою ея, истинной душою слѣдуетъ считать „апостола Павла“ — Галактіонова.

II.

Легкимъ, широкимъ шагомъ, позванивая на ходу желѣзнымъ посошкомъ, идетъ по дорогѣ Галактіоновъ.

Зажиточный поселенецъ, онъ одѣтъ, какъ прасолъ, въ пиджакѣ, въ длинныхъ сапогахъ. Длинные свѣтлые волосы падаютъ на плечи. Бѣлокурая бородка. Взглядъ голубыхъ глазъ ясный и открытый. На лицѣ вдохновенная дума.

Можетъ-быть, въ эту минуту стихи сочиняетъ.

У Галактіонова около 200 стихотвореній. И стихи онъ любитъ сочинять „жалостные“.

— Чтобъ пѣть можно было.

Арестантскія работы. Партія каторжныхъ у входа въ рудники.

Для примѣра приведу одно:

Я ошибкой роковою
Какъ-то въ каторгу попалъ,
Уже сколько, я не скрою,
Наказанья я принялъ:
Розги, плети, даже кнутъ
Часто рвали мою плоть, —
Ужъ душа ли — что на свѣтѣ? —
Позабылъ меня Господь.

Остальныя стихотворенія въ томъ же родѣ.

Галактіонову лѣтъ подъ сорокъ. Но онъ „старый сектантъ". Сектантъ въ третьемъ, быть-можетъ, въ четвертомъ поколѣніи. Какъ попали его прадѣды въ Томскую губернію, онъ не знаетъ, но дѣды его въ 1819 году были сосланы изъ Томской губерніи „отъ Туруханска по Енисею за 400 верстъ". Родители три раза судились за духоборство.

Галактіоновъ родился „неспроста, а для большого дѣла". Пророкъ Григорьюшка Шведовъ за три года предсказалъ его рожденье и объявилъ, что будетъ жить въ немъ. Когда пришла смерть, Григорьюшка собралъ всѣхъ, всталъ, поклонился:

— Ну, теперь до свиданья всѣ!

И умеръ.

— Съ тѣхъ поръ я началъ жить.

— А помнишь ты, Галактіоновъ, какъ ты Григорьюшкой Шведовымъ на свѣтѣ жилъ?

— Для чего не помнить! Все помню.

И Галактіоновъ начинаетъ разсказывать то, что онъ, вѣроятно, слышалъ въ дѣтствѣ отъ старшихъ о пророкѣ, но относительно чего увѣровалъ, что это было все съ нимъ.

Предназначенный съ дѣтства „для большого дѣла", онъ жилъ, погруженный въ изученіе Писанія, которое надо знать:

— Вотъ какъ вы табель умноженія знаете. Ночью васъ спросить: „пятью пять, сколько?" — вы отвѣтите. Такъ и я всякое мѣсто Писанія знать долженъ.

Сектантское увлеченіе довело Галактіонова до галлюцинацій. При встрѣчѣ съ духовными лицами онъ видѣлъ ихъ въ образѣ дьявола. Отсюда оскорбленія и — ссылки. У Галактіонова была своя „заимка", небольшіе золотые пріиски, — его ихъ лишили и сослали въ Камчатку. Изъ Камчатки сослали, съ лишеніемъ всѣхъ правъ, на поселеніе на Сахалинъ, какъ значится въ статейномъ спискѣ, „за порицаніе православной вѣры и Церкви".

На Сахалинѣ Галактіонова сразу не взлюбили всѣ.

— Если бъ я сказалъ: „пойдемъ и обворуемъ", — меня бы полюбили всѣ!

Арестантскія работы. У входа въ рудники.

А Галактіоновъ занимался тѣмъ, что садился на завалинку, всякаго прохожаго останавливалъ и поучалъ текстами.

Предназначенный отъ рожденія къ „большому дѣлу“, онъ на Сахалинѣ, среди населенія порочнаго и падшаго, превратился въ обличителя.

— Передо мною живой человѣкъ, словно рыба, вынутая на песокъ, трепыхается и бьется, — а я его текстами, текстами!

Отправляясь на завалинку, Галактіоновъ говорилъ себѣ:

— Возьму кинжалъ, повѣшу его на бедро. Сегодня я долженъ убить нѣсколько человѣкъ.

— Тутъ и такъ-то человѣку дышать нечѣмъ. А я его текстомъ рѣжу.

— На буквѣ я какъ на тронѣ сидѣлъ, и буквой какъ мечомъ убивалъ! — говоритъ про себя Галактіоновъ.

— И гналъ я человѣка, аки Савлъ!

— Люди и такъ въ потемкахъ бродили, а я имъ своими толкованіями тьму еще темнѣе дѣлалъ. Это все равно, что пришелъ бы къ человѣку болящему докторъ ученый и разсказалъ бы ему все подробно, что за болѣзнь, и что отъ болѣзни будетъ. И, духу лишивши, хладно бы отвернулся и спокойно бы ушелъ.

Недовольство обличителемъ все росло и росло.

И въ это самое время до Галактіонова стали доходить слухи о живущемъ въ селеніи Рыковскомъ ссыльно-поселенцѣ Тихонѣ Бѣлоножкинѣ, который всѣмъ помогаетъ и никого не осуждаетъ.

Отношеніе Тихона Бѣлоножкина къ преступникамъ, дѣйствительно, — преудивительное.

Два года тому назадъ, грозой Сахалина былъ бѣглый тачечникъ Широколобовъ. Убійца-извергъ, привезенный на Сахалинъ изъ Забайкалья прикованнымъ къ мачтѣ парохода. Когда Широколобовъ бѣжалъ, весь Сахалинъ только и думалъ:

— Хоть бы его убили!

Широколобова боялись и ненавидѣли всѣ, а Тихонъ Бѣлоножкинъ — самъ ему у себя пріютъ предложилъ. Широколобовъ даже диву дался.

— Мнѣ?

— Дѣла твои я осудилъ, а не тебя. Дѣла твои дурныя, — а кто въ томъ повиненъ, что ты ихъ дѣлалъ, — про то намъ неизвѣстно.

И цѣлую ночь, по словамъ Галактіонова, Широколобов провозился да просопѣлъ въ подполье.

— Заснуть не могъ, себя было жаль. Самъ потомъ гово рилъ, что такъ думалъ: „долженъ я теперь бѣчь и убивать грабить, — а что мнѣ иначе-то дѣлать?“ А утромъ ушелъ никого не тронулъ, съ Тихономъ, какъ съ братомъ, простился

Такое отношеніе къ преступленію и преступникамъ Тихона Бѣлоножкина производило сильное впетатлѣніе, и вѣсти о Вѣлоножкинѣ дошли до Галактіонова какъ разъ въ то время, когда озлобленіе окружающихъ противъ обличителя достигло крайнихъ предѣловъ.

— Началъ я въ тѣ поры колебаться. Проповѣдую, — а вижу: озлобленіе мною въ міръ входитъ.

И заинтересовалъ Галактіонова Тихонъ. Пошелъ.

— До трехъ разъ къ нему ходилъ. До воротъ дворца доходилъ, а во дворецъ не заходилъ. Раздумывалъ. „Какъ, молъ, такъ, съ дѣтства все Писаніе знаю и все, что говорю, — по текстамъ. Чему жъ меня можетъ мужикъ сиволапый научить?“ И ворочался.

А въ третій разъ зашелъ.

— Засталъ четвертыхъ. И сразу, никогда не видавши, его узналъ. Поклонился, говорю: „здравствуйте“. А онъ мнѣ: „Я тебя ждалъ. Видѣли мы всѣ звѣзду яркую, подошедшую къ солнцу“. — „А сколько, — спрашиваю, — разъ звѣзда къ солнцу подходила?“ — „До трехъ разъ“. Тутъ я и затрясся. „Три раза, — говорю, — я къ тебѣ ходилъ“. А Тихонъ смѣется такъ радостно: „И это, — говоритъ, — я знаю“. Тутъ я ему про свои колебанія и началъ. И пошелъ и пошелъ. А онъ все смотритъ, радостно смѣется: „Писанье, — говоритъ, — что о Христѣ писано, все знаешь. Чего жъ теперь-то тебѣ нужно?“ — „Христа, — говорю, — ищу“. — „Ну, и ищи. Найдешь“. Тутъ я ему въ ноги палъ: „Помилуй“. Лежу, а надо мной голосъ, да такой милый: „Раньше, — говоритъ, — ходилъ ты, Савлъ, по буквѣ разящей, а теперь будешь ходить, Павелъ, по буквѣ животворящей“. Заплакалъ я, бьюсь какъ рыба у ногъ, а онъ меня поднимаетъ да цѣлуетъ, цѣлуетъ. Заглянулъ я къ нему въ очи. Очи — какъ окна, заглянулъ въ горницу, а тамъ такъ мило. И увидалъ я, какъ въ горницѣ у него мило, — скудость-то я своей горницы позналъ, — что украшалъ ее гробами великолѣпными. А у него-то въ горницѣ все живое.

„Горницей“ Галактіоновъ называетъ, конечно, душу.

— И увидавъ, что у него-то въ горницѣ все живое, а у меня гробы великолѣпные, заплакалъ я. А онъ-то все меня цѣлуетъ: „Не плачь! Теперь ты человѣкъ живой“. Говоритъ: „не плачь“ — а самъ въ три ручья плачетъ. Я и спрашиваю: „Какъ же ты мнѣ велишь радоваться, а самъ плачешь?“ — „Это ничего, — говоритъ, — я за всѣхъ долженъ плакать, а ты не плачь“. Тутъ-то я и понялъ въ конецъ.

— Что понялъ?

— Кто есть Тихонъ Бѣлоножкинъ.

— Кто же?

— Іисусъ.

— Ну, слушай, Галактіоновъ, вѣдь ты же человѣкъ ученый...

— Премудрость! — съ улыбкой перебилъ Галактіоновъ.

— Ты же знаешь, что Іисусъ Христосъ жилъ земной жизнью 18 сотъ лѣтъ тому назадъ.

— И теперь живетъ.

— Какъ такъ?

— А развѣ можетъ когда безъ Христа быть? Тогда Христосъ за грѣхи людскіе пострадалъ. А новые все накапливаются. За нихъ-то кто же страдать будетъ? Посмотрите кругомъ. Одинъ убилъ, бѣдность да нищета довела, — другого злость человѣческая заставила. Все не они виноваты. Кто же за это страдать долженъ?

— Такъ что всегда Христосъ живетъ въ мірѣ?

— Всегда. Одинъ отстрадаетъ. Другой страдать идетъ.

— Ну, а за что Тихонъ на Сахалинъ сосланъ?

— За убійство! — не мигнувъ, отвѣчаетъ Галактіоновъ, — двухъ человѣкъ онъ убилъ.

— Какъ же такъ помирить?

— Воронежскій онъ. Изъ зажиточныхъ. У его отца еще съ арендаторомъ сосѣдскимъ вражда была. Дальше да больше. Ѣдутъ разъ изъ города вмѣстѣ. Арендаторъ-то и думаетъ: „насъ много“. Напали на Тихона. А Тихонъ-то взялъ оглоблю, да во злѣ арендатора по башкѣ — цопъ! А потомъ арендаторша подвернулась, — онъ и ее цопъ. Такъ злоба вѣковѣчная убійствомъ и кончилась.

— Онъ же убилъ! Онъ убійца!

— Не онъ убилъ, злоба убила. Злоба копилась-копилась въ двухъ семьяхъ и вырвалась. Онъ за эту злобу каторгу и перенесъ.

Во главѣ сахалинскихъ „православно вѣрующихъ христіанъ“ Тихона Бѣлоножкина поставилъ, несомнѣнно, Галактіоновъ. Это онъ, фанатичный и страстный, убѣдилъ Бѣлоножкина въ его высокой миссіи. Скромному Тихону въ голову бы не пришло называться такимъ именемъ.

Тихонъ Бѣлоножкинъ еще дома, въ Воронежской губерніи, сокрушался, что кругомъ никто „по-божески“ не живетъ, и искалъ такой вѣры, чтобы „не только съ мертвыми ходили цѣловаться, а и съ живыми цѣловались; а то съ мертвыми-то прощаются, а живымъ не прощаютъ“.

Попалось подъ руки молоканство, онъ и принялъ молоканство.

Но къ прибытію на Сахалинъ Тихонъ Бѣлоножкинъ и въ молоканствѣ разочаровался:

— Не то это все. Не настоящее.

Работы въ рудникахъ.

И началъ вести свои тихія и кроткія бесѣды съ каторжанами, — какъ, по его мнѣнію, по настоящему, слѣдуетъ вѣрить и поступать. Его теорія о неосужденіи, быть-можетъ, и привлекла къ себѣ сердца въ силу контраста; кругомъ, на Сахалинѣ, каторжнику всякое лыко въ строку ставятъ, а тутъ человѣкъ говоритъ:

— Дѣянья твои осуждаю, а не тебя.

И людямъ, которыхъ всѣ считаютъ „виновными", — сталъ именно „милъ" человѣкъ, считающій ихъ „ни въ чемъ невиновными".

— Вѣдь вонъ. почему мы кошку любимъ! — говорилъ мнѣ съ улыбкой каторжанинъ, поглаживая бродившую по нарамъ кандальной худую, тощую кошку, — потому для всѣхъ мы „виноватые", а для кошки мы ничѣмъ не виноваты. Кошкѣ все одно: что вы, что я.

Тихонъ Бѣлоножкинъ, это несомнѣнно, пользовался всегда особыми симпатіями каторги, — и не одной каторги. Есть что-то въ этомъ кроткомъ человѣкѣ, что производитъ впечатлѣніе. Онъ отбывалъ каторгу при смотрителѣ, который не признавалъ непоротыхъ арестантовъ. Тихонъ Бѣлоножкинъ — единственное исключеніе.

— Придетъ на раскомандировку злой, — разсказываютъ каторжане, — 20 — 30 человѣкъ перепоретъ. Такъ и глядитъ рысьими глазами: „кого бы еще!" А увидитъ Тихона, глаза переведетъ: „ты, — скажетъ, — тихоня! Стань на заднюю шеренгу". Не любилъ, когда Тихонъ на него смотритъ.

Это казалось каторгѣ непостижимымъ. И нѣкоторыя совпаденія привели каторгу къ мысли, что Бѣлоножкинъ — человѣкъ „особенный".

Бѣлоножкинъ съ вечера ни съ того ни съ сего плакалъ. Его стыдили:

— Чего нюни распустилъ? Баба!

— Горюшко мнѣ подъ сердынко подкатываетъ.

А на слѣдующій день одного арестанта задрали: съ кобылы замертво сняли, въ лазаретѣ умеръ.

Нѣсколько подобныхъ случаевъ „предвидѣнья" поразили каторгу страшно, и когда къ Бѣлоножкину пришла семья, и онъ былъ выпущенъ для домообзаводства, — къ „особенному" человѣку стали собираться поговорить, послушать его странныхъ рѣчей.

Тутъ подвернулся Галактіоновъ.

Озлобившій всѣхъ противъ себя обличитель, въ страдающій міръ внесшій своей проповѣдью еще больше страданій, — Галактіоновъ у кроткаго Тихона нашелъ тихую пристан

„просвѣтлѣлъ“, понялъ, что „истинно о Христѣ надо дѣлать“,— и „увѣровалъ“.

Но старый законникъ сказался, — и вмѣсто простыхъ сходокъ для сердечныхъ бесѣдъ, — онъ основалъ „церковь“.

Сахалинское общество „православно вѣрующихъ христіанъ“ имѣетъ 12 „апостоловъ“, и каждый изъ „апостоловъ“ имѣетъ „пророка“.

— Какъ столбъ — подпору.

Кромѣ „апостоловъ“, есть еще 4 „евангелиста“.

— Руки и ноги Христовы.

Тѣ, кто женатъ, какъ самъ Тихонъ Бѣлоножкинъ, живутъ съ женами. Кто не женатъ, — сходятся и живутъ „не въ законѣ, а въ любви, ибо любовь и есть законъ христіанскій“.

Мужчины зовутъ себя „братьей“, а женщинъ „по духу любовницами“.

Сходясь всѣ вмѣстѣ, они говорятъ:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, благодаримъ нашего Отца!

Кланяются въ ноги, цѣлуютъ другъ друга и бесѣдуютъ.

Бесѣды часто касаются сахалинскихъ злобъ дня и разрѣшаютъ разные вопросы, конечно, въ духѣ, пріятномъ каторгѣ. Напримѣръ:

— Каждый человѣкъ спастись долженъ. А въ голодномъ мѣстѣ не спасешься, скорѣе человѣка съѣшь. А потому бѣжать съ Сахалина — дѣло доброе. Духомъ родиться можно только на материкѣ, гдѣ можно трудиться. А для рожденія духомъ надо креститься водой, т.-е. переплыть Татарскій проливъ. Татарскій проливъ и есть Іорданъ. Надо сначала „водой креститься“, и потомъ ужъ чѣловѣкъ идетъ на материкъ возрождаться духомъ.

На этихъ радѣніяхъ они рады всякому, кто зайдетъ:

— Гдѣ печка, тамъ пущай грѣются.

Въ горницахъ у многихъ изъ нихъ висятъ иконы:

— Хоть весь домъ изукрась иконами! Хорошаго человѣка повидать всегда пріятно.

Но вѣровать „надо въ духѣ, а не въ буквѣ“, чтобъ „буква эта нашу жизнь оживляла“.

— Приходите къ намъ! — звалъ меня Галактіоновъ,— какъ начнемъ букву закона къ нашей жизни приводить, — небеса радуются.

— Да почему жъ ты о небесахъ-то знаешь?

— Въ мысляхъ радость. А небеса... Вы думаете высоко небеса? Небеса въ ростъ человѣка.

Галактіонову очень хотѣлось, чтобъ я повидался съ Тихономъ Бѣлоножкинымъ.

— Сами увидите! Вы такъ ему скажите, что отъ меня.

Тихона засталъ я за работой. У него хорошее хозяйство. Онъ чинилъ телѣгу.

— Здравствуй, Тихонъ. Правда, что ты — то лицо, какъ тебя называетъ Галактіоновъ?

Бѣлоножкинъ поднялъ голову и глянулъ на меня своими, дѣйствительно „милыми“ глазами, кроткими и добрыми:

— Вы говорите.

— Нѣтъ, но ты-то какъ себя называешь?

Тихонъ улыбнулся, тоже необыкновенно „мило“.

— Буквами чтобъ я себя назвалъ, хотите? Развѣ отъ буквъ что перемѣнится?

Мы долго бесѣдовали съ этимъ добрымъ, кроткимъ и скромнымъ человѣкомъ, — его интересовало, зачѣмъ я пріѣхалъ: я объяснилъ ему, какъ могъ, что собираю матеріалъ, чтобъ описать, какъ живутъ каторжане, — и онъ сказалъ:

— Масло собираете? Понимаю.

И, прощаясь со мною и подавая мнѣ руку, сказалъ:

— Масла вы въ лампадку набрали много. Зажгите ее, чтобъ свѣтъ былъ людямъ. А то зачѣмъ и масло?

Преступники и преступленія.

I.

— Чувствуютъ ли „они“ раскаяніе?

Всѣ лица, близко соприкасающіяся съ каторгой, къ которымъ я обращался съ этимъ вопросомъ, отвѣчали, — кто со злобой, кто съ искреннимъ сожалѣніемъ, — всегда одно и то же:

— Нѣтъ!

— За все время, пока я здѣсь, изо всѣхъ видѣнныхъ мною преступниковъ, — а я ихъ видѣлъ тысячи, — я встрѣтилъ одного, который дѣйствительно чувствовалъ раскаяніе въ совершенномъ желаніе отстрадать содѣянный грѣхъ. Да и тотъ врядъ ли былъ преступникомъ? — говорилъ мнѣ завѣдующій медицинской частью докторъ Поддубскій.

Это былъ старикъ, сосланный за холерные безпорядки.

Докторъ записалъ его при освидѣтельствованіи „слабосильнымъ“.

— Стой, дядя! — остановилъ его старикъ, — ты этого не дѣлай! А когда жъ я свой грѣхъ-то отработаю?

— Да въ чемъ твой грѣхъ-то?

— Доктора мы каменьями убили. Каменьями швыряли. И камень бросилъ.

— Да ты попалъ ли?

Работы въ рудникѣ.

— Этого ужъ не знаю, не видѣлъ, куда камень упалъ. А только все-таки бросилъ.

Сказать, однако, чтобъ раскаянія они не чувствовали, - рискованно.

Они его не выражаютъ. Это — да.

Каторжникъ, какъ и многіе страдающіе люди, прежде всего гордъ. Всякое выраженіе раскаянія, сожалѣнія о случившемся, — онъ считалъ бы слабостью, которой не простилъ бы потомъ себѣ, которой, главное, никогда не простила бы ему каторга.

А развѣ и мы не считаемся со взглядами и мнѣніями того общества, среди котораго приходится жить?

Юноша Негель [1]), — совершившій гнусное преступленіе, убійца-звѣрь, котораго мнѣ рекомендовали, какъ самаго отчаяннаго негодяя во всей каторгѣ, — этотъ убійца рыдалъ, плакалъ какъ дитя, разсказывая мнѣ, одинъ на одинъ, что его довело до преступленія. И мнѣ пришлось утѣшать его, какъ ребенка, подавать ему воду, гладить по головѣ, называть ласковыми именами.

Помню изумленное лицо одного изъ гг. „служащихъ“, случайно вошедшаго на эту сцену.

Помню, какъ онъ растерялся.

— Что вы сдѣлали нашему Негелю? — спрашивалъ онъ меня потомъ съ изумленіемъ.

Надо было посмотрѣть на лицо Негеля въ тѣ нѣсколько секундъ, которыя пробылъ въ комнатѣ г. служащій.

Какъ онъ глоталъ слезы, какія дѣлалъ усилія, чтобы подавить рыданія.

— Вы никому не говорите объ „этомъ“! — просилъ онъ меня на прощанье, — а то въ каторгѣ узнаютъ, смѣяться будутъ, с.....!

Вотъ часто причина этого „холоднаго, спокойнаго отношенія“ къ преступленію.

Не всегда, гдѣ нѣтъ трагическихъ жестовъ, — тамъ нѣтъ и трагедіи.

Темна душа преступника, и не легко заглянуть, — что тамъ таится на днѣ?

Въ квартирѣ одного интеллигентнаго убійцы я обратилъ вниманіе на большую картину работы хозяина, висѣвшую на самомъ видномъ мѣстѣ.

Картина изображала мрачный, сѣверный пейзажъ. Хмурыя нависшія ели. Посрединѣ — три камня, навороченные другъ на друга.

---

[1]) Александровская тюрьма.

— Что это за мрачный видъ? — спросилъ я.

— Это пейзажъ, который врѣзался мнѣ въ память! На этомъ мѣстѣ случилось одно трагическое происшествіе.

Это былъ видъ того самаго мѣста, гдѣ хозяинъ дома, вмѣстѣ съ товарищемъ, убили и разрубили на части свою жертву.

Что это? Рисовка? Или болѣзненное желаніе — вѣчно, каждую минуту, безъ конца, бередить ноющую душевную рану, не давать ей зажить?

Рисовка это, или казнь, выдуманная для себя преступникомъ,— эта всегда на виду висящая картина?

Не знаю, какъ раскаяніе, — но ужасъ, отчаяніе отъ совершеннаго преступленія живутъ въ душѣ преступника.

Не вѣрьте даже имъ самимъ, чтобъ они относились къ преступленію спокойно.

Василій Васильевъ [1]), убившій въ бѣгахъ своего товарища и питавшійся его мясомъ, слыветъ однимъ изъ наиболѣе спокойныхъ и равнодушныхъ.

— Вы послушайте только, какъ онъ разсказываетъ! Какъ онъ вырѣзалъ куски мяса и варилъ изъ нихъ супъ съ молодой кропивкой, которую клалъ „для вкусу“.

— Если бъ только моря я не боялся!— съ отчаяніемъ восклицалъ онъ, разсказывая и мнѣ про „кропивку“ и супъ изъ человѣческаго мяса, — если бъ моря не боялся, убѣгъ бы на край свѣта! Моря боюсь... Ушелъ бы, чтобъ и не видѣлъ меня никто! Отъ себя ушелъ бы!

И какой ужасъ предъ совершеннымъ звучалъ въ тонѣ этого страшнаго человѣка.

Не даромъ послѣ преступленія онъ сходилъ съ ума.

Не вѣрьте „веселымъ“ разсказамъ о преступленіи.

Часто это только неумѣнье спрашивать.

Да, конечно, если вы спросите такъ, „съ наскока“:

— А ну-ка, братецъ, разскажи, какъ ты убилъ?

Тогда вы услышите разсказъ, полный и похвальбы и рисовки.

О Полуляховѣ [2]), убійцѣ семьи Арцимовичей, въ Луганскѣ, мнѣ говорили, что онъ необыкновенно охотно и необыкновенно нагло разсказываетъ о своемъ преступленіи.

Съ издѣвательствомъ надъ жертвами, говоря о нихъ всегда во „множественномъ числѣ“:

— Господинъ Арцимовичъ спали вотъ такъ-съ, а г-жа Арцимовичъ вотъ такъ. Я сначала ихъ убилъ, а потомъ по-

---

[1]) Сообщеніе объ этомъ случаѣ людоѣдства было напечатано докторомъ Н. П. Лобасомъ въ журналѣ «Врачъ» 1895 г., № 37.

[2]) Александровская тюрьма.

шелъ г-жу Арцимовичъ съ младенцемъ ихнимъ убивать. „Сударыня!“ — говорю... и т. д.

Я бесѣдовалъ съ Полуляховымъ два дня, — правда, съ отдыхомъ въ нѣсколько сутокъ, — нервы бы не выдержали, такъ „тяжелъ“ этотъ человѣкъ.

Я спрашивалъ его внимательно о всей его жизни, терпѣливо выслушивалъ всѣ мельчайшія подробности его дѣтства и юности, интересныя и дорогія только ему, я входилъ въ каждую мелочь его жизни.

И когда, послѣ этого, онъ дошелъ въ разсказѣ до своего звѣрскаго преступленія, — въ его повѣствованіи не было ни „господина“, ни этого ироническаго „множественнаго числа“, ни бахвальства, ни рисовки.

Я никогда не забуду этого вечера.

Мы сидѣли вдвоемъ, близко наклонившись другъ къ другу; онъ говорилъ тихо, словно боясь, что кто-то еще слушаетъ эту страшную повѣсть, — и ему вовсе не легко давался этотъ разсказъ.

О нѣкоторыхъ подробностяхъ даже ему тяжело было говорить. О нихъ онъ всегда умалчиваетъ въ своихъ „веселыхъ“ разсказахъ о преступленіи!

Правда, и подробности же!

Я чувствовалъ, что все плыветъ у меня въ глазахъ. Что еще моментъ, — и я упаду въ обморокъ.

И только нежеланіе показать свою слабость предъ каторжникомъ удерживало меня крикнуть:

— Воды!

Вѣдь мнѣ нужно было мнѣніе каторги: я явился ее изучать.

Помню, какъ я, послѣ одной изъ такихъ подробностей, откинулся, почти упалъ, на спинку кресла, какъ у меня перехватило дыханіе, — и вздохъ, вѣроятно, похожій скорѣе на стонъ, невольно вырвался изъ груди.

— Вотъ, видите, баринъ, — и вамъ даже слушать нехорошо! — сказалъ Полуляховъ.

Я взглянулъ на него: на немъ самомъ лица не было.

Бываютъ разсказы циничные по своей откровенности, — спокойныхъ разсказовъ нѣтъ.

Нѣтъ!

Я много слышалъ исповѣдей, не разсказовъ, а именно исповѣдей, когда преступники разсказывали мнѣ все, часто съ краской на лицѣ отвѣчали на самые щекотливые вопросы, которые и задавать-то было неловко; мнѣ много пришлось слышать этихъ исповѣдей съ глаза на глазъ, при затворенныхъ дверяхъ, часто говорившихся вполголоса, чтобы кто не услыхалъ „тайнъ каторги“, которыя мнѣ разсказывали.

Арестантскія работы. Откатчики въ рудникахъ.

Преступники всегда старались казаться спокойными. Но только старались.

Не надо было быть особеннымъ физіономистомъ, чтобы видѣть, какъ ихъ волнуютъ эти воспоминанія, какъ они стараются подавить, скрыть это волненіе.

Обычная поза преступника, когда онъ разсказываетъ подробности преступленія, такая:

Онъ сидитъ къ вамъ бокомъ, смотритъ въ сторону, куда-нибудь въ уголъ, безсознательно вертитъ что-нибудь въ рукахъ. На его губахъ играетъ дѣланая, принужденная улыбка, глаза горятъ нехорошимъ, лихорадочнымъ какимъ-то огнемъ.

У многихъ часто мѣняется цвѣтъ лица, подергиваются мускулы щекъ, мѣняется и сдавленно звучитъ голосъ.

Почти всякій послѣ 10 минутъ этого разсказа кажется усталымъ, утомленнымъ, часто разбитымъ.

А я слыхалъ разсказы и видалъ преступниковъ, предъ которыми и Полуляховъ только еще „начинающій“. Мнѣ Лѣсниковъ разсказывалъ, какъ онъ вырѣзалъ двѣ семьи: изъ 5 и 6 человѣкъ. Прохоровъ-Мыльниковъ разсказывалъ, какъ онъ рѣзалъ дѣтей. Мнѣ разсказывали, какъ разрывали могилы. Передавали свои впечатлѣнія люди, приговоренные къ повѣшенію, стоявшіе на западнѣ и услышавшіе помилованіе только тогда, когда около лица болталась петля.

Разговоры „между собой“ о своихъ преступленіяхъ — обычное занятіе каторги.

— Просто ужасъ! — говорили мнѣ интеллигентные люди, бывавшіе въ экспедиціяхъ для изслѣдованія острова, — лежишь вечеромъ и прислушиваешься, о чемъ говорятъ между собой каторжные, мои носильщики и проводники. Только и слышишь: „Я такъ-то убилъ, а я такъ-то“...

Но о чемъ же въ каторгѣ больше и говорить? Въ настоящемъ ничего, рѣчь идетъ о прошломъ.

Когда появляется новый арестантъ, его никто не спроситъ:

— За что?

Это не принято. Всякій соблюдаетъ свое достоинство. Никто не хочетъ показать „слабости“ — любопытства.

Разговоръ объ „этомъ“ заводится нѣсколько дней спустя, исподволь: спрашивающій сначала самъ разскажетъ „кстати къ случаю“, за что пришелъ, и въ разговорѣ будто бы нехот даже нечаянно, спроситъ:

— А ты за что?

Непремѣнно такимъ тономъ, въ которомъ звучитъ: „х чешь, молъ, говори, а не хочешь, — не больно инт ресно“.

И тогда разсказъ вновь прибывшаго выслушивается съ большимъ вниманіемъ.

Надо же вѣдь знать, что за человѣкъ пришелъ въ семью, на что онъ способенъ, можетъ ли быть хорошимъ товарищемъ на случай „бѣговъ“ или преступленія.

Съ „бахвальствомъ“, съ рисовкой, съ гордостію разсказываютъ о своихъ преступленіяхъ только „Иваны“.

Мнѣ вспоминается, напримѣръ, Школкинъ [1]), преступникъ-рецидивистъ, изо всѣхъ силъ старающійся прослыть за „Ивана“.

Онъ убилъ уже на Сахалинѣ денщика капельмейстера.

Убилъ нагло, звѣрски, среди бѣлаго дня.

Узнавъ о томъ, что у капельмейстера „должны быть деньги“, онъ явился къ нему на квартиру въ его отсутствіи, оглушилъ ударомъ кистеня денщика, стащилъ его въ подполье и началъ рѣзать.

Тонкій, сильно сточенный кухонный ножъ гнулся и не входилъ въ тѣло.

Тогда Школкинъ перевернулъ свою жертву лицомъ внизъ, приподнялъ грубую, солдатскаго холста, рубаху, прорѣзалъ небольшую ранку и тихо, медленно ввелъ ножъ, заколотивъ его по рукоять.

Въ это время къ капельмейстеру вошелъ еще кто-то, услышалъ возню въ подпольѣ, догадался, что дѣло не ладно, — выбѣжалъ, поднялъ крикъ.

Какъ разъ въ это время проѣзжалъ мимо губернаторъ, онъ и отдалъ приказъ объ арестѣ убійцы.

Школкинъ очень гордится своимъ преступленіемъ, тѣмъ, что его „арестовалъ самъ губернаторъ“, тѣмъ, что его, по мнѣнію всей каторги, „ожидала веревка“, — гордится своимъ спокойствіемъ.

Я нѣсколько разъ наводилъ съ нимъ разговоръ на эту тему, будто бы забывая то ту, то другую подробность, и — каждый разъ, охотно разсказывая о преступленіи, Школкинъ добавлялъ одну и ту же неизмѣнную фразу:

— Я вышелъ на крыльцо съ улыбкою.

Эта улыбка, съ которой онъ вышелъ на крыльцо къ толпѣ народа изъ подполья, гдѣ онъ только-что дорѣзалъ человѣка, — его гордость.

Часто, однако, за этимъ бахвальствомъ кроется нѣчто другое.

Часто это только желаніе заглушить душевныя муки, желаніе нагнать на себя „куражу“.

---

[1]) Александровской тюрьмы.

Желаніе смѣхомъ подавить страхъ.

Такъ дѣти, по вечерамъ боящіяся оставаться въ темной комнатѣ, днемъ хвалятся своею храбростью, смѣются надъ всѣми привидѣніями въ мірѣ:

— Пусть придутъ, пусть!

„Работалъ я въ сапожной мастерской, — разсказывалъ мнѣ одинъ интеллигентный преступникъ, убійца, — вмѣстѣ съ нами работалъ нѣкто Смирновъ, рецидивистъ, совершившій много преступленій, молодой человѣкъ. Ужасъ, бывало, беретъ слушать его разговоры. Не было у него и темы другой, кромѣ разсказовъ о своихъ убійствахъ. Онъ вспоминалъ о нихъ съ удовольствіемъ, со смѣхомъ. Какъ онъ издѣвался надъ памятью своихъ жертвъ. Въ какомъ комическомъ видѣ представлялъ ихъ предсмертныя муки, мольбы, съ какимъ цинизмомъ высмѣивалъ ихъ слова, ихъ просьбы о пощадѣ. Просто, бывало, иногда работа падаетъ изъ рукъ!

„Ужасъ меня бралъ при одномъ звукѣ голоса этого человѣка. А тутъ еще мое мѣсто на нарахъ какъ разъ рядомъ съ нимъ.

„Онъ спалъ съ краю, я около. Просыпаюсь какъ-то отъ сильнаго толчка, гляжу, — лампа была какъ разъ около нашихъ мѣстъ, — стоитъ Смирновъ около наръ. Лицо бѣлое, словно мѣломъ вымазано, глаза страшные, широко раскрытые. Ужасъ на лицѣ написанъ.

„Не подходи... — говоритъ, — не подходи... убью... не подходи... Дрожитъ весь, голосъ такой, — жуть беретъ слушать. Испугался я. „Смирновъ,—говорю,— что съ тобою? Съ кѣмъ ты разговариваешь?“ „Вонъ онъ, — говоритъ, — вонъ онъ... весь въ крови... изъ горла-то, изъ горла какъ кровь хлещетъ... идетъ, идетъ... сюда идетъ... не подходи!“... Ухватился за меня, держится, руки холодныя какъ ледъ. И у него зубы стучатъ, и меня лихорадка бьетъ. „Господь съ тобой! Кого ты видишь?“ — „Онъ, онъ, послѣдній мой“, — шепчетъ. „Да успокойся ты, дай я тебѣ воды принесу!“ — „Нѣтъ, нѣтъ, не уходи... не уходи... А то онъ... онъ“... Такъ и пришлось вмѣстѣ съ нимъ до кадушки съ водой итти. Онъ за меня держится, кругомъ дико озирается, боится на шагъ отстать. Отпоилъ я его водой, — пришелъ въ себя. Просилъ пустить его на мое мѣсто, — съ краю лежать боялся, — я легъ къ нему поближе. „Страшно мнѣ“,— говоритъ. „Да зачѣмъ же ты днемъ-то надъ ними смѣешься?“ — спрашиваю. „Потому и смѣюсь, что страшно. Ходятъ они ко мнѣ по ночамъ. Вотъ днемъ-то и стараюсь храбрости набраться, и куражусь“.

„Бахвальство“ преступленіемъ — это часто только крикъ отчаянный вопль, которымъ хотятъ заглушить голосъ совѣсти“

Душа преступника — это море, гдѣ никогда не бываетъ штиля. Здѣсь когда-то разыгрывался страшный штормъ. Теперь колышется зыбь.

А очень крупную зыбь такъ легко съ перваго взгляда принять за полный штиль.

Преступленіе оставляетъ неизгладимый слѣдъ, глубокую борозду въ душѣ.

Мнѣ говорилъ одинъ каторжникъ, жалуясь на то, что ихъ заперли въ кандальной за отказъ отъ работъ и двѣ недѣли держали взаперти [1]):

Арестантскіе типы. Осужденный на 13 лѣтъ каторжныхъ работъ за покушеніе на убійство.

— Что они? Убить насъ, что ли, хотятъ? Задавить, какъ насѣкомую какую? Да нешто человѣка возможно убить? Я вонъ какъ ужъ: кажется, убилъ! Самъ слышалъ, какъ кости затрещали, когда топоромъ по затылку хватилъ. „Нѣтъ,— думаю,—отдышется". Взялъ да еще голову отрубилъ прочь. Откатилась голова... А онъ все живетъ. Тутъ вотъ со мною и живетъ. Ни шагу не отходитъ. Меня въ „сушилку" [2]) посадятъ. Думаютъ одного, — а онъ тутъ со мною, мой-то! „Не убивалъ бы, молъ, его, не сидѣлъ бы теперь во тьмѣ кромѣшной". На кобылу ложусь, а онъ тутъ рядомъ съ палачомъ стоитъ, зубы скалитъ: „Не убивалъ бы, на кобылѣ не лежалъ бы". Вездѣ со мной, какъ тѣнь, идетъ. Живетъ, — и покуда я живъ, живъ будетъ, въ могилу за мной, подъ безыменный крестъ пойдетъ. Человѣка совсѣмъ убить—невозможно!

II.

Мнѣ остается сказать еще объ одномъ сортѣ „бахвальства", очень распространенномъ, съ типичнымъ представителемъ этого сорта бахвальства я васъ сейчасъ познакомлю.

Захожу въ тюрьму.

---

[1]) Въ Рыковской тюрьмѣ.
[2]) Карцеръ.

Вижу, арестанты собрались кучкой. Въ серединѣ какой-то краснобай о чемъ-то горячо ораторствуетъ.

Увидалъ меня и пересталъ.

— Помѣшалъ вамъ, что ли? Такъ уйду.

— Зачѣмъ, баринъ? Кака-така помѣха... Валяй дальше! Баринъ тоже послухаетъ... Больно интересно.

Разсказчикъ повѣствовалъ о томъ, какъ онъ бѣжалъ изъ тюрьмы.

Слегка, „для приличія“, пококетничавъ, разсказчикъ продолжалъ:

— Ладно!.. Ударили, говорю я, тревогу. Весь караулъ, всю роту собрали, за мной: этакій рестантъ бѣжалъ! Бѣгутъ, а я отъ ихъ. Они бѣгутъ, а я отъ ихъ. Штыки сверкали, пули свистали... Такъ надъ головой и свищутъ. Мало-мало погодя, перестали. Всѣ пули разстрѣляли. Ни одна не попала...

— Съ бѣгу стрѣляли-то? — интересуется молодой паренекъ, изъ „дисциплинарныхъ“.

— Съ бѣгу.

— Если бы пріостановился кто. Стрѣлять способнѣе.

— Тебя, дурака, не спросили, жалко! Фельдфебель!—обрываетъ его кто-то изъ слушателей,—валяй, дальше!

— Сталъ я, братцы мои, приставать. Вижу, силъ моихъ нѣтъ. Вотъ-вотъ, думаю, съ ногъ свалюсь, возьмутъ. Да не такой человѣкъ Ефимъ Трофимовъ, — чтобы живымъ въ руки даться! Слышу, настигаютъ... Все ближе топотъ. Оглянулся,— глядѣть страшно. Штыки сверкаютъ. Сила! А по дорогѣ-то, впереди такъ—дерево... Высоченное дерево, сажень двадцать... Собралъ я силенки, — да къ нему. Разъ, разъ, — да и взобрался... Вскарабкался на сукъ, да и сижу. Подбѣгаютъ, запыхались, такъ съ нихъ и льетъ, еле дышатъ. Замучилъ я ихъ, замытарилъ. „Слѣзай, — кричатъ, — чортовъ сынъ, честью!“ „Вотъ, — говорю, — ладно, безпремѣнно слѣзу, когда ракъ свистнетъ. Подождите маленько!..“ Имъ бы пулей меня достать — на что легче,—да пули-то всѣ прострѣляли. А лѣзть-то боятся, потому топоръ при мнѣ, — мнѣ сверху-то по башкѣ способно. Слышу, говоръ идетъ межъ ихъ: „полѣзай ты сперва!“ — „Нѣтъ, ты!“ — „Нѣтъ, ты...“ А я себѣ сижу, ни гу-гу, отдыхиваюсь. Только, братцы, постояли они такъ-то, рѣшили дерево свалить, чтобы меня достать. Зачали дерево подъ корень штыками. Дрожитъ все дерево, трясется. Они копаютъ, а я все выше взбираюсь. Они копаютъ, а я выше. Взобрался на самую маковку, жду. Начало дерево подаваться... „Ну, еще! Наддай!“—орутъ, дерево валятъ. А по голосамъ слыхать, что еле духъ переводятъ, привстали. „Еще наддай“... Ходуномъ подо мной дерево ходитъ,—а я все на маковкѣ сижу, держусь... Да какъ ух

нетъ дерево-то, только стонъ пошелъ отъ вѣтвей, хрускъ... Какъ маковка-то объ землю треснулась, — я наземь, да въ бѣгъ. Они-то у корня стояли, а я на маковкѣ, — у меня двадцать саженъ „мазы“ [1])... Они-то, дерево копавши, въ конецъ перемучились, — а я-то отдохнулъ сидючи!

— Здорово! — одобрили арестанты.

— Вѣдь вотъ говорятъ: „семь верстъ до небесъ, и все лѣсомъ! [2])“ — не вытерпѣлъ задѣтый давеча за живое паренекъ.

— А тебѣ что? — накинулась на него каторга, — ты чего лѣзешь, волынку затираешь? Не любо, не слушай! А лѣзть нечего. Чувырло братское!

Каторга негодовала на то, что прервали „занятный разсказъ“.

Много такихъ разсказчиковъ въ каждой тюрьмѣ. И что это за разсказы! Что за дикіе, за фантастическіе, нелѣпые разсказы о небывалыхъ преступленіяхъ! Слушаешь другого, — да диву даешься.

— Его дѣйствительныхъ-то приключеній тома бы на три хватило. Да на какихъ тома! А онъ, Богъ его знаетъ, какую чушь выдумываетъ!

Это Понсонъ-дю-Терайли, Ксавье-де-Монтепены каторги.

Имъ не вѣрятъ, да ихъ не для того и слушаютъ.

Каторга относится къ нимъ, какъ мы къ нашимъ „бульварнымъ романистамъ“.

Не требуетъ отъ нихъ правды, — довольствуется интересной выдумкой.

Она смотритъ на нихъ, какъ на хорошихъ сказочниковъ.

Это врядъ ли можно назвать „бахвальствомъ, преступленіемъ“.

Да я и не думаю, чтобы „бахвальство“ могло произвести на каторгу особое впечатлѣніе.

Сидя съ человѣкомъ 24 часа въ сутки, поневолѣ изучишь его, будешь знать, на что онъ способенъ, на что нѣтъ, — сразу отличишь, что въ его разсказахъ правда, что хвастливая ложь.

Да каторга и не придаетъ особенной цѣны преступленіямъ, совершеннымъ „въ Рассеѣ“.

— Тамъ-то мы всѣ храбры были!

Она относится еще съ нѣкоторымъ уваженіемъ къ преступникамъ, взявшимъ, благодаря преступленію, крупную сумму, — и глубоко презираетъ тѣхъ, кто совершилъ преступленья изъ-за грошей.

---

[1]) Игрецкое выраженіе — впередъ.

[2]) Арестантская поговорка, — означающая человѣка, который слова правды никогда не скажетъ. «Чувырло братское», — означаетъ арестанта съ отталкивающей наружностью. «Затирать волынку», — затѣвать непріятность.

Самимъ же преступленіемъ каторги не удивишь. Тутъ, такъ сказать, приходится „играть среди виртуозовъ“.

Герои каторги — рецидивисты.

Она цѣнитъ только преступленія и проступки, совершенные здѣсь, на Сахалинѣ.

И какой-нибудь смѣлый бѣглецъ, или человѣкъ, наговорившій дерзостей смотрителю, — въ ея глазахъ гораздо болѣе „герой“, чѣмъ человѣкъ, зарѣзавшій цѣлую семью въ Россіи.

Полуляхова каторга стала уважать съ тѣхъ поръ, какъ онъ бѣжалъ, дерзко, на виду у всѣхъ, — вырвавъ ружье у часового.

Есть только одно преступленіе, которое покрываетъ совершившаго его немеркнущей славой. Это убійство кого-нибудь изъ тюремной администраціи.

Къ такому каторга относится всегда съ почтеніемъ.

Человѣкъ шелъ „на веревку“.

Человѣкъ не боится ничего,—значитъ надо бояться его.

И къ такому человѣку относятся съ боязливымъ почтеніемъ.

Остальное все не производитъ никакого впечатлѣнія:

— Это все, что было, то прошло! Ты намъ теперь себя выкажи!

Прошлое умерло. Каторгу интересуетъ только, что въ человѣкѣ „осталось“.

— - —

До сихъ поръ мы говорили объ отношеніи только къ самому факту преступленья.

— Ну, а ихъ отношенья къ жертвѣ?

Что они чувствуютъ по отношенію къ ней?

Рѣдко — злобу, часто — презрѣніе, обыкновенно — полное равнодушіе.

— Какъ же! Жалко! — отвѣчаетъ вамъ обыкновенно преступникъ на вопросъ, неужели ему не жаль своей жертвы?

Но лучше бы онъ не говорилъ этого!

Онъ произноситъ это „жалко“, какъ будто рѣчь идетъ не о жизни, а о какомъ-то пустякѣ, отнятомъ у несчастнаго!

Въ этомъ тонѣ звучитъ такое равнодушіе, — равнодушіе ко всему на свѣтѣ,—кромѣ его собственной персоны.

Вы чувствуете, что онъ говоритъ „жалко“ просто „изъ приличія“: „такъ ужъ полагается по-ихнему, чтобъ жалѣть“.

Что этимъ онъ дѣлаетъ уступку вамъ!

Убійцы грабители вспоминаютъ о своей жертвѣ съ презрѣніемъ, если несчастный не хотѣлъ сразу отдавать деньги, если онъ боролся.

Имъ кажется это достойнымъ презрѣнія: человѣкъ ставилъ деньги — выше жизни!

Одинъ изъ преступниковъ не могъ безъ улыбки вспомнить, какъ его несчастная жертва, когда онъ вошелъ къ ней съ топоромъ, закричала:

— Какъ ты смѣешь? Да ты знаешь ли, на чей домъ нападаешь!

— Сударыня! — отвѣчалъ онъ ей съ улыбкой, — для насъ всѣ равны.

Злобу къ своимъ жертвамъ, злобу непримиримую, которая не угаснетъ никогда, чувствуютъ только тѣ изъ преступниковъ, кому пришлось много перетерпѣть, прежде чѣмъ они рѣшились на преступленіе.

Съ такой злобой отзывался мнѣ о своей жертвѣ одинъ изъ каторжныхъ въ Корсаковскомъ округѣ, убившій своего „барина“ за то, что тотъ жестоко съ нимъ обращался.

— Опять бы изъ гроба всталъ, опять бы задушилъ!

И выражалъ сожалѣніе, что не удалось „помучить его передъ смертью“.

Помню, одинъ убійца жены, — онъ отрубилъ ей голову, — на мой вопросъ:

— Неужели же тебѣ не бываетъ жаль ея?

Отвѣчалъ:

— Опять бы ожила, — вотъ хоть сейчасъ, — опять бы ей башку отрубилъ, подлой!

И съ такой злобой сказалъ это. А вообще-то это одинъ изъ добродушнѣйшихъ людей въ каторгѣ.

Добрый, безотвѣтный, готовый подѣлиться послѣднимъ.

Видно, и насолила же ему покойница!

Вообще, эти люди, со злобой относящіеся къ своимъ жертвамъ, по большей части, — люди добродушные, мягкіе.

Это, просто, — люди съ лопнувшимъ терпѣніемъ.

Искреннее, дѣйствительно глубокое сожалѣніе къ своей „ни въ чемъ неповинной жертвѣ“ мнѣ пришлось наблюдать только одинъ разъ.

Это несчастный Горшенинъ, сожалѣвшій объ убитомъ имъ въ припадкѣ раздраженія инженерѣ Коршѣ [1]).

Мы дошли до вопроса, который, быть-можетъ, интересуетъ васъ такъ же, какъ онъ интересовалъ меня.

До вопроса о галлюцинаціяхъ и снахъ. Объ этой „икотѣ воображенія“, „отрыжкѣ совѣсти“.

Преслѣдуютъ ли „ихъ“ призраки жертвъ, какъ они преслѣдуютъ Шекспировскихъ героевъ, — или сахалинскіе преступники сдѣланы изъ другого тѣста?

---

[1]) Въ Тифлисѣ.

Но вѣдь и Шекспировскихъ героевъ не всѣхъ одинаково преслѣдуютъ призраки убитыхъ.

Макбетъ видитъ наяву тѣнь Банко, въ то время, какъ Ричарда III мучатъ призраки во время сна, во время тяжкаго кошмара. А королю Клавдію ни во снѣ ни наяву не является тѣнь убитаго имъ короля и брата.

Я разспрашивалъ всѣхъ тюремныхъ врачей относительно галлюцинацій у каторжниковъ, — и изо всѣхъ врачей только одинъ докторъ Лобасъ, человѣкъ глубоко знающій каторгу, могъ сообщить мнѣ только одинъ случай, когда преступникъ жаловался на преслѣдованія призрака.

Я потомъ видѣлся и съ преступникомъ.

Это нѣкто Вайнштейнъ, рецидивистъ, убившій на Сахалинѣ женщину, мать Негеля, о которой шла рѣчь въ предыдущей статьѣ.

Другіе говорятъ, что онъ убилъ ее, не добившись ничего ухаживаніями.

Онъ увѣряетъ, что убилъ ее изъ отвращенія:

— Ужъ не молодая женщина — она измѣняла своему мужу. И какъ измѣняла! Мнѣ стало противно, и я убилъ ее, прямо, изъ какой-то ненависти, изъ презрѣнія, раздавилъ какъ гадину.

Ея окровавленный призракъ не давалъ ему покоя, пока онъ сидѣлъ въ одиночномъ заключеніи.

Онъ не спалъ ночей, потому что она постоянно входила къ нему, — и на него „летѣли брызги крови“.

Интересный разсказъ о галлюцинаціяхъ [1]) мнѣ пришлось выслушать отъ одного поселенца, котораго я взялся подвезти изъ поста Дуэ въ постъ Александровскій.

— Зачѣмъ пробираешься-то? — спрашиваю дорогой.

— Да къ окружному ишолъ, сожительницу себѣ просить новую.

— А что жъ старая-то плоха, что ли?

— Зачѣмъ плоха! Хорошая баба была, да померла... Второй мѣсяцъ какъ померла. А мнѣ безъ хозяйки никакъ невозможно. Хозяйство! Можетъ, дадутъ какую, хоть завалящую!

Мы проѣхали съ четверть версты молча.

— Да и слава Тебѣ, Господи, что померла! прибралъ ее Господь! Успокоилъ, — да и меня-то вмѣстѣ съ нею. Мука была мученская.

— Что такъ?

Тряслась шибко.

— Какъ тряслась?

---

[1]) Кромѣ того разсказа интеллегентнаго убійцы, который приведенъ въ прошлой статьѣ.

— Такъ, по ночамъ. Какъ, бывало, ночь, такъ и начнетъ трястись. И меня-то замучила, — страхи! Какъ бывало огонь потушимъ, такъ ее и начнетъ бить. Дрожитъ вся, колотится руки, ноги — какъ ледъ. „Ходитъ, — говоритъ, — онъ по избѣ!“ А то вся забьется, вотъ-вотъ, думаю, кончится. „За ноги, — говоритъ, — меня хватаетъ“. — „Наклоняется ко мнѣ, — а отъ него-то могилой!“ Все къ ей „онъ“ ходилъ. За мужа она. Мужа отравила, — не нравился, что ль! — а какъ онъ сталъ кончаться да мучиться, съ испугу его и придушила. И такой, бывало, голосъ у ея, самого жуть беретъ. „Молчи, молъ, у меня *свой* есть“. Самому казаться начало!.. Эхъ, и не вспоминать!.. Такъ вотъ и измаялась, таяла, таяла, да и кончилась. Царство ей небесное, вѣчный покой! Да ужъ гдѣ, чай!

Нѣкоторые, немногіе изъ нихъ, жалуются, что изрѣдка видятъ *своихъ* во снѣ, но большинство смотритъ на васъ съ изумленіемъ при подобномъ вопросѣ:

— Охота, молъ, такую дрянь во снѣ видѣть?

Впрочемъ, все это дѣло нервовъ.

Въ концѣ концовъ, я все-таки не вѣрю, — и не вѣрю потому, что этого не видѣлъ — чтобы преступникъ совсѣмъ ужъ спокойно относился къ совершенному имъ преступленію.

Быть-можетъ, и эта страсть къ картамъ, эта картежная игра, которой они съ такимъ азартомъ предаются съ утра до вечера, въ каждую свободную минуту, и часто съ ночи и до утра, быть-можетъ, и это средство — „забыться“, „отвлечь свои мысли“.

Наиболѣе тяжкіе преступники, вмѣстѣ съ тѣмъ, и наиболѣе страстные игроки.

Всякій „отвлекается“ и „забывается“ какъ можетъ и чѣмъ можетъ.

Я видѣлъ преступника, который послѣ совершеннаго имъ, дѣйствительно звѣрскаго убійства [1]), искалъ забвенія... въ игрѣ въ тотализаторъ.

— Играешь, и ничего не чувствуешь! Забываешь про „это“.

Къ счастью для него, скачки въ Москвѣ бываютъ по 2, по 3 раза въ недѣлю, и нѣсколько недѣль, которыя прошли до его ареста, этотъ несчастный и отвратительный человѣкъ прожилъ въ какомъ-то угарѣ отъ пьянства и игры.

Когда тамъ открывали трупъ, онъ думалъ о лошадяхъ:

— Хватитъ ея на четырехверстную дистанцію, или не хватитъ?

Какъ они относятся къ наказанію?

На этотъ вопросъ отвѣтить гораздо легче.

---

[1]) Викторовъ, убившій въ Москвѣ свою любовницу, разрубившій и изуродовавшій трупъ до неузнаваемости и отправившій его по желѣзной дорогѣ.

Относятся очень просто.

Осудили, лишили правъ, сослали сюда, — и они считаютъ всѣ свои счета покончеными и сквитанными.

— Не семь же шкуръ съ насъ драть?!

Имъ сказали: идите на „новую жизнь“.

И они стремятся устроить „новую жизнь“.

Такую, какая нравится имъ, а не правосудію.

Бѣжать, сказаться бродягой и получить полтора года каторги вмѣсто 10, 15, и 20-ти.

Это называется „перемѣнить участь“.

И объ этой „перемѣнѣ участи“ мечтаютъ всѣ.

Не вѣрьте тому, чтобъ преступники жаждали каторги, несли ее какъ искупленіе.

Да, можетъ-быть, тамъ, — когда они еще не знаютъ, что такое каторга.

Когда еще свѣжи, особенно болѣзненны воспоминанія. Когда совѣсть, этотъ „звѣрь косматый“, мечется и скребетъ когтями душу... Тогда, быть-можетъ, и жаждутъ „страданій“.

Такъ при нестерпимой зубной боли люди бьются головой объ стѣну, — чтобъ другой болью пересилить эту, отвлечь мысли отъ этой страшной, невѣроятной боли.

Тамъ... А здѣсь... Можно жаждать страданій, итти на нихъ, надѣть тяжелыя вериги, спать на острыхъ камняхъ.

Но кто, въ видѣ „искупленія“, захочетъ лечь въ смердящую, вонючую, топкую, жидкую грязь?

А каторга, это, — грязь, зловонная, засасывающая грязь.

Мнѣ остается сказать еще объ ихъ отношеніяхъ къ невинно-осужденнымъ.

Къ тѣмъ, относительно кого они увѣрены, что человѣкъ страдаетъ напрасно.

Такіе есть на Сахалинѣ, какъ и во всякой каторгѣ.

На арестантскомъ языкѣ они называются:

— „Отъ сохи на время“.

Каторга относится къ нимъ съ презрѣніемъ.

Нѣтъ! Это даже не презрѣніе. Это ненависть, это зависть къ людямъ, не мучающимся душой, выражающаяся только въ формѣ будто бы презрѣнія.

Это ненависть подлеца къ честному человѣку, — мучительная зависть грязнаго къ чистому.

И положеніе этихъ несчастныхъ — положеніе горькое вдвойнѣ.

Имъ не вѣрятъ честные люди, ихъ презираетъ и ненавидитъ міръ отверженныхъ...

И въ этой ненависти сказывается все то же страданіе преступной души, мучимой укорами совѣсти.

Преступники и судъ.

(Изъ наблюденій на Сахалинѣ).

«У обвиняемыхъ не оказалось копій обвинительнаго акта: копіи эти они извели на «цыгарки».

Послѣдній елисаветградскій процессъ.

Вотъ область! — волосъ дыбомъ встанетъ.

— Боже, и это граждане, которые незнаніемъ законовъ отговариваться не могутъ?!

Даже наиболѣе опытные изъ нихъ, бывалые, которымъ ужъ, казалось бы, надо это знать, — и тѣ плохо понимаютъ, что дѣлается на судѣ.

Я просилъ ихъ передать мнѣ содержаніе рѣчи прокурора, — кажется, должны бы вслушиваться?! — и, Боже, что за чепуху они мнѣ мололи.

Одинъ, напримѣръ, увѣрялъ меня, будто прокуроръ, указывая на окровавленныя „вещественныя доказательства", требовалъ, чтобъ и съ нимъ, преступникомъ, поступили такъ же, — т.-е. убили и разрѣзали трупъ на части.

Большинство „выдающихся" преступниковъ преувеличиваютъ значеніе своего преступленія и ждутъ смертнаго приговора.

— Да вѣдь по закону не полагается!

— А я почемъ зналъ!

А, кажется, не мѣшало бы освѣдомиться, идя на такое дѣло.

Неизвѣстность, ожиданіе, одиночное предварительное заключеніе, — все это разбиваетъ имъ нервы, вызываетъ нѣчто въ родѣ бреда преслѣдованія.

Всѣ они жалуются на „несправедливость".

Преступникъ окруженъ врагами: слѣдователь его ненавидитъ и старается упечь, прокуроръ питаетъ противъ него злобу, свидѣтели подкуплены или подучены полиціей, судьи обязательно пристрастны.

Многіе разсказывали мнѣ, что ихъ хотѣли „заморить" еще до суда.

— Дозвольте вамъ доложить, меня задушить хотѣли!

— Какъ такъ?

— Посадили въ одиночку, чтобъ никто не видалъ. Никого не допущали. Пищу давали самую что ни на есть худшую, вонь, — нарочно около „такихъ мѣстъ" посадили. Думали задохнусь.

Преданья объ „отжитомъ времени", о „доформенныхъ" порядкахъ крѣпко въѣлись въ память нашего народа.

Только этимъ и можно объяснить такіе чудовищно нелѣпые разсказы:

— Хозяйку-то[1]) слѣдователь спервоначала забралъ, да она обѣщалась ему три года въ кухаркахъ задаромъ прослужить, безъ жалованья. Онъ ее и выпустилъ. Потомъ ужъ начальство обратило вниманіе, — опять посадили.

Привычка къ „системѣ формальныхъ доказательствъ“ пустила глубокіе корни въ народное сознаніе, извратила его представленія о правосудіи.

— Не по правотѣ меня засудили! Зря! — часто говоритъ вамъ преступникъ.

— Да вѣдь ты, говоришь, убилъ?

— Убить-то убилъ, да никто не видалъ. Свидѣтелей не было, какъ же они могли доказать? Не по закону!

Эта привычка къ такъ давно практиковавшейся „системѣ формальныхъ доказательствъ“ (?) заставляетъ запираться на судѣ, судиться „не въ сознаніи“, — многихъ такихъ, чья участь, при чистосердечномъ сознаніи, была бы, конечно, куда легче.

Помню, въ Дуэ, старикъ отцеубійца разсказывалъ мнѣ свою исторію.

Сердце надрывалось его слушать. Что за ужасную семейную драму, что за каторгу душевную пришлось пережить, прежде, чѣмъ онъ — старикъ, отецъ семейства, пошелъ убивать своего отца.

Ему не дали даже снисхожденія.

Неужели могло найтись 12 присяжныхъ, которыхъ не тронулъ бы этотъ искренній, чистосердечный разсказъ, эта тяжелая повѣсть?

— Да я не въ сознаніи судился!

— Да почему жъ ты прямо, откровенно, не сказалъ все. Вѣдь жена, сынъ, невѣстка, сосѣди были на судѣ, могли бы подтвердить твои слова?

— Да такъ! Думали — свидѣтелей при убійствѣ не было. Такъ ничего и не будетъ!

Особенно тяжелое впечатлѣніе производятъ крестьяне, — „деревенскіе, русскіе люди“.

У этихъ не сразу дознаешься, какъ его судили даже: съ присяжными или безъ присяжныхъ.

— Да противъ тебя-то въ судѣ сидѣли 12 человѣкъ.

— Насупротивъ?

— Вотъ, вотъ, — насупротивъ! 12 вотъ такъ, а два сбока. Всѣхъ четырнадцать

— Да кто жъ ихъ считалъ? Справа, вотъ этакъ, много народу сидѣло. Чистый народъ. Барышни... Стой, стой! — вспоминаетъ онъ, — вѣрно! и насупротивъ сидѣли, еще все входили

[1]) Рѣчь идетъ о хозяйкѣ, нанявшей разсказчика-работника совершить убійство.

да выходили сразу. Придутъ, выйдутъ, опять придутъ. Эти, что ли?

— Вотъ, вотъ, они самые! Да вѣдь это и были твои настоящіе судьи?

— Скажи, пожалуйста! А я думалъ, — такъ, купцы какіе. Антиресуются.

Большинство не можетъ даже отвѣтить на вопросъ: былъ ли у него защитникъ?

Арестантскіе типы. Осужденъ за убійство отца на 12 лѣтъ.

— Да защитникъ, адвокатъ-то у тебя былъ? — спрашиваю у мужичонка, жалующагося, что его осудили „безвинно".

— Абвакатъ? Нѣтути. Хотѣли взять мои-то въ трактирѣ одного, — да дорого спросилъ. Не по карману!

— Стой,—да вѣдь тебѣ былъ назначенъ защитникъ. Задаромъ, понимаешь—задаромъ? И настоящій адвокатъ, а не трактирный!

— Этого я не могу знать.

— Да передъ тобой, передъ рѣшеткой-то, за которой ты на судѣ былъ, — сидѣлъ кто-нибудь?

— Такъ точно, сидѣлъ. Красивый такой господинъ. Изъ себя видный. Мундеръ на емъ растегнутъ. Ходитъ нараспашку. Съ отвагой.

Очевидно, судебный приставъ.

— Ну, а рядомъ съ нимъ? Въ городскомъ платьѣ въ черномъ, еще значекъ у него такой бѣленькій, серебряный, вотъ здѣсь?

Мужичонка дѣлаетъ обрадованное лицо — вспоминаетъ:

— Кучерявенькій такой? Небольшого росту?

— Ну, ужъ тамъ не знаю, какого онъ росту. Говорилъ вѣдь онъ что-нибудь, кучерявенькій-то?

— Кучерявенькій-то? Дай припомнить. Балакалъ. Сейчасъ, какъ прокуратъ кончилъ, и онъ всталъ. Пронзительно очень говорилъ прокуратъ, твердо. Просилъ все, чтобъ меня на весь вѣкъ, подъ землю, — „въ корни“ его, говоритъ.

— Ну, хорошо, — это прокуратъ. А „кучерявенькій-то“ что же?

— Тоже говорилъ что-то. Только я не слушалъ, признаться. Не къ чему мнѣ.

— Да вѣдь это и былъ твой защитникъ, твой адвокатъ!

— Скажи! А я думалъ, онъ изъ господъ. Изъ судейскихъ!

— Да передъ этимъ-то, передъ судомъ, въ тюрьмѣ онъ у тебя былъ?

— Кто? Кучерявый?

— Кучерявый!

— Кучеряваго не было. Ай былъ? Ай не былъ? Былъ! — наконецъ, вспоминаетъ онъ, — вѣрно! Былъ одново. Спрашивалъ, есть ли у меня свидѣтели? Какіе жъ у меня свидѣтели могутъ быть? Мы люди бѣдные. Намъ свидѣтелей нанять не на что!

Есть ли что-нибудь безпомощнѣе?

Надо правду сказать, что гг. защитникамъ не мѣшало бы повнимательнѣе относиться къ своимъ кліентамъ „по назначенію“.

Многіе такъ до суда не знаютъ въ лицо своего защитника...

Каторжныя работы Коноваловой.

— Виновна ли крестьянка Анна Коновалова, 20 лѣтъ, въ томъ, что съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ, по предварительному соглашенію съ другими лицами, лишила жизни своего мужа посредствомъ удушенія?

— Да, виновна.

Коновалову приговорили къ 20 годамъ каторжныхъ работъ.

Вмѣсто Крестовскаго острова она отправляется на Сахалинъ.

Въ Одессѣ ее сажаютъ на пароходъ добровольнаго флота.

— Баба — первый сортъ!

— Хорошій рейцъ будетъ! — предвкушаетъ команда.

Въ Красномъ морѣ входятъ въ тропики, гдѣ кровь вспыхиваетъ, какъ спиртъ.

Женскій трюмъ превращается въ пловучій позорный домъ.

— Ничего не подѣлаешь! — говорятъ капитаны, — борись не борись съ этимъ, — ничего не выйдетъ. Черезъ полотняные рукава, которые для нагнетанія воздуха устроены, подлецы ухитряются въ трюмъ спускаться.

Это обычное явленіе, и если этого нѣтъ, каторжанки даже негодуютъ.

Пароходъ „Ярославль“ перевозилъ каторжанокъ изъ поста Александровскаго въ постъ Корсаковскій. Старшій офицеръ г. Ш., человѣкъ въ дѣлахъ службы очень строгій, ключи отъ трюма взялъ къ себѣ и не довѣрялъ ихъ даже младшимъ помощникамъ.

На пароходѣ „ничего не было“.

И вотъ, когда въ Корсаковскѣ каторжанокъ пересадили на баржу,— съ баржи посыпалась площадная ругань:

— Такіе-сякіе! Въ монахи вамъ! Бабъ везли,— и ничего. Насъ изъ Одессы везли,—съ нами на пароходѣ вотъ что дѣлали!

Женщины лишились маленькаго заработка, на который сильно разсчитывали, и сердились.

Команда таскаетъ въ трюмъ деньги, водку, папиросы, фрукты, платки, матеріи, которыя покупаетъ въ портахъ.

Молодыя добываютъ. Старухи-старостихи устраиваютъ знакомства.

Въ трюмѣ площадная ругань, торговля своимъ тѣломъ, кровавые и разнузданные разсказы, щегольство нарядами.

Падшія женщины, профессіональныя преступницы, жертвы несчастія, женщины, выросшія въ городскихъ притонахъ, крестьянки, идущія слѣдомъ за своими мужьями,— все это свалено въ одну кучу, гнойную, отвратительную. Словно живые свалены въ яму вмѣстѣ съ трупами.

Нѣкоторые еще держатся.

Эта голодная честность,—изруганная, осмѣянная, сидитъ въ уголкѣ и поневолѣ завистливыми глазами смотритъ, какъ все кругомъ пьетъ, лакомится, щеголяетъ другъ передъ дружкой обновами.

Женщина смотритъ съ ужасомъ:

— Куда я попала?

Она теряетъ почву подъ ногами:

— Что я теперь такое?

— До Цейлона иныя выдерживаютъ, а въ Сингапурѣ, глядь, всѣ каторжанки на палубу вышли въ шелковыхъ платочкахъ. Это у нихъ самый шикъ! „Ахъ, вы такія-сякія! Щеголяйте тамъ у себя въ трюмѣ, а на палубу чтобъ выходить въ арестантскомъ!“ — разсказываютъ капитаны.

И вотъ пароходы приходятъ въ портъ Александровскій.

Тамъ парохода съ бабьимъ товаромъ ужъ ждутъ.

Поселенцы, такъ-называемые „женихи“, всѣ пороги въ канцеляріяхъ обили:

— Ваше высокоблагородіе, явите начальническую милость, дайте сожительницу!

— Это, братъ, прежде было, что бабъ давали. Теперь только дозволяютъ брать.

— Ну, дозвольте взять бабу. Все единственно.

— Да зачѣмъ тебѣ баба? Ты пьяница, игрокъ!

— Помил-те, ваше высокоблагородіе,— для домообзаводства!

Привезенныхъ бабъ размѣстили.

Добровольно слѣдующія съ дѣтьми остались дрогнуть въ карантинномъ сараѣ. Каторжанокъ погнали въ женскую тюрьму.

Передъ окнами женской тюрьмы гулянье.

„Женихи“ смотрятъ „сожительницъ новаго сплава“. Каторжанки высматриваютъ „сожителей“.

Каторжанки принарядились. Женихи ходятъ гоголемъ.

— Сборный человѣкъ, одно слово! — похохатываютъ проходящіе мимо каторжане „вольной“, „исправляющейся“ тюрьмы.

„Женихъ“, по большей части, „весь собранъ“: картузъ взялъ у одного сосѣда, сапоги у другого, поддевку у третьяго, шерстяную рубаху у четвертаго, жилетку у пятаго.

У многихъ въ рукахъ большая гармоника, верхъ поселенческаго шика.

У нѣкоторыхъ по жилеткѣ даже пущена цѣпочка.

У всѣхъ подарки: пряники, орѣхи, ситцевые платки.

— Дозвольте орѣшковъ предоставить. Какъ васъ величать-то будетъ?

— Анной Борисовной!

— Вы только, Анна Борисовна, ко мнѣ въ сожительницы пойдите, — каждый день безъ гостинца не встанете, безъ гостинца не ляжете. Потому—пронзили вы меня! Возжегся я очень.

— Ладно. Одинъ разговоръ. Работать заставите!

— Ни въ жисть! Развѣ на Сахалинѣ есть такой порядокъ, чтобъ баба работала? Дамой жить будете! Самъ полы мыть буду! Не жисть, а масленица. Бога благодарить будете, что на Сакалинъ попали!

— Всѣ вы такъ говорите! А вотъ часы у васъ есть? Можетъ, такъ, цѣпочка только пущена.

— Часы у насъ завсегда есть. Глухіе съ крышкой. Пожалуйте! Одиннадцатаго двадцать пять.

— А ну-ка, пройдитесь!

„Женихъ“ идетъ фертомъ.

— Какъ будто криво ходите!

Будущія „сожительницы“ ломаются, насмѣшничаютъ, острятъ надъ „женихами“.

„Женихи“ конфузятся, злятся въ душѣ, но выказываютъ величайшую вѣжливость.

Степенный мужикъ изъ Андрее-Ивановскаго, угодившій въ каторгу за убійство во время драки „объ самый, объ храмовой праздникъ“, подавалъ по начальству бумагу, въ которой просилъ:

— „Выдать для домообзаводства изъ казны корову и бабу".

Въ канцеляріи ему отвѣтили:

— Коровъ теперь въ казнѣ нѣту, а бабу взять можешь.

Онъ ходитъ подъ окнами серьезный, дѣловитый, и осматриваетъ бабъ, какъ осматриваютъ на базарѣ скотъ.

— Намъ бы пошире какую. Хрястьянку. Потому—лядаща, куда она? Лядаща была, изъ бродягъ. Только хлѣбъ жевала, да кровища у ей горломъ хлястала. Такъ и умярла,— какъ ее по-настоящсму звать даже не знаю. Какъ и помянуть-то неизвѣстно. Намъ бы ширококостную. Штобъ для работы.

— Вы ко мнѣ въ сожительницы не пойдете? — кланяется онъ толстой, пожилой, рябой и кривой бабѣ.

— А у тя что есть-то? — спрашиваетъ та, подозрительно оглядывая его своимъ единственнымъ глазомъ,—можетъ, самому жрать нечего?

— Зачѣмъ нечего! Лошадь есть.

— А коровы есть?

— Коровъ нѣ. Просилъ для навозу — не дали. Бабу теперь дать хотятъ, а корову—по веснѣ. Идите, ежели жалаете!

— А свиньи у тя есть?

— И свиней двѣ. Курей шесть штукъ.

— „Курей!" — передразниваетъ его лихачъ и щеголь поселенецъ изъ 1-го Аркова, самаго игрецкаго поселья, — ему нешто баба, ему лошадь, чорту, нужна! Ты къ нему, кривоглазая, не ходи! Онъ тѣ уходитъ! Ты такого, на манеръ меня, трафь. Такъ, какъ же, Анна Борисовна, дозволите васъ просить? Желаете на веселое Арковское житье итти? Безъ убоинки за столъ не сядете, пряникомъ водочку закусывать будете, платокъ не платокъ, фартукъ не фартукъ. Семенъ Ильинъ человѣкъ лихой. Даму для развлеченія ищетъ, — не для чего прочаго!

Прежде хорошенькую Коновалову взялъ бы кто-нибудь изъ холостыхъ служащихъ въ горничныя и платилъ бы за нее въ казну по три рубля въ мѣсяцъ. Теперь это запрещено новымъ губернаторомъ.

Прежде бы ее просто выкликнули:

— Коновалова!

— Здѣсь.

— Бери вещи, ступай. Ты отдана въ Михайловское, поселенцу Петру Петрову.

— Да я не желаю.

— Да у тебя никто о твоемъ желаніи не спрашиваетъ. Бери, бери вещи-то, не проѣдайся! Некогда съ вами!

Теперь, если она скажетъ „не желаю",— ей скажутъ:

— Какъ хочешь!

И оставятъ въ тюрьмѣ.

„Сожительницы“ разбредутся съ „женихами“, и останется Коновалова одна въ сѣрой, тусклой, большой пустой камерѣ. И потянутся унылые, сѣрые, тусклые дни.

— Хоть бы полы къ кому изъ служащихъ мыть отправили. Можетъ, къ холостому. Повеселилась бы.

Я однажды зашелъ въ женскую тюрьму.

Тамъ сидѣла нѣмка съ грудным ребенкомъ.

Жила она когда-то съ мужемъ въ Ревелѣ, имѣла „свой лафочка“, захотѣла расширить дѣло:

— Дитя много было.

Подожгла лавочку и пошла въ каторгу.

— Дитя вся у мужа осталось.

Здѣсь она жила съ сожителемъ, прижила ребенка, изъ-за чего-то повздорила съ надзирателемъ, тотъ пожаловался, ее взяли отъ сожителя и посадили въ тюрьму:

— Онъ говоріятъ, что я укралъ. Я нишево не укралъ.

Съ безконечно-унылымъ, тоскующимъ лицомъ она бродила по камерѣ, не находя себѣ мѣста и, принявъ меня за начальство, начала плакать:

— Ваше высокій благородій! У меня молока нѣйтъ. Ребенокъ помирайтъ будетъ. Я отъ баланда молоко потеряла. Прикашите меня хоть полъ мыть отправляйтъ. Я по дорога зарапотаю...

— Чѣмъ же вы заработаете?

— А я...

И она такъ прямо, просто и точно опредѣлила, какъ именно она заработаетъ, что я даже сразу не разобралъ.

— Что это? Нарочно циничная, озлобленная выходка?

Но нѣмка смотрѣла на меня такими кроткими, добрыми и ясными, почти дѣтскими глазами, что о какомъ тутъ „цинизмѣ“ могла быть рѣчь!

Просто она выучилась русскому языку въ каторгѣ и называла, какъ всѣ каторжанки, вещи своими именами.

— Ваше высокое благородіе! Скашите, чтобъ меня хоть на шасъ отпустили. Одинъ шасъ!

И такъ потянулись бы для Коноваловой долгіе, безконечные дни одиночества: въ женской тюрьмѣ никто не живетъ.

Приведутъ развѣ поселенку.

— Тебя за что въ тюрьму?

— Сожителя пришила.

— Какъ пришила?

— Взяла да задавила.

— За что же?

— А на кой онъ мнѣ чортъ сдался?! Я промышляй, а онъ пропивать будетъ!

— Да ты бы на него начальству пожаловалась!

— Вотъ еще, изъ-за такихъ пустяковъ начальство безпокоить...

— Что жъ теперь съ тобой будетъ?

— А что будетъ! Будутъ судить и покеда въ тюрьмѣ держать. А потомъ каторги прибавятъ и опять кому-нибудь въ сожительницы отдадутъ. А ты за что сидишь?

— Я не хочу въ сожительницы итти.

— Дура! Ну, и сиди въ тюрьмѣ на пустой баландѣ, покеда не скажешь: „къ сожителю итти согласна!“ Скажешь, братъ! Небось!

Неволить итти къ сожителю не неволятъ теперь, но человѣку предоставляется выборъ: свобода или тюрьма.

Трудно, конечно, думать, чтобъ Коновалова „заупрямилась“. Никто не упрямится.

И вотъ Коновалова у поселенца, съ которымъ она столковалась.

Входитъ въ его пустую, совершенно пустую избу.

„Сборный человѣкъ“ вдругъ весь разбирается по частямъ: сапоги съ наборомъ отдаетъ одному сосѣду, поддевку—другому, кожаный картузъ — третьему.

И передъ нею на лавкѣ сидитъ оборвышъ.

— Ну-съ, сожительница наша милѣйшая, теперича вы на фартъ идите!

— На какой фартъ?

— А къ господину Ивану Ивановичу. Вы это поскорѣй платочекъ и фартучекъ одѣвайте. Потому господинъ Иванъ Ивановичъ ждать не будутъ. Живо ему другой кто свою сожительницу подстроитъ. А жрать намъ надоть.

— Да что жъ это я на тебя работать буду?

— Это ужъ какъ на Сакалинѣ водится. Положеніе. Для того и сожительницъ беремъ. Да вы, впрочемъ, не извольте безпокоиться. Я на ваши деньги играну, такой кушъ выиграю, — барыней ходить будете. А теперича извольте отправляться.

— Да вѣдь я тамъ, въ Россіи, за это же за самое мужа задушила!

— Хе-хе! Тамъ Рассея! Порядокъ другой. А здѣсь, — что же-съ! Ну, и задушите! другой такой же сожитель будетъ. Все единственно. Потому сказано — каторжныя работы. Пожалуйте-съ!

Несчастнѣйшая изъ женщинъ.

Отъ пристани до поста Александровскаго около двухъ верстъ. Дорога ведетъ черезъ лѣсокъ. Направо и налѣво отъ дороги, за канавой, тянется хвойная тайга, здѣсь повырубленная и довольно рѣдкая. Въ ямахъ и ложбинкахъ еще лежитъ снѣгъ, а по кочкамъ и на прогалинахъ ужъ лѣзетъ изъ земли „медвѣжье ухо". Его желтый листъ лѣзетъ изъ-подъ земли свернутый въ трубочку и пышно развертывается, словно хочетъ сказать: „любуйтесь, какое я, медвѣжье ухо, красивое".

— Ахъ, чортъ ее возьми, — сказалъ какъ-то одинъ изъ служащихъ, когда я проходилъ съ нимъ мимо лѣска, — Сашка Медвѣдева ужъ станъ свой раскинула. Ишь и флагъ ея болтается. Ахъ, тварь! Въ этакій-то холодъ.

На одномъ изъ деревьевъ болталась грязная тряпка.

Познакомиться съ Сашкой Медвѣдевой, это значитъ — стать на одну изъ послѣднихъ ступеней человѣческаго паденія.

Сашка Медвѣдева — знаменитость Александровскаго поста. Ее знаютъ всѣ, а ея кліентами состоятъ самые нищіе изъ нищихъ каторги: бревнотаски, дровотаски, каторжане, работающіе на кирпичныхъ заводахъ. Сашку Медвѣдеву презираютъ всѣ. Даже самыя послѣднія изъ сахалинскихъ женщинъ говорятъ о ней не иначе, какъ съ омерзѣніемъ. Женщина вообще пользуется небольшимъ почтеніемъ на Сахалинѣ; обыкновенно ихъ зовутъ-таки очень неважнымъ титуломъ, но для Сашки существуетъ особое наименованіе, дальше котораго ужъ презрѣніе итти не можетъ.

Сашкѣ около 45 лѣтъ. Плоское лицо, по которому и не разберешь, было ли оно когда-нибудь хоть привлекательно. Вѣчно мутные глаза. Вѣтеръ, холодъ, непогоды „выдѣлали" кожу на ея лицѣ, и кожа эта кажется похожей на пергаментъ. Одѣта Сашка, конечно, въ отрепье.

Зимой эта почти уже старуха катается по ночлежнымъ домамъ въ Александровскихъ слободкахъ. По этимъ ужаснымъ ночлежнымъ домамъ, содержимымъ бывшими тюремными майданщиками. Эти ночлежные дома и по обстановкѣ совсѣмъ тюрьмы. Тѣ же общія нары вдоль стѣнъ, гдѣ вповалку спятъ мужчины, женщины и дѣти. Здѣсь же валяется и Сашка Медвѣдева, „припасая" на завтра на выпивку.

Но какъ только въ воздухѣ повѣетъ холодной и унылой сахалинской весной, Сашка переселяется въ тайгу близъ бойкой и людной дороги отъ пристани къ посту, здѣсь, по образному выраженію гг. служащихъ, „разбиваетъ свой станъ" и

выкидываетъ свой флагъ, — вѣшаетъ на одномъ изъ деревьевъ около дороги тряпку.

Это условный знакъ. И вы часто увидите такую сцену. Идетъ себѣ, какъ ни въ чемъ не бывало, по дорогѣ каторжанинъ изъ „вольной тюрьмы“, дойдетъ до дерева съ „флагомъ“, оглянется — нѣтъ ли кого, грузно перепрыгнетъ черезъ канаву и исчезнетъ въ тайгѣ.

А Сашка сидитъ цѣлый день на полянкѣ, иззябшая, продрогшая и поджидаетъ посѣтителей. Проводя время въ лѣсу, Сашка одичала, и если увидитъ какого-нибудь вольнаго человѣка, не каторжника, бѣжитъ отъ него такъ, какъ мы побѣжали бы, встрѣтившись съ каторжникомъ. Если Сашкѣ приходится нечаянно встрѣтиться съ кѣмъ-нибудь носъ съ носомъ, она боязливо пятится, и тогда въ ея мутныхъ глазахъ отражается, такой страхъ, словно ее сейчасъ исколотятъ.

Контрибуція, которую она беретъ со своихъ нищихъ посѣтителей, колеблется отъ двухъ до трехъ коп. Много ли зарабатываетъ Сашка. Копеекъ 20 въ день, а въ такіе дни, когда, напримѣръ, въ ближнихъ Александровскихъ рудникахъ углекопамъ выдаютъ „проценты“ за добытый и проданный уголь, тогда заработокъ Сашки доходитъ копеекъ до сорока.

Такова „Сашка Медвѣдева“, эта человѣческая самка, существующая для нищихъ каторги.

Вы думаете, однако, что коснулись ногой ужъ послѣдней ступени человѣческаго паденія. Нѣтъ. Бездонна эта пропасть и трудно сказать, гдѣ та грань, ниже которой не можетъ уже пасть человѣкъ.

И у Сашки есть человѣкъ, къ которому она можетъ относиться съ презрѣніемъ.

Это бродяга Матвѣй. Ея „сожитель“. На что нуженъ онъ Сашкѣ, — трудно понять. Можетъ-быть, это просто какая-то безсознательная привычка имѣть „друга“. Всѣ отношенія между ними ограничиваются, кажется, только тѣмъ, что они дерутся.

Для бродяги Матвѣя Сашка — средство къ существованію.

Подъ вечеръ Сашка сидитъ на полянкѣ и пересчитываетъ добытыя за день деньги. 16 копеекъ. Еще два посѣтителя, — и можно будетъ отправиться въ какой-нибудь изъ притоновъ на базарѣ и въ задней комнаткѣ медленно, цѣдя черезъ зубы, выпить большую рюмку сильно разбавленнаго водой спирта.

Въ тайгѣ послышался трескъ сучьевъ. Кто-то идетъ. Сашка насторожилась. Трескъ ближе и ближе. Между деревьями, осторожно ступая, крадучись, показывается Матвѣй. Сашка моментально вскакиваетъ на ноги и бросается въ тайгу.

— Стой, дьяволъ! — кричитъ Матвѣй и кидается за ней.

Ужъ изъ этого маневра онъ понялъ, что у Сашки есть деньги.

И начинается это бѣгство, эта травля, эта погоня озвѣрѣвшаго человѣка за оскотинившимся. Борьба этихъ двухъ человѣческихъ существъ за то, кто сегодня выпьетъ рюмку водки.

Сашка бѣжитъ по тайгѣ, старается укрыться въ чащѣ, кружитъ около деревьевъ, пока зацѣпившись за кочку, истерзанная, изодранная колючими вѣтвями, не падаетъ на землю. Матвѣй наваливается на нее, бьетъ по чемъ ни попадя и вопитъ:

— Отдай деньги.

— Не дамъ! Не дамъ! — кричитъ Сашка и крѣпко зажимаетъ въ кулакѣ свои 16 копеекъ.

Изъ носа у нея идетъ кровь. Матвѣй бьетъ ее кулакомъ по лицу. Но Сашка не разжимаетъ кулака. Матвѣй ломаетъ ей пальцы, давитъ ее колѣнами, крутитъ руки,—пока, наконецъ, отъ нестерпимой боли Сашка не разжимаетъ кулака. Деньги теперь въ кулакѣ Матвѣя.

Ударивъ ее еще разъ, усталый Матвѣй поднимается. Но Сашка моментально вскакиваетъ и, словно собака, схватываетъ его зубами за руку. Матвѣй оттаскиваетъ ее за волосы, кидаетъ на землю и изо всей силы ударяетъ ногой въ животъ:

— Вздыхай, проклятая.

Сашка валится замертво. Въ кровь избитая, окровавленная Сашка приходитъ въ себя, потому-что кто-то толкаетъ ее ногой.

Вставай, что ли. Да утрись хоть, окаянная. Погляди, на что рожа похожа.

Передъ ней „посѣтитель“. Сашка принимается вытирать слезы, кровь и грязь, смѣшавшіяся на ея лицѣ.

Я не разъ спрашивалъ себя, что это за отношенія. Что ей этотъ Матвѣй?—Сожитель? Другъ? Человѣкъ, къ которому она привыкла?

Сама Сашка отлично опредѣлила это въ разговорѣ со мной:

— Постоянный грабитель.

Такъ и живутъ на свѣтѣ Сашка съ ея „постояннымъ грабителемъ“.

И это тоже называется „жизнью“.

Добровольно слѣдующія.

— Земля-съ у насъ на Сакàлинѣ кровью впитана, бабьей слезой полита. Нешто можетъ, апосля этого на ней что расти?— говорилъ мнѣ одинъ старый поселенецъ.

Въ исторіи сахалинской каторги есть страница, написанная кровью или слезами. Это страница о женахъ, добровольно слѣдующихъ за мужьями въ каторгу.

Пароходъ, везущій каторжанъ, подходитъ къ Адену.

Изъ трюмовъ принесли гору, — штукъ шестьсотъ, незапечатанныхъ писемъ на родину.

— „А еще извѣщаю васъ, любезная супруга наша, — пишетъ, послѣ безчисленныхъ „поклоновъ", арестантъ, осужденный на 12 лѣтъ въ работу", — прибылъ я на Сахалинъ благополучно, чего и вамъ отъ души желаю. Семейнымъ здѣсь очень хорошо. Земли даютъ по 20 десятинъ на душу, пару быковъ, корову, пару свиней, овецъ четыре головы, шесть курей и, на первый разъ, 50 мѣръ пшеницы, для посѣва и хату. За нами ѣдетъ 1000 человѣкъ вольныхъ поселенцевъ. Такъ здѣсь хорошо. Начальство доброе и милостивое, и сейчасъ же спросили, скоро ли вы, супруга наша, пріѣдете. И коль скоро вы пріѣдете, меня сейчасъ же изъ тюрьмы выпустятъ, и мы будемъ жить по-богатому. А покуда вы не пріѣдете, долженъ я въ тюрьмѣ томиться"...

И десятки людей, когда пароходъ еще только подходитъ къ Адену, отписываютъ въ деревню, какъ они прибыли на Сахалинъ благополучно, и какія тамъ богатства ждутъ семейныхъ.

Это все Васька Горѣлый мудритъ.

Васька — „обратникъ". Былъ сосланъ на Сахалинъ, бѣжалъ, на бревнѣ переплылъ бурный Татарскій проливъ, „дохъ съ голода" въ тайгѣ, добрался до Россіи, совершилъ новое преступленіе, попался. Впереди у него безсрочная, прикованье къ тачкѣ, плети. Въ трюмѣ онъ ведетъ игру въ самодѣльныя карты, шуллерничаетъ, даетъ, какъ человѣкъ бывалый, совѣты новичкамъ „насчетъ Сакàлина", беретъ за это съ нихъ послѣдніе гроши, копитъ деньги, чтобъ занять потомъ въ кандальной тюрьмѣ почетное положеніе, сдѣлаться „отцомъ", т.-е. ростовщикомъ.

Въ каждомъ трюмѣ имѣются „обратники", и они-то разсказываютъ каторжанамъ насчетъ Сакàлина. И разсказываютъ отчасти правду.

Это одна изъ несправедливостей сахалинской каторги. Ивановъ и Петровъ совершили одно и то же преступленіе. Вмѣстѣ убивали, вмѣстѣ грабили. Оба приговорены на одинъ и тотъ же срокъ. Но Ивановъ — холостой и долженъ сидѣть въ тюрьмѣ, а къ Петрову пришла семья, — и онъ живетъ на волѣ, какъ поселенецъ, исполняя только „урочную" работу, да и отъ той освобождается на первое время „для домообзаводства".

— Черезо что сижу? — говоритъ холостой каторжникъ, — нешто черезъ то, что убилъ? Черезъ то, что неженатый! Былъ бы женатый, на волѣ бы ходилъ!

Это и превращаетъ выписку женъ въ спекуляцію.

— Главное, чтобъ жена поскорѣе пріѣзжала. Жена пріѣдетъ, — сейчасъ выпустятъ для домообзаводства. Въ тюрьмѣ маяться не будешь, дура!.. — наставляютъ обратники.

— Ты ей такъ валяй, будто ужъ пріѣхалъ. И про курей, и при свиней, и сколько на посѣвъ даютъ! Для васъ, для чалдоновъ, это — первое! Чалдонье желторотое!

„Чалдонъ“ — слово сибирское, — означаетъ вольнаго человѣка, осѣдлаго. Оно переносится и на всякаго, кто имѣетъ домъ, семью, хоть какой-нибудь достатокъ, хоть что-нибудь на свѣтѣ. И въ томъ, какъ бѣглый каторжникъ, „варнакъ“, произноситъ это „чалдонъ“ — слышится много ненависти даже къ маленькому достатку, много презрѣнія бездомнаго бродяги ко всему, что зовется домомъ, семьею...

— Про курей, про курей не забудь написать! Скорѣй пріѣдетъ! — глумится „обратникъ“, диктуя письмо писарю.

Въ каждомъ трюмѣ есть свой писарь, который сочиняетъ письма неграмотнымъ.

Во второмъ трюмѣ письма пишетъ бойкимъ, красивымъ писарскимъ почеркомъ бродяга Михаилъ Ивановъ, изъ парикмахеровъ, — „чиркнулъ одного по горлу, и потому званіе теперь скрываетъ“.

Бродяга Ивановъ пишетъ письма „всѣ подъ одно“, подъ диктовку Васьки Горѣлова, съ которымъ они работаютъ пополамъ, въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ описываетъ прелести сахалинскаго житья.

А въ четвертомъ трюмѣ сидитъ настоящій художникъ по части писемъ. Хорошо грамотный полячокъ — столяръ, сосланный за гнусное преступленіе, совершенное надъ родной сестрой. Онъ пишетъ кудревато:

— „Склоняю свою буйную головушку на ваши дорогія колѣнки и цѣлую ваши сахарныя ножки, ваши бѣлыя, ненаглядныя ручки“.

Бѣдная, бѣдная Матрена Никонова, Тульской губерніи, Епифанскаго уѣзда, сельца Зиборовки! Въ какое недоумѣніе она должна притти, когда ей прочтутъ по складамъ, что ея „мужикъ“ „Стяпанъ“ цѣлуетъ ея ножки, — да еще „сахарныя!“

Сколько тоски, тоски недоумѣнія, будетъ у нея на лицѣ, когда ей станутъ читать эту вычурную галиматью.

Бѣдная, бѣдная, неграмотная Русь.

Сколько спекуляціи, но и сколько истинной захватывающей тоски въ этихъ письмахъ къ женамъ. Какимъ страстнымъ, отчаяннымъ призывомъ они полны:

— Приди!

Одни умоляютъ, заклинаютъ:

— „Вспомните клятву вашу въ церкви и какъ вы мнѣ страшную клятву давали въ тюремномъ замкѣ, чтобъ безпремѣнно пріѣхать. Не слушайте никого, поѣзжайте въ городъ, супруга наша, и заарестуйтесь!“

Умоляютъ, заклинаютъ и пишутъ на „вы“, потому что русскій человѣкъ въ письмахъ любитъ вѣжливость.

Другіе грозятъ:

— „Пріѣзжайте, потому что намъ извѣстно отъ начальства, если только жена не согласится слѣдовать за мужемъ, можно жениться“.

Молодой солдатъ, сосланный за преступленіе на военной службѣ, описываетъ даже женѣ:

— „А если не пріѣдешь, на зло тебѣ такую здѣсь на Сахалинѣ себѣ кралю возьму, что на тебя плюнуть слюней будетъ жалко!“

Нѣкоторые угрожаютъ „придти“.

— „Если не пріѣдите, до свиданья, Аннушка. Я все-таки думаю васъ видѣть. Хоть не скоро, увижу. Не близко, — а приду“.

Но больше все-таки молятъ, просятъ. Чѣмъ только не соблазняютъ эти томящіеся люди своихъ женъ:

— Приди!

Одинъ успокаиваетъ:

— „Только въ народѣ несправедливо говорятъ, что изъ моря показывается фараонъ, половина туловища рыбнаго, половина человѣчьяго, и съ нимъ чудища. Ничего этого нѣтъ. Поѣзжайте, не бойтесь!“

Другой совѣтуетъ ѣхать „даже для здоровья“:

— „Будете на пароходѣ купаться. Вода хоть и солона, но очень полезна, — если человѣкъ боленъ, то можетъ поправиться на этой водѣ, всякую боль выгоняетъ изъ нутра“.

Какъ это ни странно, но очень многіе стараются соблазнить женъ даже... фруктами.

— „Апельсины, которые вы такъ любите, здѣсь ни по чемъ, а въ Суэскѣ (Суэцъ) я даже купилъ десятокъ лимоновъ за двѣ копейки. Лимоны прямо задаромъ!“

И надъ всѣми этими страстными, захватывающими, словно предсмертной мольбы полными призывами, надъ этими наивными соблазнами, — царитъ, владычествуетъ ложь про „привольное, богатое сахалинское житье“.

Право, это могло бы показаться мнѣ выдумкой, если бы я самъ не списалъ этихъ фразъ изъ арестантскихъ писемъ:

— „Не знаю, какъ Бога благодарить, что я попалъ на Сахалинъ“.

— „Житье здѣсь,— однимъ словомъ, не работай, ѣшь, пей, душа, веселись!“

И все это сочиняется и посылается въ деревню мѣсяца за полтора до пріѣзда на Сахалинъ, по разсказамъ, по совѣтамъ „обратниковъ“.

И читаются эти письма по деревнямъ. И идутъ въ городъ и „заарестовываются“, и начинается мученическая жизнь.

Что заставляетъ этихъ женщинъ бросать родину, близкихъ, „садиться въ острогъ“, бродить по этапамъ,— что заставляетъ этихъ женщинъ, для которыхъ міръ кончается за сосѣднимъ селомъ, пускаться въ плаваніе „на край свѣта“, черезъ моря, „черезъ океаны, полные чудовищъ“, ѣхать въ страну чужую, дальнюю, страшную?

Любовь?

— Она проклятая!

Этотъ отвѣтъ вы услышите отъ „добровольно послѣдовавшихъ“ рѣдко.

Чаще услышите:

– Тоже не велика радость, апосля какъ такое стряслось, на селѣ жить. Глазъ не покажешь! Однихъ попрековъ-то не оберешься. Всякъ тебя срамитъ, всякъ паскудитъ: „каторжница! мужъ каторжникъ!“ Бѣжала бы, куда глядятъ глазыньки.

Часто услышите также:

— Да вѣдь что онъ, подлецъ-то писалъ! Каки-таки чудеса! Сакалинъ да Сакалинъ! Думала, есть у него, аспида, совѣсть. Чужого человѣка погубилъ,— можетъ, своихъ-то губить не захочетъ. Повѣрила. Поѣхала,— думала, и впрямь жить будетъ... А тутъ... Вонъ онъ тебѣ и Сакалинъ!

И бѣдная баба съ отчаяніемъ оглядываетъ кое-какъ сколоченную хату, пустой дворъ, на которомъ „ни курочки“, ребятишекъ, которые пищатъ:

— Мамка! Ѣсть хочу!

А въ домѣ — ни крошки.

Очень многія ѣдутъ по чувству долга:

— Разъ Богъ соединилъ, ничто ужъ разлучить не можетъ.

— Клятва дадена, въ церкви вѣнчаны,— значитъ, навсегда...

Очень многія ѣдутъ въ надеждѣ „на новыхъ мѣстахъ“ на новую жизнь, спокойную, трудовую, зажиточную. На старомъ мѣстѣ грѣхъ вышелъ, жизнь разбита. На новыхъ мѣстахъ ихъ никто не знаетъ, они никого не знаютъ:

— Ровно вчера родились! Живи.

Земли въ волю, на обзаведенье все дадутъ. Всѣ будутъ работать, не покладая рукъ. А тутъ...

„Добровольно слѣдующихъ", какъ я ужъ говорилъ, отправляютъ почему-то осеннимъ рейсомъ, самымъ труднымъ.

Пароходъ приходитъ на Сахалинъ, въ постъ Александровскій, нашей поздней осенью, сахалинской ранней зимою.

Вотъ картина прибытія „добровольно слѣдующихъ",—какъ описываетъ ее мнѣ въ письмѣ супруга одного изъ сахалинскихъ врачей:

— „Мнѣ пришлось посѣтить ихъ (добровольно послѣдовавшія семьи) въ карантинномъ сараѣ, когда онѣ, по прибытіи сюда, сидѣли въ этомъ ужасномъ мѣстѣ въ ожиданіи, пока ихъ разберутъ родственники. Многимъ изъ нихъ приходилось сидѣть очень долго, пока наводились справки, гдѣ находятся мужья этихъ несчастныхъ женъ. Сахалинская пурга (вьюга) была въ этотъ день во всей своей силѣ. Крутило и рвало такъ, что въ двухъ шагахъ не видно было ничего. Мы еле добрались до сарая. Этотъ сарай, какъ вы знаете, на берегу моря,— но моря видно не было, былъ слышенъ только вой, крикъ, гулъ какой-то. Никакого ада злѣе выдумать нельзя, а у многихъ изъ этихъ бѣдныхъ женъ и дѣтей не было ничего, кромѣ лохмотьевъ. Сарай былъ буквально набитъ народомъ. Когда мы вошли съ докторомъ П., то всѣ ринулись къ нему съ разспросами: „Нашелся ли мужъ? Гдѣ мужъ? Когда возьметъ?" Дѣти пищатъ: „Нашелъ тятьку? Гдѣ онъ? Когда придетъ?" А эти тятьки и мужья когда-то еще найдутся, да и, отыскавши ихъ, не велико счастье обрящешь..."

Тѣмъ, у кого мужья на югѣ Сахалина, приходится цѣлую зиму, — студеную, жестокую сахалинскую зиму, — до перваго весенняго рейса жить въ посту Александровскомъ на казенномъ „пайкѣ", котораго еле-еле хватаетъ, чтобы не умереть только съ голода.

— А одѣться, а обуться нужно? А дѣтишекъ обуть, одѣть?

— Какъ же живутъ?

— Да такъ и живутъ!

Тѣ, кого вы спрашиваете, только машутъ рукой.

На посту Александровскомъ я проѣзжалъ мимо складовъ. Смотрю, — куча бабъ, и начальникъ тюрьмы пайки имъ раздаетъ.

— Что за народъ?

— Добровольно слѣдующія. Завтра на „Байкалѣ" въ Корсаковскъ къ мужьямъ идутъ.

— Когда же ихъ привезли?

— Привезли-то еще въ прошломъ году въ ноябрѣ. Да тогда ужъ пароходнаго сообщенія съ Корсаковскомъ не было. Вотъ

и оставили ихъ зимовать до перваго весенняго рейса въ Александровскѣ.

— Да вѣдь пароходъ, который ихъ привезъ, могъ сначала въ Корсаковскъ зайти?

— Могъ-то, могъ, да такой ужъ порядокъ, чтобъ всѣхъ, добровольно слѣдующихъ, сначала въ Александровскъ доставлять, а отсюда ужъ разсылаютъ.

Изголодавшіяся, исхолодавшіяся изъ-за „такого порядка", неизвѣстно для чего цѣлую зиму просидѣвшія въ Александровскомъ, бабы, ворча и ругаясь, увязывали въ платки „пайки". Все валили вмѣстѣ: крупу, рыбу, хлѣбъ.

— Ты бы, тетка, поаккуратнѣе!

— Нечего тутъ разбирать! Все въ одинъ день спахтаемъ! Отощамши. Сакалинъ, чтобъ ему пусто было!

Невдалекѣ одна изъ бабъ сидѣла, разливалась, плакала.

— Чего она?

— Извѣстно, къ мужу итти не хотца! Набаловалась за зиму-то!

— Набалуешься, какъ съ голоду дохнуть придется да съ холода!

— Какъ теперь мужу покажется?

Баба была въ интересномъ положеніи.

— Охъ, убьетъ онъ меня, родныя! Охъ, конецъ моей жизнюшкѣ! — ревѣла несчастная женщина.

А рядомъ съ ней другая причитала по другому поводу.

— И на что я теперь на этотъ Сакалинъ попала? Въ Рассеюшку бы!

— Да вѣдь сама ѣхала!

— Да развѣ я для себя ѣхала? Для дѣтей все. Сама-то я одна завсегда себѣ пропитанье найду, въ работницы пойду. А съ дѣтьми куда я дѣнусь? Изъ-за дѣтей сюда и ѣхала.

— Ну, а гдѣ жъ дѣти?

— Примерли. Двое меньшенькихъ на пароходѣ померли, а старшенькій здѣсь, въ Александровскомъ посту, по зимѣ померъ. Сирота я горькая, чего я теперь къ моему аспиду пойду? Провались онъ пропадомъ!

Я былъ при отходѣ этого парохода „Байкалъ".

На пристани одна баба рвала на себѣ волосы, рыдала навзрыдъ. Плакали дѣти. А около стоялъ поселенецъ, убитый, растерянный, мялъ въ рукахъ картузъ и повторялъ:

— Такъ что ужъ прощайте!..

А у самого глаза были полны слезъ.

— Господи! Господи! — вопила баба, — за что казнишь! Этакого-то человѣка, хорошаго, да добраго, да смирнаго, да работящаго, кидать должна! Къ идолу итти, къ убивцу! Что жъ

На пароходѣ Добровольнаго флота. Высадка женщинъ на Сахалинѣ.

опять онъ меня смертнымъ боемъ бить зачалъ, дѣтей калѣчилъ! Отъ такого-то человѣка! Меня-то какъ любилъ! Дѣтямъ моимъ лучше родного отца былъ!

— Такъ что ужъ прощайте... Такъ что ужъ прощайте! — побѣлѣвшими дрожащими губами повторялъ поселенецъ.

— Эка баба-то какая горькая! — сказалъ мнѣ одинъ служащій, — и тамъ, въ Россіи, подлецъ-мужъ жизнь разбилъ, и здѣсь нашла было счастье, полюбила человѣка, — бросать должна.

— Такъ нельзя ли какъ-нибудь... Ну, не отправлять ее къ мужу...

— Невозможно. За мужемъ пришла, — къ мужу и должна итти. Порядокъ!

И вотъ эти „добровольно слѣдующія“, послѣ всѣхъ мытарствъ, „поступаютъ“, наконецъ, къ мужьямъ, которыхъ онѣ спасли отъ тюрьмы цѣной собственной жизни, страданій, мученій.

Кто же приходитъ къ ней изъ тюрьмы вмѣсто ея „Стяпана“, мужика, приговореннаго за нанесеніе смертельныхъ побоевъ въ пьяномъ видѣ?

Выходитъ „жиганъ“, — игрокъ, готовый проиграть и ее, и себя. Картежная игра—это все захватывающая, все поглощающая страсть каторги. Я видѣлъ „жигановъ“, лежащихъ въ больницѣ вслѣдствіе истощенія: проигравъ впередъ свой паекъ, они недѣлями ничего не ѣли. Я видѣлъ жигановъ, проигрывавшихъ въ больницѣ другимъ больнымъ свои лѣкарства.

Выходитъ „хамъ“, — самое презираемое существо, даже въ каторгѣ. Наголодавшееся, отощавшее, полупомѣшанное отъ голодной жадности существо, готовое за одну копейку на все.

Выходитъ представитель несчастной „шпанки“, изолгавшійся, изворовавшійся, забитый, трусливый, несчастный.

И ей, шедшей за мужикомъ „Стяпаномъ“, придется жить съ „жиганомъ“, съ „хамомъ“, со „шпанкой“.

Есть исключенія. Люди, которые ухитряются „уцѣлѣть“ въ тюрьмѣ, выйти изъ нихъ такими же „Стяпанами“, какъ вошли. Ихъ спасаетъ эта надежда:

— Пріѣдетъ жена, пріѣдутъ дѣти. Будемъ жить.

И, среди грязи и ужаса каторги, эта надежда ихъ хранитъ и спасаетъ.

Но это только исключенія.

Они спасены, но какою цѣной — Сакалинъ жизнь за жизнь требуетъ, страна ужъ такай! — какъ говорятъ здѣсь.

А сколько напрасныхъ жертвъ! Сколько напрасно загубленныхъ жизней!

„Добровольно слѣдующую“ съ мужемъ отправляютъ на поселенье.

— Ни лошаденки, ничего! — слышите вы отъ поселенокъ, „добровольно послѣдовавшихъ“, въ глухихъ, голодныхъ сахалинскихъ посельяхъ, — дадутъ тебѣ мотыгу (родъ заступа), много ли земли намотыжешь? Какая это пашня!

— Просили бы лошадь.

— Лошадей не даютъ, нѣту. Просили, просили — насилу коровенку въ разсрочку выпросили. Да и ту бродяги зарѣзали. Теперь и коровы нѣтъ и деньги въ казну каждый мѣсяцъ плати!

Это, какъ нельзя болѣе, частая жалоба.

И такъ нищенское хозяйство еле-еле идетъ, а тутъ, что есть, послѣднее бѣглые, бродяги разоряютъ.

Въ концѣ концовъ, ссыльно-каторжная — это повсемѣстно предметъ зависти для „добровольно слѣдующихъ“:

— Имъ и паекъ, имъ и все. А намъ что? Имъ ли не житье? Гуляй — не хочу. Отдадутъ сожителю, — не понравится ей — уйдетъ, другого дадутъ!

„Каторжныя работы“ для женщинъ состоятъ въ томъ, что каторжанки обязаны шить бѣлье на тюрьму.

Каторжанка „сожительница“, особенно помоложе да попригожѣе, предпочитаетъ „гулять“, а шить бѣлье отдаетъ обыкновенно „добровольно слѣдующимъ“, благо тѣ отъ нищеты берутъ гроши.

И вотъ, получается, поистинѣ, удивительная картина „каторги!“

Каторжанка „гуляетъ“, а женщина, принесшая себя въ жертву, добровольно послѣдовавшая за мужемъ, исполняетъ за нее „каторжныя работы“.

Я сидѣлъ у одной „добровольно слѣдующей“ въ посту Корсаковскомъ, бесѣдовалъ объ ея житьѣ-бытьѣ,—какъ вдругъ дверь отворилась, и въ горницу, шурша новымъ платьемъ, влетѣла сосѣдка, каторжница, „сожительница“ игрока-поселенца, молодая, красивая бабенка.

— Митревна! яичекъ у тебя нѣту? Опять гости къ намъ пришли, водки принесли, яичницы требуютъ!

„Митревна“ даже позеленѣла вся.

— Куры еще для тебя не неслись!

— Чего ты огрызаешься, злыдня?!

И „сожительница“ съ такимъ же шумомъ исчезла, хлопнувъ за собой дверью.

— Шкура! — пустила ей вдогонку Митревна.

На бѣдной бабѣ лица не было. Она вся тряслась отъ бѣшенства.

— Яичницы жретъ! Водку жретъ! Гуляетъ! Туда же надъ нашей сестрой кочевряжется! Ей паекъ идетъ! Какъ же! Она,

ишь, „каторжная“! А мы не каторжныя? Что мужа въ куски изрубила, — такъ и гуляй?! А мы голодомъ мри. Ей — паекъ, а намъ что? Намъ что?!

Она ревѣла, гремѣла ухватами, колотила попадавшихся подъ руку дѣтей, продолжала работать, давясь слезами, и со злобой, съ завистью говорила о каторжанкѣ, — она, „добровольно послѣдовавшая“ за мужемъ на каторгу, эта „русская женщина“.

Жить — вѣчно дрожать, что любимаго человѣка, за которымъ пошла на каторгу, каждую минуту могутъ выпороть, по первому капризу, первой жалобѣ заковать и посадить въ „кандальную“. Изругать послѣдними словами за то, что онъ не снимаетъ шапки передъ какимъ-нибудь возвращающимся изъ клуба служащимъ, — а онъ долженъ стоять въ это время безъ шапки, дрожа отъ безсильнаго бѣшенства и страха и говорить:

— Простите, ваше высокоблагородіе!

Видѣть ежечасное, ежеминутное униженіе любимаго человѣка, тяжкое, часто гнусное.

Слава Богу, что на Сахалинѣ мало „добровольно слѣдующихъ“ интеллигентныхъ женщинъ.

Въ посту Александровскомъ вы встрѣтите маленькую, миніатюрную женщину, скорѣе ребенка, съ дѣтскимъ лицомъ, подѣвичьи заплетенной косой. На видъ ей лѣтъ 17.

— Должно-быть, дочь кого-нибудь изъ служащихъ?

— Нѣтъ, это жена ссыльно-каторжнаго Э.

Этотъ ребенокъ здѣсь, среди каторги. Ей бы, казалось, еще жить подъ крылышкомъ у родныхъ. А, между тѣмъ, жизнь этого ребенка такая трагедія, какой не вынести и большому-то пожившему человѣку.

Ея женихъ, совсѣмъ еще юноша, убилъ своего товарища.

— Совершивъ это подъ вліяніемъ мозгового увлеченія! — какъ довольно витіевато объясняетъ онъ.

Его приговорили на 20 лѣтъ каторжныхъ работъ.

Ихъ любовь была „дѣтскою любовью“: они оба еще учились.

Но этотъ ребенокъ пожелалъ слѣдовать за своимъ несчастнымъ женихомъ. И рѣшимость принести себя въ жертву была такъ велика, что родителямъ молодой дѣвушки пришлось уступить. Она выхлопотала себѣ разрѣшеніе слѣдовать на томъ же пароходѣ, на которомъ отправляли ея жениха.

Это стоило большого труда. Это „не по правиламъ“.

Въ Одессѣ молодой дѣвушкѣ объявили:

— Вы можете отправляться только со слѣдующимъ пароходомъ. Съ этимъ — ни подъ какимъ видомъ.

Эта юная, со школьной скамьи дѣвушка бросилась хлопотать, просить, умолять, — и добилась своего. Одесскій градоначальникъ приказалъ взять ее на пароходъ.

Что это было за путешествіе — можете судить.

И такъ-то тяжело ѣхать пассажиромъ на „каторжномъ“ пароходѣ. Тяжко плыть подъ это неумолчное громыханье, лязгъ кандаловъ, которые доносятся изъ трюмовъ.

А слушать эту неумолчную, страшную пѣсню, зная, что въ этомъ хорѣ звенятъ и его кандалы. Ходить по палубѣ, зная, что тамъ, подъ ногами, въ трюмѣ среди сѣрыхъ халатовъ и на половину бритыхъ головъ, среди людей, потерявшихъ человѣческій обликъ, томится любимый человѣкъ...

— Она меня спасла! — говорилъ мнѣ Э., — безъ нея я бы погибъ. Чтобы мнѣ было полегче, меня перевели въ лазаретъ. И вотъ въ Сингапурѣ ко мнѣ входитъ конвойный.

Въ Сингапурѣ пароходъ пришвартовывается прямо къ пристани, спускаются сходни. Близость земли дразнитъ каторжанъ. Въ Сингапурѣ у нихъ всегда разыгрываются мысли о побѣгѣ. Конвойный предложилъ Э:

— Слушай, за мной есть преступленіе. Какъ только пароходъ придетъ во Владивостокъ, меня сдадутъ подъ судъ, а военный судъ не помилуетъ. Мнѣ остается одно — бѣжать. Хочешь бѣжать вмѣстѣ? Одинъ я здѣсь, въ чужой землѣ, пропаду, я человѣкъ безъ языка. Ты человѣкъ съ языкомъ, знаешь по-ихнему, — вмѣстѣ не пропадемъ. Сегодня ночью я буду стоять на часахъ у лазарета, — вмѣстѣ и уйдемъ.

— Какая жажда свободы проснулась!—говоритъ Э.,— даже голова закружилась. Да какъ вспомнилъ, что здѣсь она, что она мнѣ всю жизнь отдала. Что я собираюсь дѣлать? И отвѣтилъ конвойному: „нѣтъ“.

Побѣгъ, конечно не удался бы. Англійскія власти живо поймали бы бѣглецовъ и доставили обратно. А тогда — вѣчная каторга, плети.

— Если бы не она, — погибъ бы я.

Несчастный Э. правъ. Она и въ каторгѣ, здѣсь, на Сахалинѣ, его спасла, — но какою цѣной?

— Сакалинъ! Жизнь за жизнь ему отдать надо. Такой ужъ порядокъ! — вспоминается поговорка каторжанъ.

По прибытіи на Сахалинъ Э. помѣстили, какъ долгосрочнаго, въ кандальную тюрьму, а молодую дѣвушку пріютила семья доктора Л.

И началась „жизнь“ съ маленькими, грустными праздниками: получасовыми свиданіями по воскресеньямъ въ тюрьмѣ.

Ждали, пока Э. выпустятъ изъ кандальной. Но тутъ въ дѣло вмѣшалась сахалинская администрація. Она поняла разрѣшеніе слѣдовать за женихомъ такъ:

— Значитъ, мы должны ихъ немедленно перевѣнчать.

Молодой дѣвушкѣ было предписано:

— Или немедленно вѣнчаться или уѣзжать.

Свадьба состоялась въ Александровскомъ соборѣ. Жениха съ конвойными привели изъ кандальнаго отдѣленія.

Это была картина вѣнчанья, среди слезъ, — вѣнчанья, на которомъ всѣ плакали.

— До сихъ поръ, какъ вспомню, сердце переворачивается! — разсказывала мнѣ жена доктора.

Изъ церкви „молодые“ зашли въ домъ доктора Л., напились чаю, а черезъ 10 минутъ Э. снова отправили въ „кандальную“. Брачный пиръ былъ конченъ.

Г-жа Э. осталась жить въ семьѣ доктора.

Свиданья съ мужемъ, какъ раньше съ женихомъ, попрежнему происходили по воскресеньямъ въ тюрьмѣ.

Чего-чего не вынесла эта маленькая страдалица „новобрачная“.

Она ученица консерваторіи, отличная піанистка, которой сулили блестящее будущее, — и она должна была ходить играть на вечеринкахъ у гг. служащихъ. Играть имъ танцы, аккомпанировать ихъ пѣнью, — все это, конечно, „изъ любезности“.

— Ну, чего вы идете? — говорятъ ей, бывало, въ семьѣ доктора Л., — до того ли вамъ? Вы посмотрите. Извелись совсѣмъ, на себя не похожи...

— Нельзя, нельзя! — отвѣчаетъ она, — присылали звать. Могутъ на меня обидѣться, — и на „немъ“ выместятъ!

Кто былъ на Сахалинѣ, кто видѣлъ, какъ дрожатъ несчастныя женщины за своихъ безправныхъ мужей, тотъ пойметъ, какимъ ужасомъ, вѣроятно, сжималось сердце бѣдняжки при одной этой мысли.

И она шла играть.

Гг. служащіе считали неудобнымъ подавать руку „женѣ ссыльно-каторжнаго“, и она, приходя на вечеринку играть „изъ любезности“, дѣлала общій поклонъ и немедленно садилась за піанино, ожидая приказанья.

— Играйте!

Особенно ее допекало всесильное лицо, — правитель канцеляріи, и тогда уже душевно-больной, вскорѣ затѣмъ посаженный въ сумасшедшій домъ.

— Послушайте, какъ васъ! — говорилъ онъ обыкновенно съ юпитеровскимъ величіемъ, — играйте то-то! Не такъ скоро! Играйте медленнѣе. Теперь играйте веселѣе! Что вы, чортъ знаетъ, какъ играете!

Она плакала и играла. Играла, низко наклонясь къ клавишамъ, чтобъ не замѣтили слезъ:

— Еще обидится.

И все для „него“.

Это длилось нѣсколько мѣсяцевъ. Какъ вдругъ на Сахалинъ пріѣзжаетъ изъ Петербуга очень вліятельное лицо.

Въ честь пріѣзжаго въ Александровскѣ, въ пожарномъ сараѣ, обычномъ мѣстѣ спектаклей, былъ устроенъ гг. служащими любительскій спектакль и танцовальный вечеръ. На спектаклѣ, въ качествѣ музыкантши, была и г-жа Э.

Вліятельный гость, предъ которымъ все преклонялось, вошелъ, оглянувъ собравшихся, замѣтилъ стоявшую у піанино г-жу Э., направился прямо къ ней и сказалъ:

— Здравствуйте, мое дитя!

И... поцѣловалъ ей руку.

Онъ зналъ ее по Петербургу.

Все измѣнилось въ одинъ моментъ. Г-жа Э. была окружена женами гг. служащихъ. При встрѣчѣ съ ней послѣ этого ужъ издали снимали фуражки. Всѣ наперерывъ выражали ей свое вниманіе и заботливость.

Ея мужъ вскорѣ былъ выпущенъ изъ тюрьмы. Ему поручили завѣдывать метеорологической станціей и дали даже маленькое жалованье. Ей дали мѣсто учительницы.

Они живутъ въ крошечной, уютной квартиркѣ при зданіи метеорологической станціи и школы. У нихъ есть ребенокъ.

Украшенье ихъ квартирки—это великолѣпное піанино, которое прислали ей родные изъ Россіи. Подъ піанино въ вѣнкѣ изъ колосьевъ портретъ ея великаго учителя — А. Г. Рубинштейна.

Музыка — это все, что краситъ ея жизнь въ долгіе, долгіе сахалинскіе зимніе вечера, когда за окномъ стонетъ и крутитъ пурга, а несчастный мужъ сидитъ и рисуетъ или пишетъ стихи.

Музыка, строгая, классическая, ея единственная радость, послѣ ребенка,—и играетъ она такъ, какъ не играетъ, быть-можетъ, никто. Только очень несчастные люди могутъ очень хорошо играть. Въ ея игрѣ чудится столько страданья, и горя, и муки, и слезъ...

Они счастливы, какъ можно быть счастливыми на Сахалинѣ... Но то, что пережито, навѣкъ испугало ее. Этотъ испугъ свѣтится въ ея дѣтскихъ глазахъ. Вся жизнь ея — трепетъ. Трепетъ за него.

Легкомысленный, еще мальчикъ, — онъ любитъ немножко „позволить себѣ“, какъ говорятъ на Сахалинѣ, — пройтись по улицѣ со знакомымъ служащимъ или пріѣзжимъ. И надо видѣть ее въ такія минуты.

Вѣдь впечатлѣнье отъ пріѣзда „вліятельнаго лица“ ужъ улеглось. Мало ли на кого, мало ли на что можетъ нарваться ея мужъ. Не понравится какому-нибудь служащему, что ссыльно-каторжный такъ „свободно“ разгуливаетъ. Поклонится онъ, по

легкомыслію, недостаточно почтительно какой-нибудь мелкой сошкѣ. Кандальная недалеко, и ссыльно-каторжные подлежатъ тѣлеснымъ наказаніямъ.

— Я пойду вмѣстѣ съ вами! — говоритъ Э.

И эта маленькая женщина какъ-то вся пугливо сжимается,— словно ужасъ ее охватываетъ, вотъ-вотъ сейчасъ ударятъ.

И предъ постороннимъ человѣкомъ его въ неловкое положеніе ставить не хочется. Она деликатна по природѣ, деликатна до безконечности. И за него она боится.

— Мнѣ нужно тебѣ сказать два слова!—старается она его отозвать въ сторону.

— Вѣчно у тебя секреты. Послѣ скажешь.

Даже зло беретъ:

— „Вѣдь за тебя же боятся! Какъ ты этого понять не хочешь!“

— Молодъ еще, никакъ понять не можетъ, что онъ уже ссыльно-каторжный! — какъ объяснялъ мнѣ одинъ старый служащій.

Стараешься ужъ притти къ ней на помощь:

— Знаете ли, я лучше одинъ пойду, — мнѣ къ такому-то еще зайти надо.

— Вотъ и отлично, и я къ нему зайду.

Наконецъ, она кое-какъ оттаскиваетъ его въ сторону, что-то быстро, быстро шепчетъ съ умоляющимъ видомъ, — и онъ, немного покраснѣвъ, говоритъ:

— Знаете ли, я, дѣйствительно, потомъ одинъ приду... У меня тутъ еще дѣльце одно есть...

Слава Тебѣ, Господи!

Странную пару представляютъ они.

Онъ, способный, даже талантливый, но какъ-то поверхностно, все быстро схватываетъ, все быстро ему надоѣдаетъ, диллетантъ, считающій себя геніемъ. Онъ любитъ попозировать, порисоваться всѣмъ: стихами, рисунками, даже своимъ преступленіемъ. Онъ считаетъ себя человѣкомъ необыкновеннымъ и спокойно принимаетъ ту человѣческую жертву, которая ему приносится.

Она тихая, трепещущая, робкая, безконечно деликатная, скромная, словно не сознающая, въ своей деликатности и скромности, величія той жертвы, которую она приноситъ.

Онъ любитъ ее, но иногда капризничаетъ, „командуетъ“. Она думаетъ только о немъ, ухаживастъ за нимъ, словно за тяжело больнымъ, и никогда никому не жалуется на долю, которая выпала ей.

Когда она говоритъ объ ихъ сахалинскомъ житьѣ, она старается счастливо улыбнуться. И эта „счастливая улыбка“

на блѣдномъ, печальномъ лицѣ, — словно слабый лучъ свѣта на мглистомъ, облачномъ осеннемъ небѣ...

Если разговоръ идетъ при немъ, — а они неразлучны, эта женщина - ребенокъ смотритъ за нимъ, какъ за ребенкомъ, — она спѣшитъ взглянуть на него своими испуганными глазами, словно боится:

— Не замѣтилъ ли онъ, что ей тяжело?

Только разъ, да и то безъ него, у нея вырвалось слово, которое перевернуло мнѣ сердце.

Я привезъ ей поклонъ отъ корабельнаго инженера, — она изъ семьи моряковъ, — который зналъ ее маленькой.

— Кланяйтесь и ему отъ меня. Вы его увидите, а я... я вѣдь *никогда*...

Она спасла своего „жениха“.

Но стоитъ ли его жизнь такой жертвы?

И когда я пишу теперь объ этой мученицѣ, мнѣ стыдно за мою бѣдную прозу. Она стоила бы того могучаго стиха, которымъ написаны „Русскія женщины“.

— Это что за женщина?

— Сожительница ссыльно-каторжнаго! — презрительно говоритъ служащій.

— Здѣсь получилъ?

— Нѣтъ, изъ Россіи пришла. Гувернанткой она у него была. Семья-то за Г. пойти не захотѣла, а гувернантка пошла, подавала прошеніе, — разрѣшили въ видѣ исключенія. Ребенокъ у нихъ тутъ есть.

— А какъ живутъ?

— Какъ съ нимъ можно жить! Тьфу, а не жизнь.

Этотъ Г. занималъ очень важное общественное положеніе. Онъ сосланъ за очень скверное преступленіе.

Каторга — ужасная вещь. Словно щипцы, которыми колятъ орѣхи. Она удивительно „раскусываетъ“ человѣка. Раскуситъ всю эту скорлупу, которая называется общественнымъ положеніемъ, и видитъ сразу, — было ли какое-нибудь зерно, или одна труха.

Трудно себѣ представить человѣка, который бы такъ быстро „пошелъ ко дну“, какъ этотъ. Словно топоръ!

Ни за что и не скажешь, что этотъ пьянчужка, съ избитой зачастую физіономіей, еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ былъ принятъ, даже блисталъ въ обществѣ. Словно всю жизнь прожилъ въ арестантскихъ ротахъ.

Удивительно, пришелся въ каторгѣ „по мѣсту“.

Занимается мелкими мошенничествами, пьянствуетъ, — его любимое общество — каторжанинъ-грекъ, сосланный за грабежи,

спеціалистъ по взлому кассъ, ничѣмъ другимъ въ своей жизни не занимавшійся.

„Сожительница“, пошедшая за нимъ на Сахалинъ, спасла Г. Безъ нея сидѣлъ бы онъ въ кандальной тюрьмѣ и, при его замашкахъ, натерпѣлся бы всего. Благодаря ей, онъ живетъ на свободѣ, своимъ домомъ, пьянствуетъ, состоитъ письмоводителемъ въ канцеляріи горнаго инженера и беретъ грошевыя взятки при распредѣленіи рабочихъ по рудникамъ.

А она живетъ, всѣми презираемая „сожительница“, интеллигентная женщина, которой приходится проводить время въ обществѣ громилъ, за водкой повѣствующихъ о своихъ похожденіяхъ.

Живетъ и не жалуется.

— Пожалуйся! Бьетъ онъ ее, когда пьяный!

— У насъ была тутъ одна интеллигентная женщина, добровольно послѣдовавшая за мужемъ, Добрынина. Окончила гимназію она,— разсказывала мнѣ жена начальника округа въ селеньѣ Рыковскомъ, — умерла, бѣдняжка, отъ воспаленія почекъ. На новое ихъ поселье послали! Тамъ въ землянкѣ и умерла. Гдѣ же женщинѣ такое вынести.

Знаете ли вы, что такое новое Сахалинское поселье?

Кругомъ тайга, хвойная, мертвая сахалинская тайга. Молчаливая. Ни шороха, ни звука. Только дятелъ нѣтъ-нѣтъ застучитъ, — словно крышку гроба заколачиваютъ. Жутко, тихо. Вѣтеръ сбилъ въ колтуны вершины сосенъ.

Кому-то изъ гг. служащихъ показалось, что здѣсь хорошо будетъ устроить поселье. Его назовутъ по имени и отчеству иниціатора: какимъ-нибудь Петрово-Ивановскимъ или Афанасьево-Михайловскимъ.

Сюда, въ этотъ дѣвственный лѣсъ, пробираясь по валежнику, по тундрѣ, приходитъ партія поселенцевъ. Рѣдко съ пилами, — пилъ, обыкновенно, „не хватаетъ“. Съ топорами и съ веревками. Вотъ и все для борьбы съ тайгою.

Ночуютъ подъ открытымъ небомъ. Валятъ деревья и мастерятъ землянки. Кой-какъ изъ стволовъ сколачиваютъ срубикъ, для теплоты обкладываютъ землей, въ видѣ крыши наваливаютъ валежникъ. И въ этихъ темныхъ берлогахъ спятъ, днемъ выходя на работу: выкорчевывать пни, поднимать новь безъ лошадей, безъ сохъ, — одними заступами — мотыгами.

Разъ ударилъ мотыгой, — два вершка земли вскошнулъ, другой разъ — опять два вершка.

Такъ вершками отнимаютъ землю у тайги, медленно, медленно, нехотя раздвигается тайга для новаго поселья.

— Каторга не въ тюрьмѣ. Каторга начинается съ выхода на поселенье! — говорятъ на Сахалинѣ, и говорятъ правду.

Работа голодная.

Пріѣдятъ паекъ поселенцы, — отправляютъ по очереди двоихъ въ постъ за пайками. Идутъ тѣ съ топорами, плутаютъ по тайгѣ, прорубаютъ себѣ въ чащѣ дорогу, валятъ деревья въ быстрыя горныя сахалинскія рѣки, и по этимъ мостамъ переходятъ. Пока-то они еще дойдутъ, пока пайки получатъ, пока назадъ придутъ, половину голоднаго пайковаго довольствія дорогой съѣдятъ — а тутъ жди. Случается, недѣлю яго-

Поселенческій бытъ. Строющееся селеніе.

дами однѣми питаются и работаютъ до изнеможенья, борются съ тайгой, а наборовшись за день, грязные, потные, мѣсяцами не мытые, валятся, какъ попало, въ темныхъ землянкахъ. Заболѣешь, — помощи ниоткуда. Лежи, выздоравливай или умирай въ землянкѣ, гдѣ и дышать-то нечѣмъ,

Въ такой землянкѣ, на такомъ новомъ поселкѣ, и жила, и схватила воспаленіе почекъ, и умерла несчастная Добрынина, интеллигентная женщина, пріѣхавшая дѣлить каторгу съ мужемъ.

Какая жизнь, какая смерть...

Слава Богу, что на Сахалинѣ мало-добровольно слѣдующихъ, интеллигентныхъ женщинъ.

При мнѣ въ Одессѣ отправлялась вслѣдъ за мужемъ, сосланнымъ за убійство во время ссоры, интеллигентная женщина.

Моряки—„добровольцы“—славный народъ, хлопотали, чтобъ устроить ее какъ можно получше. И каюту ей дали подальше отъ машины, чтобы спокойнѣе было. И лонгшезъ кто-то на палубу изъ своей каюты вытащилъ:

— Это будетъ вамъ!

И было что-то въ этой заботливости и трогательное и печальное.

— Словно вы, господа, на казнь ее везете и послѣднія минуты ей усладить хотите!

— А на что же мы ее веземъ?!

Уроженцы о. Сахалина.

Одно лицо, посѣтивъ два года тому назадъ постъ Корсаковскій, на югѣ Сахалина, захотѣло непремѣнно увидѣть:

— Уроженца острова Сахалина.

Ему привели двадцатилѣтняго парня, и „лицо“ торжественно, всенародно расцѣловало этого „уроженца“.

Я не знаю, что именно привело его въ такой восторгъ.

Онъ цѣловалъ, я полагаю, не этого несчастнаго парня, — онъ цѣловалъ еще болѣе несчастную идею о „сахалинской колоніи“.

Передъ нимъ было живое олицетвореніе этой идеи, — свободный житель Сахалина, не привезенный сюда, а здѣсь родившійся, здѣсь выросшій.

Я видѣлъ много этихъ „живыхъ воплощеній идеи колонизаціи“.

Я видѣлъ уроженцевъ о. Сахалина на свободѣ, видѣлъ ихъ въ послѣдственныхъ карцерахъ, видѣлъ въ тюрьмахъ отбывающими наказаніе за совершенныя преступленія, — и не скажу, чтобъ они приводили меня въ особый восторгъ.

Я отыскивалъ палача Комлева, закончившаго уже свою дѣятельность, числящагося въ богадѣльщикахъ и пришедшаго въ постъ Александровскій „на заработокъ“.

Комлевъ знаменитый сахалинскій палачъ. Безъ его участія совершено только 2 смертныхъ казни на Сахалинѣ. Онъ повѣсилъ 13 человѣкъ, спеціалистъ по этому дѣлу и по его словамъ:

— Кромѣ Комлева, этого сдѣлать никто не сумѣетъ.

— Не знаешь ли, гдѣ бы мнѣ найти Комлева? — обратился я къ встрѣчному поселенцу.

— А вонъ, ваше высокоблагородіе, изволите видѣть на концѣ улицы махонькую избушку. Туда и отправляйтесь. Онъ тамъ у польки нанялся дѣтей няньчить.

— Какъ дѣтей няньчить?

— Такъ точно. Онъ пришелъ Туманова вѣшать...

Въ то время прошелъ въ каторгѣ слухъ, что въ Александровской тюрьмѣ повѣсятъ бродягу Туманова. Тумановъ стрѣлялъ въ одного изъ чиновниковъ. Сахалинъ настаивалъ на казни „для острастки“ каторги. Но этого не случилось: Тумановъ былъ помѣщенъ въ психіатрическую больницу.

Виды сахалинской природы.

Прослышавъ про казнь, Комлевъ явился въ постъ Александровскій, чтобы заработать рубля три: безъ него повѣсить некому.

— Пришелъ вѣшать, а пока нанялся дѣтей няньчить?!

— На какую онъ больше работу, старый песъ, способенъ!

Въ маленькой избушкѣ возилась около печки рослая, здоровая баба. По угламъ пищали трое ребятишекъ.

— Посидите тутъ. Комлевъ съ самымъ махонькимъ въ фондъ (казенная лавка) пошелъ. Сейчасъ будетъ.

„Полька“, крестьянка Гродненской губерніи, отбываетъ еще каторгу.

Она пришла сюда,—бабы особенно не любятъ сознаваться въ преступленіи,—„по подозрѣнію въ убійствѣ мужа“.

— Потому и подозрѣніе упало, что меня за него силкомъ замужъ выдали, а за мной другой прихлестывалъ. Ну, на насъ и подумали, что мы „пришили“.

Въ каторгѣ она выучилась говорить, — не на русскомъ, а на каторжномъ языкѣ.

— Меня сюда послали, а съ которымъ я была слюбившись, слышно, въ Сибири. Вотъ и живу.

— А дѣти чьи? Изъ Россіи привезла?

— Зачѣмъ изъ Россіи. Дѣти — здѣшнія. Это двое, старшенькіе, отъ перваго сожителя. Поселенецъ онъ былъ, потомъ крестьянство получилъ, на материкъ ушелъ. А меньшенькій, котораго Комлевъ няньчитъ, отъ теперешняго сожителя. Кондитеръ онъ. Черезъ мѣсяцъ ему срокъ поселенчества кончается, крестьянство получитъ, тоже на материкъ уйдетъ.

— Ну, а этотъ отъ кого?

— Этотъ? А кто жъ его знаетъ!

— Ну, а когда кондитеръ твой на материкъ уйдетъ, тогда ты что жъ съ дѣтьми-то дѣлать будешь?

— А другого сожителя дадутъ.

Такъ „отбываетъ каторгу“ эта женщина, когда-то не вынесшая жизни съ нелюбимымъ мужемъ, и теперь переходящая отъ „сожителя“ къ „сожителю“ съ тупымъ, апатичнымъ видомъ.

Въ это время въ избушку вошелъ Комлевъ.

На рукахъ, которыя привыкли драть и вѣшать, онъ бережно несъ годовалаго ребенка.

Я отложилъ бесѣду съ нимъ до другого раза.

Палачъ съ ребенкомъ на рукахъ...

— Зайди ко мнѣ завтра... Только безъ ребенка!

Что будетъ потомъ съ этими дѣтьми, которыя родятся отъ сожителей, по окончаніи поселенчества уѣзжающихъ на материкъ, которыя родятся „кто его знаетъ отъ кого“, и растутъ здѣсь на рукахъ палача?

По фельетону „Темная Русь“ читатели знакомы уже съ „молодой Жакоминихой“, „прелестницей“ поста Корсаковскаго.

Отецъ и мать Жакоминихи были ссыльно-каторжные. Она родилась на Сахалинѣ.

— На Сакàлинѣ! — какъ говорятъ сахалинцы.

Она ничего другого не видала, кромѣ Сахалина. Говоритъ на томъ же языкѣ, на которомъ говорятъ въ кандальныхъ тюрьмахъ. И когда ей говорятъ, что есть другія страны, вовсе не похожія на Сахалинъ, она только съ недоумѣніемъ отвѣчаетъ:

— Да вѣдь и тамъ людей „пришиваютъ“ изъ-за денегъ!

Ее очень интересуетъ вопросъ:

— Правда, что въ Россіи не нужно снимать шапокъ передъ чиновниками?

И это кажется ей очень страннымъ.

Она знаетъ только два сорта людей: чиновниковъ и „шпанку", — такъ называются каторжане.

У нея двое дѣтей, которыхъ она очень любитъ и на которыхъ тратитъ все, что „добываетъ".

Дѣтей она одѣваетъ, какъ „чиновничьихъ дѣтей", — для себя ждетъ каторги, какъ чего-то самаго обыденнаго.

Вѣдь въ каторгу приговорятъ!

— Что жъ! Отдадутъ въ сожительницы. Меня любой поселенецъ и съ дѣтьми возьметъ: я — баба прибыльная.

Она говоритъ это спокойно, дѣловымъ тономъ.

Жакомииха была выдана замужъ тоже за сына ссыльно-каторжныхъ родителей.

Семья Жакомини давно была прислана на Сахалинъ изъ Николаева, отбыла каторгу, поселенчество, разжилась, имѣетъ большую торговлю. Молодой Жакомини жилъ съ женой въ селеніи Владимировкѣ, держалъ лавку, охотился на соболей. Жили, по-сахалински, — очень зажиточно. Но молодой бабѣ приглянулся поселенецъ. „Парень-ухватъ", отчаянный, изъ „Ивановъ", какъ зовутся удальцы каторги. Онъ кончилъ срокъ поселенчества, собрался на материкъ, и объ отъѣздѣ сказалъ Жакоминихѣ только наканунѣ.

— А меня возьмешь съ собой?

— Взялъ бы, если бы у тебя были деньжата.

Въ тотъ же день Жакомииха подсыпала мужу стрихнина. Стрихниномъ травятъ соболей, и онъ есть въ домѣ каждаго охотника.

Преступленіе было совершено изумительно откровенно. Жакомииха поднесла мужу отраву въ то время, какъ въ сосѣдней комнатѣ работники дожидались ихъ къ обѣду.

Когда Жакомини грохнулся на полъ, вбѣжали рабочіе и тутъ же около него подняли „поличное" — рюмку съ остатками порошка.

— Самъ отравился! — сразу объявила Жакомииха.

И первое, что сдѣлала, сейчасъ же начала вынимать изъ сундука деньги.

Она была страшно изумлена, когда ее притянули къ слѣдствію, и объясняетъ это только интригой со стороны стариковъ Жакомини.

— Какъ же къ слѣдствію? По какому полному праву на материкъ не пускаютъ? Нешто есть свидѣтели, что я ему отраву подносила?

Это — глубочайшая увѣренность каторги, что, если только нѣтъ свидѣтелей-очевидцевъ, стоитъ „судиться не въ сознаніи“, и никто васъ обвинить не имѣетъ права. А если и обвинятъ, то неправильно, не по закону.

— Должны оставить въ подозрѣніи, а не осуждать!

Отголосокъ старыхъ временъ, переходящій отъ поколѣнія каторжанъ къ поколѣнію.

Состоя подъ слѣдствіемъ, Жакомениха совершила новое преступленіе, — опять „безъ свидѣтелей“.

Однажды могила Жакомини была найдена разрытой. Въ крышкѣ гроба было прорублено отверстіе.

Собравшіеся „сахалинцы“ моментально узнали, чьихъ рукъ дѣло:

— Жакомениха! Это ужъ всегда такъ дѣлается! Дѣло первое!

„Жакоминихѣ“ началъ часто сниться ея покойный мужъ. А если начинаетъ мерещиться убитый, надо разрыть могилу и посмотрѣть, не перевернулся ли онъ въ гробу. Если перевернулся, надо положить опять какъ слѣдуетъ, и убитый перестанетъ являться и мучить.

— Да почему жъ, непремѣнно, это сдѣлала Жакомениха?

— Помилуйте,—да она съ малолѣтства это средство знаетъ. Съ дѣтства между убійцевъ! — совершенно резонно отвѣчаютъ служащіе на Сахалинѣ.

— Ну, и баба! — говорю какъ-то поселенцу.

— Да вѣдь оно, ваше высокоблагородіе, можетъ, по-вашему какъ иначе выходитъ. А по-нашему, по-Корсаковскому, завсегда случиться можетъ. Потому здѣсь въ каждомъ домѣ корешокъ борца имѣется...

„Борецъ“ — ядовитое растеніе, растущее на южномъ Сахалинѣ.

— Каждый держитъ!

— Зачѣмъ же?

— Случаемъ — для себя, коли невтерпежъ будетъ. Случаемъ — для кого другого. Только, что она не борцомъ, а трихниномъ отравила. Только и всего. А то бываетъ. Потому Сакáлинъ.

Викторъ Негель, молодой человѣкъ 20 лѣтъ, подслѣдственный арестантъ, содержавшійся въ карцерѣ Александровской кандальной тюрьмы, пожелалъ меня видѣть по какому-то дѣлу.

— Вы съ Негелемъ остерегайтесь оставаться наединѣ! — предостерегалъ меня начальникъ тюрьмы.

Для моихъ бесѣдъ съ арестантами предоставлялась тюремная канцелярія въ тѣ часы, когда въ ней не было занятій. Арестантъ входилъ одинъ, безъ конвойныхъ. Конвойные оставались ждать на дворѣ.

— Цапнётъ онъ васъ чѣмъ-нибудь, выпрыгнетъ въ окно на улицу—и дастъ стрекача: тамъ всегда толпятся поселенцы, дадутъ возможность бѣжать. А ему больше ничего и не остается, какъ бѣжать. Это, батюшка мой, человѣкъ, который въ своей жизни еще дѣлъ натворитъ!

Негель, дѣйствительно, не внушалъ симпатіи. Въ канцелярію вошелъ юноша небольшого роста, плотный, коренастый. Злые, раскосые глаза. Онъ былъ очень раздраженъ долгимъ сидѣніемъ въ карцерѣ. Необыкновенно ясно выраженная ассимметрія лица. Узенькій низкій лобъ. Короткіе, густые, мелко вьющіеся волосы, жесткіе, какъ щетина.

Наша бесѣда съ нимъ длилась часа три, — и, когда безпокоившійся начальникъ тюрьмы зашелъ въ канцелярію посмотрѣть, не случилось ли чего, онъ остолбенѣлъ отъ изумленія. Картина была престранная!

Негель ревѣлъ, какъ дитя. Я утѣшалъ его, отпаивалъ водой и, совершенно растерявшись, гладилъ по головѣ, какъ маленькаго ребенка.

— Что вы сдѣлали Негелю!? — только и нашелся спросить начальникъ тюрьмы.

Передавая свою просьбу, Негель разсказалъ всю свою жизнь. А она, дѣйствительно, такъ же ужасна, какъ отвратительно его преступленіе.

У него убили мать. Черезъ десять мѣсяцевъ послѣ этого онъ самъ совершилъ убійство.

Убилъ жену ссыльнаго М. Онъ былъ вхожъ какъ свой въ эту семью. Негель зашелъ къ нимъ, когда самого М. не было дома, а жена хлопотала по хозяйству.

— Гдѣ Иванъ Иванычъ? — спросилъ Негель.

— А тебѣ какое дѣло!—будто бы отвѣтила ему рѣзко М.

Негель схватилъ желѣзную кочергу и началъ ею бить несчастную женщину по головѣ. Это было дѣйствительно звѣрское убійство. Негель продолжалъ ее бить и мертвую. Билъ съ остервенѣніемъ: лица не было, зубы были забиты ей въ горло.

Покончивъ съ убійствомъ, онъ убѣжалъ, вымылся, переодѣлся и, когда убійство было открыто, прибѣжалъ на мѣсто однимъ изъ первыхъ.

Пока составляли протоколъ, Негель няньчился и игралъ съ маленькими дѣтьми только что убитой имъ женщины, — ихъ не было при убійствѣ: они были въ гостяхъ у сосѣдей.

Негель больше всѣхъ высказывалъ сожалѣнія, ужасался, негодовалъ на „злодѣя“ и даже указалъ на одного поселенца, какъ на убійцу.

— Зачѣмъ? Золъ ты на него былъ?

— Нѣтъ! А только это всегда такъ дѣлается. Всегда другого „засыпать“, чтобъ съ себя подозрѣніе снять. Это ужъ такъ водится.

За что онъ убилъ такъ звѣрски несчастную женщину?

Говорятъ, что Негель, выслѣдивъ, когда М. ушелъ изъ дома, явился съ гнусными намѣреніями.

Негель говоритъ, что покойная кокетничала съ нимъ и перебрала у него въ разное время 50 рублей.

Когда она дерзко отвѣтила ему, Негель сказалъ ей:

— Ты чего жъ на меня, какъ собака, лаешь? Деньги ни за что берешь, а лаешься? Только крутишь!

— А чего жъ и нѣтъ? Ты еще малолѣтокъ, тебя можно и окрутить.

— Я каторжника сынъ, — отвѣчалъ ей Негель, — меня не окрутишь!

М. будто бы расхохоталась, и Негель, не помня себя, началъ ее бить. Онъ пришелъ въ изступленіе, не помнитъ, долго ли билъ,—и потомъ, придя къ трупу, съ удивленіемъ смотрѣлъ:

— Экъ, я ее какъ!

— Вотъ я ее за что убилъ, — вовсе не такъ, здорово-живешь, а за 50 рублей!

— Да развѣ за 50 рублей убивать людей можно?

Лицо Негеля стало еще сумрачнѣе и мрачнѣе.

— А ни за что ни про что людей убивать разрѣшается? У меня мать убили. — За что? Вонъ, онъ говоритъ, что убилъ ее, съ ней жимши. А я вамъ прямо скажу, что вретъ. Никакой коммерціи онъ съ ней не имѣлъ! — три копейки ему и цѣна-то вся! Вы посмотрите на него!

Его мать, 50-лѣтнюю женщину, зарѣзалъ его же учитель, поселенецъ Вайнштейнъ.

Вайнштейна приговорили на 4 года каторги. Это приводитъ Негеля въ бѣшенство:

— За мою мать на 4 года?! А вонъ безногаго за то, что женщину убилъ, на 20 лѣтъ! Что жъ это! Послѣ этого судъ— это просто вторыя карты!

Негель уроженецъ Сахалина. Его отецъ и его мать, оба сосланные въ каторгу за убійства, встрѣтились въ Усть-Карѣ и вмѣстѣ попали на Сахалинъ.

Онъ не помнитъ отца, но воспоминанія о матери заставили его разрыдаться.

И такъ страшно вздрагиваетъ и сжимается сердце, когда этотъ злобный, безжалостный убійца, рыдая, говоритъ:

— Мама! Моя мама!

— Когда убили мать, я озлился, я другой человѣкъ сталъ. Ага, — значитъ людей ни за что ни про что убивать можно!

Хорошо же, такъ и будемъ знать!.. Онъ, Вайнштейнъ, и меня погубилъ. Мама изъ меня человѣка сдѣлать хотѣла. Если бы онъ ея не убилъ, я бы никогда не былъ каторжникомъ. Я при мамѣ совсѣмъ другой былъ. А теперь, что я? Каторжникъ. Приговорятъ лѣтъ на десять. А потомъ, Богъ дастъ, заслужу и безсрочную.

Его просьба ко мнѣ заключалась въ томъ, чтобы я попросилъ губернатора:

— Пусть меня переведутъ изъ Александровской тюрьмы въ другую. Здѣсь Вайнштейнъ сидитъ, и долженъ я его зарѣзать.

Арестантскіе типы. Въ кандальной тюрьмѣ.

— Почему же „долженъ“?

— Долженъ. Меня въ одиночкѣ держатъ, а какъ въ общую пустятъ, я его сейчасъ „пришью“. А мнѣ еще въ безсрочную итти не хочется. Пусть меня съ нимъ въ одну тюрьму не сажаютъ! Мнѣ его не жаль, мнѣ себя жаль!

— Ну, хорошо! А той, которую ты убилъ, тебѣ не жаль?

— Часомъ. Мнѣ ея такъ бываетъ жаль, что плачу у себя въ одиночкѣ. Ея — и дѣтей. А какъ вспомню, какъ мать у меня убили, — всякая жалость къ людямъ отпадаетъ.

И его раскосые глаза, когда онъ говоритъ послѣднія слова, смотрятъ съ такой непримиримою злобою!..

Въ той же Александровской тюрьмѣ я встрѣтился съ Габидуллиномъ-Латыней, молодымъ татариномъ, тоже сыномъ ссыльно-каторжныхъ.

Онъ родился, выросъ, совершилъ преступленіе и отбываетъ наказаніе на Сахалинѣ.

— Въ тюрьмѣ-то еще лучше! Въ тюрьмѣ жрать даютъ, а на волѣ съ голода опухнешь! — посмѣивается онъ.

Его преступленіе — дѣйствительно, ужасно.

Съ двумя поселенцами, они втроемъ убили съ цѣлью грабежа жену одного арестанта, ея 14-лѣтнюю дочь и 6-лѣтняго сына.

Совершивъ убійство, Габидуллинъ и его соучастникъ убили своего третьяго товарища:

— Чтобъ при дѣлежѣ больше осталось!

Несчастную женщину, бывшую въ интересномъ положеніи, нашли съ разрѣзаннымъ животомъ.

— Это для чего?

— А это такъ! Посмотрѣть, какъ ребенокъ лежитъ!

И Габидуллинъ конфузливо улыбается, упоминая о своемъ любопытствѣ.

И на настойчивыя требованія каторги, этотъ огромный, съ идіотскимъ лицомъ татаринъ, начинаетъ уродливо сгибаться въ три погибели, показывая, „какъ лежалъ ребенокъ“.

Каторга грохочетъ.

— Ну, другихъ тебѣ не жаль, хоть бы себя пожалѣлъ! Вѣдь вотъ въ тюрьму за это попалъ, въ каторгу!

— Такъ что жъ? Здѣсь, на Сакалинѣ, всѣ въ тюрьмѣ были.

И этотъ „уроженецъ Сахалина“ смотритъ на тюрьму, какъ на нѣчто неизбѣжное для всѣхъ и каждаго.

Нѣтъ сахалинской тюрьмы, гдѣ бы не сидѣло „уроженца“.

Больше 25 лѣтъ на Сахалинѣ рождались дѣти, росли среди каторги, въ атмосферѣ крови и грязи, и съ самой колыбели были обречены на каторгу.

Это былъ большой грѣхъ противъ этихъ несчастныхъ.

Конецъ I-й части.

САХАЛИНЪ.

(Каторга).

II.

Со многими
рисунками.

В. М. Дорошевича.

Slav 3780.10

HARVARD COLLEGE
JUN 6 1940
LIBRARY

In honor of
Henry B Norman

Рисунки дозволены цензурою.

Типографія Товарищества И. Д. Сытина, Валовая улица, свой домъ.
МОСКВА. — 1903.

E

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Золотая ручка.

Воскресенье. Вечеръ. Около маленькаго, чистенькаго домика, рядомъ съ Дербинской богадѣльней, шумъ и смѣхъ. Скрипятъ убранныя ельникомъ карусели. Визжитъ оркестръ изъ трехъ скрипокъ и фальшиваго кларнета. Поселенцы пляшутъ трепака. На подмосткахъ „непомнящій родства“ магъ и волшебникъ ѣстъ горящую паклю и выматываетъ изъ носа разноцвѣтныя ленты. Хлопаютъ пробки квасныхъ бутылокъ. Изъ квасной лавочки раздаются подвипывшіе голоса. Изъ оконъ доносится:

— Бардадымъ. Помирилъ, рубль мазу. Шеперка, по кушу очко. На пе. На перепе. Барыня. Два сбока.

Хозяйка этой квасной, игорнаго дома, каруселей, танцкласса, корчмы и Сахалинскаго кафе-шантана — „крестьянка изъ ссыльныхъ“, Софья Блювштейнъ.

Всероссійски, почти европейски, знаменитая „Золотая ручка“.

Во время ея процесса столъ вещественныхъ доказательствъ горѣлъ огнемъ отъ груды колецъ, браслетъ, колье. Трофеевъ — уликъ.

— Свидѣтельница, — обратился предсѣдатель къ одной изъ потерпѣвшихъ, — укажите, какія здѣсь вещи ваши?

Дама съ измѣнившимся лицомъ подошла къ этой „Голкондѣ“.

Глаза горѣли, руки дрожали. Она перебирала, трогала каждую вещь.

Тогда „съ высоты“ скамьи подсудимыхъ раздался насмѣшливый голосъ:

— Сударыня, будьте спокойнѣе. Не волнуйтесь такъ: эти брилліанты — поддѣльные.

Этотъ эпизодъ вспомнился мнѣ, когда я, въ шесть часовъ утра, шелъ въ первый разъ въ гости къ „Золотой ручкѣ“.

Я ждалъ встрѣчи съ этимъ мефистофелемъ, „Рокамболемъ въ юбкѣ“.

Съ могучей преступной натурой, которой не сломила ни каторга, ни одиночная тюрьма, ни кандалы, ни свистъ пуль, ни свистъ розги. Съ женщиной, которая, сидя въ одиночномъ

заключеніи, измышляла и создавала планы, отъ которыхъ пахло кровью.

И... я невольно отступилъ, когда навстрѣчу мнѣ вышла маленькая старушка съ нарумяненнымъ, сморщеннымъ какъ печеное яблоко лицомъ, въ ажурныхъ чулкахъ, въ старенькомъ капотѣ, съ претензіями на кокетство, съ завитыми крашеными волосами.

— Неужели „эта“?

Она была такъ жалка со своей „убогой роскошью наряда и поддѣльною краской ланитъ“. Сѣдые волосы и желтыя обтянутыя щеки не произвели бы такого впечатлѣнія.

Зачѣмъ все это?

Рядомъ съ ней стоялъ высокій, здоровый, плотный, красивый—какъ бываетъ красиво сильное животное,—ея „сожитель“ (такъ офиціально они называются на Сахалинѣ), ссыльно-поселенецъ Богдановъ.

Становилось все ясно...

И эти пунцовыя румяна, которыя должны играть, какъ свѣжій румянецъ молодости.

Мы познакомились.

Блювштейнъ попросила меня сѣсть. Намъ подали чай и бисквиты.

Сколько ей теперь лѣтъ, я не берусь опредѣлить. Мнѣ никогда не приходилось видѣть женщинъ, у которыхъ надъ головой свистѣли пули,—женщинъ, которыхъ сѣкли. Трудно судить по лицу, сколько лѣтъ человѣку, пережившему такія минуты!

Она говоритъ, что ей 35, но — какая же она была бы пятидесятилѣтняя женщина, если бы не говорила, что ей тридцать пять.

На Сахалинѣ про нее ходитъ масса легендъ. Упорно держится мнѣніе, что это вовсе не „Золотая ручка“. Что это „смѣнщица“, подставное лицо, которое отбываетъ наказаніе въ то время, какъ настоящая „Золотая ручка“ продолжаетъ свою неуловимую дѣятельность въ Россіи.

Даже чиновники, узнавъ, что я видалъ и помню портреты „Золотой ручки“, снятые съ нея еще до суда, разспрашивали меня послѣ свиданія съ Блювштейнъ:

— Ну, что? Она? Та?

— Да, это остатки той.

Ее все же можно узнать. Узнать, несмотря на страшную перемѣну.

Только глаза остались все тѣ же. Эти чудные, безконечно симпатичные, мягкіе, бархатные, выразительные глаза. Глаза, которые „говорили“ такъ, что могли даже отлично лгать.

Одинъ изъ англичанъ, путешествовавшихъ по Сахалину, съ необыкновеннымъ восторгомъ отзывается объ огромномъ образованіи и „свѣткости“ „Золотой ручки“, объ ея знаніи иностранныхъ языковъ. Она говоритъ по-нѣмецки.

Но я не думаю, чтобъ произношеніе „бень этажъ“, вмѣсто словъ „бель этажъ“, — говорило особенно о знаніи французскаго языка, образованіи или свѣтскости Софьи Блювштейнъ. По манерѣ говорить — это простая мѣщаночка, мелкая лавочница.

И, право, для меня загадка, какъ ея жертвы могли принимать „Золотую ручку“—то за знаменитую артистку, то за вдовушку-аристократку.

Вѣроятно, разгадка этого кроется въ ея хорошенькихъ глазкахъ, которые остались такими же красивыми, несмотря на все, что перенесла Софья Блювштейнъ.

А перенесла она такъ же много, какъ и совершила.

Ея преступная натура не сдавалась, упорно боролась и доказала безполезность суровыхъ мѣръ въ дѣлѣ исправленія преступныхъ натуръ.

2 года и 8 мѣсяцевъ эта женщина была закована въ ручные кандалы.

Ея безсильныя, сохнувшія руки, тонкія, какъ плети дряблыя, лишенныя мускулатуры, говорятъ вамъ, что это за наказаніе.

Она еще кое-какъ владѣетъ правой рукой, но, чтобъ поднять лѣвую, должна взять себя правою подъ локоть.

Ноющая боль въ плечѣ сохнувшей руки не даетъ ей покоя ни днемъ ни ночью. Она не можетъ сама повернуться съ боку на бокъ, не можетъ подняться съ постели.

И, право, какимъ ужаснымъ каламбуромъ звучала эта жалоба „Золотой ручки“ на сохнувшую руку.

Ее сѣкли, и, — какъ выражаются обыкновенно гг. рецензенты, — „воспоминаніе объ этомъ спектаклѣ долго не изгладится изъ памяти исполнителей и зрителей“. Всѣ — и приводившіе въ исполненіе наказаніе и зрители-арестанты — до сихъ поръ не могутъ безъ улыбки вспомнить о томъ, какъ „драли Золоторучку“.

Улыбается при этомъ воспоминаніи даже никогда не улыбающійся Комлевъ, ужасъ и отвращеніе всей каторги, страшнѣйшій изъ сахалинскихъ палачей.

— Какъ же, помню. Двадцать я ей далъ.

— Она говоритъ, — больше.

— Это ей такъ показалось, — улыбается Комлевъ, — я хорошо помню — сколько. Это я ей двадцать такъ далъ, что могло съ двѣ сотни показаться.

Ее наказывали въ 9-мъ номерѣ Александровской тюрьмы для „исправляющихся“.

Присутствовали всѣ, безъ исключенія. И тѣ, кому въ силу печальной необходимости приходится присутствовать при этихъ ужасныхъ и отвратительныхъ зрѣлищахъ, и тѣ, въ чьемъ присутствіи не было никакой необходимости. Изъ любопытства.

Въ номерѣ, гдѣ помѣщается человѣкъ сто, было на этотъ разъ человѣкъ триста. „Исправляющіеся арестанты влѣзали на нары, чтобъ „лучше было видно“. И наказанье приводилось въ исполненіе среди циничныхъ шутокъ и остротъ каторжанъ. Каждый крикъ несчастной вызывалъ взрывъ гомерическаго хохота.

— Комлевъ, наддай! Не мажь.

Они кричали то же, что кричали палачамъ, когда наказывали ихъ.

Но Комлеву не надо было этихъ поощрительныхъ возгласовъ.

Артистъ, виртуозъ и любитель своего дѣла, — онъ „клалъ розга въ розгу“, такъ что кровь брызгала изъ-подъ прута.

Посрединѣ наказанія съ Софьей Блювштейнъ сдѣлался обморокъ. Фельдшеръ привелъ ее въ чувство, далъ понюхать спирта,—и наказаніе продолжалось.

Блювштейнъ едва встала съ „кобылы“ и дошла до своей одиночной камеры [1]).

Она не знала покоя въ одиночномъ заключеніи.

— Только, бывало, успокоишься, требуютъ: „Соньку-золотую ручку“. — Думаешь, — опять что. Нѣтъ. Фотографію снимать.

Это дѣлалось ради мѣстнаго фотографа, который нажилъ себѣ деньгу на продажѣ карточекъ „Золотой ручки“.

Блювштейнъ выводили на тюремный дворъ. Устанавливали кругомъ „декорацію“.

Ее ставили около наковальни, тутъ же разставляли кузнецовъ съ молотами, надзирателей,— и мѣстный фотографъ снималъ якобы сцену закованія „Золотой ручки“.

Эти фотографіи продавались десятками на всѣ пароходы, приходившіе на Сахалинъ.

— Даже на иностранныхъ пароходахъ покупали. Вездѣ ею интересовались,— какъ пояснилъ мнѣ фотографъ, принеся мнѣ цѣлый десятокъ фотографій, изображавшій „заковку“.

— Да зачѣмъ же вы мнѣ-то столько ихъ принесли.

[1]) Теперь тѣлесныя наказанія для женщинъ отмѣнены закономъ. Это было одно изъ послѣднихъ.

— А для подарковъ знакомымъ. Всѣ путешественники всегда десятки ихъ брали.

Эти фотографіи — замѣчательныя фотографіи. И ихъ главная „замѣчательность“ состоитъ въ томъ, что Софья Блювштейнъ на нихъ „не похожа на себя“. Сколько безсильнаго бѣшенства написано на лицѣ. Какой злобой, какимъ страданіемъ искажены черты. Она закусила губы, словно изо всей силы сдерживая готовое сорваться съ языка ругательство. Какая это картина человѣческаго униженія!

Софья Блювштейнъ «Золотая ручка».

— Мучили меня этими фотографіями, — говоритъ Софья Блювштейнъ.

Спеціалистка по части побѣговъ, она бѣжала и здѣсь со своимъ теперешнимъ „сожителемъ“, Богдановымъ.

— Но ужъ силы были не тѣ, — съ горькой улыбкой говоритъ Блювштейнъ, — больная была. Не могу пробираться по лѣсу. Говорю Богданову: „возьми меня на руки, отдохну“. Понесъ онъ меня на рукахъ. Самъ измучился. Силъ нѣтъ. „Присядемъ, — говоритъ, — отдохнемъ“. Присѣли подъ деревцомъ. А по лѣсу-то стонъ стоитъ, валежникъ трещитъ, погоня... Обходятъ.

Бѣгство „Золотой ручки“ было обнаружено сразу. Немедленно кинулись въ погоню. Повели облаву.

Одинъ отрядъ гналъ бѣглецовъ по лѣсу. Смотритель съ 30-ю солдатами стоялъ на опушкѣ.

Какъ вдругъ изъ лѣса показалась фигура въ солдатскомъ платьѣ.

— Пли!

Раздался залпъ 30-ти ружей, но въ эту минуту фигура упала на землю. 30 пуль просвистали надъ головой.

— Не стрѣляйте! Не стрѣляйте! Сдаюсь, — раздался отчаянный женскій голосъ.

„Солдатъ“ бросился къ смотрителю и упалъ передъ нимъ на колѣни.

— Не убивайте!

Это была переодѣтая „Золотая ручка“.

Чѣмъ занимается она на Сахалинѣ.

Въ Александровскомъ, Онорѣ или Корсаковскомъ, — во всѣхъ этихъ, на сотни верстъ отстоящихъ другъ отъ друга, мѣстечкахъ, — вездѣ знаютъ „Соньку-золоторучку“.

Каторга ею какъ будто гордится. Не любитъ, но относится все-таки съ почтеніемъ.

— Баба — голова.

Ея изумительный талантъ организовать преступные планы и здѣсь не пропадалъ даромъ.

Вся каторга называетъ ее главной виновницей убійства богатаго лавочника Никитина и кражи 56 тысячъ у Юрковскаго. Слѣдствіе по обоимъ этимъ дѣламъ дало массу подозрѣній противъ Блювштейнъ, и ни одной улики.

Но это было раньше.

— Теперича Софья Ивановна больны и никакими дѣлами не занимаются, — какъ пояснилъ ея „сожитель“ — Богдановъ.

Официально, она числится содержательницей квасной лавочки.

Варитъ великолѣпный квасъ, построила карусель, набрала среди поселенцевъ оркестръ изъ четырехъ человѣкъ, отыскала среди бродягъ фокусника, устраиваетъ представленія, танцы, гулянья.

Неофиціально...

— Шутъ ее знаетъ, какъ она это дѣлаетъ, — говорилъ мнѣ смотритель поселеній, — вѣдь весь Сахалинъ знаетъ, что она торгуетъ водкой. А сдѣлаешь обыскъ, — ничего, кромѣ бутылокъ съ квасомъ.

Точно такъ же всѣ знаютъ, что она продаетъ и покупаетъ краденыя вещи, — но ни денные ни ночные обыски не приводятъ ни къ чему.

Такъ она „борется за жизнь“, за этотъ несчастный остатокъ преступной жизни.

Бьется какъ рыба объ ледъ, занимается мелкими преступленіями и гадостями, чтобы достать на жизнь себѣ и на игру своему „сожителю“.

Ея завѣтная мечта — вернуться въ Россію.

Она закидывала меня вопросами объ Одессѣ.

— Я думаю, не узнаешь .ея теперь.

И когда я ей разсказывалъ, у нея вырвался тяжкій вздохъ:

— Словно о другомъ свѣтѣ разсказываете вы мнѣ... Хоть бы глазкомъ взглянуть...

— Софьѣ Ивановнѣ теперича не зачѣмъ возвращаться въ Россію, — обрывалъ ее обыкновенно Богдановъ, — имъ теперь тамъ дѣлать нечего.

Этотъ „мужъ знаменитости“ ни на секунду не выходилъ во время моихъ посѣщеній, слѣдилъ за каждымъ словомъ своей „сожительницы“, словно боясь, чтобы она не сказала чего лишняго.

Богдановъ, .сосланный на Сахалинъ за убійство.

Это чувствовалось, — его присутствіе связывало Блювштейнъ, свинцовымъ гнетомъ давило, — она говорила и чего-то не договаривала.

— Мнѣ надо сказать вамъ что-то, — шепнула мнѣ въ одно изъ моихъ посѣщеній Блювштейнъ, улучивъ минутку, когда Богдановъ вышелъ въ другую комнату.

И въ тотъ же день ко мнѣ явился ея „конфидентъ“, безсрочный богадѣльщикъ-каторжникъ К.

— Софья Ивановна назначаетъ вамъ рандеву,— разсмѣялся онъ.— Я васъ проведу и постою на стремѣ (покараулю), чтобъ Богдановъ ее не поймалъ.

Slav 3780.10

HARVARD COLLEGE
May 6. 1940
LIBRARY

In honor of
Henry R. Norman

Рисунки дозволены цензурою.

Типографія Товарищества И. Д. Сытина, Валовая улица, свой домъ.
МОСКВА. — 1903.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Золотая ручка.

Воскресенье. Вечеръ. Около маленькаго, чистенькаго домика, рядомъ съ Дербинской богадѣльней, шумъ и смѣхъ. Скрипятъ убранныя ельникомъ карусели. Визжитъ оркестръ изъ трехъ скрипокъ и фальшиваго кларнета. Поселенцы пляшутъ трепака. На подмосткахъ „непомнящій родства“ магъ и волшебникъ ѣстъ горящую паклю и выматываетъ изъ носа разноцвѣтныя ленты. Хлопаютъ пробки квасныхъ бутылокъ. Изъ квасной лавочки раздаются подвипывшіе голоса. Изъ оконъ доносится:

— Бардадымъ. Помирилъ, рубль мазу. Шеперка, по кушу очко. На пе. На перепе. Барыня. Два сбока.

Хозяйка этой квасной, игорнаго дома, каруселей, танцкласса, корчмы и Сахалинскаго кафе-шантана — „крестьянка изъ ссыльныхъ“, Софья Блювштейнъ.

Всероссійски, почти европейски, знаменитая „Золотая ручка“.

Во время ея процесса столъ вещественныхъ доказательствъ горѣлъ огнемъ отъ груды колецъ, браслетъ, колье. Трофеевъ — уликъ.

— Свидѣтельница, — обратился предсѣдатель къ одной изъ потерпѣвшихъ, — укажите, какія здѣсь вещи ваши?

Дама съ измѣнившимся лицомъ подошла къ этой „Голкондѣ“.

Глаза горѣли, руки дрожали. Она перебирала, трогала каждую вещь.

Тогда „съ высоты“ скамьи подсудимыхъ раздался насмѣшливый голосъ:

— Сударыня, будьте спокойнѣе. Не волнуйтесь такъ: эти брилліанты — поддѣльные.

Этотъ эпизодъ вспомнился мнѣ, когда я, въ шесть часовъ утра, шелъ въ первый разъ въ гости къ „Золотой ручкѣ“.

Я ждалъ встрѣчи съ этимъ мефистофелемъ, „Рокамболемъ въ юбкѣ“.

Съ могучей преступной натурой, которой не сломила ни каторга, ни одиночная тюрьма, ни кандалы, ни свистъ пуль, ни свистъ розги. Съ женщиной, которая, сидя въ одиночномъ

заключеніи, измышляла и создавала планы, отъ которыхъ пахло кровью.

И... я невольно отступилъ, когда навстрѣчу мнѣ вышла маленькая старушка съ нарумяненнымъ, сморщеннымъ какъ печеное яблоко лицомъ, въ ажурныхъ чулкахъ, въ старенькомъ капотѣ. съ претензіями на кокетство, съ завитыми крашеными волосами.

— Неужели „эта“?

Она была такъ жалка со своей „убогой роскошью наряда и поддѣльною краской ланитъ“. Сѣдые волосы и желтыя обтянутыя щеки не произвели бы такого впечатлѣнія.

Зачѣмъ все это?

Рядомъ съ ней стоялъ высокій, здоровый, плотный, красивый—какъ бываетъ красиво сильное животное,—ея „сожитель“ (такъ офиціально они называются на Сахалинѣ), ссыльно-поселенецъ Богдановъ.

Становилось все ясно...

И эти пунцовыя румяна, которыя должны играть, какъ свѣжій румянецъ молодости.

Мы познакомились.

Блювштейнъ попросила меня сѣсть. Намъ подали чай и бисквиты.

Сколько ей теперь лѣтъ, я не берусь опредѣлить. Мнѣ никогда не приходилось видѣть женщинъ, у которыхъ надъ головой свистѣли пули,— женщинъ, которыхъ сѣкли. Трудно судить по лицу, сколько лѣтъ человѣку, пережившему такія минуты!

Она говоритъ, что ей 35, но — какая же она была бы пятидесятилѣтняя женщина, если бы не говорила, что ей тридцать пять.

На Сахалинѣ про нее ходитъ масса легендъ. Упорно держится мнѣніе, что это вовсе не „Золотая ручка“. Что это „смѣнщица“, подставное лицо, которое отбываетъ наказаніе въ то время, какъ настоящая „Золотая ручка“ продолжаетъ свою неуловимую дѣятельность въ Россіи.

Даже чиновники, узнавъ, что я видалъ и помню портреты „Золотой ручки“, снятые съ нея еще до суда, разспрашивали меня послѣ свиданія съ Блювштейнъ:

— Ну, что? Она? Та?

— Да, это остатки той.

Ее все же можно узнать. Узнать, несмотря на страшную перемѣну.

Только глаза остались все тѣ же. Эти чудные, безконечно симпатичные, мягкіе, бархатные, выразительные глаза. Глаза, которые „говорили“ такъ, что могли даже отлично лгать.

Одинъ изъ англичанъ, путешествовавшихъ по Сахалину, съ необыкновеннымъ восторгомъ отзывается объ огромномъ образованіи и „свѣткости“ „Золотой ручки“, объ ея знаніи иностранныхъ языковъ. Она говоритъ по-нѣмецки.

Но я не думаю, чтобъ произношеніе „бень этажъ“, вмѣсто словъ „бель этажъ“, — говорило особенно о знаніи французскаго языка, образованіи или свѣтскости Софьи Блювштейнъ. По манерѣ говорить — это простая мѣщаночка, мелкая лавочница.

И, право, для меня загадка, какъ ея жертвы могли принимать „Золотую ручку“—то за знаменитую артистку, то за вдовушку-аристократку.

Вѣроятно, разгадка этого кроется въ ея хорошенькихъ глазкахъ, которые остались такими же красивыми, несмотря на все, что перенесла Софья Блювштейнъ.

А перенесла она такъ же много, какъ и совершила.

Ея преступная натура не сдавалась, упорно боролась и доказала безполезность суровыхъ мѣръ въ дѣлѣ исправленія преступныхъ натуръ.

2 года и 8 мѣсяцевъ эта женщина была закована въ ручные кандалы.

Ея безсильныя, сохнувшія руки, тонкія, какъ плети дряблыя, лишенныя мускулатуры, говорятъ вамъ, что это за наказаніе.

Она еще кое-какъ владѣетъ правой рукой, но, чтобъ поднять лѣвую, должна взять себя правою подъ локоть.

Ноющая боль въ плечѣ сохнувшей руки не даетъ ей покоя ни днемъ ни ночью. Она не можетъ сама повернуться съ боку на бокъ, не можетъ подняться съ постели.

И, право, какимъ ужаснымъ каламбуромъ звучала эта жалоба „Золотой ручки“ на сохнувшую руку.

Ее сѣкли, и, — какъ выражаются обыкновенно гг. рецензенты, — „воспоминаніе объ этомъ спектаклѣ долго не изгладится изъ памяти исполнителей и зрителей“. Всѣ — и приводившіе въ исполненіе наказаніе и зрители-арестанты — до сихъ поръ не могутъ безъ улыбки вспомнить о томъ, какъ „драли Золоторучку“.

Улыбается при этомъ воспоминаніи даже никогда не улыбающійся Комлевъ, ужасъ и отвращеніе всей каторги, страшнѣйшій изъ сахалинскихъ палачей.

— Какъ же, помню. Двадцать я ей далъ.

— Она говоритъ, — больше.

— Это ей такъ показалось, — улыбается Комлевъ, — я хорошо помню — сколько. Это я ей двадцать такъ далъ, что могло съ двѣ сотни показаться.

Ее наказывали въ 9-мъ номерѣ Александровской тюрьмы для „исправляющихся“.

Присутствовали всѣ, безъ исключенія. И тѣ, кому въ силу печальной необходимости приходится присутствовать при этихъ ужасныхъ и отвратительныхъ зрѣлищахъ, и тѣ, въ чьемъ присутствіи не было никакой необходимости. Изъ любопытства.

Въ номерѣ, гдѣ помѣщается человѣкъ сто, было на этотъ разъ человѣкъ триста. „Исправляющіеся арестанты влѣзали на нары, чтобъ „лучше было видно“. И наказанье приводилось въ исполненіе среди циничныхъ шутокъ и остротъ каторжанъ. Каждый крикъ несчастной вызывалъ взрывъ гомерическаго хохота.

— Комлевъ, наддай! Не мажь.

Они кричали то же, что кричали палачамъ, когда наказывали ихъ.

Но Комлеву не надо было этихъ поощрительныхъ возгласовъ.

Артистъ, виртуозъ и любитель своего дѣла, — онъ „клалъ розга въ розгу“, такъ что кровь брызгала изъ-подъ прута.

Посрединѣ наказанія съ Софьей Блювштейнъ сдѣлался обморокъ. Фельдшеръ привелъ ее въ чувство, далъ понюхать спирта,—и наказаніе продолжалось.

Блювштейнъ едва встала съ „кобылы“ и дошла до своей одиночной камеры [1]).

Она не знала покоя въ одиночномъ заключеніи.

— Только, бывало, успокоишься, — требуютъ: „Соньку-золотую ручку“. — Думаешь, — опять что. Нѣтъ. Фотографію снимать.

Это дѣлалось ради мѣстнаго фотографа, который нажилъ себѣ деньгу на продажѣ карточекъ „Золотой ручки“.

Блювштейнъ выводили на тюремный дворъ. Устанавливали кругомъ „декорацію“.

Ее ставили около наковальни, тутъ же разставляли кузнецовъ съ молотами, надзирателей,— и мѣстный фотографъ снималъ якобы сцену закованія „Золотой ручки“.

Эти фотографіи продавались десятками на всѣ пароходы, приходившіе на Сахалинъ.

— Даже на иностранныхъ пароходахъ покупали. Вездѣ ею интересовались,— какъ пояснилъ мнѣ фотографъ, принеся мнѣ цѣлый десятокъ фотографій, изображавшій „заковку“.

— Да зачѣмъ же вы мнѣ-то столько ихъ принесли.

---

[1]) Теперь тѣлесныя наказанія для женщинъ отмѣнены закономъ. Это было одно изъ послѣднихъ.

— А для подарковъ знакомымъ. Всѣ путешественники всегда десятки ихъ брали.

Эти фотографіи — замѣчательныя фотографіи. И ихъ главная „замѣчательность“ состоитъ въ томъ, что Софья Блювштейнъ на нихъ „не похожа на себя“. Сколько безсильнаго бѣшенства написано на лицѣ. Какой злобой, какимъ страданіемъ искажены черты. Она закусила губы, словно изо всей силы сдерживая готовое сорваться съ языка ругательство. Какая это картина человѣческаго униженія!

Софья Блювштейнъ «Золотая ручка».

— Мучили меня этими фотографіями, — говоритъ Софья Блювштейнъ.

Спеціалистка по части побѣговъ, она бѣжала и здѣсь со своимъ теперешнимъ „сожителемъ“, Богдановымъ.

— Но ужъ силы были не тѣ, — съ горькой улыбкой говоритъ Блювштейнъ, — больная была. Не могу пробираться по лѣсу. Говорю Богданову: „возьми меня на руки, отдохну“. Понесъ онъ меня на рукахъ. Самъ измучился. Силъ нѣтъ. „Присядемъ, — говоритъ, — отдохнемъ“. Присѣли подъ деревцомъ. А по лѣсу-то стонъ стоитъ, валежникъ трещитъ, погоня... Обходятъ.

Slav 3780.10

HARVARD COLLEGE
May 6. 1940
LIBRARY

In honor of
Henry B. Kirman

Рисунки дозволены цензурою.

Типографія Товарищества И. Д. Сытина, Валовая улица, свой домъ,
МОСКВА. — 1903.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Золотая ручка.

Воскресенье. Вечеръ. Около маленькаго, чистенькаго домика, рядомъ съ Дербинской богадѣльней, шумъ и смѣхъ. Скрипятъ убранныя ельникомъ карусели. Визжитъ оркестръ изъ трехъ скрипокъ и фальшиваго кларнета. Поселенцы пляшутъ трепака. На подмосткахъ „непомнящій родства“ магъ и волшебникъ ѣстъ горящую паклю и выматываетъ изъ носа разноцвѣтныя ленты. Хлопаютъ пробки квасныхъ бутылокъ. Изъ квасной лавочки раздаются подвипывшіе голоса. Изъ оконъ доносится:

— Бардадымъ. Помирилъ, рубль мазу. Шеперка, по кушу очко. На пе. На перепе. Барыня. Два сбока.

Хозяйка этой квасной, игорнаго дома, карусели, танцкласса, корчмы и Сахалинскаго кафе-шантана — „крестьянка изъ ссыльныхъ“, Софья Блювштейнъ.

Всероссійски, почти европейски, знаменитая „Золотая ручка“.

Во время ея процесса столъ вещественныхъ доказательствъ горѣлъ огнемъ отъ груды колецъ, браслетъ, колье. Трофеевъ — уликъ.

— Свидѣтельница, — обратился предсѣдатель къ одной изъ потерпѣвшихъ, — укажите, какія здѣсь вещи ваши?

Дама съ измѣнившимся лицомъ подошла къ этой „Голкондѣ“.

Глаза горѣли, руки дрожали. Она перебирала, трогала каждую вещь.

Тогда „съ высоты“ скамьи подсудимыхъ раздался насмѣшливый голосъ:

— Сударыня, будьте спокойнѣе. Не волнуйтесь такъ: эти брилліанты — поддѣльные.

Этотъ эпизодъ вспомнился мнѣ, когда я, въ шесть часовъ утра, шелъ въ первый разъ въ гости къ „Золотой ручкѣ“.

Я ждалъ встрѣчи съ этимъ мефистофелемъ, „Рокамболемъ въ юбкѣ“.

Съ могучей преступной натурой, которой не сломила ни каторга, ни одиночная тюрьма, ни кандалы, ни свистъ пуль, ни свистъ розги. Съ женщиной, которая, сидя въ одиночномъ

заключеніи, измышляла и создавала планы, отъ которыхъ пахло кровью.

И... я невольно отступилъ, когда навстрѣчу мнѣ вышла маленькая старушка съ нарумяненнымъ, сморщеннымъ какъ печеное яблоко лицомъ, въ ажурныхъ чулкахъ, въ старенькомъ капотѣ, съ претензіями на кокетство, съ завитыми крашеными волосами.

— Неужели „эта“?

Она была такъ жалка со своей „убогой роскошью наряда и поддѣльною краской ланитъ“. Сѣдые волосы и желтыя обтянутыя щеки не произвели бы такого впечатлѣнія.

Зачѣмъ все это?

Рядомъ съ ней стоялъ высокій, здоровый, плотный, красивый—какъ бываетъ красиво сильное животное,—ея „сожитель“ (такъ офиціально они называются на Сахалинѣ), ссыльно-поселенецъ Богдановъ.

Становилось все ясно...

И эти пунцовыя румяна, которыя должны играть, какъ свѣжій румянецъ молодости.

Мы познакомились.

Блювштейнъ попросила меня сѣсть. Намъ подали чай и бисквиты.

Сколько ей теперь лѣтъ, я не берусь опредѣлить. Мнѣ никогда не приходилось видѣть женщинъ, у которыхъ надъ головой свистѣли пули,—женщинъ, которыхъ сѣкли. Трудно судить по лицу, сколько лѣтъ человѣку, пережившему такія минуты!

Она говоритъ, что ей 35, но — какая же она была бы пятидесятилѣтняя женщина, если бы не говорила, что ей тридцать пять.

На Сахалинѣ про нее ходитъ масса легендъ. Упорно держится мнѣніе, что это вовсе не „Золотая ручка“. Что это „смѣнщица“, подставное лицо, которое отбываетъ наказаніе въ то время, какъ настоящая „Золотая ручка“ продолжаетъ свою неуловимую дѣятельность въ Россіи.

Даже чиновники, узнавъ, что я видалъ и помню портреты „Золотой ручки“, снятые съ нея еще до суда, разспрашивали меня послѣ свиданія съ Блювштейнъ:

— Ну, что? Она? Та?

— Да, это остатки той.

Ее все же можно узнать. Узнать, несмотря на страшную перемѣну.

Только глаза остались все тѣ же. Эти чудные, безконечно симпатичные, мягкіе, бархатные, выразительные глаза. Глаза, которые „говорили“ такъ, что могли даже отлично лгать.

Одинъ изъ англичанъ, путешествовавшихъ по Сахалину, съ необыкновеннымъ восторгомъ отзывается объ огромномъ образованіи и „свѣткости“ „Золотой ручки“, объ ея знаніи иностранныхъ языковъ. Она говоритъ по-нѣмецки.

Но я не думаю, чтобъ произношеніе „бень этажъ“, вмѣсто словъ „бель этажъ“, — говорило особенно о знаніи французскаго языка, образованіи или свѣтскости Софьи Блювштейнъ. По манерѣ говорить — это простая мѣщаночка, мелкая лавочница.

И, право, для меня загадка, какъ ея жертвы могли принимать „Золотую ручку“—то за знаменитую артистку, то за вдовушку-аристократку.

Вѣроятно, разгадка этого кроется въ ея хорошенькихъ глазкахъ, которые остались такими же красивыми, несмотря на все, что перенесла Софья Блювштейнъ.

А перенесла она такъ же много, какъ и совершила.

Ея преступная натура не сдавалась, упорно боролась и доказала безполезность суровыхъ мѣръ въ дѣлѣ исправленія преступныхъ натуръ.

2 года и 8 мѣсяцевъ эта женщина была закована въ ручные кандалы.

Ея безсильныя, сохнувшія руки, тонкія, какъ плети дряблыя, лишенныя мускулатуры, говорятъ вамъ, что это за наказаніе.

Она еще кое-какъ владѣетъ правой рукой, но, чтобъ поднять лѣвую, должна взять себя правою подъ локоть.

Ноющая боль въ плечѣ сохнувшей руки не даетъ ей покоя ни днемъ ни ночью. Она не можетъ сама повернуться съ боку на бокъ, не можетъ подняться съ постели.

И, право, какимъ ужаснымъ каламбуромъ звучала эта жалоба „Золотой ручки“ на сохнувшую руку.

Ее сѣкли, и, — какъ выражаются обыкновенно гг. рецензенты, — „воспоминаніе объ этомъ спектаклѣ долго не изгладится изъ памяти исполнителей и зрителей“. Всѣ — и приводившіе въ исполненіе наказаніе и зрители-арестанты — до сихъ поръ не могутъ безъ улыбки вспомнить о томъ, какъ „драли Золоторучку“.

Улыбается при этомъ воспоминаніи даже никогда не улыбающійся Комлевъ, ужасъ и отвращеніе всей каторги, страшнѣйшій изъ сахалинскихъ палачей.

— Какъ же, помню. Двадцать я ей далъ.

— Она говоритъ, — больше.

— Это ей такъ показалось, — улыбается Комлевъ, — я хорошо помню — сколько. Это я ей двадцать такъ далъ, что могло съ двѣ сотни показаться.

Ее наказывали въ 9-мъ номерѣ Александровской тюрьмы для „исправляющихся“.

Присутствовали всѣ, безъ исключенія. И тѣ, кому въ силу печальной необходимости приходится присутствовать при этихъ ужасныхъ и отвратительныхъ зрѣлищахъ, и тѣ, въ чьемъ присутствіи не было никакой необходимости. Изъ любопытства.

Въ номерѣ, гдѣ помѣщается человѣкъ сто, было на этотъ разъ человѣкъ триста. „Исправляющіеся арестанты влѣзали на нары, чтобъ „лучше было видно“. И наказанье приводилось въ исполненіе среди циничныхъ шутокъ и остротъ каторжанъ. Каждый крикъ несчастной вызывалъ взрывъ гомерическаго хохота.

— Комлевъ, наддай! Не мажь.

Они кричали то же, что кричали палачамъ, когда наказывали ихъ.

Но Комлеву не надо было этихъ поощрительныхъ возгласовъ.

Артистъ, виртуозъ и любитель своего дѣла, — онъ „клалъ розга въ розгу“, такъ что кровь брызгала изъ-подъ прута.

Посрединѣ наказанія съ Софьей Блювштейнъ сдѣлался обморокъ. Фельдшеръ привелъ ее въ чувство, далъ понюхать спирта,—и наказаніе продолжалось.

Блювштейнъ едва встала съ „кобылы“ и дошла до своей одиночной камеры [1]).

Она не знала покоя въ одиночномъ заключеніи.

— Только, бывало, успокоишься, — требуютъ: „Соньку-золотую ручку“. — Думаешь, — опять что. Нѣтъ. Фотографію снимать.

Это дѣлалось ради мѣстнаго фотографа, который нажилъ себѣ деньгу на продажѣ карточекъ „Золотой ручки“.

Блювштейнъ выводили на тюремный дворъ. Устанавливали кругомъ „декорацію“.

Ее ставили около наковальни, тутъ же разставляли кузнецовъ съ молотами, надзирателей,— и мѣстный фотографъ снималъ якобы сцену закованія „Золотой ручки“.

Эти фотографіи продавались десятками на всѣ пароходы, приходившіе на Сахалинъ.

— Даже на иностранныхъ пароходахъ покупали. Вездѣ ею интересовались,— какъ пояснилъ мнѣ фотографъ, принеся мнѣ цѣлый десятокъ фотографій, изображавшій „заковку“.

— Да зачѣмъ же вы мнѣ-то столько ихъ принесли.

---

[1]) Теперь тѣлесныя наказанія для женщинъ отмѣнены закономъ. Это было одно изъ послѣднихъ.

— А для подарковъ знакомымъ. Всѣ путешественники всегда десятки ихъ брали.

Эти фотографіи — замѣчательныя фотографіи. И ихъ главная „замѣчательность“ состоитъ въ томъ, что Софья Блювштейнъ на нихъ „не похожа на себя“. Сколько безсильнаго бѣшенства написано на лицѣ. Какой злобой, какимъ страданіемъ искажены черты. Она закусила губы, словно изо всей силы сдерживая готовое сорваться съ языка ругательство. Какая это картина человѣческаго униженія!

Софья Блювштейнъ «Золотая ручка».

— Мучили меня этими фотографіями, — говоритъ Софья Блювштейнъ.

Спеціалистка по части побѣговъ, она бѣжала и здѣсь со своимъ теперешнимъ „сожителемъ“, Богдановымъ.

— Но ужъ силы были не тѣ, — съ горькой улыбкой говоритъ Блювштейнъ, — больная была. Не могу пробираться по лѣсу. Говорю Богданову: „возьми меня на руки, отдохну“. Понесъ онъ меня на рукахъ. Самъ измучился. Силъ нѣтъ. „Присядемъ, — говоритъ, — отдохнемъ“. Присѣли подъ деревцомъ. А по лѣсу-то стонъ стоитъ, валежникъ трещитъ, погоня... Обходятъ.

думаю, гдѣ же деньгамъ быть?! Уходить теперь надо". Взялъ топоръ, спряталъ подъ чуйку, опять въ спальню вернулся. А она улыбается даже: „Ну, что, — говоритъ, — убѣдились, что денегъ нѣтъ"? И такъ мнѣ ея убивать не хотѣлось, такъ убивать не хотѣлось... Да о головѣ дѣло шло. Думалъ, такого человѣка убили, поймаютъ — не простятъ, ждалъ себѣ не иначе, какъ висѣлицы.

— Одинъ вопросъ, Полуляховъ. Ждалъ висѣлицы и все таки рисковалъ?

— Думалъ, не найдутъ! Ищи вѣтра въ полѣ.

Сколько мнѣ не приходилось видѣть „настоящихъ" преступниковъ, многіе изъ нихъ ждали себѣ „не иначе, какъ висѣлицы" — и всѣ на вопросъ, зачѣмъ же шли, отвѣчаютъ одно:

— Увѣрены были, что не найдутъ. Гдѣ жъ найти? — Находятъ только дураковъ!

Самоувѣренность и подчасъ легкомыслiе, отличающія этихъ людей, удивительны.

— Хожу я по комнатѣ взадъ и впередъ, — продолжалъ разсказъ Полуляховъ, — и такъ мнѣ барыни жаль, такъ жаль. Ужъ очень меня ея храбрость удивила. Лежитъ и разговариваетъ съ Казеевымъ. Казеевъ словами душится, а она хоть бы что, — все разспрашиваетъ про дворника: „Онъ ли васъ подвелъ"! Не ждалъ бы себѣ петли, — не убилъ бы, кажется. Ну, да своя жизнь дороже. Зашелъ я такъ сзади, чтобъ она не видала, размахнулся... Въ одинъ махъ кончилъ. Мальчикъ тутъ на постели вскочилъ. Ротъ раскрылъ, руки вытянулъ, глаза тякіе огромные сдѣлались. Я къ нему...

Полуляховъ остановился.

— Разсказывать ли дальше? Скверный ударъ былъ...

— Какъ знаешь...

— Ну, да ужъ началъ, надо все... Ударилъ его топоромъ, хотѣлъ въ другой разъ, — топоръ поднялъ, а вмѣстѣ съ нимъ и мальчика, топоръ въ черепѣ застрялъ. Кровь мнѣ на лицо хлынула. Горячая такая... Словно кипятокъ... Обожгла...

Я съ трудомъ перевелъ духъ. Если бы не боязнь показать слабость передъ преступникомъ, я крикнулъ бы „воды". Я чувствовалъ, что все поплыло у меня передъ глазами.

— Вотъ видите, баринъ, и вамъ нехорошо... — раздался тихій голосъ Полуляхова.

Онъ сидѣлъ передо мной блѣдный, какъ полотно, со странными глазами, глядя куда-то въ уголъ; щеки его вздрагивали и подергивались.

Мы бесѣдовали позднимъ вечеромъ вдвоемъ въ тюремной канцеляріи. Вслѣдъ за Полуляховымъ и я съ дрожью посмотрѣлъ въ темный уголъ.

— Страшно было! — сказалъ, наконецъ, Полуляховъ, послѣ долгаго молчанія, проводя рукой по волосамъ, — мнѣ этотъ мальчикъ и теперь снится.... Никто не снится, а мальчикъ снится...

— Зачѣмъ же было мальчика убивать?

Изъ жалости.

И лицо Полуляхова сдѣлалось опять кроткимъ и добрымъ.

— Я и объ немъ думалъ, когда по комнатѣ ходилъ. Оставить или нѣтъ? „Что же, — думаю, — онъ жить останется, когда такое видѣлъ? Какъ онъ жить будетъ, когда у него на глазахъ мать убили?“ Я и его... жаль было... Тутъ во мнѣ каждая жила заговорила! — продолжалъ Полуляховъ, — такое возбужденіе было, такое возбужденіе, — себя не помнилъ. Всѣхъ перебить хотѣлъ. Выскочилъ въ срединную комнатку, поднялъ топоръ: „теперь, — говорю, — по настоящему мнѣ и васъ убить надоть. Чтобъ никого свидѣтелей не было. Видите, сколько душъ не изъ-за чего погубилъ. Чтобы этимъ и кончилось: другъ друга не выдавать. Чтобъ больше не изъ-за чего людей не погибало. Держаться другъ друга, не проговариваться“. Глянулъ на Казеева: бѣлѣе полотна, а Пирожкова стоитъ, какъ былинка качается. Жаль мнѣ ее стало, я ее и обнялъ. И началъ цѣловать. Ужъ очень тогда во мнѣ каждая жила дрожала. Никогда, кажется, никого такъ не цѣловалъ!

Этотъ убійца, съ залитымъ кровью лицомъ, обнимающій сообщницу въ квартирѣ, заваленной трупами, — это казалось бы чудовищнымъ вымысломъ, если бы не было чудовищной правдой.

— И любилъ я ее тогда, и жалко мнѣ ее было, жалко...

— Ну, а теперь гдѣ Пирожкова? — спросилъ я Полуляхова.

— А чортъ ее знаетъ, гдѣ! Гдѣ-то здѣсь же, на Сахалинѣ!

— Она тебя не интересуетъ?

— Ни капли.

А Пирожкова изъ любви къ Полуляхову не захотѣла пойти ни къ кому въ сожительницы и была отправлена въ дальнія поселья, на голодъ, на нищету...

Въ ту же ночь Полуляховъ, Пирожкова и Казеевъ исчезли изъ Луганска. Они жили по подложнымъ паспортамъ. И полиціи никогда бы не удалось открыть убійцъ, если бы въ дѣло не вмѣшался пасынокъ Арцимовича.

Молодой человѣкъ, задавшись цѣлью отыскать убійцъ матери и отчима, объѣхалъ нѣсколько южныхъ городовъ, искалъ вездѣ. Переодѣтый, онъ посѣщалъ притоны, сходился съ темнымъ людомъ.

И вотъ, въ одномъ изъ ростовскихъ притоновъ онъ услышалъ о какомъ-то громилѣ, который кутилъ, продавалъ цѣнныя вещи, поминалъ что-то пьяный про Луганскъ.

По указаніямъ молодого человѣка, этого громилу арестовали.

Это былъ Казеевъ.

Казеевъ былъ потрясенъ, разбитъ страшнымъ убійствомъ. Онъ мечталъ о перемѣнѣ жизни. Ему хотѣлось бросить „свое дѣло“ и поступить въ сыщики.

Эта мечта бросить „свое дѣло“ и сдѣлаться сыщикомъ — довольно обычная у профессіональныхъ преступниковъ.

Ихъ часто ловятъ на эту удочку.

— Ты малый способный, дѣльный, знаешь весь этотъ народъ, — мы тебя въ агентахъ оставимъ.

— Ровно рыба — дураки! — съ презрительной улыбкой говоритъ Полуляховъ, — одну рыбу на крючокъ поймали, и другая на тотъ же крючокъ лѣзетъ.

— Какъ же они вѣрятъ?

— Что жъ людямъ остается, какъ не вѣрить? Человѣкъ заблудился въ лѣсу, видитъ — выхода нѣтъ. Тутъ человѣкъ каждому встрѣчному довѣряется. Можетъ, тотъ его въ чащу завести хочетъ и убить, — а онъ идетъ за нимъ. Потому все одно выхода нѣтъ.

Заблудившись въ преступленіяхъ, Казеевъ повѣрилъ, что его помилуютъ и оставятъ въ сыщикахъ, и выдалъ Полуляхова и Пирожкову, указалъ, какъ ихъ найти, будучи совершенно увѣренъ, что ихъ „за убійство судьи безпремѣнно повѣсятъ“.

„Товарищъ“ среди преступниковъ на волѣ и въ каторгѣ, это какъ они говорятъ, „великое слово“. Выдать или убить товарища — это величайшее преступленіе, которое только можетъ быть.

На Сахалинѣ я видалъ людей, которые по нѣскольку лѣтъ томятся въ одиночномъ заключеніи и съ ужасомъ ждутъ „облегченія участи“ и перевода въ тюрьму. Ихъ убьютъ: они въ бѣгахъ убили товарища.

— Да вѣдь вы всѣ убивали?

— То дѣло десятое. Мы чужихъ. А онъ товарища.

Выдача „товарища“ — такое же преступленіе, какъ и его убійство. За это смерть.

И вотъ Полуляхова и Казеева посадили въ одну камеру и заперли.

— Ну, что жъ, Ваня, теперь мы съ тобой дѣлать будемъ? — спросилъ его Полуляховъ.

Казеевъ молчалъ.

— Только колотило его всего. Сидимъ — молчимъ. Я на него во всѣ глаза смотрю, — онъ въ уголъ глядитъ. Принесли обѣдъ, — не притронулся. Ужинъ въ шесть подали, — не притронулся. Ночь пришла. Я легъ, лежу, не сплю. А онъ сидитъ. Измученный, только-только не надаетъ, а спать лечь боится. Уснетъ и убью. Жалко мнѣ на него смотрѣть стало, жалость взяла. Закрылъ я глаза, притворился, что заснулъ, и захрапѣлъ. Я никогда во снѣ не храплю и не люблю, когда другіе храпятъ, — противенъ мнѣ тогда человѣкъ. А тутъ будто захрапѣлъ, чтобъ онъ успокоился. Слышу, — ложится и, словно топоръ въ воду, заснулъ. Проснулся я утромъ раньше его, посмотрѣлъ, ровно младенецъ спитъ. Толкнулъ я его: — „Вставай, Ваня". Вскочилъ, смотритъ на меня, глаза вытаращилъ, удивленно такъ. Кругомъ оглядывается. Я даже засмѣялся. „Живъ! живъ!" — говорю. „Вотъ что, Ваня. Глупость сдѣлали, — не будемъ говорить: теперь намъ надо не о прошломъ, а о будущемъ думать. Что бы ни было, чтобъ все вмѣстѣ. Понялъ? Были товарищами, и будемъ товарищами. Понялъ?" Заплакалъ онъ даже.

— Такъ я и въ каторгу попалъ. Убилъ бы ихъ тогда въ домѣ гг. Арцимовичей, и ничего бы и не было! — вздохнулъ Полуляховъ, — да жалость меня тогда взяла. За это и въ каторгѣ.

Судъ надъ убійцами Арцимовичей производилъ ужасное впечатлѣніе. Полуляховъ держалъ себя съ безпримѣрнымъ цинизмомъ; разсказывая объ убійствѣ, онъ прямо издѣвался надъ своими жертвами, хвастался своимъ спокойствіемъ и хладнокровіемъ.

— Зло меня брало. Повѣсите? Такъ нате жъ вамъ!

Полуляховъ все время ждалъ смертнаго приговора.

— Какъ встали всѣ, начали читать приговоръ, у меня голова ходуномъ пошла. Головой даже такъ дернулъ, будто веревка у меня передъ лицомъ болтается. Однако, думаю: „Поддержись теперь, братъ, Полуляховъ. Уходить съ этого свѣта, — такъ уходить!" И самъ улыбнуться стараюсь.

Когда прочли „въ каторжныя работы", Полуляховъ „даже ушамъ своимъ не повѣрилъ".

— Гляжу кругомъ, ничего не понимаю. Ослышался? Сплю? Изъ суда вышелъ, словно съ петли сорвался. Отъ воздуха даже голова было закружилась и тошно сдѣлалось.

Когда преступниковъ, среди толпы, вели изъ суда, вдругъ раздался выстрѣлъ. Пасынокъ Арцимовича выскочилъ изъ толпы и почти въ упоръ выстрѣлилъ въ Полуляхова изъ револьвера.

— А я-то въ эту минуту въ толпу кинулся!

Пуля пролетѣла мимо.

— Такой ужъ фартъ (счастье)! — улыбаясь, замѣчаетъ Полуляховъ.

Стрѣлявшаго схватили, а Полуляховъ, какъ только его привели въ острогъ, сейчасъ же потребовалъ смотрителя и заявилъ, чтобъ пасынка Арцимовича освободили:

— Потому что я на него никакой претензіи не имѣю.

— Почему же такая забота о немъ? Благородство, что ли, хотѣлъ доказать?

— Какое же тутъ благородство? — пожалъ плечами Полуляховъ,—я его мать убилъ, а онъ меня хотѣлъ. На его мѣстѣ и я бы такъ сдѣлалъ.

Когда Полуляхова и Казеева везли на Сахалинъ, ихъ держали порознь. Всѣ арестанты говорили:

Полуляховъ безпремѣнно пришьетъ Казеева.

— Но это было липшей предосторожностью. Они снова были „товарищами“.

— На Ваню у меня никакой злобы не было. Вмѣстѣ дѣлали, вмѣстѣ въ бѣду попали, вмѣстѣ надо было и уходить.

Ихъ посадили въ одинъ и тотъ же номеръ Александровской кандальной тюрьмы, и „товарищи“ взяли себѣ рядомъ мѣста на нарахъ.

— Ваня отъ меня ни на шагъ. Каждый кусокъ пополамъ.

Эта потребность имѣть кого-нибудь близкаго съ невѣроятной силой просыпается въ озлобленныхъ на все и на вся каторжанъ. Только въ институтахъ такъ „обожаютъ“ другъ друга, какъ въ кандальныхъ тюрьмахъ. Доходитъ до смѣшного и до трогательнаго. Въ бѣгахъ, въ тайгѣ, полу-умирающій съ голоду каторжникъ половину послѣдняго куска хлѣба отдаетъ товарищу. Самъ идетъ и сдается, чтобъ только подобрали раненаго или заболѣвшаго товарища. Цѣлыми днями несетъ обезсилѣвшаго товарища на рукахъ. У самого едва душа въ тѣлѣ держится, а товарища на рукахъ тащитъ. Пройдетъ нѣсколько шаговъ, задохнется, присядетъ, — опять беретъ на руки и несетъ. И такъ сотни верстъ, и такъ черезъ непроходимую дикую тайгу.

„Убійца пяти человѣкъ“, — это ровно ничего не значитъ для каторги.

— Тамъ-то мы всѣ храбры. Ты вотъ здѣсь себя покажи.

Убійства, совершенныя „на волѣ“, въ каторгѣ не идутъ въ счетъ. Каторгу не удивишь, сказавъ: „убилъ столько-то человѣкъ“. Каторга при этомъ только спрашиваетъ:

— А сколько взялъ?

И если человѣкъ „взялъ“ мало, каторга смѣется надъ такимъ человѣкомъ, какъ смѣется она надъ убійцей изъ ревности, изъ мести, вообще, надъ „дураками“.

— Оглобля! Безъ „интересу“ на „преступленье“ пошелъ.

Зато весьма цѣнится все, что совершено уже въ каторгѣ. И часто человѣкъ, сказавшій дерзость суровому смотрителю, цѣнится каторгой, пользуется среди нея авторитетомъ, уважается гораздо болѣе, чѣмъ какой-нибудь „знаменитый“ убійца. Для каторги „знаменитыхъ“ убійцъ нѣтъ. Тутъ не похвастаешься убійствомъ 5 человѣкъ, когда рядомъ на нарахъ лежитъ Пащенко, за которымъ официально числится 32 убійства!

Положеніе Полуляхова, которымъ ужасались на судѣ, въ каторжной тюрьмѣ было самое шаткое.

— Пять человѣкъ убилъ, — а сколько взялъ, стыдно сказать!

Его выручало нѣсколько только то, что онъ, „судью“, такого человѣка убилъ:

— Значитъ, на веревку шелъ!

Это вселяло все-таки нѣкоторое уваженіе: каторга уважаетъ тѣхъ, кто такъ рискуетъ, и боится только тѣхъ, кто самъ ничего не боится.

Убійца семьи Арцимовичей, Полуляховъ.

Когда я былъ на Сахалинѣ, Полуляховъ пользовался величайшимъ уваженіемъ въ тюрьмѣ. О совершенномъ имъ побѣгѣ говорили съ величайшимъ почтеніемъ.

— Вотъ это такъ человѣкъ!

Побѣгъ былъ одинъ изъ самыхъ дерзкихъ, отчаянныхъ, безумныхъ, по своей смѣлости.

Полуляховъ съ Казеевымъ и еще тремя арестантами бѣжали среди бѣлаго дня, на глазахъ у всѣхъ.

— Съ вечера легли, шепнулъ Казееву: „Ваня, завтра уходимъ“. — „Какъ?“ спрашиваетъ. — „Молчи, — говорю, — и всякую минуту будь готовъ, или уйдемъ, или вмѣстѣ смерть примемъ“.— „Что жъ! — шепчетъ, — куда ты, туда и я“.

Пятеро арестантовъ, съ однимъ конвойнымъ, были на работѣ на самомъ бойкомъ мѣстѣ большой проѣзжей дороги, около самаго поста Александровскаго. Время было не „бѣговое“, и арестанты кандальнаго отдѣленія были безъ кандаловъ. По дорогѣ ходило много народу, безпрестанно туда и сюда проѣзжали чиновники, проходили солдаты. Какъ вдругъ Полуляховъ кинулся на конвойнаго, однимъ ударомъ сбилъ его съ ногъ, вырвалъ ружье и, крикнувъ: „Ваня, уходи!“ — бросился въ опушку лѣса.

Это видѣла масса народу, бывшаго на дорогѣ. Ударили тревогу. Отсюда два шага до поста, — и въ нѣсколько минутъ прибѣжавшая команда разсыпалась по лѣсу.

И вотъ, въ то время, когда солдаты углубились въ лѣсъ, на вершинѣ сосѣдняго, совершенно голаго холма, одинъ за другимъ, въ обычномъ бродяжескомъ порядкѣ, показалось пять фигуръ. Передній шелъ съ ружьемъ на плечѣ. Это былъ Полуляховъ съ товарищами.

На дорогѣ въ это время стояли чиновники. Ружья ни у кого не было, револьвернымъ выстрѣломъ было недостать, и на глазахъ у начальства, на глазахъ у всего поста Александровскаго, по открытому мѣсту бродяги прошли, зашли за холмъ и скрылись въ тайгѣ.

Весь постъ Александровскій былъ перепуганъ.

— Если ужъ среди бѣла дня при конвоѣ бѣгать станутъ!

Озлобленіе противъ бѣглецовъ было страшное. Бродяги, да еще съ огнестрѣльнымъ оружіемъ, держали въ ужасѣ весь Александровскъ. Страшно было выѣхать.

— Ну, ужъ поймаютъ, спуска не дадутъ.

Тюрьма жила лихорадочной жизнью, не было другихъ думъ, другихъ разговоровъ:

— Что слышно?

Дней десять ничего не было слышно. Тюрьму, которая ликуетъ при всякомъ удачномъ побѣгѣ, охватывала радость:

— Ну, теперь ушли! Ищи вѣтра въ полѣ!

Но остальное дрожало отъ злости:

— Да неужели же такъ имъ и пройдетъ?

Наконецъ, пришло извѣстіе, что на Камышевскомъ перевалѣ убитъ Казеевъ.

При вскрытіи, кромѣ раны, у него оказалась масса поврежденій.

Полуляховъ разсказывалъ, какъ убивали Казеева.

Камышевскій перевалъ, по дорогѣ изъ поста Александровскаго въ селеніе Дербинское, мѣсто, гдѣ часто ютятся бѣглые. Когда проѣзжаютъ это мѣсто, вынимаютъ обыкновенно револьверы. Дорога спускается въ ложбинку и идетъ между кустар-

никами. Направо и налѣво страшныя кручи огромныхъ, отвѣсныхъ почти горъ, поросшихъ мачтовымъ, прямымъ какъ стрѣла, сосновымъ лѣсомъ.

По этому-то крутому спуску, перебираясь отъ дерева къ дереву гуськомъ, и сходили бродяги. Впереди шелъ Казеевъ, за нимъ Полуляховъ.

Какъ вдругъ, изъ-за кустовъ, съ дороги грянулъ выстрѣлъ. Перебѣгавшій отъ дерева къ дереву Казеевъ закричалъ и полетѣлъ внизъ. Полуляховъ притаился за сосной и ждалъ съ секунды на секунду новаго выстрѣла. Но его не замѣтили.

Вниманіе стрѣлявшихъ было отвлечено полетѣвшимъ съ откоса Казеевымъ.

— Слышу внизу подъ горой голоса. Выглянулъ я изъ-за сосны, — внизу прогалинка межъ кустовъ, а на прогалинкѣ Ваня лежитъ, барахтается, встать все хочетъ. Люди его окружили. Ваня все стоналъ, — „пить“, — кричалъ, „водицы, Христа ради, дайте!“... — „И такъ, — говорятъ, — сдохнешь“.

Просидѣвъ за деревьями до вечера, четверо бродягъ ушли. Слухъ о нихъ дошелъ не скоро. Они подались въ тайгу, шли голодные, истощавшіе, прямо, цѣлиной, тамъ, гдѣ не бывала нога человѣческая, тундрой. Ружье пришлось бросить, — не подъ силу было нести. И, наконецъ, — отощавшіе, изодранные въ тайгѣ, въ кровь искусанные мошкарою въ тундрѣ, вышли на селеніе Вяльзы.

— Выходимъ, — пастухъ трехъ коровенокъ пасетъ. Мы къ нему, такъ и такъ: нѣтъ ли чего поѣсть? Онъ испугался, дрожитъ, какъ осиновый листъ; — мы ему: „Не бойся, молъ, ничего тебѣ не сдѣлаемъ. Гдѣ ужъ намъ! Видишь, небось, какіе мы“. Оправился: „Хорошо, — говоритъ, — вотъ въ полдни погоню животинъ въ поселокъ, принесу хлѣбушка. А вы меня вотъ тутъ ждите“. Отпустили мы его въ полдни. Сидимъ, ждемъ. Только смотримъ, бѣгутъ отъ поселка поселенцы, кто съ ружьемъ, — охотники они, — кто съ вилами, кто со слегой, кричатъ, руками машутъ, а впередъ пастухъ нашъ рукой указываетъ на наши, стало-быть, кусты. Это онъ, подлая душа, вмѣсто того, чтобы хлѣбушка принести, взялъ да всю деревню взбулгачилъ. За то, думать надо, что мы его пожалѣли и не пришили. Пришили бы его, коровенку зарѣзали, вырѣзали бы мяса, сколько нужно, — и все. А то жаль старика было. Онъ на насъ поселенцевъ и поднялъ: „Бродяги, — говоритъ, — пришли, ѣсть просятъ, голодные!“.. А ежели голодные, — значитъ убить надо. Потому голодный человѣкъ и корову зарѣзать можетъ. А у нихъ тутъ, передъ этимъ, коровенку бродяги, дѣйствительно, зарѣзали. Озлоблены на бродягъ были. „Бей, — кричатъ, — ихъ такихъ-сякихъ насмерть!..“ Мы было въ бѣгъ.

Да одинъ выстрѣлилъ, мнѣ руку прошибъ. Словно палкой изо всѣхъ силъ шибануло, — я и свалился.

Пуля прошла въ мякоти, около лучевой кости лѣвой руки, навылетъ.

— А другіе, тѣ прямо на землю полегли. „Сдаемся, — кричатъ, — не бейте!“ Били, однако, страхъ какъ. „Не рѣжь, — кричатъ, — коровъ!“ Ровно звѣрье. Люди имъ ничего не сдѣлали, а бьютъ...

— Такъ безъ сопротивленія и сдались?

— Какое жъ сопротивленіе? Да и то сказать, и поселенцевъ этихъ жаль. Въ Сибири, говорятъ, тамъ другіе порядки. Тамъ къ мужику бродяга смѣло идетъ: сибирскій мужикъ ему всегда хлѣба вынесетъ. Потому что хлѣбъ есть. А здѣсь, одно слово. Сакалинъ. Голодъ. Ему сыну-то кусокъ хлѣба дать жутко: самъ съ голода мретъ. Ему бродяга первый врагъ. Приходитъ голодный къ голодному, — ему и страшно: никакъ, онъ еще голоднѣй меня? Бродяга съ голоду и впрямь коровенку зарѣжетъ. А безъ коровенки поселенцу что? Смерть! Послѣдняго живота лишить. Въ казну за коровенку выплачивай, а животины нѣтъ. Все, что есть, въ раззоръ пойдетъ. Тутъ вонъ одинъ поселенецъ повѣсился, когда у него коровенку зарѣзали. Ну, и бьютъ: они еще голоднѣе насъ.

— Лежу я, кровь моя льется, и зло меня беретъ, и жалость... жалко мнѣ этихъ поселенцевъ, жалко...

Эти люди, убивающіе другихъ, ужасно любятъ вызывать въ себѣ чувство жалости. Имъ нравится это ощущеніе, они чувствуютъ себя тогда такими добрыми, хорошими, имъ кажется, быть-можетъ, въ эти минуты: „Какой я, въ сущности, добрый, хорошій, славный человѣкъ! Какая я прелесть!“ А кому не хочется подумать о себѣ съ умиленіемъ? Похвастать именно тѣми добродѣтелями, которыхъ у него нѣтъ?

— Жалко! этотъ мотивъ постоянно звучитъ въ разговорахъ Полуляхова, убившаго топоромъ восьмилѣтняго ребенка.

И когда онъ говоритъ это „жалко“, въ его лицѣ есть что-то умиленное, кроткое. Онъ самъ трогается своей добротой.

— Ну, а въ Бога вы вѣруете? — спросилъ я однажды Полуляхова.

— Нѣтъ. Я по Дарвину! — отвѣчалъ Полуляховъ.

— Какъ? Вы Дарвина знаете?

— Это ужъ я здѣсь, въ тюрьмѣ, узналъ. „Борьба за существованіе“ это называется. Человѣкъ ѣстъ птицу, птица ѣстъ мошку, а мошка еще кого-нибудь ѣстъ. Такъ оно и идетъ. „Круговоротъ веществъ“ — это называется. И человѣкъ ѣстъ птицу не потому, что онъ на нее золъ, а потому что ему ѣсть хочется. А какъ птицѣ отъ этого, — онъ не думаетъ: ему

ѣсть хочется, онъ и ѣстъ. И птица не думаетъ, каково мошкѣ, а думаетъ только, что ей нужно. Такъ и всѣ. Одинъ ловитъ человѣка, который ему ничего не сдѣлалъ. Другой судитъ и въ тюрьму сажаетъ человѣка, который ему ничего дурного не сдѣлалъ. Третій жизни лишаетъ. Никто ни на кого не золъ, а просто всякому ѣсть хочется. Всякій себѣ, какъ можетъ, и добываетъ. Это и называется „борьбой за существованіе".

— Ну, хорошо, Полуляховъ. Будемъ по Дарвину. А теорія приспособленія какъ же? Долженъ же человѣкъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе, среди людей живя, приспособиться къ ихъ условіямъ, требованіямъ, законамъ общежитія?

— Приспособленія? — задумался Полуляховъ,— не ко всему приспособиться можно. Къ каторгѣ, напримѣръ, не приспособишься. Я такъ думаю, что человѣкъ приспособляется только къ тому, что ему пріятно. А ко всему остальному чтобъ приспособиться — терпѣніе нужно. А у меня терпѣнія нѣтъ. Эта самая „теорія приспособленія", какъ вы говорите, — для меня не годится.

Такъ разсуждаетъ о „господинѣ Дарвинѣ" этотъ человѣкъ, и Дарвина понявшій съ волчьей точки зрѣнія.

— Скажите, если только правду сказать хотите, — спросилъ меня однажды Полуляховъ,— далеко отсюда до Америки?

Я принесъ ему карту.

Онъ долго смотрѣлъ на карту, мѣрялъ бумажкой по масштабу Великій океанъ и Сибирь и, наконецъ, улыбнулся.

— Н-да, выходитъ не то! И сюда подашься — вода. И сюда подашься — земля. А что вода, что земля, когда ее много, все одно. Что воды въ ротъ нальется, что землю съ голоду ѣсть,— все одинъ чортъ! И направо пойдешь — смерть, и налѣво пойдешь — смерть, и на мѣстѣ останешься — смерть. Чисто въ сказку попалъ. Да и сказокъ такихъ страшныхъ нѣтъ! — разсмѣялся онъ.

Таковъ этотъ человѣкъ, почти юноша, взятый изъ городской школы и. разговаривающій о Дарвинѣ, убившій въ свою жизнь шестерыхъ, — безконечно жалостливый человѣкъ.

Когда Полуляхова увозили изъ Харькова, былъ такой случай.

На желѣзной дорогѣ была родственница покойныхъ Арцимовичей. Она не знала, что съ партіей отправляютъ убійцъ ея родныхъ.

Когда проходила партія, между публикой, какъ это всегда бываетъ, зашелъ разговоръ на тему:

— Сколько, чай, невинныхъ людей идетъ!

— Вотъ этотъ, напримѣръ, молодой мужичокъ. Я пари готова держать, что онъ идетъ невиновный. Вы посмотрите на него. Ну, развѣ можно съ такимъ лицомъ быть преступни-

комъ! — сказала родственница Арцимовичей и обратилась къ одному изъ знакомыхъ: — Нельзя ли узнать, за что онъ осужденъ?

— Скажите, пожалуйста, кто это такой? — спросилъ знакомый у конвойнаго офицера.

— Этотъ? Это Полуляховъ, убійца Арцимовичей.

Родственница несчастныхъ закричала и упала въ обморокъ.

Когда я разсказалъ этотъ эпизодъ Полуляхову, онъ задумался:

— Позвольте... Позвольте... Припоминаю... Когда насъ гнали, какая-то женщина закричала благимъ матомъ и упала. Я еще тогда обернулся, посмотрѣлъ... Такъ это она отъ меня? Родственница, стало-быть, покойныхъ?.. Скажите, пожалуйста! А я не обратилъ вниманія... Мало ли ихъ орутъ. Думалъ, чья родственница, или...

Полуляховъ улыбнулся:

— Или по мнѣ какая оретъ „изъ бывшихъ моихъ“. Много ихъ у меня и въ Харьковѣ!

Знаменитый московскій убійца.

Въ Александровской кандальной тюрьмѣ нельзя не обратить вниманія на худенькаго, тщедушнаго, болѣзненнаго человѣка съ удивительно страдальческимъ выраженіемъ въ глазахъ. Онъ выдается своимъ жалкимъ видомъ даже среди арестантовъ. Чѣмъ-то въ конецъ замученный человѣкъ.

— Кто это?

— Викторовъ.

И сахалинское начальство, при всемъ своемъ презрѣніи къ каторгѣ, все же нѣсколько гордящееся и имѣющимися въ тюрьмѣ „знаменитостями“, добавитъ:

— Знаменитый московскій убійца.

Лѣтъ шесть-семь тому назадъ, „загадочное убійство въ Москвѣ“ гремѣло на всю Россію.

Въ іюлѣ, въ Брестъ-Литовскѣ, на станціи желѣзной дороги, среди „невостребованныхъ грузовъ“, отъ одной корзины начало исходить страшное зловоніе.

Корзину вскрыли, и „глазамъ присутствующихъ, — какъ пишется въ газетахъ, — представилось полное ужаса зрѣлище“.

Въ корзинѣ, обтянутой внутри клеенкой, лежалъ разрубленный на части трупъ женщины. Щеки были вырѣзаны. Мѣтки на бѣльѣ отрѣзаны. Страшная посылка была отправлена изъ Москвы 2 іюля.

Вся московская сыскная полиція была поставлена на ноги.

Искали, искали, — и безуспѣшно. Слѣда, казалось, никакого не было.

Въ то время начальникомъ сыскной полиціи въ Москвѣ былъ нѣкто Эффенбахъ, пользовавшійся славой „Лекока“.

Онъ обратилъ вниманіе на три обстоятельства. По бѣлью, которое было найдено въ корзинѣ, по „убогой роскоши“ его, онъ вывелъ заключеніе, что покойная, скорѣй всего, была проституткой. Затѣмъ, его вниманіе остановило то, что и фамилія отправителя „груза“, конечно, вымышленная, и вымышленная фамилія „получателя“ — начинаются на букву „В.“. Растерявшемуся, взволнованному человѣку почему-то инстинктивно приходили въ голову только фамиліи, начинавшіяся на букву „В“. А можетъ-быть, это было легкое насмѣшливое заигрыванье со стороны преступника. Преступникъ, у котораго все отлично идетъ, иногда начинаетъ куражиться, не прочь „подпустить насмѣшку“, любитъ оставить что-то въ родѣ визитной карточки, маленькій, сейчасъ же теряющійся слѣдъ. „На, молъ, ищи“. Наконецъ, вмѣстѣ съ трупомъ, въ корзинѣ лежала окровавленная дровяная плаха, на которой, очевидно, разрѣзали трупъ. Такими плахами топятъ печи въ трактирахъ и меблированныхъ комнатахъ.

Знаменитый московскій убійца Викторовъ Николай.

Провѣрили по спискамъ всѣхъ московскихъ проститутокъ, — и оказалось, что одна изъ нихъ, жившая въ домѣ Боткина, по Петровскому бульвару, уѣхала на родину.

Сама она передъ отъѣздомъ домой не заходила около недѣли. А 3 іюля къ ней на квартиру зашелъ ея знакомый Викторовъ, сказалъ, что она спѣшно уѣхала въ деревню и велѣла ему взять вещи.

Викторовъ содержалъ меблированныя комнаты на углу Брюсова переулка и Никитекой и служилъ контролеромъ на скачкахъ.

За нимъ послали на скачки, привезли въ сыскное отдѣленіе и ввели въ комнату; на столѣ были разложены: корзина, клеенка, окровавленное бѣлье.

Увидавъ эти вещи, Викторовъ „остолбенѣлъ“, затѣмъ затрясся, заплакалъ и сознался.

Отецъ Викторова, когда Викторовъ былъ еще маленькимъ, застрѣлился въ припадкѣ помѣшательства. Сестра Викторова страдала сильными истерическими припадками. Братъ Викторова, — ужъ послѣ того, какъ Викторовъ былъ пойманъ, — сошелъ съ ума: постоянно бредилъ, что пьетъ съ братомъ Николаемъ на Сахалинѣ чай.

Викторовъ до семи лѣтъ не говорилъ. Объ немъ ужъ не въ первый разъ трубили газеты: въ 1883 году онъ тоже былъ „московской знаменитостью“. Тогда ему было 30 лѣтъ,—и онъ впалъ въ летаргическій сонъ, продолжавшійся 12 сутокъ. Его чуть-чуть не похоронили, и „живымъ покойникомъ въ Маріинской больницѣ“ интересовалась вся Москва.

Викторовъ прошелъ только 2 класса Московскаго Мѣщанскаго училища:

— Не способенъ былъ-съ. Русскій языкъ-съ мнѣ не давался!

Съ 12 лѣтъ онъ началъ пить, 15 познакомился съ развратомъ. Лѣтъ 20 заболѣлъ дурной болѣзнью.

Родные Викторова — люди съ достатками. Всѣ они, — кто держитъ меблированныя комнаты съ „этими дамами“, кто публичный домъ.

Съ дѣтства онъ стоялъ близко къ темному міру, соприкасался съ нимъ.

Въ 1881 году онъ былъ осужденъ на 4 мѣсяца въ рабочій домъ за кражу.

Въ 1881 же году былъ замѣшанъ въ убійствѣ дворянки Накатовой и кухарки ея Похвисневой.

— Убійства не совершалъ-съ... но къ убійству стоялъ довольно близко-съ...

Въ 1883 году онъ ушелъ бродяжить. Бродяжилъ 8 лѣтъ, затѣмъ открылся, вернулся въ Москву, получилъ наслѣдство, около 3 тысячъ, и завелъ себѣ меблированныя комнаты.

Убитая дѣвушка жила въ публичномъ домѣ его тетки, потомъ „вышла на волю, занималась своимъ дѣломъ“ и жила съ нимъ.

— Вы что жъ, Викторовъ, были ея „котомъ?“

— Не совсѣмъ чтобы... Какъ вамъ сказать?.. Денегъ я ей, конечно, не платилъ... Любовникомъ-съ былъ... Но и на ея

деньги не жилъ... Такъ иногда кое-что бралъ... Больше на игру-съ!

Три года онъ служилъ контролеромъ тотализатора на скачкахъ и велъ игру.

— Только-съ и жилъ-съ! — съ грустной улыбкой говоритъ онъ, — зимой-съ, такъ сказать, прозябъ въ нетопленой квартирѣ... Часто меблированныхъ комнатъ топить было нечѣмъ... А лѣто придетъ-съ, скачки,—и оживаешь-съ. Цѣльное лѣто въ игрѣ живешь. Берешь на скачки рублей 150—200, всѣми мѣрами достаешь, — когда продуешь все вдребезги, когда 500—600 принесешь! Такъ и жилъ-съ. Въ полугарѣ.

Въ Москвѣ, гдѣ скачки лѣтомъ заполняютъ все и вся, много людей, которые „цѣлое лѣто въ игрѣ живутъ“, а все остальное время „прозябаютъ“.

Замѣчательно, что въ каторгѣ, которая полна игроками, Викторовъ не играетъ. Я разспрашивалъ о немъ:

— Не играетъ!.. Какой игрокъ!.. Иногда подойдетъ, когда играемъ, поставитъ семитку,—ему,—чтобъ на сахаръ выиграть... Выиграетъ гривенникъ и отойдетъ... Да и то рѣдко.

Я спрашивалъ Викторова:

Какъ же это такъ? Такой игрокъ былъ, а здѣсь не играете?

— Не интересуюсь.

— А тамъ отчего жъ игралъ?

— Говорю вамъ, въ полугарѣ былъ. Только скачками и дышалъ. Потому близко стоялъ — и контролеромъ былъ. Въ самой центрѣ-съ! Кругомъ ставятъ деньги, берутъ, въ двѣ минуты сотельныя бумажки берутъ,— ну, и я-съ! Очухаться не могъ-съ. Полугаръ. Не успѣлъ отъ выигрыша или проигрыша очухаться,— афиша. Завтра скачки. Обдумываешь, раздумываешь, по трактирамъ идешь, въ трактиръ „Охту“ съ конюхами совѣтоваться, играешь, спозаранку встаешь, на разсвѣтѣ на утренніе галопы бѣжишь. Объ лошадяхъ только и думаешь, лошади и во снѣ снятся. Не видишь, какъ лѣто пролетаетъ.

Таковъ этотъ болѣзненный, до семи лѣтъ не говорившій, въ летаргическомъ снѣ лежащій, съ несомнѣнно-болѣзненной наслѣдственностью человѣкъ, принесшій въ міръ столько ужаса и горя. При такихъ условіяхъ росъ, воспитывался и формировался этотъ „знаменитый убійца“.

Время около Петрова дня, 29 іюня, время горячее для московскихъ игроковъ: въ это время разыгрывается „Всероссійскій Дерби“. Генеральное сраженіе въ тотализаторѣ.

— Шибко я въ тѣ поры въ неврахъ былъ-съ. Кто возьметъ? На кого ставить? Одинъ говоритъ—на ту, другой—на другую. Слуховъ не оберешься. Газеты возьмешь, никакого толку:

разное пишутъ. Та въ формы не вошла, та не готова, пишутъ,—ту еще работать надо. Просто голова идетъ кругомъ. Мѣста себѣ не найдешь. Играть надо, а время, сами изволите знать, что за время лѣто для меблированныхъ комнатъ? Два номера заняты, ремонтъ идетъ, расходы. А тутъ „Дерби". Прямо — ума рѣшайся.

Вечеромъ въ Петровъ день, Настя ночевала у Викторова. Около часа ночи они лежали въ постели. „Оба выпимши", и говорили о скачкахъ. Викторовъ упрашивалъ, чтобы она заложила еще вещей:

— Надо жъ играть!

Она попрекала Викторова, что онъ и такъ проигралъ у нея все. Слово за слово, — Настя дала Викторову пощечину, Викторовъ схватилъ стоявшій около на ночномъ столикѣ подсвѣчникъ и ударилъ ее.

— Помертвѣла вся... Не пикнула... Батюшки, смотрю, — въ високъ!.. Умерла... А вдругъ очнется, кричать примется... Стою надъ ней... Лежитъ, не шелохнется... Прошло минутъ пять... Схватилъ руку: теплая... не холодѣетъ... Очнется... Пропадешь!.. Страхъ меня взялъ-съ...

Викторовъ схватилъ ножикъ и перерѣзалъ ей горло:

— Не знаю, убилъ ли... Не знаю... Нѣтъ ли... А только такъ рѣзалъ, со страху, для вѣрности... Сижу-съ, смотрю и думаю-съ: что же теперь дѣлать-съ... Тутъ мнѣ корзина въ глаза и кинулась... Родственницѣ долженъ былъ я мѣховыя вещи высылать... Корзина, клеенка и камфора, чтобы пересыпать, были заготовлены... Только вещей я выслать не могъ, — были заложены-съ. По причинѣ игры... Думалъ: отыграюсь, выкуплю, пошлю...

У Викторова мелькнула мысль: что сдѣлать.

— Босикомъ-съ на ципочкахъ въ кухню сходилъ... Плаху принесъ, ведерко съ водой... Клеенку растелилъ, плаху положилъ и, какъ слѣдуетъ, все приготовилъ. Только какъ покойницу зашевелилъ, страшно сдѣлалось... Какъ это ихъ за плечики взялъ, приподнялъ, голова назадъ откинулась, быдто живая... Горло это раскрылось, рана-съ, и кровь потекла... Быдто какъ въ книжкахъ читалъ, — какъ убійца до убитаго дотронется, у того изъ ранъ кровь потечетъ... Страшно-съ... Бросилъ... Водки выпилъ, — не беретъ... Еще водки выпилъ, еще... Повеселѣе стало. Поднялъ я ихъ, на полъ тихонько опустилъ.

Викторовъ, говоря объ убитой, — говоритъ „онѣ", „покойница", — съ какимъ-то почтеніемъ, въ которомъ сквозь страхъ передъ „ней": „она" и до сихъ поръ ему снится. Сосѣди по

нарамъ жалуются, что Викторовъ вдругъ по ночамъ вскакиваетъ и „оретъ благимъ матомъ“:

— Бѣлый весь, трясется... Все „его-то“ приставляется!

— Положилъ покойницу на плашку и началъ имъ руки, ноги обрѣзывать косаремъ... Косарь острый. Мясо-то рѣжу, а до кости дойдетъ, — ударю потихонько, чтобъ хрящъ не больно слышно было... Въ другомъ концѣ коридора все же жильцы жили...

Странная игра случая: жильцами Викторова были нѣкіе Г., отецъ и сынъ, служившіе... сыщиками въ московской сыскной полиціи.

— Чтобъ хряску не было, — все по суставчикамъ, по суставчикамъ.... Косарь иступился, — ножницами жилы перерѣзалъ... Щеки имъ вырѣзалъ, чтобъ узнать нельзя было...

— Пилъ водку въ это время?

— Куда жъ! Ручищи всѣ въ крови. Да и не до того было, Только одна мысль въ головѣ была: „потише! потише!“ Такъ и казалось, что вотъ-вотъ сзади подходятъ и за плечи берутъ... Даже руки чувствовалъ... Духъ замретъ... Стою на колѣнкахъ. чувствую, за плечи держатъ, а глаза поднять боюсь, — зеркало насупротивъ было, — взглянуть... И назадъ повернуться страшно... Отдыхаешься, въ зеркало взглянешь, — никого сзади... И дальше... Изъ бѣлья тоже мѣточки вырѣзалъ... Къ утру кончилъ... Все въ корзину поклалъ, камфорой густо-густо пересыпалъ, клеенкой увернулъ, туда же и плашку положилъ, косарь въ ведеркѣ вымылъ, гдѣ съ клеенки на полъ кровь протекла, замылъ, — и воду изъ ведерка въ раковину пошелъ — вылилъ. Прихожу назадъ, — ничего, только камфорой шибко пахнетъ.

— Однажды, когда Викторову, во время разговора, сдѣлалось „нехорошо“, — я далъ ему понюхать первый попавшійся пузыречекъ спирта, изъ стоявшихъ на окнѣ въ конторѣ и назначенныхъ для раздачи арестантамъ.

У Викторова сразу „прошло“. Онъ вскочилъ, затрясся, сталъ бѣлымъ, какъ полотно, протянулъ дрожащія руки, отстраняя отъ себя пузырекъ:

— Не надо... не надо...

— Что такое? Что случилось?

— Ничего... ничего... не надоть-съ...

Спиртъ, совершенно случайно, оказался камфорный. Я поспѣшилъ закрыть пузырекъ.

— Не могу я этого запаху переносить! — виновато улыбаясь, говорилъ Викторовъ, а у самого губы бѣлыя, и зубъ на зубъ не попадетъ.

Такъ врѣзалась ему въ памяти эта камфора.

— Вытащилъ я корзину въ сосѣднюю комнату, прибралъ все, и схватилъ меня страхъ сызнова.

Двѣ ночи не могъ спать Викторовъ, пилъ „для храбрости“, — выпилъ „побольше полведра водки“.

— Выпью, захмѣлѣю и ѣмъ.. Ѣлъ съ апекитомъ, потому много пилъ... А протрезвѣю, — страшно... И выйти боюсь, — сейчасъ вотъ, думаю, какъ уйду, такъ безъ меня придутъ и откроютъ... И дома сидѣть жутко... Сижу, а мнѣ кажется, что въ сосѣдней комнатѣ кто-то вздыхаетъ... Подойду къ двери... Въ комнату-то страшно войти, чтобъ не привидѣлось что... Послушаю у двери, — тихо... Опять сяду водку пить... Опять вздыхаетъ... Страхъ такой бралъ!..

2-го іюля онъ, наконецъ, рѣшился выйти. Нанялъ ломовика, привелъ и съ нимъ вмѣстѣ вынесъ корзину изъ квартиры.

— Корзина ничего... только камфорой шибко пахло... Какъ выходилъ, всѣ окна открылъ, чтобы провѣтрило...

Какъ происходила отправка, Викторовъ, послѣ трехъ безсонныхъ ночей, убійства и полведра выпитой водки, — помнитъ какъ сквозь сонъ.

— Помню, четыре раза съ ломовикомъ въ трактиры заходили... Все по бутылкѣ водки выпивали, — такъ что онъ,, въ концѣ-концовъ, хмѣльный сталъ, — а я хоть бы что... Иду за ломовымъ, только ноги у меня подламываются... Вотъ-вотъ на мостовую сяду. Пріѣхали на Смоленскій вокзалъ... „Вотъ сейчасъ, — думаю, — открыть корзину! — велятъ“... Зубъ на зубъ не попадаетъ... „Что такое?“ — „Мѣховыя вещи“... — говорю. „Напишите, — говорятъ, — кому и отъ кого отправляете!“ Чуть-чуть „Викторовъ“ не подмахнулъ. Да опомнился. Фамилью, думаю, надо выдумать. И хоть бы что! Лѣзетъ въ голову одна фамилія „Викторовъ“. „Скорѣе! — говорятъ, — чего жъ вы?“ Тутъ у меня Васильевъ съ Владимировымъ въ головѣ завертѣлись, я и подмахнулъ... Получилъ накладную, хожу, все чудится, вотъ-вотъ сзади крикнутъ: „стой“. Вышелъ на площадь, голова закружилась, къ фонарному столбу прислонился, всей грудью вздохнулъ: чисто тяжесть съ плечъ свалилась. Иду по улицѣ, ногъ подъ собой не чувствую, радуюсь. Пришелъ домой, въ сосѣднюю комнату заглянулъ, — быдто не здѣсь ли! Самъ надъ собой усмѣхнулся за этакое малодушество. И завалился спать... И хоть бы мнѣ что!

На слѣдующій день, 3 іюля, Викторовъ „честь-честью“ сходилъ на квартиру къ „покойницѣ“, сказалъ, что она неожиданно въ деревню уѣхала, — вѣсть получила, мать при смерти, — забралъ ея вещи, снесъ и заложилъ въ ломбардѣ:

— Не продавать же имъ, на игру надоть было.

И началась жизнь „спокойная“:

— Афишка. По трактирамъ бѣгаю, совѣтуюсь, на пробные галопы гоняю. Играю. Гдѣ бы денегъ промыслить, — думаю... Ихнія-то деньги сразу продулъ... Лошади у меня въ головѣ. Самъ часомъ диву даешься: словно ничего и не было. Быдто сонъ. Самъ въ другой разъ себя спрашиваешь, не сонъ ли былъ? Только камфорой въ комнатахъ еще попахиваетъ, какъ окна ни растворяешь. Но меня это мало безпокоило. Лошади и лошади, — такъ игра скрутилась, что либо панъ, либо пропалъ. Большіе призы кончились. Первый классъ ушелъ. Скачутъ все лошади фуксовыя. Выдачи огромадныя. Тутъ въ лошадяхъ не разберешься, — когда о другомъ думать?

Какъ вдругъ однажды, развернувъ газету, чтобъ прочесть про скачки, Викторовъ прочелъ:

— „Страшная находка въ Брестъ-Литовскѣ“.

— И поплыло, и поплыло все передъ глазами. Буквы прыгаютъ. Въ комнатѣ-то рядомъ охаетъ кто-то, стонетъ. Камфорный запахъ по носу рѣжетъ. По коридору идетъ кто-то. Мысли кругомъ. Что жъ это, думаю, я надѣлалъ? Страхъ меня взялъ и ужасъ... Жду, не дождусь, когда жильцы изъ сыскного съ занятіевъ вернутся... Пришли, самъ что было, духу собралъ, къ нимъ пошелъ, водочкой угостилъ, спрашиваю: „Ничего не слыхать про трупъ-то, изрубленный въ Брестъ-Литовскомъ? Нынче въ газетахъ читалъ. Экій страхъ-то какой! Какія нынче дѣла творятся“. „Нѣтъ, — говоритъ, — ничего не слыхать, кто убилъ“. У меня отъ сердца и отлегло. „Но только, — говорятъ, — самъ Эффенбахъ за дѣло взялся. Отъ начальства ему приказъ вышелъ, чтобъ безпремѣнно отыскать. Навѣрное отыщутъ“. Такъ они у меня отъ этихъ словъ въ глазахъ и запрыгали.

Тутъ ужъ началась „жизнь безпокойная“.

— Куда дѣваться — не знаю. Куда ни пойду, — покойница. Останешься ночью дома, заведешь глаза, входитъ... Головку запрокинетъ такъ, горло раскроется, кровь бѣжитъ. Сталъ по публичнымъ домамъ ночевать ходить, — и тамъ приставляется. Пью и играю. Безперечь пью. И ежели бы не скачки, — ума бы рѣшился.

Врядъ ли когда-нибудь гг. спортсмэнамъ снилось, чтобы тотализаторъ сыгралъ такую роль.

— Закрутилъ игру такъ, — на всѣ. Кручусь, кручусь, — и покуда скачки, — ничего, отлегаетъ, ни о чемъ не думаешь. А кончились скачки, — пить. Пью и не пьянѣю. И все мнѣ она. Все она. Побѣгъ въ церкву, отслужилъ панихиду, — перестала день, два являться. Потомъ опять, — я опять по ней панихиду. Панихидъ 4—5 справилъ, — все по разнымъ церквамъ. Отслужишь, полегчаетъ, потомъ опять приставляется.

Какъ назло, жильцы только и говорили, что о „загадочномъ убійствѣ“.

„Загадочное убійство“ волновало всю Москву. Сыскная полиція сбилась съ ногъ отъ розысковъ и, возвращаясь домой, агенты только объ этомъ дѣлѣ и говорили:

— Все еще не розыскали. Словно въ воду канулъ. Но ничего,— розыщемъ! Непремѣнно розыщемъ!

— Чувствую: съума схожу. Мечусь! По публичнымъ домамъ ночую, утромъ на галопы. Скачки. Со скачекъ въ церкву бѣгу панихиду служить. По трактирамъ пью. Вечеромъ домой на минутку бѣгу, узнать: какъ? что?!. Мечусь... Вхожу къ нимъ, словно жду,— вотъ-вотъ смертный приговоръ услышу. „Что?“ спрашиваю, а самъ глянуть боюсь. А какъ скажутъ „ничего“,— ногъ подъ собой не чувствую. Сколько разовъ послѣ этого къ себѣ въ комнату побѣжишь, хохотать что-то начнешь, удержу нѣтъ. Въ подушку уткнешься, чтобъ не слышно было, „ничего!“ въ подушку кричишь. Самъ-то хохочешь, а въ нутрѣ-то страшно. И вдругъ „онѣ“ представляются... Опять пить, опять изъ дома бѣгать, опять панихиды служить. Мечусь.

Метанье кончилось тѣмъ, что однажды, на скачкахъ, къ Викторову подошли:

— Васъ вызываютъ въ сыскную полицію.

— У меня руки-ноги отнялись... Да нѣтъ,— думаю,— не за этимъ. Много у меня разныхъ дѣловъ накопилось: потому за это время,— говорю, закрутилъ игру во всю,— у родныхъ всѣ вещи на игру перетаскалъ. Привезли меня въ сыскную. Въ комнату вводятъ. Полутемненькая такая комната. Народу много было, спиной къ окнамъ стояли, свѣтъ застили. Столъ, сначала я не разобралъ, что въ немъ такое! А какъ меня подвели,— я и крикнулъ... Корзинка, бѣлье, клеенка, плашка... Остолбенѣлъ я, кричу только: „Не подводите! Не подводите!“ А Эффенбахъ меня въ спину подталкиваетъ: „Идите,— говоритъ,— идите, не бойтесь. Это изъ Брестъ-Литовска“.— „Не подводите! — ору,— во всемъ сознаюсь, только не подводите“...

Сидя въ сыскномъ отдѣленіи, Викторовъ давился на отдушникѣ при помощи рубашки.

— Онѣ измучили... Покойница... Завяжу глаза,— здѣсь онѣ, со мной сидятъ... „Вотъ — говорятъ,— Коля, гдѣ мы съ тобой“ Не выдержалъ. Да и смерти ждать страшно было.

Какъ и очень многіе, Викторовъ ждалъ „безпремѣнно веревки“.

— Ужъ я вамъ говорю. Вы на судѣ не были? Меня прокуроръ обвинялъ, г. Хрулевъ...

— А защищалъ кто?

— Не помню. Не интересовался. Безъ надобности. А обвинялъ Хрулевъ господинъ по фамиліи. Такъ вотъ посередкѣ столъ стоялъ, на немъ бѣльецо ихнее, скомканное, слиплое, черное стало, клееночка. А около корзинка та самая стояла... Какъ эти вещи-то внесли, я чувства лишился. Страшно стало. На судѣ-то я сдрейфиль, что самъ говорилъ, что кругомъ говорили, — не сознавалъ. А только вотъ это-то помню, что г. Хрулевъ на корзинку показывали, требовали, чтобы и со мной тоже сдѣлать. На части, стало-быть, разрубить!

Большинство этихъ „знаменитыхъ убійцъ“ увѣрено, что имъ „веревки не миновать за убійство“.

— За этимъ-съ и покойницу на части рубилъ, и отсылалъ,— веревки боялся.

И большинству на судѣ, среди страха и ужаса, кажется, что прокуроръ требуетъ смертной казни.

— Когда вышелъ приговоръ въ каторгу, — ушамъ не повѣрилъ, — говоритъ, какъ и очень многіе, Викторовъ.

Въ каторгѣ онъ жалуется на слабость здоровья:

Пища плохая, и главная причина,—ночи безсонныя! Думаю все.

— О чемъ же?

— О прошломъ. Господи, глупо какъ все было! Если бы вернуть!.. Ну, и спать тоже иногда боязно... Когда ихъ душа тамъ мучается... Грѣшница вѣдь была, блудная-съ... когда ихней душѣ тамъ невмоготу...

— Что же? Является?

— Приходятъ.

И весь съежившись, вздрагивая, этотъ жалкій, тщедушный, весь высохшій человѣкъ, понизивъ голосъ, говоритъ:

— Главная причина, — денегъ нѣтъ... Панихидки по нихъ отслужить не могу... Чтобъ успокоились.

Спеціалистъ.

Лѣтъ семь тому назадъ въ Одессѣ было совершено „громкое“ преступленіе.

Старикъ-банкиръ Лившицъ былъ найденъ задушеннымъ въ постели. Ничего украденнаго не было. Стоявшая въ сосѣдней комнатѣ несгораемая касса съ деньгами оказалась нетронутой. Въ кухнѣ лежала связанная по рукамъ и ногамъ, съ завязаннымъ ртомъ, задыхавшаяся кухарка Лея Каминкеръ.

Она разсказала, что ночью въ квартиру ворвались какіе-то люди въ маскахъ, пригрозили ее убить, если будетъ кричать, связали, бросили и пошли въ комнаты. Что тамъ происходило, — она не знаетъ.

Начались розыски, про которые потомъ на судѣ разсказывались ужасы. Одинъ изъ взятыхъ по подозрѣнію даже повѣсился въ участкѣ.

Послѣ очень долгихъ, тщетныхъ, ошибочныхъ поисковъ, наконецъ, удалось открыть, что на банкира Лившица „охотилась“ цѣлая шайка. Нѣкто Томилинъ, многократный убійца, отчаянный головорѣзъ, отстрѣливавшійся отъ вооруженной погони. Его любовница Луцкеръ, воровка по профессіи. Бродяга-громила Львовъ. Какая-то вдова, занимавшаяся покупкой краденаго. Въ шайкѣ участвовала и кухарка Каминкеръ, открывшая убійцамъ дверь и затѣмъ по уговору, разыгравшая комедію, будто ее связали.

Страннымъ представлялось только, почему убійцы не тронули кассы.

Они объяснили это тѣмъ, что приглашенный въ компанію „спеціалистъ по взлому кассъ“ Павлопуло испугался во время убійства и убѣжалъ.

Принялись отыскивать Павлопуло.

Оказалось, что онъ съ тѣхъ поръ совершилъ еще одно преступленіе.

Павлопуло попался при ограбленіи казначейства гдѣ-то въ Крыму. Забравшись съ вечера въ казначейство, онъ за ночь взломалъ кассы, набилъ карманы деньгами и ждалъ, чтобъ его сообщники открыли двери казначейства. Услыхавъ, что двери открываютъ, Павлопуло съ набитыми деньгами карманами, подошелъ. Двери открылись, — передъ Павлопуло была полиція.

— Одинъ изъ моихъ помощниковъ, подлецъ, продалъ! — со вздохомъ говоритъ Павлопуло.

Его судили, осудили, и онъ шелъ уже по дорогѣ въ Сибирь.

— Въ это время меня эти негодяи, которые Лившица, — царство ему небесное, убили, — меня и выдали! Всю карьеру мою перепортили.

— Какую же карьеру?

— У меня ужъ „смѣнщикъ“ готовъ былъ. Все наложено. Какъ только приду на мѣсто, сейчасъ же уйду, за границу бы, и занимался бы и сейчасъ своей настоящей спеціальностью!

— Именно?

— Кассы бы ломалъ!

И Павлопуло говоритъ это съ такимъ вздохомъ. У него сильный греческій акцентъ. Онъ говоритъ, собственно:

— Кассіи ломали би!

И въ словѣ „кассіи“ у него звучитъ даже нѣжность. Словно имя любимой женщины.

Павлопуло былъ возвращенъ съ дороги, препровожденъ въ Одессу, — и вотъ передъ судомъ предстали: Каминкеръ, все время плакавшая, дрожавшая, тщедушная, пожилая еврейка; Львовъ, здоровѣйшій верзила, съ апатичнымъ взглядомъ, все время разсматривавшій потолокъ, стѣну, публику, судей, не обращавшій ни малѣйшаго вниманія на то, что происходитъ, словно не его дѣло касалось! Все время безъ-удержу рыдавшая и кричавшая: „я не виновата! я не виновата!“ — вдова, покупательница завѣдомо краденаго, оглохшая въ тюрьмѣ, ходившая на костыляхъ, когда-то, должно-быть, очень красивая, молодая еще, еврейка Луцкеръ, объявившая суду:

— Прошу не сажать меня около Томилина, — онъ меня убьетъ.

Въ кандалахъ Томилинъ, успѣвшій ужъ за это время много разъ судиться, осужденный въ каторгу, спокойный, очень кратко, но ясно и обстоятельно разъяснившій суду, какъ было дѣло.

Арестантскіе типы. Осужденный за убійство.

И страшно интересовавшій публику, судей, присяжныхъ, въ кандалахъ же, какъ уже осужденный въ каторгу, живой, подвижной, среднихъ лѣтъ, грекъ Павлопуло.

— Вы меня знали раньше? — спросилъ онъ у свидѣтеля-пристава, спеціалиста по розыскамъ.

— Нѣтъ, не встрѣчалъ.

— А имя „пана“ вамъ было извѣстно?

— Ну, еще бы!

Въ голосѣ свидѣтеля даже послышалась почтительность.

„Панъ“ — это „nom de guerre“ — воровская кличка Павлопуло.

Въ воровскомъ кругѣ Павлопуло получилъ кличку „пана“ за свою привычку къ „хорошей“, широкой и богатой жизни. За кутежи и франтовство.

— По тридцати рублей рубашечку носилъ! — вздыхалъ на Сахалинѣ Павлопуло, — паутина-съ, а не полотно!

Кличку „пана“ Павлопуло получилъ за то, что онъ шелъ только на очень большія, крупныя дѣла.

— Мое дѣло — банки, конторы. Изъ частныхъ лицъ — развѣ кто ужъ очень богатъ, — ну, къ нему пойду, у него попрактикую!

Словно снисходилъ до частныхъ лицъ! „Мелкой практикой“ Павлопуло не занимался совсѣмъ.

„Паномъ“ его звали еще за необычайно презрительное, высокомѣрное отношеніе ко всей воровской братіи. „Достойными уваженія“ и его общества, изъ людей его профессіи, Павлопуло считалъ только трехъ — четырехъ, „такихъ, какъ и онъ“:

— Одинъ есть такой въ Москвѣ. Съ остальными я встрѣчался за границей.

Имя „пана“ гремѣло не только въ Россіи. Онъ былъ извѣстенъ въ Румыніи, Турціи, Греціи, Египтѣ.

— Вообще на Востокѣ! — пояснилъ „панъ“ присяжнымъ.

Когда полицейскіе разсказали суду все это про „пана-Павлопуло“, Павлопуло поднялся съ мѣста и, звякнувъ кандалами, ткнулъ пальцемъ въ грудь:

— Панъ — это я!

Старые судейскіе потомъ говорили, что болѣе оригинальнаго подсудимаго не видывалъ судъ.

Павлопуло обратился къ свидѣтелю, сыну покойнаго Ливщица:

— Скажите, пожалуйста, вы знаете кассу вашего покойнаго батюшки?

— Да. Она у меня и до сихъ поръ.

— Она такой-то формы? Марка такая-то?

— Да.

— Замокъ съ такимъ-то секретомъ? Отпирается такъ-то и такъ-то?

Павлопуло разсказалъ мельчайшія подробности всѣхъ секретовъ кассы.

— Да. Да. Да!

— Скажите, для того, чтобъ касса открылась безъ звона, что надо сдѣлать?

— Право... не знаю...

— Припомните хорошенько. Тамъ есть съ такого-то бока такая-то кнопка. Если вы ее прижмете, касса откроется безъ звона.

— Съ такого-то бока, вы говорите?

— Да, да. Вы не торопитесь. Вы припомните. Тамъ должна быть такая-то кнопка.

— Да! Совершенно вѣрно! Есть такая кнопка, и если ее прижать, касса, дѣйствительно, отпирается безъ звона! — припомнилъ свидѣтель.

— Вы видите! — обратился Павлопуло къ суду, — я лучше знаю его кассу, чѣмъ онъ самъ!

Павлопуло отрицалъ всякое свое участіе даже въ умыслѣ на убійство.

— Неужели я на такую глупость способенъ?! — восклицалъ онъ горячо и убѣдительно, — зачѣмъ мнѣ? У меня, слава Богу, есть своя спеціальность!

Арестантскіе типы. Осужденный на 16 лѣтъ въ каторжныя работы. Судился за убійство и побѣгъ.

Такъ и сказалъ: „слава Богу“. И такъ часто и съ такимъ увлеченіемъ упоминалъ про „спеціальность“, что предсѣдатель, наконецъ, спросилъ:

— Про какую это вы все „спеціальность“ толкуете?

— Кассіи ломати!

— А!

— Я за свою спеціальность даже кандалы ношу! — съ гордостью говорилъ Павлопуло, словно и ни вѣсть какой знакъ отличія получилъ, — я за свою спеціальность, вы слышали, за границей извѣстенъ. Я за свою спеціальность Сибирь получилъ!

— Я, господа присяжные, такой же, какъ они, воръ. Но другой спеціальности! — пояснилъ онъ присяжнымъ. — Мы раздѣляемся на разныя спеціальности. У кого какая, тотъ той и держится. Карманникъ — онъ карманникъ, и по парадным дверямъ шубы красть, — это ужъ не его дѣло. На это есть „парадники“. Парадникъ опять-таки въ поѣздахъ пассажировъ обкрадывать не пойдетъ. Онъ этого дѣла не знаетъ! На это есть

„поѣздошники“. На все свои спеціальности. Я спеціалистъ по взлому кассъ.

— Мнѣ убивать итти! Мнѣ! — всплескивалъ онъ руками, и на лицѣ его выражалось даже сожалѣніе къ людямъ, способнымъ вообразить себѣ такую нелѣпицу, — да зачѣмъ мнѣ? Да я, случалось, открывалъ кассы, когда хозяинъ тутъ же по сосѣдству въ комнатахъ сидѣлъ, — и никто ничего не слышалъ.

Павлопуло никогда не говоритъ „ломать“ кассу, — всегда мягко: „открывать“. „Ломати кассіи глупо, кассіи открывати нузино“! — по его словамъ.

— Я бы кассу и открылъ, и деньги взялъ, и ушелъ, — Лившицъ бы и не проснулся! И вдругъ я буду итти на убійство!

— Ну, однако! — прервалъ его разглагольствованіе предсѣдатель, — вѣдь вы сами же говорите, что при васъ револьверъ былъ.

— И не только револьверъ, но еще и кинжалъ, но еще и кастетъ! — горячо воскликнулъ Павлопуло. — Да вѣдь вы посудите, въ какую компанію я шелъ! Что это за публика? Вы посмотрите только на ихъ физіономіи! Хороши?

Томилинъ при этихъ словахъ оглянулся и только презрительно посмотрѣлъ на Павлопуло своими сѣрыми, холодными, спокойными глазами.

— Вѣдь эта „публика“ за пятачокъ человѣка зарѣзать готова! — горячо продолжалъ Павлопуло, — вѣдь это негодяи! А при мнѣ были и часы, и перстни, и портсигаръ золотой. Долженъ же былъ я съ собой для нихъ оружіе захватить. Вѣдь они меня при дѣлежѣ могли убить!

Въ дѣйствительности, убійство Лившица произошло такъ:

Убійства не затѣвалось. Затѣвали только грабежъ. Душой предпріятія была вдова-ювелирша, покупательница краденаго. Отъ своей знакомой Каминкеръ она слыхала, что у „хозяина“ всѣ деньги хранятся дома, и „свела“ ее со своими знакомыми, неоднократно продававшими ей краденое, громилами Томилинымъ и Львовымъ. Но какъ открыть кассу? Самимъ сломать, не зная, какъ это дѣлается, — весь домъ на ноги поднимешь. Компанія воспользовалась прибытіемъ въ Одессу „по дѣламъ“ знаменитаго „спеціалиста“ „пана“ и предложила ему принять участіе.

„Панъ“ пошелъ на „хорошее дѣло“ съ обычной осторожностью. Приказавъ Каминкеръ сломать замокъ у двери и, въ качествѣ слесаря, позвать его. Явившись, подъ видомъ слесаря въ домъ, осмотрѣлъ расположеніе комнатъ, мелькомъ взглянулъ на кассу:

Мнѣ на кассу достаточно разъ взглянуть, чтобы понять ее. Касса, я сразу увидѣлъ, была нетрудная. У меня въ практикѣ бывали такія.

Павлопуло объявилъ компаніи:

— Дѣло легкое!

Но предупредилъ:

— Только помните, чтобы безъ глупостей. На глупость я не пойду. Да и не къ чему. Лившицъ и не услышитъ, какъ я открою кассу.

Это мнѣ и Томилинъ на Сахалинѣ говорилъ:

— Такой уговоръ, дѣйствительно, былъ. Недотрога, вѣдь, бѣлоручка, „панъ“, — одно слово. Мразь!

Вечеромъ, въ назначенный день, Каминкеръ отперла дверь на черную лѣстницу, и въ кухню вошли Львовъ, Томилинъ, Луцкеръ въ мужскомъ платьѣ, — Томилинъ не отпускалъ Луцкеръ отъ себя ни на шагъ, — и Павлопуло „съ необходимыми инструментами“.

Арестантскіе типы.

Лившицъ еще не спалъ. Компанія осталась ждать въ кухнѣ. Пили водку „для храбрости“ — всѣ, кромѣ Павлопуло. Онъ боялся, чтобы его не опоили.

Злой, жестокій, необузданный Томилинъ пьянѣлъ, ожиданіе раздражало его, — и Павлопуло началъ безпокоиться и предупреждалъ:

— Такъ помните, чтобъ безъ глупостей!

— Ладно! Сказано! Молчи ужъ!

Каминкеръ сходила, послушала:

— Кажется, заснулъ. Тихо.

Ее, какъ было условлено, связали, завязали ей ротъ, положили въ постель и пошли.

Павлопуло долженъ былъ вскрывать кассу. Львовъ, Томилинъ, Луцкеръ стоять насторожѣ. Если Лившицъ проснется, кинуться, связать, завязать ротъ, — и только.

Тихонько вошли они въ комнату, гдѣ стояла касса. Въ сосѣдней комнатѣ, въ спальнѣ Лившица былъ свѣтъ.

Старикъ лежалъ въ постели и читалъ книгу.

Грабители притаились.

Такъ прошло нѣсколько минутъ. Луцкеръ, Томилинъ, Львовъ, Павлопуло стояли, не смѣя дышать. А старикъ преспокойно читалъ.

— Словно нѣсколько часовъ прошло! Дышать было трудно! — говоритъ Павлопуло.

Какъ вдругъ Томилинъ не выдержалъ. Кинулся въ спальню, за нимъ кинулся Львовъ.

У Павлопуло подкосились ноги.

Старикъ только поднялъ голову, не успѣлъ даже вскрикнуть. Томилинъ накинулъ веревку. Львовъ схватился за другой конецъ. Дернули. Хрипѣніе. Старикъ былъ мертвъ.

Когда Томилинъ повернулся къ Павлопуло:

— Такого лица я еще никогда не видывалъ! — говоритъ панъ.

Онъ кинулся къ двери.

Львовъ загородилъ было ему дорогу:

— А касса?

Павлопуло выхватилъ револьверъ:

— Башку вдребезги!

Верзила отшатнулся, и Павлопуло „былъ таковъ“.

— Мы всѣ тогда испугались! — говорилъ Львовъ.

Томилинъ былъ страшенъ. Онъ „вошелъ въ сердце“. Придя въ кухню, сѣлъ на связанную Каминкеръ и, когда та заворочалась, далъ ей такого тумака по головѣ, что она потеряла сознаніе.

Луцкеръ и Львовъ дрожали:

— Думали, всѣхъ убьетъ!

Томилинъ кричалъ, „рычалъ, какъ звѣрь“, сквернословилъ, ругался, пилъ водку.

Луцкеръ на колѣняхъ молила:

— Да успокойся ты! Успокойся!

Насилу „отдышался“.

Такъ происходило убійство.

— Въ этакую глупость впутался! Съ такими мерзавцами связался!—билъ себя по головѣ, какъ-то въ разговорѣ на Сахалинѣ, Павлопуло, и въ словахъ его звучало отчаяніе неподдѣльное,—а? Въ убійство попалъ. Въ убійство, когда я имѣю свою спеціальность!

Присяжные не дали вѣры Павлопуло, — онъ былъ осужденъ за убійство съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ, наравнѣ съ Томилинымъ и Львовымъ.

Павлопуло только пожалъ плечами и поблагодарилъ своего защитника по назначенію, теперь ужъ покойнаго присяжнаго повѣреннаго Ваховича:

— Благодарю васъ за защиту. А что меня осудили, — вина не ваша! Не поняли насъ съ вами гг. присяжные засѣдатели!

Таковъ „панъ“.

Павлопуло былъ неуловимъ для меня на Сахалинѣ. Придешь въ Александровскую „вольную“ тюрьму:

— Здѣсь Павлопуло?

— На работѣ. На паровой мельницѣ.

Идешь туда.

— Ушелъ Павлопуло.

Отыскивалъ его утромъ, вечеромъ — никакъ не могъ увидѣть.

Однажды я бродилъ по тюрьмѣ, какъ вдругъ на меня бросился, — буквально, бросился, — какой-то кавказецъ, сосланный за многократныя убійства: родовая месть. Онъ на что-то жаловался, подавалъ прошеніе, не получилъ отвѣта, — и теперь требовалъ его отъ меня:

— Атвэчай!

Я напрасно убѣждалъ его, что я не начальство. Кавказецъ ничего знать не хотѣлъ:

— Какъ нэ начальство? Зачэмъ нэ начальство? Драть всэ начальство, жалоба правая разбирать, — нэтъ начальства?!

Глаза горятъ:

— Атвэтъ давай! Два гуда ждэмъ. Булше ждать не жэлаемъ.

Вдругъ чья-то сильная рука отстранила кавказца.

— А вотъ постой, я съ нимъ поговорю по-своему!

Передо мной стоялъ, руки въ боки, здоровенный молодой каторжанинъ, — кожанный картузъ набекрень, рубаха-косоворотка съ „кованымъ“, вышитымъ, воротникомъ. Халатъ едва держится, — накинутъ на одно плечо. Видъ типичнаго „Ивана“. Это былъ тюремная знаменитость А. „Иванъ“, не „спускавшій“ самому Патрину [1]).

— А п-позвольте у васъ узнать, кто же такой вы будете, ежели вы не начальство?

---

[1]) Патринъ, смотритель тюрьмы, былъ въ то время ужасомъ всей каторги. Недавно онъ убитъ арестантами.

— А тебѣ какое дѣло? Вѣдь я тебя не спрашиваю, кто ты такой!

— Нѣтъ-съ, позвольте-съ!

А. съ вызывающимъ видомъ загородилъ мнѣ дорогу.

— Ежели вы, какъ вы изволите говорить, не начальство, на какомъ же такомъ основаніи вы тюрьму осматриваете? А?

Кругомъ стояла толпа. Ждали „чѣмъ кончится".

Положеніе было критическое. Пригрозить начальствомъ, жалобой, — избави Богъ — это значило бы лишиться всѣхъ симпатій арестантовъ. Уступить — сконфузить себя, уронить въ глазахъ тюрьмы. Унизить его чѣмъ-нибудь, — избави Богъ, вѣдь сколько розогъ принялъ этотъ человѣкъ, чтобы добиться славы „Ивана". И вдругъ, чтобъ все это пустить на смарку, уничтожить его обояніе въ глазахъ тюрьмы. Надо было найти какой-нибудь выходъ. Выйти такъ, чтобъ и онъ, и я разошлись, не уронивъ своего достоинства.

Мнѣ пришло въ голову гаркнуть на него во всю голову:

— Молчать! Шапку долой! Ты какъ смѣешь такъ со мной разговаривать? А? Что я тебѣ начальство, что ли, что ты смѣешь въ шапкѣ передо мной стоять, да мнѣ грубить? Начальство я тебѣ?[1])

Все кругомъ заревѣло отъ хохота.

„Иванъ", — послѣ онъ мнѣ самъ говорилъ, — „началъ-то съ бреха, а потомъ вижу, глупость дѣлаю", сначала опѣшилъ, потомъ самъ обрадовался тому выходу, захохоталъ, снялъ шапку:

— А ежели не начальство — наше вамъ почтеніе! Милости просимъ! Ежели не начальство, виноватъ!

Всѣ были довольны такимъ мирнымъ исходомъ, смѣялись, и среди смѣющихся лицъ мнѣ показались знакомыми сжавшіеся отъ смѣха въ щелочки, черные, какъ маслины, живые, огнемъ горѣвшіе глаза.

— Какъ фамилія?

— Павлопуло.

— А! Знаменитый „панъ"! А я вѣдь тебѣ привезъ поклонъ отъ твоего защитника, г. Ваховича!

Покойный Ваховичъ, дѣйствительно, просилъ меня передъ моей поѣздкой, — увижу, кланяться его оригинальному кліенту.

Павлопуло засіялъ отъ счастья. Теперь уже глаза всѣхъ почтительно были обращены на него: знаменитость, которую проѣзжіе люди по Россіи помнятъ!

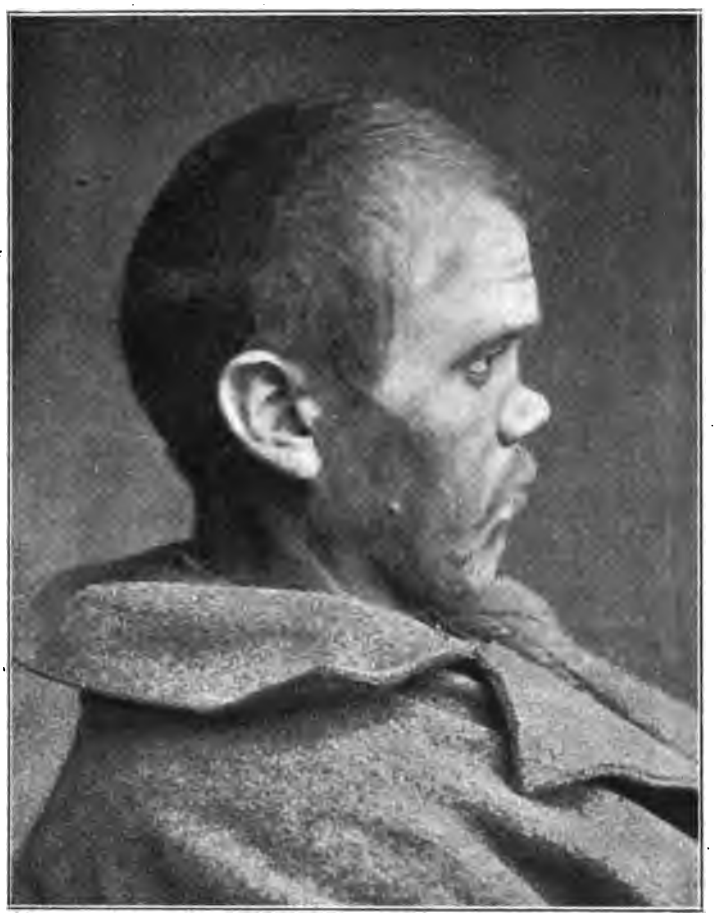
— Ахъ, какъ вы меня этимъ поддержали! Вы себѣ этого и представить не можете! — говорилъ мнѣ потомъ Павлопуло, — на сто процентовъ ко мнѣ уваженіе поднялось!

---

[1]) «Иванъ» долженъ быть дерзокъ только съ начальствомъ.

Съ этого и пошла наша дружба. Когда я приходилъ въ „вольную“ Александровскую тюрьму, меня всегда сопровождали двое, — Павлопуло, который разъяснялъ, что при мнѣ нечего опасаться пить водку, играть въ карты и т. п., и А., который считалъ своимъ долгомъ меня охранять:

— Мало ли какой дуракъ можетъ вамъ скандалъ сдѣлать? Вѣдь народъ тутъ тоже. Одно слово — арестантъ.



Арестантскіе типы.

На Сахалинѣ служащіе получаютъ въ складчину телеграммы „Россійскаго Агентства“, которыя печатаются въ мѣстной типографіи. Я бралъ оттискъ, и Павлопуло каждый день заходилъ ко мнѣ почитать телеграммы: въ то время шла греко-турецкая война.

Онъ осѣдлывалъ носъ золотымъ пенснэ, которое такъ удивительно шло къ арестантскому „бушлату“, читалъ и покачивалъ головой:

— Ца! Ца! Ца! Насихъ бьюти! Бьюти грековъ! Бьюти!

Былъ печаленъ, озабоченъ, приходилъ въ неистовство:

— Министри наси никуда не годятися! Министри! До чего довели! На сто ми тепери воевати моземъ! Все Деліаниси издѣлали!

А однажды объявилъ:

— Изъ-за этого Деліаниса я въ каторгѣ!

— Какъ такъ?!

— Павлопуло моя не настоящая фамилія. Я изъ Аѳинъ. У меня въ Аѳинахъ братъ-адвокатъ есть. Только я, конечно, въ молодости съ пути сбился. А то бы хорошимъ механикомъ былъ. Но только когда, въ возрастъ пришелъ, рѣшилъ остепениться. Выждалъ, когда мнѣ по греческимъ дѣламъ давность вышла, денегъ у меня было много, купилъ себѣ землю въ Греціи. Тутъ наши министры такую политику повели,— бѣда. Нищіе совсѣмъ стали. Налоги страшные. Земля себя не окупаетъ. Неурожаи. Въ долги влѣзъ. Съ аукціона все пошло. А жить я привыкъ! Пришлось опять кассы вскрывать итти. Вотъ до Сахалина изъ-за министровъ нашихъ и дошелъ!

Часто онъ говорилъ мнѣ, и въ голосѣ его слышалось столько за душу хватающей тоски.

— Что, Сахалинъ! Не то меня мучаетъ, что я на Сахалинѣ! А то, что далеко я отъ Греціи! Тамъ что теперь дѣлается! Бѣдная, бѣдная Грецiя!

Иногда онъ говорилъ:

— Пустили бы меня. Въ волонтеры бы пошелъ! Хоть бы умереть дали за Грецію!

И когда онъ говорилъ о Греціи, въ голосѣ его слышалось столько нѣжности, любви къ родинѣ.

Теперь уже Павлопуло отбылъ свою сокращенную, за силою манифеста, каторгу, и я могу передать этотъ разговоръ.

— Павлопуло,— спросилъ я его однажды,— отчего васъ никогда на мельницѣ нѣтъ?

— Да я тамъ никогда и не бываю. Я каторги никогда и не отбывалъ. Каторжныя работы отбываютъ только тѣ, у кого денегъ нѣтъ.

— Какъ же такъ?

— А такъ, нанимаю за себя другого. Онъ и свой урокъ исполняетъ и мой.

— И дорого платите?

— Пятачокъ въ день. Мнѣ есть расчетъ. Я больше наживаю.

— Чѣмъ же вы занимаетесь?

— Торгую въ тюрьмѣ старьемъ, деньги въ ростъ даю.

— И помногу процентовъ берете?

— Да игрокамъ даю, какъ у насъ водится, „до пѣтуховъ“, на однѣ сутки. Сто процентовъ въ сутки! Процентъ хорошій!— улыбнулся онъ.

„Панъ“ остался аристократомъ и здѣсь: ростовщикъ въ тюрьмѣ — лицо почетное и уважаемое. Павлопуло, какъ я въ этомъ убѣдился, какъ паукъ, высасывалъ всю тюрьму.

У него были деньжонки, и деньжонки порядочныя. Какъ и всѣ каторжане, онъ лелѣялъ мечту.

— Богъ дастъ, и не такъ еще поживу! На волѣ буду, опять за свою спеціальность возьмусь!

О „спеціальности“ и о кассахъ, почти какъ о Греціи, онъ говорилъ съ увлеченіемъ, съ теплотой, съ любовью.

— Какъ же вы? Учились, что ли, ломать?

— Вскрывать, а не ломать!

— Ну, вскрывать?

— А какъ же! Въ промежуткахъ, бывало, купишь себѣ несгораемую кассу и на ней практикуешься!

Онъ съ необычайнымъ жаромъ разсказывалъ, какъ это надо дѣлать, чертилъ, рисовалъ.

— Я однажды въ Александріи, въ Египтѣ, три мѣсяца надъ мильнеровской кассой бился, какъ ее вскрыть? Вотъ касса! Ца! Одному невозможно. Втроемъ надо, меньше никакъ нельзя! Пудовъ шестнадцать однихъ инструментовъ принести нужно. Начнешь надъ нею съ непривычки работать, домъ трясется. Только со спинки и можно ее взять. Вы, сколько я васъ вижу, не изъ тѣхъ людей, которые несгораемыя кассы себѣ заводятъ. Но если, дай вамъ Богъ, заведете, заведите себѣ мильнеровскую! — засмѣялся Павлопуло.

— Да! А вы придете и откроете?

— Я? За кого вы меня принимаете? Вотъ что я вамъ скажу: не только я не приду, но если я въ томъ городѣ буду, ни одинъ воръ къ вамъ не придетъ. Они „пана“ уважаютъ. „Панъ“ скажетъ: „не тронь“ — и не тронутъ. И вы вдругъ про меня такъ думаете. Ай-ай-ай!

Онъ былъ серьезно обиженъ.

— Ну, хорошо, Павлопуло, человѣкъ вы „съ правилами“, образованный, не стыдно вамъ, не грѣхъ, у людей ихъ достояніе отнимать!

Павлопуло посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ.

— Да развѣ я когда-нибудь у бѣдныхъ, которые своимъ трудомъ нажили, отнималъ что-нибудь? Я бѣднымъ всегда самъ помогалъ. Я жъ, вы знаете, только богатыхъ.

— Ну, у богатыхъ!

— Такъ какое же это ихъ достояніе? Повѣрьте мнѣ, тысячу своимъ трудомъ нажить можно. А милліонъ не своимъ трудомъ

наживается, а чужимъ. Все чужое достояніе. Они чужимъ достояніемъ живутъ — и я чужимъ! — разсмѣялся онъ, — да и къ тому же, у кого есть деньги въ несгораемой кассѣ, у того есть онѣ и въ другомъ мѣстѣ! Я послѣдняго человѣка не лишаю.

— Послушайте, Павлопуло, вы словно любите вскрывать кассы!—замѣтилъ я ему однажды, — словно самую эту работу любите?

— Люблю-съ! — спокойно отвѣчалъ онъ, — всякое дѣло надо любить: только тогда и добьешься искусства!

Такой странный мономанъ.

Когда я уѣзжалъ съ Сахалина, Павлопуло пришелъ проводить меня на пристань. Онъ просилъ меня прислать ему исторію греческой войны на греческомъ языкѣ.

— Вы много путешествуете. Если будете когда въ Греціи, кланяйтесь моей бѣдной, милой, родной сторонѣ отъ ея сына!

И на глазахъ его были слезы.

— Прощайте, Павлопуло!

— До свиданья вамъ! — поправилъ онъ меня, хитро подмигнулъ и улыбнулся.

Людоѣды.

Случаи людоѣдства среди бѣглыхъ каторжныхъ болѣе часты, чѣмъ объ этомъ думаютъ. „Оффиціально извѣстны" три людоѣда.

Занимаясь въ архивѣ Рыковской тюрьмы, я натолкнулся на слѣдующій документъ, помѣченный 28 іюля 1892 года:

„Его высокоблагородію г. смотрителю Рыковской тюрьмы Тымовскаго округа надзирателя центральной дороги Мурашова.

Рапортъ.

Имѣю честь препроводить вашему высокоблагородію ссыльнокаторжнаго Рыковской тюрьмы Колоскова Павла, который бѣжалъ съ 13 на 14, а донесено 15 сего іюля за № 248. Пойманъ разсыльнымъ вышепоименованной тюрьмы Хрусталемъ 24 сего текущаго мѣсяца на 1-й Хандосѣ; при немъ найдены арестантскія вещи, два котла, въ томъ числѣ мѣшокъ человѣческаго мяса, поджареннаго. Колосковъ Павелъ показалъ, что убилъ сс.-каторжнаго, который вмѣстѣ пошелъ съ нимъ въ просѣки, звать не знаетъ, а физіономію объяснилъ: свѣтло-русый мужчина, выше средняго роста, малороссъ, около 35 лѣтъ, вѣроисповѣданія православнаго. По справкѣ оказывается, что въ эту самую ночь бѣжалъ съ нимъ сс.-каторжный Крикунъ-Каленикъ. Я, Мурашовъ, производилъ осмотръ вещамъ Колоскова, нашелъ халатъ, бѣлье грязное съ покойника, и мясо за-

жаренное, человѣческое, которое стало разлагаться отъ теплой температуры въ котомкѣ воздуха. Преступленіе совершено на 5 верстѣ отъ Онора, по дорогѣ, ведущей отъ 2-й Хандосы на Оноръ. При такихъ важныхъ обстоятельствахъ преступленія, сс.-каторжнаго Колоскова имѣю честь препроводить къ вашему высокоблагородію на зависящее распоряженіе въ ручныхъ и ножныхъ кандалахъ".

Это происходило на работахъ по проведенію Онорской просѣки. Воспоминаніе объ этой „Онорской дорогѣ" сохранилось

Ссыльно-каторжный Колосковъ, Павелъ, обвиняемый въ людоѣдствѣ.

въ одной каторжной пѣснѣ, сложенной „терпигорцами",—т.-е., каторжанами, шедшими на Сахалинъ не моремъ, а сухимъ путемъ:

Пока шли мы съ Тюмени,—
Ѣли мы гусей.
А какъ шли мы до Онора,—
Жрали мы людей.

Въ одномъ рукописномъ сборникѣ стихотвореній, посвященномъ онорскимъ работамъ, говорится такъ:

И многіе идутъ бродяжить,
Сманивъ товарищей своихъ,

А какъ усталъ,—кто съ нимъ [illegible],
Того ужъ вѣчный сонъ постигъ.
Убьютъ и тѣло вырѣзаютъ,
Огонь разводятъ—и шашлыкъ,
Его и имъ же поминаютъ,
И не одинъ ужъ такъ погибъ.

Такъ живетъ въ каторгѣ страшная память объ онорскихъ работахъ.

Кому-то и съ чего-то пришла въ голову героическая, но совершенно нелѣпая мысль прорѣзать просѣкой Сахалинъ вдоль южнаго поста Корсаковскаго. Просѣку пришлось вести черезъ тундру, поросшую тайгой. Что это за просѣка, можете судить по тому, что мнѣ, напримѣръ, чтобы проѣхать верхомъ 8 верстъ отъ Онора до Хандосы 2-й, понадобилось три съ половиной часа. Ѣхать по „просѣкѣ“ можно только на сахалинской лошади, выросшей въ тайгѣ. Лошадь осторожненько ступаетъ по корнямъ невыкорчеванныхъ пней. А когда становится на „грунтъ“, моментально завязаетъ по брюхо въ топкой, растаявшей тундрѣ.

Работы по проведенію „просѣки“ велись отъ ранней весны до первыхъ заморозковъ. Люди вязли въ трясинѣ, рубя деревья и выкорчевывая пни. И къ этой мукѣ — работать чуть не по поясъ въ топкой грязи—присоединялась еще нестерпимая мука отъ мошкары, которая тучами носится лѣтомъ надъ тундрой. Мошкара облѣпляла людей. Люди буквально обливались кровью.

— Мѣста живого не было отъ укусовъ! — говорятъ бывшіе на этихъ работахъ, — мошкары такая тьма была, — бывало вздохнешь, да и задохнешься, — столько ея въ ротъ попадаетъ!

Люди, бывавшіе лѣтомъ въ тундрѣ, вполнѣ этому повѣрятъ.

За цѣлое лѣто прошли, такимъ образомъ, 77 верстъ, а затѣмъ эта идея—прорубить просѣку „вдоль всего Сахалина“—была брошена, какъ совсѣмъ невыполнимая. О трудности работъ можете судить по тому, что отправилось на онорскія работы 390 человѣкъ, а вернулось 80. Остальные, — одни перемерли, другіе бѣжали, часть изъ нихъ была поймана, большинство такъ и погибло въ тайгѣ „безъ вѣсти“.

Нужна была какая-нибудь сверхъестественная сила, чтобъ заставить людей исполнять такія работы. И такой силой въ рукахъ мѣстной тюремной администраціи, производившей дорожныя работы, но ничего въ нихъ не понимавшей, — явился старшій надзиратель Хановъ.

Хановъ самъ изъ ссыльно-каторжныхъ. Когда-то онъ былъ сосланъ за какое-то, говорятъ, звѣрское преступленіе и отбывалъ каторгу въ Карѣ „въ разгильдѣевскія времена“, о которыхъ до сихъ поръ съ ужасомъ вспоминаютъ старики-каторжане.

— Я — разгильдѣевецъ! — съ гордостью говоритъ Хановъ.

Хановъ отбылъ каторгу, поселенчество и, пріѣхавъ на Сахалинъ, сдѣлался надзирателемъ. Нѣтъ вообще „лютѣе“ надзирателей, чѣмъ изъ ссыльно-каторжныхъ. Какъ всякій бывшій ссыльно-каторжникъ, Хановъ ненавидѣлъ и презиралъ каторгу. Къ тому же онъ зналъ ее хорошо, тонко, „по-каторжному“ зналъ.

Чтобы команда изъ 390 каторжанъ, бывшая подъ присмотромъ всего 3 надзирателей, не взбунтовалась, Хановъ отдѣлилъ изъ нея „Ивановъ“.

Ссыльно-каторжный Колосковъ, Павелъ, обвиняемый въ людоѣдствѣ.

Каторжныхъ „Ивановъ“ не слѣдуетъ смѣшивать съ „Иванами-Непомнящими“, бродягами. „Иванъ“ — это долгосрочный арестантъ, которому нечего терять, лихачъ, отчаянная башка, головорѣзъ каторги. Это обыкновенно до мозга костей испорченные арестанты, — „аристократія“ каторги. Они держатъ въ страхѣ и трепетѣ всю остальную робкую, забитую каторгу, называемую презрительно „шпанкой“, — но они же являются коноводами и зачинщиками всѣхъ тюремныхъ возмущеній.

Опытнымъ глазомъ „стараго разгильдѣевца“ Хановъ присматривался къ каждой новой партіи каторжанъ, — и сейчасъ

же выдѣлялъ „Ивановъ“, именно ихъ-то и дѣлая надсмотрщиками за работами. „Иваны“, такимъ образомъ, совсѣмъ избавлялись отъ работъ, могли питаться лучше, завѣдуя раздачей арестантскихъ порцій, и получали полную возможность тиранить и грабить злосчастную шпанку, выколачивая изъ нея послѣдніе гроши, послѣднія щепотки табаку.

Лучше жизни „Иванамъ“ и не нужно было. Они были на сторонѣ Ханова. А шпанка, забитая и несчастная, лишившись своихъ коноводовъ, терпѣливо несла свой крестъ.

Чтобъ забить „шпанку“ въ конецъ, „старый разгильдѣвецъ“ употреблялъ два пріема: непосильные „уроки“ и недостаточность пищи. Урочныя работы задавались такія, что всѣ и всегда были виновны въ „неисполненіи урока“. Порка, — Ханову было предоставлено право драть, — шла по всей линіи несосвѣтимая. Кормилъ Хановъ арестантовъ разъ въ день, послѣ работъ. И пищи было недостаточно, и „Иваны“ еще вдобавокъ крали, — измученный человѣкъ, кончивъ урокъ, или, вѣрнѣе, никогда не кончивъ урока, если избѣгъ порки, „тыкался“ къ котлу, „жралъ“ наскоро, и, заморенный, полуголодный, засыпалъ тутъ же, на мѣстѣ, какъ убитый. До протестовъ ли тутъ! Такъ въ голодѣ и ужасѣ жила „шпанка“.

Забивъ шпанку физически и нравственно, Хановъ „подобрался“ и къ „Иванамъ“. Но дѣлалъ это опять-таки необыкновенно тонко и по-каторжному — умѣло. Онъ „сокращалъ“ ихъ по одному, въ то же время другимъ давая еще большія льготы. Вдругъ возьметъ и одного какого-нибудь „Ивана“ изъ надсмотрщиковъ переведетъ въ простые рабочіе, на полуголодный, полутрепетный режимъ. Остальнымъ „Иванамъ“ это было только на руку: меньше надсмотрщиковъ, — больше каждому изъ оставшихся достанется на долю при дѣлежкѣ награбленнаго. И разжалованный изъ надсмотрщиковъ въ рабочіе „Иванъ“ долженъ былъ покоряться. Что онъ одинъ подѣлаетъ, когда вчерашніе его товарищи колотятъ и бьютъ его:

— Работай, такой-сякой! Не лодырничай!

Такъ мало-по-малу Хановъ „перевелъ“ у себя и „Ивановъ“, — оставивъ изъ нихъ въ качествѣ надсмотрщиковъ только самыхъ отчаянныхъ. Зато ужъ и преданы были эти надсмотрщики Ханову истинно „какъ псы“. Ихъ было мало, на долю каждаго приходилось много. Имъ прямой былъ расчетъ поддерживать хановскіе порядки, и самъ надзиратель изъ каторжанъ такъ не свирѣпствовалъ, какъ свирѣпствовали каторжные надсмотрщики.

Такъ, примѣняя правило „divide et impera“, — Хановъ держалъ въ своихъ поистинѣ желѣзныхъ рукахъ всю каторгу и дѣлалъ съ ней все, что хотѣлъ.

Люди бросались подъ падавшія срубленныя деревья, чтобъ получить увѣчье, люди отрубали себѣ кисть руки, — на Сахалинѣ и сейчасъ много этихъ „онорцевъ“ съ отрубленной

Надзиратель Хановъ и его семья.

кистью лѣвой руки, — чтобъ только ихъ, какъ неспособныхъ къ работѣ, отправили назадъ въ тюрьму. Люди, очертя голову, бѣжали въ тайгу на голодную смерть.

Павелъ Колосковъ былъ однимъ изъ „Ивановъ“, проведенныхъ Хановымъ.

Колосковъ въ первый разъ былъ сосланъ на Сахалинъ на 10 лѣтъ за убійство съ цѣлью грабежа. Затѣмъ, онъ бѣжалъ, былъ пойманъ, получилъ плети, присужденъ къ вѣчной каторгѣ, съ „15 годами испытуемости“, т.-е. долженъ 15 лѣтъ содержаться въ кандальной тюрьмѣ: нѣчто совершенно безнадежное. Въ тюрьмѣ онъ былъ однимъ изъ „Ивановъ“, и когда его пригнали съ партіей на онорскія работы, Хановъ сейчасъ же сдѣлалъ Колоскова „надсмотрщикомъ“.

— Жилось тогда, что говорить, хорошо. Ѣшь вволю, табакъ, даже водку доставали.

Колосковъ и сейчасъ съ удовольствіемъ вспоминаетъ объ этомъ времени. Но оно длилось недолго: Хановъ сократилъ „Ивана“ по вышеуказанному рецепту.

— Взъѣлся и взъѣлся. Перевелъ въ рабочіе. Я къ товарищамъ: „Что жъ это, братцы? За что?“ Смѣются: „Не умѣлъ, стало, потрафить. Теперь самъ и разбирайся, какъ знаешь. Намъ хорошо, а до тебя какое дѣло? На Сахалинѣ всякъ за себя. А ты вотъ что: ты чѣмъ брехать, урокъ исполняй, — потому мы затѣмъ надъ тобой приставлены“. Парень я былъ могутный, — Хановъ на меня и наваливаетъ и наваливаетъ. Такіе „уроки“ загибаетъ, — съ силъ спалъ. Что ни день, дерутъ: урока не выполнилъ. Вижу, — смерть. Въ тѣ поры я товарища подговорилъ и убѣгъ.

Колосковъ и до сихъ поръ содержится въ Александровской кандальной тюрьмѣ.

Молодой еще парень, низкорослый, широкоплечій, истинно „могутный“. Съ тупымъ, угрюмымъ лицомъ, исподлобья глядящими глазами. Каторга, даже кандальная, „головка“ каторги, — его не любитъ и чуждается. Онъ ходитъ обыкновенно одинъ вдоль полей, огораживающихъ кандальное отдѣленіе, взадъ и впередъ, понурый, мрачный, словно волкъ, что неустанно бѣгаетъ вдоль рѣшотки клѣтки.

— Ушли мы съ товарищемъ съ работъ! — разсказываетъ Колосковъ.

— Провіанту захватили?

— Нѣ! Какой тамъ провіантъ. Оно вѣрно, когда мы бродяжить уходимъ, всегда загодя себѣ прикопляемъ. Сухари сушимъ. Да тамъ что насушишь! Кончишь работу, слопаешь, что дадутъ, — словно и не ѣлъ. Оттого и сбѣгли.

— Ты даже не спросилъ, какъ товарища зовутъ?

— Ни къ чему было. Ишли, ишли тайгой, смерть подходитъ. Товарищъ-то упалъ — и померъ.

— Самъ умеръ?

— Самъ. Занедужился и померъ. Это я нарочно потомъ на себя выдумалъ, убилъ будто. Ну, померъ онъ, — вижу я,— и мнѣ то же будетъ. Набралъ хворосту — спички съ собой были — зажегъ костеръ, изъ тѣла такъ нѣсколько кусковъ вырѣзалъ и на угляхъ сжарилъ... А только тѣла я не ѣлъ. Нарочно такъ сдѣлалъ. Въ сумочку — у всякаго бродяги сумочка полагается — въ сумочку мясо поклалъ, пошелъ на дорогу да и объявился: „такъ и такъ, молъ, человѣчьимъ

«Онорскій людоѣдъ» Губарь.

мясомъ питался". Чтобъ заарестовали и въ тюрьму отправили. Ежели бъ не это, назадъ бы на работы послали. А это преступленіе тяжкое. Для того и сдѣлалъ. Потому, извѣстно было, что такіе случаи бывали, въ тайгу съ работъ уходили, товарищей убивали и мясо ѣли. Вотъ и я на себя наклепалъ.

Но Колосковъ разсказываетъ не всю правду.

— Конфузится! — объяснилъ мнѣ одинъ изъ каторжанъ,— человѣкъ вы новый. А намъ доподлинно извѣстно, что ѣлъ.

Я видѣлъ свидѣтелей того, какъ арестованнаго Колоскова съ его страшной сумкой привели на работы.

Каторжане его ругали, хотѣли избить, и убили бы, если бъ не защитили надзиратели. Каторга не хотѣла вѣрить такому ужасному преступленію и заставляла Колоскова ѣсть при ней найденное у него жареное мясо.

— Какъ же ты говоришь, что убилъ и ѣлъ? Докажи свою храбрость. Ѣшь!

И Колосковъ подъ угрозами ѣлъ при каторжанахъ.

— Хорошее, вкусное мясо! Лучше всякаго скотскаго!

Онъ даже смѣялся при этомъ. „Никакой провинности у него въ лицѣ не замѣчалось" — какъ свидѣтельствуютъ очевидцы.

Я какъ-то въ разговорѣ упомянулъ Колоскову про эти подробности:

— Что жъ они, врутъ, что ли?

Колосковъ отвернулся:

— Что ужъ про то вспоминать, что было! — махнулъ онъ рукой.

Изъ двухъ другихъ „онорскихъ людоѣдовъ" живъ только одинъ — Васильевъ. Его товарищъ Губарь, съ которымъ вмѣстѣ они совершили преступленіе, умеръ, не перенеся наказанія.

Исторія снова та же, что и у Колоскова. Товарищъ Васильева, покойный Губарь, судя по портрету, — человѣкъ тупой, жестокій и злой, былъ однимъ изъ отчаяннѣйшихъ „Ивановъ", котораго трепетала тюрьма. Хановъ точно также сначала возвелъ его въ званіе надсмотрщика, а затѣмъ перевелъ въ рабочіе и началъ „укрощать".

Губарь не выдержалъ, подговорилъ Васильева и Ѳедотова, юношу-каторжанина, 20 лѣтъ, и вмѣстѣ съ нимъ бѣжалъ.

Ѳедотовъ былъ убитъ Губаремъ на второй же день.

— Я такъ думаю, онъ, для того его и уговорилъ бѣжать, чтобы убить и съѣсть. Ужъ заранѣе у него въ мысляхъ было! — говоритъ Васильевъ.

Въ разсказѣ Васильева, очень подробномъ и детальномъ, самое страшное — это ночь передъ убійствомъ.

— Ѳедотовъ-то ничего не зналъ. А меня дрожь брала, — потому я-то слыхалъ, что губарь и раньше, когда съ каторги бѣгалъ, товарищей убивалъ и тѣломъ питался. Какъ пришла ночь, Ѳедотовъ заснулъ, а я не сплю, зубъ на зубъ не попадаетъ: не убилъ бы Губарь. Бѣжали, извѣстно, безъ всего. На просѣкѣ-то и такъ дохли съ голода, съ чего скопишь? Животы подводитъ. Губарь мнѣ и говоритъ на разсвѣтѣ „Будетъ, что ѣсть", и на Ѳедотова головой кивнулъ. Меня въ холодъ бросило: „Что ты?" Духъ инда захватило. Да страхъ взялъ: „Ну, какъ откажусь, а онъ потомъ Ѳедотова подговоритъ, да меня они убьютъ". Ну, и согласился. Отошелъ это я

испить къ ручеечку, вертаюсь, а мнѣ навстрѣчу Губарь идетъ, бѣлый, ровно полотно. „Есть, — говоритъ, — что ѣсть!“. Тутъ и пошли мы къ тѣлу...

Васильевъ — здоровенный 35-лѣтній мужчина, говорятъ, необыкновенной физической силы. Какъ большинство очень сильныхъ людей, онъ необыкновенно добродушенъ. И я съ изумленіемъ смотрѣлъ на этого великана, бѣлобрысаго, съ

«Онорскій людоѣдъ» Губарь.

волосами — цвѣта льна, кроткими и добрыми глазами, говорящаго съ добродушной, словно виноватой, улыбкой. Такъ мало онъ напоминаетъ „людоѣда“.

Меня предостерегали отъ знакомства съ Васильевымъ. Послѣ поимки онъ сходилъ съ ума, до сихъ поръ волнуется и приходитъ въ бѣшенство при всякомъ напоминаніи о дѣлѣ.

Но интересъ къ этому необыкновенному преступнику былъ ужъ очень великъ,— я познакомился съ Васильевымъ и, вызвавъ его въ тюремную канцелярію, которая въ свободные часы была предоставлена мнѣ для свиданія наединѣ съ арестанта-

ми, спросилъ его, — не могу ли быть ему чѣмъ-нибудь полезнымъ? Васильевъ отвѣчалъ:

— Нѣтъ! Чѣмъ же-съ?

И отъ всякой денежной помощи отказался.

— Зачѣмъ мнѣ?

Онъ сидѣлъ передо мной, видимо, въ большомъ смущеніи, мялъ въ рукахъ шапку, о чемъ-то хотѣлъ заговорить, но не рѣшался, — и послѣ очень долгой паузы, смотря куда-то въ сторону, виновато улыбаясь, сказалъ своимъ мягкимъ, кроткимъ, добрымъ голосомъ:

— Вамъ... вѣроятно... желательно узнать про мое... дѣло?..

— Если вамъ такъ тяжело вспоминать объ этомъ, не надо!

— Нѣтъ... Что же-съ... Я вѣдь знаю, вамъ не изъ любопытствія... Вамъ изъ науки... Мнѣ Полуляховъ говорилъ...

Полуляховъ, „знаменитый“ убійца семьи Арцимовичей въ Луганскѣ, какъ болѣе просвѣщенный среди каторжанъ и пользующійся у нихъ большимъ авторитетомъ, — былъ мнѣ очень полезенъ, разъясняя своимъ товарищамъ, что я не слѣдователь, не чиновникъ, что меня нечего бояться.

— Мнѣ Полуляховъ говорилъ, — продолжалъ Васильевъ, — что вы всю нашу жизнь, какъ есть, описать хотите... Если вамъ нужно мое дѣло, извольте-съ... я готовъ...

И онъ разсказалъ мнѣ, краснѣя, блѣднѣя, волнуясь отъ страшныхъ воспоминаній, все подробно, какъ они подошли, вырѣзали мягкія части изъ трупа, вынули печень и сварили супъ въ котелкѣ, который унесли съ собой съ работъ.

— Молоденькой крапивки нащипали и положили для вкуса.

Васильевъ, по его словамъ, сначала не могъ ѣсть:

— Да ужъ очень животы подвело. А тутъ Губарь сидитъ и уплетаетъ... Ѣлъ.

Когда они были пойманы, Васильевъ разсказалъ то же самое начальству, то же, со всѣми подробностями, онъ „спокойно, разсказалъ доктору, когда его съ Губаремъ привели наказывать плетьми.

Что это было за „спокойствіе“? Быть-можетъ, спокойствіе человѣка, въ которомъ все закостенѣло отъ ужаса.

Васильева каторга „жалѣла“:

— Онъ не по своей винѣ. Не онъ началъ. Онъ не такой человѣкъ.

Губаря каторга ненавидѣла. Это былъ отвратительнѣйшій и грознѣйшій изъ „Ивановъ“, страхъ и трепетъ всей тюрьмы. Къ тому же, какъ я уже говорилъ, про него ходила молва, что онъ и раньше въ бѣгахъ ѣлъ людей.

На Сахалинѣ всѣ въ одинъ голосъ говорили, что каторга, сложившись по грошамъ, заплатила палачу Комлеву 15 рублей, чтобъ онъ задралъ Губаря насмерть.

Палачи — артисты, виртуозы въ искусствѣ владѣть плетью,— и никакой самый опытный начальническій глазъ не различитъ, съ какой силой бьетъ палачъ. Кажется, все время — одинаково со страшной силой. А на самомъ дѣлѣ есть сотни оттѣнковъ.

Фактъ тотъ, что Васильевъ и Губарь были приговорены къ одному и тому же количеству плетей. Ихъ наказывалъ Комлевъ въ одинъ и тотъ же день. Васильевъ вынесъ все наказаніе сполна и остался неискалѣченнымъ. Губаря послѣ 48-го удара въ безчувственномъ состояніи отнесли въ лазаретъ, и черезъ три дня онъ умеръ. Онъ былъ простеганъ до паховъ. Образовалось омертвѣніе.

«Онорскій людоѣдъ» Васильевъ.

Я спрашивалъ у Комлева, правда ли, что онъ получилъ 15 рублей за то, чтобы забить насмерть Губаря.

Старый палачъ не отвѣтилъ ни „да“ ни „нѣтъ“, онъ сказалъ только:

— Что жъ, я человѣкъ бѣдный!

И, помолчавъ немного, привелъ все извиняющую причину:

— Сакалинъ!

Мнѣ разсказывалъ врачъ, который, по обязанностямъ службы, присутствовалъ при этомъ страшномъ наказаніи.

Комлевъ,— это его бродяжеское прозвище, полученное впослѣдствіи; самъ онъ изъ духовнаго званія и учился когда-то въ духовномъ училищѣ, — Комлевъ явился, чтобы „порѣшить“ человѣка, и рисовался и позировалъ. Онъ, вообще, немножко „романтикъ“ и любилъ порисоваться во время „дѣла“. Онъ

явился въ красной рубахѣ, черномъ фартукѣ, въ какой то, имъ самимъ сочиненной, особой черной шапкѣ.

Приготовляясь наносить удары, онъ поднялся на цыпочки, чтобы казаться выше. Съ хмурымъ, вѣчно угрюмымъ лицомъ, со слезящимися мрачными глазами и воспаленными вѣками, маленькій, жилистый, мускулистый, онъ, дѣйствительно, долженъ былъ быть страшенъ и отвратителенъ.

— Ужъ одна торжественность Комлева говорила, что „что-то“ произойдетъ особенное! — разсказывалъ мнѣ врачъ, — онъ такъ гаркнулъ свое традиціонное „поддержись“, передъ тѣмъ, какъ нанести первый ударъ, что я задрожалъ и отвернулся.

Комлевъ „клалъ“ удары не торопясь, съ разстановкой, „рѣже“, „крѣпче“, чтобы наказуемый „прочувствовалъ“ каждый ударъ.

— Чаще! Скорѣй! — нѣсколько разъ кричалъ докторъ.

Чаще — не такъ мучительно. Ошеломленный человѣкъ не успѣваетъ перечувствовать каждый ударъ въ отдѣльности.

Но Комлевъ не торопился... Послѣ 48 удара Губарь былъ „готовъ“.

— Но и 48 такихъ ударовъ выдержать. Что за богатырь былъ!

— Послѣ этого на меня напалъ страхъ-съ, — разсказывалъ Васильевъ.

— Послѣ наказанія?

— Нѣтъ-съ, не отъ наказанія, а оттого, что я ѣлъ. Такой страхъ напалъ, — свѣта боялся.

Васильевъ сошелъ съ ума. Его охватилъ ужасъ. Онъ заболѣлъ маніей преслѣдованія въ самой бурной формѣ.

Онъ не спалъ ночей, увѣряя, что слышитъ, какъ арестанты сговариваются его убить и самого съѣсть. Когда его посадили за буйство въ карцеръ, онъ отломалъ доску отъ стѣны и такъ двѣнадцать часовъ подъ рядъ простоялъ на нарахъ, не мѣняя позы, съ высоко поднятой надъ головой доской, крича дикимъ голосомъ:

— Не дамся! Убью, кто войдетъ!

И никто не рѣшался подступиться къ разъярившемуся Геркулесу. Его взяли какъ-то хитростью и помѣстили въ лазаретъ. Тамъ онъ отказывался принимать пищу, говоря, что докторъ хочетъ его отравить, и, наконецъ, въ одинъ ужасный день бѣжалъ. Поистинѣ ужасный день: цѣлый мѣсяцъ Васильева не могли поймать, и это былъ ужасный мѣсяцъ для почтеннаго, любимаго за гуманность всею каторгою врача Н. С. Лобаса. Цѣлый мѣсяцъ Васильевъ рыскалъ гдѣ-то кругомъ, ища случая встрѣтить и убить врача. Цѣлый мѣсяцъ домашніе г. Лобаса трепетали, когда онъ выходилъ изъ дома.

Наконецъ, безумнаго поймали, подъ наблюденіемъ того же г. Лобаса онъ оправился, успокоился и теперь, если кого любитъ Васильевъ, такъ это г. Лобаса.

— Вотъ до чего страхъ напалъ, — Николая Степановича хотѣлъ убить! — разсказывалъ Васильевъ, — тяжко мнѣ!

Колосковъ не сознается „постороннимъ“, Васильевъ разсказываетъ, какъ ѣлъ человѣческое мясо, — потому Васильевъ пользуется большей извѣстностью, какъ „людоѣдъ“.

— Всякій, кто пріѣдетъ, сейчасъ на меня смотрѣть. Смотрятъ всѣ... Бѣжалъ бы.

Къ концу бесѣды Васильевъ началъ все сильнѣе и сильнѣе волноваться.

— Бѣжалъ бы. А то какъ человѣкъ подходитъ, такъ и смотритъ. „Ты тѣло ѣлъ?“ А чего смотрятъ! Развѣ я одинъ? Сколько есть, которые въ бѣгахъ убивали и ѣли. Да молчатъ!

Каторга говоритъ, что въ кандальной тюрьмѣ не мало такихъ, которые въ бѣгахъ питались съ голоду мясомъ убитыхъ или умершихъ товарищей.

Мнѣ показывали нѣсколько такихъ, которые винились каторгѣ, а одинъ изъ нихъ, на котораго всѣ указывали, что онъ ѣлъ мясо умершаго отъ изнуренія товарища, — когда я спросилъ его, правду ли про него говорятъ, отвѣчалъ мнѣ:

— Все одно птицы склюютъ. А человѣку не помирать же!

Каторжанка баронесса Геймбрукъ.

Это одно изъ самыхъ тоскливыхъ моихъ сахалинскихъ воспоминаній.

— Баронесса? Баронесса у насъ булки печетъ, уроки даетъ и платья шьетъ! — говорили мнѣ въ селеніи Рыковскомъ.

На порогѣ избы меня встрѣтила высокая, худая женщина съ умными, выразительными глазами. Сколькихъ лѣтъ? Право, трудно опредѣлить лѣта женщины въ каторгѣ. Сахалинъ, отнимая у человѣка все, что есть хорошаго, прежде всего отнимаетъ молодость, а потомъ здоровье.

Я представился.

— Баронесса Геймбрукъ! — отвѣтила она, подчеркивая титулъ, котораго лишена.

„Дѣло баронессы Геймбрукъ, обвиняемой въ поджогѣ“, надѣлало очень большого шума въ Петербургѣ. Это былъ „громкій“ и „знаменитый“ процессъ.

Въ исторіи женскаго образованія въ Россіи имя баронессы Геймбрукъ займетъ скромное, но все же видное мѣсто. Ей принадлежитъ иниціатива устройства женскаго профессіональнаго

образованія въ Россіи; она была первой открывшей женскую профессіональную школу.

Отлично образованная, принадлежавшая къ хорошему кругу, имѣвшая очень вліятельное родство, но не имѣвшая средствъ къ жизни, молодая женщина съ увлеченіемъ отдалась мысли:

— Надо научить женщину жить своимъ трудомъ. Вооружить ее на борьбу за существованіе.

Дѣло шло хорошо. Баронесса работала, учила работать другихъ, перебивалась, сводила концы съ концами.

— Скучно только одной было! — съ грустной улыбкой вспоминаетъ она, — работаешь, работаешь, кипишь въ дѣлѣ, а останешься одна, такое полное одиночество. Ни одной близкой души. Родня... Но родня смотрѣла съ недовѣріемъ, даже стѣснялась моими „затѣями...“

Она познакомилась съ какимъ-то отставнымъ военнымъ. Они понравились другъ другу, потомъ полюбили, возникла „связь“. Пошли „разговоры“.

— Ужасно неудобно! И передъ родными неловко, и, наконецъ, какъ начальницѣ школы...

Надо было вѣнчаться. Онъ тоже только объ этомъ и думалъ. Но у него были запутаны, разстроены дѣла, ему нужно было отъ кого-то откупиться, — денегъ не было.

— Знаешь что, — сказалъ онъ ей однажды, — у насъ есть исходъ. Страховыя преміи за твою обстановку. Если поджечь...

— Ты съ ума сошелъ!

— Никто не узнаетъ. Ты даже будешь не причемъ. Дай только согласіе. Безъ тебя все будетъ сдѣлано. У меня есть такой человѣчекъ...

Она протестовала. Онъ убѣждалъ, что „развѣ мало въ Петербургѣ такъ дѣлаютъ“, что „риску никакого“, что „человѣчку“ ужъ не впервой, что „человѣчекъ“ знаетъ, какъ устроить:

— Ты себѣ уѣдешь въ театръ. Ты будешь не причемъ.

Въ концѣ концовъ онъ предложилъ на выборъ:

— Другого выхода, ты знаешь, нѣтъ. Такъ наша связь продолжаться не можетъ. Значитъ, либо согласиться на такую комбинацію, либо между нами все должно быть кончено.

Умолялъ, заклиналъ ее ихъ любовью.

Она согласилась:

— Хорошо. Дѣлай.

Однажды она поѣхала въ театръ, вернулась и застала у себя въ квартирѣ пожаръ.

Возникло подозрѣніе, выяснился поджогъ. Баронессу Гейнбрукъ и ея „любовника“ арестовали и посадили въ домъ предварительнаго заключенія. Тамъ они какимъ-то образомъ нашли возможность обмѣняться записками.

Видъ поста Дуэ — мѣста ссылки баронессы Геймбрукъ.

Дѣло въ судѣ длилось два дня. Оправданіе баронессы Гейм-брукъ было несомнѣнно. Уликъ, что она знала о готовящемся поджогѣ, не было никакихъ.

Однажды, во время перерыва, ея соучастникъ обратился къ баронессѣ съ вопросомъ:

— Если меня сошлютъ, пойдешь за мной въ Сибирь?

— Вотъ еще! Очень надо!

— „Такъ-таки этими словами и сказала — говоритъ она,— такъ знаете, изъ озорства изъ какого-то. Вотъ, молъ, тебѣ! Я же за то, что твои дѣла были запутаны, и страдать теперь должна!“

— Не пойдешь? Хорошо же!

Онъ передалъ суду записку, которую она переслала ему въ домѣ предварительнаго заключенія:

— „Если слѣдователь скажетъ тебѣ, будто я созналась, — не вѣрь. Я ни въ чемъ не созналась, не сознавайся и ты“.

Сомнѣній не было. Оба были обвинены.

— Подлецъ! Зачѣмъ ты это сдѣлалъ? — спросила она въ перерывѣ послѣ вердикта присяжныхъ.

— Теперь я, по крайней мѣрѣ, знаю, что ты другому принадлежать не будешь. Вмѣстѣ пойдемъ, вмѣстѣ будемъ!

Его сослали въ каторгу въ Сибирь, ее — на Сахалинъ.

Въ посту Дуэ пришли въ рѣшительное недоумѣніе:

— Что дѣлать съ „каторжницей-баронессой“?

Въ „сожительницы“ къ поселенцу итти не хочетъ:

— Я сослана въ каторгу, а не для этого!

Пробовали нѣкоторые изъ гг. служащихъ взять ее къ себѣ въ „прислуги“.

Но при первомъ ласковомъ жестѣ она отскакиваетъ въ сторону:

— Вы можете заставлять меня работать, но этого заставлять вы меня не можете.

Женскихъ тюремъ нѣтъ.

Насильно отдать въ сожительство:

— Все-таки баронесса... неудобно какъ-то.

И напрасно жены гг. служащихъ убѣждали:

— Да какая она баронесса? Чего вы съ нею миндальничете? Каторжанка! Сбили бы спесь!

Полуграмотныя жены служащихъ сразу возненавидѣли „горничку“, „фрю“.

— Туда же „баронесса“! Тутъ, матушка, баронессъ нѣту!

А она все-таки была единственной портнихой на Сахалинѣ! Все-таки единственной, которая могла сшить платье, „какъ слѣдуетъ“, „по петербургской модѣ“. Къ ней все же *приходили* вновь обращаться, и это бѣсило супругъ гг. служащихъ.

— Вѣдь были среди нихъ и такія, которыя обращались съ прислугой сравнительно вѣжливо, а со мной не могли! — съ улыбкой вспоминаетъ „каторжанка-баронесса“, — зоветъ меня, а приду — ножъ острый. Чуть что не такъ, не по ней, складочка какая, оборочка, ногами затопаетъ, кричитъ: „Что ты думаешь? Ты баронесса? А? Баронесса? Ты каторжанка! Лишенная правъ! Понимаешь?“ Стоишь, молчишь, улыбаешься...

И презрительная улыбка, съ которой вспоминаетъ она объ этомъ, вѣроятно, была и тогда на лицѣ баронессы Геймбрукъ.

Супругъ гг. служащихъ это окончательно выводило изъ себя.

— Сейчасъ бѣгутъ мужьямъ жаловаться. Я молчу, а онѣ кричатъ. „Уйми ты эту стерву!“

Жизнь ея сложилась такъ. Служащіе махнули на нее рукой: „Пусть живетъ какъ знаетъ! Ну, ее къ чорту!“ Жены служащихъ молили Бога:

— Хоть бы портниху хорошую изъ Россіи прислали.

А за неимѣніемъ таковой, заказывали „баронессѣ“, ругались при этомъ ругательски, платили невѣроятные гроши и кричали:

— Что жъ ты не благодаришь? А? Мало тебѣ? Недовольна? „Баронесса“ ты? А?

Эта „молчкомъ-молчавшая“ баронесса была коломъ въ глазу женъ гг. служащихъ.

— Вы себѣ представить не можете, что это за дрянь, что за мерзавка эта „баронесса!“ — разсказывала мнѣ одна, — по человѣчеству иногда пожалѣть захочешь, хоть и каторжница, а все-таки жаль. Заказы ей даешь, чтобы съ голода не сдохла, сдѣлать для нея что-нибудь хочешь. Такъ нѣтъ, куда тебѣ! Фанаберія! Говорить не хочетъ! Принесетъ заказъ, хоть бы слово сказала! Не желаетъ! Видъ такой, словно она тебѣ одолженіе дѣлаетъ! Она вѣдь баронесса! Какъ же ей! Мелкая такая душонка, мразь! Уколоть на каждомъ шагу норовитъ. Въ платьѣ что, скажешь, не такъ, сейчасъ тебѣ: „Извините, сударыня, въ Петербургѣ такъ носятъ“. Она вѣдь изъ Петербурга, она баронесса, она все видѣла, все знаетъ, а я что? Да я жена служащаго! Жена твоего начальника! честная женщина! А ты каторжанка, ссыльная, тварь, поджигательница?.. Этого понять не хочетъ.

Такъ тянулась „каторга“ баронессы. Работала за гроши, кое-какъ билась, жила и... молчала.

— Думала, говорить отучусь! — съ улыбкой вспоминаетъ „баронесса“.

Съ одной стороны, каторжане, „шпанка“, „сожительница“, что можетъ быть общаго съ ними у молодой интеллигентной

женщины? Съ другой стороны, жены служащихъ, завидѣвъ которыхъ издали, бѣги на другую сторону:

— Сейчасъ „ты“. Ругань. Попреки „баронесса“.

— Такъ и жила между небомъ и землей. Шпанка попрекаетъ, глумится: „баронесса“! Интеллигенція здѣшняя попрекаетъ, глумится: „баронесса“!

Это стало, наконецъ, невыносимымъ, и баронесса пошла въ сожительницы къ нѣкоему фельдшеру, сосланному за убійство своей жены. Все-таки былъ человѣкъ поинтеллигентнѣе другихъ.

Пошла не любя.

— Вы его знаете. Можно ли такого любить? Да ужъ очень тошно, тоска взяла. А онъ клялся и божился, что исправится.

Это вызвало всеобщій, злорадный восторгъ:

— А? Что! Къ фельдшеришкѣ въ сожительницы пошла! Вотъ вамъ и „баронесса“! „Баронесса“! — ха-ха-ха!

— Совсѣмъ потерянная личность! — съ брезгливымъ сожалѣніемъ говорила мнѣ супруга одного изъ крупныхъ служащихъ, — даже досадно, что она когда-то титулъ такой носила! До чего дошла! Съ фельдшеромъ спуталась! Разводили ихъ потомъ, — грязь, грязь какая!

Объ этомъ фельдшерѣ мнѣ приходилось ужъ упоминать.

Грязный комокъ сала, возбуждавшій во всѣхъ отвращеніе. Ничего противнѣй этого толстяка съ эспаньолкой, отпущенной подъ губой, на которой красовалась какая-то злокачественная язва, — я не видалъ на всемъ Сахалинѣ.

— Вотъ экземплярчикъ! — показывалъ на него, въ лицо, докторъ, — опять какую-нибудь малолѣтнюю приторговываешь!

— Есть экземплярчикъ! — расплывалось у фельдшера жирное лоснящееся лицо.

Онъ практикуетъ потихоньку, пользуясь невѣжествомъ поселенцевъ, воруетъ лѣкарства, — и все, что зарабатываетъ такимъ способомъ, тратитъ на „штучки“, „экземплярчики“, „предметы“, — предпочитая „малолѣточекъ-съ“.

Интеллигентная женщина скоро надоѣла развратнику-фельдшеру.

— Забеременѣла я еще отъ него! — съ дрожью отвращенія вспоминаетъ баронесса. — Господи, что тутъ пошло! Что заработаю,—онъ тащитъ на покупку дѣвчонокъ. Въ домъ ихъ таскать началъ. Отлучишься изъ дому, придешь, — онъ какія-нибудь мерзости ужъ дѣлаетъ. Во дворъ выйдешь, — онъ тамъ подъ навѣсомъ. Придетъ избитый весь, исколоченный... Выгнала я его. Не идетъ. „Моя, — кричитъ, — изба!“ Начальству я на него не жаловалась. Господи! Сколько униженій! Хохочутъ всѣ: „Ну, что же, баронесса, вы съ вашимъ фельдшеромъ ссоритесь?

Вы помирились бы! А? Онъ вѣдь человѣкъ интеллигентный!“ Насилу развязали меня съ нимъ.

Фельдшеръ ушелъ, баронесса осталась съ ребенкомъ отъ него.

Удивительно странное впечатлѣніе испытывалъ я, когда сиживалъ въ гостяхъ у этой „каторжницы-баронессы“, теперь ужъ поселенки.

Мы сидѣли въ маленькой, узенькой комнаткѣ, съ чистой постелью, покрытой одѣяломъ изъ сѣраго арестантскаго сукна.

На окнѣ стояла герань, на комодѣ подъ лампой была сшитая изъ лоскутковъ подставка. Это все-таки придавало маленькой, темной комнаткѣ какой-то уютъ. Было видно, что живетъ человѣкъ, привыкшій къ нѣкоторому комфорту.

Разговаривая со мной, баронесса курила, гасила окурки объ столъ и оставляла ихъ тутъ же на столѣ среди кучи пепла, плевала посреди пола, — и отъ этого вѣяло какимъ-то бездомовьемъ, сахалинской оголтѣлостью, каторжнымъ отсутствіемъ женственности.

Когда въ комнату входилъ работникъ-каторжникъ, ея помощникъ по булочной, — она начинала говорить со мной по-французски. Французскій языкъ у нея чудный, красивый, элегантный. Тотъ чудный, красивый и элегантный, литературный французскій языкъ, которымъ говорятъ хорошо воспитанные русскіе люди. А когда мы переходили на русскій языкъ, она говорила, сама того не замѣчая, на „каторжномъ“ языкѣ:

— Вѣдь согласитесь, на фартъ итти я не могу... Заработаешь тяжкимъ трудомъ, дрожишь: шпанка, того и гляди, пришьетъ.

Такое странное впечатлѣніе производило это чередованіе превосходнаго французскаго языка съ каторжнымъ жаргономъ у этой женщины, которая лихорадочно хватается за свой титулъ „баронессы“, потому что дрожитъ въ ужасѣ отъ званія „каторжанки“.

Я познакомился съ баронессой въ тяжкое для нея время. Незадолго передъ тѣмъ въ селеніи Рыковскомъ, гдѣ въ это время жила баронесса, случилось „громкое происшествіе“, и баронесса дрожала, чтобъ ея „не засыпали“.

Однажды къ ней явился молодой человѣкъ, бродяга Тумановъ, переведенный въ Рыковское писаремъ полицейскаго управленія, и отрекомендовался:

— Князь такой-то.

— Онъ, дѣйствительно, князь, — увѣряла меня баронесса, — не знаю, что заставило его отказаться отъ своего имени и стать бродягой, — онъ объ этомъ избѣгалъ говорить. Человѣкъ воспитанный, очень образованный, умный, — только страшно нервный, до болѣзненности нервный...

Онъ попросилъ разрѣшенія бывать. Баронесса разрѣшила, и Тумановъ каждый день, какъ кончится работа въ канцеляріи, приходилъ къ ней.

Богъ знаетъ, было ли что между ними, но, несомнѣнно, что этихъ двухъ людей, одинаковыхъ по образованію, по кругу, къ которому они принадлежали, влекло другъ къ другу. У нихъ были общіе взгляды, общіе интересы, даже нашлись общіе знакомые „по Петербургу“.

Баронесса говоритъ, что она:

— Отдыхала душой въ этихъ бесѣдахъ! Вдругъ встрѣтить здѣсь, на Сахалинѣ, молодого человѣка, воспитаннаго, милаго,— вы только подумайте!

А онъ говорилъ:

— Знаете, когда я говорю съ вами, мнѣ кажется, что ни каторги ни бродяжества нѣтъ, что мы съ вами сидимъ гдѣ-нибудь въ Петербургѣ...

Какъ вдругъ однажды Тумановъ явился страшно разстроенный, внѣ себя. Ни за что, ни про что,— злой послѣ вчерашняго проигрыша въ карты,— чиновникъ Г. выругалъ его „подлецомъ и мерзавцемъ“.

— Я этого такъ оставить не могу! — говорилъ, страшно волнуясь, Тумановъ, — меня могутъ выдрать, потому что я бродяга! Но „мерзавцемъ и подлецомъ“ меня называть не смѣютъ! Я никогда „подлецомъ и мерзавцемъ“ не былъ! Я потому и въ каторгѣ, что я не подлецъ и не мерзавецъ! Этого я оставить не могу!

— Такимъ я его никогда не видала!— говоритъ баронесса.

Молодой человѣкъ, вспыльчивый, горячій, рѣшившій „такъ не оставить“ начальнику оскорбленіе... на Сахалинѣ... У баронессы „душа замерла“:

— Я ужъ и такъ изъ-за одного поплатилась. Довольно съ меня!

Она сказала Туманову:

— Вы что-то задумали, — оставьте меня. Уходите отъ меня, сейчасъ же уходите. Я не хочу ничего знать, не хочу погибать...

— Такъ и вы меня гоните? И вы?

— Уходите отъ меня, если вы честный, порядочный человѣкъ...

— Хорошо же...

Тумановъ ушелъ, а вечеромъ все Рыковское было поднято на ноги: бродяга Тумановъ покушался на жизнь чиновника Г.

Тумановъ явился на квартиру къ другому служащему, у котораго Г. рѣзался въ карты, попросилъ, чтобъ Г. вызвали ему „по неотложному дѣлу“, и когда тотъ вышелъ въ кухню, поклонился и сказалъ:

— Я пришелъ васъ поблагодарить за то, что вы произвели меня въ новое званіе, — назвали, „подлецомъ и мерзавцемъ“.

Г., позабывшій даже про пустяковинное утреннее происшествіе, — гдѣ же на Сахалинѣ помнить всякаго обруганнаго каторжника, — не разслышавъ и не понявъ, въ чемъ дѣло, отвѣчалъ:

— Хорошо, хорошо. Я на тебя не сержусь. Ступай. Послѣ извинишься...

— Нѣтъ, не послѣ, а теперь! — сказалъ Тумановъ, въ упоръ направилъ на Г. револьверъ и спустилъ курокъ.

Тутъ только увидали, что Тумановъ блѣденъ, какъ мертвецъ, глаза безумные, едва стоитъ на ногахъ.

Револьверъ далъ осѣчку. Тумановъ выбѣжалъ изъ кухни. Покушался на самоубійство, выстрѣлилъ себѣ въ високъ. Но револьверъ снова далъ осѣчку.

Туманова схватили. Обстоятельства были какія-то странныя: револьверъ былъ заряженъ всего двумя пулями.

— Остальныя вынулъ, мнѣ двѣ были нужны! — пояснилъ Тумановъ.

Несъ Тумановъ какую-то галиматью. Его отправили въ постъ Александровскій, подвергли впослѣдствіи медицинскому освидѣтельствованію, — Тумановъ оказался сумасшедшимъ.

Но въ то время о сумасшествіи Туманова еще ничего извѣстно не было, всѣ гг. служащіе единогласно требовали „примѣрнаго наказанія“ Туманова, т.-е. повѣшенія, — для „острастки распущенной каторги“, — и баронесса Геймбрукъ просила, молила, нельзя ли что-нибудь сдѣлать для Туманова.

— Я себя виню, себя. Можетъ-быть, это мои слова на него такъ подѣйствовали. Дѣйствительно, въ такую минуту почувствовать себя совсѣмъ однимъ! Но, посудите, что жъ я могла сдѣлать. Человѣкъ собирается Богъ знаетъ что сдѣлать, — какъ могла я съ нимъ говорить? Вѣдь и я погибну! Да что я! Если бъ я одна была, — я бы о себѣ, можетъ-быть, и не подумала. Но мой ребенокъ, — съ нимъ что будетъ? Имъ развѣ я могу рисковать?

Этотъ ребенокъ отъ нелюбимаго, отвратительнаго, презираемаго человѣка, — все, что есть въ жизни у баронессы.

Она съ дрожью отвращенія вспоминаетъ о беременности отъ фельдшера, и безумно любитъ ребенка.

Пятилѣтняго, слабаго, болѣзненнаго, золотушнаго мальчика, ради котораго она работаетъ день-денской, не покладая рукъ, мѣситъ тѣсто, жарится у печки, сажая хлѣбы, сидитъ согнувшись — шьетъ за гроши платья женамъ чиновниковъ, даетъ уроки французскаго языка дѣтямъ священника.

Любитъ, и безъ слезъ видѣть не можетъ своего ребенка.

— Они и его „барономъ“ прозвали. Издѣваются. Отъ чиновничьихъ дѣтей его гонятъ,—онъ долженъ играть со шпанкой...

Любитъ полной ужаса любовью:

— Вѣдь это будущій убійца растетъ! — съ ужасомъ говоритъ она, — вы только подумайте: наслѣдственность-то какая. Себя я преступной натурой, конечно, не считаю. Какая я преступница! Но вы посмотрите на отца. Убійца, полу-сумасшедшій, развратникъ. Вѣдь, вы знаете, онъ тутъ со своимъ развратомъ въ такую недавно исторію влѣзъ, — мнѣ же пришлось его откупить: 20 рублей послѣднихъ дала, чтобы въ тюрьму не сажали. Дала, — потому что ребенокъ его все-таки „папой“ при встрѣчахъ зоветъ, такъ чтобы ребенка не дразнили: „тятька въ тюрьмѣ“... И потомъ, что можетъ выйти изъ него здѣсь, на Сахалинѣ! Что передъ глазами? Ежедневныя убійства, поголовный развратъ, плети, каторга. Вотъ, вы на игры ихъ посмотрите, — играютъ „въ палачи“, въ повѣшенье, палачъ у нихъ герой, безсрочный каторжникъ — герой. Вы спросите у десятилѣтняго мальчика, что такое тюрьма? „Мѣсто, гдѣ кормятъ!“ Гдѣ лучше, въ тюрьмѣ или на волѣ? „Знамо, въ тюрьмѣ, — на поселеніи съ голода подохнешь“. Вѣдь все это мальчикъ съ дѣтства въ себя впитываетъ. Тюрьма для него что-то обыденное, неизбѣжное, заурядное, карьера. Что изъ него выйдетъ? То же, что и изъ другихъ! Убійца. Вѣдь я его на каторгу рощу, на каторгу! Убійцу будущаго!.. Но пока, пока онъ маленькій, въ немъ еще ничего этого нѣту, онъ ребенокъ, такой же, какъ и всѣ...

И она при мнѣ, въ какомъ-то истерическомъ припадкѣ, со слезами цѣловала своего мальчика, который явился домой плачущій—его только-что отогнали отъ дѣтей начальника округа и обругали „барономъ“.

— Мама, не вели имъ ругаться барономъ!

„Не вели“!

Уѣзжая изъ Рыковскаго, въ свое послѣднее свиданіе съ баронессой, когда она провожала меня до дверей, я рѣшился спросить у нея:

— Ну, а тотъ... съ которымъ вы судились... объ немъ вы не имѣете извѣстій?

— Онъ въ Сибири, кончилъ, какъ и я, свой срокъ, — поселенцемъ. Очень бѣдствовалъ, писалъ, — я послала ему денегъ, такъ — гроши, какіе были. Очень круто бѣднягѣ пришлась каторга. Недавно еще получила письмо. Боленъ, жалуется, проситъ послать немножко денегъ...

— И вы?

— Пошлю.

Я поцѣловалъ ея руку и пошелъ.

— А? Откуда? Отъ пріятельницы, отъ „баронессы“!— встрѣтилъ меня по дорогѣ смотритель тюрьмы, — до мужчинъ ужъ больно охотница, подлая баба! Съ фельдшеромъ путалась; Тумановъ, я знаю, къ ней лясы точить шлялся. Я вѣдь все знаю,—хе-хе! Она тутъ за фельдшера 20 цѣлковыхъ, послѣднихъ, чай, заплатила, въ бѣду, милъ дружокъ, попался. Она и Туманову въ тюрьму потихоньку бѣлый хлѣбъ посылала. Да вы что думаете? Она и къ прежнему своему пріятелю все время деньги посылала. Я съ почты знаю! Всѣ они у нея на иждивеніи. Любительница мужчинъ, подлая! Трое у нея было! Распутная! Черезъ то и въ каторгу пошла, что распутная, — черезъ любовника!..

Ландсбергъ.

27 лѣтъ тому назадъ въ Петербургѣ произошла трагедія, имѣвшая огромное значеніе для о. Сахалина. Блестящій гвардейскій офицеръ-саперъ Ландсбергъ, наканунѣ женитьбы на богатой и знатной невѣстѣ, наканунѣ большой и блестящей карьеры, зарѣзалъ, съ цѣлью грабежа, ростовщика Власова и его служанку.

Это событіе произвело неописуемую сенсацію, и имя Ландсберга прогремѣло на всю Россію. Еще большій ужасъ этому убійству придавало одно трагическое qui pro quo.

Ландсбергъ былъ карьеристомъ. Онъ былъ человѣкомъ очень небогатымъ, тянулся изо всѣхъ силъ и служилъ въ гвардіи, чтобъ быть на виду и сдѣлать карьеру. Старый чиновникъ, занимавшійся ростовщичествомъ, Власовъ, относился съ большой симпатіей къ небогатому офицеру, старавшемуся выйти на „дорогу“, и ссужалъ его деньгами. У Власова было много векселей Ландсберга. Когда карьера была почти ужъ сдѣлана, и Ландсбергъ былъ объявленъ женихомъ богатой и знатной невѣсты, Власовъ началъ грозить ему:

— Вотъ я тебѣ къ свадьбѣ „сюрпризъ“ устрою. Такой сюрпризъ, какого и не ожидаешь.

Ландсбергъ испугался, что Власовъ предъявитъ ко взысканію его векселя, выставитъ его запутавшимся бѣднякомъ, желающимъ жениться для поправки обстоятельствъ, сорветъ всю карьеру, и рѣшилъ достать векселя у Власова. Онъ явился къ Власову, услалъ старуху-служанку за квасомъ, зарѣзалъ бритвой стараго ростовщика, затѣмъ, когда служанка вернулась, покончилъ и съ ней и похитилъ свои векселя, лежавшіе отдѣльной, приготовленной ужъ пачечкой.

Среди бумагъ послѣ покойнаго нашли заготовленное имъ письмо къ Ландсбергу. Въ этомъ письмѣ Власовъ желалъ всякаго счастья своему протеже и въ видѣ подарка на свадьбу посылалъ „прилагаемые при семъ“ всѣ векселя.

Это и былъ „сюрпризъ“, которымъ съ улыбкой „грозилъ“ старичокъ. Кромѣ того, въ духовномъ завѣщаніи, составленномъ на всякій случай, Власовъ завѣщалъ все свое состояніе... Ландсбергу.

Весь этотъ ужасъ произошелъ потому, что Ландсбергъ не понялъ Власова, по старческой привычкѣ любившаго выражаться нѣсколько иносказательно:

— Хе-хе!.. „Сюрпризецъ“.

Изъ блестящаго офицера съ огромной карьерой впереди, Ландсбергъ превратился въ каторжника съ бритой головой и долгими годами тюрьмы въ перспективѣ.

Когда Ландсберга арестовали, его предупреждали:

— Въ комнатѣ, гдѣ вы сейчасъ останетесь одинъ, на столѣ лежитъ револьверъ. Онъ заряженъ... Того... Будьте поосторожнѣе.

Ландсбергъ холодно отвѣтилъ:

— Не безпокойтесь. Я не застрѣлюсь.

И пошелъ въ каторгу.

27 лѣтъ тому назадъ Сахалинская колонія еще только начиналась. Кучка забайкальцевъ, невѣжественныхъ, безпомощныхъ, ютились въ посту Дуэ, единственномъ тогда поселеніи на Сахалинѣ, въ маленькомъ ущельѣ, въ трещинѣ между скалами, быть-можетъ, самой скверной дырѣ, какая только существуетъ на земномъ шарѣ, и съ ужасомъ смотрѣли на непроходимую тайгу, которую имъ поручено было превратить въ „цвѣтущую колонію“. Эта кучка забайкальцевъ стояла передъ Сахалиномъ, какъ ребенокъ передъ ощетинившимся медвѣдемъ. Какъ подступиться? Для колоніи прежде всего нужны дороги, а эти люди, родившіеся и выросшіе въ Забайкальѣ, никогда въ глаза не видѣли даже шоссейныхъ дорогъ и рѣшительно не знали, какъ „все это дѣлается“.

Каждый ихъ шагъ терпѣлъ немедленно же крушеніе. Они „своимъ умомъ“ строили пристань, пристань сносилъ первый же маленькій штормъ. Они „своимъ умомъ“ начали рыть тоннель сквозь гору Жонкьеръ, безъ всякихъ приспособленій, безъ всякихъ знаній, кромѣ одного: что тоннель роется обыкновенно одновременно съ обѣихъ сторонъ, — и когда двѣ роющія партіи встрѣтятся въ горѣ, тоннель, значитъ, прорытъ. Люди слѣпли, раздувая фитили, людей калѣчило при неумѣлыхъ взрывахъ, но „обѣ роющія партіи“ въ горѣ все не встрѣчались... Онѣ... разошлись въ разныя стороны! Ступивъ шагъ въ

тайгу, гг. забайкальцы сейчасъ же завязали и съ ужасомъ должны были отступать назадъ. Они не знали даже, что дороги нужно окапывать канавами. Не окопанныя канавами таежныя „дороги“ заплывали, превращались въ болото.

Въ эту-то критическую минуту каторжный пароходъ и привезъ на Сахалинъ сапера.

Все, что сдѣлано на Сахалинѣ дѣльнаго и путнаго въ смыслѣ дорогъ, устройства поселеній, — сдѣлано Ландсбергомъ. И Богъ вѣсть, какая бы судьба постигла сахалинскую колонію, если бы въ Петербургѣ не разыгралось трагическаго qui pro quo съ „угрозой“ ростовщика.

Если сейчасъ смотритель тюрьмы, взобравшись на гору, хвастливо вынимаетъ изъ кармана маленькій барометръ и съ видомъ ученаго начинаетъ „по давленію воздуха опредѣлять высоту горы“, это свѣдѣніе занесъ на Сахалинъ Ландсбергъ. Кругомъ все его ученики. Всѣ свѣдѣнія, которыя необходимы были для борьбы съ непроходимой тайгой, занесъ сюда онъ. Ученики иногда не слушались своего „учителя изъ ссыльно-каторжныхъ“, дѣлали „по-своему“ и немедленно же завязали. Памятниками этого „поступанья по-своему“ остались покинутыя, утонувшія въ болотѣ поселья, просѣки, брошенныя за ненадобностью, дороги, по которымъ надо восемь верстъ ѣхать три съ половиной часа.

Все, что дѣлалось „по-своему“, приходилось бросать и возвращаться къ планамъ Ландсберга. Тѣ работы, которыя предпринималъ на Сахалинѣ Ландсбергъ, показываютъ въ немъ умъ недюжинный, знанія большія и человѣка талантливаго.

Ландсбергъ на Сахалинѣ съ перваго же момента обратилъ на себя особое вниманіе. Даже туда проникла вѣсть о „знаменитомъ процессѣ“, и забайкальцы не могли не заинтересоваться „вчерашнимъ блестящимъ петербургскимъ офицеромъ, вращавшимся въ высшемъ обществѣ“.

Свѣтскій образованный, нарѣдкость умный, еще болѣе ловкій карьеристъ по натурѣ, Ландсбергъ сразу головой выдѣлился среди всего окружающаго.

— Знаете,—разсказываютъ моряки, въ тѣ времена плававшіе на Сахалинъ,— подходишь, бывало, къ Дуэ. На пристани, натурально, стоятъ всѣ тамошніе служащіе. И сразу, съ перваго взгляда, самый порядочный изъ нихъ Ландсбергъ. Видна птица по полету.

Но самое главное это, конечно, то, что онъ былъ саперъ. Онъ построилъ имъ пристань, которая не рушилась, кое-какъ, но все-таки поправилъ злосчастный тоннель, и они имѣли возможность отправить въ Петербургъ телеграмму объ открытіи

кривого тоннеля, по которому никто не ѣздитъ, въ которомъ только бѣглымъ удобно сидѣть, который никому не нуженъ.

— Тоннель прорытъ.

Дорога нужна,— Ландсбергъ показывалъ, какъ это сдѣлать.

Ландсбергъ сразу сталъ на Сахалинѣ „бариномъ“ и получилъ отъ каторги эту кличку. Онъ распоряжался работами, командовалъ партіями рабочихъ, фактически былъ начальникомъ, жилъ не въ тюрьмѣ, и ему говорили „вы“, почесть на Сахалинѣ рѣдкая.

Но это положеніе, которое Ландсбергъ сразу занялъ, было и труднымъ положеніемъ. Безграмотные всегда ненавидятъ грамотныхъ. И сахалинскихъ служащихъ глубоко возмущало „привилегированное положеніе ссыльно-каторжнаго“.

— Словно ровня.

Не знаю, какія наказанія приходилось переносить Ландсбергу, объ этомъ съ нимъ разговоръ поднимать было, конечно, неловко, но ему приходилось переживать трудныя минуты. Вотъ одинъ изъ случаевъ. Сахалинскій служащій К. особенно возмущался „привилегированностью“ Ландсберга.

— Я ему покажу „привилегированность“! — это превратилось въ пунктъ помѣшательства К.

Однажды онъ засталъ Ландсберга въ кабинетѣ одного изъ служащихъ. Сидѣли и разговаривали. Этого только К. и нужно было:

— Что? Какъ? Сидѣть въ присутствіи начальства? Каторжнику? Заковать въ кандалы! Посадить на недѣлю въ карцеръ!

И Ландсбергъ въ кандалахъ высидѣлъ недѣлю на хлѣбѣ и на водѣ, въ темномъ карцерѣ, а К. гордился:

— Каково *я самому* Ландсбергу задалъ!

Съ другой стороны и каторгу возмущала „несправедливость“.

— За то же сосланъ, что и мы. Можетъ, еще хуже!

Каторга ненавидѣла „барина“, „бѣлоручку“, „подлипалу“, самозванное начальство, и Ландсбергу надо было держаться очень и очень насторожѣ. При малѣйшемъ подозрѣніи, что онъ „держитъ руку начальства“, каторга его бы убила.

Тутъ ужъ ему помогла, быть-можетъ, свѣтская ловкость. Онъ умѣлъ поддерживать отношенія и съ нашими и вашими. И начальство было довольно, и для каторги онъ оставался „товарищемъ“, подчиняющимся ея законамъ. Ловкость, хитрость и изворотливость все время были въ ходу и пускались въ дѣло все долгое время каторги. На Сахалинѣ извѣстенъ, напримѣръ, случай, когда Ландсбергъ спасъ жизнь одному изъ служащихъ. Каторга ненавидѣла этого служащаго, рѣшила его убить на дорожныхъ работахъ, и Ландсбергу было приказано привести его въ засаду.

Привести — рисковать головой. Ослушаться каторги — тоже рисковать головой.

Ландсбергъ придумалъ какую-то хитрую механику. Онъ повезъ служащаго въ засаду, но по дорогѣ, еще далеко отъ засады, экипажъ „вдругъ“ сломался, и Ландсбергъ убѣдилъ начальство:

— Пѣшкомъ все равно на работы опоздаемъ. Вернемся лучше обратно въ постъ.

И служащій былъ спасенъ, и приказаніе каторги не нарушено: везъ человѣка, да не довезъ, не по своей волѣ. А на слѣдующій день Ландсбергъ раскассировалъ зачинщиковъ по

Природа Сахалина.

разнымъ работамъ, разъединилъ, и объ засадѣ не могло быть и рѣчи.

Кончивъ каторгу и выйдя на поселеніе, Ландсбергъ завелъ лавочку, въ которой продается все: дуги и гармоники, ситцы и деготь, кнутовища и конфеты.

Это какое-то умѣнье найтись всегда и во всѣхъ положеніяхъ. Превратившись въ мелкаго лавочника, блестящій гвардейскій офицеръ сразу оказался великолѣпнымъ мелкимъ лавочникомъ. Онъ повелъ дѣло отлично. Его лавочка росла и росла. Онъ заводилъ связи съ торговыми фирмами.

И когда я два года тому назадъ поѣхалъ къ Карлу Христофоровичу Ландсбергу, — на мачтѣ, около его хорошенькаго,

чистенькаго домика развивался флагъ пароходнаго общества: онъ представитель крупнаго страхового общества, у него контора транспортнаго общества, онъ агентъ пароходной компаніи.

Лавочка у него осталась, — цѣлый магазинъ! но въ ней торгуютъ приказчики, а онъ только наблюдаетъ хозяйскимъ окомъ.

За сигарой онъ бесѣдовалъ со мной о компаніи каменноугольныхъ копей и о компаніи для эксплоатаціи рыбныхъ промысловъ, — двухъ крупныхъ компаніяхъ, которыя онъ затѣваетъ.

Ландсбергъ кончилъ поселенчество-крестьянство. Теперь онъ мѣщанинъ города Владивостока, ѣздитъ отъ времени до времени за границу, въ Японію, — могъ бы, если бы захотѣлъ, вернуться въ Россію, но живетъ на Сахалинѣ, въ комфортабельномъ домикѣ, изъ оконъ котораго открывается видъ на пали кандальной тюрьмы...

Ландсбергъ женатъ на очень милой женщинѣ, акушеркѣ, пріѣхавшей служить на Сахалинъ.

И трудно отыскать болѣе нѣжную пару. Богъ вѣсть, нашелъ бы онъ въ Россіи такое же семейное счастье, какое отыскалъ на Сахалинѣ.

Такъ странно смотрѣть на этихъ двухъ людей.

Словно крѣпко охватившіе другъ друга, спасшіеся послѣ кораблекрушенія.

II.

Въ каютъ-компаніи парохода „Ярославль“ было шумно и накурено. Пароходъ пришелъ въ ночь, и теперь, раннимъ утромъ, каютъ-компанія была полна служащими, явившимися принимать привезенныхъ арестантовъ. Цѣлая коллекція гоголевскихъ типовъ! Капитанъ по очереди знакомилъ меня со всѣми. И когда очередь дошла до сидѣвшаго за столомъ, что-то очень весело и оживленно разсказывавшаго человѣка, сказалъ:

— Карлъ Христофоровичъ Ландсбергъ.

Въ поданной мнѣ рукѣ я почувствовалъ согнутый мизинецъ. И это прикосновеніе подѣйствовало на меня, какъ электрическій токъ.

Этотъ мизинецъ—былъ одной изъ уликъ противъ Ландсберга. Онъ порѣзалъ его, когда рѣзалъ Власова.

— Я очень радъ съ вами познакомиться. Губернаторъ говорилъ мнѣ, что вы прислали ему телеграмму.

Онъ говорилъ очень пріятнымъ голосомъ, въ которомъ звучала любезность.

Высокій, красивый и представительный господинъ, въ усахъ съ сѣдиной въ волосахъ, но моложавый. Ландсбергу теперь,

вѣроятно, подъ пятьдесятъ, но на видъ гораздо меньше. Онъ сохранилъ моложавое лицо и почти юношески-стройную фигуру. Онъ—сама предупредительность. Быть можетъ, онъ даже слишкомъ предупредителенъ, — въ немъ есть что-то заискивающее;— онъ никогда не говоритъ иначе какъ съ любезнѣйшей улыбкой.

Ландсбергъ и его жена.

Но когда, пожимая другъ другу руку, мы встрѣтились глазами, мнѣ показалось, что я словно нечаянно дотронулся до холодной стали.

Смѣется онъ, или разсказываетъ что-нибудь для него тяжелое, оживлено у него лицо, или нѣтъ, — у него играетъ только одно лицо. Сѣрые, свѣтлые глаза остаются одними и тѣми же, холодными, спокойными, стальными. И вы никакъ не отдѣлаетесь отъ мысли, что у Ландсберга такими же холодными и спокойными глаза оставались всегда.

— Тяжелые глаза, — замѣчали и служащіе всякій разъ, какъ разговоръ заходилъ о Ландсбергѣ.

— Вы на глаза-то посмотрите! — со злобой говорили не любящіе Ландсберга каторжане и поселенцы, — смотритъ на тебя, и словно ты для него не человѣкъ.

Пароходъ привезъ Ландсбергу для лавочки конфеты и печенье, и Ландсбергъ, обмѣниваясь любезными шуточками съ гг. служащими, очень ловко на пристани укладывалъ этотъ воздушный товаръ, словно подарки везъ на именины. Такое странное впечатлѣніе производилъ этотъ торговецъ съ красивыми, элегантными движеніями.

Попрощавшись со всѣми, онъ сѣлъ въ собственный экипажъ и приказалъ кучеру:

— Пошелъ!

— Куда прикажете, баринъ? — спросилъ кучеръ изъ поселенцевъ.

— Домой!

Ландсбергъ еще разъ съ любезнѣйшей улыбкой раскланялся со всѣми, крикнулъ начальнику округа:

— Такъ я васъ жду сегодня вечеркомъ. Новыя ноты съ пароходомъ пришли. Жена намъ на піянино сыграетъ.

И экипажъ поскакалъ.

— А кучеръ-то у него, какъ и онъ, за убійство съ цѣлью грабежа присланъ! — сказалъ мнѣ начальникъ округа. — У насъ, батенька, тутъ много удивительныхъ вещей увидите!

Ландсбергъ сохранилъ свой великолѣпный французскій языкъ и давится какъ, всѣ сахалинцы, на словѣ „каторга“.

— Когда я былъ еще... рабочимъ! — говоритъ онъ, слегка краснѣетъ и опускаетъ глаза.

Мы съ нимъ никогда не называли Сахалина по имени, а говорили:

— Этотъ островъ.

Ландсбергъ черезъ 27 лѣтъ тюрьмы и каторги пронесъ невредимыми свои изящныя „гостиныя“ манеры, но есть нѣчто поселенческое въ той торопливости, съ которой онъ сдергиваетъ съ головы шляпу, если неожиданно слышитъ:

— Здравствуйте!

Эта особая манера снимать шапку, пріобрѣтаемая только въ каторгѣ. Изъ тысячи людей вы сейчасъ же узнаете сахалинца по манерѣ торопливо сдергивать шапку. Словно боится человѣкъ, что ему сейчасъ влетитъ за то, что не успѣлъ снять шапки передъ начальствомъ. Это нѣчто инстинктивное, что потомъ остается на всю жизнь.

И по этой манерѣ вы видите, что нелегко досталась Ландсбергу каторга. Бывали-таки, значитъ, столкновенія.

Дорожныя работы на Сахалинѣ.

Этому человѣку, изъ оконъ котораго „открывается видъ“ на пали каторжной тюрьмы, тяжело всякое воспоминаніе о своемъ „рабочемъ“ времени.

Когда онъ касается этого времени, онъ волнуется, тяжело дышитъ и на лицѣ его написана злость.

А когда онъ говоритъ о каторжанахъ, вы чувствуете въ его тонѣ такое презрѣніе, такую ненависть. Онъ говоритъ о нихъ словно о скотѣ.

Съ этими негодяями не такъ слѣдуетъ обращаться. Ихъ распустили теперь. Гуманничаютъ.

И каторга, въ свою очередь, презираетъ и ненавидитъ Ландсберга и выдумываетъ на его счетъ всякія страшныя и гнусныя легенды.

Служащіе водятъ съ нимъ знакомство, онъ одинъ изъ интереснѣйшихъ, богатѣйшихъ, а благодаря добрымъ знакомствамъ, вліятельнѣйшихъ людей на Сахалинѣ; — но въ разговорахъ о Ландсбергѣ они возмущаются:

— Пусть такъ! Пусть Ландсбергъ, дѣйствительно, единственный человѣкъ, котораго Сахалинъ возродилъ къ честной трудовой жизни. Но вѣдь нельзя же все-таки такъ! Такое ужъ спокойствіе. Чувствуетъ себя великолѣпно,—словно не онъ, а другой кто-то сдѣлалъ!

Такъ ли это? Одинъ разъ мнѣ показалось, что зазвучало „нѣчто“ въ словахъ этого „человѣка не помнящаго прошлаго“.

Всѣ стѣны уютной и комфортабельной гостиной Ландсберга увѣшаны портретами его дѣтей, умершихъ отъ дифтерита. Объ нихъ и шла рѣчь.

— И вѣдь никогда здѣсь, на этомъ островѣ, дифтерита не было... Вольнослѣдующіе занесли. Дѣти заболѣли и всѣ умерли. Всѣ. Словно наказаніе.

И, сказавъ это слово, Ландсбергъ остановился, лицо его стало багрянымъ, онъ наклонилъ голову, и нѣсколько минутъ длилось молчаніе.

Это были самыя тяжелыя минуты, которыя мнѣ приходилось провести въ жизни.

— Что же это я забылъ? Идемъ чай пить! — овладѣлъ собой и „весело“ сказалъ Ландсбергъ, и мы пошли въ столовую, гдѣ лакей изъ поселенцевъ, во фракѣ и перчаткахъ, подавалъ намъ чай.

Это былъ одинъ, единственный разъ, когда „нѣчто“ словно поднялось со дна души. А часто Ландсбергъ ставитъ собесѣдника прямо въ неловкое положеніе. Это,— когда онъ говоритъ о „распущенности... рабочихъ“:

— Здѣсь, на этомъ островѣ, Богъ знаетъ, что дѣлается. Убійства съ цѣлью грабежа каждый день. Убійства съ цѣлью грабежа! И съ такими господами еще церемонничаютъ.

Иногда Ландсбергъ приводитъ, дѣйствительно, въ недоумѣніе.

— Не собираетесь въ Россію? — спросилъ я Ландсберга.

— Хочется съѣздить, матушка старушка у меня есть. Хочетъ меня передъ смертью еще разъ повидать. А совсѣмъ переѣзжать, — нѣтъ. Тутъ займусь еще. Долженъ же я съ этого острова что-нибудь взять. Недаромъ же я здѣсь столько лѣтъ пробылъ.

Дѣйствительно, словно человѣкъ по дѣламъ сюда пріѣхалъ. А „сдѣлалъ“ не онъ, а кто-то другой.

— Вотъ на что слѣдуетъ обратить вниманіе! — говорилъ мнѣ въ другой разъ Ландсбергъ, и такимъ взволнованнымъ я его никогда не видалъ,—вотъ на что. На пожизненность наказанія. Наказывайте человѣка, какъ хотите, но когда-нибудь конецъ этому долженъ же быть. Оттерпѣлъ человѣкъ все, что ему приходится, и покончите съ этимъ, верните все, что онъ имѣлъ. Не лишайте человѣка на всю жизнь всѣхъ правъ. Неужели взрослый, пожилой мужчина долженъ терпѣть за то, что сдѣлалъ когда-то мальчишка?

И въ его тонѣ слышалось такое презрѣніе къ „сдѣлавшему“ когда-то „мальчишкѣ“.

Я смотрѣлъ на страшно взволнованнаго Ландсберга и думалъ:

— Вотъ, значитъ, кто этотъ „другой“, который „сдѣлалъ“.

Таковъ этотъ „знаменитый“ человѣкъ.

Не случилось 27 лѣтъ тому назадъ трагическаго qui pro quo,— кто знаетъ, чѣмъ былъ бы теперь Карлъ Христофоровичъ Ландсбергъ.

Если человѣкъ даже на Сахалинѣ, — и то сумѣлъ выйти въ „люди“.

Дѣдушка русской каторги.

Милый, добрый, славный дѣдушка, спишь ты теперь въ „Рачковой заимкѣ“, на каторжномъ кладбищѣ поста Александровскаго, подъ безыменнымъ крестомъ, спишь тихимъ, вѣчнымъ сномъ. Что грезится тебѣ тамъ послѣ твоей многострадальной жизни?

Матвѣй Васильевичъ Соколовъ—„дѣдушка русской каторги“.

Старше его въ каторгѣ не было никого. Онъ отбылъ:

— Пятьдесятъ лѣтъ чистой каторги.

Да предстояло еще:

— Мнѣ, братъ, три вѣка жить надобно, — улыбаясь беззубымъ ртомъ, говорилъ Матвѣй Васильевичъ,— у меня, братъ, три вѣчныхъ приговора.

Человѣкъ, трижды приговоренный къ безсрочной каторгѣ, съ безсрочной „испытуемостью“.

Другого такого не было во всей каторгѣ.

По закону, такого страшнаго преступника должны въ теченіе всей жизни держать въ кандальной тюрьмѣ, и если онъ куда идетъ, отправлять не иначе, какъ въ сопровожденіи часового съ ружьемъ.

А Матвѣю Васильевичу Соколову разрѣшили жить себѣ въ столярной мастерской безо всякаго надзора.

Онъ спалъ на верстакѣ, зиму и лѣто кутаясь въ старый полушубокъ, дрожа своимъ старческимъ тѣломъ.

— Только водкой и дышу!, Проснешься поутру, — ни рукъ ни ногъ нѣтъ, грудь заложитъ, дышать нечѣмъ. Выпьешь чайную чашечку водки, — и опять человѣкъ! Я, ваше высокоблагородіе, пьяница природный!

— Матвѣй Васильевичъ потому и работать не могутъ, что они лакъ пьютъ! — подшучивали другіе каторжане, работавшіе въ столярной.

— Какъ такъ, — лакъ?

— А это я, когда водчонки нѣтъ! — улыбался дѣдушка, — лакъ отстоится, снизу-то муть, а сверху чистый спиртъ. Я его водицей разбавлю и пью. Чисто водка. Такъ по жилкамъ и побѣжитъ, и побѣжитъ огонечкомъ этакимъ. Въ рукахъ, ногахъ тепло сдѣлается. Въ себя прихожу.

Въ богадѣльню Матвѣй Васильевичъ ни за что не хотѣлъ:

— Какой я богадѣльщикъ! Я человѣкъ мастеровой, я въ мастерской буду работать!

Работать онъ, по старости лѣтъ, не могъ. Такъ только „ковырялся“.

Но столяръ онъ былъ тонкій, превосходный. За это его во всѣхъ тюрьмахъ всѣ смотрители любили. Но за это же ему и больнѣе доставалось, когда онъ бѣгалъ. Этакій столяръ сбѣжалъ, — поневолѣ злость возьметъ.

Въ то время, какъ я его зналъ, онъ жилъ въ мастерской ужъ на покоѣ, его всѣ величали не иначе, какъ „дѣдушкой“, или по имени и отчеству, къ нему всѣ относились съ какимъ-то невольнымъ почтеніемъ: ужъ очень много выстрадалъ этотъ человѣкъ.

Всему, что онъ зналъ, — мастерству, грамотѣ, — онъ выучился въ каторгѣ. Онъ ничего въ жизни не видѣлъ, кромѣ каторги. И самое время для него дѣлилось на два періода: „до эшафотовъ“ и „послѣ эшафотовъ“.

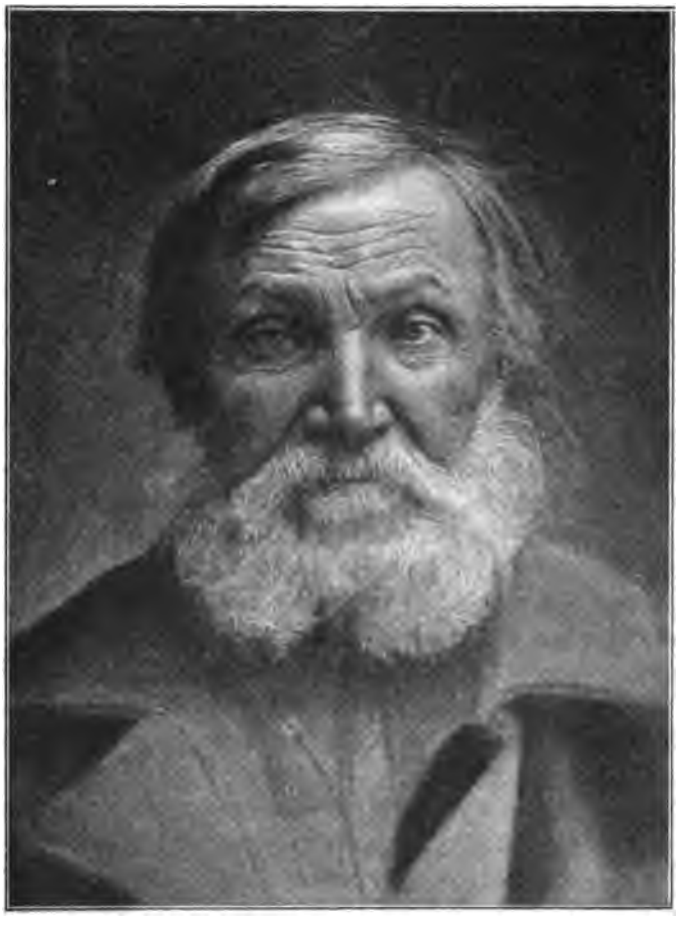
Иначе онъ не умѣлъ опредѣлять время.

— Это еще до эшафотовъ было! Когда еще эшафотовъ не вводили! Эшафоты ужъ потомъ пошли! — опредѣлялъ онъ времена давно прошедшія.

— Это ужъ послѣ эшафотовъ было! Когда эшафоты пошли!—опредѣлялъ онъ времена болѣе близкія.

Въ каторгу онъ попалъ при крѣпостномъ правѣ.

— До эшафотовъ?



Дѣдушка русской каторги Матвѣй Васильевичъ Соколовъ.

— Куда! Когда еще кнутомъ наказывали.

Это тоже для него „эра“.

— Клейма ужъ потомъ ввели!

Это тоже опредѣленіе времени.

Онъ былъ крѣпостнымъ, изъ богатой, торговой семьи, жившей въ Ельцѣ на оброкѣ. Въ каторгу онъ былъ осужденъ за убійство дѣвушки.

— Афимьей дѣвушку-то звали. Красивая была Афимья. Да и я парень былъ хоть куда.

И Матвѣй Васильевичъ улыбался, вспоминая, какой онъ былъ смолоду.

— Видный былъ парень, пьяница я былъ, дуракъ былъ, озорникъ. У-ухъ! Мы и спутались. „Афимья, — говорю, — хошь за меня замужъ?“ — „Хочу!“ — говоритъ. Потому ей лестно: и ндравился, и изъ семьи изъ богатой. Ну, и спутались. По нашимъ мѣстамъ это бывало: женихъ съ невѣстой путаются.

— Да ты-то, дѣдушка, ее любилъ?

— Говорю, страсть какъ любилъ! Такъ любилъ,—извѣстно, дуракъ былъ. Попутались, — надо вѣнчаться. Тутъ батюшка съ матушкой на дыбы. Потому у меня старшой братъ женатый былъ тоже, какъ я. Онъ съ женой со своей сначала путался, а потомъ женился. Батюшка съ матушкой: „Ни за что! Что жъ это? Второй сынъ на покрыткѣ женится! Срамъ! Всѣ сыновья на полюбовницахъ женятся! Ни за что!“ Семья была богатая, гордая. Ни за что да ни за что. Я и такъ и сякъ: „Не смѣть!“ Тутъ она видитъ, что свадьбѣ не быть, — меня отъ себя гнать зачала: „Больно, молъ, ты мнѣ нуженъ!“ И зачала съ другими гулять. Мнѣ, стало-быть, назло. Пущай, молъ, всѣ видятъ! Потому наши-то семейные ее ославили: „Съ Матвѣемъ, молъ, путалась! А теперь, шкура, къ намъ въ родню лѣзетъ!“ Такъ, на-те, молъ, вамъ, какъ мнѣ вашъ Матвѣй нуженъ! А я-то на стѣну, я-то на стѣну. Пью,— съ того и пить началъ. Объ масляной дѣло-то было. По нашимъ мѣстамъ парни съ дѣвками съ горъ катаются. Прихожу на гору, смотрю: она съ другимъ съ горы — порзь, да порзь! Хмельной я былъ. Думаю: убью его, и ничего мнѣ за это не будетъ! Вѣдь этакій дуракъ былъ! Этакое вдругъ вздумалъ: человѣка убью и ничего мнѣ за это не будетъ!

И Матвѣй Васильевичъ качалъ головой и посмѣивался надъ молодымъ человѣкомъ, удумавшимъ такую глупость.

— Пошелъ домой, взялъ ружье со стѣнки, прихожу, приложился вотъ этакъ, — Матвѣй Васильевичъ показывалъ, какъ онъ приложился, — „пу-у“, Афимья-то не своимъ голосомъ закричала да и упала. Упала да и умерла. Думалъ-то въ него, а попалъ въ нее. Не разобралъ съ пьяныхъ-то глазъ. Тутъ мнѣ лопатки и скрутили. Тутъ-то отъ меня всѣ и отступились И батюшка съ матушкой,—царство имъ небесное,—и братья, и всѣ родные. Семья-то была богатая, гордая семья, и этакій вдругъ срамъ на всѣхъ нагналъ. А?? Острожникъ! Оно бы, можетъ, дать — такъ полегче бы было, да они и руками и ногами: „Знать, — говорятъ, — острожника не хотимъ. Осрамилъ онъ насъ на всю жизнь“. Меня и присудили: кнутом

10 ударовъ и въ каторгу. Въ Москвѣ ужъ наказывали. Тутъ я только Москву и видѣлъ, какъ на Конную везли. Хорошій, должно-быть, городъ, — только мнѣ въ тѣ поры не до того было. Посадили меня на телѣгу, спиной къ лошади, и повезли. А кругомъ-то народу! А кругомъ-то народу! Мальчишки за телѣгой бѣгутъ, глядятъ, пальцами показываютъ. Не знаешь, куда и глядѣть. Купцы изъ лавокъ выходятъ, смотрятъ. Деньги которые въ телѣгу кидаютъ. Палачъ со мной ѣхалъ въ телѣгѣ, собираетъ. „Тебѣ, — говоритъ, — это!“ Я кланяюсь. Такъ и привезли на Конную. День базарный, народищу труба. Тогда еще эшафотовъ не было. Это ужъ потомъ эшафоты пошли, „срамить“ зачали. А тогда еще не „срамили“, — просто положатъ и отдерутъ. Положили меня, да какъ кнутомъ палачъ по голой спинѣ стегнетъ! Много меня пороли; драли и плетьми, и палками, и розгами, и комлями, — а больнѣе кнута ничего не было!

И этотъ человѣкъ, принявшій на своемъ вѣку тысячи плетей и палокъ и розогъ безъ числа и счета, — черезъ 50 лѣтъ содрогался, вспоминая 10 ударовъ кнута. Что жъ это было за наказанье!

— Думалъ, не жить! Чисто годъ пороли. А народъ-то все — деньги сыплетъ, сыплетъ. Сняли меня съ кобылы, въ гошпиталь положили, а потомъ вылежался, — въ каторгу поэтапнымъ порядкомъ послали. Муторно мнѣ въ тѣ поры пришлось. Водки бы. Да гдѣ жъ ея достанешь? Мастерства не зналъ, заработать негдѣ. Товарищъ мнѣ и говоритъ: „Хочешь, деньги будутъ? Какія хочешь, большія. Сами дѣлать будемъ!“ А мнѣ только водки. Угощаетъ онъ меня, мы деньги и дѣлаемъ. Поймали насъ, — да къ палкамъ. Его-то, какъ зачинщика, безъ помощи врача, а меня съ помощью.

— Какъ такъ — безъ помощи врача?

— А такъ въ тѣ поры было. Ставятъ въ два ряда солдатъ съ палками, привяжутъ къ такой телѣжечкѣ и везутъ. А онито палками по спинѣ рразъ, рразъ! И возятъ, покеда все, къ чѣму сужденъ, не получишь. Онъ ужъ мертвый лежитъ, а его все рразъ, рразъ! Потому безъ помощи врача. А ежели съ помощью, — такъ докторъ рядомъ идетъ. Видитъ, что человѣкъ въ безпамятство приходить сталъ, — скажетъ: „стойте!“ спирту дастъ понюхать, — и потомъ опять начнутъ. За руку возьметъ, на часы посмотритъ: „Можно, — скажетъ, — еще сотню!“ А какъ увидитъ, что человѣкъ совсѣмъ плохъ, сейчасъ все пріостанавливаетъ, и человѣка въ гошпиталь. Отлежится тамъ человѣкъ, выздоровѣетъ, его опять на наказанье поведутъ. Такъ до тѣхъ поръ, пока всего своего не получитъ. Товарищъ, царство ему небесное, тотъ сразу, безъ помощи

врача кончился. А меня, почитай, цѣлый годъ драли, пока всего не выдали. Такъ годъ въ гошпиталѣ все и вылеживался. Вылежусь, опять дадутъ.

Затѣмъ, палокъ, плетей и розогъ Матвѣй Васильевичъ получилъ неисчислимое количество:

— На траву я все ходилъ! — улыбаясь, говорилъ онъ.

— Какъ „на траву“?

— А такъ, зиму ничего, маячу въ тюрьмѣ. А придетъ весна, на траву и потянетъ. И бѣгу. Такъ кое-гдѣ лѣто шляюсь, въ работникахъ служу. А осень придетъ, — опять въ тюрьмѣ скучно станетъ. Къ товарищамъ иду. Сейчасъ мнѣ и плети, либо палки, съ прибавленіемъ сроку.

Такъ этими отлучками „на траву“ Матвѣй Васильевичъ и набилъ себѣ три безсрочныхъ каторги.

— А по манифестамъ тебѣ сбавки не было?

— Какіе же мнѣ манифесты? У меня три безсрочныхъ.

Все, что происходило въ мірѣ, неслось мимо этого человѣка, знавшаго только тюрьму, плети, розги. Такъ онъ и жилъ, весной тоскуя по волѣ, осенью возвращаясь въ тюрьму:

— Все-таки кормятъ!

Кромѣ безчисленныхъ „побѣговъ“, за Матвѣемъ Васильевичемъ никакихъ другихъ преступленій не было. Человѣкъ онъ былъ честнѣйшій: сами же служащіе давали ему деньги, — и иногда помногу денегъ, — на покупку матеріаловъ, и никогда онъ не пользовался ни копейкой.

— А бѣгать—бѣгалъ. И окромя весны. И все черезъ водку! Тверезый — ничего, а напьюсь, — сейчасъ у меня первое: бѣжать. Сбѣгу, напьюсь, попадусь! Пьяница я, ваше высокоблагородіе!

Черезъ водку мы съ Матвѣемъ Васильевичемъ и поссорились.

Друзья мы съ нимъ были большіе. Сколько разъ, изнуренный сахалинской „оголтѣлостью“, сахалинской „отчаянностью“, спрашивая себя: „да есть ли мѣра человѣческому страданію и человѣческому паденію“? — боясь сойти съ ума отъ ужасовъ, которые творились вокругъ, — я приходилъ къ этому старику и „отходилъ душой“ подъ его неторопливую старческую рѣчь. Онъ все пережилъ, все перестрадалъ, — и, старый старикъ, смотрѣлъ на все, вспоминалъ обо всемъ съ добродушной улыбкой. Сколько разъ, глядя на эту милую, кроткую улыбку человѣка, душа и тѣло котораго половину столѣтія такъ мучились я спрашивалъ себя:

— Есть ли мѣра благости, и кротости, и добротѣ души человѣческой?

Эта дружба поддерживалась маленькими услугами: каждое утро Матвѣй Васильевичъ ходилъ ко мнѣ на кухню, и кухарка

должна была поднести ему чайную чашку,—непремѣнно чашку, это была его мѣра, — водки.

Спрашиваю какъ-то:

— Былъ дѣдушка?

— Никакъ нѣтъ-съ, — отвѣчаетъ кухарка, — онъ ужъ нѣсколько дней какъ не ходитъ!

Пошелъ справиться: ужъ не заболѣлъ ли. Матвѣй Васильевичъ нехотя и сухо со мной поздоровался.

— Да что съ тобой, Матвѣй Васильевичъ? За что ты на меня сердишься?

— Что ужъ... Ничего ужъ...

— Да скажи, въ чемъ дѣло?

— Что ужъ тамъ! Ежели ты для меня, для старика, чайной чашечки водки пожалѣлъ, что же ужъ...

Оказывается, кухарка, глупая и злая баба, почему-то вдругъ, вмѣсто обычной „чашки водки“, поднесла Матвѣю Васильевичу рюмку:

— Всѣ пьютъ изъ рюмки, а ты что за принцъ такой! Много васъ тутъ найдется чашками водку хлебать!

Матвѣй Васильевичъ отказался и ушелъ:

— Я всю жизнь чашечкой пилъ!

И рѣшилъ, что это мнѣ для него водки стало жаль.

— Матвѣй Васильевичъ, Богомъ тебѣ клянусь, что я не зналъ даже объ этомъ! Да приходи ты, четверть тебѣ поставлю, стаканами хоть пей, — на здоровье!

— Нѣтъ, что ужъ... Пожалѣлъ... Чашечку водки пожалѣлъ... А я изъ-за нея, изъ-за водки, всю жизнь въ каторгѣ маюсь... А ты мнѣ чашечку пожалѣлъ...

И на глазахъ у старика были слезы. Онъ и смотрѣть на меня не хотѣлъ.

Почувствовавъ приближеніе смерти, Матвѣй Васильевичъ явился въ Александрійскій лазаретъ и спросилъ главнаго врача, Л. В. Поддубскаго.

— Умирать къ тебѣ пришелъ. Ты мнѣ того... и глаза самъ закрой, Леонидъ Васильевичъ!

— И полно тебѣ, старина! Ты еще на траву въ этомъ году пойдешь!

— Нѣтъ, братъ, на траву я больше не пойду.

— Да что жъ у тебя болитъ, что? А?

— Нѣтъ, болѣть ничего не болитъ. А только чувствую, смерть подходитъ. Ты ужъ меня того, положи къ себѣ... И глаза самъ закрой, Леонидъ Васильевичъ!

Желаніе старика исполнилось.

Окруженный попеченіями, пролежавъ въ лазаретѣ два дня, онъ тихо и безболѣзненно скончался, словно заснулъ, отъ стар-

ческой дряхлости. И при послѣднихъ минутахъ его былъ, „глаза ему закрылъ“ Л. В. Поддубскій.

Такъ умеръ „дѣдушка русской каторги“.

Однажды докторъ Н. С. Лобасъ далъ Матвѣю Васильевичу бумаги, чернилъ, перьевъ:

— Дѣдушка, ты сколько помнишь. Что бы тебѣ въ свободное время сѣсть да и записать, что припомнишь. Свое жизнеописаніе.

— А что жъ! Съ удовольствіемъ! — согласился Матвѣй Васильевичъ и на слѣдующій день принесъ назадъ бумагу,

Похороны на Сахалинѣ.

перья, чернила и четвертушку бумаги, съ одной стороны которой было написано.

— Вотъ. Написалъ.

Что?

— Жизнеописаніе.

И онъ подалъ четвертушку:

„Жизнеописаніе сс.-каторжнаго Матвѣя Васильевича Соколова. Приговоренъ къ тремъ безсрочнымъ каторгамъ. Чистой каторги отбылъ 50 лѣтъ. Получилъ:

Кнута — 10 ударовъ.

„Плетей — столько-то тысячъ.

„Палокъ — столько-то тысячъ.
„Розогъ — не припомню сколько.
„Сс.-каторжный Матвѣй Соколовъ".
— Все жизнеописаніе?
— Все.

Святотатецъ.

Усталый, разбитый, измученный, пробирался я чрезъ тайгу съ моимъ проводникомъ, ссыльно-каторжнымъ Бушаровымъ.

Бушаровъ стоитъ того, чтобъ сказать о немъ нѣсколько словъ. Въ ссорѣ его называютъ:

— Каинъ!

Онъ убилъ родного брата съ цѣлью грабежа. Убилъ при такихъ же точно условіяхъ, какъ ѣхали мы теперь съ нимъ: въ глухомъ лѣсу. Убилъ потому, что у брата, какъ у меня, были деньги. Я взялъ Бушарова въ проводники потому, что онъ, прежде чѣмъ остепениться, много разъ бѣгалъ и зналъ Сахалинскую тайгу, какъ свои пять пальцевъ. За мной этотъ братоубійца, грабитель и бродяга, „смотрѣлъ" такъ, словно я былъ стеклянный. Словно боялся, что я вотъ-вотъ разобьюсь вдребезги.

А приходилось трудно. По тундрѣ, поросшей тайгою, только и пробраться, что выросшей въ тайгѣ сахалинской лошади. Приходилось прыгать черезъ ямы, черезъ стволы огромныхъ упавшихъ деревьевъ. Лошади осторожненько сначала пробивали копытомъ мѣсто, прежде чѣмъ на него ступить, пробирались по корнямъ деревьевъ, высунувшимся наружу, срывались, падали, увязали въ топь по брюхо. Паръ отъ лошадей валилъ. Ежеминутно приходилось бѣдныхъ, измученныхъ лошадей лупить нагайками, чтобы заставить выбраться изъ трясины. Только-что вытащитъ заднія ноги, глядь — сорвалась съ корешка, провалилась въ трясину передними. То летишь черезъ голову, то черезъ крупъ, то валишься вмѣстѣ съ лошадью.

— Поддержитесь, ваше высокоблагородіе, поддержитесь! — подбадривалъ меня ѣхавшій впереди Бушаровъ, — скоро тутъ сторожка.

Прорубили сквозь тайгу просѣку, поморили на этой нечеловѣческой работѣ много народу, — а по просѣкѣ не пройти ни проѣхать: на чемъ поѣдешь по тундрѣ? Понаставили сторожекъ „охранять просѣку", и хоть просѣка брошена, но все же въ каждую сторожку, по старой памяти, назначаютъ по два сторожа каторжанъ.

Было ужъ подъ вечеръ, когда мы добрались до просѣки и до сторожки. Въ сторожкѣ былъ только одинъ сторожъ — ста-

рикъ. Другой ушелъ на нѣсколько дней въ „постъ“ за провіантомъ.

Я не помню, какъ добрался до лавки, легъ и заснулъ, какъ убитый. Проснулся я раннимъ утромъ. Старикъ стоялъ на колѣняхъ и шопотомъ молился на маленькій, темненькій образокъ, висѣвшій въ углу.

Перевирая и коверкая, онъ прочелъ „Богородицу“, „Отче нашъ“, „Царю небесный“, изъ пятаго въ десятое „Вѣрую“ и началъ молиться отъ себя.

— Покровъ Пресвятой Богородицы, помилуй насъ! Успленье Божіей Матери, помяни и заступи грѣхи наши! Казанская Матерь Божія, помилуй насъ! Помяни, Господи, рабовъ Божіихъ (такихъ-то) за упокой! Помяни, Господи, рабовъ Божіихъ (такихъ-то), невѣмъ аще за упокой, аще во здравіе! Помяни мя, Господи, егда пріидеши во царствіи Твое!

Положилъ долгій-долгій земной поклонъ. Затѣмъ поднялся, сказалъ:

— Аминь!

Перекрестился еще нѣсколько разъ и пошелъ.

— Здравствуй, дѣдъ!

— Здравствуй, ваше высокоблагородіе!

Бушаровъ ужъ ждалъ меня съ горячимъ мѣднымъ чайникомъ, который онъ всегда въ экскурсіяхъ возилъ съ собой, вмѣстѣ съ провизіей и съ завтракомъ: раскрытой баночкой... страсбургскаго паштета и коробкой сардинъ. Въ лавкахъ колонизаціоннаго фонда, созданнаго для удовлетворенія потребностей каторжанъ, поселенцевъ и мелкихъ чиновниковъ, ничего, кромѣ страсбургскаго паштета и сардинокъ, достать нельзя. Такъ это все разумно устроено.

И мы усѣлись около сторожки, ѣсть въ тайгѣ паштетъ изъ гусиныхъ печенокъ съ трюфелями и сардины въ деликатесномъ маслѣ!

— Дѣдъ, выпей съ нами чайку!

Старикъ постоялъ, постоялъ:

— Спасибо за ласку. Побалуюсь!

И какъ я ихъ ни уговаривалъ сѣсть вмѣстѣ со мной, не соглашались. Я сидѣлъ на крылечкѣ, старикъ и Бушаровъ — поодаль. Иначе:

— Не порядокъ!

А порядокъ старикъ, видимо, любилъ. Выпивъ чашку, онъ выплескивалъ остатки въ траву, переворачивалъ чашку кверху донышкомъ, клалъ на донышко обгрызокъ сахару и говорилъ:

— Благодарствую на угощеніи!

— Да ты бы, дѣдъ, еще выпилъ!

— Нѣтъ уже, благодарствую.

Виды Сахалина.

И только по третьему разу говорилъ:

— Ну, ужъ ежели такая ваша милость, налейте! Грѣхъ, а побалуюсь.

Сардины у дѣда вызвали улыбку:

— Безголовая рыбешка-то!

А паштета онъ попросилъ еще:

— Да-ко-сь замазки-то!

— Чай онъ пилъ съ жадностью:

— Давно не баловался. Почитай, полгода, какъ чайкю не пилъ!

Старикъ былъ хмурый, неразговорчивый, но-угощеніе и чай развязали ему языкъ.

— Ты, что же, дѣдъ, въ постъ-то когда ходишь?

— Нѣ. За пайкомъ Михайло ходитъ. Онъ помоложе. А мнѣ чего ходить? Чего тамъ дѣлать? Года два, какъ не былъ.

— Такъ и живешь здѣсь, людей не видя?

— Какіе жъ здѣсь люди? Такъ когда—ведмѣдь къ сторожкѣ забредетъ, отпугнемъ. Аль бо которые шлющіе...

— Бродяги, то-есть! — пояснилъ Бушаровъ.

— Они самые. Придетъ, отогрѣется, хлѣбушка попроситъ,—дашь, переночуетъ,—дальше пойдетъ. А люди какіе же!

— И не боязно, дѣдъ?

— Чего же бояться-то? Бога бояться надо, а людей нечего. Ни я людямъ ничего не сдѣлалъ, ни люди мнѣ. Чего жъ мнѣ ихъ бояться?

Старикъ сталъ разговорчивъ и довѣрчивъ, теперь можно было ему предложить и самый щекотливый вопросъ:

— А за что ты, дѣдъ, сюда попалъ? На Сахалинъ?

Старикъ въ это время допилъ послѣднюю чашку чаю, подъѣлъ съ ладони всѣ хлѣбныя крошки и перекрестился три раза.

— За ограбленіе святыхъ Божіихъ церквей.

Признаюсь, я ожидалъ всего, кромѣ этого.

— Какъ такъ?

— А такъ.

— Какъ же это ты такъ? Спьяна, что ли?

— Зачѣмъ спьяна. Тверезый. Я съ молодыхъ годовъ ничѣмъ больше и не займался! Все по церквамъ. Церквей 30 обобралъ, можетъ, и больше. А тутъ на 31 Богу не угодилъ, и попался.

— Какъ же это такъ... Вѣдь преступленіе-то какое...

— Какое жъ преступленіе?

Старикъ посмотрѣлъ на меня строго и серьезно.

— Я никого не обижалъ. Я у людей ничѣго не бралъ. И бралъ у Бога. Да у Бога-то бралъ то, что Ему не нужно.

Богъ мнѣ и отдавалъ, а какъ взялъ, видать, то, что Богу нужно. Онъ меня и настигъ.

— Какъ же такъ, все-таки? Какъ, что Богу не нужно?

— Да вѣдь въ церквахъ-то все какое? Жертвованное? А что жъ ты думаешь, Богу-то всякая жертва угодна? Всякая?

Старикъ горячился.

— Другой мужикъ всю округу обдеретъ, нищими людей пуститъ, рубахи поснимаетъ, да въ церковь что пожертвуетъ, думаетъ, и святъ! Угодна такая жертва Господу? Нѣтъ, братъ, ты отъ трудовъ правѣдныхъ да съ чистымъ сердцемъ Господу Богу принеси, — вотъ это Ему жертва!

— Да ты-то почемъ знаешь, что Господу угодно, что нѣтъ?

— Этого намъ знать не показано. А только по слѣдствіямъ видать. Взялъ, ничего тебѣ за это не было, значитъ, Богъ тебѣ, что Ему не надоть отдалъ. Всю жисть ничего не было. Какія дѣла съ рукъ сходили, а тутъ и взялъ-то всего ничего, и споймали. Тронулъ, значитъ, что Богу Самому нужно, и постигнутъ. Значитъ, Богу кто отъ чистаго сердца да отъ праведнаго труда принесъ, — „жертва совершенная“ была. А я у Бога ее взялъ. За это теперь и казнись. Справедлива и премудрость Божія.

Мы помолчали.

— Какъ же ты это дѣлалъ? Церкви ломалъ?

— Случалось, и ломалъ! — неохотно проговорилъ старикъ, — всяко бывало. Только я этого не люблю. Зачѣмъ храмъ Божій ломать? Намъ этого не полагается. Страшно, да и застичь скорѣй могутъ. А такъ, съ молитвой да тихохонько, оно и лучше. Останешься апосля авсенощной, спрячешься гдѣ-нибудь и замрешь. А какъ церкву запрутъ, и выйдешь. Предъ престольными образами помолишься, чтобъ Господь Богъ просвѣтилъ, не взялъ бы чего, что Ему угодно. Къ образамъ приложишься и берешь, что по душѣ. А утромъ, къ утрени церкви отворятъ, темно, всѣ сонные, — незамѣтно и уйдешь.

— И такъ всю жизнь?

— И этакъ цѣльную жисть.

— Ну, а этотъ образокъ, что въ уголкѣ виситъ, это тоже, можетъ-быть?

— Покровъ Пресвятой Богородицы-то? Говорю жъ тебѣ, два года тому въ посту былъ. Тамъ на кладбищѣ и взялъ. Со креста снялъ.

— Какъ же это такъ? И могилу, послѣднее упокоенье...

— А что жъ тамъ образу быть? На что ему подъ дождемъ-то мокнуть? Еще татарва возьметъ горшки у печки покрывать. „Дощечка“! Имъ все дощечка! Народецъ!. А тутъ образъ въ своемъ мѣстѣ. Какъ порядокъ велитъ. Соблюдается.

— Ну, а здѣсь ты, что жъ, оставилъ старое? Здѣшнихъ церквей ужъ не трогаешь?

— А что въ здѣшнихъ церквахъ взять-то? Народъ-то здѣсь какой? Не знаете? Нешто здѣшній народъ о Богѣ думаетъ? Въ церкву онъ что понесетъ! Да онъ на водку лучше пропьетъ! Бога здѣшній народъ забылъ, и ихъ Господь Богъ позабылъ! У нихъ Богъ-то нищимъ останется, и они за это за самое голые ходятъ! Народъ! Глаза бы мои ихъ не видѣли! Оттого и въ постъ-то не хожу, черезъ народъ, черезъ этотъ. Чтобъ не видать ихъ. Грѣхъ одинъ.

И старый святотатецъ даже отплевывался, говоря о забывшемъ Бога народѣ.

— Чудной старикъ! — сказалъ Бушаровъ, когда мы ѣхали изъ сторожки, — но только богобоязненный, страсть! Его всѣ такъ и знаютъ.

Аристократъ каторги.

— Извините! — сказалъ мнѣ однажды Пазульскій, — сегодня я не могу пойти къ вамъ въ контору поговорить. Нога болитъ. Вы не хотите ли, можетъ-быть, здѣсь поговоримъ?

— Здѣсь? Неудобно. При постороннихъ. Народу много!

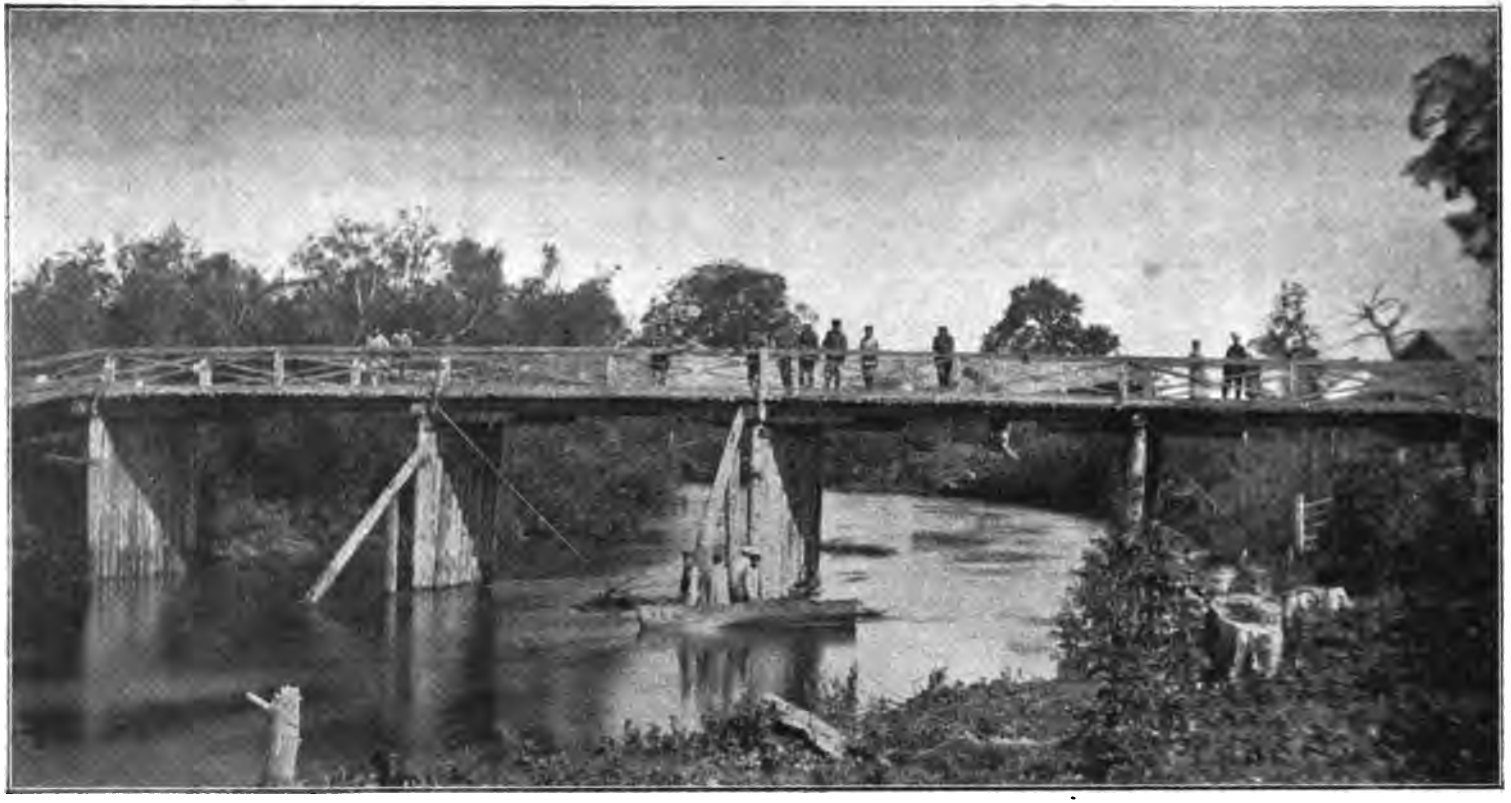
— Эти? — Пазульскій кивнулъ головой на каторжанъ, — не извольте безпокоится. Ребята, выйдете-ка во дворъ, мнѣ съ бариномъ поговорить надо!

И всѣ 19 человѣкъ, содержавшихся въ одномъ „номерѣ“ съ Пазульскимъ, — кто сидѣлъ въ это время, кто лежалъ, кто игралъ въ карты, — встали и, позвякивая кандалами, одинъ за другимъ, гуськомъ, покорно вышли.

А среди нихъ былъ Полуляховъ, убійца семьи Арцимовичей, сахалинская знаменитость Митрофановъ, только-что пойманный послѣ необычайно дерзкаго побѣга, Мыльниковъ-Прохоровъ, перерѣзавшій на своемъ вѣку человѣкъ двадцать, двое изъ Владивостока, приговоренные къ смертной казни и всего двѣ недѣли тому назадъ помилованные на эшафотѣ, Шаровъ, отчаяннѣйшая башка въ цѣломъ мірѣ, совершившій прямо невѣроятный побѣгъ: среди бѣлаго дня онъ спрыгнулъ съ палей прямо на часового, вырвалъ у него ружье и бросился въ тайгу, Школкинъ, ждавшій себѣ смертной казни за убійство, Балдановъ, зарѣзавшій поселенца за 60 копеекъ, и другіе.

И всѣ эти люди часа три проходили по двору, пока Пазульскому угодно было бесѣдовать со мною о разныхъ предметахъ.

Я собирался ѣхать въ Рыковское. Узнавъ объ этомъ, Пазульскій предложилъ мнѣ:



Виды Сахалина. Мостъ около селенія Рыковскаго.

— Хотите, я вамъ дамъ рекомендательныя письма? Тамъ въ тюрьмѣ есть люди, которые меня знаютъ.

Онъ далъ мнѣ нѣсколько записокъ, въ которыхъ просилъ принять меня хорошо, сообщалъ, что я человѣкъ „безопасный" и съ начальствомъ ничего общаго не имѣю.

Рекомендація Пазульскаго сослужила больше службы, чѣмъ всѣ распоряженія показать мнѣ все, что я пожелаю видѣть. Рекомендаціи Пазульскаго было довольно, чтобъ я пріобрѣлъ полное довѣріе тюрьмы.

Случай помогъ мнѣ при первомъ же знакомствѣ пріобрѣсти расположеніе и даже заслужить признательность Пазульскаго.

Онъ спросилъ меня:

— Говорите ли вы по-англійски?

Я отвѣчалъ, что да. И Пазульскій вдругъ заговорилъ накакомъ-то необычайно дикомъ, неслыханномъ языкѣ.

Про него можно было сказать, что онъ по-англійски „говоритъ, какъ пишетъ".

Онъ выучился самоучкой и произносилъ каждую букву такъ, какъ она произносится по-французски.

Выходило чортъ знаетъ что!

Минута была критическая.

Безграмотная каторга чрезвычайно цѣнитъ всякое знаніе.

Вся тюрьма воззрилась: ну-ка, дѣйствительно ли Пазульскій и по-англійски говоритъ? Не вретъ ли?

На картѣ стояло самолюбіе и авторитетъ Пазульскаго.

Авторитетъ, купленный страшной, дорогою цѣною.

Стоило мнѣ улыбнуться, и все пошло бы на смарку. „Вретъ, хвастается!" Боящаяся и ненавидящая Пазульскаго за эту боязнь каторга расхохоталась бы надъ Пазульскимъ. А это былъ бы конецъ.

Я призвалъ на помощь всю свою сообразительность. Рисовалъ въ воображеніи буквы, которыя произносилъ Пазульскій, складывалъ изъ нихъ слова, угадывалъ, что онъ хочетъ сказать, и отвѣчалъ ему на такомъ же варварскомъ языкѣ, произнося всѣ буквы.

Такъ мы обмѣнялись нѣсколькими фразами.

Надо было видѣть, съ какимъ глубокимъ почтеніемъ слушала каторга этотъ разговоръ на неизвѣстномъ языкѣ.

Затѣмъ, встрѣтясь одинъ на одинъ, Пазульскій спросилъ меня.

— Такъ я говорю по-англійски?

— Откровенно говоря, Пазульскій, вы совсѣмъ не умѣете говорить. Васъ никто не пойметъ.

— Я и самъ это думалъ! А вѣдь сколько лѣтъ я учился этому проклятому языку въ тюрьмѣ! — вздохнулъ Пазульскій, затѣмъ улыбнулся:

— Спасибо вамъ за то, что меня тогда не выдали! Смѣяться бы стали, а мнѣ это не годится... Спасибо, что поддержали.

И онъ крѣпко нѣсколько разъ пожалъ мнѣ руку.

Въ чемъ заключается это обаяніе и эта власть Пазульскаго надъ каторгой?

Прежде всего, — его всѣ боятся потому, что онъ самъ ничего не боится. И онъ это доказалъ!

Аристократъ каторги Пазульскій.

Во-вторыхъ, боятся его прогнѣвить, чтобы Пазульскій „чего не сказалъ“. Это типичнѣйшій изъ „Ивановъ“, человѣкъ слова: что онъ сказалъ, то онъ и сдѣлаетъ, — онъ и это доказалъ.

Таковъ этотъ „человѣкъ съ висѣлицы“.

Пазульскій теперь уже старикъ, лѣтъ шестидесяти. Удивительно бодрый и крѣпкій. Силы, говорятъ, онъ феноменальной. Черты лица у него удивительно правильныя, красивыя, и особенно замѣчательны глаза: сѣрые, холодные, съ властнымъ взглядомъ, который трудно выдерживать. Въ немъ какъ-то во всемъ чувствуется привычка повелѣвать. Красивыя губы подъ полусѣдыми усами нѣтъ-нѣтъ да и подергиваются презрительной улыбкой.

Пазульскій — полякъ.

— Вѣроисповѣданія числюсь католическаго! — говоритъ онъ, — но мнѣ это все равно. Православное, католическое, — я ни во что въ это не вѣрю,

— Значитъ, „тамъ“, по вашему мнѣнію, Пазульскій, ничего нѣтъ?

— Ничего!

— И души?

— Какая душа! Что человѣкъ помираетъ, что собака, — все равно. Я видалъ.

А онъ, дѣйствительно, „видалъ“.

— Я нарочно убивалъ собакъ, чтобъ посмотрѣть. Никакой разницы. Смотритъ на тебя, словно сказать хочетъ: „только не мучай“. Поскорѣе! Живетъ—смерти боится. Умираетъ—боли боится. Это все тѣло. Боли боится и наслажденія хочетъ. Жизнь — это наслажденіе. Только съ наслажденіемъ и начинается жизнь. Разумная-то. А только необходимое, ѣсть да пить, это ужъ человѣкъ будетъ даже не собака, даже не свинья, даже не крыса. — Это ужъ будетъ вошь. Да и у той, небось, свои наслажденія есть! И она къ наслажденію стремится. Вѣдь и собака и свинья, глядишь, на солнце ляжетъ, бокъ погрѣетъ, наслажденія отъ жизни хочетъ. А заприте собаку въ комнату, дайте ей только необходимое, завостъ. О наслажденіи выть будетъ!

Такова „философія“ Пазульскаго, до которой онъ дошелъ своимъ умомъ.

— У человѣка есть деньги, онъ и наслаждается: пьетъ тонкія вина, ѣстъ деликатныя блюда, имѣетъ красивыхъ женщинъ. „У меня, — говоритъ, — есть деньги, черезъ нихъ я и наслаждаюсь. А у тебя нѣтъ денегъ, ты и не наслаждайся!“ — Хорошо, братъ! Если все черезъ деньги, то я возьму у тебя твои деньги, и самъ черезъ нихъ буду наслаждаться, чѣмъ мнѣ на тебя-то смотрѣть!“ Такъ ужъ все заведено.

Таково практическое примѣненіе „философіи“ Пазульскаго.

Пазульскій — это громкое имя на нашемъ югѣ, на юго-западѣ и въ Румыніи. Его долго еще не забудутъ. Онъ былъ атаманомъ трехъ разбойничьихъ шаекъ и, дѣйствительно, „творилъ чудеса“.

Его спеціальностью были грабежи. И въ особенности грабежи въ помѣщичьихъ усадьбахъ. Убійства онъ всегда „терпѣть не могъ“:

— За ненадобностью. Я беру то, что мнѣ нужно. Деньги его. А жизнь его, на что она мнѣ?

Къ убійцамъ съ цѣлью грабежа, напримѣръ, къ Полуляхову, онъ относится съ величайшимъ презрѣніемъ.

— Сволочь! Намажутъ, намажутъ, а взять ничего не возьмутъ! Что не нужно, то у людей отнимутъ, а что нужно—того достать не сумѣютъ. Дурачье! Наберутъ топоровъ, напьется еще, скотина, передъ этимъ! „Валай, Ивашка, бей по головамъ! Кроши, Ямеля, твоя нядѣля!“ А зачѣмъ это имъ нужно? По головамъ-то!

— Да вѣдь дѣло такое, Пазульскій. Говорятъ, нельзя имъ безъ „этого“.

— Оттого, что дурачье! Потому и „нельзя“. Зачѣмъ у человѣка ненужную мнѣ вещь отнимать, жизнь, когда у него нужная мнѣ вещь есть: страхъ.

— А не напугается?

— Ну, это какъ напугать!

О своемъ „прошломъ“ Пазульскій не говоритъ. Это пахло бы хвастовствомъ. А Пазульскій не изъ тѣхъ людей, которые хвастаются.

Свѣдѣнія о его прошломъ мнѣ пришлось собирать ужъ на югѣ Россіи. Это были, дѣйствительно, большія „предпріятія“. Намѣтивъ богатаго помѣщика, Пазульскій подсылалъ къ нему кого-нибудь изъ своихъ. Тотъ нанимался въ работники, жилъ, высматривалъ, выглядывалъ. И когда Пазульскій съ шайкой являлся на „дѣло“, онъ былъ освѣдомленъ обо всемъ: о складѣ жизни, привычкахъ, расположеніи дома. Онъ билъ безъ промаха: выбиралъ самый удобный часъ, когда ему никто помѣшать не могъ.

Всѣ роли бывали распредѣлены, всякій зналъ свое дѣло. Одни вязали спящую дворню, другіе караулили. Самъ Пазульскій брался за хозяевъ, никогда не довѣрялъ ихъ никому изъ шайки: боялся, быть-можетъ, что потеряютъ терпѣніе, не выдержатъ и убьютъ.

Онъ любилъ при этомъ страшную обстановку: револьверъ, кинжалъ, маски. Отчасти, вѣроятно, потому, что такъ какъ страха больше нагонишь, отчасти, быть-можетъ, что въ этомъ бандитѣ есть любовь къ романтическому, и онъ умѣетъ изо всего извлекать наслажденіе.

— Надо все такъ сдѣлать, чтобъ и вспомнить потомъ пріятно было! — какъ-то вскользь замѣтилъ онъ.

Его „слава“ была такъ велика, что, говорятъ, при одномъ имени „Пазульскій“ люди сами отдавали деньги. Появились на югѣ даже лже-Пазульскіе.

— Но вѣдь случалось убивать? — спросилъ я какъ-то Пазульскаго въ минуту болѣе откровенной бесѣды.

Онъ поморщился:

— Случалось. Что жъ! Если самъ ужъ человѣкъ лѣзетъ! Его урезониваешь, а онъ лѣзетъ! Ну, и... Да это дрянь такая,

что и вспоминать нечего. Не всегда все дѣлаешь, что хочешь. Во всякомъ дѣлѣ непріятности есть. Что вспоминать! Это только корова жвачку пережевываетъ, отрыгнетъ, да и жуетъ. А человѣку это противно! Не будемъ объ этомъ!

Среди воровского и грабительнаго міра „атаманъ“ Пазульскій, конечно, имѣлъ огромное имя, и когда онъ попалъ въ Херсонскую тюрьму, нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ командовалъ тюрьмой, какъ командуетъ ею на Сахалинѣ. Смотритель тюрьмы былъ человѣкъ новый, молодой, неопытный. Но онъ былъ человѣкъ добрый и къ „знаменитости“, попавшей въ его тюрьму, отнесся очень мягко, внимательно и человѣчно. За это онъ понравился Пазульскому.

— Жаль мнѣ его стало. Вижу, человѣкъ въ новѣ, чертей этихъ, арестантовъ, не знаетъ, держать ихъ не умѣетъ. И началъ я ему помогать. Совѣты давалъ, какъ ихъ въ подчиненіи держать, самъ, бывало, на нихъ прикрикнешь. И установился въ тюрьмѣ порядокъ: ходятъ по струнке. Народъ — трусъ!

Пазульскій за это пользовался нѣкоторыми льготами, имѣлъ хорошій столъ. Это привилегированное положеніе не понравилось помощнику смотрителя изъ бывшихъ фельдшеровъ (удивительно, какая страсть у фельдшеровъ къ этой должности!). „Помощникъ“ возревновалъ, сталъ наговаривать смотрителю на Пазульскаго. Слабохарактерный смотритель поддался вліянію помощника. Пазульскаго начали „сокращать“; и когда захотѣли „сравнять съ арестантами“, Пазульскій поднялъ всю тюрьму и устроилъ „бунтъ“. Но бунтъ не удался, Пазульскаго схватили и поволокли подъ ворота.

Тутъ разсвирѣпѣвшій помощникъ далъ себѣ волю. Приказалъ колотить Пазульскаго на глазахъ у всей тюрьмы, смотрѣвшей на это изъ оконъ.

Это было для Пазульскаго „хуже смерти“.

Онъ только сказалъ „помощнику“:

— Вы зашли въ ресторанъ пообѣдать, но не спросили, какая здѣсь цѣна.

Избитаго до полусмерти Пазульскаго посадили въ карцеръ, и когда онъ, „битый“, отсидѣвъ въ карцерѣ, сошелъ въ общую арестантскую камеру, его первымъ словомъ было обѣщаніе убить помощника.

Вскорѣ Пазульскій бѣжалъ. Прошло два года. Его снова поймали гдѣ-то въ Крыму и препроводили въ Херсонскую тюрьму. Смотритель былъ тотъ же. Помощникъ тоже. Помощникъ уже давно забылъ про все и даже встрѣтилъ Пазульскаго по-пріятельски:

— А! Пазульскій! Привелъ Богъ опять увидѣться!

Пазульскій отвѣтилъ:

— Привелъ Богъ. Это вѣрно.

Однажды, во время обхода камеры, Пазульскій обратился къ помощнику-фельдшеру, шедшему за смотрителемъ:

— Будьте такъ добры, посмотрите мнѣ горло, у меня что-то горло болитъ.

Они подошли къ окну, чтобы лучше видѣть. Тогда Пазульскій быстро охватилъ его одной рукой за талію, прижалъ, а другой: провелъ ножомъ по горлу. Въ рукавѣ приготовленъ былъ, даже не пикнулъ! Бросилъ его на полъ и говорю: „расплатился!“

Разсказывая это, Пазульскій вздохнулъ съ такимъ видомъ облегченія, словно онъ до сихъ поръ еще испытываетъ чувство какого-то удовлетворенія.

Убійство начальника — „за это веревка“, и вотъ почему каторга со страхомъ смотритъ на человѣка, который чрезъ два года сдержалъ „разъ данное слово“.

Пазульскій былъ приговоренъ къ повѣшенію. Онъ сидѣлъ въ тюрьмѣ и ждалъ.

— Страшно?

— Томительно. Скорѣй бы! — думаешь, ну, чего тянутъ? Повѣсилъ бы и къ сторонѣ.

Какъ и большинство, какъ почти всѣ „настоящіе преступники“, онъ, хотя и въ Бога не вѣритъ, но суевѣренъ.

— Снился мнѣ сонъ: столбъ высокій, высокій. „Къ чему бы? думаю, значитъ, меня завтра повѣсятъ!“ Такъ и вышло. Приносятъ вечеромъ чистое бѣлье, значитъ, утромъ казнь!

Пазульскій отказался отъ духовника и на эшафотѣ всѣхъ поразилъ. Онъ оттолкнулъ палача:

— Не хотѣлъ, чтобы палачъ руками дотрогивался, противно было!

Вбѣжалъ на западню и самъ на себя набросилъ петлю. Пришлось покричать ему:

— Стой! Стой!

Ему прочли помилованіе.

— Тутъ ужъ замутилось у меня передъ глазами, все поплыло, уплыло... — говоритъ Пазульскій.

Смертная казнь была замѣнена каторгой безъ срока. Пазульскаго отправили въ Сибирь; на одномъ изъ этаповъ онъ „смѣнился“ съ какимъ-то маловажнымъ арестантомъ, проигравшимся въ карты. Тотъ пошелъ подъ именемъ Пазульскаго, а Пазульскій бѣжалъ и вернулся на югъ.

Но „подвиги“ Пазульскаго, его „казнь“ слишкомъ нашумѣли на югѣ. Его узнали, поймали, обвинили:

— Всякая собака меня знала! Немудрено. Эта извѣстность-то меня и погубила!

Пазульскій былъ приговоренъ въ Одессѣ къ 12 годамъ „испытуемости“, 100 плетямъ и тремъ годамъ прикованія къ тачкѣ.

Такъ онъ попалъ на Сахалинъ.

Онъ сидитъ въ самомъ страшномъ номерѣ Александровской кандальной тюрьмы. На табличкѣ съ фамиліями, висящей около двери этого номера, значится все:

— Безъ срока... Безъ срока... Безъ срока...

Тутъ собрана „головка“ кандальной каторги.

И Пазульскій держитъ этихъ людей въ полной зависимости и нравственной, какъ человѣкъ, лишенный страха, и матеріальной: онъ занимается ростовщичествомъ.

Страшный этотъ старикъ. Онъ сидитъ въ своемъ темномъ углу, словно огромный паукъ, который держитъ въ своей паутинѣ 19 бьющихся, жалобно пищащихъ мухъ.

— Вотъ! — сказалъ онъ мнѣ какъ-то, показывая на маленькія углубленія: вдавленныя мѣста въ деревѣ на его мѣстѣ, на нарахъ, — знаете что это?

— Что?

— Это я пролежалъ!

Плебей.

Если Пазульскій — аристократъ каторги, то Антоновъ, по прозвищу Балдоха, презрѣннѣйшій изъ ея плебеевъ.

Вся кандальная относится къ нему съ обиднымъ пренебреженіемъ.

И не то, чтобъ онъ сдѣлалъ что-нибудь, съ точки зрѣнія каторги, предосудительное, а такъ, просто:

— Что это за человѣкъ! Ни Богу свѣча ни чорту кочерга! Одно слово, — Балдоха!

Спеціальность Балдохи было — душить.

Онъ передушилъ на своемъ вѣку...

— Постой! Сколько? — спрашиваетъ самъ себя Балдоха, загибаетъ корявые пальцы и всегда сбивается въ счетѣ.

— Душъ одиннадцать!

И никогда не видалъ денегъ больше 10 рублей.

Антону-Балдохѣ 54 года, на видъ подъ сорокъ, по уму немного.

Фигура у него удивительно нескладная, лицо корявое и видъ нелѣпый.

Онъ родился въ Москвѣ, на Хитровкѣ. Ни отца ни матери не зналъ. Выросъ въ ночлежномъ домѣ.

Высшая радость жизни для него — портерная.

— А что, Балдоха, здорово бы теперь тебѣ въ Москву?

Природа Сахалина. Видъ въ Александровскомъ округѣ.

— На Грачевку бы! Въ портерную! — улыбается во все лицо Балдоха, — ахъ, городъ хорошій! Сколько тамъ портерныхъ!

Когда онъ хочетъ разсказать что-нибудь необыкновенно-величественное изъ своей прошлой жизни, онъ говоритъ:

— И спросилъ я себѣ, братцы вы мои, пива полдюжины!

Говоритъ онъ на своемъ особомъ языкѣ: смѣси Хитровки, каторги, языка нищихъ и языка арестантовъ.

Арестантскіе типы.

Человѣкъ для него — „пассажиръ“. Онъ не проситъ, а „по пассажиру стрѣляетъ“. Не душитъ, а „баки заколачиваетъ“. Маленькій воровскій ломикъ — у него „гитара“. Часы или „луковица“ или „подсолнухъ“, — глядя по тому, серебряные или золотые.

— Звѣздануть пассажира гитарой по становой жилѣ да подсолнухъ слямзить. Куда какъ хорошо!

— Дозвольте васъ, ваше высокое благородіе, подстрѣлить! — говоритъ онъ, прося гривенникъ.

Онъ, случалось, „бралъ“ и „подсолнухи“ и брилліанты, но онъ всю жизнь свою проходилъ въ опоркахъ: „взявъ“ хорошую вещь шелъ къ покупщику краденаго, и ему давали за вещь, стоющую сотни рублей:

— Рупь, много два!

Онъ сейчасъ же пропивалъ и на утро просыпался опять голодный, холодный, раздѣтый.

Онъ не то, чтобы былъ пьяницей. Но онъ не привыкъ к тому, чтобы у него была какая-нибудь собственность, и когда товарищи „для работы“ справляли ему чуйку синяго сукна сапоги съ наборомъ, картузъ, онъ сейчасъ же, по окончаніи „дѣла“, сбывалъ это и возвращался въ „первобытное состояніе“

Московскіе старожилы помнятъ еще знаменитую, свирѣпствовавшую когда-то въ Замоскворѣчьѣ шайку „замоскворѣцкихъ башибузуковъ“, какъ ихъ прозвали.

Шайка держала москвичей въ страхѣ и трепетѣ. Съ прохожихъ по вечерамъ, въ глухихъ переулкахъ, срывали шапки, отрывали воротники у шубъ, стаскивали часы. Обыкновенно, прохожаго въ глухой мѣстности настигалъ лихачъ, съ лихача соскакивали двое, грабили прохожаго, вскакивали въ сани, лихачъ ударялъ по лошади, и поминай, какъ звали.

Арестантскіе типы.

Кромѣ этихъ наглыхъ, открытыхъ грабежей, безпрестанно случались убійства.

Душили богатыхъ, одинокихъ людей, исключительно старообрядцевъ.

— Почему старовѣровъ? — спросилъ я у Балдохи, героя всѣхъ этихъ похожденій.

— Столовѣровъ-то? Потому „подводчикъ“ портерщикъ-столовѣръ былъ. Онъ своихъ всѣхъ и зналъ.

Въ шайкѣ этихъ „баши-бузуковъ“ Балдоха былъ спеціалистомъ душителемъ.

По большей части онъ нанимался сдѣльно: задушитъ — платье справитъ и десять рублей.

— Почему жъ это такъ? Ремесло это твое, что ли?

— Извѣстно, рукомесло.

— Что жъ ты учился ему, что ли?

— Извѣстно, учился. Безъ науки ничего нельзя.

— Гдѣ жъ ты учился?

— А по портернымъ. Сидитъ какой выпившій около стѣнки. Сейчасъ его за машинку и объ стѣну головой.

— Насмерть?

— Зачѣмъ насмерть! Я не во всю. А такъ только, чтобъ пассажира взять, чтобъ и не пикнулъ. Не успѣлъ, то-есть.

— А другіе-то, что же, безъ тебя этого сдѣлать не умѣли, что ли?

— Умѣли. Да съ другими страшно. А со мной ничего. Говорю: пикнуть не успѣетъ. Вы, можетъ, слышали, въ Орлѣ такое дѣло было, брилліантщика обобрали и мастера задушили. Мое было дѣло. Меня въ Орелъ нарочно возили. На всякій случай былъ взятъ. Думали днемъ сдѣлать дѣло съ „преступленіемъ“, а вышло вечеромъ. Забрались это въ магазинъ они, а я за дверью стою, за задней, караулю. Только идетъ вдругъ мастеръ. Онъ при магазинѣ жилъ. И вѣдь какъ! Перегородка, а за перегородкой другая квартира, а тамъ бѣлошвейки сидятъ, пѣсни играютъ. Все отъ слова до слова слышно. Дохнетъ, — услышатъ. Тутъ нужна рука! Отперъ это онъ дверь, отворилъ только, я его за машинку взялъ и наземь положилъ. Хоть бы дохнулъ! Я его на полъ сложилъ, а за перегородкой пѣсни играютъ. Такъ ничего и неслыхали!

Говоря о своемъ „умѣньи“, Балдоха удивительно воодушевляется, и однажды, показывая мнѣ, какъ это надо продѣлывать, какъ-то моментально подставилъ мнѣ сзади ногу, одной рукой обхватилъ за талію, а другую поднесъ къ горлу.

Я не успѣлъ, дѣйствительно, мигнуть, какъ очутился, совершенно безпомощный, у него на рукахъ.

Балдоха поблѣднѣлъ, какъ полотно, весь затрясся, поставилъ меня на ноги и отскочилъ:

— Ваше высокоблагородіе!... Простите!.. Ей Богу, я васъ не хотѣлъ... Такъ, въ разговорѣ...

Онъ хотѣлъ броситься въ ноги. Мнѣ долго пришлось его успокоивать.

Онъ положительно „любитъ свое дѣло“. Да, впрочемъ, это вѣдь единственное дѣло, которое онъ и знаетъ. Единственный его рессурсъ. Когда его ужъ очень изведетъ каторга, — у него есть только одно средство обороняться:

— Возьму за машинку, однова не дохнешь!

Кромѣ этого „своего дѣла“, Балдоха знаетъ еще грамоту. Онъ выучился въ исправительномъ пріютѣ.

— Она-то меня и сгубила!

„Баши-бузуки“ были открыты, благодаря Балдохѣ.

Съ товарищемъ онъ явился къ одному старому одинокому старообрядцу лѣснику будто бы покупать дрова.

Среди разговора Балдоха задушилъ старика, обыскали трупъ, переломали все въ квартирѣ, — ничего не нашли.

На слѣдующій день, читая въ портерной газету, онъ прочелъ и про это убійство:

— „Деньги, — что-то около 30 тысячъ были спрятаны за голенищами у покойнаго и остались нетронуты“.

Балдоха расхохотался.

— Чего хохочешь? — спросилъ портерщикъ.

— Да какъ же! Столовѣра какіе-то вчерась въ Сокольникахъ убили, вездѣ денегъ шарили, а деньги-то за голенищемъ у его были!

„Убійство въ Сокольникахъ“ надѣлало страшнаго шума въ Москвѣ. Полиція была поставлена на ноги. Отъ портерщика узнали про подозрительный смѣхъ Балдохи, забрали его, уличили.

— Но неужели ты такъ спокойно ходилъ на такія дѣла?

— А то еще какъ же? Такъ-то, извѣстно, оно нескладно. Такъ я всегда передъ „дѣломъ“ стаканъ водки пилъ. Для полировки крови.

Какъ сноситъ онъ каторгу?

Какъ-то я спросилъ его что-то про тюрьму.

— Тюрьма? Ничаво тюрьма! Чисто ночлежный на Хитровкѣ.

Отцеубійца.

Маленькая, чрезвычайно опрятная каморка. У окна, въ очкахъ, старикъ портняжитъ и мурлыкаетъ про себя что-то „духовное“.

При нашемъ входѣ мы съ докторомъ Л. обходили въ посту Дуэ и дома „вольныхъ“, не живущихъ въ тюрьмѣ, каторжанъ,— при нашемъ входѣ онъ всталъ, поклонился чрезвычайно учтиво, не по-каторжному, и сказалъ:

— Милости прошу, Николай Степановичъ! Милости прошу, сударь!

Доктора Л., котораго вся каторга прямо-таки обожала за его доброе, человѣчное отношеніе, онъ зналъ.

Мы сѣли и предложили и ему сѣсть.

— Нѣтъ, покорнѣйше благодарствую. Не извольте безпокоиться.

— Да садись, старикъ.

— Нѣтъ ужъ, не извольте безпокоиться. Благодарствую.

Старикъ онъ былъ необыкновенно благообразный, славный и симпатичный. Говорилъ тихо, необычайно какъ-то кротко, улыбался улыбкой немножко грустной, немножко виноватой.

— Поселенецъ, что ли?

— Никакъ нѣтъ-съ. Въ поселенцы я выйти не могу. Я безсрочный. Меня по настоящему и изъ испытуемой не должны выпускать.

Такое наказаніе полагается только за одно преступленіе.

— Да за что же ты?

— За родителя. Отцеубійство совершилъ.

— А давно на каторгѣ?
— Пятнадцатый годъ.
— Да сколько жъ тебѣ лѣтъ?
— Шестьдесятъ одинъ.
— Такъ что, когда ты это сдѣлалъ, тебѣ было...
— Да ужъ подъ пятьдесятъ было.
— А отцу сколько было?
— Родителю за семьдесятъ.

Почти пятидесятилѣтній старикъ, убивающій семидесятилѣтняго отца. Что за необыкновенная, стариковская трагедія?

— Какъ же такъ? за что же?

Старикъ потупился, помолчалъ, вздохнулъ и тихо сказалъ:

— И говорить-то срамъ: Да передъ вами, Николай Степановичъ, молчать не стану. Издалека это пошло, — еще съ молодыхъ годовъ. Вонъ откуда. Озорникъ былъ родитель мой. Грѣхъ мой великій, — а не каюсь. Какъ хотите, такъ меня и судите!

И онъ говорилъ это такъ степенно, кротко: что убилъ отца и не кается.

— Издавна, судари мои, началось, еще какъ меня поженили. Крестьянствовали мы, жили безъ бѣдности, работниковъ даже имѣли. Женился я по сердцу. И Марья за меня по сердцу шла. Марьей покойницу звали, царство ей небесное, вѣчный покой. Домъ, говорю, богатый, зажили — лучше не надо. Марью въ домѣ всѣ взлюбили. Оно бы мнѣ тогда вниманье обратить надоть. Родитель больно къ Марьѣ добръ былъ. Въ городъ поѣдетъ, — всѣмъ гостинецъ, а Марьѣ особливо. Не хорошо это у насъ по крестьянству, когда свекоръ къ молодой снохѣ доберъ больно. Не полагается. Да нешто я что зналъ! Смотрѣлъ себѣ да радовался, что Марья такъ къ дому пришлась, что любятъ. Только и мнѣ въ глаза кидаться начало. Ужъ больно родитель доберъ. Ужъ такъ доберъ, такъ доберъ! А старикъ онъ былъ строгій, ндравственный. Всѣхъ во какъ держалъ, пикнуть при немъ не смѣли... Лежу я разъ въ ригѣ, усталъ, отдохнуть днемъ легъ, — только и слышу Марьинъ голосъ: „Нешто, батюшка, это возможно?“ Мнѣ черезъ скважину-то, щель въ стѣнѣ была, видать. Выбѣгаетъ на луговину Марья, а за ней родитель. Марья отъ него, а онъ за ней. Смѣется. „Анъ, — говоритъ, — поймаю! Анъ, — говоритъ, — поймаю!“ Только Марья отъ него убѣжала, а онъ, песъ, стоитъ такъ, смотритъ ей во слѣдъ, посмѣивается. „Такъ вотъ оно что!“ думаю. Тутъ мнѣ въ голову вступило, себя не помню. Пришелъ домой, Марью въ клѣть вызвалъ, да за вожжи. „Ты, что жъ это, — говорю, — шкура? Съ родителемъ играешь?“ А она въ ноги да въ слезы. „Онъ, — говоритъ, — Лешенька, ни-

Постъ Дуэ. Видъ со стороны моря.

чего. Онъ такъ". Сказать, то-есть, совѣстилась, съ чѣмъ къ ней пристаетъ. Возилъ я ее вожжами, возилъ. Къ родителю пошелъ. „Такъ, молъ, и такъ, батюшка. Выдѣли насъ. Сами собой жить будемъ. Потому какъ я нынче, въ ригѣ лежамши, надумалъ..." Нарочно ему про ригу-то говорю. Насупился старикъ: „Мало чего, — говоритъ, — ты тамъ, по ригамъ валямшись, щенокъ, надумаешь. Домъ — полная чаша. Стану я изъза тебя этаку благодать рушить! Ишь, чего выдумалъ! Вонъ пошелъ съ глазъ моихъ, подлецъ!" И пошло тутъ, и пошло. Придетъ Марья изъ поля, — синякъ на синякѣ. „Это кто тебя?" — спрашиваю. „Батюшка" — разливается и плачетъ. Я къ родителю: „нельзя такъ, батюшка!" Онъ меня за волосья. Потому, говорю, хоть и большіе были, а все какъ дѣти махонькія, передъ ними ходили. Онъ меня за волосья. „Ты, — говоритъ, — еще меня учить надумалъ! Всѣ, — говоритъ, — вы лежебоки! И Марья твоя такая же. Добромъ да лаской съ вами ничего не подѣлаешь, — такъ я жъ вамъ себя покажу. Будете у меня работать!" А напрямки-то сказать ему, что, молъ, отецъ дѣлаешь, — языкъ не поворачивается, — срамота, чужіе люди здѣсь, работники. И пошла тутъ жизнь. Что каторга! Ничего, судари мои, каторга не значитъ. Били же мы Марью, покойницу. Страдалица была, мученица! И родитель бьетъ: зачѣмъ отъ него бѣгаетъ. И я съ горя бью, — все мнѣ кажется, что она, то-есть, виновата, сама къ нему ластится. И этакъ-то двадцать годовъ! Безсрочная!

Старикъ отвернулся, утеръ слезы. Голосъ его дрожалъ и звенѣлъ.

— За Марью Господь Богъ меня и наказалъ. За Марью я и несу свой крестъ и заслужилъ. И мучаюсь, какъ она, мученица, мучилась. До самой смерти, покойница, мнѣ не признавалась. Стыдно было. „Это, — говоритъ, — Лешенька, ты такъ только думаешь. Ты, Лешенька, — говоритъ, — не думай, не мучь себя. Батюшка, онъ строгій, онъ только за работу взыскиваетъ. „Ты не думай". А какое тамъ „не думай". У самой слезы въ три ручья. Бью, себя не помню, — а она хоть бы крикнула, нешто невинные такъ терпятъ? Слезами давится, и свое только твердитъ: „Лешенька, не мучай себя, не думай!" Зимой въ избѣ ночь лежишь, — не спитъ родитель, слышу, какъ не спитъ, ворочается, сопитъ. Сна на него нѣту. И я не сплю. И Марья не спитъ, дрожитъ вся. Извините, — встанетъ куда, пойдетъ, слышу, и родитель съ палатей тихонько лѣзетъ. Чисто за горло меня схватитъ. „Куда, — говорю, — батюшка?" — „А тебѣ, — говоритъ, — что? Ишь, полунощники, не спятъ, шляются! Еще избу зажгутъ. Пойтить поглядѣть!" — „И я, молъ, батюшка, съ вами!" — „Лежи ужъ!" — говоритъ. Одначе, иду. Колоколъ

у насъ въ село везли. Такъ онъ дома остался, подсоблять не пошелъ: „Идите,— говоритъ,— вы подсобляйте, а у меня поясница что-то болитъ". Пошли, всѣ глядятъ, посмѣиваются. Потому дѣло ясное...

— Почему же дѣло ясное?

— Примѣта есть по крестьянству у насъ. Какъ снохачъ помогать возьмется,—колоколъ съ мѣста не сдвинешь. Пришелъ я съ помочи домой. „Что жъ, батюшка, — спрашиваю, — колоколъ везти не пошли? Насъ только срамите!" Тутъ я только одинъ разъ ему про это и сказалъ. Темнѣй ночи сталъ старикъ: „Ты, — говоритъ, — мнѣ глупостей говорить не смѣй. А то возьму орясину, да орясиной! Сказано, поясницу ломитъ". А какая тамъ поясница! Просто боялся, чтобъ народъ отъ веревки не отогналъ: „Ѳедулычъ, молъ, отойди, не твое совсѣмъ дѣло". Потому, какъ мы навозъ свой отъ людей ни хоронили, да нешто отъ людей что ухоронишь? — всѣ про наши дѣла знали. Срамота. А у меня ужъ сынокъ Николушка подрастаетъ. Все понимаетъ. И вѣдь что за старикъ былъ! Вѣдь ужъ, почитай, старуха Марья-то стала, — такъ мы ее уходили. Краше въ гробъ кладутъ, — ходитъ. А онъ все къ ней. Такъ, покеда совсѣмъ въ гробъ не забили, грѣхъ-то и шелъ.

Старикъ едва сдерживался отъ слезъ. Долго молчалъ, пока собрался съ силами продолжать.

— Могутный былъ старикъ. Смѣялся когда: „Мнѣ бы, говоритъ, опять жениться, и то въ пору". Померла Марья, повдовствовалъ я, и пришла пора Николушку женить. Невѣсту ему взяли изъ хорошаго дома. Скромная была дѣвушка, хорошая. И что жъ бы вы думаете, онъ задумалъ? Не песъ?

Старикъ даже плюнулъ съ омерзѣніемъ. Руки у него дрожали, голова ходуномъ ходила:

— Не песъ? Смотрю въ городъ поѣхалъ, гостинцевъ всѣмъ навезъ, а Настѣ отдѣльно: „Это, — говоритъ, — тебѣ, умница. Почитай дѣдушку!" Смотрю — плачетъ Настя. „Съ чего?" — спрашиваю. „Такъ!" — говоритъ. А сама разливается. Смотрю, куда Настя, туда и онъ плетется. Вижу я, онъ и насчетъ Насти свое удумалъ. Страхъ и ужасъ, судари мои, меня взялъ. Голова кругомъ пошла. „Что жъ это, — думаю, — я всю жизнь промучился, теперь Николушкѣ моему также мучиться? Когда жъ этому конецъ будетъ?" Вижу, дальше да больше, подбира[illegible]я къ Настюшкѣ. Тутъ я Николушкѣ и открылся: все ему и р[illegible] сказалъ, что съ его матерью было. Трясся Николушка, плакалъ. „Слухомъ-то, — говоритъ, — я про нашъ домъ это слыхалъ. А только не вѣрилъ".—„Теперь,—говорю,—нечего ужъ объ этомъ тужить. Надо за Настюшкой слѣдить!" Думали, думали: что дѣлать? Хотѣли дѣлиться. Куда тебѣ! „Ишь, — гово-

ритъ,— что надумали! Я тебя, дармоѣда,— это на Николушку-то, кормилъ, поилъ, а ты этаку ко мнѣ благодарность? этаку работницу изъ дома уводитъ? Это я, — говоритъ, — знаю, чьи все штуки! Это онъ тебя, старый хрѣнъ, — это на меня-то, — учитъ. Все хочется по своей волюшкѣ, своимъ умомъ пожить. Смотри, — говоритъ, — старикъ, не пришлось бы въ кусочки подъ старость лѣтъ за твои штуки пойти, ежели не угомонишься! А на раздѣлъ нѣтъ моего благословенія. Покеда не помру,—дома не нарушу!" Видимъ, одно остается, — слѣдить, чтобы чего не случилось, не попустить. И пошли мы за нимъ вездѣ слѣдомъ. Жнитво было. Настюшка жала такъ отдѣльно, полосочку въ яру. Небольшой этакій яръ былъ, ложбиночка. Тамъ она и жала. Прихожу это я домой, — „гдѣ батюшка?"— спрашиваю. „Ушелъ!" — говорятъ. Такъ у меня и екнуло. Я къ Николушкѣ: „а ну-ка, молъ, Николушка, пройдемъ къ ярику. Неладно что-то, родитель изъ дому ушелъ". Побѣгли мы къ ярику. Прибѣгаемъ, — а онъ Настюшку-то боретъ. Волосья у ней растрепаны, рубаха, — въ одной рубахѣ у насъ жнутъ, жарко — рубаха разодрана. Отбивается Настюшка. А онъ ее цапаетъ. Вырвалась отъ него, бѣжать бросилась,—а онъ схватилъ, тутъ на межѣ валялась коряжина, да за ней съ коряжиной. „Добромъ, — говоритъ, — лучше!" Тутъ мы и выбѣгли. „Стой",—кричимъ. Увидалъ онъ насъ, затрясся, озлился. „Вы,— кричитъ, — черти, тутъ что?" Свѣту я не взвидѣлъ: Настюшка стоитъ въ драной рубахѣ,— срамота! Подхожу: „не дѣло,— говорю, — старикъ, надумалъ, не дѣло!" А онъ на меня: „А, — говоритъ, — опять ты, старый чортъ, меня учить? Всю жизнь училъ, и теперь учить будешь? Вонъ,— говоритъ, — изъ моего дома! Пусть Николка съ Настасьей остаются. А ты съ глазъ моихъ долой! Довольно мнѣ тебя кормить, дармоѣда!" — „Ну, ужъ нѣтъ, — говорю, — старикъ, будетъ! Это тебѣ не Марья!" А самъ все къ нему ближе да ближе. Еще пуще взбѣсился: „Что ты,— кричитъ,— мнѣ Марьей своей въ глаза все тычешь? Велика невидаль! Потаскуха была твоя Марья. Со всей деревней путалась! Вонъ!" — кричитъ. Да коряжкой-то на меня и замахнулся. Не помню ужъ я, какъ случилось. Выхватилъ коряжину у него изъ рукъ да по головѣ его. Онъ и присѣлъ. А я на него, да за глотку. Помню только, что трясся весь. И ужъ такъ-то онъ мнѣ былъ противенъ, такъ гадокъ. „Пришелъ, — говорю,— старикъ, твой часъ!"—Алеша,— говоритъ,— не буду!" — „Раньше, — говорю, — старикъ, объ этомъ бы подумать". Да и стиснулъ ему глотку... Стиснулъ — и держу. Держу и самъ ничего не вижу, не понимаю. Ужъ тогда очнулся, Николушка меня за руку трясетъ: „тятенька, — говоритъ, — вы дѣдушку задушили". — „Туда ему

и дорога! — говорю, — грѣшникъ". Такъ-то, господа, дѣло все было...

— Ну, а присяжнымъ, старикъ, ты все это разсказалъ?

— Нѣтъ, зачѣмъ же-съ. Да я и не въ сознаніи судился.

— Почему же не сознался, не разсказалъ всего?

— Да какъ вамъ сказать? Первое, что, молъ, свидѣтелей не было. „Не я, да не я". А второе боялся Николушку съ Настей запутать. Люди молодые, имъ жить, а мое дѣло стариковское. А потомъ... что жъ этакій срамъ-то на люди выносить...

— Ну, а сынъ твой никакого участія въ этомъ не принималъ?

— Въ этомъ, что я сдѣлалъ? Нѣтъ-съ. Видѣть — видѣлъ, а убивалъ я одинъ. Мнѣ таить нечего. Теперь ужъ все одно. Сказалъ бы, если бъ это было. Все равно. Они ужъ померли. Вскорѣ, какъ меня засудили, Николушка померъ, а за нимъ и Настасья... Все свое отмаялись и померли, одинъ только я остался и маюсь!.. — улыбнулся старикъ своей грустной и виноватой улыбкой, — маюсь, да за Марьину душу молюсь. Можетъ, хоть тамъ ей хорошо будетъ. А здѣсь что!.. Безотвѣтная была мученица...

Шкандыба.

Вѣчному каторжнику Шкандыбѣ — 64 года. Это рослый, крѣпкій, здоровый старикъ.

Шкандыба — сахалинская знаменитость. Его всѣ знаютъ.

Шкандыба отбылъ 24 года „чистой каторги" и ни разу не притронулся ни къ какой работѣ.

— Вотъ те и приговоръ къ каторжнымъ *работамъ!* — похохатываетъ онъ.

Его драли мѣсяцами каждый день, чтобы заставить работать. Ни за что!

Сколько плетей, сколько розогъ получилъ этотъ человѣкъ!

Когда онъ, по моей просьбѣ, раздѣлся, — нельзя было безъ содроганья смотрѣть на этотъ сплошной шрамъ. Все тѣло его словно выжжено каленымъ желѣзомъ.

— Я весь человѣкъ поротый! — говоритъ самъ про себя Шкандыба, — булавки, братъ, въ непоротое мѣсто не запустишь: вездѣ порото. Вы извольте посмотрѣть, я суконочкой потру. Гдѣ потереть прикажете?

Потретъ суконкой тамъ, гдѣ укажутъ, — и на тѣлѣ выступаютъ крестъ-на-крестъ полосы — слѣды розогъ.

— Человѣкъ клѣтчатый! Кожа съ рисункомъ. Я кругомъ драный. Съ обѣихъ сторонъ. Чисто вотъ пятачокъ фальшивый,

что у насъ для орлянки дѣлаютъ. Съ обѣихъ сторонъ орелъ. Какъ ни брось, все орелъ будетъ! И съ одной стороны орелъ и съ другой орелъ. Такъ вотъ и я.

— Какъ же такъ съ обѣихъ сторонъ драный?

— А такъ-съ. Господинъ смотритель на меня ужъ очень осерчалъ: зачѣмъ работать не хочу. „Такъ я жъ тебя!“ — говоритъ. Далъ, далъ, не по чемъ драть стало. „Перевернуть,— говоритъ, — его, подлеца, на лицевую сторону“. Чудно! По животу сѣкли, по грудямъ сѣкли, по ногамъ. Такого даже и дранья-то никто не выдумывалъ. Уморушка! Шпанка, такъ та со смѣху дохла, когда я этакъ-то на кобылѣ лежалъ. Необыкновенно!

— А работать все-таки не пошелъ?

— Нашли дурака!

Шкандыба по профессіи мясникъ. Въ первый разъ былъ приговоренъ на 12 лѣтъ за ограбленіе церкви и убійство. Затѣмъ бѣжалъ, попался, и, въ концѣ концовъ, „достукался до вѣчной каторги“.

Сначала его отправили на Кару, на золотые пріиски. Это были страшныя времена. Въ „разрѣзѣ“, гдѣ работали каторжане, всегда наготовѣ стояла кобыла. При каждомъ разрѣзѣ былъ свой палачъ, дежурившій весь день.

Шкандыбу привели на работу. Онъ рѣшительно отказался.

— Что это? Землю копать? Не стану!

— Какъ не станешь?

— А такъ. Земля меня не трогала, и я ее трогать не буду.

Шкандыбѣ въ первый день дали 25 плетей.

Во второй — 50.

Въ третій — 100 и чуть живого отнесли въ лазаретъ.

Выздоровѣлъ, привели, — опять то же:

— Земля меня не трогала, и я ее трогать не буду.

Опять принялись драть, — опять отправились въ лазаретъ.

Наконецъ, устали, — прямо-таки, устали, — биться со Шкандыбой и отправили его на Сахалинъ.

На Сахалинѣ Шкандыба прямо заявилъ:

— Работать не буду. И не заставляйте лучше.

— Ну, такъ драть будемъ!

— Съ полнымъ моимъ удовольствіемъ. Ваше полное право. А работать вы меня заставить не можете.

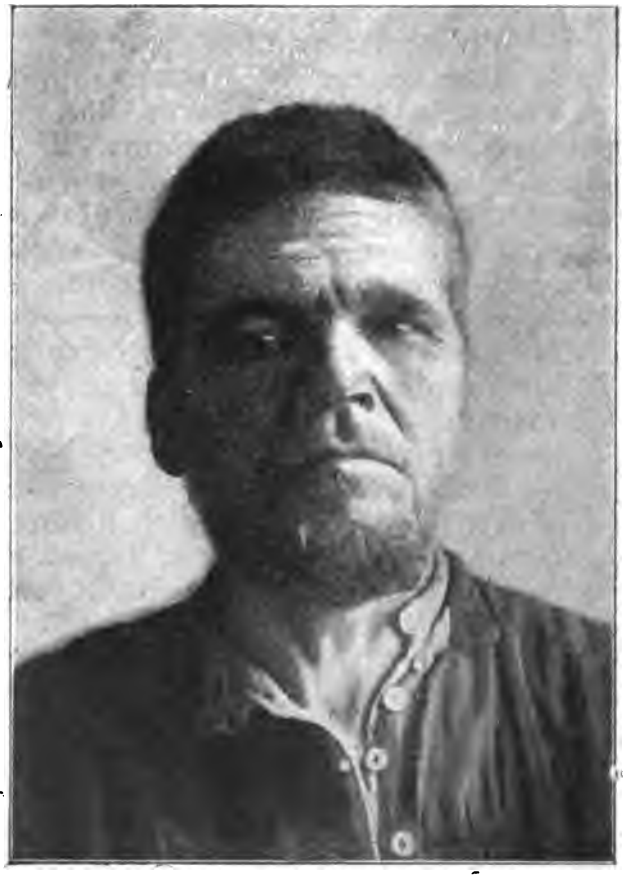
Шкандыбу переводили изъ тюрьмы въ тюрьму, отъ смотрителя къ смотрителю, всякій раньше хвалился:

— Ну, у меня не то запоетъ!

И всякій потомъ опускалъ руки.

Одинъ изъ самыхъ „ретивыхъ“ смотрителей К. разсказывалъ мнѣ.

— Да вы понятія имѣть не можете, что это за человѣкъ. Взялся я за него. Каждый день 30 розогъ. — Да вѣдь какихъ! Порція. Прихожу утромъ на раскомандировку. Кобыла стоитъ, палачъ, розги. Вмѣсто „здравствуйте!“ — первый вопросъ: „Шкандыба, на работу идешь?“ — „Никакъ нѣтъ! — „Драть!“ Идетъ и ложится. До чего вѣдь, подлецъ, дошелъ. Только прихожу, еще спросить не успѣю, а онъ ужъ къ кобылѣ идетъ и ложится. Плюнулъ!



Арестантскіе типы. Убійца.

Другой смотритель, тоже „ретивый“, которому давали Шкандыбу на укрощенье, говорилъ мнѣ:

— Одно время думали, — можетъ, онъ какой особенный, къ боли нечувствительный. Доктору давали изслѣдовать. „Нѣтъ, — говоритъ, — ничего, чувствительный“. Драть, значитъ можно.

„Спектакли“, которые ежедневно по утрамъ Шкандыба давалъ каторгѣ, составляли развлеченіе для тюрьмы. Глядя на него, и другіе „храбрились“, „молодечествовали“ и смѣлѣй ложились на кобылу.

Кромѣ того, каторга „дерзила“:

— Что вы, на самомъ дѣлѣ, ко мнѣ пристаете съ работой? Вы, вонъ, подите Шкандыбу заставьте работать! Небось, не заставите!

Шкандыба давалъ „заразительный примѣръ“.

Его просили ужъ работать хоть „для прилика“:

— Шкандыба, чортъ, хоть метлу возьми, дворъ подмети! Вотъ и вся тебѣ работа!

— Не желаю. Чего я буду мести? Не я насорилъ, — не я и мести буду. Я что насорю, — самъ за собой приберу.

— Ну, не мети, чортъ съ тобой! Хотя метлу-то въ руки возьми!

— Зачѣмъ мнѣ не въ руки брать? Она не маленькая. И одна въ углу постоитъ. Ей не скучно: тамъ другія метлы есть.

— Разъ, впрочемъ, топоръ въ руки взялъ! — смѣется Шкандыба.

— Работать хотѣлъ?

— Нѣтъ, надзирателю голову отрубить надо было. Надзиратель такой былъ Чижиковъ. Выслужиться хотѣлъ. „Я,— говоритъ,— его заставлю работать. Не безпокойтесь. Что его драть, — процедура длинная! Я его и такъ, и кулакомъ по мордѣ". Разъ меня въ рыло, два меня въ рыло. Походя бьетъ. „Духъ, — говоритъ, — я изъ тебя вышибу!" — „Смотри, — говорю, — чтобъ тебѣ кто въ рыло не заѣхалъ! — „Я, — говоритъ,— не опасаюсь!" — „Ну, а я, — говорю, — опасаюсь!" Пошелъ, взялъ топоръ, хлясть его по шеѣ. Напрочь хотѣлъ башку отрубить, — вчистую. Тогда ужъ никто въ рыло его не смажетъ.

— И что же, на смерть?

— Жалко, живъ остался. Наискось махнулъ. А еще мясникомъ былъ, туши рубилъ. Разъ, и готово. А тутъ не сумѣлъ этакого пустого дѣла сдѣлать. Топоръ сорвался, — стало-быть!

За это Шкандыбу приковали къ стѣнѣ и приговорили къ вѣчной каторгѣ.

— Сижу у стѣны прикованный: „что, молъ, взяли, работаю?"

Замѣчательно. Все дѣлали со Шкандыбой. Только одного не пришло никому въ голову: освидѣтельствовать состояніе его умственныхъ способностей.

А странностей у Шкандыбы, и помимо упорнаго нежеланія работать, много.

То онъ начинаетъ вдругъ пѣть во все горло. То разговариваетъ, разговариваетъ, — вскочитъ и убѣжитъ, какъ полоумный.

— Юродствуетъ!

— Сумасшедшимъ прикидывается, чтобъ не драли!

— Нагличаетъ: „Вотъ, молъ, всѣ работаютъ, а я пѣсни орать буду.

Такъ рѣшало тюремное сахалинское начальство, а когда на Сахалинѣ появились, дѣйствительно, гуманные врачи, готовые взять подъ свою защиту больного, — борьба со Шкандыбой была уже кончена: на него „плюнули" и зачислили бога-

дѣльщикомъ, чтобъ хоть какъ-нибудь оформить его „неработаніе“.

А, впрочемъ, Богъ его знаетъ, можно ли признать Шкандыбу сумасшедшимъ. Ненормальнаго, страннаго въ немъ много, — но сумасшедшій ли онъ?

Въ одну изъ бесѣдъ я спросилъ Шкандыбу:

— Скажи на милость, чего жъ ты отказывался отъ работы?

— А потому, что несправедливо. Справедливости нѣтъ, — вотъ и отказывался.

— Ну, какъ же несправедливо. Вѣдь ты самъ говоришь: церковь ограбилъ, человѣка убилъ?

— Вѣрно!

— Присудили тебя къ каторгѣ.

— Справедливо. Не грабь, не убивай.

— Ну, и работай!

— А работать не буду. Несправедливо.

— Да какъ же несправедливо?

— А такъ! Вонъ Л. двухъ человѣкъ зарѣзалъ, — а его заставляли работать? Нѣтъ, небось! Надъ нами же командиромъ былъ. Баринъ! Онъ инженеръ, или тамъ, сиперъ какой-то, что ли, дороги строить умѣетъ. Онъ не работаетъ, онъ командуетъ. А я работай! За что же, выходитъ, долженъ работать? За то, что человѣка убилъ? Нѣтъ! За то, что я дорогъ строить не умѣю. Такъ развѣ я въ этомъ виноватъ? Виноватъ, что меня не учили? Нѣтъ, братъ, каторга, такъ каторга, — для всѣхъ равна! А это нешто справедливость? Приведутъ арестантовъ: грамотный — въ канцеляріи сиди, писаремъ, своего же брата грабь. А неграмотный, — въ гору, уголь копай. За что жъ онъ страдаетъ? За то, что неграмотный! Нешто его въ этомъ вина? Справедливо?

— Потому ты и не работалъ?

— Такъ точно!

— Ну—а если бъ „справедливость“ была и всѣхъ бы одинаково заставляли работать, — ты бы работалъ?

— А почему жъ бы и нѣтъ? Знамо, работалъ бы. Какъ же не работать? Главное, справедливость. Я потому и Чижикову голову снести хотѣлъ. За несправедливость! Бей, гдѣ положено. Драть, по закону положено, — дери! Меня каждый день драли, — я слова не сказалъ: справедливо. Потому, — законъ. А по мордѣ бить въ законѣ не показано, — и не смѣй. Ты незаконничаешь, и я незаконничать буду. Ты меня въ рыло, — я тебя топоромъ по шеѣ. А что справедливо, — я развѣ прекословлю? Сдѣлай твое одолженіе. Что хошь, только, чтобъ справедливо!

Такъ и отбылъ Шкандыба свои 24 года „чистой каторги“, не подчиняясь тому, чего не считалъ справедливымъ.

Наемные убійцы.

Они неразлучны. Гдѣ маленькій, тщедушный, вертлявый Милованов, Карпъ, тутъ — глядишь, — плетется и угрюмый, молчаливый Чернышевъ, Анисимъ.

Они другъ на дружку страшно злы.

Анисимъ золъ на Карпа, какъ на доносчика:

— Черезъ его языкъ и въ каторгу попали.

Карпъ упрекалъ Анисима въ подлости:

— Языкомъ-то, братъ, вертѣть, дядя Анисимъ, нечего. Ты языкомъ-то, чисто хвостомъ, вертишь, — и туды и сюды. „Знать, молъ, ничего не знаю!“ Ишь, тоже, святой какой выискался. Нѣтъ, ты, братъ, по чистой совѣсти говори! Подлить-то нечего!

А держатся они всегда вмѣстѣ, рядомъ спятъ и изъ одного котелка хлебаютъ:

— Вмѣстѣ суждены. Другъ отъ дружки отставать нечего.

Я познакомился съ ними на островѣ; они пришли съ вновь прибывшей партіей каторжанъ.

Ихъ ввели въ комнату, гдѣ происходилъ осмотръ, и надзиратель приказалъ:

— Раздѣвайся!

Испугались оба страшно.

— Чередъ, братъ, пришелъ, дядя Анисимъ! Раздѣвайся!.. Совсѣмъ, что ль, раздѣваться-то надоть?

— Раздѣвайся, разувайся начисто.

Они въ уголышкѣ торопливо раздѣлись.

— Иди къ столу!

Длинный, какъ жердь, худой, какъ скелетъ, Чернышовъ, Анисимъ, зашагалъ къ столу съ самымъ несчастнымъ видомъ. Лицо сморщилось,— вотъ-вотъ навзрыдъ заплачетъ. Милованов, Карпъ, стоялъ передъ столомъ въ концѣ растерянный. Нижняя челюсть у него отвисла, въ глазахъ былъ страхъ и ужасъ. Ноги дрожали и ходуномъ ходили. Дрожащими руками онъ почесывался.

— Куды ложиться-то? — спросилъ Милованов.

— Зачѣмъ ложиться?

— А драть?

— За что жъ тебя драть?

— А такъ, молъ... Драть... По положенію...

Всѣ расхохотались. Милованов смотрѣлъ съ недоумѣніемъ.

— Нѣтъ, братъ, тебя драть не будутъ. Пока еще не за что. Вотъ сдѣлаешь что, тогда выпорютъ!

— Покорнѣйше васъ благодарю!

Всѣ опять расхохотались. Ожившій Миловановъ и самъ засмѣялся.

— Слышь, дядя Анисимъ, драть-то не будутъ? Слышишь?

— Слышу! — отвѣчалъ Анисимъ такимъ равнодушнымъ тономъ, словно его нисколько это не интересовало.

Радость сдѣлала Милованова болтливымъ. Онъ пришелъ въ пріятное нервное возбужденіе, смѣялся и готовъ былъ болтать теперь безъ-умолку.

— За что суждены-то?

— По подозрѣнію въ убивствѣ!— отчеканилъ Миловановъ — обычный каторжный отвѣтъ,—хозяина, сталобыть, убили!

— Съ грабежомъ?

— Нѣ! Зачѣмъ съ грабежомъ! Богъ миловалъ! Ничего не грабили. Такъ убили.

— За что же убили?

— За что убиваютъ? Извѣстно, за деньги! Такое ужъ положеніе, чтобъ за деньги!

— Хозяйка насъ запутала!— мрачно пояснилъ Анисимъ.

— Такъ точно. Денегъ дала! — подтвердилъ и Карпъ.

— Наняли васъ, значитъ?

Арестантскіе типы.

Карпъ посмотрѣлъ удивленно.

— Чего жъ насъ нанимать было? Мы и такъ въ работникахъ жили!

— А какъ же, говоришь, деньги?

— Благодарить — благодарила. Это ужъ какъ водится. А нанимать... нешто на такія дѣла нанимаютъ?

Миловановъ даже расхохотался.

— Ты и убивалъ?

— Я самый!

— Ну, а ты, Чернышовъ?

— Не въ сознаніи онъ! — вставилъ Миловановъ.

— Знать я ничего про эти дѣла не знаю. И слухомъ не слыхалъ! Такъ, Карпушка все плететъ!

Миловановъ завертѣлся.

— Ишь ты, сдѣлай милость! Какъ что, — такъ ты. А въ отвѣтъ, сейчасъ Карпушку!

Миловановъ подмигнулъ намъ на Чернышова:

— Хитрый мужикъ? Куда хитеръ! Двѣ души при себѣ имѣетъ. Одну про себя бережетъ. А другу-то про людей, на, поди: чистехонька! „Не я да не я“! Нѣтъ, братъ, тутъ языкомъ-то мести нечего. Ужъ разъ какъ въ каторгу попали, — тутъ дѣло ясное! Стало-быть, убили!

— Да какъ же дѣло-то вышло?

— Да какъ вышло! Очинно даже просто. Говорю — черезъ бабу!

— Въ работникахъ жили! — вставилъ свое слово Анисимъ, словно все объяснилъ.

— За жалованье?

Миловановъ такъ и фыркнулъ:

— Какое жалованье? Кто намъ съ дядей Анисимомъ жалованье положитъ?

И, дѣйствительно, парочка была убогая, на рѣдкость. Оба тщедушные, жалкіе, слабосильные до послѣдней степени, такіе, про которыхъ говорится: „плевкомъ перешибешь“. Головы у обоихъ на рѣдкость маленькія, — словно пучки какіе-то торчатъ. Лица глупыя, возбуждающія жалость. И какъ ихъ Богъ, такихъ, „не въ пору вмѣстѣ свелъ“.

— Такъ, за ради Христа, жили. Я-то шесть годовъ у хозяина выжилъ, а дядя Анисимъ черезъ два года пришелъ. Вѣрно, говорю, дядя Анисимъ?

— Четыре года объ вешнемъ Николѣ было. Это вѣрно! — подтвердилъ Чернышовъ.

— Мельникъ хозяинъ-то былъ. Мельница своя была. Пришелъ я это къ мельницѣ да и сѣлъ. И сижу.

— Да ты куда жъ шелъ?

— А такъ, никуды не шелъ. Куды мнѣ итти? Шелъ, и шелъ, и сѣлъ.

— Да ты чѣмъ же занимался?

— Да ничѣмъ не займался. Такъ. Иду, иду, — гдѣ въ работники возьмутъ, за хлѣбъ за соль, — живу. Прогонятъ, — дальше пойду. Человѣкъ слабосильный! Сижу это. Мельникъ и увидалъ. „Чего, — говоритъ, — сидишь?“ — „Такъ, молъ, не будетъ ли милость, не возьмете ли въ работники за Христа-ради? Настоящимъ-то, то-есть, работникомъ куды мнѣ! А такъ, по дому, что поковырять могу“. — „Живи!“ — говоритъ. Смило-

стивился. Я и зачалъ жить. А потомъ и дядю Анисима встрѣлъ и привелъ.

— Знакомы вы, что ли, были?

— Нѣтъ, зачѣмъ знакомы! Такъ. Шелъ по дорогѣ, смотрю,— идетъ слабосильный человѣкъ, дохлый. „Куды, молъ, дядя?“— „Никуды, молъ“. Безъ пристанища. — „Идемъ къ нашему хозяину. Мужикъ добрый. Можетъ, жить оставитъ!“ Чисто дворняжка, — расхохотался самъ надъ собой Миловановъ, — возьми одну дворняжку, — она тѣ сейчасъ и другую приведетъ! Хозяинъ и дядю Анисима взялъ: „пущай живетъ, по мельницѣ тамъ что ковыряется. Такъ мы оба и живемъ и ковыряемся! Когда одежину подарятъ, когда что.

Арестантскіе типы.

— Дурно обращался, можетъ, съ вами хозяинъ! Злы на него были?

— Зачѣмъ? — даже испугался Миловановъ,— для насъ онъ былъ, какъ ангелъ, дуракомъ никогда не назоветъ! Добрѣющій былъ хозяинъ!

— Мужикъ былъ хорошій!—мрачно подтвердилъ и Чернышовъ.

— Не надо лучше— былъ человѣкъ. Это вѣрно!

— А убили! Какъ же такъ?

— Опять-таки, говорю, черезъ хозяйку. Хозяйка така попалась. Жена хозяинова. И такая-то баба! Такая-то баба! Все въ шерстяныхъ платьяхъ ходила. Платокъ не платокъ, рафинадъ-баба, — просто мое почтенье. Вѣрно, дядя Анисимъ?

— Баба какъ баба, — философски замѣтилъ Чернышовъ.

— Другой такой бабы, свѣтъ обойди, не найтить! Така баба! Вотъ она въ каторгу придетъ, — сами увидите. Сейчасъ это все узломъ завяжетъ и развяжетъ. Чисто лиса. По снѣгу бѣжитъ и хвостомъ за собой слѣдъ заметаетъ. Сейчасъ на глазахъ тебѣ накрутитъ, навертитъ,—и сейчасъ чисто! Прямо сказать надо, баба — староста. Король-баба. Съ бариномъ,

съ помѣщикомъ путалась. И того закрутила. По скусу она ему пришлась, — все ее въ куфарки звалъ. Ну, ей и лестно. Какъ, бывало, мужъ отойдетъ, — сейчасъ къ барину. Становой еще къ нему пріѣдетъ, — потому баринъ. Сладкія водки пьютъ, орѣхами щелкаютъ. Страсть! Сколько разъ насъ съ дядей Анисимомъ къ барину посылала: „дома, молъ, ай нѣтъ? Мужъ въ городъ ѣдетъ". Вѣрно показываю, дядя Анисимъ?

— Сколько разовъ до барина ходилъ. Это вѣрно! — поддерживалъ дядя Анисимъ.

— То-то и оно-то!

— А мужъ не зналъ?

— Гдѣ ему! Говорю, король-баба была. Зналъ бы онъ, такъ не оставилъ. Онъ бы ей показалъ барство! — засмѣялся Милованов, — мужикъ былъ твердый. Вѣрно говорю, дядя Анисимъ? Что жъ ты молчишь?

— Онъ бы ее поучилъ!

— Онъ бы ее такъ поучилъ! Этого-то она и боялась. Ей и боязно. Опять же въ куфарки къ барину пойтить лестно. Она и егозитъ, она и егозитъ. Что ужъ дѣлать-то, не знаетъ. И надумала!

— Постой, постой! А вы-то, какъ же? Хозяинъ, говорите, благодѣтель былъ, а вы отъ жены къ барину бѣгали? Никогда хозяину ничего не говорили?

Милованов посмотрѣлъ съ удивленіемъ:

— Нешто между мужемъ и женой встрѣвать можно? Ихнее дѣло — хозяйское, наше дѣло — работницкое. Сказали — иди. Чай, тоже къ дому-то привыкли. Собака, и та къ человѣку привыкаетъ!.. Вотъ она, хозяйка-то, и надумала. Позвала насъ съ дядей Анисимомъ въ горницу, за столъ посадила. Таково вѣжливо, по хорошему: „Вы бы, — говоритъ, — дяденька Карпъ, еще откушали! Вы бы, дескать, дяденька Анисимъ, еще скушали". Ахъ, хитрая баба! Ахъ, хитрая! Пирогомъ угостила, водки по стаканчику поднесла, и полштофъ не убрала, на столъ поставила, — честь честью. „У меня, — говоритъ, — къ вамъ, дяденька Анисимъ и дяденька Карпъ, дѣло есть. Безпремѣнно хозяина моего надо убить!" У меня глаза на лобъ и вылѣзли. — „Какъ, — молъ, — убить? Почто?" — „А по то, — говоритъ, — что узнаетъ онъ про барина, и мнѣ живой не быть, и васъ со двора по шеѣ. Сдохнете съ голода!" — „Это, молъ, вѣрно!" — „Вы ужъ, — говоритъ, — въ моемъ дѣлѣ помогите, а я васъ не оставлю". И по поясочку намъ подноситъ. „А по рубахѣ, — говоритъ, — за мной. Какъ вы мнѣ все похорошему сдѣлаете, и баринъ васъ не забудетъ". Такъ и льститъ, хвостомъ и мететъ. „А не согласны, молъ, такъ я такого мужу про васъ наговорю, палкой со двора сгонитъ". Баба

льстивая, извѣстно, — можетъ. „А окромя того, — говоритъ, — какъ я къ барину вхожа и съ господиномъ становымъ завсегда въ кумпаніи, то можно васъ и насчетъ пачпортовъ пощупать. Каки-таки у васъ пачпорта просрочны, и на какомъ основаніи имѣете вы полное право жить?“ Ишь куда подпустила, ишь! Тоже вшей-то кормить въ острогѣ никому не охота. Баба, знаемъ, могутная, со становымъ завсегда одна кумпанья, — засудитъ! Что захочетъ, то съ тобой и сдѣлаетъ. Пошли это мы съ дядей Анисимомъ, мекекаемъ. — „Какъ, молъ, дядя Анисимъ. Ишь какое дѣло!“ — „Тебѣ, молъ, виднѣе, дядя Карпъ, какъ и что“.

— Ничего я про эти дѣла не знаю! — упрямо, словно дятелъ въ то же мѣсто стукнувъ, отозвался Чернышовъ.

— „Не знаю!“ А ружье-то кто приносилъ? Ты же приносилъ! — огрызнулся Миловановъ, — потужили мы съ дядей Анисимомъ, потужили, хозяина жаль. Ну, да вѣдь изъ такого-то дома уходить нехотца. Куда мы пойдемъ, такіе-то? Кто насъ возьметъ? Да и къ дому привыкли, уходить жаль. Собака, говорю, и та привыкаетъ. Потужили, потужили, къ хозяйкѣ приходимъ: „Ладно, молъ, сдѣлаемъ! Ты ужъ потомъ, — какъ знаешь!“ — „Это ужъ, — говоритъ, — не ваша забота. Вы только застрѣлите, а потомъ на кого другого подумаютъ. Я ужъ сдѣлаю!“ Извѣстно, баринъ у ей, — человѣкъ-деньга, опять же становой постоянно одна кумпанья. Что хотятъ, то и сдѣлаютъ. И рѣшились.

— Такъ вы бы хозяину-то лучше сказали, какое дѣло затѣвается. Вѣдь „ангелъ былъ человѣкъ“.

— Говорилъ! — махнулъ рукой Миловановъ, — ничего не вышло. И вниманія не взялъ. Мнѣ хозяина-то было жалко. Удосужился, говорю: „Ты, молъ, хозяинъ, поглядывай!“ — „А чего, — говоритъ, — мнѣ поглядывать?“ — „А такъ, молъ, не вышло бы чего!“ — „А чего?“ — говоритъ. — „А того, молъ, поглядывать надоть!“ — „Шелъ бы ты, — говоритъ, — дядя Карпъ, мѣшки изъ сарая носить, ничѣмъ неизвѣстно что болтать, право!“ Такъ и вниманья не взялъ. Я свое сдѣлалъ, что полагается, я сказалъ, — а ужъ тамъ его было дѣло какъ раздумать. А напрямки-то намъ тоже говорить не полагается. Мужнино—женино дѣло. Это ужъ самъ разбери. Наше дѣло сказать. Такъ черезъ себя и погибъ человѣкъ! Пошелъ это посля полденъ: „Я, — говоритъ, — въ сторожку заснуть пойду“. Въ лѣсу это сторожка была. „Дома, — говоритъ, — отъ мухъ безпокойно“. Я дядю Анисима и подтолкнулъ: „Да и намъ, молъ, зѣвать не приходится!“ Пошелъ это дядя Анисимъ въ горницу, принесъ ружьишко.

— Ничего я про это дѣло не знаю!

— Не приносилъ, скажешь, ружья? Ахъ, хитрая душа-человѣкъ! Ахъ, хитрая! Экъ, языкомъ-то вертитъ! И туды и сюды, куды хочешь, повернетъ! Ахъ, ты, прости Господи! — покачалъ Миловановъ головой въ высшей степени укоризненно. — Пошли мы съ дядей Анисимомъ къ сторожкѣ. Подобрались это тихохонько. Боязно. А ну, какъ встанетъ, да насъ лупить примется. „Посмотри, — говорю, — дядя Анисимъ, въ дверочку!“ — „Нѣтъ, — говоритъ, — ужъ ты, дядюшка Карпъ, смотри!“ Совсѣмъ плохой мужикъ дядя Анисимъ. Такъ оплошалъ. Бѣчь хотѣлъ.— „Ну, ужъ это, нѣтъ, — говорю, — братъ! Ужъ вмѣстѣ шли, и будь при этомъ!“ Дверка-то такъ пріотворена, глянулъ въ сторожку, дрыхнетъ хозяинъ, и таково дрыхнетъ, — храпитъ, слюна вожжой, — поѣлъ человѣкъ,—мухи по всей рожѣ такъ и ползаютъ, а онъ хоть бы что! „Въ самый, — думаю, — разъ“. Нацѣлился такъ на него ружьемъ-то, а руки-то у меня ходенемъ. Чисто курей кралъ! И ружье-то прыгаетъ и прыгаетъ. „Не ладно, — думаю, — еще мимо дашь, только разбудишь. Ка-акъ встанетъ онъ да пойдетъ насъ же волтузить“. Сильный былъ человѣкъ, — что мы, такіе-то, супротивъ него сдѣлаемъ. Яблонька такъ росла, прислонился я къ яблонькѣ. „Дай, отдышусь!“ думаю. А дядя Анисимъ и вовсе на земь присѣлъ, стоять не можетъ. Отдышался, наставился, прямо въ голову, приложился этакъ... — пу-у-у!

И голый Миловановъ принялъ такую позу, былъ такъ жалокъ, такъ смѣшонъ въ эту минуту, — что всѣ не смогли, расхохотались. Да и онъ самъ расхохотался надъ собой.

— Пу-у-у! Хозяинъ-то и завизжалъ по-свинячьи и началъ крутиться, чисто вьюнъ. А самъ-то визжитъ. Принялся я вдругорядь ружьишко заряжать. Дядя Анисимъ меня за руку, а самъ бѣлый: „Не стрѣляй, — говоритъ, — ради Господа Бога! Убѣжимъ! Страшно!“ говоритъ. — „Нѣтъ ужъ, молъ, начато! Ужъ безъ того не уйду, не убивши“. Зарядилъ опять, нацѣлился, — разъ! Тутъ ужъ хозяинъ и крутиться пересталъ. Только лежитъ — ойкаетъ. Поойкалъ, поойкалъ и кончился. Мы съ дядей Анисимомъ — драла, да въ поле, да рожью цѣликомъ, вбѣжали на межу, — да ружье, — такъ поправѣй межи-то деревцо было, — подъ деревцомъ ямочку выкопали, ружье-то и зарыли.

— Полѣвѣй межи дерево было! — замѣтилъ дядя Анисимъ.

— Анъ, правѣе!

— Лѣвѣй, говорю!

— Анъ, поправѣе. Вотъ межа, а вотъ деревцо, какъ столъ, а вотъ отступя шага два...

И они вступили между собой въ безконечный споръ: гдѣ было деревцо, правѣй межи или лѣвѣй. Оба знали и помнили

каждый кустикъ. Немного знали эти люди, но ужъ то, что знали, знали досконально.

Букашка такъ знаетъ листъ, на которомъ она выросла и живетъ.

Узенькій кругозоръ у людей, — вершка полтора въ діаметрѣ, — но зато ужъ въ этомъ кружкѣ они всякую пылинку наизусть знаютъ и мало-мало за цѣлую гору считаютъ.

— Спрятали ружье въ ямочкѣ, — продолжалъ Миловановъ, когда кончился его побѣдой споръ о деревцѣ, — домой приходимъ. „Принимай, молъ, насъ, честная вдова!“ — Услыхала это хозяйка, ровно холстина сдѣлалась, на скамейку такъ и сѣла.— „Развѣ вы, — говоритъ, — его ужъ порѣшили!“ — „Такъ, молъ, точно. Прикончили“. Залилась слезами. — „Ахъ, — говоритъ,— зачѣмъ вы это сдѣлали?“ — „Ну, ужъ, молъ, теперь не воротишь. Теперь ты насъ уважать должна!“ — „Пожалуйте, — говоритъ, — къ столу. Садитесь“. Полштофчикъ намъ поставила, изъ печки, что отъ обѣда осталось, достала. Сидимъ, водку пьемъ.

— Да ты, что жъ, до водки, что ль, охочь?

— Зачѣмъ? Нѣтъ! А только такъ ужъ положено. Съ окончаніемъ дѣла. Плачетъ хозяйка-то. Извѣстно, жаль, — мужъ. „Ты бы, молъ, присѣла“. Поднесли ей водочки. „Ты молъ, тоже съ нами выпей. Что жъ мы одни-то? Для кумпаньи“. Дала она намъ денегъ,—три рубля бумажками, а на три четвертака мѣдью. И пошли мы спать, потому намаялись. А утромъ-то насъ и взяли.

— Какъ же случилось?

— Изъ мужиковъ кто-то шелъ, въ сторожку заглянулъ, а тамъ мертвое тѣло. Онъ содомъ и поднялъ. Кто мертвое тѣло? Мельникъ. Сейчасъ на насъ подозрѣніе и сдѣлали.

— Ну, и что жъ вы?

— Дядя Анисимъ не въ сознаньи. А я вижу, стало-быть, что все стало извѣстно, и разсказалъ. Такъ и такъ, молъ. Чего жъ тутъ молчать? Извѣстно, — другого кого бы взяли, молчалъ бы. А разъ меня самого взяли, стало-быть, все одно — молчи не молчи — подозрѣніе. Хозяйка-то больно вертѣлась. Къ барину. Да нешто барину такая паскуда нужна, изъ острога-то. Баринъ себѣ другую возьметъ, бабъ много. Становому сулила три года въ куфаркахъ служить безъ жалованья. Да нѣтъ, братъ, ничего не подѣлаешь. Ужъ больно, какъ я все разсказалъ, стало извѣстно. Такъ стало извѣстно, каждое слово всякъ знаетъ. Насъ и осудили. Какъ же! Всѣхъ вмѣстѣ судили. И хозяйку на одну скамейку посадили. А баринъ-то за нее другой заступался. Тоже, видать, она ему обѣщалась въ куфарки пойтить безъ жалованья. Все на меня пальцемъ

тыкалъ: „Вретъ, — говоритъ, — все! Не вѣрьте ему, господа предсѣдатели!“ А я-то встаю да перекрестился: „Какъ, — говорю, — передъ Истиннымъ!“ Мнѣ и повѣрили. Да насъ всѣхъ и въ каторгу.

Черезъ нѣсколько дней захожу въ тюрьму, въ группѣ арестантовъ, хохотъ. Что такое?

Миловановъ разсказываетъ, какъ онъ за 3 руб. 75 коп. своего „не хозяина, а ангела“ убивалъ. И разсказываетъ всякій разъ во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ, посмѣиваясь тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о вещахъ, по его мнѣнію, забавныхъ, какъ хозяинъ „визжалъ по-свинячьему“, — разсказываетъ просто, спокойно, словно все это такъ и слѣдуетъ.

— Какъ же это такъ, Миловановъ? — началъ я, въ видѣ опыта, какъ-то стыдить его.

Миловановъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ:

— Да вѣдь мы, ваше высокоблагородіе, люди слабосильные! Ежели бъ я сильный человѣкъ былъ, извѣстно бъ ушелъ. Потому я вездѣ могу. А что жъ слабосильный сдѣлать можетъ. Его куда ткнутъ, онъ туда и идетъ. Слабосильный, одно слово!

— Нашли тоже съ кѣмъ, ваше высокоблагородіе, разговаривать! Нешто онъ что понимаетъ? У него и ума-то и всего иного прочаго въ умаленьи! Нешто ему обмозговать, на какое дѣло идетъ! — презрительно замѣтилъ про Милованова одинъ каторжанинъ, самъ убившій одну семью въ 6 душъ, другую въ 5, — такъ, не человѣчишко даже, а четверть человѣка какая-то!

Самоубійца.

— Опять бумагъ не переписалъ, мерзавецъ? Опять? — кричалъ въ канцеляріи Рыковской тюрьмы смотритель К. на писаря-бродягу Иванова.

Онъ любилъ показать при мнѣ свою строгость и умѣніе „держать арестантовъ“.

— На кобылѣ не лежалъ, гадъ? Разложу! Ты, братъ, меня знаешь! Не знаешь, — у другихъ спроси. Ты у меня на кобылѣ жизнь проклянешь, мерзавецъ! Взялъ негодяя въ канцелярію, а онъ.. Въ кандальную запру, на парашу, въ грязи сгніешь, гадина!

Бродяга Ивановъ, безусый, безбородый юноша, сидѣлъ съ блѣднымъ лицомъ и синими дрожащими губами и писалъ.

— Нельзя иначе съ этими мерзавцами! — пояснилъ мнѣ К., когда мы шли изъ канцеляріи, — я ихъ держать умѣю! Они меня знаютъ, мои правила. Не скажу слова, — а ужъ сказалъ, — вѣрно, будетъ сдѣлано.

Вечеромъ я пилъ въ семьѣ К. чай, какъ вдругъ прибѣжалъ надзиратель:

— Самоубивство!

— Какъ? Что? Гдѣ?

— Въ канцеляріи самоубивство. Писарь Ивановъ, бродяга, застрѣлился.

Мы съ К. побѣжали въ канцелярію. Иванова ужъ не было:

— Въ лазаретъ потащили!

Рядомъ съ канцеляріей, въ маленькой надзирательской пахло порохомъ, на лавкѣ и на полу было немножко крови. На столѣ лежалъ револьверъ.

— Чей револьверъ?

— Мой! — съ виноватымъ видомъ выступилъ одинъ изъ надзирателей.

— Подъ судъ тебя, мерзавца, отдать! Подъ судъ! — затопалъ ногами К., — въ послѣдственное тебя сейчасъ посадить велю!

— Виноватъ, не доглядѣлъ!..

— Надзиратель, мерзавецъ! Револьверы по столамъ у него валяются!

— Только на минутку отлучился, а онъ въ каморку зашелъ, да и бацъ.

— Всѣхъ подъ судъ упеку, подлецы!

— Записку вотъ оставилъ!—доложилъ одинъ изъ писарей.

— На восьмушкѣ бумаги карандашомъ было написано:

— „Прошу въ моей смерти никого не винить, стрѣляюсь по собственному желанію.

1) „Во всемъ разочарованъ.

2) „Меня не понимаютъ.

3) „Прошу написать такой-то (указанъ подробный адресъ въ Ревелѣ), что умираю, любя одну только ее.

4) „Тѣла моего не вскрывать, а если хотите,—подвергните кремаціи. Пожалуйста!

5) „Прошу отслужить молебенъ Господу Богу, Котораго не признаю разумомъ, но вѣрю всей душой.

„Бродяга Ивановъ“.

— Мерзавецъ! — заключилъ К., — пишите протоколъ.

— Живъ, можетъ-быть, останется! — объявилъ пришедшій докторъ, — пуля не задѣла сердца. А здорово!

— Не мерзавецъ? — возмущался К., — а? Этакую штуку удрать! У надзирателя револьверъ взять!.. Ты, тетеря, ежели ты мнѣ еще будешь револьверы разбрасывать... Въ оба смотри! Вѣдь народъ кругомъ. Пишите протоколъ, что тайно похитивъ револьверъ...

Онъ принялся диктовать протоколъ.

Писаря въ канцеляріи были смущены, ходили какъ потерянные, надзиратели ругались:

Чуть въ бѣду изъ-за васъ, изъ-за чертей, не попали!

Смотритель, когда докторъ ему сказалъ, что Ивановъ поправляется, крикнулъ:

— Знать про мерзавца не хочу!

И безпрестанно повторялъ:

— Скажите, пожалуйста, какія нѣжности! Стрѣляться, мерзавецъ!

Докторъ говорилъ мнѣ, что писаря каждый день ходятъ справляться въ лазаретъ объ Ивановѣ:

— Мальчикъ-то, — говорятъ, — ужъ очень хорошій.

Я увидѣлъ Иванова, когда онъ ужъ поправлялся. Докторъ предложилъ мнѣ:

— Зайдемъ!

— А я его не обезпокою?

— Нѣтъ, ничего. Онъ будетъ радъ. Я ему говорилъ, что вы о немъ справляетесь. Онъ спросилъ: „Неужели?“ Ему это было пріятно. Зайдемъ.

— Ивановъ лежалъ, исхудалый, желтый, какъ воскъ, съ бѣлыми губами, съ глубоко провалившимися, окруженными черной каймой глазами.

Я взялъ его худую, еле-теплую, маленькую руку.

Здравствуйте, Ивановъ! Ну, какъ? Поправляетесь?

— Благодарю васъ! — тихимъ голосомъ заговорилъ онъ, пожимая мнѣ руку, — очень благодарю васъ, что зашли!..

Я сѣлъ около.

— Вы, значитъ, меня не презираете? — спросилъ вдругъ Ивановъ.

— Какъ? За что? Господь съ вами!

— А тогда... въ канцеляріи... смотритель... „Подлецъ“... „Мерзавецъ“... „Гадъ“... Про кобылу говорилъ... Господи, при постороннемъ-то!

Ивановъ заволновался.

— Не волнуйтесь вы, не волнуйтесь... Ну, за что жъ я васъ буду презирать? Скорѣе — его.

— Его?

Ивановъ посмотрѣлъ на меня удивленно и недовѣрчиво.

— Ну, конечно же, его! Онъ ругался надъ беззащитнымъ.

— Его же? Его? — у Иванова было радостное лицо, на глазахъ слезы, — а я вѣдь... я... я не то думалъ... я ужъ думалъ, что ужъ что жъ я... Такъ ужъ меня... что жъ я теперь... самыми послѣдними словами... на кобылу!.. Какой же я человѣкъ.

Онъ заплакалъ.

— Ивановъ, перестаньте. Вредно вамъ! — уговаривали мы съ докторомъ, — не огорчайтесь пустяками!..

— Вѣдь, нѣтъ... ничего... это такъ... это не отъ горя...

Онъ плакалъ и бормоталъ:

— А я... я... хоть и мало учился... а книжки читалъ... самъ читалъ... я человѣкъ, все-таки, образованный.

Бѣдняга, онъ и „кремацію“ ввернулъ въ предсмертную записку, вѣроятно, чтобъ показать, что онъ человѣкъ образованный...

И лежалъ передо мной мальчикъ, самолюбивый, плакавшій мальчикъ, — а онъ въ каторгѣ.

— У мерзавца были? — встрѣтился со мной у лазарета К., — вотъ поправится, я въ кандальную его за эти фокусы!

Оголтѣлые.

— Ну, не подлецы? Не подлецы? а? Ну что съ этимъ народомъ дѣлать? Ну, что съ нимъ дѣлать? — взволнованно говорилъ старикъ смотритель поселеній въ Рыковскомъ.

— Да что случилось?

— Понимаете, — опять двухъ человѣкъ убили. Хотите, — идемъ вмѣстѣ на слѣдствіе.

Дорогой онъ разсказалъ подробности.

Два поселенца „половинщики“, жившіе вмѣстѣ „для совмѣстнаго домообзаводства“, т.-е. въ одной хатѣ, убили двоихъ зашедшихъ къ нимъ переночевать бродягъ.

Убили, вѣроятно, ночью, когда тѣ спали. А на утро разрубили трупы на части, затопили печку и хотѣли сжечь трупы.

— Хоть бы прятались, канальи! — возмущался смотритель поселеній, — а то двери настежь, окна настежь, словно самое обыкновенное дѣло дѣлаютъ. Вѣдь вотъ до чего оголтѣлость дошла! Дѣвчонка ихъ и накрыла. Сосѣдская дѣвчонка. Зашла зачѣмъ-то къ нимъ въ хату. Смотритъ, вся хата въ кровищѣ, а около печки какое-то мѣсиво лежитъ, — и они тутъ сидятъ, около печки, жгутъ. Не черти? Ну, заорала благимъ матомъ, сосѣди собрались! Тутъ ихъ за занятіемъ и накрыли. И не запирались, говорятъ.

Въ мертвецкой, посрединѣ на столѣ, лежала груда мяса. Руки, ступни, мякоть, изъ которой торчали раздробленныя кости. И пахло отъ этой груды свѣжей говядиной.

Этотъ говяжій запахъ, наполнявшій мертвецкую, словно мясную лавку, былъ страшнѣе всего.

Между кусками выглядывало замазанное кровью лицо съ раскрытымъ ртомъ.

— Другая голова вотъ здѣсь! — пояснилъ надзиратель, брезгливо указывая на какую-то мочалку, густо вымазанную въ крови. Голова лежала лицомъ внизъ, это былъ затылокъ.

Въ дверь съ ужасомъ и любопытствомъ смотрѣли на груду мяса ребятишки.

— Ахъ, подлецы! Ахъ, подлецы! — качалъ головой смотритель поселеній, — пишите протоколъ! Идемъ на допросъ.

Въ то время слѣдователей на Сахалинѣ не было, — и слѣдствіе пребезграмотно вели гг. служащіе.

Передъ канцеляріей смотрителя поселеній стояла толпа любопытныхъ. Въ канцеляріи стояли два поселенца, среднихъ лѣтъ, со связанными назадъ руками, съ тупыми, равнодушными лицами. Оба были съ ногъ до головы вымазаны въ крови.

— Ваше высокоблагородіе, явите начальническую милость, отпустите домой! — взмолились они.

Смотритель поселеній только дико посмотрѣлъ на нихъ.

— Какъ домой??

— Знамо, домой! Вѣдь, что жъ это такое? Руки скрутили, сюда привели, домъ роспертъ. Вѣдь тоже, чай, домообзаводство есть. Немного хочь, а есть. Старались, — теперь разворуютъ. Дозвольте домой.

— Да вы ополоумѣли, что ли, черти?

— Ничего не ополоумѣли, дѣло говоримъ! Чего тамъ!

— Молчать! Развязать имъ руки, вывести на дворъ, пусть хари-то хоть вымоютъ. Глядѣть страшно. Вымазались, дьяволы!

— Вымажешься!

Черезъ нѣсколько минутъ ихъ ввели обратно, умытыхъ, — хоть на лицахъ и рукахъ-то не было крови.

— Пиши протоколъ допроса! — распорядился писарю смотритель поселеній.

— Чего, тамъ, допросъ? Какой допросъ? Пиши просто: убили. Все одно, не отвертишься, вертѣться нечего. Тамъ домъ разворуютъ, — а они допросъ!

— Съ грабежомъ убійство?

— Съ грабежомъ! — презрительно фыркнулъ одинъ изъ поселенцевъ, — тоже грабежъ! 40 копеекъ взяли.

— Сколько при нихъ найдено денегъ?

— Сорокъ четыре копейки! — отвѣчалъ надзиратель.

— Изъ-за 40 копеекъ загубили двѣ души? — всплеснулъ руками смотритель поселеній.

— А кто жъ ихъ зналъ, души-то эти самыя, сколько при нихъ денегъ! Пришли двое незнакомыхъ людей, невѣдомо отколь. „Пусти переночевать“, — просятся. По семиткѣ заплатили. „А на постоялый намъ, — говорятъ, — не расчетъ“. Думали, фартовый какой народъ, — и пришили. А стали шарить, —

только 40 копеекъ и нашарили. Вотъ и весь грабежъ. Отпусти, слышь, домой. Яви начальническую милость. Что жъ, изъ-за сорока копеекъ дому, что ль, погибать? Все немного, а глядишь, на десятокъ рублей наберется! Растащатъ вѣдь!

— Отвести ихъ пока въ одиночку!

— Изъ-за сорока-то копеекъ въ одиночку. Тьфу ты! Господи!

Поселенцы, видимо, „озоровали“.

— Хучь четыре копейки-то отдайте! За ночлегъ вѣдь плачено!

— На казенный паекъ попали? — посмѣивались въ толпѣ другіе поселенцы.

— А то что жъ! Съ голоду, что ль, на волѣ пухнуть?! — отвѣчалъ одинъ изъ убійцъ.

Другой шелъ слѣдомъ за нимъ и ругался:

— Ну, — порядки!

— Ну-съ, идемъ на мѣсто совершенія преступленія.

Арестантскіе типы.

У избы, гдѣ было совершено убійство, стояли сторожа изъ поселенцевъ. Но вытащено было, дѣйствительно, все. Въ избѣ ни ложки ни плошки. Все вычищено.

— Охъ, достанется вамъ! — погрозился на сторожей смотритель поселеній.

— Дозвольте объяснить, за что, ваше высокоблагородіе? Помилте, нешто можетъ что у поселенца существоватъ? Голь, да и только. Опять же, какъ спервоначалу народъ сбѣжался, сторожей еще приставлено не было, — извѣстно, чужое добро, всякъ норовитъ, что стащить!

Избенка была маленькая, конечно, безъ всякихъ службъ, покривившаяся, покосившаяся, наскоро сколоченная, — какъ наскоро „для проформы“ сколачиваются на Сахалинѣ обязательныя „домообзаводства“.

Воняло, полъ былъ липкій, сырой, на скамьяхъ были зеленыя пятна. Всюду не высохшая еще кровь.

Въ углу маленькая печурка, около которой еще стояла лужа крови. Устье — крохотное.

— Вѣдь это имъ до вечера пришлось бы жечь! — сказалъ начальникъ поселеній, заглядывая въ печку.

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе, одну руку только обжечь успѣли. Такъ обуглилась еще только! — подтвердилъ надзиратель, — безпремѣнно бы весь день жгли.

— Не оголтѣлость, я васъ спрашиваю? Не оголтѣлость!? — въ ужасѣ взывалъ смотритель поселеній. — Пиши протоколъ осмотра!

Интеллигентъ.

— Позвольте-съ! Позвольте-съ! Господинъ, позвольте-съ, — догналъ меня въ Дербинскомъ пьяный человѣкъ, оборванный, грязный до невѣроятія, съ синякомъ подъ глазомъ, разбитой и опухшей губой. Шаговъ на пять отъ него разило перегаромъ. Онъ заградилъ мнѣ дорогу.

— Господинъ писатель, позвольте-съ. Потому какъ вы теперь матеріаловъ ищите и біографіи ссыльно-каторжныхъ пишете, — такъ вѣдь мою біографію, плакать надо, ежели слушать. Вы нравственныя обязательства, дозвольте васъ спросить, признаете? Очень пріятно! Но разъ вы признаете нравственныя обязательства, вы обязаны меня удостоить бесѣдой и все прочее. Вѣдь это-съ человѣческій документъ, такъ сказать, передъ вами. Землемѣръ. Мы вѣдь тоже что-нибудь понимаемъ. Парлэ ву франсэ? Вуй? И я. Я еще, можетъ-быть, когда вы клопомъ были, въ народъ ходилъ-съ. И вдругъ ссыльно-каторжный! Позвольте, какимъ манеромъ? И всякій меня выпороть можетъ. Справедливо-съ?

— Да вы за что же сюда-то попали?

— Вотъ въ этомъ-то и дѣло. Это вы и должны прочувствовать! „Не убій“, — говорятъ. А что я долженъ дѣлать, если я свою жену, любимую, любимую, — онъ заколотилъ себя кулакомъ въ грудь, и изъ глазъ его полились пьяныя слезы, — любимую, понимаете ли, жену съ любовникомъ на мѣстѣ самаго преступленія засталъ. По французскому закону, — „туэ-ля!“ — и кончено дѣло. Позвольте-съ, это на театрѣ представляютъ, великій сердцевѣдъ Шекспиръ и Отелло, венеціанскій мавръ, и вся публика рукоплещетъ, — а меня въ каторгу. Въ каторгу? Гдѣ же справедливость, я васъ спрашиваю? И вдругъ меня сейчасъ на кобылу: зачѣмъ фальшивыя ассигнаціи дѣлаешь?

— Позвольте, да васъ за что же сюда сослали: за убійство жены или за фальшивыя ассигнаціи?

— Въ этомъ-то все и дѣло. Жена — сначала, а ассигнаціи потомъ. Ассигнація, это ужъ съ отчаянія. Позвольте-съ! Какъ же мнѣ ассигнаціи не дѣлать? А позвольте васъ спросить, съ чего я водку буду пить, безъ ассигнацій ежели? Долженъ я водку пить при такой біографіи или нѣтъ? Я долженъ водку безпремѣнно пить, потому что у меня рука срывается. Вы понимаете, срывается! Сейчасъ я хочу веревку за гвоздь, и рука срывается.

— Да зачѣмъ же вамъ веревку за гвоздь?

— Удавиться. Я долженъ удавиться, и у меня рука срывается. Я говорю себѣ: „подлецъ“ — и долженъ сейчасъ водку пить. Потому я въ бѣлой горячкѣ долженъ быть. Вы понимаете бѣлую горячку? Delirium tremens! Какъ интеллигентный человѣкъ! Потому сейчасъ самоанализъ и все прочее. У меня самоанализъ, а меня на кобылу. Можетъ мнѣ смотритель сказать, что́ такое Бокль, и что такое цивилизація, и что такое Англія? Я „Исторію цивилизаціи Англіи“ читалъ, а меня на кобылу. Я Достоевскимъ хотѣлъ быть! Достоевскимъ! Я въ каторгѣ свою миссію видѣлъ. Да-съ! Я записки хотѣлъ писать. И все разорвано. А почему разорвано? Отъ смиренія духомъ. Я сейчасъ себя посланникомъ отъ ея величества госпожи цивилизаціи счелъ, и въ пароходномъ трюмѣ безграмотному народу безплатно прошенія сталъ писать. И вдругъ меня убить хотятъ! Потому что какой-то бродяга Иванъ, обратникъ, имъ сейчасъ прошенія къ министру финансовъ и къ петербургскому митрополиту о пересмотрѣ дѣла пишетъ, а по рублю за прошеніе беретъ, — а я отказываюсь, потому что глупо. Глупо и невѣжественно.

Арестантскіе типы.

„Ахъ, — говорятъ, — ты такъ-то. Ты народъ губить? Куда слѣдуетъ прошенія,—писать не хочешь? Иванъ къ митрополиту, а ты не желаешь?“ И Иванъ сейчасъ науськиваетъ, потому что практику отбиваю.—Бей его! Бей насмерть! Онъ нарочно куда слѣдуетъ прошеній не пишетъ. Съ начальствомъ заодно. Онъ себѣ въ бумаги вписываетъ,— и какъ водку пьемъ и какъ въ карты играемъ, чтобъ потомъ начальству все открыть. И вдругъ меня ночью накрываютъ темною и хотятъ убить и записки мои рвутъ, — и потомъ начальству говорятъ всѣмъ трюмомъ: „онъ воруетъ“. А пароходный капитанъ: „Я тебя выпорю!“ — говоритъ.— Позвольте-съ! Вы можете знать, о чемъ я думаю? Я сейчасъ здѣсь въ тюрьмѣ сижу, мнѣ темную дѣлаютъ, а мой оскорбитель на судъ въ перстняхъ является и невѣста въ публикѣ. И его сейчасъ дамы лорнируютъ. И онъ благороднаго рыцаря играетъ. „Ничего, — говоритъ, — подобнаго!“ Развѣ возможно въ своихъ связяхъ съ порядочной женщиной признаваться? Бла-ародно! И вся публика говоритъ: „бла-родно“. Позвольте-съ. И онъ сейчасъ свой очагъ имѣетъ, и жену, и неприкосновеннымъ очагъ считаетъ. Свой-то, свой. А мой осквернилъ? И ничего? Его не въ каторгу, а меня въ каторгу? Справедливо-съ? Году покойницѣ не вышло, и у него невѣста. Годъ бы, подлецъ, подождалъ! Плачу-съ! Плачу — и не стыжусь! И опять ложный доносъ напишу—и стыдиться не буду. И опять! Что г. смотритель поселеній вамъ жаловался, что я ложный доносъ на него написалъ? Вѣрно! И опять напишу, — потому что 20 копеекъ. Желаете, вамъ ложный доносъ напишу? На кого желаете? 20 копеекъ — и доносъ! И дерите! Дерите! Желаете драть, — дерите!

Онъ началъ разстегиваться.

— Постойте, постойте, Богъ съ вами! Опомнитесь!

— Не желаете? Не надо. А можетъ-быть, господинъ свободнаго состоянія, желаете? Такъ дерите! Не желаете? Упрашивать не буду, потому что лишенный всѣхъ правъ состоянія. Да вы образованія меня лишить можете? Духа моего интеллигентнаго лишить можете? Развѣ онъ меня поретъ? Всѣхъ поретъ, кто во мнѣ заключается. Съ Боклемъ и со Спенсеромъ и съ Шекспиромъ на кобылу ложусь, и съ Боклемъ и со Спенсеромъ и съ Шекспиромъ меня смотритель поретъ! Съ Боклемъ! И вдругъ предписаніе: „переслать его съ попутнымъ быкомъ въ селенье Дербинское“. И я съ быкомъ. Какъ я долженъ съ быкомъ разговаривать? Какъ съ товарищемъ? Онъ, значитъ, скотъ, и я, значитъ, скотъ! Лишить правъ можете, но вѣдь не до такой же степени! Съ быкомъ. И на кобылу и розгами, розгами. Встала бы покойница, посмотрѣла бы. Ахъ, какъ бы ручками всплеснула! Въ перчаточкахъ! „Ахъ, кель-оррэръ,

дерутъ его, какъ Сидорову козу. Ахъ, какъ просто!“ Это у нея любимое слово было: „Просто“. — „Ахъ, — скажетъ, — это платье. Это просто какъ-то. Мужу измѣнять, — а его дерутъ, дерутъ! А? Какому мужу? Ко дню ангела браслетъ подарилъ.

Онъ вдругъ заоралъ благимъ матомъ:

— Сафиры! Брилліанты! Голконда! Горѣлъ!

И заплакалъ.

Арестантскіе типы.

— На службѣ завтракать бросилъ. Курить пересталъ. Годъ копилъ цѣлый. Копейку къ копейкѣ. Все по частямъ въ магазинъ носилъ: „Не продавайте!“ Дома зимой въ кителѣ ходилъ, чтобъ сюртукъ не носился. Но той же причинѣ въ комнатахъ снималъ сапоги и ходилъ въ туфляхъ. Казначею задолжалъ. И принесъ! Въ самый день ангела. Раньше всталъ и на цыпочкахъ. И на ночномъ столикѣ. Раскрылъ и поставилъ. И штору отдернулъ, чтобъ лучъ солнца. Игра! Сижу, жду: что будетъ? Не дышу. И начала жмуриться, и глаза открыла, и вдругъ крикъ: А-а!

Онъ схватился за голову, и на лицѣ его отразилась мука жесточайшая.

— И въ этомъ же браслетѣ засталъ! И всѣ кругомъ столько лѣтъ смѣялись, только я одинъ, дуралей, серьезный былъ. Ха-ха-ха! Такъ вотъ же вамъ! Я одинъ хохотать буду, — а вы всѣ кругомъ будете въ ужасѣ. И вдругъ долженъ писать прошеніе за безграмотствомъ поселенца такого-то; прошу выдать для нужды домообзаводства изъ казны корову и бабу. А! Корову и бабу. Бабу и корову. А я сотворилъ себѣ кумиръ. Что есть женщина? Генрихъ Гейне сказалъ: „Богъ создалъ ее въ минуту вдохновенья!“ Ждать не надо,— чулочки ей шелковые, чтобъ любовнику пріятнѣе ноги цѣловать было. Женщинѣ вѣдь непремѣнно ноги цѣловать надо! На колѣняхъ передъ ней! На полу! На землѣ передъ ней! Во прахъ! А тутъ корова и баба. Дайте мнѣ 20 копеекъ... Что такое? Рубль? Благородно. Понимаю. Истинно. Все, значитъ, какъ есть, понялъ: Въ каторгу—и рубль ему, и совѣсть чиста. Руку! Какъ интеллигентъ интеллигенту говорю: „Спасибо“. Просто и кратко! „Спасибо“.

Поэты-убійцы.

(Въ видѣ предисловія).

Лассенеръ, казненный во Франціи при Наполеонѣ III, былъ однимъ изъ жесточайшихъ убійцъ и нѣжнѣйшихъ поэтовъ.

Его любимымъ занятіемъ была поэзія. Его занятіемъ вообще — убійство съ цѣлью грабежа. Онъ „спеціализировался на ювелирахъ“.

Лассенеръ заманивалъ ювелира въ заранѣе нанятую квартиру, гдѣ-нибудь на окраинахъ, подъ предлогомъ, что онъ продаетъ дешево брилліанты, доставшіеся ему какимъ-то темнымъ путемъ.

Они обыкновенно не сходились въ условіяхъ, и когда ювелиръ спускался съ лѣстницы, Лассенеръ, шедшій сзади, съ искусствомъ и точностью анатома, запускалъ ему въ можжечокъ тонкую и острую шпильку.

Жертва безъ стона, безъ крика падала на руки сообщника Лассенера, парня, взятаго изъ парижскихъ подонковъ, который шелъ по лѣстницѣ впереди, какъ будто для того, чтобы открыть двери.

Въ „музеѣ орудій преступленія“, при тюрьмѣ „Conciergerie“, среди утюговъ, топоровъ, изящныхъ головныхъ дамскихъ шпилекъ, шелковыхъ шнурковъ отъ корсета и грубыхъ веревокъ, хранится „кошка“, орудіе Лассенера.

„Кошка“ состоитъ изъ длиннаго, тонкаго, какъ шпилька, остраго, какъ шило, стилета, вдѣланнаго въ кусокъ дерева „для упора ладонью“.

Лассенеръ изучалъ анатомію и самъ выдумалъ свою „кошку“ для запусканія въ можжечокъ.

Онъ предпочиталъ этотъ способъ убійства всякому другому, какъ „наиболѣе чистоплотный“. Онъ терпѣть не могъ „крови и вообще всякой грязи“. И, убивая, боялся только одного: запачкаться.

Судя по портрету, это былъ изящный джентльмэнъ, съ очень тонкими и аристократическими чертами лица, скорѣе англо-саксонскаго, чѣмъ французскаго типа. Онъ былъ блондинъ съ вьющимися волосами, съ выхоленными небольшими бакенбардами, съ голубыми глазами, спокойными и холодными. Его можно было принять за наиболѣе породистаго лорда, во всякомъ случаѣ за человѣка общества, никакъ за убійцу. Хроникеры того времени добавляютъ, что руки Лассенера, служившія для убійства, по красотѣ, изяществу и выхоленности могли бы поспорить съ дамскими.

Когда Лассенера поймали, онъ съ величайшимъ спокойствіемъ разсказалъ всѣ подробности всѣхъ своихъ убійствъ, даже тѣхъ, въ которыхъ его не подозрѣвали, и выдалъ своего сообщника, хотя въ этомъ не представлялось никакой надобности. Но Лассенеръ презиралъ эту „грязную тварь“, нанимавшуюся на убійства, и находилъ, что тотъ стоитъ „гильотины“.

Въ тѣ суровыя времена существовалъ жестокій обычай: осужденные наканунѣ должны были присутствовать на заупокойной мессѣ, которая служилась по нимъ, какъ по покойникамъ.

Сообщникъ Лассенера, встрѣтившись съ нимъ въ церкви, кинулся на Лассенера, чтобъ его задушить. Наканунѣ-то каяни! Лассенеръ брезгливо отстранился.

Все время, пока шла месса и ихъ имена поминались за упокой, сообщникъ Лассенера рыдалъ, падалъ, бился головой объ полъ. „Свободный мыслитель Лассенеръ, — какъ говоритъ хроникеръ, — присутствовалъ, какъ присутствуетъ очень хорошій воспитанный иностранецъ при богослуженіи неизвѣстной ему религіи“. Равнодушно, съ любопытствомъ и почтительно.

Священникъ, пришедшій къ нему съ послѣднимъ утѣшеніемъ, провелъ въ камерѣ Лассенера нѣсколько часовъ и вышелъ отъ него взволнованный и потрясенный, сказавъ:

— Скорѣе Лассенеръ сдѣлаетъ священника безбожникомъ, чѣмъ священникъ что-нибудь поколеблетъ во взглядахъ Лассенера.

Человѣческая изобрѣтательность въ области жестокости не имѣетъ границъ: она изобрѣла наказанье большее, чѣмъ смерть,— ожиданье смерти. Лассенеръ, какъ болѣе тяжкій изъ преступниковъ, долженъ былъ быть казненъ вторымъ.

Когда его, полумертваго отъ ужаса сообщника, положили

на гильотину, Лассенеръ, стоявшій на эшафотѣ, сдѣлалъ движеніе впередъ, желая посмотрѣть, какъ отрубаютъ голову.

— Лассенеръ, это могутъ принять за рисовку! — замѣтилъ ему священникъ.

— Благодарю васъ! Вы правы! — съ учтивымъ поклономъ сказалъ Лассенеръ и отстранился.

Онъ спокойно подошелъ къ гильотинѣ, спокойно положилъ голову въ полукруглое отверстіе, но тутъ судьба жестоко обошлась съ Лассенеромъ.

Топоръ гильотины застрялъ и, несмотря на всѣ усилія палача, не спускался.

Такъ прошло съ полминуты.

Тогда Лассенеръ повернулъ лицо къ палачу и крикнулъ ему:

— Скотина!

„И лицо Лассенера, — говорятъ очевидцы, — было въ эту минуту страшно".

Таковъ былъ Лассенеръ, который скверно жилъ и умѣлъ умереть.

Посмертное изданіе стихотвореній Лассенера имѣло огромный успѣхъ и страшно разошлось среди публики.

Лассенеръ-убійца былъ казненъ, и ожилъ Лассенеръ-поэтъ, ожилъ и сталъ безсмертенъ, какъ неразрѣшимая загадка.

Оказалось, что это жесточайшій среди убійцъ отличался душой мягкой, нѣжной, женственной.

Его стихи, превосходные по формѣ и нѣжно-мечтательные по содержанію, ближе всего подходятъ къ стихамъ нашего Фета.

Наканунѣ смерти онъ обращался къ фіалкамъ, которыя вырастутъ на его могилѣ...

Какъ помирить такіе два контраста: жестокость и мягкость, нѣжность, сантиментальность?

„Сантиментальность" — вотъ въ чемъ и объясненіе загадки.

Если даже „геній и злодѣйство" несовмѣстимы, то жестокость и сантиментальность уживаются отлично.

Люди, когда у нихъ нѣтъ масла, довольствуются маргариномъ. А сантиментальность — это маргаринъ чувства.

Люди добрые бываютъ часто грубы въ своей добротѣ, — люди сантиментальные чаще другихъ жестоки.

Люди, убивавшіе жестоко, безпощадно своихъ ближнихъ, привязываются нѣжной, сантиментальной любовью къ пауку въ камерѣ, къ кошкѣ, которая бродитъ по нарамъ тюрьмы.

Люди, которые завтра, бѣжавши, начнутъ убивать ничего имъ не сдѣлавшихъ людей и такъ говорятъ „буду убивать", — сегодня нѣжно ласкаютъ тюремную кошку и могутъ убить человѣка, который ее ударитъ.

Если вы оставите въ сторонѣ произведенія гигантовъ поэ-

зіи, — то вы увидите, что большинство стиховъ дышатъ не сильнымъ, глубокимъ чувствомъ, а именно сантиментальностью.

И васъ, быть-можетъ, не удивитъ то странное на первый взглядъ смѣшеніе жестокаго убійцы съ сантиментальнымъ поэтомъ, примѣръ котораго мы видѣли на Лассенерѣ.

Добавьте къ этому еще извѣстный психіатрамъ фактъ: страсть къ созвучіямъ, риѳмамъ, — одно изъ проявленій слабоумія.

Впадая въ слабоуміе, больные начинаютъ, обыкновенно, говорить и писать въ родѣ „райка“: все въ риѳму. Они пишутъ безсмыслицу, но зато непремѣнно въ риѳму.

Для нихъ исчезаетъ смыслъ словъ и остаются только созвучія, которыя они подбираютъ безпрерывно, съ утра до ночи, цѣлыми днями.

„Риѳмачи“ среди слабоумныхъ — самое обыкновенное явленіе. Они только и говорятъ, что созвучія.

Это одна изъ формъ слабоумія.

И теперь васъ, быть-можетъ, не удивитъ появленіе необычайнаго количества риѳмованныхъ строкъ вообще, — а въ особенности на каторгѣ, гдѣ слабоумныхъ больше, чѣмъ гдѣ бы то ни было.

Арестантскіе типы.

Вотъ истинные „источники поэзіи“. По крайней мѣрѣ, большинства поэзіи.

I.

Пащенко, — это его бродяжеское имя, — былъ ужасомъ всего Сахалина.

Когда Пащенко убили, — этому обрадовалась, прежде всего, каторга.

За Пащенко числилось 32 убійства.

Онъ многократно бѣгалъ, и когда его нужно было „уличать“, сообщая изъ Одессы на Сахалинъ примѣты Пащенко, писавшіе, начальники тюремъ и надзиратели, добавляли:

— „Только не говорите Пащенкѣ, что свѣдѣнія сообщили мы“.

Придетъ и убьетъ.

Таково было страшное обаяніе его имени.

Среди всѣхъ кандальниковъ Александровской тюрьмы Пащенко нашелъ себѣ только одного „человѣка по душѣ“, такого же „тачечника“, т.-е., приговореннаго къ прикованью къ тачкѣ, какъ и онъ, Широколобова.

Широколобовъ — второй ужасъ всего Сахалина и восточной Сибири. Кандальные сторонились отъ него, какъ отъ „звѣря“.

Широколобовъ былъ сосланъ изъ Восточной Сибири за многократныя убійства.

Широколобовъ — сынъ каторжныхъ родителей, сосланныхъ за убійства и поженившихся на каторгѣ. На портретѣ передъ вами (см. т. I, стр. 181) тупое и дѣйствительно звѣрское лицо.

Онъ попался на убійствѣ вдовы-дьяконицы. Желая узнать, гдѣ спрятаны деньги, Широколобовъ пыталъ свою жертву. Отрѣзалъ ей уши, носъ, медленно, по кусочкамъ, рѣзалъ груди. Широколобова привезли на Сахалинъ на пароходѣ „Байкалъ“, прикованнымъ желѣзнымъ обручемъ, за поясъ, къ мачтѣ.

Это былъ единственный человѣкъ, съ которымъ нашелъ возможнымъ подружиться въ тюрьмѣ Пащенко. Вмѣстѣ они и отковались отъ тачекъ и совершили побѣгъ, разломавъ въ тюрьмѣ печку.

Они ушли въ ближайшій рудникъ и скрылись тамъ. Каторжане и поселенцы должны были таскать имъ туда пищу.

Должны были, потому что иначе Пащенко и Широколобовъ вышли бы и натворили ужасовъ.

На ихъ мѣстопребываніе было открыто.

На деревѣ, около входа въ одну изъ штоленъ, почему-то болталась тряпка. Это показалось страннымъ начальству. Не примѣта ли? Была устроена облава, но предупрежденные Пащенко и Широколобовъ ушли и перебрались въ дальній Владимирскій рудникъ.

Тамъ они скрывались точно такъ же.

Однажды, передъ вечеромъ, надзиратель изъ бывшихъ каторжанъ, кавказецъ Кононбековъ, вышелъ съ ружьемъ, какъ онъ говоритъ: „поохотиться, нѣтъ ли бѣглыхъ“.

Идя по горѣ, онъ услыхалъ внизу въ кустахъ шорохъ. Это Пащенко и Широколобовъ вышли изъ горы.

Кононбековъ приложился, выстрѣлилъ на шорохъ. Въ кустахъ раздался крикъ. Какая-то тѣнь мелькнула изъ кустовъ.

Кононбековъ бросился въ кусты. Тамъ лежалъ при послѣднемъ издыханіи Пащенко. Пуля угодила ему въ темя и пробила голову. Пащенко „подергался“, какъ говоритъ Кононбековъ, и умеръ. Широколобовъ бѣжалъ.

Все, что было найдено при Пащенко, это его „бродяжеская записная книжка“, лежавшая въ карманѣ и теперь залитая его кровью.

Потомъ эта книжка была передана мнѣ.

Пащенко былъ высокій, статный, красивый мужикъ, лѣтъ 45, съ большой окладистой бородой, спокойнымъ, холоднымъ, „строгимъ“ взглядомъ сѣрыхъ глазъ.

Все, что осталось отъ этого страшнаго человѣка, — эта вотъ книжка, залитая его кровью, лежащая теперь передо мной.

Въ нее безграмотными каракулями Пащенко вписывалъ то, что ему было нужно, что его интересовало, къ чему лежала его душа, — все самое для него необходимое.

Въ ней заключается бродяжескій календарь съ 25 августа, когда Пащенко ушелъ. Пащенко зачеркивалъ проходившіе дни. Послѣднимъ зачеркнуто 30 сентября. 1 октября онъ былъ убитъ.

Затѣмъ идетъ:

— „Маршрутъ. Отъ Срѣтенска Шилкино — 97 верстъ, Усть-Кара — 115“ и т. д.

Затѣмъ идетъ нѣсколько какихъ-то адресовъ:

— „Иванъ Васильевичъ Черкашевъ, на Новомъ базарѣ, лавочка; Никита Яковлевичъ Турецкій, уголъ Гусьевской и Зейской, собственный домъ“ и т. д.

Люди ли, у которыхъ можно остановиться, или намѣченныя мѣста, гдѣ можно „поработать“.

Затѣмъ идутъ, на первый взглядъ, странныя, но въ тюрьмѣ очень необходимыя свѣдѣнія:

— „Посредствомъ гипнотизма можно повелѣвать чужимъ умомъ, т.-е. мозгомъ“.

— „Затменье солнца 28 іюля 1896 года“.

Списокъ всѣхъ министерствъ.

— „Въ Россіи монастырей 497: мужскихъ 269, женскихъ 228“.

— „Швеція и Норвегія—два государства, подъ вліяніемъ одного короля. Занимаетъ „Скандинавскій“ полуостровъ 5 милліоновъ жителей. Столица Швеціи—городъ Стокгольмъ и Норвегіи — „Христіанія“.

Также описаны всѣ европейскія государства, какой городъ столичный, и гдѣ сколько жителей.

Далѣе идутъ свѣдѣнія о „китайской вѣрѣ“.

— „Фво“, китайскій богъ, рождался 8.000 разъ по-ихнему

суевѣрію. Акангъ-Беллъ — богъ меньшій, т.-е. малый богъ, низшаго неба. Чушь".

Свѣдѣнія, казалось бы, безполезныя, но нужныя, прямо необходимыя для человѣка, который хочетъ играть „роль" въ тюрьмѣ.

Тюрьма, какъ и все русское простонародье, очень цѣнитъ „точное знаніе".

Именно точное.

— Сколько въ Бельгіи народу?

— Пять съ половиной милліоновъ.

Именно „съ половиной". Это-то и придаетъ солидность знанію.

Народъ мечтатель, народъ не утилитаристъ, народъ нашъ, а съ нимъ и тюрьма, съ особымъ почтеніемъ относятся къ знанію не чего-нибудь житейскаго, повседневнаго, необходимаго, а именно къ знанію чего-нибудь совершенно ненужнаго, къ жизни непримѣнимаго. И, кажется, чѣмъ безполезнѣе знаніе, тѣмъ большимъ оно пользуется почтеніемъ. Это-то и есть настоящая „мудрость".

Вращаясь среди каторжанъ, вы часто нарываетесь на такіе вопросы:

— А сколько, ваше высокоблагородіе, на свѣтѣ огнедышащихъ горъ, то-есть волкановъ?

— Да тебѣ-то зачѣмъ?

— Такъ, знать желательно. Потому, какъ вы ученый.

— Ей-Богу, не знаю.

— Огнедышащихъ горъ, то-есть волкановъ, на свѣтѣ 48.

Потомъ, одинъ на одинъ, вы можете сказать ему:

— Все-то ты, братецъ мой, врешь. Кто ихъ всѣ считалъ?

Но при тюрьмѣ остерегитесь. Дайте ему торжествовать. На этомъ покоится уваженіе къ нему тюрьмы, на его знаніяхъ, и теперь, когда онъ даже ученаго барина зашибъ, уваженіе къ нему еще болѣе вырастаетъ. Не бросайте же его подъ ноги этимъ людямъ, которые, какъ и всѣ, терпятъ, но не любятъ чужого превосходства.

Среди всѣхъ этихъ необходимыхъ, чтобы играть въ тюрьмѣ роль, свѣдѣній разбросаны стихи.

По словамъ каторжанъ, покойный Пащенко очень любилъ стишки, и тѣ, которые ему приходились по душѣ, записывалъ.

Что же это была за поэтическая душа, которая жила в человѣкѣ, совершившемъ 32 убійства?

Убійца любилъ только жалостные стихи. Полные грусти и жалобъ.

Жалобъ на судьбу, на несовершенства человѣческой природы:

„Подсѣку жъ я крылья
Дерзкому сомнѣнью,
Прокляну усилья
Къ тайнамъ провидѣнья...
Умъ нашъ не шагаетъ
Міра за границу,
Наобумъ мѣшаетъ
Съ былью небылицу".

Этотъ фаустовскій мотивъ смѣняется жалобою на несправедливость, царящую въ мірѣ:

„Мелкія причины
Тѣшились людями,
Карлы — властелины
Двигали мірами.
Райскія долины
Кровью обливались,
Неба властелины
Въ бездну низвергались".

Эти полные жалобъ Кольцовскіе стихи больше всего приходятся ему по сердцу, и онъ списываетъ ихъ въ книжку.

Какъ всякій „настоящій преступникъ", онъ жалуется на все и на вся, кромѣ себя, — и ему приходится особенно по душѣ такое стихотвореніе:

„Вы вновь пришли, друзья и братья,
Съ мольбой: „прости и позабудь",
И вновь сжимается въ объятья
Отъ ласкъ отвыкнувшая грудь.
Но гдѣ же были вы въ то время,
Когда я былъ и нагъ и босъ,
Когда на слабыхъ плечахъ бремя
Работы каторжной я несъ?
Гдѣ были вы, когда печали,
Какъ злые коршуны во тьмѣ,
На части сердце разрывали
Въ безлюдной, страшной тишинѣ?
Гдѣ были вы, когда въ смущеньѣ
Я выступалъ на новый путь,
Когда нуждалась въ ободреньѣ,
Какъ нищій въ хлѣбѣ, эта грудь?
Гдѣ были вы, когда чрезъ мѣру
Я настрадался отъ враговъ,
И, наконецъ, утратилъ вѣру
Въ святую братскую любовь.

Это стихотвореніе такъ понравилось Пащенкѣ, что онъ и самъ подъ нимъ подписался: поставилъ букву „Ф." — инициалъ своей настоящей, не бродяжеской, фамиліи.

И только одно бодрое стихотвореніе, дышащее презрѣніемъ къ людямъ, быть-можетъ, за это-то презрѣніе и понравилось Пащенкѣ:

Не бойся жизненныхъ угрозъ,
Не надрывай напрасно груди,
Не проливай напрасно слезъ,
Ихъ осмѣютъ надменно люди.
Не бойся нуждъ, не бойся бѣдъ,
Не бойся тяжкой, скорбной доли,
Сноси людское зло и вредъ,
Не преклоняй своей ты воли,
Навстрѣчу разныхъ неудачъ,
Борись съ судьбой во что бъ ни стало.
Не падай духомъ и не плачь,
Въ унынье толку, другъ мой, мало"...

Такіе стихи записаны въ маленькой, залитой кровью, записной книжкѣ человѣка, который любилъ поэзію и убилъ 32 человѣка.

Такіе стихи отвѣчали мотивамъ, звучащимъ въ его душѣ.

Такіе стихи онъ читалъ и перечитывалъ, отдыхая отъ однихъ убійствъ и готовясь къ другимъ.

Развѣ онъ не обладалъ поэтической душой?

II.

Поэтъ-убійца, П — въ — поэтъ-декадентъ. Хотя этотъ малограмотный человѣкъ, конечно, никогда и не слыхалъ о существованіи на свѣтѣ декадентовъ.

Среди массы стихотвореній, переданныхъ имъ мнѣ, часто странныхъ по формѣ, попадаются такія сравненія. Онъ пишетъ:

„Куда бѣжишь и что найдешь ты въ блѣдномъ сердцѣ,
Когда багровыя отъ крови мысли
Зелеными глазами поглядятъ?

Съ П — вымъ я познакомился на Сахалинѣ, въ сумасшедшемъ домѣ, гдѣ онъ содержится.

Онъ не то чтобы сумасшедшій, въ общепринятомъ смыслѣ слова. Онъ отъ природы таковъ: онъ боленъ morae insanity. Оставаясь на свободѣ, онъ совершалъ безпрестанно массу преступленій, всегда гнусныхъ, скверныхъ, часто говорившихъ объ удивительной извращенности натуры.

П — ву лѣтъ подъ сорокъ.

Предметъ его ненависти — прокуроръ, который обвинялъ его въ первый разъ.

Онъ не можетъ хладнокровно вспомнить объ этомъ прокурорѣ, не можетъ ему простить выраженія:

— Ломброзовскій типъ.

А между тѣмъ П—въ могъ бы служить прямо украшеніемъ извѣстнаго атласа Ломброзо.

Торчащія уши — совершенно безъ мочекъ. Удивительно ярко выраженная ассиметрія лица. Глаза различной величины и неровно посажены, — одинъ выше, другой ниже. Носъ, губы, — все это словно сдвинуто въ сторону. Два совершенно различныхъ профиля. Приплюснутый назадъ низкій лобъ. Страшно широко развитый затылокъ.

Болѣе яркой картины вырожденія нельзя себѣ представить.

П — въ плодъ кровосмѣшенія. Онъ произошелъ отъ связи родныхъ между собой брата и сестры.

Отецъ и мать были горькіе пьяницы.

Первое преступленіе, за которое онъ попалъ въ каторгу,—убійство товарища во время ссоры.

На Сахалинѣ, кромѣ безчисленныхъ кражъ и преступленій на почвѣ половой психопатіи, П—въ совершилъ убійство.

Онъ влюбился въ дочь одного поселенца.

Но репутація П—ва на Сахалинѣ была страшной и отвратительной.

— П—въ идетъ!— это было страшно для поселенцевъ.

Арестантскіе типы.

П—въ появился въ поселкѣ, — надо было ожидать гнусностей.

Поселенецъ, отецъ любимой дѣвушки, конечно, отказалъ ему.

Тогда П—въ подкараулилъ старика и убилъ его изъ засады.

Отъ вѣчныхъ побоевъ и наказаній, которымъ подвергался П—въ, его спасъ только пріѣздъ на Сахалинъ психіатра.

Психіатръ увидѣлъ въ этомъ странномъ „неисправимомъ преступникѣ“ несчастнаго вырождающагося, нравственно и умственно больного, и взялъ его туда, гдѣ этому „ломброзовскому типу“ мѣсто, въ сумасшедшій домъ.

Для Ломброзо П — въ, бывшій матросъ, былъ бы истинной находкой еще и потому, что онъ весь татуированъ.

Тутъ я позволю себѣ, кстати, указать на ошибку, которую, по моему мнѣнію, дѣлаетъ Ломброзо, говоря о склонности преступниковъ къ татуировкѣ. Это скорѣе склонность моряковъ.

Среди моряковъ, многіе изъ которыхъ бывали на Востокѣ, гдѣ искусство татуировки доведено до совершенства, дѣйствительно, есть страсть въ татуировкѣ. Я много встрѣчалъ татуированныхъ преступниковъ на Сахалинѣ, но все это были бывшіе моряки. Нѣтъ ничего удивительнаго въ ошибкѣ Ломброзо: онъ наблюдалъ преступниковъ въ итальянскихъ тюрьмахъ, а среди итальянцевъ — моряковъ больше, чѣмъ среди какого бы то ни было народа. Если признать страсть къ татуировкѣ признакомъ „преступной натуры“, тогда всѣ флоты всѣхъ странъ состоятъ почти сплошь изъ однѣхъ только преступныхъ натуръ! Вернемся, однако, къ П — ву.

Среди всѣхъ тѣхъ крупныхъ и мелкихъ преступленій и безчинствъ, которыя совершалъ П — въ, онъ съ особой страстью предавался тому же, чему предается и въ сумасшедшемъ домѣ. Писалъ стихи.

Его муза—мрачная и жестокая.

И самъ П — въ занимается поэзіей мрачно. Онъ безпрестанно пишетъ стихи, а затѣмъ рветъ ихъ на мельчайшіе клочки, чтобъ никто потомъ собрать не могъ, или жжетъ.

— Почему же?

— А такъ!

— Не нравятся они вамъ, что ли?

— Одни не нравятся. Не сильно какъ-то сказано. Хочется поздоровѣй, посильнѣе, покрѣпче сказать. А другіе... Кто ихъ читать-то будетъ? Смѣяться еще будутъ. Пусть ужъ не знаютъ, что въ нихъ написано.

Самолюбивъ П — въ страшно, о стихахъ своихъ самаго „поэтическаго“, т.-е. высокаго мнѣнія.

И когда я сказалъ ему, что его стихи могутъ быть и напечатаны, расцвѣлъ и засыпалъ меня стихами.

— Здѣсь не передъ кѣмъ говорить, что здѣсь? Каторга! Развѣ это люди?! — съ невыносимымъ презрѣніемъ говорилъ П — въ, — а тамъ люди съ понятіемъ. Поймутъ мои мысли.

— Ну, а если при этомъ напечатаютъ и про всѣ ваши дѣянія? — спросилъ его какъ-то докторъ.

— Пусть! — отвѣчалъ П — въ, — только бы стихи-то напечатали.

И этому безсознательному декаденту-поэту было бы, вѣроятно, очень пріятно, если бъ онъ прочелъ въ печати вотъ это стихотвореніе, которое онъ самъ признаетъ лучшимъ:

Убійца.

Гдѣ ты найдешь, убійца изступленный,
Покой покрова милостивыхъ крылъ.
Когда стоишь собой приговоренный,
Что ты убилъ.

Повсюду тѣнь убитаго тобою,
Кого лишилъ ты жизни, дара силъ,
Бредетъ въ крови медлительной стопою,
Вопитъ: „убилъ!“

Зачѣмъ ты въ храмѣ ищешь утѣшенья,
Тогда какъ онъ, который жилъ,
Рукой твоей онъ потерпѣлъ крушенье,—
И ты убилъ.

Пускай весь міръ, прощая и съ привѣтомъ,
Изъ жалости тебя, убійца, осѣнитъ,
Тебя разитъ, какъ пуля рикошетомъ:
„Тобой убитъ“.

О, сынъ грѣха! Ты! Трусъ, въ крови залитой.
Да гдѣ же совѣсть? Не было, иль спитъ?
Бѣги... Куда? Всякъ путь, тебѣ закрытый,
„Убилъ!“ кричитъ.

III.

„Paklin“,—такъ, непремѣнно „по-французски“ подписываетъ стихи своимъ бродяжескимъ именемъ сс.-каторжный Паклинъ.

„Paklin“ любитъ немножко порисоваться и самолюбивъ страшно.

— Я изъ-за своего самолюбія-то сколько вытерпѣлъ! — говоритъ и имѣетъ право сказать онъ.

Паклинъ былъ присланъ въ Корсаковскъ тогда, когда тамъ былъ начальникъ тюрьмы, не признававшій непоротыхъ арестантовъ.

— Я ночей не спалъ, дрожалъ при мысли одной: а вдругъ меня выпоретъ! — говоритъ Паклинъ, — случись это, — не сдобровать бы ни мнѣ ни ему. По этой кожѣ плеть не ходила, и, можетъ, походитъ только одинъ разъ.

Онъ волнуется, онъ дрожитъ при одной мысли, все лицо его покрывается красными пятнами, глаза становятся злыми.

Чтобъ избѣгнуть возможности порки, Паклинъ добровольно вызвался относить тягчайшую изъ работъ, отъ которой какъ отъ чумы бѣгутъ каторжане: предложилъ пойти сторожемъ на заливъ Терпѣнія.

Богъ знаетъ, для чего существуютъ эти сторожевые посты въ глухой тайгѣ, на берегу холоднаго, бурнаго залива. Тайгу или море сторожатъ?

Жизнь на такомъ сторожевомъ посту — это одиночное заключеніе.

Даже бѣглые не заходятъ туда. Иногда только забредутъ айны, вымирающіе дикари, аборигены Сахалина, зимой одѣтые въ соболя, лѣтомъ въ платье, сшитое изъ рыбьей кожи.

Отъ этой „каторги“ отказываются всѣ каторжане: лучше ужъ пусть порютъ въ тюрьмѣ.

Три года выжилъ Паклинъ въ этомъ добровольномъ одиночномъ заключеніи среди тайги, пока не смѣстили смотрителя тюрьмы. Тогда онъ вернулся въ постъ къ людямъ, — такъ и оставшись не поротымъ.

Паклинъ изъ казаковъ. Онъ совершилъ убійство въ ссорѣ, бѣжалъ, раздобылся гдѣ-то паспортомъ какого-то Паклина и занялся грабежами.

Онъ очень любитъ читать, и любимымъ его чтеніемъ „въ тѣ поры“ были книжки, гдѣ говорилось „о разбойникахъ“.

Онъ брезговалъ мелкими кражами, какъ брезговалъ и убійствами.

— Зачѣмъ убивать? Пригрозить только надо. Который человѣкъ интеллигентный, — онъ и словъ послушаетъ. Ему растолкуешь, онъ и самъ пойметъ: лучше ужъ денегъ лишиться, чѣмъ жизни.

Ему везло: Паклинъ все нападалъ на „интеллигентныхъ“ людей. Совершая большіе кражи и грабежи, всегда съ сообщниками, Паклинъ долженъ былъ переѣзжать изъ города въ городъ.

— Заѣду въ городъ, попьянствую, покучу, потомъ накуплю своихъ любимыхъ книжекъ и читаю. Въ засосъ читалъ, съ утра до ночи. Спать даже часто не могъ: ночи напролетъ читалъ.

— И все про разбойниковъ?

— Только про нихъ и читалъ. Въ головѣ все, бывало, ходуномъ ходитъ: въ ихъ положеніе вхожу. Все себя на ихъ мѣсто представляю. „Вотъ бы, думаю, такимъ быть“.

Попался Паклинъ на убійствѣ одного духовнаго лица на югѣ.

Жертва оказалась человѣкомъ не „интеллигентнымъ“.

И надо видѣть, съ какимъ презрѣніемъ и насмѣшкой отзывается Паклинъ о своей жертвѣ.

— Говоритъ вдругъ намъ: „Кого вы убиваете? На кого руку поднимаете?“ Тоже! Обѣтъ нестяжанія далъ, а у самого денегъ куры не клюютъ.

Паклинъ забрался на грабежъ вдвоемъ.

Товарищъ денегъ искалъ, а Паклинъ держалъ жертву и „уговаривалъ“.

— Не кричите! Мы только имущество ваше возьмемъ, а васъ не тронемъ.

Пока товарищъ ломалъ комодъ, столы, — жертва была по-

Инородцы Сахалина. Группа Айнцевъ.

койна. Когда подошелъ къ укладочкѣ: старикъ поблѣднѣлъ весь, словно полотно сдѣлался, откуда сила взялась, рванулся изъ рукъ, глаза страшные сдѣлались... Такое меня омерзѣніе взяло: вѣдь вотъ какъ человѣка жадность обуяла. Я его ножомъ по горлу и хватилъ.

И разсказывая это,—рыжій, покрытый веснушками, заикающійся Паклинъ улыбается презрительной улыбкой.

Таковъ Паклинъ, пишущій въ своей записной книжкѣ:

— „Лежу на утесѣ“ около маяка, въ шестидесяти шагахъ отъ кладбища, и смотрю на гладь широкаго моря. Все тихо,— и грустно въ груди, и душа моя томной думой полна...

„Придутъ и здѣсь меня оставятъ, —
Враги мои, друзья мои! —,
Крестъ надо мною не поставятъ,
Зароютъ здѣсь отъ васъ вдали.
Никто ко мнѣ ужъ не придетъ
Поплакать изъ родни съ тоской,
На памятникѣ не прочтетъ, —
Ни сколько жилъ, ни кто такой...
И на курганъ забытый мой
Лишь соловей вспорхнетъ весной,
Лишь онъ нарушитъ мой покой,
Онъ, — восхищенъ весны красой,
Онъ будетъ пѣть, но не разрушитъ
Тѣхъ сновъ могилы чѣмъ полны;
И пѣснь его ужъ не нарушитъ
Моей могильной тишины“...

Чѣмъ это обращеніе къ соловью хуже Лясенеровскаго обращенія къ фіалкамъ, которыя вырастутъ на его могилѣ?

И тамъ и здѣсь звучитъ та же сантиментальность, замѣняющая чувство у жестокихъ натуръ.

— Такой я въ тѣ поры негодяй былъ! — говоритъ Паклинъ, разсказывая о прошломъ.

Книги, которыя онъ тогда такъ любилъ, онъ называетъ не иначе, какъ „дрянными“. О себѣ, тогдашнемъ себѣ, онъ отзывается не иначе, какъ о „негодяѣ“.

Три года, проведенные въ одиночествѣ, среди природы, сильно измѣнили Паклина. Въ эти три года онъ велъ записки объ айнахъ, которые иногда заходили къ нему. Паклинъ приглядывался къ ихъ жизни, наблюдалъ, и чѣмъ больше наблюдалъ, тѣмъ человѣчнѣе и человѣчнѣе относился къ бѣднымъ, судьбой обиженнымъ дикарямъ.

— „Прежде,—пишетъ онъ въ своихъ наивныхъ запискахъ,— я смотрѣлъ на этихъ айновъ, какъ всѣ: не люди. Подстрѣлить, — взять у него соболей, да и все. Но какъ больше присмотрѣлся, вижу, что это вздоръ и невѣжество. Айны такіе же люди, очень хорошо между собою живутъ. Честные и добрые, только очень бѣдные. И у нихъ есть Богъ, только неправильный, а о правильномъ имъ вѣдь никто не объяснялъ. А душа у нихъ такая же и такъ же молиться хочетъ“.

Теперь отъ прежняго гордаго, заносчиваго, нелюбимаго даже каторгой за презрительный нравъ и за гордость Паклина — не осталось и слѣда.

Инородцы о. Сахалина. Дѣти гиляковъ.

— Теперь я тише воды, ниже травы. Обидятъ — стерплю! — улыбаясь говорилъ Паклинъ, и на его отталкивающемъ лицѣ играетъ милая, добрая улыбка, — другой разъ и не стерпѣлъ бы, да вспомнишь про жену и про дѣтей, — ну, и покоришься.

Въ Корсаковскѣ Паклинъ получилъ въ „сожительницы“ молодую, хорошенькую дѣвушку, „скопческую богородицу“, сосланную на Сахалинъ. Она народила ему дѣтей. Паклинъ превратился въ нѣжнаго, любящаго мужа и отца, отличнаго работящаго хозяина.

Заживъ „людской жизнью“, по его выраженію, Паклинъ сталъ вникать въ людскія горести и нужды, и въ его стихахъ, которые онъ писалъ и пишетъ постоянно, зазвучали иныя ноты. Рѣже стало попадаться „я“, и въ стихахъ зазвучали, такъ сказать, „гражданскіе мотивы“.

„Есть кусочекъ земли
Между синихъ морей,
Обитаемъ звѣрьми
И пріютъ дикарей.
Надъ нимъ свѣтитъ луна,
Солнце грѣетъ тепло,
И морская волна
Лижетъ берегъ его.
Не было, какъ сейчасъ,
Изъ Руси никого.
Называютъ у насъ
Сахалиномъ его.
Были видны однѣ
Лишь вершины хребтовъ,
А теперь поглядишь,
Сколько селъ и портовъ!
И теперь, каждый годъ,
Лишь настанетъ весна,
„Ярославль“ пароходъ
Уже тянетъ сюда
Осужденныхъ навѣкъ,
Негодящій народъ.
Сотенъ семь человѣкъ
Привезетъ пароходъ.
Проворчитъ капитанъ,
Не уронитъ слезу:
— „Ждите, осенью вамъ
Я сестеръ привезу“.
Обливаясь слезьми,
Остается народъ.
Ужъ на берегъ свезли,
И ушелъ пароходъ.
А на пристани къ намъ
Ужъ конвой приступилъ.

Толстобрюхій „Адамъ“ [1])
Окружной прикатилъ.
А за нимъ пѣшкурой
И смотритель идетъ.
Говоритъ окружной:
— Принимайте народъ!
— Гдѣ же писарь? Скорѣй
Перекличку! — Сейчасъ!
— Ерофеевъ Андрей,
Черемушниковъ Власъ,
Разуваевъ Еремъ!
Раздѣваевъ Ѳедотъ,
Растегаевъ Пахомъ!
По порядку идетъ.
Вотъ подходитъ одинъ,
Говоритъ: — Эге, братъ!
Ты, какъ видно, „Иванъ“,
У тебя волчій взглядъ!
Ты бродяга? — „Кто я?“
— Говори, негодяй!
— Кто-де я? [2]) - Вишь, свинья!
Эй, палачъ, разгибай!
Запорю! Водку пьешь?
Никакъ нѣтъ, я не пью!
— Здѣсь бродяжить пойдешь,
Въ кандалы закую.
Мнѣ покоренъ здѣсь всякъ,
До небесъ высоко...
Въ мигъ узнаешь маякъ... [3])
До царя далеко!
Безъ вины дать бы сто [4]),
Наказать бы я могъ!
Для меня вы ничто,
Я вамъ царь, я вамъ Богъ [5]).

— Ради Бога, — просилъ меня Паклинъ, — напечатайте мои стихи. Пусть дойдетъ до людей стонъ заживо похороненнаго человѣка.

Таковъ „Paklin“.

IV.

Съ бродягой Луговскимъ я познакомился при очень трагическихъ обстоятельствахъ.

Онъ сидѣлъ въ одиночкѣ въ кандальномъ отдѣленіи Онорской тюрьмы и думалъ:

„Повѣсятъ или не повѣсятъ?“

---

[1]) Тюремная кличка кого-то изъ служащихъ.
[2]) Обычная манера бродягъ не отвѣчать на вопросъ о званіи.
[3]) Около маяка въ посту Корсаковскомъ—кладбище.
[4]) Начальникъ округа имѣетъ право дать безъ суда и слѣдствія, по единоличному распоряженію, до 100 розогъ и до 30 плетей.
[5]) Любимая поговорка сахалинскихъ служащихъ, очень нелюбимая каторжанами.

Наканунѣ онъ, писарь тюремной канцеляріи, въ пьяномъ видѣ убѣжалъ, захвативъ револьверъ и „давши клятву передъ товарищами“ застрѣлить бывшаго смотрителя тюрьмы, пріѣхавшаго въ Оноръ за вещами.

Всю ночь въ смотрительской квартирѣ, гдѣ остановился и бывшій смотритель, не спали, ожидая выстрѣла въ окно. На утро Луговского поймали.

Шелъ споръ. Бывшій смотритель, раздраженный, разозленный, кричалъ:

— Вамъ хорошо говорить, — не васъ хотѣли убить. А у меня жена, дѣти. Вы этого не смѣете такъ оставить! Я губернатору донесу. Каторга и такъ распущена. Пусть его судятъ за то, что хотѣлъ меня убить. Надо дать каторгѣ примѣръ!

За такія дѣянія на Сахалинѣ смертная казнь.

Новый начальникъ, болѣе мягкій, уговаривалъ его не начинать дѣла:

— Это было просто пьяное бахвальство. Высидитъ за это въ карцерѣ, — да и все!

Эти споры тянулись двое сутокъ.

Луговской зналъ о нихъ, — и когда я заходилъ къ нему утѣшить и ободрить, онъ со слезами на глазахъ и со смертной тоской въ голосѣ говорилъ:

— Одинъ бы конецъ! Только скорѣй бы! Скорѣй съ этого свѣта!

Преступленіе, за которое Луговской попалъ въ каторгу, это то же преступленіе, за покушеніе на которое мы такъ аплодируемъ Валентину въ „Фаустѣ“.

Онъ убилъ обольстителя своей сестры.

Попавъ за это въ среду профессіональныхъ убійцъ, грабителей, людей-звѣрей, — Луговской, по его словамъ, „испугался“ и бѣжалъ...

Подъ бродяжеской фамиліей Луговского его поймали, „водворили на заводскія работы“, т.-е., вновь въ каторгу. И вотъ началось безпрерывное паденіе. У Луговского отличный почеркъ,— каторга сначала заставляла его поддѣлывать разные необходимые ей документы, затѣмъ онъ началъ самъ этимъ заниматься.

— До чего доходилъ! За рубль, за полтинникъ нанимался!— рыдалъ, вспоминая прошлое, Луговской, — да что за полтинникъ! За шапку старую, рваную нанялся документъ поддѣлать,— до того весь пропился!

Онъ пилъ, за вино готовъ былъ на все.

— А что оставалось дѣлать? Такимъ я въ каторгу пришелъ!

Онъ попадался. Его пороли розгами и плетьми.

Инородцы о. Сахалина. Гиляцкая юрта. Вверху живутъ люди, внизу—собаки.

И вотъ теперь этотъ „Валентинъ“ валялся передо мной на нарахъ, — бился, рыдалъ, распухшій, образъ человѣческій потерявшій отъ пьянства.

Бился и рыдалъ:

— Хоть бы поскорѣй съ этого свѣта! Довольно. Ничего на немъ, кромѣ мученій, нѣтъ.

Побѣдилъ въ спорѣ новый смотритель. Черезъ два дня злость, вызванная пережитымъ страхомъ, у стараго смотрителя улеглась, и онъ согласился на тотъ „поворотъ“, который, въ сущности, дѣло и имѣло: угрозы Луговского были признаны просто пьянымъ бахвальствомъ, и наказаніе за нихъ положено — недѣля карцера. „Дѣла“ рѣшено было не возбуждать.

Радостную вѣсть Луговскому принесъ я. Онъ сначала не вѣрилъ, потомъ расплакался. Ослабѣлъ какъ-то весь. Сидѣлъ на нарахъ блаженно улыбаясь, на него напала болтливость. Онъ говорилъ много, много, зарекался пить, разсказывалъ о своихъ страхахъ и, между прочимъ, сказалъ:

— А я было совсѣмъ съ землей простился. Думалъ на воздухѣ висѣть, — и стихи даже написалъ.

— А вы пишите стихи, Луговской?

Онъ конфузливо улыбнулся:

— Малодушествую.—Одно мое утѣшеніе.

И, разговорившись о стихахъ, указалъ мнѣ своего товарища, тоже писаря, трезваго, тихаго и милаго молодого человѣка:

— У Гриши возьмите мои стишки. У него тетрадочка. У него— и отъ себя прячу-съ, чтобъ въ пьяномъ видѣ тетрадочку не растерзать. Въ пьяномъ видѣ я все крушить, рвать, ломать готовъ. Въ трезвомъ — я человѣкъ тихій, ничтожный, а въ пьяномъ злость на меня нападаетъ.

— Ну, а теперь вы какіе же стихи, Луговской, написали?

— Какіе ужъ у меня стихи! — улыбнулся Луговской, — смѣяться только будете. Я вѣдь не доучился-съ. Мнѣ бы еще учиться надо, а меня въ каторгу.

— Ну, прочтите. Зачѣмъ смѣяться?

Луговской досталъ изъ кармана лоскутокъ бумаги, на которомъ онъ огрызкомъ карандаша написалъ стихи:

— Утромъ проснулся. О своихъ, которые тамъ остались, о прежнемъ вспомнилъ, — ну, написалось...

И онъ прочелъ:

„Пришла пора, друзья, проститься
Мнѣ съ свѣтомъ солнечныхъ лучей
И съ смертью рано помириться,
Какъ съ моремъ мирится ручей.
Ручья конецъ въ томъ бурномъ морѣ,
И волнъ сѣдыхъ его страшась,

Инородцы о. Сахалина. Гиляки. Зимняя почта.

Журчитъ и стонетъ въ лютомъ горѣ
Онъ, съ горъ по камешкамъ струясь.
А мой конецъ въ житейскомъ морѣ,
Въ глуши, далеко отъ людей,
Въ странѣ суровой, на просторѣ,
Гдѣ судъ свершаютъ безъ судей..."

Такое стихотвореніе написалъ въ одиночной камерѣ кандальной тюрьмы, ожидая петли, этотъ человѣкъ, ничего, кромѣ каторги, не видавшій въ жизни и писавшій стихи.

Въ тетрадкѣ, которую я взялъ почитать у его товарища, была вся его жизнь. Все, что онъ видѣлъ и чувствовалъ, складывалось въ его головѣ въ созвучія, часто убогія по формѣ, всегда дышавшія ужасомъ и скорбью.

Я приведу отрывокъ одного „письма изъ-за гроба", описывающаго дѣйствительное происшествіе, случившееся въ 1887 г. въ Хабаровскѣ, при казни каторжанина Легкихъ, убившаго на карѣ надзирателя — „нарядчика".

„Но не взирая на лишенья,
На трудность тягостныхъ работъ,
Нарядникъ злой безъ сожалѣнья
Все больше угнеталъ народъ.
Я не стерпѣлъ... Одно мгновенье...
Досужій часъ я улучилъ,
Въ минуту гнѣва, раздраженья
Того нарядчика убилъ.
И пала жертва моей мести,
Ударъ былъ вѣренъ и тяжелъ...
Пока неслися о томъ вѣсти,
Я самъ съ признаніемъ пришелъ.
И вотъ, друзья, въ каютѣ темной
Еще съ полгода я сидѣлъ,
Томясь, какъ прежде, думой черной,
На Божій свѣтъ ужъ не глядѣлъ.
Меня тамъ судьи навѣщали,
Священникъ изрѣдка бывалъ,
А что въ награду обѣщали, —
Объ этомъ я заранѣ зналъ.
Замкомъ секретнымъ застучали,
Приклады стукнули объ полъ,
И страшно, страшно прозвучали
Слова, — чтобъ къ исповѣди шелъ.
Священникъ встрѣлъ благословляя
Меня какъ сына своего
И добрымъ словомъ утѣшая,
Желалъ за гробомъ мнѣ всего...
Затѣмъ, палачъ рукой проворной
На шею петлю мнѣ надѣлъ,
И этой петлею позорной
Отправить къ праотцамъ хотѣлъ.
Но тутъ судьба мнѣ „улыбнулась",

Веревка съ трѣскомъ порвалась,
На мигъ дыханіе вернулось,
И жизнь тихонько подкралась.
Не радъ я былъ, что грудь дышала,
Не радъ былъ видѣть бѣлый свѣтъ,
Душа моя уже витала
Далеко, — тамъ, гдѣ жизни нѣтъ.
Я жаждалъ смерти, какъ лѣкарства,
Искалъ ея, какъ будто мать,
Чтобы скорѣй свои мытарства
Ей вмѣстѣ съ жизнью передать...“

Такими картинами полна его тетрадь, какъ и его жизнь!

„Отхлопотавшій“ Луговского смотритель былъ страшно радъ за него:

— Превосходнѣйшій человѣкъ! Мягкій, тихій, кроткій. Только вотъ выпьетъ, — въ остервенѣнье приходитъ. Да ему нельзя и не пить!

VI.

Нигдѣ не пишутъ столько стиховъ, какъ въ Россіи. Спросите объ этомъ у редакторовъ газетъ и журналовъ. Сколько они получаютъ стиховъ, написанныхъ, по большей части, безграмотно, каракулями. Нигдѣ нѣтъ столько стихослагателей-самоучекъ.

Стихослагатель-самоучка изъ простонародья относится къ своимъ стихамъ, какъ къ чему-то священному. Товарищи надъ нимъ подтруниваютъ, часто насмѣхаются, но втайнѣ все-таки имъ гордятся:

— Вотъ, молъ, какой въ нашей артели, въ нашемъ лабазѣ, въ нашей лавкѣ человѣкъ есть! Стихи писать можетъ!

Сахалинъ — капля большого моря. И капля такова же, какъ море.

На Сахалинѣ пишется страшная масса стиховъ. Сборнички этихъ стиховъ, чисто-начисто переписанные, часто съ очень фигурно разрисованной первой страницей, хранятся въ тюрьмахъ, какъ что-то очень важное, очень цѣнное, у каторжанъ въ „укладочкахъ“, — въ маленькихъ сундукахъ, стоящихъ въ головахъ на нарахъ, — гдѣ хранятся чай, сахаръ, деньги, табакъ, портреты близкихъ, у кого они есть, письма „изъ дома“.

Такую тетрадочку я получалъ на просмотръ только тогда, когда тюрьма хорошо со мной знакомилась, когда я заслуживалъ ея расположеніе и полное довѣріе.

Тюрьма страшно интересовалась:

— Ну, что?

И, слыша, что „стихи отличные, хоть сейчасъ печатать можно“, тюрьма расцвѣтала и гордилась:

— Вотъ, какіе у насъ люди есть!

По формѣ это, по большей части, подражаніе Кольцову.

Вотъ истинный русскій народный поэтъ. Грамотность сказывается. Каторга поетъ, какъ пѣсни, массу кольцовскихъ стихотвореній. И когда человѣкъ хочетъ вылить свои думы и чувства,—кольцовская форма и кольцовскій духъ оказываются самыми подходящими къ его душѣ.

По содержанію—это масса обращеній „къ ней“, къ далекой „роднѣ“, къ „друзьямъ и братьямъ“, къ своей „будущей могилѣ“.

Страшная масса жалобъ на судьбу, на людей, на окружающихъ, на несправедливость. Масса жалобъ на утрату вѣры, надежды, любви. Почти иногда — самобичеваніе.

Это то же содержаніе, что и содержаніе всѣхъ разговоровъ всѣхъ каторжанъ.

Сахалинъ „созданъ“, — и ради этого истрачена страшная уйма денегъ, — для исправленія преступниковъ.

Девизъ этого „мертваго острова“:

— Возрождать, а не убивать.

Если исправленіе и возрожденіе немыслимы безъ раскаянія,—то Сахалинъ не исполняетъ, не можетъ исполнять своего назначенія.

Все, что дѣлается кругомъ, такъ страшно, отвратительно и гнусно, что у преступника является только жалость къ самому себѣ, убѣжденіе въ томъ, что онъ наказанъ свыше мѣры, и, въ сравненіи съ наказаніемъ, преступленіе его кажется ему маленькимъ и ничтожнымъ. Чувство, совершенно противоположное раскаянію!

Въ его умѣ живетъ эта мысль, — конечно, не такъ только формулированная:

Велика изобрѣтательность человѣческая по части преступленій, но до сихъ поръ еще не изобрѣтено такого преступленія, которое заслуживало бы такой каторги, какъ сахалинская.

Я вообще не вѣрю въ спасительность страданій. Страданія только ожесточаютъ человѣка. Недаромъ самые жестокіе и безчеловѣчные надзиратели изъ бывшихъ каторжанъ.

Но, и помимо этого, какого хорошаго результата можно ждать отъ того, что вы посадите человѣка въ помойную яму?

А Сахалинъ — это помойная яма.

Ужасная и отвратительная яма, гдѣ люди совсѣмъ живые, и люди „еще живые“ свалены въ одну кучу, среди людей, разлагающихся и разложившихся. Придавлены разложившимися.

Конечно, отъ такого сосѣдства — живой задохнется, а не мертвый воскреснетъ.

Вотъ почему сахалинское житье-бытье располагаетъ только къ жалости къ самому себѣ, а отнюдь не къ раскаянію.

И это такъ. Спросите у любого человѣка, хорошо знающаго Сахалинъ:

— Видали вы среди каторжанъ — кающихся, такихъ, которые смотрѣли бы на наказаніе сахалинской каторгой какъ на вступленіе своей вины?

Вамъ отвѣтъ:

— Нѣтъ.

За все время я встрѣтилъ только одного, — говорилъ мнѣ какъ-то докторъ П., человѣкъ умный, чуткій, прослужившій на Сахалинѣ долго и знающій его великолѣпно, — мужичонка-старичокъ такой попался. Онъ былъ приговоренъ за холерные безпорядки, обвинялся въ убійствѣ доктора. Мужичонка слабый, больной; при пріемѣ я его въ лазаретъ хотѣлъ положить. Мужичонка запротестовалъ: „Нѣтъ, ты меня ужъ того... въ каторгу. Жить мнѣ не долго осталось, — по больницамъ буду лежать, грѣхъ свой отработать не успѣю. А у меня грѣхъ есть: доктора мы убили". — „Да ты-то убивалъ?" — „А кто жъ его знаетъ. Народу толпа была, убивали. И я камень бросилъ"... — „Попалъ?" — „Не знаю, попалъ ай нѣтъ, а только что камень бросилъ. Надо отработывать".

Черезъ руки доктора П. прошли тысячи,—и только одинъ, смотрѣвшій на сахалинскую каторгу какъ на что-то заслуженное. Да и тотъ, можетъ-быть, ни въ чемъ неповинный!

Все остальное только жалуется. И только жалобы слышатся и въ стихахъ.

Замѣчательное дѣло. Среди невѣроятной массы сахалинскихъ стиховъ нѣтъ ни одного, написаннаго на тему о побѣгахъ. Нѣтъ ни одной каторжной пѣсни, написанной на эту тему. Старая, теперь совершенно забытая, острожная пѣсня:

„Звенитъ звонокъ. На счетъ сбирайся.
Ламцовъ задумалъ убѣжать.
Съ слезьми съ друзьями онъ простился,
Проворно печку сталъ ломать".

Эта пѣсня осталась единственной.

Я собралъ, кажется, все, что написано въ стихахъ на Сахалинѣ, и напрасно искалъ:

— Нѣтъ ли чего про побѣги?

„Побѣгъ", это — затаенная мечта каторжника, послѣдняя надежда, единственное средство къ избавленію, для тюрьмы

„самая святая вещь“, — о побѣгахъ не только не пишутъ, о нихъ не говорятъ.

Самая оживленная, задушевная, откровенная бесѣда въ тюрьмѣ моментально умолкаетъ, какъ только вы упомянули о побѣгахъ.

Объ этомъ можно только молчать.

Это слишкомъ „священная“ вещь, чтобы о ней говорить даже въ стихахъ.

VII.

Сахалинская каторга создала свою особую эпическую поэзію.

Это—циклъ „Онорскихъ стихотвореній“, разбросанныхъ по всѣмъ тюрьмамъ. „Иліады“ Сахалина.

Это отголоски онорскихъ работъ, знаменитыхъ, безсмысленныхъ, безцѣльныхъ, нечеловѣческихъ по трудности, сопровождавшихся ужасами, массой смертей, людоѣдствомъ.

По большей части такія стихотворенія носятъ названіе: „отголоски ада“.

Часто неуклюжія по формѣ, они полны страшныхъ картинъ.

Я приведу вамъ отрывки такого „отголоска“ принадлежащаго поэту — многократному убійцѣ, отбывавшему каторгу на онорскихъ работахъ.

Это стихотвореніе написано лѣвой рукой: работы были такъ тяжки и смерть въ тундрѣ такъ неизбѣжна, что авторъ этого стихотворенія взялъ топоръ въ лѣвую руку, положилъ правую на пень и отрубилъ себѣ кисть руки, чтобы стать „неспособнымъ къ работѣ“ и быть отправленнымъ обратно въ тюрьму. Такая страшная форма „уклоненія отъ работъ“ практиковалась на онорской просѣкѣ нерѣдко.

Вотъ отрывки изъ этихъ „отголосковъ ада“. Картина при рубкѣ тайги:

„Тамъ, наповалъ убитъ вершиной,
Лежитъ въ крови, убитый трупъ...
Съ нимъ поступаютъ, какъ съ скотиной:
Поднявши въ сторону несутъ.—
Молитвы, бросивъ, не пропѣли...
На нихъ съ упрекомъ посмотрѣлъ,
Лишь воронъ, каркнувшій на ели, —
На зовъ собратій полетѣлъ...“

А вотъ другой отрывокъ, описывающій людоѣдство среди каторжныхъ, случаи котораго были констатированы на онорскихъ работахъ официально:

„И многіе идутъ бродяжить,
Сманивъ товарищей своихъ.
А какъ усталъ,—кто съ нимъ приляжетъ,
Того ужъ вѣчный сонъ постигъ.
Убьютъ и тѣло вырѣзаютъ,
Огонь разводятъ... и шашлыкъ...
Его и имъ не поминаютъ.
И не одинъ ужъ такъ погибъ".

Такихъ картинъ полны всѣ „отголоски ада."

VIII.

Юморъ—одна изъ основныхъ чертъ русскаго народа.

„Не гаснетъ онъ и среди сахалинскаго житья-бытья, воспѣвая „злобы дня".

Служащіе презираютъ каторгу.

Каторга такъ же относится къ служащимъ.

Пищей для юмора поэтовъ-каторжанъ являются разныя „событія" среди служащихъ.

Жизнь сахалинской „интеллигенціи" полна вздоровъ, сплетенъ, кляузъ, жалобъ, доносовъ. Тамъ всѣ другъ съ другомъ на ножахъ, каждый готовъ другого утопить въ ложкѣ воды. И изо всякаго пустяка поднимается цѣлая исторія.

Исторія обязательно съ жалобами, кляузами, часто съ доносами, всегда съ официальной перепиской.

Эта переписка въ канцеляріяхъ ведется писарями изъ каторжанъ же. И, такимъ образомъ, каторга знаетъ всегда все, что дѣлается въ канцеляріяхъ — знаетъ и потѣшается.

Изъ массы юмористическихъ „злободневныхъ" стихотвореній я приведу для примѣра одно, описывающее „исторію", надѣлавшую страшнаго шума на Сахалинѣ.

„Исторія" вышла изъ-за... курицы.

Курица, принадлежащая женѣ одного изъ служащихъ, пристала къ курамъ, принадлежавшимъ женѣ священника.

Жена служащаго и ея мужъ увидѣли въ этомъ „злой умыселъ" и обратились къ содѣйствію полиціи.

Полицейскіе явились во дворъ священника и отнесли „инкриминируемую курицу" на мѣсто постояннаго жительства.

Священникъ въ такихъ дѣйствіяхъ полиціи, конечно, усмотрѣлъ оскорбленіе для себя.

И пошли писать канцеляріи!

Жалобы, отписки, переписки посыпались цѣлой лавиной,— волнуя весь служащій Сахалинъ.

Я самъ слышалъ, какъ гг. служащіе по цѣлымъ часамъ необычайно горячо обсуждали „вопросъ о куриці" и ждали большихъ послѣдствій:

— Еще неизвѣстно, чѣмъ курица кончится!

Тюрьма немедленно воспѣла это въ стихахъ. Вотъ отрывки. Супруга служащаго жалуется своему супругу:

„Ахъ, мой милый, вотъ бѣда!
Я вчера курей смотрѣла;
И та курица, что пѣла,
Помнишь, часто пѣтухомъ,
Вѣдь пропала! И грѣхомъ,
Какъ потомъ и разузнала,—
Прямо къ батюшкѣ попала.
И теперь ужъ у попа
Куричъ цѣлая копа..."

Служащій „обратился къ содѣйствію полиціи", и та поспѣшаетъ „водворить курицу на мѣсто жительства":

„Потъ ручьемъ съ нихъ лилъ, катился,
И песокъ какъ вихорь вился
Изъ-подъ ихъ дрожащихъ ногъ...
Знать, досталось на пирогъ!!!"

Священникъ въ это время выходитъ изъ дома и...

„И лишь онъ ступилъ во дворъ,
Что же видитъ? О, позоръ!
Снявши фраки, сбросивъ сабли,
Руки вытянувъ что грабли,
Полицейскій съ окружнымъ
Словно пляшутъ передъ нимъ!
И, нагнувшись до земли,
Ловятъ курицу они..."

Чѣмъ кончится исторія, — вы знаете:

Канцеляріи пишутъ.

Служащіе волнуются и ждутъ „отъ курицы послѣдствій".

Тюрьма потѣшается, читаетъ стихотвореніе поэта-каторжника.

А въ курятникѣ, по словамъ стихотворенія, происходитъ слѣдующее:

„А въ тотъ мигъ на куросѣстѣ,
Сидя съ курицами вмѣстѣ,
Такъ бѣглянка говорила:
— И зачѣмъ меня родила
Въ бѣлый свѣтъ старуха-мать!
Не дадутъ и погулять!
И что сдѣлать я могу?
Чуть что выйдешь къ пѣтуху,
А глядишь, — тутъ за тобой
Вся полиція толпой!"

Такъ развлекаютъ каторгу.

Группа каторжанъ, обѣдающихъ около своихъ шалашей во время лѣтнихъ работъ.

Преступники душевно-больные.

Въ посту Александровскомъ, — „столицѣ“ Сахалина, — вы часто встрѣтите на улицѣ высокаго мужчину, красавца и богатыря — настоящаго Самсона. Длинные вьющіеся волосы до плечъ. Всегда безъ шапки. На лбу перевязь изъ серебрянаго галуна. Такимъ же галуномъ обшитъ и арестантскій халатъ. Въ рукахъ высокій посохъ.

Онъ идетъ, разговаривая съ самимъ собою. Выраженіе лица благородное и вдохновенное. Съ него смѣло можно писать пророка.

Это Регеновъ, бродяга, душевно-больной.

На вопросъ:

— Кто вы такой?

Онъ отвѣчаетъ:

— Сынъ человѣческій.

— Почему же это такъ?

Мой отецъ былъ крѣпостной. Его всѣ звали „человѣкъ“ да „человѣкъ“. Отецъ былъ „человѣкъ“, — значитъ, я сынъ человѣческій.

Въ тѣ дни, когда Регенову не удается удрать изъ-подъ надзора въ постъ Александровскій и приходится сидѣть въ психіатрической лѣчебницѣ, въ селѣ Михайловскомъ, — онъ занимается цѣлые дни тѣмъ, что пишетъ письма „къ человѣчеству“.

Первымъ вопросомъ его при знакомствѣ со мной — было:

— Вы изъ-за моря пріѣхали?

— Да.

— Скажите, да есть ли тамъ человѣчество?

— Есть!

Регеновъ съ недоумѣніемъ пожалъ плечами.

— Странно! Я думалъ, что всѣ померли. Пишу, пишу письма, чтобъ водворили справедливость, — никакого отвѣта!

„Правды нѣтъ на свѣтѣ“, — это пунктъ помѣшательства Регенова.

— Оттого даже французскій король пошелъ бродяжить! — поясняетъ онъ.

— Какъ такъ?

— Такъ! Нѣтъ нигдѣ правды, онъ и сдѣлался бродягой. Сказался чужимъ именемъ и бродяжитъ.

— Да вы это навѣрное знаете?

— Чего вѣрнѣе!.. Скажите, во Франціи есть король?

— Нѣтъ.

— Ну, такъ и есть. Ушелъ бродяжить. Развѣ безъ правъ жить можно?

У Регенова въ психіатрическомъ отдѣленіи — отдѣльная комната. Подоконники убраны раковинами. На подоконникъ къ нему слетаются голуби, которыхъ онъ кормитъ крошками. Въ комнатѣ съ нимъ живетъ и собака, съ которой онъ иногда разговариваетъ часами:

— Безсловесное! Человѣчество говоритъ, что у тебя замѣчательный нюхъ. Отыщи, — гдѣ правда. Шершъ!

На голыхъ стѣнахъ два украшенія: скрипка, изъ которой Регеновъ, время отъ времени, въ минуты тоски, извлекаетъ душу раздирающіе звуки, „чтобъ пробудить спящія сердца“, — и на почетномъ видномъ мѣстѣ виситъ палочка съ длинною ниткой.

На вопросъ — что это, Регеновъ отвѣчаетъ:

— Бичъ для человѣчества.

Регеновъ очень тихъ, кротокъ и послушенъ, съ докторомъ онъ вѣжливъ, предупредителенъ и любезенъ, — но тюремное начальство ненавидитъ, считая его „вмѣстилищемъ всяческой неправды“.

Есть одна фраза, чтобъ привести этого кроткаго и добродушнаго человѣка моментально въ неистовое бѣшенство. Стоитъ сказать:

— Я тебѣ Богъ и царь!

Надо замѣтить, что у сахалинской мелкой тюремной администраціи есть одно неистовое слово — „законъ“, когда его произноситъ ссыльно-каторжный. Въ устахъ каторжанина это слово приводитъ ихъ въ неистовство.

— Это не по закону! — заявляетъ каторжникъ.

— Я тебѣ дамъ законъ! — кричитъ внѣ себя мелкій сахалинскій чинуша и топаетъ ногами, — я тебѣ покажу „законъ!“

Зато у нихъ есть любимое выраженіе:

— Я тебѣ Богъ и царь!

Я слышалъ, какъ это кричали не только помощники смотрителей тюремъ, но даже старшіе надзиратели!

При словахъ „я тебѣ Богъ и царь“, — глаза Регенова наливаются кровью, синія жилы вздуваются на побагровѣвшемъ лицѣ, онъ вскакиваетъ съ воплемъ:

— Что? Что ты сказалъ?

И бываетъ страшенъ. При его колоссальной силѣ онъ, дѣйствительно, можетъ Богъ знаетъ чего надѣлать.

Другое слово, которое приводитъ Регенова въ изступленіе, — это:

— Терпи!

Онъ страшно волнуется даже при одномъ воспоминаніи объ увѣщавателяхъ, которые приходили увѣщавать его въ тюрьмахъ.

— Ты ѣшь, пьешь, гуляешь, — хорошо тебѣ говорить: „терпи“.

Разсказывая мнѣ объ этихъ увѣщаніяхъ, Регеновъ разволновался и такъ ударилъ кулакомъ по столу, что отъ стола отлетѣлъ уголъ. Было жутко.

Регеновъ съ 18-ти лѣтъ по тюрьмамъ. До 18-ти лѣтъ онъ, подъ своей настоящей фамиліей Толмачова, служилъ въ поварятахъ, а затѣмъ вдругъ пришелъ къ убѣжденію, что „правды нѣтъ на свѣтѣ“ и ушелъ, „какъ французскій король“, бродяжить. Регеновъ — его бродяжеское прозвище. Какъ бродяга, онъ попалъ въ каторгу. Онъ никого не убилъ, никого не ограбилъ и на вопросъ:

— Вотъ вы любите правду, — правду и скажите: этихъ дѣлъ за вами нѣтъ?

Отвѣчаетъ не то, что съ негодованіемъ, а съ изумленіемъ:

— Да развѣ это можно? Развѣ это „правда?“

Но при колоссальной физической силѣ, водворяя правду, онъ натворилъ Богъ знаетъ сколько буйствъ, нанесъ невѣроятное число оскорбленій, „бунтовалъ“ неисчислимое число разъ. И сколько наказаній вынесъ этотъ строптивый, дерзкій, буйный арестантъ-бунтарь! Такъ прошло 25 лѣтъ. Бѣгая съ каторги, съ поселеній, принимая за побѣги плети и розги, Регеновъ прошелъ всю Сибирь и добрался до Хабаровска. Въ Хабаровскѣ онъ сидѣлъ въ кабакѣ, когда туда вошелъ квартальный. Всѣ сняли шапки, кромѣ Регенова.

— Ты почему не снимаешь шапки?

— А зачѣмъ я здѣсь передъ тобой буду снимать шапку? Въ кабакѣ всѣ равны. Всѣ пьяницы.

— Да ты кто такой?

— Бродяга.

— Бродяга?! И смѣешь еще разговаривать? Да знаешь ли ты, что я тебѣ „Богъ и царь?!“

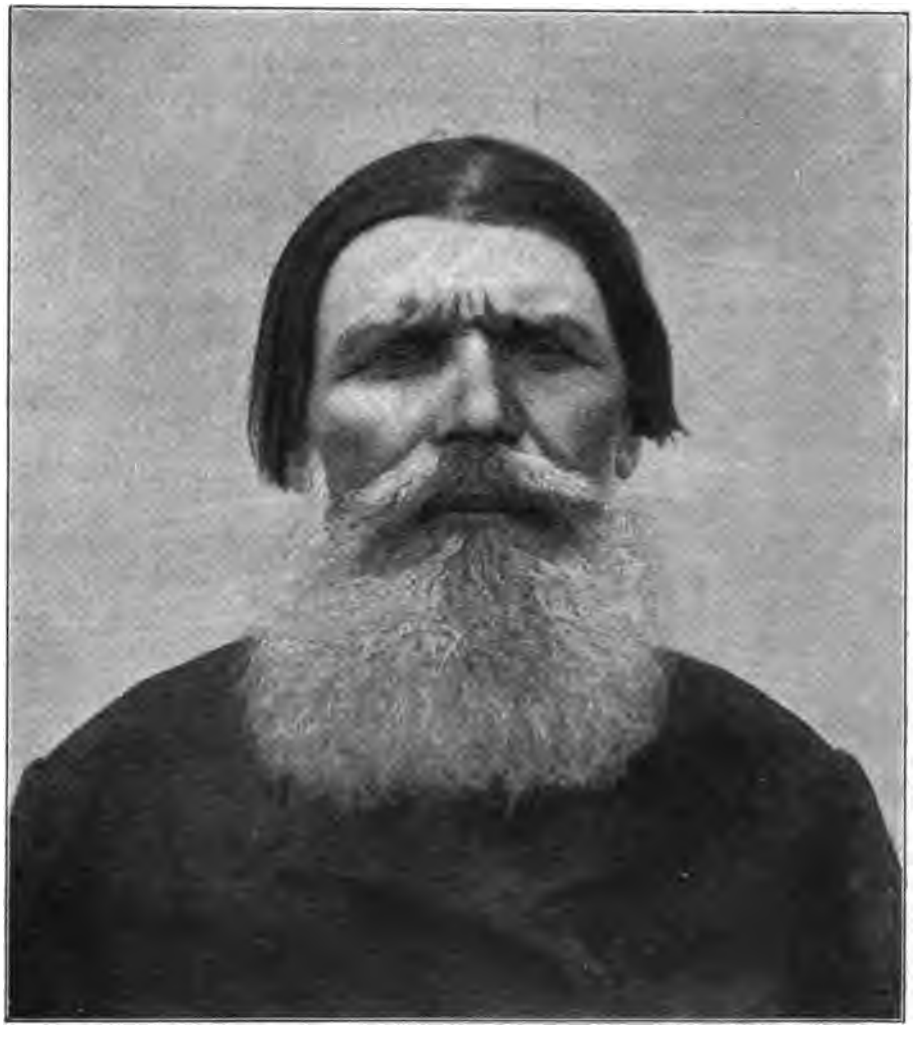
Угораздило квартальнаго сказать эту фразу, „ходовую“ не только на Сахалинѣ, но и во всей Сибири. Что тутъ только надѣлалъ Регеновъ,—Богъ его знаетъ!

— Все билъ! — кратко поясняетъ онъ, вспоминая объ этомъ случаѣ.

Его взяли, какъ бродягу, осудили на полтора года въ каторгу и затѣмъ на поселенье за бродяжество, съ тѣлеснымъ наказаніемъ за побѣги, и сослали на Сахалинъ.

На Сахалинѣ, съ его нравомъ и съ его силой, онъ былъ сейчасъ же зачисленъ въ число опаснѣйшихъ каторжниковъ. Онъ безпрестанно бѣгалъ изъ тюрьмы, и, когда Регеновъ, Коробейниковъ и Заваринъ,—теперь они всѣ трое въ психіатрическомъ отдѣленіи, — появлялись гдѣ-нибудь на дорогѣ, имъ навстрѣчу посылали отрядъ.

— Регеновъ, Коробейниковъ и Заваринъ идутъ изъ Рыковскаго! — это была страшная вѣсть, и пока это тріо не ловили, чиновники остерегались ѣздить изъ Александровска въ Рыковское.



Сахалинскій крестьянинъ изъ ссыльныхъ, судился въ 1851 г., и послѣ того 8 разъ за бродяжничество принялъ 400 плетей.

Этотъ сумасшедшій богатырь, дѣйствительно, можетъ наводить ужасъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, онъ зашелъ въ зданіе карантина, когда тамъ была только-что пригнанная партія ссыльно-каторжныхъ женщинъ, ожидавшая, пока ихъ разберутъ въ сожительницы поселенцы. Регенову приглянулась одна изъ каторжанокъ, — да и ей, видимо, понравился силачъ-красавецъ.

Регеновъ рѣшилъ „начать жить по правдѣ".

— Уне есть человѣку едину быти.

Выгналъ всѣхъ бабъ изъ карантиннаго сарая, выкидалъ всѣ ихъ вещи, оставилъ только понравившуюся ему каторжанку и объявилъ:

— Кто хоть близко подойдетъ къ карантину — убью.

Сарай окружили стражей, но итти никто не рѣшался.

И Регеновъ живой бы не дался, и у нападающихъ были бы человѣческія жертвы.

Рѣшили взять его изморомъ. Нѣсколько дней длилась осада, пока каторжанка, изнемогшая отъ голода, сама не сбѣжала, воспользовавшись сномъ своего сумасшедшаго друга.

Тогда Регеновъ переколотилъ въ „карантинѣ" всѣ окна, переломалъ всѣ скамьи и нары и ушелъ, разочарованный и разогорченный. О женщинахъ съ тѣхъ поръ онъ не желаетъ даже слышать:

— Развѣ онѣ могутъ по правдѣ жить? Имъ бы только жрать!

Въ самый день моего отъѣзда съ Сахалина ко мнѣ, въ посту Александровскомъ, явился Регеновъ:

— Пришелъ проститься. Увидите человѣчество, скажите...

— Да вы спрашивались, Регеновъ, у доктора?

— Нѣтъ.

— Какъ же вы такъ? Опять поймаютъ!

— Нѣтъ!

Регеновъ добродушно улыбнулся.

— Не безпокойтесь. Я на этотъ случай всѣ телефонные столбы выворотилъ.

Селенье Михайловское соединено съ постомъ Александровскимъ телефономъ.

— Шелъ по дорогѣ да столбы и выворачивалъ, чтобъ не могли сказать, что я ушелъ. Всѣ до одного, и проволоки даже перервалъ.

Увы! Любитель правды не солгалъ: это была правда.

При такихъ дѣяніяхъ Регенову приходилось плохо на Сахалинѣ. И такъ длилось до 1897 года, когда на Сахалинъ впервые былъ командированъ „не полагающійся по штату" психіатръ, а впервые же было устроено и психіатрическое отдѣленіе. Психіатръ, едва посмотрѣвъ на „неисправимаго" арестанта-бунтаря, сказалъ:

— Господа! Да вѣдь это сумасшедшій.

И посадилъ его въ свое отдѣленіе, которое быстро наполнилось: въ одномъ 1897 году, въ одномъ посту Александровскомъ, среди каторжанъ оказалось 73 сумасшедшихъ.

Въ психіатрическомъ отдѣленіи Регеновъ быстро успокоился, сталъ кротокъ и послушенъ и только иногда буйствуетъ, входя въ соприкосновеніе съ тюремною администраціей.

— Ужъ его всячески стараюсь отдалить отъ всякихъ соприкосновеній и столкновеній! — говорилъ мнѣ психіатръ. — Многіе и до сихъ поръ не хотятъ понять, что онъ сумасшедшій. А ему бы 25 лѣтъ тому назадъ слѣдовало здѣсь сидѣть.

Типы Сахалина. Сахалинскій крестьянинъ изъ ссыльныхъ, судился въ 1864 г.

Когда я послѣ бесѣды объ увѣщаваніяхъ выходилъ изъ комнаты Регенова, ко мнѣ подошелъ небольшого роста подслѣповатый человѣкъ.

Близорукость вообще развиваетъ подозрительность. Плохо видя, что кругомъ дѣлается, близорукіе всегда держатся немного „насторожѣ“. Но этотъ ужъ былъ сама подозрительность, даже по внѣшности.

Онъ потихоньку сунулъ мнѣ въ руку бумажку, пробормотавъ:

— Прочтите и дайте законный ходъ!

И отошелъ.

— Помягшевъ! — тихо сказалъ мнѣ докторъ, — вѣроятно, доносъ на меня!

Такъ и оказалось. Принимая меня за „завѣдующаго всѣми медицинскими частями", Помягшевъ обвинялъ всѣхъ докторовъ острова Сахалина „въ повальномъ и систематическомъ отравленіи больныхъ ради корыстныхъ выгодъ".

Каждый разъ, какъ мнѣ приходилось бывать въ больницѣ, Помягшевъ крался за мной и высматривалъ откуда-нибудь изъ-за угла, какъ я бесѣдую съ докторомъ. А черезъ нѣсколько дней попалъ доносъ доктору уже на меня. Бумага адресована „г. сахалинскому генералъ-губернатору", и въ ней сообщалось, что „я, завѣдующій всѣми медицинскими частями, изъ корыстныхъ видовъ сошелся съ докторами въ цѣляхъ дурного питанія арестантовъ и присвоенія себѣ причитающихся имъ денегъ".

Помягшевъ титулуетъ себя таинственнымъ репортеромъ Горюновымъ и издаетъ въ психіатрическомъ отдѣленіи рукописный журналъ, съ эпиграфомъ:

— „Cun Deo".

И подъ названіемъ:

„Біографическій журналъ „Разрывные снаряды", въ поэмахъ, стихахъ, пѣсняхъ и карикатурахъ, составляемый таинственнымъ репортеромъ-самоучкою Лаврентіемъ Аѳанасьевичемъ Горюновымъ".

Въ журналъ онъ вписываетъ сентенціи:

— „Изъ слабыхъ людей составилось сильное человѣчество".

И тамъ вы встрѣтите сатирическіе стишки, въ родѣ слѣдующихъ:

„Одесскій адвокатъ Куперникъ
Всѣхъ Плевакъ соперникъ,
Любитъ онъ крупныя дѣлишки,
Которыя учиняютъ грязные людишки.
Три тысячи въ часъ, три тысячи въ часъ,
Крайне жалѣя, что мало такихъ у насъ".

Но это „смѣсь", — главное содержаніе журнала — доносы, гдѣ онъ сообщаетъ, что, „имѣя тончайшій и незвучный, но для меня достаточный слухъ, такого-то числа услыхалъ то-то". Идутъ обвиненія докторовъ, администраціи, надзирателей, арестантовъ во всяческихъ „преступленіяхъ и неправдахъ".

Весь день, съ утра до ночи, Помягшевъ проводитъ въ томъ, что сочиняетъ доносы и жалобы, въ которыхъ проситъ „вчинить къ такому-то искъ и сослать въ каторгу".

Это и привело Помягшева на Сахалинъ.

Онъ — мѣщанинъ одного изъ поволжскихъ городовъ, имѣлъ домишко, заболѣлъ и началъ вчинять ко всѣмъ иски и писать на всѣхъ доносы:

Добиваясь правды.

Это одна изъ самыхъ назойливыхъ и нестерпимыхъ маній, очень распространенная, но мало кѣмъ въ житейскомъ кругу за болѣзнь признаваемая, — манія сутяжничества.

О такой мало кто и слышалъ!

Заболѣвъ сутяжническимъ помѣшательствомъ, Помягшевъ, конечно, просудилъ все, что у него было, по своимъ нелѣпымъ искамъ возстановилъ доносами противъ себя все и вся и, придя въ полное отчаяніе, что „правды нѣтъ", — рѣшилъ обратить на себя „вниманіе правительства". Онъ поджегъ свой домъ, чтобы на судѣ разсказать „всю правду и гласно обнародовать всѣ свои обвиненія".

Но, конечно, когда на судѣ онъ началъ молоть разный вздоръ, не идущій къ дѣлу, — его остановили. Поджогъ былъ доказанъ, — и Помягшевъ попалъ на Сахалинъ.

Временами онъ впадаетъ въ манію преслѣдованія. Его охватываетъ ужасъ. Всѣ кругомъ ему кажутся „агентами сатаны — и онъ самъ находится во власти того же господина сатаны". По временамъ ему кажется, наоборотъ, что на него возложена спеціальная миссія, „водворить правду", онъ впадаетъ въ манію величія и пишетъ распоряженія, въ которыхъ приказываетъ „всѣмъ властямъ острова Сахалина съѣхаться въ 6 часовъ утра и ждать, пока, я таинственный репортеръ, не дамъ троекратнаго сигнала". Эти „приказы", которые онъ передаетъ „по начальству", какъ и доносы, полны отборнѣйшей ругани.

Понятно, что Помягшеву досталась трудная каторга. Доносчика и сутягу ненавидѣли арестанты и не переваривало тюремное начальство. Онъ всѣхъ и вся заваливалъ доносами и жалобами. Его била смертнымъ боемъ каторга и „исправляли" тюремныя власти.

Такъ длилось тоже до 97-го года, когда пріѣхавшій на Сахалинъ психіатръ, наконецъ, взялъ его въ психіатрическое отдѣленіе:

— Да это больной.

— Въ сахалинскихъ тюрьмахъ вообще не мало больныхъ маніей сутяжничества, — говорилъ мнѣ психіатръ, — преступленій, совершаемыхъ для того, чтобъ „обратить на себя вниманіе" и такимъ путемъ „добиться правды", — вообще гораздо больше, чѣмъ думаютъ.

Мнѣ лично много приходилось видѣть на Сахалинѣ арестантовъ, всѣмъ надоѣдающихъ самыми нелѣпыми, неоснова-

тельными жалобами и доносами, тратящихъ послѣдніе гроши, чтобы нанять знающаго арестанта для составленія такой жалобы. Самая нелѣпость фантастичность жалобъ говоритъ за то, что это душевно-больные.

— Вотъ не угодно ли-съ! — воскликнулъ Помягшевъ, когда мы съ докторомъ вошли въ одну изъ палатъ, — не угодно ли-съ!

Жестомъ, полнымъ негодованія, онъ указалъ на больного, который моментально закрылся одѣяломъ съ головой, лишь только мы появились.

— Не угодно ли-съ! Почему человѣкъ прячется? Что здѣсь скрыто? Какая тайна? Не надо на это обратить вниманіе? Не нужно раскрыть? Такъ здѣсь обращаютъ вниманіе на правду?!

И, подергиваясь отъ негодованія, Помягшевъ убѣжалъ, — вѣроятно, писать доносъ.

„Тайна" лежала, притаившись, подъ одѣяломъ.

Это — Юшпаничъ, крестьянинъ Вятской губерніи. Поистинѣ, живая трагедія. Онъ ушелъ изъ дома на золотые пріиски, — на обратной дорогѣ его обокрали: украли деньги и паспортъ. Это такъ повліяло на несчастнаго, что онъ помѣшался. У него явился бредъ преслѣдованія. Ему казалось, что его, Юшпанича, ищутъ, чтобы убить и ограбить. Онъ рѣшилъ лучше перемѣнить фамилію и казался вымышленнымъ именемъ. Его арестовали, какъ безпаспортнаго бродягу, и сослали. Онъ пробылъ на Сахалинѣ три года. Здѣсь, почувствовавъ довѣріе къ доктору, онъ открылъ свое настоящее имя. Пошло разслѣдованіе, — но несчастному ужъ не вернуться на родину.

Бредъ преслѣдованія продолжаетъ его мучить. При появленіи въ палатѣ новаго лица, онъ спѣшитъ закрыться одѣяломъ:

— Начнутъ опять опозновать, снимать карточки. Мученіе.

Только послѣ долгихъ уговоровъ доктора, онъ согласился наполовину открыть лицо.

Ему страстно хотѣлось бы вернуться на родину. Онъ тоскуетъ по своимъ. Но о своемъ „дѣлѣ" — о признаніи его тѣмъ, кто онъ есть, говорить избѣгаетъ:

Сколько тянется! Сколько тянется!

— Вы, можетъ-быть, хотите разсказать господину о вашемъ дѣлѣ? — спросилъ его докторъ.

— Нѣтъ! Нѣтъ! Лучше не говорить, чтобъ не растравлять.

И Юшпаничъ снова юркнулъ подъ одѣяло.

— Дѣйствительно, ужасный случай. Но кому на судѣ, не психіатру, придетъ въ голову, что этотъ бродяга, упорно нежелающій открыть свое званіе, въ сущности, страдаетъ маніей преслѣдованія! — пожалъ плечами психіатръ. — У насъ, какъ видите, слишкомъ мала больница для душевно-больныхъ. И

вы встрѣтите ихъ у насъ, на Сахалинѣ, много въ тюрьмахъ и на свободѣ.

За завтракомъ у доктора я познакомился съ бывшимъ офицеромъ З—вымъ.

— Очень интересный субъектъ! — обратилъ на него мое вниманіе докторъ.

З—въ сосланъ въ каторгу за убійство своего денщика. Онъ подозрѣвалъ свою жену и денщика въ томъ, что они хотятъ его убить „при помощи гипнотизма".

Арестантскіе типы.

— Я уже чувствовалъ-таки! — объяснилъ онъ.

Онъ и на судѣ что-то толковалъ про гипнотизмъ и электричество, а по дорогѣ на Сахалинъ, еще на пароходѣ, сумасшествіе выяснилось окончательно.

Онъ разсылалъ офицерамъ парохода свою рукописную карточку:

— Къ своей мѣркѣ меня... „на"+всепрощеніе мое=трансцендентально вѣрно. Вашъ слуга Н. Д. З—въ.

И ежедневно подавалъ капитану парохода докладныя записки о сдѣланныхъ имъ открытіяхъ и изобрѣтеніяхъ съ просьбой выдать ему поскорѣе милліонъ.

Прежняя манія преслѣдованія смѣнилась бредомъ величія.

Онъ ни одного дня не былъ въ тюрьмѣ, — его прямо съ парохода помѣстили въ больницу, — до того было ясно его помѣшательство.

Теперь онъ тихій и безопасный больной, гуляетъ на свободѣ, надоѣдаетъ сахалинскому начальству, являясь поздравлять каждое воскресенье съ праздникомъ:

— По обязанности службы.

Онъ понемногу впадаетъ въ полное слабоуміе, — своимъ прошлымъ интересуется мало и о гипнотизмѣ отзывается съ усмѣшкой:

— Это мнѣ казалось!—съ пріятнѣйшею улыбкой объяснилъ онъ мнѣ, — я и на судѣ говорилъ, что сдѣлалъ „то“ подъ вліяніемъ электрическихъ токовъ! Но это — пустяки.

Теперь онъ „изобрѣтатель машины Парадоксонъ“ и страдаетъ любовнымъ бредомъ. Онъ увѣренъ, что въ него влюблены дочери и жены всѣхъ чиновниковъ, „назначаютъ ему свиданія“, „дѣлаютъ при встрѣчѣ тайные условные знаки“, но скрываютъ отъ другихъ свои чувства, боясь преслѣдованій.

Въ виду этого онъ пишетъ имъ всѣмъ по очереди письма:

— „Милая Аня! Въ дополненіе прежнихъ обѣщаній, прибавляю 175.000 рублей вамъ отъ меня. Примите сегодня къ себѣ возлюбленнаго мірового генія-олимпійца З—ва, меня. Немедленно помѣстите въ домѣ своемъ меня квартирантомъ. Изобрѣтатель машинъ „Парадоксонъ“. Н. Д. З—въ.

„P. S. Пришлите за мной лошадь“.

Этотъ „колоссальный успѣхъ у женщинъ“, о которомъ онъ съ удовольствіемъ разсказываетъ, заставляетъ его внимательно слѣдить за своей наружностью и тщательно расчесывать свои рыженькія бачки.

— По-своему этотъ „изобрѣтатель“, пожалуй, даже счастливъ! — говорилъ мнѣ психіатръ, — но... дѣло-то въ томъ, что онъ началъ изобрѣтать свою машину Парадоксонъ еще до убійства!

Вотъ нѣкоторыя изъ скорбныхъ тѣней преступниковъ-душевно-больныхъ, которыя возстаютъ въ моей памяти.

Если эти строки подскажутъ читателю мысль, что врачу должно быть больше отведено мѣста на судѣ, — я буду считать свою задачу исполненной.

Сахалинское Монте-Карло.

(Каторжная богадѣльня въ с. Дербинскомъ).

На большомъ дворѣ на травкѣ грѣются на солнышкѣ слѣпые, безногіе калѣки. Кутаясь въ рванье, дрожа старческимъ, избитымъ, истерзаннымъ тѣломъ, бродятъ, „клейменые“: на лѣвой щекѣ буква „К“, на лбу „Т“, на правой щекѣ „С“.

Изъ открытыхъ форточекъ слышны удушающій, затяжной кашель, старческая ругань, сквернословіе, возгласы:

— Бардадымъ [1])!

— Шеперка [2])!

[1]) Король. [2]) Шестерка.

— Братское окошко[1])!

— Атанда[2]).

Это сахалинское „Монте-Карло„, — какъ зовутъ гг. служащіе. Каторжная богадѣльня въ селеніи Дербинскомъ. Она населена нищими, шулерами и ростовщиками.

Начальство туда не заглядываетъ.

— Ну ихъ къ чорту! — говорилъ мнѣ смотритель, довольно интеллигентный человѣкъ, — это остатки отъ „мертваго дома". Пусть догниваютъ!

Арестантскіе типы.

Священникъ пробовалъ ходить, но бросилъ.

— Невозможно-съ! — говорилъ мнѣ дербинскій батюшка, священникъ изъ бурятъ, — ходилъ къ нимъ со святою водой, руганью встрѣчаютъ, сквернословіемъ, издѣвательствами. Тутъ священное поешь, а рядомъ на нарахъ непотребныя слова, хохотъ, каждое твое слово подхватываютъ, переиначиваютъ, кощунствуютъ, смѣются. „Ишь, — кричатъ, — долгогривый, гнусить сюда пришелъ, только играть мѣшаешь. Вонъ убирайся!" И ходить бросилъ. Посрамленіе-съ.

Всякая сахалинская тюрьма — игорный домъ. Но Дербинская богадѣльня славится и въ сосѣднихъ округахъ. „Поиграть въ богадѣльню" пріѣзжаютъ и приходятъ поселенцы съ дальнихъ поселеній.

Когда предвидится хорошая пожива, старики-ростовщики складываются и выставляютъ „хорошій, большой банкъ" — рублей въ 150, въ 200. Старики-игроки, метчики, мечутъ навѣрняка. Понтирующій плутуетъ, какъ можетъ.

[1]) Двойка. [2]) Атандэ.

Тюремная игра непремѣнно и обязательно шулерническая. „Игрокъ“ и шулеръ — понятія равнозначащія. Тюрьма и не понимаетъ игры иначе какъ „съ авантажемъ“. Игра — это состязаніе двухъ шулеровъ: банкометъ старается передернуть, понтеръ — смошенничать и подмѣнить карту. Оба смотрятъ другъ за другомъ въ оба.

Въ Дербинской богадѣльнѣ случаются большіе проигрыши.

При мнѣ — пріѣхавшій поиграть поселенецъ проигралъ все, что было, лошадь, телѣгу, платье съ себя, получилъ „смѣнку“, какое-то рванье, и вышелъ нищимъ.

Грязь и вонь въ камерахъ, гдѣ помѣщается по 40, по 50 стариковъ, невообразимыя.

Старики жалуются:

— Мыло, что на насъ полагается, себѣ берутъ. Бѣльишка нашего не стираютъ!

Бѣлье, никогда не стиранное, расползающееся на тѣлѣ, носится до тѣхъ поръ, пока эти землистаго цвѣта, истлѣвшія лохмотья не свалятся окончательно.

Нары, на которыхъ лежатъ больные, неопрятныя, пропитаны грязью. Кучи лохмотьевъ кишатъ насѣкомыми.

Въ этомъ смрадномъ „номерѣ“, на нарахъ у майданщика, и рѣжутся въ „стосъ“.

Старики стѣной стоятъ вокругъ играющихъ.

Весь „номеръ“ заинтересованъ въ игрѣ. Майданщикъ получаетъ за карты съ банка 10 процентовъ, съ понтирующаго по 5 копеекъ съ поставленнаго рубля. Зато онъ и платитъ каждому человѣку въ номерѣ 20 коп. въ мѣсяцъ, держитъ двухъ парашечниковъ для уборки „номера“, по 1 руб. 50 к въ мѣсяцъ, платитъ по 15 коп. въ день стремщику.

Стремщикъ стоитъ у дверей и, если есть какая-нибудь опасность, говоритъ:

— Вода!

А когда приближается начальство:

— Шесть!

Въ Дербинской богадѣльнѣ начальство не бываетъ никогда. И стремщику, собственно говоря, дѣлать нечего. Но ужъ такой порядокъ: „какъ играть — такъ къ двери ставить“, да и къ тому же „надо дать бѣдному старику что-нибудь заработать“.

Стремщикъ зналъ уже, что я не „вода“, и не „шесть“, и пропустилъ меня свободно.

— Игра?

— Страсть!

На нарахъ у майданщика, изъ татаръ, были налицо всѣ „отцы“, ростовщики богадѣльни. Сидѣли, поджавши ноги, и во всѣ глаза слѣдили за банкометомъ и за понтирующимъ.

Игра шла крупная. „Одинъ на одинъ“. Другіе съ мелкимъ „понтомъ“ и не приступались.

Металъ бродяга Иванъ Пройди-Свѣтъ. Старый каторжникъ, со шрамами на щекахъ и на лбу. Это онъ вырѣзалъ у себя „клейменыя буквы“. Игрокъ метки удивительной:

— Первая по всей богадѣльнѣ метка!

Въ обыкновенное время онъ, дряхлый довольно, когда-то, видно, богатырь, сидитъ себѣ на солнышкѣ и грѣетъ свои старыя „ломаныя“ кости. Развалина,— подумаешь. Но за картами

Сс.-каторжные богадѣльщики въ сельцѣ Дербинскомъ.

онъ перерождается. За картами онъ „строгъ“. Зорокъ поразительно. Въ рукахъ никакой дрожи,— машина. Дергаетъ неуловимо. Мечетъ твердо, съ разстановкой, со стукомъ, отчетливо кладя карту въ карту.

Онъ металъ на маленькомъ, чистенькомъ мѣстечкѣ на нарахъ майданщика. Металъ спокойно, молча, именно, — какъ машина.

— Бита!.. Дана!.. — это кричали ужъ старики, стоявшіе стѣной вокругъ.

До денегъ не притрогивался. Деньги тащили къ себѣ или выплачивали старики „отцы“. Онъ былъ нанятъ только метать.

Поселенецъ, продувавшій ужъ лошадь, дергался. Лицо у него шло пятнами. То блѣднѣлъ, а то краснѣлъ съ ушами.

Выдергивалъ изъ своей колоды карту, ставилъ подъ нее кушъ и смотрѣлъ, на что онъ поставилъ, только тогда, когда открывали „соники“.

Смотрѣлъ мелькомъ, сбоку, чтобы не показать карты другимъ. А кругомъ шелъ „телеграфъ“. Старики подсматривали карту и обмѣнивались условными, незамѣтными знаками. То кто-нибудь почешетъ переносицу, то глазъ, то поищется въ бородѣ. Пройди-Свѣтъ все кругомъ видѣлъ, примѣчалъ и по знакамъ узнавалъ, какая у поселенца карта.

Поселенецъ время отъ времени, какъ разозленный волкъ, оглядывался на стариковъ. И это было страшно. Поселенецъ игралъ съ ножомъ въ голенищѣ, чтобъ, если придется, кого „пришить“. Старики стояли тоже съ ножами, у кого въ сапогѣ, у кого за пазухой, чтобъ „въ случаѣ чего“ пустить ихъ въ дѣло. Иначе въ тюрьмѣ не играютъ.

Пройди-Свѣтъ, открывъ „соники“, останавливался и ждалъ.

— Дальше! — говорилъ поселенецъ.

Пройди-Свѣтъ металъ еще абцугъ и останавливался.

— Дальше!

Пройди-Свѣтъ не двигался.

— Три сбоку! — злобно говорилъ поселенецъ.

Пройди-Свѣтъ металъ до семерки.

— Не та!

Пройди-Свѣтъ металъ до восьмерки.

— Дальше!

Пройди-Свѣтъ клалъ битую шестерку.

Поселенецъ со злобой бросалъ на полъ измятую карту, переступалъ съ ноги на ногу, блѣднѣлъ, краснѣлъ, плевалъ на руку, тасовалъ свою колоду, вырывалъ изъ середины карту, рѣзалъ Пройди-Свѣту колоду и объявлялъ:

— Кушъ подъ картой!

Пройди-Свѣтъ открывалъ „соники“...

Такъ тихо, почти безмолвно, шла игра. Человѣкъ спускалъ съ себя все до нитки.

Коротенькіе перерывы дѣлались, когда поселенецъ торговался за телѣгу, за серебряные глухіе часы, за пиджакъ, картузъ, штаны и жилетку, за сапоги.

Поселенецъ ругалъ нецензурными словами „отцовъ“, отцы ругали нецензурными словами поселенца. И вещи шли почти задаромъ.

— Вѣдь въ гробъ, черти, съ собой не возьмете!

— Молчи, пока не пришили!

— На саванъ вамъ, подлецамъ! Давайте!

Ему выдавались деньги.

Пройди-Свѣтъ сидѣлъ все это время спокойный, равнодушный, словно не видя, что вокругъ него происходило. Совсѣмъ машина, которую остановили.

— Пройди-Свѣтъ, мечи!

И машина начинала работать.

— Поле! — въ послѣдній разъ крикнулъ поселенецъ.

Пройди-Свѣтъ слѣдующимъ же абцугомъ открылъ битаго туза.

— Будя! — сказали въ одинъ голосъ „отцы“.

Старики разступились.

— Вотъ сюды, сюды иди!

Поселенецъ молча прошелъ въ уголокъ, молча скинулъ съ себя все, до шерстяной вязаной рубахи и до нижней рубахи включительно.

Когда онъ снималъ сапоги, изъ праваго голенища выпалъ ножъ и словно провалился сквозь землю: его моментально подобрали.

Поселенецъ одѣлся въ „ризы“, — какую-то рвань, — нахлобучилъ на голову драный арестантскій сѣрый картузъ, и молча вышелъ. На ходу онъ шатался. Идя по двору, жадно дышалъ свѣжимъ, чистымъ воздухомъ. Ноги у него заплетались, какъ у пьянаго. Выйдя изъ воротъ, онъ повернулъ куда-то и зашагалъ, врядъ ли понимая, куда онъ идетъ, зачѣмъ. Видно было только, что шатается человѣкъ все сильнѣе и сильнѣе, да какая-то встрѣчная поселенка, поравнявшись съ нимъ, съ испугомъ шарахнулась въ сторону и долго потомъ глядѣла вслѣдъ быстро шедшему, шатавшемуся на ногахъ человѣку.

А на дворѣ богадѣльни „отцы“ усаживались въ телѣгу и ѣхали сбывать лошадь.

Когда нѣтъ посторонней наживы, старики „рѣжутся“ между собой, отыгрывая другъ у друга тряпье, послѣдніе гроши.

Какія странныя и страшныя фигуры есть среди этихъ людей, вся жизнь которыхъ прошла среди розогъ, плетей, тюремъ, каторги, побѣговъ и погонь.

Вотъ слѣпой старикъ-бродяга... Борисъ Годуновъ.

— Почему ты Борисъ Годуновъ?

— Такъ, смотритель одинъ прозвалъ. Еще въ молодыхъ годахъ. Сошлись насъ въ тюрьмѣ двое Борисовъ бродягъ. „Будь, — говоритъ, — ты по этому случаю Борисъ Годуновъ“. Для отлички.

— А кто былъ этотъ Борисъ Годуновъ-то, которымъ тебя назвали?

— А кто жъ его знаетъ!

За что былъ сосланъ Борисъ Годуновъ первоначально въ каторгу, онъ „никому не открывается“. Въ Сибири, ужъ бѣглымъ, онъ былъ знаменитъ, какъ „охотникъ на людей“: грабилъ и рѣзалъ богомолокъ.

Объ этомъ времени старикъ вспоминать любитъ и, когда вспоминаетъ, по губамъ его ползетъ широкая, чувственная улыбка.

— Много ихъ, богомолочекъ-то, по трактамъ ходитъ. Живился. Заведешься въ такой мѣстности, караулишь. Сидишь за кустомъ, поджидаешь. Идетъ богомолочка къ угодникамъ,— другая бываетъ такая, что хоть бы и сейчасъ...

Старикъ смѣется.

— Выпорхнешь изъ кустовъ, да за глотку. Ну, пользуешься около нея,— да перомъ (ножъ), либо по дыхалу проведешь, либо въ бокъ кольнешь. Готово. Пошаришь. Съ деньжонками богомолочки-то ходятъ. Свои угодникамъ на свѣчки несетъ, изъ деревни — заупокой родителей дадено. Съ деньжонками. Хлѣбца у нея въ котомочкѣ возьмешь, пожуешь,— вотъ я и сытъ.

— И гдѣ жъ все это, на дорогѣ?

— Зачѣмъ на дорогѣ,— въ кустахъ. Возьмешь только на дорогѣ. А потомъ, за ноги, куда подальше въ тайгу оттащишь. Нельзя близко оставлять, смердить богомолка будетъ,— живо на слѣдъ нападутъ. Пойдетъ слухъ, что въ такихъ-то мѣстахъ такой завелся, — ходить опасаться будутъ. Это все по веснѣ дѣлалось да по осени, когда отожнутся. Тутъ бабы къ угодникамъ и ходятъ.

— А лѣто?

— Лѣто гуляешь. Богомолкины деньги есть. А зиму сперва-начала тоже гуляешь, а потомъ въ работникахъ гдѣ живешь, аль-бо поймаешься, въ тюрьмѣ бродягой сидишь. А весна — опять по кустамъ пошелъ... По карціямъ-то (карцерамъ) сидя, я и ослѣпъ — отъ темноты да отъ вони.

И слѣпой, онъ страшный картежникъ. Занимается ростовщичествомъ и изъ „отцовъ“ одинъ изъ самыхъ базжалостныхъ. Держитъ около себя въ черномъ тѣлѣ старика и черезъ него же въ карты играетъ.

— Обманываютъ, небось, старика Годунова?—спрашивалъ я.

— Да, поди, обмани его! Онъ каждую карту наощупь узнаетъ.

Рядомъ съ нимъ гроза всей богадѣльни — Маріанъ Пищатовскій. Пищатовскому всего лѣтъ 45. Онъ приземистъ, скуластъ, широкогрудъ страшно, настоящій геркулесъ. Казенное бѣлье ему всегда узко, и сквозь рукава обрисовываются

Типы сахалинскихъ ссыльно-каторжныхъ.

мускулы необыкновенныхъ размѣровъ. Силенъ онъ баснословно. Тихъ и кротокъ, какъ овца. Но онъ эпилептикъ, и когда начинается съ нимъ припадокъ, — все въ ужасѣ бѣжитъ отъ него.

Благодаря своей болѣзни, онъ и въ каторгѣ.

По словамъ Пищатовскаго, всегда онъ страдалъ головокруженіемъ и „потомъ ничего не помнилъ“. Попавъ въ военную службу, онъ страшно тосковалъ по родинѣ, тутъ „съ нимъ это самое дѣлалось“. Однажды, „самъ не помнитъ какъ“, онъ избилъ унтеръ-офицера. Здѣсь, въ каторгѣ, онъ однажды бросился на конвойнаго. Конвойный ударилъ его штыкомъ въ животъ. У Пищатовскаго прямо страшный шрамъ на животѣ, и доктора понять не могутъ, какъ онъ остался живъ. Пищатовскій согнулъ ружье.

— Я въ тѣ поры, — говоритъ, — страхъ какой сильный бываю!

Въ каторгѣ Пищатовскому приходилось ужасно. Въ припадкахъ онъ все крошилъ вокругъ себя, и арестанты, — „одно противъ меня средство“, говоритъ онъ, — накидывались на Пищатовскаго скопомъ и били его, пока не станетъ, какъ мертвый.

Такъ тянулась его поистинѣ „каторга“, — пока Пищатовскому не помогъ трагикомическій случай.

Тюрьму, гдѣ онъ содержался, посѣтило одно изъ начальствующихъ лицъ. Когда Пищатовскій въ здравомъ умѣ и твердой памяти, онъ, какъ я уже говорилъ, — тихъ и кротокъ, какъ овца. И наивенъ онъ, какъ ребенокъ. Честенъ притомъ удивительно, ни въ какихъ мошенническихъ продѣлкахъ въ тюрьмѣ участія не принимаетъ, а потому совершенно нищій. Пищатовскому и пришла въ голову наивная мысль: „попрошу-ка я у добраго человѣка на чаекъ, на сахарокъ“.

Онъ подошелъ къ начальствующему лицу, поклонился и заявилъ:

— А вѣдь я васъ подстрѣлить хочу...

Разумѣется, тотъ отъ Пищатовскаго въ сторону:

— Въ кандалы его! Заковать!

Пищатовскій глядѣлъ, ничего не понимая:

— Чего это онъ?

Дѣло въ томъ, что „подстрѣлить“ на арестантскомъ языкѣ значитъ попросить милостыню.

Пищатовскій и до сихъ поръ дивится этому происшествію.

— Да онъ подумалъ, что ты его убить хочешь.

— Какъ же убить, коли я говорю: „подстрѣлить“? Убить это называется — пришить.

Пищатовскаго заковали въ ручные и ножные кандалы и посадили въ темный карцеръ. Тутъ съ нимъ сдѣлался припадокъ, и врачи объявили:

— Да какъ же его заковывать и въ карцерѣ держать? Вѣдь онъ эпилептикъ!

Пищатовскаго отправили въ богадѣльню. О своихъ припадкахъ онъ и говорить боится:

— Еще сдѣлается!

По словамъ богадѣльщиковъ, никому спать не даетъ: по ночамъ вскакиваетъ и ругается дикимъ голосомъ.

Лицо у него доброе и несчастное. Языкъ весь искусанъ. Выраженіе лица у него такое, словно онъ боится, что вотъ-вотъ съ нимъ что-то страшное случится. Подпускать его близко боятся: а вдругъ!

— Онъ всѣхъ насъ тутъ перебьетъ! — говорятъ старики.

Чисто отъ чумы, отъ меня всѣ бѣгутъ! — жаловался чуть не со слезами Маріанъ, — а вѣдь я смирный. Развѣ я кому что дѣлаю? Я смирный.

Арестантскіе типы.

Это всеобщее отчужденіе, видимо, страшно тяготитъ и мучитъ несчастнаго Пищатовскаго.

Самые интересные изъ богадѣльщиковъ, или „богодуловъ“, какъ ихъ зовутъ на Сахалинѣ, — конечно, клейменые.

Ихъ ужъ мало. Это призракъ страшной старины. Древняя исторія каторги. Когда еще „клеймили“: палачъ дѣлалъ особымъ приборомъ на щекахъ и на лбу насѣчки: „К“, „Т“, „С“, и затиралъ насѣченныя мѣста черной краской.

— Сначала струпъ дѣлался, а потомъ, какъ струпъ отваливался, — буквы черныя.

Изъ черныхъ онѣ отъ времени стали синими, и, дѣйствительно, страшно видѣть эти буквы на лицѣ человѣческомъ. У нѣкоторыхъ вмѣсто буквъ шрамы: вырѣзано или выжжено каленымъ желѣзомъ.

— Зачѣмъ же это дѣлали? Для бѣговъ?

— Нѣтъ, для какихъ бѣговъ? Все одно, увидятъ шрамъ на лбу да на щекахъ, — значитъ, клейма были, вырѣзалъ. А такъ рѣзали, аль-бо желѣзомъ жгли, чтобъ буквъ не было. Что жъ это! Образа и подобія лишаешься! Другъ на дружку глядѣть было страшно. Чисто, не люди.

Исторія ихъ всѣхъ удивительно однообразна.

Вотъ Казимиръ Круповъ, 70-лѣтній старикъ. Сосланъ былъ еще въ николаевскія времена, за убійство, на 10 лѣтъ. Пробылъ на Карѣ 9 лѣтъ, не выдержалъ, бѣжалъ. Поймали, прибавили 15 лѣтъ срока. Видя, что „все одно, погибать приходится“, — черезъ 2 года снова бѣжалъ. Поймали — каторга безъ срока. Еще въ 1892 году работалъ въ рудникѣ.

— Жизнь чисто нитка! — говоритъ онъ, — никакъ не свяжешь. Ты ее какъ связать хочешь, а она тебѣ рвется, а она тебѣ рвется. Всѣ мы тутъ на ниткѣ живемъ.

Вотъ Дудкинъ Трофимъ, 67 лѣтъ отъ роду, 41 годъ въ каторгѣ. Еще изъ военныхъ поселенцевъ Херсонской губерніи. Былъ осужденъ на 15 лѣтъ каторги за грабежъ и убійство. Пришелъ на Кару, не выдержалъ, бѣжалъ, поймали, прибавили еще 15 лѣтъ каторги. Еще бѣжалъ, еще 15 лѣтъ прибавили. 6 разъ бѣгалъ — каторга безъ срока.

— Да она, все одно, безсрочна была. 45 годовъ, — нешто тутъ срокъ есть?

Вотъ совсѣмъ развалина, Матвѣй Кирдейко, виленскій мѣщанинъ, 83 лѣтъ. Въ каторгу пришелъ еще въ 1858 г. Осужденъ былъ на 12 лѣтъ за убійство и грабежъ. Затѣмъ, черезъ 2 — 3 года бѣжалъ съ Кары, получилъ „прибавку срока“, еще бѣжалъ, еще прибавка. Въ концѣ концовъ — безъ срока.

— А много ль разъ бѣгалъ-то, дѣдушка?

— Разовъ пять, а можетъ, и больше. Нешто теперь вспомнишь? Забылъ я уже все. Изъ откеда я, и изъ какехъ. Знаю только, что безсрочный.

Вотъ Вральцевъ, 70-лѣтній старикъ, изъ крестьянъ Саратовской губерніи. Пришелъ на каторгу на 15 лѣтъ, а отбылъ ужъ 30 и еще долженъ отбывать безъ срока. Тоже за побѣги.

— Мяли больно шибко, я и бѣгалъ! — говорилъ онъ, — теперича мять будетъ, въ богадѣльню бросили. Да и мять-то больше нечего. Мятъ, мятъ, да и брошенъ.

Типы сахалинскихъ каторжниковъ.

И такова исторія всѣхъ. Осужденъ сравнительно на недолгій срокъ, но бѣжалъ и „пошли плюсы“. При входѣ въ „номеръ“ тюрьмы на Сахалинѣ не рѣдкость встрѣтить на табличкѣ арестантовъ:

— Такой-то 6 л. + 10 + 15 + 15 + 20...

Есть каторжники, которымъ „сроку“ болѣе 90 лѣтъ, и которые „первоначально“ были осуждены на 6, на 8 лѣтъ, т.-е. за сравнительно не тягчайшія преступленія. Мы тутъ очень точно отмѣриваемъ: 6, 7, 8 лѣтъ каторги. А тамъ, среди невыносимыхъ условій, люди бѣгутъ отъ ужаса и изъ краткосрочныхъ каторжанъ превращаются въ безсрочныхъ. Такова исторія всѣхъ почти долгосрочныхъ сахалинскихъ каторжанъ.

Безногіе, безрукіе, калѣки — это живая новѣйшая исторія каторги. Исторія тяжелыхъ, непосильныхъ работъ и наказаній.

Вотъ этотъ отморозилъ себѣ обѣ ноги въ тайгѣ, во время бѣговъ, и ему ихъ отняли. Этотъ такимъ же образомъ лишился рукъ.

— Какъ же такъ? Зимой въ тайгѣ?

— Ваше высокоблагородіе, въ тюрьмахъ житья не было!

Что тамъ ни говори о „страсти“ каторжанъ къ побѣгамъ, но хороша должна быть жизнь, если люди бѣгутъ отъ нея зимою въ тайгу.

Масса „поморозившихся“ на работахъ, — на вытаскѣ бревенъ изъ тайги.

— Одежу нашу знаете. Какая это одежа? Нешто она грѣетъ? Пошлютъ изъ тайги бревна таскать, и морозишься.

А потомъ — отнятыя руки и ноги.

Много, наконецъ, нарочно себя изувѣчившихъ.

— Это у тебя что? Тоже отняли, поморозилъ ногу?

— Нѣтъ, это я самъ. Валили дерево, я ногу и подставилъ. Раздробило, и отняли.

Или:

— Самъ себѣ я руку. Положилъ праву руку на пенекъ, а лѣвой топоромъ какъ дерну — и отрубилъ.

— Да зачѣмъ? Съ чего?

— Отъ уроковъ да отъ наказаній.

Гг. сахалинскіе служащіе объясняютъ это „лѣнью“ каторжанъ. Но врядъ ли отъ одной лѣни люди будутъ отрубать себѣ руки и нарочно ломать ноги. Кромѣ каторги, нигдѣ о такой лѣни никто не слыхивалъ.

— Дадутъ урокъ не по силамъ, не выполнилъ — драть и, въ наказанье, хлѣба уменьшатъ. На завтра еще пуще обезсилѣешь, — опять драть да хлѣба уменьшать. Приходишь со-

Арестантскія работы.

всѣмъ въ слабость. Никогда урока не выполняешь. Деруть, деруть — голоднаго-то. Въ отчаяніе придешь, либо ногу подъ телѣжку али подъ дерево, либо руку прочь.

Вотъ гдѣ написать исторію тѣлесныхъ наказаній въ каторгѣ.

— Меня смотритель Л. на самый Свѣтлый праздникъ далъ, въ ночь, подъ утро, когда разговляться надоть было. „Вотъ, — говоритъ, — тебѣ и разговѣнье". Тамъ „Христосъ воскресъ" поютъ, а меня на кобылѣ порютъ.

Что жъ удивительнаго, что люди, какъ всѣ священники на Сахалинѣ жалуются, „отстаютъ отъ религіи"?

— Мнѣ 35 розогъ цѣльный день давали!

— Какъ такъ?

— А такъ. Драли въ канцеляріи. Смотритель сидитъ и дѣлами займается. А я на кобылѣ лежу и палачъ при мнѣ. Смотритель попишетъ, попишетъ, — скажетъ: „дай!" Розга. Потомъ опять писать примется. Обѣдать домой уходилъ, — а я все лежалъ. Такъ цѣльный день и прошелъ.

Смотритель К., производившій эту экзекуцію, самъ говоритъ, что это такъ:

— Это моя система. А то что: отодрался, да и къ сторонѣ. Это ихъ не беретъ. Нѣтъ, а ты цѣлый день полежи, помучайся!

Развѣ не истязаніе? Въ какомъ законѣ опредѣлено что-нибудь подобное?

— Меня такъ взодрали, два мѣсяца потомъ на карачкахъ, на колѣнкахъ, на локтяхъ, — стоялъ, лечь не могъ. Цѣльный мѣсяцъ послѣ порки все изъ себя занозы вытаскивалъ. Гнилъ.

— Я и посейчасъ гнію!

И, дѣйствительно, гніютъ.

— Такія наказанія были, — въ Александровской тюрьмѣ, когда въ сосѣдней камерѣ драли, одинъ арестантъ подъ нары залѣзъ и тамъ себѣ отъ страха горло перерѣзалъ. Обезумѣлъ человѣкъ. Такъ страшно было.

И это тоже фактъ.

А старики, слушая эти разсказы болѣе молодого каторжнаго поколѣнія, только усмѣхаются:

— Это еще что! Какая каторга! Вотъ на Карѣ въ разгильдѣевскія времена было, — вотъ это драли. Мясо клочьями летѣло!

И они показываютъ страшные шрамы, дѣйствительно, отъ вырванныхъ кусковъ мяса.

— А это что за каторга!

И древніе старики разсказываютъ о страшныхъ церемоніяхъ „посвященія въ каторжные“, практиковавшагося встарь.

Въ этой ужасной, смрадной богадѣльнѣ, гдѣ все дышитъ ужасомъ, спятъ не иначе, какъ съ ножами подъ подушкой, или подъ тряпьемъ, замѣняющимъ подушку. Боятся — обокрадутъ.

Старики у стариковъ вѣчно ночью воруютъ.

— Вѣшаютъ мало! Вѣшать ихъ надо! — жалуются ростовщики, „отцы“, — ни одну ночь спокойно не проспишь. Все сговариваются старики, все сговариваются: „пришьемъ его, какъ заснетъ“.

Если въ камерѣ умираетъ какой-нибудь старикъ, остальные кидаются, обираютъ все до нитки, — такъ что трупъ находятъ совсѣмъ голымъ. Это ужъ обычай.

И старики, обобравшіе ужъ помногу покойниковъ, жаловались:

— А денегъ помногу никакъ не найдешь!

— Ужъ покойниковъ двадцать этакъ-то раздѣвалъ! — жаловался мнѣ одинъ старикъ, — хоть бы что! Прячутъ, черти! Ужъ я всегда держусь въ камерѣ, гдѣ „отцы“ есть. Мѣсто себѣ на нарахъ сколько разовъ въ такихъ камерахъ покупалъ, изъ послѣдняго тратился. Все думаешь,—вотъ какой помретъ, воспользуемся. Занедужится ему, — ждешь, ночи не спишь. Затихнетъ ночью, подойдешь, — нѣтъ, еще дышитъ. „Что, — говоритъ, — ждешь, Аѳанасьичъ?“ Смѣются которые изъ нихъ. Просто измаешься съ ними, ночей не спамши. А день-то денской боишься: а ну-ка его въ „околотокъ“ отъ насъ унесутъ. Хоть мы про такихъ и не сказываемъ. Лучше, чтобы у насъ въ камерѣ померли. Наконецъ, кончится человѣкъ. Тутъ ужъ какъ ему совсѣмъ кончаться, почитай весь номеръ не спитъ, караулятъ, сидятъ. И день денской изъ камеры не выходятъ и по ночамъ не ложатся. Кинемся это къ нему,—такъ тряпье, да денегъ рублей 20, — больше и не находили. А вѣдь есть которые по сотельной имѣютъ. Прячутъ, хитрые черти! Такъ и околѣетъ,—никому не достанется.

Прятать деньги старики уходятъ куда-нибудь въ поле, потихоньку, чтобъ никто не подсмотрѣлъ. Въ то лѣто, когда я былъ, въ богадѣльнѣ повѣсился одинъ старикъ — „отецъ“: кто-то прослѣдилъ, куда онъ спряталъ деньги, — и когда старикъ пришелъ однажды, ямка была разрыта. Онъ не выдержалъ и удавился — быть-можетъ, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, которая и такъ бы все равно пришла.

Такъ живутъ эти люди, пока ихъ не стащатъ въ „околотокъ“, а потомъ на кладбище.

Околотокъ, это нѣчто въ родѣ лазарета. Но только „нѣчто". Врачей на Сахалинѣ мало, — и въ Дербинскую богадѣльню врачи заѣзжаютъ изъ сосѣдняго селенія. Въ обыкновенное же время въ околоткѣ глава и хозяинъ, такъ-называемый „перевязчикъ", изъ каторжанъ, слегка подученный фельдшерскому дѣлу.

Околотокъ Дербинской богадѣльни, — это мѣсто страданій, послѣднихъ вздоховъ и разврата.

Околотокъ — небольшая комната, гдѣ лежитъ человѣкъ двадцать больныхъ и ожидающихъ послѣдняго часа. Вмѣстѣ съ мужчинами здѣсь лежатъ и двѣ старухи: Афимья и одноглазая „Анютка".

Цѣлый день въ околоткѣ ругань между Афимьей и ея „содержателемъ", слѣпымъ паралитикомъ.

— Спокою отъ нихъ нѣтъ! — жаловались старики, близкіе ужъ совсѣмъ къ смертному часу.

— А вы сдыхайте, черти старые! — кричалъ слѣпой паралитикъ,—только койки зря занимаете, подлецы! Сдыхать пора. А живой о живомъ и думаетъ.

У него отнялись ноги, а руками онъ вокругъ себя такъ и шаритъ, такъ и шаритъ.

— Афимья! Афимья! Гдѣ ты?

— Здѣсь я. Чего ты? Экъ, провалъ тебя не возьметъ!

— Не смѣй уходить. Куда ты? Опять къ Левонтію пошла? — чуть не плачущимъ голосомъ блажитъ старикъ, — ахъ, глаза мои не видятъ! Видѣлъ бы! Пришить васъ мало! Ахъ, шкура! Со всѣми-то путается!

— Изъ-за нея только и въ околоткѣ лежу!—жаловался онъ мнѣ на Афимью, — такая подлая старуха! Ни на минуту оставить нельзя. Рупь вѣдь въ недѣлю она мнѣ стоитъ, рупь ей плачу, да чай каждый день со мной пьетъ, да булку бѣлую завсегда ѣстъ, да молоко пьетъ! А благодарности ни на эстолько! Все къ Левонтію бѣгаетъ. Вѣдь сдыхаетъ, песъ, а все на чужую бабу зарится. Афимья-я-я!..

— Да здѣсь я. Не ори, чисто зарѣзанный!

Старика перевязчикъ держитъ въ околоткѣ охотно. Старикъ, — по-каторжному, „богатый", изъ „отцовъ", — платитъ ему „по полтинничку" за гофманскія капли, которыя перевязчикъ выдаетъ ему за „возбуждающее".

А 58-лѣтняя Афимья составляетъ конкуренцію кривой 56-лѣтней „Анюткѣ". Анютка слѣпа на одинъ глазъ. Другой у нея болитъ, и она нарочно его себѣ растравляетъ, чтобы остаться въ околоткѣ.

Перевязчикъ, который за это пользуется ея благосклонностью, держитъ ее въ околоткѣ.

— Вотъ доктору скажу, какъ глазъ себѣ травишь! — кричитъ, ругаясь съ ней, Афимья.

— Куды жъ я слѣпая-то пойду? — отгрызается Анютка, — смотри, какъ бы я не сказала, какъ ты колѣнко у себя расколупываешь, зажить не даешь!

Сцеціальность Анютки, какъ и Афимьи, торговля своимъ старымъ тѣломъ.

Какая ужасная, мерзкая, гнусная старость!

Словно куча навоза догниваетъ на солнцѣ, каторжная Дербинская богадѣльня, — эти отвратительные, страшные, жалкіе. несчастные, такъ много страдавшіе люди.

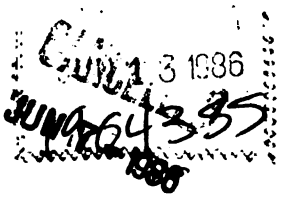
Конецъ II-й части

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Часть первая.

	Стр.
Татарскій проливъ.—Климатъ.—Природа.—Сѣверный, средній и южный Сахалинъ.—Сахалинская дорога.—Островъ-тюрьма	3
Первыя впечатлѣнія	12
Лазаретъ	17
Каторжное кладбище	27
Тюрьма	31
Нарядъ	32
Тюрьма ночью	38
Раскомандировка	41
Тюрьма кандальная	44
Вольная тюрьма	50
Мастерскія	52
Околотокъ	54
Женская тюрьма	56
Карцеры	57
«Исправился»	61
Два одессита	63
Убійцы. (Супружеская чета)	72
Гребенюкъ и его хозяйство	75
Паклинъ. (Изъ моей записной книжки)	80
Поселенье. (Поселенцы)	88
Сожительница	91
Сожитель	94
Добровольно послѣдовавшая	96
Домовладѣльцы	100
Рѣзцовъ	103
Свободные люди острова Сахалина. (Редакторъ-издатель)	106
«Сахалинскій Орфей»	111
«Спиртовая торговля»	116
Биричъ	117
Каторжный театръ	123
«Каторжные артисты»	133
Бродяга Сокольскій	135
Преступленія въ Корсаковскомъ округѣ	138
Отъѣздъ	140
Настоящая каторга	143
Столица Сахалина	152
Постъ Александровскій	159
Приговаривается къ каторжнымъ работамъ	167
Кто правитъ каторгой	189
Смотритель тюремъ	218
Смертная казнь	225
Палачи: Толстыхъ, Медвѣдевъ, Комлевъ, Голынскій	245
Тѣлесныя наказанія	256
Нравы каторги	269
Иваны	270
Храпы	275
Игроки	277
Жиганы	279
Шпанка	284
Горе Матвѣя	286
Безсрочный «испытуемый» Гловацкій	289
Каторжные типы	298
Посвященіе въ каторжники	317
Интеллигентные люди на каторгѣ	323
Тальма на Сахалинѣ	332
Картежная игра	338
Законы каторги	345
Языкъ каторги	350
Пѣсни каторги	359
Каторга и религія	365
Сектанты о. Сахалина	372
Преступники и преступленія	384
Преступники и судъ. (Изъ наблюденій на Сахалинѣ)	401
Каторжныя работы Коноваловой	404
Несчастнѣйшая изъ женщинъ	410
Добровольно слѣдующія	412
Уроженцы о. Сахалина	430

Часть вторая.

	Стр.
Золотая ручка	3
Полуляховъ	11
Знаменитый московскій убійца	32
Спеціалистъ	41
Людоѣды	54
Каторжанка баронесса Геймбрукъ	67
Ландсбергъ	77
Дѣдушка русской каторги	87
Святотатецъ	95
Аристократъ каторги	100
Плебей	108
Отцеубійца	113
Шкандыба	119
Наемные убійцы	124
Самоубійца	132
Оголтѣлые	135
Интеллигентъ	138
Поэты - убійцы. (Въ видѣ предисловія	142
Убійца	153
Преступники душевно-больные	172
Сахалинское Монте-Карло	182

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.